

DONUM HOMINI UNIVERSALIS

Сборник статей в честь 70-летия
Н. В. Котрелёва

DONUM HOMINI UNIVERSALIS





DONUM HOMINI UNIVERSALIS

Сборник статей в честь 70-летия

Н. В. Котрелёва

ОГИ
Москва
2011

УДК 82
ББК 83
Д66

Составители:
Н. А. Богомолов, А. В. Лавров, Г. В. Обатнин

Макет Андрея Рыбакова

Д66 **Donum homini universalis:** Сборник статей в честь 70-летия Н. В. Котрелёва. — М.: ОГИ, 2011. — 424 с.

ISBN 978-5-94282-639-0

Издание подготовлено друзьями и коллегами известного литературоведа, историка русской религиозно-философской мысли Николая Всеволодовича Котрелёва. В сборник вошли статьи авторов из России, США, Италии, Германии, Австрии, Швеции, Финляндии, Израиля, Эстонии, посвященные в первую очередь тем авторам, изучением жизни и творчества которых юбиляр занимается, — Вячеславу Иванову и Владимиру Соловьёву. Но поскольку от них тянутся многочисленные нити к разнообразным явлениям русского искусства, а также к итальянской культуре, которую Н. В. Котрелёв профессионально знает, то и эти сферы также широко представлены в книге.

УДК 82
ББК 83

ISBN 978-5-94282-639-0

© Авторы статей, 2011
© Составители, 2011
© ОГИ, 2011

Несколько слов от составителей

Когда-то Максимилиан Волошин признавался Иннокентию Анненскому, что тот до личного знакомства предстал ему не как один, а как множество писателей: один — переводчик Еврипида, другой — аналитик классической и современной литературы, третий — лирик, на свой лад отображающий отличительные черты новейшей модернистской поэзии...

Наш юбиляр являет собой столь же многосоставное единство.

Один Котрелёв — участник литературно-художественной жизни московского андеграунда шестидесятых годов, и по сей день сохраняющий связи со сложившейся тогда культурной средой, рачительно устранивающий выставки и выпускающий альбомы своих покойных друзей-художников.

Еще один Котрелёв — переводчик стихов и прозы с итальянского и португальского языков, а также в свое время первый в Москве по уровню мастерства переводчик-синхронист с итальянского, чей голос слышали в легендарном «Иллюзионе» зрители фильмов Феллини, Висконти, Росселлини и других великих мастеров.

Он же — исследователь Марко Поло и других европейцев — авторов «хождений» на Восток, вплоть до Андрея Белого. И он же — просвещеннейший книговед, произнесший свое веское слово о гибели старых русских библиотек, воплотивший еще один, локальный вариант многоголосого Слова о гибели земли Русской.

Многим он близок и дорог как ревностный приверженец православной культуры, удостоившийся тем не менее — а может быть, и благодаря этому — личной аудиенции, вместе со своим покойным другом Сергеем Аверинцевым и Ольгой Седаковой, у папы Иоанна Павла II.

Составители и участники этого сборника не дерзают отобразить в нем все ипостаси столь богато одаренной и столь широко выявляющей себя творческой личности, какие раскрывает нам Николай Всеволодович Котрелёв. Мы пытаемся лишь внести наш посильный вклад в ту сферу интересов юбиляра, которая на протяжении уже многих десятилетий его деятельности остается на первом плане, — в историю русской литературы и религиозно-философской мысли последней трети XIX — первой трети XX века. Вячеслав Иванов и Владимир Соловьев неизменно представляли тот двуединый центр исследовательских пристрастий Н. В. Котрелёва, к которому прямо или опосредованно устремлялись его идеи и замыслы, нашедшие свое отражение в многочисленных статьях и публикациях. К этому стоит добавить, что введение в научный оборот существенных по своему значению и значительных по объему материалов по истории русского символизма не было для него самоцелью — за ними просматривалась концептуальная перспектива, и размышления и наблюдения общего характера, рассыпанные по его вступительным статьям и комментариям, заставляют задумываться неспешного читателя.

Кажется, все те многие стороны его личности и таланта, описанные выше, можно объединить главным словом — артистичность. Н. В. Котрелёв даже какое-то время учился на актера, но, кажется, для него это было вовсе лишним. Подлинная артистичность заключается не в свободном переселении из одного образа в другой, а в том, чтобы с максимальным умением существовать в разных представлениях собственной личности.

И на самом деле, видевшие юбиляра на экране телевизора (а уж тем более знающие его домашним образом) могли понять выразительность его мимики и еще более — голоса, подчеркнутую скупость выверенных жестов, убедительность интонации. Даже не соглашаясь с какими-то его словами, оказываешься очарован обликом говорящего.

Читатели могут почувствовать то, что мы называем артистичностью, по уникальному подбору цитат с привлечением самых неизвестных и непопулярных источников, по особому ритму не только отдельной фразы или абзаца, но и целой работы, по риторической организации всего текста, по обоснованности суждений. По исследовательским работам чувствуешь, что перед тобой автор, начинавший как поэт и долго работавший как переводчик поэзии.

А в конце концов вся его жизнь, свидетелями которой мы являемся, предстает творчеством, житнетворчеством. Четверо детей, многочисленные внуки, ненаигранная семейственность и даже патриархальность, которой способствует жена, неслучайно среди друзей именуемая Чудой, — все это, как будто бы случайное, легко осмысливается как умышленное. И естественная радость по поводу хорошо изданной книжки, удачного пирога или

загодя приготовленной настойки оказывается несущей не только обыкновенный, но и какой-то высший смысл.

Знающие юбиляра давно помнят, что таким же безупречно жизненным он был и пятьдесят, и сорок, и тридцать лет назад. Значит можно быть уверенными, что и в дальнейшей жизни перед нами будет тот же самый человек, которого мы ценим как ученого и любим как своего близкого.

А. Л., Н. Б., Г. О.

К. М. Азадовский, Г. Г. Суперфин
**Русский в Германии: одиссея «профессора»
Матанкина***

1. Немецкий писатель и русский шофер

В 1929 году в лейпцигском издательстве Г. Гесселя (Haessel) появилась книга под названием «AUTO HALT! Aufzeichnungen eines Berliner Chauffeurs» («АВТО! СТОЙ! Записки берлинского шофера»). Автор книги, русский эмигрант, укрывшийся под псевдонимом Alexander Kareno (Александр Карено), описывал сцены берлинской жизни второй половины 1920-х годов, которые ему, шоферу такси, довелось наблюдать в германской столице. Книга, написанная в оригинале по-русски, посвящалась памяти Германа Зудермана, известного немецкого романиста и драматурга, скончавшегося 21 ноября 1928 года, а ее переводчиком и редактором был Артур Лютер (1876–1955)¹.

* Авторы выражают искреннюю благодарность лицам и организациям, помощью которых они пользовались в своей многолетней работе: О. Е. Блилкиной (Москва), С. В. Бородину (Ростов-на-Дону), М.-Л. Ботт (Берлин), Х. Бюшеру (Берлин), К. Гарштейнкой (Бремен), М. Э. Дмитриевой (Лейпциг), И.-Р. Дёринг-Смирновой (Мюнхен), Е. А. Казакову (Бремен), И. С. Кукую (Мюнхен), М. Ю. Сорокиной (Москва), Е. Н. Струковой (Москва), С. Франк-Килнер (Мюнхен), Я. К. Фрухтману (Бремен), В. И. Якубовичу (Москва), а также — А. А. Федяхину, сотруднику Научной библиотеки Государственного архива РФ (Москва), сотрудникам Отдела краеведения Донской государственной публичной библиотеки (Ростов-на-Дону), Федерального архива ФРГ (Bundesarchiv), Политического архива МИД ФРГ (Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes), кладбищенских служб в Мюнхене и др.

На эту книгу и предпосланное ей «Предисловие переводчика» в наши дни обратил внимание Карл Шлёгел в своей монографии «Берлин, Восточный вокзал»². Отмечая (в главе «Восприятие города: Набоков и таксисты») меткие наблюдения автора над берлинской жизнью, К. Шлёгел цитирует фрагмент предисловия. Мы же приведем этот текст полностью:

«Представленные здесь очерки частично публиковались на русском языке в берлинской газете „Руль“. Для издания отдельной книгой они были существенно переработаны, прежде всего — значительно дополнены. Острая наблюдательность автора и безыскусная простота его повествования делает эти „Записки...“ ценным историческим свидетельством, освещающим нравы современной столицы. Большинству читателей этой книги придется пережить то же самое, что пережил ее автор, чья жизнь до определенного момента мирно протекала в рабочем кабинете, в библиотеках и студенческих аудиториях, но впоследствии, когда он стал шофером, ему неожиданно пришлось погрузиться в совершенно новый мир — мир кричащих противоречий, который показал ему, что человек часто бывает лучше, чем его репутация, но что в нем, с другой стороны, чаще проступает звериное; мир, в котором ему открылись пустота и бездушие нашей „цивилизации“, вся проблематичность нашего так называемого „прогресса“. К достоинствам этой книги, изобилующей мрачными картинками, следует отнести и тот факт, что ее автор сумел освоиться и утвердиться в „новом мире“. Его книга — подлинный „человеческий документ“.

Под псевдонимом Александр Карено скрывается русский университетский профессор, бежавший за границу в 1921 году от всемогущей ЧК и добравшийся в 1922 году до Берлина, где он еще до войны занимался научной работой. Беглецу удалось взять с собой черновик своего большого исследования, посвященного русско-немецким литературным отношениям; все первые годы он посвятил исключительно этой работе. Он зарабатывал себе на жизнь, давая частные уроки и работая учителем в учрежденной эмигрантами русской гимназии. Когда наступила инфляция и стабилизация и большинство русских эмигрантов перебралось в Париж, Карено — в силу своих научных занятий — вынужден был остаться в Берлине. Однако борьба за существование становилась для него все труднее: русской гимназии пришлось сократить часть своего преподавательского состава, а в области частных уроков предложение все более превосходило спрос. Поэтому в 1926 году Карено пришлось стать шофером, хотя он неумоимо продолжал свою научную работу.

Вскоре он начал записывать свои впечатления: все пережитое им в „новом мире“. Из беглых заметок, заполнивших две толстые тетради (из них использовано менее половины), возникли эти очерки, предлагаемые немецкому читателю. „Все они были набросаны в машине, — расска-

зывает автор, — карандашом, на плохой бумаге, и в них присутствует только то, что я сам наблюдал, пережил или слышал от товарищей по профессии. Первый, кто проявил к ним живой интерес, был Герман Зудерман. О том, как я познакомился с ним и как заботливо он ко мне отнесся, я рассказываю в моей книге. Его смерть была для меня жестоким ударом. Правда, он успел порекомендовать меня своему другу Карлу Рознеру³, которому я глубоко обязан: благодаря его посредничеству мне удалось завязать отношения с немецкими писателями и учеными, с газетным и издательским миром. Я надеюсь, что это поможет мне расстаться с машиной и вновь всецело отдаться моей научной работе“.

Возможно, этому будет способствовать и успех публикуемых записок»⁴.

* * *

Упоминая о публикации книги Карено в берлинской ежедневной газете «Руль», К. Шлёгел (опираясь, очевидно, на текст предисловия, приведенного выше) сообщает, что «этой публикации способствовали рекомендации Германа Зудермана и положительные отзывы Карла Рознера и Артура Лютера»⁵.

Это сообщение требует уточняющего комментария.

Публикация в «Руле» под названием «Записки шофера. (Человеческий документ)» началась 7 апреля и продолжалась до 12 мая 1929 года. В течение месяца с небольшим появилось 18 фрагментов; автором каждого из них значился Александр Каренов. Через несколько месяцев, готовя к печати немецкий перевод своей книги, автор изменил написание своего псевдонима на более привычное для европейского глаза: Карено⁶.

У исследователей русско-немецких литературных взаимосвязей не может не вызвать интереса упоминание (в статье А. Лютера) о Германе Зудермане — разумеется, со слов автора «Записок...». Где и каким образом скрестились пути известнейшего немецкого романиста и драматурга и русского эмигранта, несостоявшегося ученого-германиста, ставшего в эмиграции шофером? И кто такой, наконец, этот загадочный *Каренов-Карено*?

Ответ на первый вопрос можно найти в заключительной главе «Записок шофера», озаглавленной «Встречи со знакомыми»⁷. Поэт и шофер». Приведем ее также полностью:

«В Груневальде⁸ расплачивается со мной гость. Я случайно бросил взор на виллу и на надвернике⁹ прочел:

Sudermann.

— Здесь живет знаменитый писатель?

— Да... Я как раз к нему...

— В России он был очень популярен, особенно на сцене¹⁰. Передайте ему привет.

— От кого?

— От неизвестного русского интеллигента¹¹.

Дня через два в газетах появилась заметка:

— „Писатель Герман Зудерман благодарит за привет безвестного русского шофера“¹².

Прошли месяца́.

В июльский знойный полдень подошел ко мне в Груневальде высокий стройный старец и с изысканной учтивостью сказал:

— В литовское консульство, пожалуйста!

Приехали.

— Подождите немного... Я еду с Вами дальше.

Выйдя, он обратился ко мне.

— Кем Вы были раньше?.. Привыкли ли к суровой доле?.. Надеетесь ли вернуться на родину?.. Мне хочется с Вами еще раз встретиться... Дайте мне Вашу визитную карточку... Завтра я уезжаю в Литву...¹³ Вернусь ровно через месяц и тогда поговорим по телефону... Меня зовут Зудерман.

Через месяц я услышал от него по телефону:

— Сегодня только вернулся... Жду Вас у себя в 7 часов вечера.

Вилла-замок утопает в зелени, укрыта от людской суеты.

Проходя по нижнему этажу, я невольно обратил внимание на оригинальный круглый стол.

— В Веймаре стоит точно такой же круглый стол, за которым восседали Гете, Шиллер, Виланд и Гердер.

Суровый взгляд писателя выразил упрек.

— Поэты не терпят намеков на подражание, — подумал я, поздно заметив свой lapsus.

Прошли наверх, в кабинет. Всюду ковры, статуи и книги, книги без конца. Из окна открывалась далекая перспектива.

— С этой орлиной высоты он взирает на жизнь и размышляет о ней, — сказал я сам себе.

Началась беседа, беседа длительная и увлекательная. Говорили о моей судьбе, России, литературе, политике.

— Я уже давно должен был быть у писателя Фульда¹⁴... И не заметил пролетевшего времени, — спохватился поэт.

В вестибюле, когда я надел на левую руку белую замшевую перчатку и взял под мышки портфель, он с милой улыбкой сказал:

— Вот таким Вы должны быть всегда, а не за рулем... Ну, посмотрим... Я буду говорить о Вас с нужными людьми.

Простились до осени: Зудерман уехал в свое имение¹⁵, а оттуда в Штутгарт для напечатания своего последнего романа „Purzelchen“¹⁶. Мы все время переписывались.

Вдруг газеты облетело известие:

• „Писатель Зудерман смертельно болен“.

Из санатория — через секретаршу и врачей — он продолжал мне писать и ободривать.

На смертном одре он продиктовал мне последнее „прости“, пожелания счастья в жизни и уверение, что заботу обо мне передает своим друзьям.

Льет дождь как из ведра.

В храме давка. На кладбище¹⁷ стоят тысячи промокших людей, поклонников любимого писателя.

— Вам тяжело... Нам тоже нелегко: мы хороним большого человека и редкого друга, — положив руку на мое плечо, сказал мне при похоронах один писатель.

— Да, а я хороню еще несбывшуюся мечту о лучшей жизни, которую *только он* мог создать мне при своем авторитете.

На другой день я был у его могилы и встретил там *только двух старушек*, поклонниц писателя их юности.

Как неблагоприятна человеческая память!

Теперь могила *безлюдна*. Но около нее часто можно встретить русского шофера. Он приносит цветы, устилает ими могилу, долго стоит на коленях и молится.

Кладбищенский сторож наблюдает в сторонке за ним и покачивает головой, ничего не понимая.

Да и как ему понять?!

Мир праху твоему, Meister!»¹⁸

* * *

Ответить на второй вопрос позволяет сохранившийся архив Зудермана, в частности — его дневники и переписка. Кроме того, архивные и печатные материалы подтверждают, что все рассказанное в газете «Руль» и вошедшее в книгу «Записки берлинского шофера» соответствует действительности: знаменитый писатель, в молодости претерпевший нужду и лишения и хорошо знающий по собственному опыту, что значит «пробиться в литературе», принял живое участие в судьбе неизвестного ему русского эмигранта.

Отправной точкой наших разысканий послужило упоминание о поездке Зудермана в Литву. Зудерман отдыхал там в последний раз в июне 1928 года.

И вот — запись в дневнике Зудермана от 7 июня 1928 года [все цитируемые далее немецкие тексты даются в нашем переводе. — К. А., Г. С.]:

«От Ульштейна¹⁹ — никаких известий. Ушел рано. В ратушу — за паспортом. В литовское консульство. Ушел, утомленный ожиданием, и снова — к Ульштейну. Мой шофер — профессор Матанкин (Йоахимсталерштрассе 25, Бисмарк 425²⁰), завершивший большой труд „Русская литература в свете немецкой критики“»²¹.

Профессор Александр Матанкин... В июне-июле 1928 года это имя упоминается в дневнике Зудермана неоднократно.

Уехав в Литву 9 июня 1928 года, Зудерман вернулся в Берлин через две недели — 23 июня. 26 июня он записывает в своем дневнике:

«У меня был профессор Матанкин. — Мне тягостно видеть это губительное существование! Я должен помочь. Он передаст мне свою книгу о „шофере“. Одолжил ему 100 марок, чтобы он мог оплатить оставшуюся часть перевода. — Потом в восемь вечера — к Фульде, где не был уже несколько месяцев. Как всегда — сердечно. — После ужина читал ему две первые главы из „Пурцельхен“ и заслужил полное одобрение. „Очень живо“, — сказал Людвиг»²².

14 июля 1928 года Матанкин отправляет Зудерману свою рукопись, сопроводив ее письмом следующего содержания:

«Высокочитимый господин доктор Зудерман!»²³

Извините, что беспокою Вас настоящим письмом.

Вторая часть „Записок“²⁴ закончена. В процессе работы я существенно сократил эту часть. Вместо первоначально задуманных 20–25 глав я оставил лишь 17. Мой переводчик посоветовал мне убрать главы: „Афинские ночи“, „Сирена в ванне“, „Любовь в автомобиле“, „Любовные поездки“ и др., поскольку они в целом вряд ли смогут появиться в печати.

Две трети всей работы я написал на улице — за рулем автомобиля. Остальное — поздно вечером. Короче: почти все время измученный шоферской работой, я никогда не мог сконцентрировать свои усилия. Этим можно, наверное, объяснить несколько стилистических и иных ошибок, которые наверняка встречаются. Однако что касается содержания, то оно представляется безусловно свежим, оригинальным и почерпнутым из самой жизни.

Я хотел бы использовать эти „Записки“ трояким образом:

1. Напечатать в качестве фельетона в какой-нибудь газете.
2. Продать какой-нибудь компании по производству кинофильмов.
3. Выпустить книгу с помощью какого-нибудь издателя.

Газете я предоставляю право вносить изменения в текст или сокращать его.

Кинематографической компании я разрешаю снимать фильм по ее усмотрению.

Что касается книги, можно было бы, полагаю, изменить название; например: „Я, шофер“.

Все это, разумеется, только пожелания. В конце концов я предоставляю *все это* Вам и прошу Вас поступать с моим материалом так, как Вы сочтете нужным.

Прошу Вас о большом одолжении: сообщить мне, когда можно Вас видеть и передать Вам рукопись.

С глубочайшим уважением

Весьма преданный и бесконечно благодарный Вам

А. Матанкин».

По-видимому, рукопись была доставлена Зудерману в один из ближайших дней. «Профессору Матанкину надо оказать содействие (muss betreut werden)», — отметил Зудерман в своем дневнике 18 июля. А запись от 19 июля («Читал рукопись шофера Матанкина») свидетельствует о том, что к середине 1928 года значительная часть «Записок...» уже была переведена на немецкий (Зудерман не знал русского языка), однако кем именно — Артуром Лютером или самим Матанкиным, — неясно.

Как развивались дальнейшие события?

Прочитав рукопись, Зудерман написал Матанкину письмо. Текст его неизвестен, а о содержании можно судить по ответному письму от 26 июля 1928 года:

«Глубокоуважаемый господин Зудерман!

Получил Ваше дружеское письмо... Сердечно благодарю Вас за Ваше теплое участие и Ваш интерес к моей особе.

Полностью согласен с Вами в том, что отдельные места „Записок“ слишком неприятны. Но это не мой недостаток — таковы факты: я ведь ничего не придумывал, а изображал жизнь такой, какая она есть.

По этой причине я удалил из второй части „Записок“, которая сама по себе гораздо острее, многое из того, что годится, скорее, для интимной беседы, нежели для печати.

Конечно же, я согласен с любыми изменениями или сокращениями, ведь эти „Записки“ для меня — лишь *средство для достижения цели*.

Я чувствовал бы себя в полной мере вознагражденным, если бы мне — благодаря „Запискам“ — удалось издать мой научный труд („Русская литература в свете немецкой критики“), над которым я работал более четырех лет. Издание этого большого труда могло бы принести мне известность в научном мире Германии и тем самым проложить себе дорогу в будущее.

Как мне хочется в это верить!

Вчера я отправил Вам вторую часть „Записок“. Буду очень рад, если Вы одобрите и эту часть. Ваше авторитетное мнение для меня в высшей степени ценно.

Позвольте еще раз выразить Вам мою сердечнейшую благодарность.

Чрезвычайно преданный Вам

А. Матанкин».

Зудерман немедленно отозвался на это послание (в его дневниковой записи от 27 июля значится: «Вечером письмо ш<оферу> М<атанкину>»). Ответ «профессора» на это письмо — неизвестен. В августе в их общении наступает временный перерыв. В начале сентября, готовясь к отъезду в Штутгарт (по издательским делам), Зудерман вновь пишет Матанкину; тот откликается 9 сентября следующим письмом:

«Глубокоуважаемый господин Зудерман!

Получил Ваше любезное письмо. Искренне благодарю Вас за память, внимание и готовность помочь мне.

Надеюсь, что моя рукопись — благодаря Вашему писательскому авторитету — получит в глазах издателя некоторое преимущество.

В последнее время я был занят библиографической частью моего научного труда, отданной для перепечатки на пишущей машинке. Если Вы разрешите, я просил бы Вас бросить взгляд на эту часть: ознакомившись хотя бы с ней, Вы убедитесь в важности моей работы и в том, сколь непомерные усилия на нее затрачены.

Я с большим нетерпением ожидаю выхода в свет Вашего нового романа²⁵. От всей души желаю этому произведению такого же успеха у читателей и критиков, какой Вы предназначали „безумному профессору“²⁶.

Сидя за рулем автомобиля, я люблюсь фотографией, на которой Вы изображены в тенистом саду перед каким-то античным павильоном. Слава Богу, что Вас миновала чаша, которую пришлось испить Мольеру и Шиллеру²⁷.

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями

Вам неизменно преданный

А. Матанкин».

«Издатель», о котором упоминается в письме, — Карл Рознер. Видимо, уезжая в начале сентября из Берлина — в свое имение «Бланкензе», а затем в Штутгарт и Нюрнберг, — Зудерман просил своего близкого друга принять участие в литературной судьбе «русского профессора». Сам же писатель, насколько можно судить, с Матанкиным более не встречался. Вернувшись из поездки, он почувствовал сильное недомогание, от которого ему не суждено было оправиться (его дневник прерывается на записях от 1–2 октября 1928 года). Правда, из клиники, если верить Матанкину, Зудерман — «через секретаршу и врачей» — продолжал поддерживать с ним переписку и даже успел продиктовать для него «последнее „прости“» (подтверждений этому в архиве Зудермана не обнаружено).

23 октября Рознер направил Матанкину (по адресу: Берлин, Иоахимсталерштрассе, 25, пансион Замтер) следующее письмо:

«Уважаемый господин профессор!

Весьма сожалею, что не смог Вас вчера принять, но меня задержали важные разговоры. Господин Зудерман много рассказывал мне о Вас и познакомил с Вашей рукописью. Разумеется, я готов дать Вам совет. Предлагаю Вам посетить меня в моем бюро в пятницу 26-го числа сего месяца в 10 часов утра. Прошу известить меня, если этот день и час для Вас неудобны. Тогда, в зависимости от обстоятельств, мы могли бы перенести нашу встречу на 10 часов в субботу.

С наилучшими пожеланиями
преданный Вам»

(отпуск письма, машинопись без подписи).

Матанкин ответил двумя короткими строчками, подтверждающими его готовность встретиться с Рознером (опять-таки на бланке: «Prof. Dr. Matankin» и т. д.).

Содержание беседы Рознера и Матанкина неизвестно. Однако то, что «Записки берлинского шофера» появятся год спустя не в престижном «Котта» («Cotta-Verlag»), а в скромном лейпцигском издательстве, свидетельствует: скорая смерть Зудермана печальным образом сказалась в судьбе Матанкина. Надежды на поддержку берлинского «газетного и издательского мира», к которому его пытался приблизить Рознер по-видимому (как явствует из дальнейшего), не осуществились. Лишившись своего главного покровителя, Матанкин не смог утвердиться в немецкой жизни ни как германист, ни как литератор.

Тем не менее Рознер пытался оказать Матанкину посильное содействие. Вскоре после смерти Зудермана он предоставил Матанкину страницы редактируемого им альманаха «Гриф» — для некрологического очерка. Воспользовавшись предложением Рознера, Матанкин в третий раз пересказал историю своих отношений с покойным писателем, выступив, однако, под своей подлинной фамилией: «Professor Dr. Alexander Matankin»²⁸. Эта публикация в целом повторяет текст, опубликованный в «Руле» и лейпцигском издании, но обогащена некоторыми деталями и дана в другом переводе.

2. От приват-доцента до национал-социалиста

Какова же подлинная биография русского «профессора», оказавшегося — волею обстоятельств — берлинским шофером?

Александр Викторович Матанкин родился 13 августа 1889 года в крестьянской многодетной семье в деревне Погост Бельковской волости Ковровского уезда Владимирской губернии. Учился во Владимирском духовном училище, которое закончил весной 1905 года; в августе того же года поступил во Владимирскую духовную семинарию, где пробыл до июня 1909 года, обучаясь, в частности, древним языкам (латинскому и греческому), а из живых языков — немецкому (успехи, достигнутые им в этом языке, были, согласно официальному свидетельству, «очень хорошие»)²⁹.

В 1909 году Матанкин поступил на историко-филологический факультет императорского Варшавского университета³⁰, который закончил в 1913 году (по славяно-русскому отделению). Среди профессоров и преподавателей факультета, чьи лекции слушал студент Матанкин, следует назвать известных (в то время или впоследствии) ученых: А. Д. Григорьева, А. М. Евлахова, И. И. Замотина, В. А. Францева. Непосредственным наставником Матанкина был профессор Замотин (в 1910-е годы — декан факультета), явно благоволивший к способному студенту. Характеризуя в 1911–1912 учебном году студенческое сочинение Матанкина на общую тему «Русская журналистика 40-х годов в ее главных направлениях»³¹, Замотин подчеркивал, что «автор широко понял свою задачу и поставил себе целью проследить <...> как общественное, так и литературное направления 40-х годов. В пределах этого широкого замысла ему удалось сделать если не все, то многое»³². Несмотря на ряд серьезных недостатков, отмеченных в его подробном отзыве, Замотин утверждал, что сочинение Матанкина «стоит в некоторых <...> пунктах выше обычных студенческих работ — курсовых и на соискание премии», и полагал, что автор достоин почетного отзыва³³ (каковым Матанкин и был награжден).

Неудивительно, что по окончании «полного курса наук» Матанкин был утвержден в степени кандидата (5 июня 1913 года)³⁴ и оставлен при Варшавском университете (по кафедре русского и древне церковнославянского языков и истории русской литературы) для приготовления к профессорскому званию («без назначения ему стипендии»). Основной специальностью, которую избрал себе подающий надежды филолог, была история русской литературы. План занятий, разработанный при участии И. И. Замотина, под руководством которого Матанкин в основном и работал в последующие годы, включал в себя как поездки в Петербург и Москву («для работы в библиотеках над первоисточниками»), так и пребывание за границей³⁵.

Однако в первые годы Матанкин работал не слишком успешно, что не раз вызывало нарекания профессоров (включая И. И. Замотина), а также Ученого комитета Министерства народного просвещения. Это объясняется, возможно, тем, что, не имея никаких доходов и не получая стипендии, оставленный при университете магистрант вынужден был зарабатывать себе на жизнь преподаванием (частными уроками). В своем рекомендательном письме от 6 октября 1916 года (о продлении Матанкину срока для подготовки к магистерскому экзамену) И. И. Замотин подчеркивал, что «в течение двух лет Матанкин зарабатывал скудные средства, выполняя программу своей подготовки к профессорскому званию без всякой стипендии...»

В июле 1915 года Варшавский университет в связи с угрозой взятия Варшавы немецкими войсками срочно эвакуируется в Москву. Осенью 1915 года выясняется его новое местопребывание — Ростов-на-Дону. В течение двух лет происходит переезд и формирование университета, сохраняющего в этот период свое прежнее название, и лишь в июле 1917 года на его основе в Ростове открывается Донской университет.

Вместе с университетом покидает Варшаву и «профессорский стипендиат» Матанкин. Судя по материалам его личного дела, 1915–1917 годы он проводит в основном в Москве. Осенью 1915 года ему удается выхлопотать себе стипендию («из специальных средств университета») — 750 рублей в год. В октябре 1916 года стипендия Матанкину продлевается — как и срок его пребывания в качестве магистранта при Варшавском университете — еще на год (до 28 октября 1917 года).

Чем занимался Матанкин в Москве в течение двух с половиной лет и действительно ли он отдавал большую часть времени научным занятиям, неизвестно. Вероятно, он продолжал подрабатывать частными уроками; так, в 1917 году он преподавал в частной женской гимназии (для бедных) Е. В. Енгальчевой³⁶. Подробностей, связанных с его общественной дея-

тельностью в этот бурный период российской истории, также обнаружить не удалось, однако не подлежит сомнению, что Матанкин не оказался в стороне от политики. Косвенным подтверждением этому может служить изданная им брошюра, посвященная А. А. Мануйлову, одному из лидеров кадетской партии, министру народного просвещения в первом составе Временного правительства³⁷. О личных связях Матанкина и Мануйлова сведений не имеется, хотя предположение такого рода вполне допустимо, в особенности учитывая, что летом 1917 года Мануйлов совершил поездку в Ростов.

В 1917 году Матанкин завязывает отношения с редакцией московской «политической, общественной и литературной» газеты «Свобода», выходившей с мая 1917 по май 1918 года. Редактором этого «органа независимой мысли» значился Н. Я. Абрамович; основным автором был М. П. Арцыбашев. Неоднократно выступая на страницах «Свободы», Матанкин-публицист анализировал современную ему российскую общественную ситуацию, касаясь, в частности, таких проблем, как роль интеллигенции в русской революции, революция и культура, религиозные, эстетические и культурно-просветительские запросы современной жизни и др. В некоторых из статей отчетливо видны истинные взгляды их автора — убежденного русского «патриота»³⁸. Особо следует упомянуть статью «Кто „они“?», проникнутую сочувствием к деятелям русского освободительного движения различных убеждений (от Кропоткина и Плеханова до Брешко-Брешковской и Марии Спиридовой) и ненавистью к большевикам, которых автор ставит в один ряд с «уголовными преступниками из пересыльной тюрьмы», «дезертирами» «трусами и изменниками отечества», называет их «хулиганами», «громилами», «провокаторами» и т. п.³⁹

В сентябре 1917 года Матанкин направляет (из Москвы) прошение на имя ректора Донского университета, сообщает о смерти отца и оставшихся на его содержании матери (урожд. Архипова), трех сестрах и брате и ходатайствует о повышении ему стипендии с 750 до 1200 рублей. Ходатайство было поддержано И. И. Замотиным и удовлетворено, а срок «при университете» продлен еще на полгода — до 28 апреля 1918 года.

Таким образом, подготовка к профессорскому званию отняла у Матанкина в общей сложности около пяти лет. Успел ли он сдать в 1918 году магистерский экзамен, где и когда, — об этом материалы его личного дела умалчивают. Во всяком случае, две «пробные лекции», необходимые для окончательного утверждения в звании приват-доцента, Матанкин в 1918 году прочитать не успел. Его первая лекция («И. С. Тургенев — драматург»), назначенная на 5 марта 1919 года, не состоялась: судя по его собственноручному заявлению от 3 марта 1919 года, Матанкин был вынужден срочно

выехать из Ростова «как военнообязанный». Где и при какой армии отбывал наш магистрант воинскую повинность, установить не удалось (с мая 1918 и до января 1920 года Ростов был одним из опорных пунктов Добровольческой армии). Во всяком случае, на протяжении почти всего 1919 года Матанкин продолжает числиться «преподавателем» и «магистрантом». «Пробные лекции», если Матанкину действительно удалось их в конце концов прочитать, состоялись лишь осенью 1919 года. Сохранившиеся документы на этот счет весьма противоречивы. Так, на заседании историко-филологического факультета Донского университета от 30 октября 1919 года рассматривалось прошение Матанкина от 27 октября о прочтении пробной лекции «И. С. Тургенев — драматург»⁴⁰. Однако, как свидетельствует другой документ, уже 26 октября 1919 года им была якобы прочитана вторая «пробная лекция» («Историко-литературные задачи изучения творчества Пушкина»).

Впрочем, приступить к работе в качестве приват-доцента в 1919 году Матанкину так и не удалось. «В ноябре-декабре 1919 года, — объясняет он 8 апреля 1920 года в своем заявлении в Комитет Донского университета, — я был болен сыпным тифом (лежал в университетской клинике проф<ессора> Игнатовского⁴¹). В целях поправления расстроенного здоровья я хотел Рождественские каникулы провести на Минеральных Водах. Но так как я имел от Кубанского Ведомства Народного Просвещения приглашение — прибыть для переговоров о занятии профессорской кафедры в Кубанском Политехническом Институте, то должен был заехать в г. Екатеринодар.

Быстро развернувшиеся военные события⁴² помешали учреждению новой кафедры (обществоведения), для занятий которой я был приглашен, и вместе с тем не позволили мне ни достичь места лечения, ни своевременно вернуться в Ростов.

В Екатеринодаре я в качестве временного преподавателя занимался чтением лекций в Учительском Институте.

Принимая все это во внимание, я прошу Комитет внести меня как невольно запоздавшего в продовольственный список».

Обращает на себя внимание, что, обращаясь в Комитет Донского университета, Матанкин именует себя не «приват-доцентом», а «преподавателем». Неудивительно: в Ростове установилась советская власть, а звание приват-доцента было отменено декретом Совета народных комиссаров еще в октябре 1918 года⁴³.

Тем не менее в апреле 1920 года Матанкин приступает к работе на историко-филологическом факультете Донского университета. 3 апреля 1920 года он читает вступительную лекцию к курсу «История русского театра»⁴⁴.

Его преподавание в Донском университете приходится на большую часть 1920 и первые месяцы 1921 года. Матанкин читал курс истории русской журналистики, вел практические занятия по истории древней и новой русской литературы и т. д. Кроме того, в отчете о состоянии и деятельности историко-филологического факультета Донского университета за первый триместр 1920–1921 учебного года отмечалось, что преподаватель Матанкин подготовил к печати ряд очерков по истории русской литературы XIX столетия (ни один из них, насколько известно, в печати не появился). Там же упоминается и о дополнительной преподавательской деятельности Матанкина — в ростовской 4-й Мужской трудовой школе.

Преподавательская работа в Ростове прерывалась, как можно предположить, частыми поездками Матанкина в другие южные города. Так, 25 июня 1920 года Донской университет ходатайствовал перед Областным отделом народного образования — о командировке Матанкина в Баку и Тифлис «для изучения некоторых вопросов по истории русской литературы». Состоялась ли командировка, неясно. 17 августа 1920 года Матанкин обращается к ректору Донского университета с заявлением, в котором, ссылаясь на заключение отборочной медицинской комиссии Донобздравотдела, просит об отправке его «на излечение» в Кисловодск сроком на полтора-два месяца.

Материалы личного дела Матанкина создают в целом довольно путаную картину и о его научно-педагогической карьере, и о его разъездах по югу России в 1919–1921 годах. Однако можно с уверенностью утверждать: «профессором» Матанкин никогда не был. Его «приват-доцентство» тоже вызывает сомнения: во всяком случае никакого документа, подтверждающего это звание, Матанкин не получил⁴⁵. Правильнее сказать: не успел получить, оказавшись в водовороте событий 1919–1920 годов.

Тем не менее в сентябре (?) 1921 года Матанкину удается получить официальную справку, в которой он именуется «приват-доцентом». Обратившись с заявлением к декану историко-филологического факультета, Матанкин просил дать ему — «для предоставления в Донской Педагогической Институт» — справку в том, что он состоял «с 1919/1920 г. — приват-доцентом Донского Университета, а позднее — преподавателем того же Университета». В деле хранится черновой вариант этого документа, выданного Матанкину «на руки» и подписанного секретарем Н. Н. Сретенским⁴⁶, — создается, однако, впечатление, что справка такого рода нужна была Матанкину в 1921 году отнюдь не для устройства в Донской пединститут.

Лишившись звания «приват-доцент» и возможности — после ухода белых — занять «профессорскую кафедру» в Екатеринодаре, Матанкин чувствовал себя, по всей видимости, глубоко разочарованным и уязвленным.

Что касается его политических взглядов, то нет никаких сомнений в том, что он принадлежал к ярким противникам большевистского режима. Русский «патриотизм», который уже в те годы заметно окрашивал его общую позицию, никак не вязался с идеологией новой власти, провозгласившей «пролетарскую диктатуру», «интернационализм» и другие лозунги. Эти (и, возможно, иные) обстоятельства подтолкнули его, в конце концов, к решительному шагу — бегству из Советской России (сведений о каких-либо репрессиях или преследованиях со стороны властей в отношении Матанкина в 1920–1922 годах не выявлено, хотя И. И. Замотин, его духовный наставник, был в 1922 году арестован ростовскими чекистами — якобы за принадлежность к «осведомительному агентству» (ОСВАГ) Деникина; в 1930-е годы НКВД припомнит Замотину — в то время профессору Белорусского университета в Минске — один из эпизодов 1918–1919 годов: выступая в Ростове, Замотин якобы назвал большевиков «разрушителями культуры»⁴⁷).

* * *

О дальнейшем позволяет судить заявление Матанкина в Германское отделение Американского фонда помощи русским ученым и литераторам⁴⁸ (дата заявления — 3 августа 1922 года):

«20 сентября 1921 г. я нелегально перешел советско-польскую границу. Добравшись до Варшавы, я имел две пары белья и 256 польских марок.

В Варшаве я занимался сотрудничеством в газете „За Свободу“⁴⁹, чтением лекций по новейшей русской литературе студентам-эмигрантам, преподаванием в Русской гимназии⁵⁰ и состоял секретарем Русской академической группы. Восемь месяцев работы по 12–13 часов ежедневно, чтобы просуществовать и одеться.

6-го июля 1922 г. я приехал в Берлин — с четырьмя тысячами немецких марок. Эти деньги ушли на дорогу, временные пристанища и питание. Теперь я оказался совершенно без средств.

В надежде на получение защиты и на издание своих работ — я прошу Фонд *ссудить* мне 2–3 тысячи марок. Выданную мне сумму верну при первой возможности — одновременно или по частям.

Проф<ессор> А. Матанкин»⁵¹.

Заявление Матанкина было удовлетворено частично — он получил одну тысячу марок; в конце августа он вновь обращается в тот же фонд с аналогичной просьбой. «Ввиду того, что мое материальное положение пока не

улучшается, — пишет Матанкин, — я прошу Комитет ссудить мне еще тысячу-две марок. Просимая сумма мне особенно нужна для уплаты за комнату к первому числу»⁵². 28 августа просителю была выдана еще тысяча марок.

Обосновавшись в Берлине и, видимо, не желая расстаться с надеждой на продолжение своей академической карьеры, Матанкин пытается освоить новую для него (и весьма актуальную с точки зрения его тогдашнего положения) научную тему: русская литература в Германии. Известный интерес к русско-германским литературным «отражениям» Матанкин проявлял еще будучи магистрантом⁵³, однако утверждение Артура Лютера в его предисловии к книге «АВТО! СТОЙ!» («Беглецу удалось взять с собой черновик его большого исследования, посвященного русско-немецким литературным отношениям» и т. д.) представляется все же преувеличением (и восходит, очевидно, к свидетельствам самого Матанкина⁵⁴). Тем не менее в 1923–1927 годах Матанкин пишет ряд очерков, из которых со временем он надеялся составить обширный труд. На эту работу Матанкин возлагал особые надежды: в случае обнародования она должна была (по его расчетам) принести ему «известность в литературном мире Германии» и укрепить его весьма шаткий общественный статус (см. его письмо к Зудерману от 26 июля 1928 года). Ряд публикаций, состоявшихся в 1924 году в русской эмигрантской печати⁵⁵, вполне подтверждает достоверность его компаративистских штудий, хотя заявления относительно «большого исследования», «научного труда» и т. д. остаются, конечно, на совести автора.

Сотрудничество Матанкина в эмигрантских изданиях не ограничивалось в то время очерками о восприятии русских писателей в немецкой критике. «Профессор» охотно брался и за иные сюжеты. Так, в конце 1922 года на страницах критико-библиографического журнала «Новая русская книга» публикуется его рецензия на новые книги, изданные в Петрограде⁵⁶. В 1924 году он вновь пробует свои силы на журналистском поприще — публикует в газете «Время» несколько путевых очерков⁵⁷. Однако все эти публикации носят эпизодический характер.

Как и на что существовал Матанкин в Берлине? На первых порах (в 1922 году) ему удается устроиться преподавателем русского языка в гимназию «Высшая русская частная школа» (Russische Höhere Schule in Berlin), основанную в 1922 году профессором А. И. Каминкой при Русском академическом союзе (Каминка был его председателем)⁵⁸. В сохранившейся справке о Матанкине, относящейся к 1923 году и связанной с его преподавательской деятельностью в берлинской школе, указано (разумеется, с его слов), что в 1920 году он состоял профессором Донского университета и Донского педагогического института; кроме того, сообщается, что он

преподавал на Высших женских курсах в Ростове, в Ростовской драматической студии, а еще ранее — на Политехнических курсах в Москве и читал лекции по истории русского театра в московском Александровском реальном училище⁵⁹. В какой степени все эти данные соответствуют действительности, авторам выяснить не удалось.

Усомниться в правдивости сведений, содержащихся в этом документе, побуждает и перечень научных трудов Матанкина. Среди опубликованных работ указаны: «Журналистика 40-х годов XIX века в ее основных течениях»; «Любовь И. С. Тургенева к народу»; «Русские комедии XVIII века»; «Литературно-исторические задачи при исследовании творчества Пушкина»; «Классицизм XVII и XVIII столетий»; «И. А. Крылов». В рукописи, по утверждению Матанкина, остались: 1) монография, посвященная И. А. Крылову; 2) книга очерков по новейшей русской литературе и 3) немецкая библиография по русской литературе. Одна работа («Достоевский как публицист») якобы принята к печати; готовится двухтомная монография «Русская литература в оценке Европы. Немецкая критика»⁶⁰. Если принять во внимание, что до 1915–1916 годов у профессорского магистранта Варшавского университета не было еще ни одной печатной работы, то такая продуктивность — в течение одного десятилетия — может вызвать лишь изумленное восхищение.

К сожалению, авторам настоящей работы не удалось обнаружить даже следов хотя бы одной из упомянутых научных работ. Ученое звание, научная степень, список работ — все это следует признать плодом вымысла. Конечно, как и многие русские эмигранты, Матанкин находился тогда в нелегком положении, однако — в отличие от большинства из них — он, как видно, не брезговал ни лукавством, ни просто обманом.

В середине 1926 года Матанкину пришлось расстаться с «Русской гимназией»: видимо, он был уволен вместе с директором школы Н. В. Яковлевым и другими учителями из-за общего экономического кризиса⁶¹. Оказавшись на улице, Матанкин ищет себе место преподавателя в одном из берлинских учебных заведений. Позволительно допустить, что существует некая связь между его хлопотами того времени и сохранившимся запросом из Германии, сделанным в августе 1926 года берлинским юрисконсультom Максом Фуксом в Донской (к тому времени — Северо-Кавказский государственный) университет с просьбой ответить, действительно ли «некто Александр Матанкин, которому сейчас приблизительно 36 лет, был профессором истории и литературы». В официальном ответе, поступившем из университетской канцелярии, сообщалось, что Матанкин «состоял лишь приват-доцентом по истории литературы, а не профессором...» Спустя более чем полтора года аналогичный запрос поступит в канцелярию Северо-

Кавказского университета из Народного комиссариата по иностранным делам (содержание ответа было таким же, как и в 1926 году). Чем был вызван интерес к Матанкину со стороны юрисконсульского подотдела Наркоминдела в 1928 году, — неясно.

Именно тогда, т. е. в 1926 году (см. предисловие Артура Лютера), Александр Матанкин и становится шофером берлинского такси. За рулем автомобиля он проводит несколько лет⁶², и именно в эти годы (1926–1928) он и создает свои «Записки берлинского шофера».

Перемены в эмигрантской судьбе Матанкина намечаются в конце 1920-х годов и тесно связаны с развитием политической ситуации в Германии, в первую очередь — ростом политической активности и влияния немецких национал-социалистов. Приход Гитлера к власти всколыхнул часть русской эмиграции; воинственно настроенные и националистически ориентированные ее круги, тяготевшие к идее «великой России» (разумеется, освобожденной от большевизма), почувствовали своего рода «духовное родство» с официальной идеологией, восторжествовавшей в Германии после 1932 года. «Фашизм оказал существенное влияние на русскую эмиграцию в конце 20-х — начале 30-х годов», — свидетельствует Уолтер Лакёр⁶³.

К этим кругам принадлежал и Александр Матанкин. В начале 1930-х годов, потерпев неудачу на преподавательском и литературно-журналистском поприще, он активизирует свою общественную деятельность (в своей нацистской брошюре 1938 года — см. о ней ниже — он «программно» ставит под предисловием дату его написания: «Берлин, 1931 г.»). Среди разного рода националистических групп, созданных русскими эмигрантами в Берлине в 1930–1938 годах (берлинская группа «Союза младороссов», «Национальный союз нового поколения», «Русское освободительное народное движение», «Российское национальное и социальное движение», «Кружок российских культурно-политических изучений» и др.), возникает (повидимому, в начале 1934 года) и «Общество самопомощи русских национальных эмигрантов» во главе с Матанкиным. В одной из берлинских газет, поместивших в конце 1934 года обзорную статью о русской эмиграции, это «Общество...» именовалось «группой Матанкина»⁶⁴ (его помощником и «правой рукой» был С. Н. Иванов⁶⁵). «Общество...» собиралось обычно в ресторане «Гэфтер» (Hefter) на Виттенбергплац для обсуждения актуальных проблем: «Русская революция и ее последствия» (29 августа 1934), «Еврейство, христианство и мы» (25 октября 1934), «Германо-русская дружба» (21 ноября 1934), «Что мы отвергаем, за что мы боремся?» (13 декабря 1934)⁶⁶. Основным докладчиком на этих собраниях был, как правило, Александр Матанкин. «Общество...» устраивало также литературные вече-

ра, рождественские балы и пр. Впрочем, по мнению современного и хорошо осведомленного автора, роль «группы Матанкина» внутри русской эмиграции была «эффемерной.»⁶⁷

Об идейной направленности Матанкина и его единомышленников можно судить по брошюре-листочке «20 пунктов», изданной им под своим подлинным именем в Берлине в 1935 году на русском и немецком языках⁶⁸. Это — манифест нацизма, восходящий к 25 параграфам «Программы» Гитлера (1920), которые русский «профессор», по его собственному признанию, переводит и «приноравливает» к условиям русской действительности. «20 пунктов» сопровождаются панегирическими излияниями в адрес Гитлера: «Гитлер — воплощение совести мира и спасение арийских народов»; «Гитлер — осуществление христианства на земле»; «Гитлер — смерть большевизму»; «Гитлер — похороны всего наследия французской революции, т. е. парламентаризма, либерализма, демократизма»; «Учение Гитлера — сильнейшее орудие в нашей борьбе»; «Гитлер — явление чрезвычайное: двух Гитлеров в одно столетие небо не посылает» и т. д.

Приведем некоторые из «20 пунктов»:

1. Объединение всех русских под эгидой Великой России.
2. Непризнание Версальского договора и отнятого по нему от России.
3. *Русским* считается только тот, кто по крови является русским. *Русским гражданином* может быть только тот, кто происходит от народа или племени, до 1914 года компактно населявшего ту или иную часть территории России. Поэтому *немцы* могут быть признаны русскими гражданами; *евреи* же не могут быть признаны ни русскими, ни русскими гражданами.

4. Все не русские граждане подлежат немедленному удалению из пределов России. <...>

17. Вся пресса в пределах России находится под опекой и контролем государства. Все прямые и косвенные участники русской прессы обязательно должны быть русскими гражданами. Участие в русской прессе не русских граждан и ее финансирование не русскими гражданами карается *смертной казнью*. <...>

19. Государство управляется мощной *центральной властью*⁶⁹.

Изучение классической русской литературы не пошло, как видно, на пользу выпускнику Варшавского университета. Житейские мытарства, националистические устремления и, видимо, комплекс неудачника (неудовлетворенное честолюбие и т. п.) побуждают эмигранта Матанкина сделать «судьбоносный» выбор: он становится *русским фашистом*.

В конце 1920-х годов положение Матанкина определенно меняется к лучшему: в 1928 году он получает работу в Службе иностранных языков (Sprachendienst) Министерства иностранных дел (скорее всего, как референт или переводчик печатных текстов — русских и/или польских)⁷⁰. Попутно сотрудничает (видимо, на договорных началах) в других организациях. Словарь сотрудников Министерства иностранных дел указывает целый ряд ведомств, с которыми так или иначе был связан Матанкин в 1930-е годы: Министерство рейхсвера, Министерство воздушного флота (не ранее 1933 года), Военная академия, Военное училище в Потсдаме (не ранее 1935 года), Военно-инженерное училище Берлин–Карлсхорст (не ранее 1936 года), авиабаза Ютеборг под Берлином (середина 1930 годов), Военно-медицинская академия (не ранее 1934 года)⁷¹ и Народный университет Берлина⁷². В собственноручной анкете Матанкина для Рейхсминистерства науки, воспитания и народного образования (между 1935 и 1939 годами) также указан Народный университет (доцент с 1933 года) и названы, кроме того, берлинская комендатура и «[Евангелическая] гимназия zum Grauen Kloster» (факультативное преподавание русского языка с 1932 года). Наконец, с 1934 года он преподает в Техническом университете Берлина⁷³. Однако основная работа Матанкина в 1930-е годы протекала, по-видимому, в стенах Министерства иностранных дел. Плодом его деятельности в ту пору можно считать составленный им военно-технический «Польско-немецкий и немецко-польский словарь»⁷⁴.

Из той же анкеты Матанкина явствует, что одно время (между второй половиной 1932 и началом 1934 года) он состоял членом СА (штурмовых отрядов нацистской партии), но был исключен как эмигрант, не имеющий немецкого гражданства⁷⁵. Видимо, это обстоятельство оказалось главной помехой, сказавшейся на карьере Матанкина в нацистской Германии, хотя он и пытался аттестовать себя (например, в цитируемой анкете) как «чистого арийца».

В середине 1930-х годов (скорее всего — в 1935-м) «Группа Матанкина» прекращает свое существование, однако ее руководитель по-прежнему выступает в роли теоретика русского национал-социализма. В 1938 году он издает (разумеется, за свой счет) еще одну брошюру на русском языке — «К устройству будущей России», напечатанную в домашней типографии Nikolai v. Schwabe (т. е. Н. А. Швабе)⁷⁶. Устранив панегирические восхваления Гитлера, Матанкин перенес в это издание все основные тезисы, изложенные в его первой брошюре, расширил их комментариями, отчасти отредактировал формулировки и дополнил следующими разделами: «Национал-социализм

и либерализм», «Национал-социализм и марксизм», «Национал-социализм и большевизм», «Национал-социалистические основы России», «Сущность национал-социализма», «Национал-социалистическая программа и Россия» (в этот раздел и вошли «20 пунктов»), «Национал-социалистические основы и Россия», «Принципы русских национал-социалистов», «Задачи русских националистов». «Русским особенно следует проникнуться национал-социализмом и воспринять его главные основы, — вещал Матанкин, — чтобы применить их в будущем строительстве государства на новых началах»⁷⁷. В числе «ясных и реальных задач» русских нацистов Матанкин полагал «создание национального, авторитетного и делового центра среди русской эмиграции» и «развитие дружественных отношений между русской и немецкой нациями»⁷⁸. Каждый русский эмигрант, истинно любящий Россию, обязан, по Матанкину, встать на путь борьбы с большевизмом. «Кто назвал себя эмигрантом, тот тем самым объявил себя врагом жидовского большевизма и активным *политическим* борцом за свою Родину и свой народ: иначе он не эмигрант, а трусливый беженец»⁷⁹. Излишне говорить, что в кругах русской эмиграции призывы Матанкина не имели отклика⁸⁰; ему не удалось стать идеологом русского фашизма — в отличие от других выходцев из России, игравших заметную роль в идейно-политической жизни Германии 1930-х годов (В. В. Бискупский, Г. В. Бостунич, Н. Е. Марков и др.)⁸¹.

Все предвоенное и почти все военное время Матанкин живет в Берлине. В 1932 году он снимает просторную меблированную комнату в доме на Лейбницштрассе, 35 — в квартире вдовы медика Георга Хессельбарта, умершего годом ранее⁸². В августе 1939 года он сочетается браком с ее дочерью Катариной Хессельбарт (1896–1969), матерью двух подростков. Летом 1940 года, выхлопотав себе (по-видимому, благодаря женитьбе на немке) германское гражданство, он становится, наконец, членом Национал-социалистической рабочей партии⁸³.

Начиная приблизительно с 1944 года наш герой видоизменяет свою фамилию: Матанкин (Matankin) превращается в Матынкина (Matynkin). Трудно сказать, насколько этот шаг был сознательным — нельзя исключить случайную канцелярскую ошибку, кочевавшую из одного документа в другой. Впрочем, Матанкин не противился новому написанию своей фамилии, более точно воспроизводившему ее немецкое звучание (ударение на первом слоге редуцирует второй слог, приближая его к русскому «ы»).

В феврале 1945 года Матанкин — вместе с частью ведомства Риббентропа — переводится в баварский городок Майнбург и назначается руководителем русской группы в филиале Службы иностранных языков германского МИДа (с февраля 1940 года он числится «вспомогательным научным сотрудником» этого отдела, работающим по договорам).

Наиболее ощутимый пробел в биографии Матанкина — его деятельность в годы войны. Удалось ли ему побывать в России, и если да, то где, когда и в каком качестве? — этот важнейший период его биографии представляет собой, к сожалению, белое пятно.

Окончание войны застает его в Майнбурге, где он официально зарегистрирован до 1959 года. Наездами он бывает в Мюнхене, куда окончательно переезжает осенью 1958 года. В этом городе он и умирает 23 декабря 1969 года (похоронен в одной могиле с женой на мюнхенском Грюнвальдском кладбище⁸⁴; захоронение уничтожено в 2005 году).

Коснулась ли нашего героя денацификация и как прожил он последние двадцать с лишним лет своей жизни (чем занимался, с кем общался, писал ли воспоминания и т. д.) — все это также предстоит выяснить. Однако и то, что нам удалось собрать, побуждает задуматься над «одиссеей» этого несомненно способного и честолюбивого филолога, завершившего свой извилистый жизненный путь в стане германских нацистов. Путаная канва его биографии — не только драма русского эмигранта, не нашедшего себе места в чужой действительности, но и отражение той катастрофы, которая постигла в 1920–1930-е годы многих его соотечественников, зараженных, подобно Матанкину, вирусом национализма и черносотенной идеологии: пытаясь противостоять большевистскому злу, они сознательно перешли на сторону другого преступного режима и стали его сообщниками.

¹ См.: *Braun M.* Arthur Luther zum Gedächtnis // *Osteuropa*. 1955. Н. 3. S. 240; *Харпер К.* Тройные почести. А.Ф. Лютер и его «Воспоминания» // *Звезда*. 2004. № 9. С. 159–168.

² *Schlögel K.* Berlin, Ostbahnhof Europas. Russen und Deutsche in ihrem Jahrhundert. Berlin, 1998; русский перевод: *Шлэгель К.* Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1918–1945) / Перевод с нем. Л. Лисюткиной. М., 2004.

³ Карл Петер Рознер (1873–1951) — прозаик; издатель. В 1919–1934 гг. возглавлял берлинский филиал издательства «Котта». Близкий друг Г. Зудермана.

⁴ *Kareno A.* AUTO HALT! Aufzeichnungen eines Berliner Chauffeurs. Aus dem russischen Manuskript übersetzt und herausgegeben von Arthur Luther. Leipzig, 1929. S. 7–8.

⁵ *Шлэгель К.* Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1918–1945). С. 283.

⁶ Ивар Карено — герой драматической трилогии К. Гамсуна («У врат царства», 1895; «Игра жизни», 1896; «Вечерняя заря», 1898) воплощает собой гордого независимого ученого, одиночки-правдолюбца, вступающего в борьбу с миром. Этот образ был весьма популярен в России начала XX века благодаря МХТ-овской постановке пьес Гамсуна, в которых роль Ивара Карено в течение многих лет (1909–1941; в 1934 г. состоялось 300-е представление) с неизменным успехом исполнял В. И. Ка-

чалов. В роли Карено (в пьесе «Игра жизни», рус. пер. — «Драма жизни») выступали также К. С. Станиславский (1907) и В. Э. Мейерхольд (1908). См.: *Корчевникова И. Л.* Голос жизни. Гамсун на сцене Художественного театра // www.norge.ru/hamsun_cdl_korchevnikova

Пьеса Гамсуна была в репертуаре МХТа во время его гастролей в Варшаве (1912) и Ростове (1919), где в то время находился Матанкин (см. ниже).

Псевдоним «Карено» не раз встречается в русской печати 1900-х и 1910-х гг. (см.: *Масанов И. Ф.* Словарь псевдонимов. Т. 2. М., 1957. С. 54). Публикация, не зарегистрированная в Словаре Масанова: *Карено*. Итоги («Не понятные снились мне сны...») // Политехник. Студенческая газета (СПб.). 1912. № 1. 9 ноября. С 2 (автор стихотворения не установлен).

⁷ Видимо, редакторская или типографская ошибка; следует читать: «Встречи со знаменитостями». Ср. названия той же главы в немецком переводе («Prominente Fahrgäste»; букв. «Знаменитые пассажиры») и следующей («Wenn man Bekannten begegnet»; «Когда встречаешь знакомых»).

⁸ Район в западном Берлине, где в начале XX века строились виллы многих состоятельных людей, «знаменитостей» и т. п. Г. Зудерман жил с 1916 г. по адресу «Беттинаштрассе 3» (в настоящее время на этом доме установлена мемориальная доска с именем писателя).

⁹ Табличка на двери с фамилией владельца.

¹⁰ См. об этом: *Родина Г. И.* Зудерман и Россия: рецепция творчества в культурном пространстве рубежа XIX–XX веков. М., 2004.

¹¹ Пассажиром, доставленным в Груневальд к вилле Зудермана, был писатель Карл Бульке (1875–1936), которого в тот же день русский эмигрант навещал по другому поводу. Это совпадение настолько потрясло Бульке, что он счел нужным предать его гласности.

Приведем выдержку из опубликованной газетной заметки:

«Мы останавливаемся перед домом на Беттинаштрассе 3. Я расплачиваюсь.

— Красивый дом. Весь освещен. Простите, а кто здесь живет?

Еще два часа тому назад меня посетил один германист, человек в очках и с круглым лицом. И вот теперь я вглядываюсь в лицо шофера. Шофер настолько похож на германиста, что одного можно спутать с другим. Похож вплоть до вызывающего симпатию жеста, когда он, задавая вопрос, поднимает руку с перевязанным предплечьем, чтобы выразить „ничего“ или извиниться. Собаки, германисты и люди — у всех нас так много общего.

— Здесь живет Зудерман.

Шофер задумывается, прежде чем ответить. „Хоть что-то хорошее, — говорит он, — случается каждый день. Когда Вы давеча на Штейнплатц подошли к моей машине, я стоял там уже два часа — ни одного пассажира. Я уже не раз собирался бросить это занятие. Зудерман — я читал почти все, что он написал. Значит, вот где он живет. Ну, так войдите в этот светлый дом и пожмите ему руку, Вы ведь, наверное, его друг. Да, забавная история. А я тут сажу за рулем“.

Вот сейчас, подумал я, он скажет, что он — тот самый германист.

Но он говорит быстро, очень быстро: „Передайте ему привет от Вашего шофера“.

И с шумом уносится, как безумный.

Господин шофер с лицом германиста, Ваш привет был передан. И доставил радость». (*Bulcke C. Fahrt in den Grunewald // Die illustrierte Abendzeitung. Berliner Nachtausgabe. 1927. Nr. 280. 30. November. 1. Beiblatt.*)

¹² В берлинских газетах за конец ноября 1927 г. это объявление не обнаружено.

¹³ Зудерман родился в Восточной Пруссии (Матцикен / Matzicken, ныне — Мацикай / Masiakai), недалеко от Мемеля (с 1924 по 1939 г. и в настоящее время — в Шилутском районе Клайпедского уезда Литвы). Одна из наиболее известных книг Зудермана носит название «Литовские истории» (1917); русский перевод — Клайпеда, 2007.

¹⁴ Людвиг Фульда (1862–1939) — драматург, прозаик, эссеист, поэт, переводчик. В 1930-е гг. подвергался преследованиям со стороны нацистов (причиной послужило еврейское происхождение писателя). Покончил жизнь самоубийством.

О его дружбе с Зудерманом см.: *Dauer H. Ludwig Fulda, Erfolgsschriftsteller. Eine mentalitätsgeschichtlich orientierte Interpretation populärdramatischer Texte. Tübingen, 1998. S. 40–44.*

¹⁵ Имеется в виду имение «Бланкензе» (Blankensee) в земле Бранденбург к югу от Берлина, приобретенное писателем в 1902 г.

¹⁶ «Пурцельхен» — последнее произведение (роман) Зудермана. См.: *Sudermann H. Purzelchen. Ein Roman von Jugend, Tugend und neuen Tänzen. Stuttgart-Berlin, 1928* (выпущен издательством Котта). Русский перевод: *Зудерман Г. В шестнадцать лет / Пер. с нем. В. С. Вальдман и Г. А. Зуккау. Л., 1929* (книга вышла в кооперативном издательстве «Время»).

¹⁷ Зудерман похоронен на берлинском кладбище Халлензе (в Груневальде).

¹⁸ Рувль. 1929. № 2570. 12 мая. С. 4.

¹⁹ «Ульштейн» — крупное берлинское издательство, основанное в 1877 г. Леопольдом Ульштейном (1826–1899) и выпускавшее в первые десятилетия XX века ряд влиятельных газет и другие периодические издания.

²⁰ «Бисмарк» — наименование одной из телефонных подстанций Берлина. 425 — номер телефона для связи с Матанкиным-шофером в пансионе на Иоахимсталерштрассе, где он жил в то время; хозяйка пансиона — Бетти Замтер (Samter).

²¹ Национальный музей Шиллера / Немецкий литературный архив (Марбах на Неккаре). Архив издательства Котта (фонд газеты «Stuttgarter Zeitung»). Дальнейшие ссылки на материалы этого архива в тексте статьи опущены.

Об истории дневников Зудермана, которые он вел с 1885 по 1928 гг., сообщает Карл Рознер, описывая в 1937 г. свой последний визит к умирающему писателю (в берлинском санатории Фюрстенберг):

«Рядом с кроватью — большой, наглухо запечатанный пакет: его дневники, которые он вел всю жизнь. Тетради, одна к одной. Он взял их с собой из Груневальда и просит меня — в случае, если судьба призовет его, — передать их в архив Котты. Этот пакет можно будет открыть лишь через тридцать лет после его смерти — до этого никто не должен знать, что писал он изо дня в день о своей душе. И только последнюю из этих тетрадей он хочет еще оставить возле себя» (*Rosner K. Erinnerung an Hermann Sudermann. Zum 30. September // Deutsche Zukunft. 1937 26. September. S. 14.*)

²² Об этом вечере у Фульды с авторским чтением первых глав романа «Пурцельхен» см. в переписке Фульды и Зудермана: *Fulda L. Briefwechsel 1882–1939. Zeug-*

nisse des litetrarischen Lebens in Deutschland. Hrsg. von Bernhard Gajek, Wolfgang von Ungern-Sternberg. Frankfurt a.M., 1988. S. 542–544, 546–547.

²³ На всех письмах Матанкина, отправленных Зудерману, в левом верхнем углу отписнуто (печаткой): «Prof. Dr. A. Matankin. Berlin W 15, Joachimsthalerstr. 25/26» («Профессор, доктор наук Матанкин. Западный Берлин-15. Иоахимсталерштрассе 25/26»).

²⁴ В оригинале — «Memento».

²⁵ Имеется в виду «Пурцельхен» (см. примеч. 16).

²⁶ По-видимому, пожелание Зудермана, высказанное Матанкину в личной беседе или в письме.

²⁷ Имеется в виду нищета.

²⁸ Hermann Sudermann und der Chauffeur. Von Professor Dr. Alexander Matankin // Der Greif-Almanach. 1930. Stuttgart und Berlin, [1929]. S. 135–137.

²⁹ Большинство сведений, касающихся биографии Матанкина (до середины 1921 г.) и его пребывания в Варшавском (позднее — Донском) университете, восходят соответственно к фонду Императорского Варшавского университета в Государственном архиве г. Варшавы (Archivum Państwowe m. st. Warszawy. Zespół 214) и материалам личного дела Матанкина в Государственном архиве Ростовской области (Ф. Р-46. Оп. 1. Д. 65; Оп. 3. Д. 482). Ссылки на оба фонда в дальнейшем изложении опущены.

³⁰ См.: Алфавитный список студентов и посторонних слушателей Императорского Варшавского университета за 1909–1910. Варшава, 1910. С. 12. Следует также отметить, что в конце 1905 г. Варшавский университет был закрыт и вновь открылся в 1908 г., причем новый подход к набору студентов создавал особенно благоприятные условия для бывших семинаристов. «Студенческий контингент должен был стать преимущественно русским. Достигнуть этой цели было решено посредством привлечения в Варшаву выпускников православных духовных семинарий» (Иванов А. Е. Русский университет в Царстве Польском // Отечественная история. 1997. № 6. С. 30).

³¹ Сочинение было подано под девизом «Журналы скорее наведут на истину... Современник» и представляло собой рукопись в 238 страниц «формата литографических лекций» (см.: Краткий отчет о состоянии Императорского Варшавского университета за 1911–1912 академический год. Варшава, 1912. С. 138).

³² Там же.

³³ Там же. С. 142.

³⁴ Сохранилось ходатайство историко-филологического факультета перед Советом Варшавского университета от 5 июня 1913 г. — «Об утверждении в степени кандидата Вознесенского Александра и Матанкина Александра как получивших почетный отзыв за представленные ими в 1911/1912 учебном году сочинения» (Государственный архив Ростовской области. Ф. 527. Оп. 1. Д. 89. Л. 532). Матанкин считался профессорским стипендиатом с 28 октября 1913 г. (см.: Варшавские ученые известия. 1915. № VI. С. 14).

Александр Николаевич Вознесенский (1888–1966), сотоварищ Матанкина по магистратуре Варшавского (впоследствии — Ростовского) университета, был также учеником И. И. Замотина. С начала 1920-х гг. — профессор Белорусского университета в Минске (туда же переехал и Замотин), позднее — профессор Московского областного педагогического института им. А. С. Бубнова. Репрессирован в феврале 1934 г. по обвинению в «русском национализме» (дело так называемой «Россий-

ской национальной партии»). Освободился в феврале 1939 г. и обосновался в Казани (во время войны исполнял в Казанском университете обязанности декана историко-филологического факультета). Реабилитирован в 1964 г. (см.: *Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М.* «Дело славистов»: 30-е годы. М., 1994. По имен. указ.). Документы о преследовании А. Н. Вознесенского в советское время помещены также на сайте Национального музея Республики Татарстан (http://www.tatar.museum.ru/univer/sor/sov_voz.htm).

³⁵ На основании документов, известных на сегодняшний день, можно предположить, что Матанкин провел несколько месяцев 1913 г. в Берлине (хотя и не в стенах Берлинского университета). Так, в одной из анкет (1930-е гг.), сохранившейся в Архиве Рейхсминистерства науки, воспитания и народного образования, указано, что Матанкин в 1913 г. «учился в Берлине» (Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Hochschullehrerkartei // Bundesarchiv. Bestand R 4901. № 13271). Фразу же «Когда я до войны учился в парижской Сорбонне...» в «Записках берлинского шофера» (*Kareno A.* Auto halt! Aufzeichnungen eines Berliner Chauffeurs. S. 89) следует расценивать, скорее всего, как литературную вольность.

³⁶ См.: *Вся Москва на 1917 год.*

Елизавета Викторовна Енгальчева была вдовой погибшего на фронте в 1916 г. Н. Н. Енгальчева, младшего брата П. Н. Енгальчева (1866–1944), последнего русско-го генерал-губернатора Варшавы. Можно предположить, что Матанкин поддерживал с этим семейством личные отношения и, возможно, пользовался протекцией Енгальчевых при эвакуации русских варшавян в Москву.

³⁷ *Матанкин А. А. А.* Мануйлов. М., 1917 (издание Партии народной свободы).

³⁸ «Где же у нас национальное чувство и любовь к родине?» — восклицал Матанкин в одной из статей. И далее: «В литературе, где обычно отражаются все существенные черты народа, так же мало находим примеров внимания и любви к родине <...> В школах гораздо больше отводится времени и уделяется внимания всему западноевропейскому, чем русскому. Во всех других областях та же картина. <...> Факт отсутствия в нас национального чувства неустраим. И за это нам долго и тяжело придется расплачиваться впоследствии» (*Матанкин А.* Мы // Свобода. 1918. № 44. 2 (15) апреля. С. 2).

³⁹ Свобода. 1917. № 9. 3 (16) июня. С. 2. Ср. список жертв «безобразной» революции в статье Матанкина «Революция и культура»: «...Талантливых, — еще дореволюционных, — политических деятелей — например, Кропоткина, Плеханова, Милукова, Родичева — она (т. е. большевистская революция — К. А., Г. С.) загнала в подполье...» (Свобода. 1918. № 39. 26 февраля (11 марта). С. 4).

⁴⁰ Государственный архив Ростовской области. Ф. 527. Оп. 1. Д. 358. Л. 171 об.

⁴¹ Имеется в виду Александр Иосифович Игнатовский (1875–1955), терапевт, специалист широкого профиля, в частности, — по инфекционным заболеваниям; профессор Новороссийского (1908–1911), Варшавского / Донского (1911–1920?), Белградского (1922–1941) и Скоплевского (1947 — ?) университетов.

⁴² «События», о которых упоминает Матанкин, это, по-видимому, взятие Ростова в январе 1920 года Первой Конной армией и — Екатеринодара 9-й Красной армией 17 марта 1920 г.

⁴³ Согласно постановлению «О некоторых изменениях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных заведений Российской Республики», звание приват-доцента упразднилось. Лица, состоявшие в этом звании не менее трех лет, были переведены с 1 октября 1918 года в состав профессоров по соответственным

кафедрам. Приват-доцентам, не удовлетворяющим этому требованию, было присвоено звание преподавателя.

⁴⁴ Циркуляр о предстоящей лекции был отправлен деканом А. М. Евлаховым председателю Исполнительного комитета Донского университета и затем разослан по всем факультетам. Матанкин аттестуется в этом документе как *приват-доцент*.

⁴⁵ В хронике университетской жизни за июль-август 1921 г. среди отправленных из Ростова «в летние научные командировки» назван *преподаватель* Матанкин (см.: *Летопись университетской жизни. Ч. II. Донской Северо-Кавказский университет в первые годы Советской власти (1920–1930 гг.)* / Сост. Пушкаренко А. А., Тоценко Л. Т. Ростов-на-Дону, 2003. С. 76).

⁴⁶ Николай Николаевич Сретенский (1889–1942) — литературовед, историк философии. Окончил Казанский университет. С 1916 г. — в Ростове-на-Дону. Преподавал также в Ростовском педагогическом институте, где многие годы заведовал кафедрой западно-европейской литературы.

⁴⁷ *Рублевская Л., Скалабан В.* Доска с черного хода. Штрихи к портрету академика Ивана Замотина // <http://www.wirade.ru/cgi-in/wirade/YaBB.pl.board=kriefs;action=display;num=116923>

В 1934 г. Замотин привлекался по делу «Российской национальной партии» («Дело славистов»). Окончательно арестован в 1938 г. «как участник контрреволюционной националистическо-шпионской организации, существовавшей в Академии наук БССР». Осужден 5 августа 1939 г. на восемь лет. Попал в Коми АССР, работал в лагерной инвалидной бригаде. Умер, по официальной справке, в мае 1942 г. В 1956 г. реабилитирован.

⁴⁸ С осени 1922 г. — Берлинский комитет помощи русским литераторам и ученым.

⁴⁹ Никаких публикаций под фамилией «Матанкин» в этой газете за последние месяцы 1921 и 1922 гг. нами не обнаружено; возможно, он печатался под псевдонимом.

⁵⁰ В обстоятельном исследовании, посвященном учебным заведениям русской эмиграции в Германии, Чехословакии и Польше до Второй мировой войны, Матанкин не упоминается (см.: *Mchitarjan I.* Das «russische Schulwesen» im europäischen Exil. Zum bildungspolitischen Umgang mit den pädagogischen Initiativen der russischen Emigranten in Deutschland, der Tschechoslowakei und Polen (1918–1939). Bad Heilbrunn. 2006. S. 187–255 и библиогр.).

⁵¹ РГАЛИ. Ф. 1570. Оп. 1. Ед. хр. 37. Л. 291.

⁵² Там же. Л. 292.

⁵³ Сохранился Отчет о занятиях «оставленного при Императорском Варшавском университете Александра Матанкина» за первое полугодие 1913/1914 учебного года. Этот отчет состоит из трех частей. Первая, озаглавленный «Русская народная словесность», завершается внушительным списком работ, прочитанным по названной теме. Вторая часть — обзор немецкой критики о русской литературе (работа Фарнгагена фон Энзе о Пушкине, обзорный труд Александра Рейнгольда «История русской литературы...», эссе Г. Брандеса о Горьком, монографии о Тургеневе и Толстом и др.). Третья лишь констатирует написанный Матанкиным «критический анализ» опубликованных к тому времени (в 1911 и 1913 гг.) дневников Н. И. Тургенева. «К настоящему отчету, — сообщает в заключение Матанкин, — я прилагаю конспекты всех прочитанных мною работ».

⁵⁴ Так, в своем письме в Архив Ницше от 8 июля 1924 г. (с просьбой уточнить, в какой из работ Ницше содержится его известный отзыв о Достоевском) Матанкин сообщает, что в настоящее время пишет большую монографию «Немецкая критика о русской литературе» (Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar. Bestand 72, BW 3441). О том же труде упоминается и в биографической справке о Матанкине, приложенной к отчету о состоянии «Русской гимназии» (см. примеч. 59) от 23 апреля 1923 г. // Bundesarchiv. Bestand R 4901. № 6585 (переписка о русских школах в Берлине. 1920-е — 1934). Bl. 128–129).

⁵⁵ См.: Матанкин А. Грибоедов в Германии // Время. 1924. № 310. 30 июня. С. 2; Матанкин А. Чехов в Германии // Руть. 1924. № 1097. 15 июля. С. 5; Матанкин А. И. С. Никитин в Германии (1824–1924) // Время. 1924. № 331. 24 ноября. С. 2.

⁵⁶ Новая русская книга. 1922. № 10. С. 21–33 (рецензии на след. издания: Перетц В. Краткий очерк методологии истории русской литературы. Пг., 1922; Истрин В. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11–13 вв.). Пг., 1922; Соболевский, друг Пушкина. Со статьей В. И. Саитова. СПб., 1922).

⁵⁷ Матанкин А. С пути. I. Helgoland // Время. 1924. № 316. 11 августа. С. 2; Матанкин А. С пути. II. Westerland // Время. 1924. № 317. 18 августа. С. 2; Матанкин А. С пути. Гамбург // Время. 1924. № 327. 27 октября. С. 1.

⁵⁸ Вашкау Н. Э. Образовательные центры русской эмиграции в Берлине // Вестник Волгоградского университета. Серия 4. История. Родиноведение. Международные отношения. Научно-теоретический журнал. Вып. 7. Волгоград, 2002. С. 82–83; электронная версия: <http://sor.volsu.ru/library/docs/0000600.pdf>.

О берлинской «Русской гимназии» см. также: Mchitarjan I. Указ. соч. S. 84, 91–93 и библиогр.; Volkman H.-E. Die russische Emigration in Deutschland 1919–1929. Würzburg, 1966. S. 126–128.

⁵⁹ Bundesarchiv. Bestand R. 4901. № 6585. Bl. 128–129.

⁶⁰ Там же.

⁶¹ Там же. Bl. 153–154.

⁶² В некрологическом этюде памяти Зудермана, появившемся в альманахе «Гриф» на рубеже 1929 и 1930 годов (см. выше примеч. 28), Матанкин выступает в качестве шофера.

⁶³ Лакёр У. Черная сотня. Происхождение русского фашизма. М., 1994. С. 119.

⁶⁴ Germania. Zeitung für das deutsche Volk. 1934. № 272. 2. Oktober. S. [5]. В этой статье, аннотированной в русской берлинской газете «Новое слово» (1934. № 9. 15 октября. С. 8), упомянуты также «группа Мельского» (А. В. Меллера-Закомельского, в 1920-е гг. близкого к евразийцам) и «Московское национальное движение» (по-видимому, группа князя Н. В. Масальского, обнарудовавшая 15 июля 1934 г. проект программы, подробно описанной в той же газетной статье; место публикации не указано).

⁶⁵ Сергей Никитич Иванов — берлинский инженер; в 1936 г. — руководитель берлинского отдела Всероссийской фашистской организации (А. А. Воняцкого); во время Второй мировой войны участвовал (в чине хорунжего, затем — майора) в формировании частей, влившихся в РОА (Русская освободительная армия). См.: Окороков А. В. Фашизм и русская эмиграция (1920–1945 гг.). М., 2002. С. 166; Александров К. М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власова 1944–1945. Биографический справочник. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2009 (по имен. указ.).

⁶⁶ См.: Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918–1941. Hrsg. von Karl Schlögel, Katharina Kucher u. a. Berlin, 1999 (по указателям личных имен и организаций); электронная версия: russkij-berlin.org/chronik-1934.html. Другие выступления Матанкина в 1934 г.: доклад «Фридрих Великий и Россия» (17 сентября 1934 г.); доклад «Генерал-фельдмаршал фон Мольтке и Россия» (21 ноября 1934 г.); доклад «Что мы отвергаем?» (13 декабря 1934 г.) (Ibid. S. 458, 459.)

Собрания продолжались в 1935 году. Так, 4 и 25 марта 1935 г. в ресторане «Гэфтер» Матанкин читал перед своими единомышленниками (т. е. на собрании «Общества самопомощи русских национальных эмигрантов») доклад «Евреи в России» (Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918–1941. S. 461, 462); электронная версия: russkij-berlin.org/chronik-1935.html).

⁶⁷ Baur J. Die russische Kolonie in München 1900–1945. Deutsch-russische Beziehungen im 20. Jahrhundert. Wiesbaden, 1998. S. 228 (Veröffentlichungen des Osteuropa-Institutes München. Reihe: Geschichte. B. 65).

⁶⁸ Воспроизводим титульный лист этого издания, напечатанного по старой орфографии: **Александръ Матанкинъ**. 20 пунктовъ. Издание «Самопомощи Русскихъ Национальныхъ Эмигрантовъ». Берлинъ. [1935?]. [2 стр.]. На последней странице указан «склад издания»: Berlin–Hallensee, Karlsruherstr<asse> 7a, bei S. Iwanoff (о С. Н. Иванове см. примеч. 65). Немецкоязычное (расширенное) издание этой брошюры вышло в том же издательстве (по-немецки: Selbsthilfe Russischer Nationaler Emigranten) под названием: *Matankin A.* 20 Punkte. Unsere Prinzipien und Aufgaben [Наши принципы и задачи]. Berlin, [1935]. [5 S.]. На заднем форзаце немецкоязычной брошюры указано: «Leiter der Organisation Prof. A. Matankin» («руководитель организации проф. А. Матанкин») и сообщен его домашний адрес (Berlin, Leibnitzstrasse 35).

Эта русскоязычная брошюра не осталась незамеченной в СССР. «Некий Матанкин выставил 24 (описка в документе, сопоставимая с датой обнародования гитлеровских 25 пунктов — 24 февраля 1920 г. — К. А., Г. С.) программных пункта, среди которых значится требование уничтожения Версальского договора» (цит. по машинописному обрывку второй половины 1936 г., без подписи и заголовка, хранящемуся в Историческом архиве Института Восточной Европы в Бремене. Ф. 190 (М. С. Зоркий); среди упоминаемых в этом отрывке лиц — Н. Е. Марков, князь Н. В. Масальский, А. В. Меллер-Закомельский, военный писатель К. В. Сахаров и другие праворадикально и профашистски настроенные русские эмигранты). Кто был автором этого текста, был ли он опубликован и где именно, установить не удалось.

Марк Соломонович Зоркий (наст. фамилия — Липшиц; 1901–1941) — историк, профессор МГУ. В 1938–1941 гг. заведовал кафедрой новой истории. Автор работ по истории Германии XIX–XX вв. В 1920-е гг. — активный деятель комсомольского движения.

⁶⁹ Матанкин А. 20 пунктов. [С. 1–2]. В немецкоязычном издании брошюры (см. примеч. 68) и в русскоязычной редакции 1938 года в пункте 17 наказание смертной казнью заменено (соответственно) на «запрещено» (wird verboten) и «карается законом» (см. далее в тексте и примеч. 77–79).

⁷⁰ Biographisches Handbuch des deutschen Auswärtigen Dienstes 1871–1945. B. 3. L — R. Paderborn — München — Wien — Zürich, 2008. S. 203.

Об обстановке в «Русском отделе», а также о характере работы в Службе под названием «Lektorat» германского МИДа в 1928–1933 гг. (составление реферативных

обзоров, переводы статей и сообщений иностранной печати о СССР и т. п.) см.: *Sütterlin I.* Die «Russische Abteilung» des Auswärtigen Amtes in der Weimarer Republik. Berlin, 1994. S. 77–79, 150–151).

⁷¹ О преподавании иностранных языков в этой Академии см.: *Fischer H.* Die militärische Akademie 1934–1945. Osnabrück, 1985. S. 37.

⁷² Op. cit.

⁷³ В ежегодниках Технического университета (см.: Technische Hochschule Berlin. Personal- und Vorlesungsverzeichnis. Berlin, 1934/1935 — 1944/1945) Матанкин значится в списке «лекторов» (предпоследняя ступень преподавательского состава, занятого, как правило, ведением практических курсов) польского, а с апреля 1939 г. — и русского языка. До Матанкина русский язык и российское культуроведение в Техническом университете преподавал Рейнгольд Юльевич Остен-Сакен (1871–1937).

О берлинском Техническом университете в данный период см.: *Schröder W. H.* Die Lehrkörperstruktur der Technischen Hochschule Berlin 1879–1945 // *Wissenschaft und Gesellschaft. Beiträge zur Geschichte der Technischen Universität Berlin 1879–1979.* Bd. 1. Berlin, 1979. S. 99–100; *Heiber H.* Universität unterm Hackenkreuz. Teil II. Die Kapitulation der Hohen Schulen. Das Jahr 1933 und seine Themen. Bd. 2. München [u. a.], 1994. S. 26–35.

⁷⁴ *Matankin A.* Polnisch-Deutsch, Deutsch-Polnisch. Franckhs Militär-Wörterbücher für Wehrmacht und Wehrtechnik. Bd. IV. Stuttgart, 1938.

⁷⁵ Возможно, Матанкин входил в русский штурмовой взвод, который собирался в «помещении немецких дружинников (S. A.) на Бранденбургштрассе 69» (см.: [Б. п.] Что говорит РОНД? // *Новое слово.* 1933. № 1. 21 мая. С. 3; там же — фотография русской «Sturm-Truppe» — взвода штурмовиков во главе с фюрером А. П. Светозаровым (Пельхау) на первомайской демонстрации). Штурмовикам посвящено несколько строк в брошюре Матанкина 1938 г. (см. примеч. 77): «высшее выражение беззаветности» и пр.

РОНД — Русское освободительное национальное движение (пронацистская организация, созданная сразу же после прихода Гитлера к власти и запрещенная германскими властями в сентябре 1933 г.).

⁷⁶ Николай Адольфович Швабе (1897–1944). См. о нем краткую справку (доведенную до 1921 г.) в кн.: *Волков С. В.* Офицеры российской гвардии. Опыт мартиролога. М., 2002. С. 529. Даты жизни Н. А. Швабе заимствованы нами из банка данных Э. Амбургера: <http://88.217.241.77/amburger/index.php?id=77225>

В своей типографии Швабе печатал также издания РНСД (А. В. Меллера-Закомельского и др.). В 1938 г. им была выпущена брошюра Н. Е. Маркова «Лик Израиля».

⁷⁷ *Матанкин А.* К устройству будущей России. <Берлин, 1938>. С. 24 (весь текст — по старой орфографии).

⁷⁸ Там же. С. 29. Мысль о «союзе» русских и немцев венчает и всю брошюру Матанкина: «Ныне пути русских и немецких националистов сошлись, ибо у них общий враг и общий фронт борьбы. <...> А потому да здравствует совместная братская русско-немецкая борьба против общих врагов!» (С. 32).

⁷⁹ Там же (курсиву соответствует разрядка в оригинале).

⁸⁰ На обложке «Будущей России» указана книжка «того же автора»: «Наши принципы и задачи». Все наши попытки обнаружить это издание оказались напрасны-

ми, однако их краткая версия изложена в немецком издании «20 пунктов» (см. примеч. 69).

⁸¹ См. подробнее: *Стефан Дж.* Русские фашисты. Трагедия и фарс в эмиграции 1925–1945. М., 1992. С. 44–49; *Янов А.* Россия против России. Очерки истории русского национализма 1825–1921. Новосибирск, 1999. С. 338–350; Политическая история русской эмиграции 1920–1940 гг. / Под ред. проф. А. Ф. Киселева. М., 1999. С. 303–336; *Williams R. C.* Culture in Exile. Ithaca, N. Y., 1972. P. 332–352. О расстановке сил в правой части русской эмиграции в Германии см. также: *Чистяков К. А.* Российская политическая эмиграция в Берлине во второй половине 1930-х гг. // Русский Берлин 1920–1945. Международная научная конференция 16–18 декабря 2002 г. М., 2006. С. 406–422.

⁸² Сообщил в декабре 2010 г. Хорст Бюшер (род. в 1927 г.; впоследствии — журналист), младший сын Катарины Матанкиной-Хессельбарт от первого брака.

⁸³ Biographisches Handbuch des deutschen Auswärtigen Dienstes 1871–1945. Bd. 3. L — R. S. 203. Регистрационная карточка Матанкина обнаружена в Федеральном архиве Германии; номер членского билета — 8157943. Дата подачи заявления — 3 мая 1940 г.; дата вступления в партию — 1 июля 1940 г. Вид деятельности — преподаватель высшей школы (Hochschullehrer). Там же хранится регистрационная карточка Матанкина как члена нацистского Союза доцентов — Союза преподавателей (NSD Dozentbund. Reichsfachschaft I NS. Lehrerbund); семейное положение — холост; должность — лектор. Дата вступления в Союз отсутствует.

NSD (Nationalsozialistischer Deutscher Dozentbund) — одна из структур Национал-социалистической рабочей партии, созданная в 1935 г. для укрепления нацистского влияния на высшую школу Германии.

⁸⁴ В кладбищенских документах зарегистрирован как Мартынкин.

М. В. Безродный
Poetree

Ждет уж рифмы

Представление о том, что популярный в русской лирике образ березы наследует устно-поэтической традиции, не вполне верно. Для силлабо-тонической рифмованной поэзии важна не столько фольклорная репутация этого растения, сколько звуковая фактура этого слова: береза плачет, мечтает или способствует созданию соответствующей атмосферы благодаря тому, что рифмуется со «слезами» и «грезами», а эпитетом «с(е)ребристая» она обязана не окраске коры, а «морозу» и подобию рядов б-е-р-е-з/с- и с-е-р-е-б-.

Что же до «липы», то она притягивает «лепет», напр.: «Я помню липу, нераздельно <...> Как ветви сладостно шептали! / Как отвечал им лепет мой!» (А. Одоевский); «Лепечут песню новую / И липа бледнолистая» (Некрасов); «...лепет нежной липы» (Фофанов); «Под вещей лепет темных лип» (Кузмин); «Не отсыхает ли язык / У лип, не липнут листья к небу ль» (Пастернак); «Липа что-то в ответ лепечет» (Д. Бедный); «...все так же ль листья лип / Лепечут уповательно?» (Набоков); «И с неба липою пахнуло <...> твой лепет...» (Набоков)¹.

Со сна

Немецкой паре «Ваим — Траум» соответствуют русские «береза — греза» и «сосна — сон». Переключка «сосны» и «сна» — неисчерпаемый ресурс каламбуров, а в поэзии они нередко соседствуют еще и со «сне-

гом», ср.: «Морозов и снегов и голосистых вьюг <...> когда у нас земля / Сном богатырским спит и блеском хрусталя / Осыпаны дубы и сосны вековые» (Языков); «Пусть сосны и ели / Всю зиму торчат, / В снега и метели / Закутавшись, спят» (Тютчев); «Ком снегу она уронила / На Дарью, прыгнув по сосне / А Дарья стояла и стыла / В своем заколдованном сне» (Некрасов); «К старой сосенке прижалась, / На ручки прилегла, / И, голубушка, казалось, / Крепким сном она спала» (Майков); «Как белым саваном, покрытая снегами, / Ты спишь холодным сном под каменной плитой, / И сосны родины ненастными ночами» (Надсон); «Под копытом на снегу <...> Дремлет лес под сказку сна <...> Подвязалась сосна <...> Валит снег и стелет шаль» (Есенин).

Переводя «Ein Fichtenbaum...», Лермонтов отказался от противопоставления персонажей по признаку рода-пола², зато воспроизвел единство сосны, сна и снега и прошил стихотворение (и в том числе атрибуты пальмы) звуко сочетанием СН: «сосна — снегом — снится — грустна — прекрасная».

пиний — Плиний

По поводу этой рифмы в:

Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке — Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса

и о том, почему изгородь пиний «черная», высказывались следующие соображения:

(1) «Принято считать (да так оно и есть), что рифма Бродского по преимуществу асемантична, то есть по смыслу слабо связана с контекстом, ничего не подсказывая и не навязывая и вообще то и дело приходясь на служебные части речи. Поэтому редкая для этого поэта смысловая, я бы даже сказал, назойливая рифма пиний — Плиний стоит в самом конце большого стихотворения, почти поэмы. То есть Бродскому пришлось написать целую поэму, чтобы „оправдать“ одну-единственную чуждую его поэтике рифму»³.

(2) «Черная изгородь пиний и кипарис, несомненно, ассоциируются со смертью (значимы черный траурный цвет и ассоциации между хвойными деревьями и погребальными обрядами). На рассохшейся скамейке может

быть положен покойник. Впрочем, „пинии“ — это не только итальянские сосны, но и устойчивая метафора, почти термин для обозначения выбросов пепла из Везувия. В Большой советской энциклопедии читаем: „Типичная особенность деятельности В[езувия] в прошлом — выбрасывание большого количества пепла и газов, образующих столб, расплывающийся наверху в облако в форме итальянской сосны — пинии. Формирование «пинии» часто сопровождалось грозой и ливнем“ (Ерамов Р. А. Везувий). Бродский мог придать слову „пинии“ коннотации „выбросы пепла и газов из Везувия“; такое прочтение поддерживается упоминанием о Плинии Старшем, который задохнулся в облаке ядовитых испарений Везувия»⁴.

(3) «Пинии, составившие достойную средиземноморскую рифму к Плинию, возможно, подсказаны названием симфонической поэмы Респиги „Пинии Рима“, хотя для образования черной изгороди эти деревья, с их широкими зонтиковидными кронами, подходят не очень»⁵.

В (1) и (3) верной представляется квалификация этой рифмы как семантической, а в (2) кажется остроумным смысловое соединение рифмующихся слов через (опущенный) образ Везувия.

Сперва о (2). Здесь напрашивается ссылка на письмо Плиния Младшего к Тациту с изложением обстоятельств смерти Плиния Старшего: «*Nubes — incertum procul intuentibus ex quo monte; Vesuvium fuisse postea cognitum est — oriebatur, cuius similitudinem et formam non alia magis arbor quam pinus expresserit*»⁶.

Теперь о (1) и (3). Нужно заметить, во-первых, что образ пиний нередко сопровождает у Бродского развитие римской темы: помимо «Писем римскому другу» можно вспомнить такие тексты, как «Пьяцца Маттеи» (где «синий — пиний»), «Римские элегии» («пиний — синей»), «Мрамор», «Новая жизнь», «Вертумн».

Во-вторых, точных рифм к «-иний» в русском языке не так уж и много (если не брать в расчет таблицу Менделеева и иные подобные источники). Их достанет на сонет — таковы, скажем, «пиний — павлиний — линий — синей» в «La superba» Вяч. Иванова и «иней — пиний — глициний — эрин[н]ий», предложенные Волошиным для состязания и реализованные в его «Облаках» и в гумилевском «Нежданно пал на наши рощи иней...». Но уже для баллады приходится залезать в кассы «-ыний» и «-ыней»:

Горит свод неба, ярко-синий;
Штиль по морю провел черты;
Как тушь, чернеют кроны пиний;

Дыша в лицо, цветут цветы;
Вас кроют плющ и сеть глициний,
Но луч проходит в тень светло.
Жгла вас любовь, желанье жгло...
Ты пал ли ниц, жрец, пред святыней?

Вы, вновь вдвоем, глухой пустыней
Шли — в глуби черной пустоты;
Месила мгла узоры линий;
Рвал ветер шаткие кусты.
Пусть горек шепот. Ты с гордыней
На глас ответил: «Все прошло!..»
Потом, один, подъяв чело,
Упал ты ниц, жрец, пред святыней?

В саду блестит на ветках иней,
Льды дремлют в грезах чистоты.
Ряд фолиантов; Кант и Плиний;
Узоры цифр; бумаг листы...
Пусть день за днем — ряд строгих скиний,
Мысль ширит мощное крыло...
Познав, что есть, что быть могло,
Ты ниц упал, жрец, пред святыней?

Восторгов миг и миг уныний! —
Вас вяжут в круг одной мечты!
Все — прах. Одно лишь важно: ты
Упал ли ниц, жрец, пред святыней?⁷

Знакомство Бродского с этим стихотворением маловероятно: совпадения («чернеют кроны пиний» — «за черной изгородью пиний»; «Ряд фолиантов; Кант и Плиний» — «На разошедшей скамейке — Старший Плиний») объясняются не влиянием, а ограниченностью ресурсов поэтического языка.

Белое и красное

Мне цыганка-рябина
Милей хоровода берез

Их славянский наркоз
Снимет боль, но не вылечит сплина

А рябина целит
Зрелой яростью ягод кровавых
И по селам царит
И цыганит в дубравах.

Знакомым со стихами Сергея Стратановского непременно бросится в глаза необычная для него классичность ритма. Стихотворение словно взывает к тому, чтобы его читали на фоне традиции.

Перед нами сюжет о деревьях, разработанный в русской лирике в двух вариантах: (1) история неутоленной страсти, поскольку «нельзя рябине к дубу перебраться», и (2) сравнение достоинств. Примеры (1) — переводы на русский «Ein Fichtenbaum...» Гейне как любовного сюжета (о пальме грезит кедр или дуб) и простонародная параллель к этим господским переводам — «Рябина («Что шумишь, качаясь...»)» Сурикова. Примеры (2) — «Березы и ивы» Фета, «Ива с дубом, мечтаю, росли у пруда...» Фофанова и прения лиственных и хвойных: «Ель и береза» Бенедиктова, «Листья» Тютчева, «Сосны» Фета.

Стихотворение Стратановского — второго типа и напоминает «Березы и ивы» Фета, ср. «Мне <...> милей хоровода берез» и «Березы севера мне милы», а также «Снимет боль», «целит» и: «Горячку сердца холодит». У Фета береза и ива — плакальщицы, и это функциональное тождество служит основанием для антитезы. Всемирную отзывчивость ивы («Всю землю, грустно-сиротлива, / Считаю родиной скорбей, / Плачущая склоняет ива / Везде концы своих ветвей») Фет, пожалуй, преувеличил, однако патриотический потенциал у березы, действительно, мощнее.

Весьма значителен он и у рябины: о ностальгических ресурсах березы и рябины (открытых, к слову сказать, одновременно и одним автором — Вяземским) можно говорить как о соизмеримых. В качестве атрибутов национального пейзажа они привыкли к столь тесному взаимодействию («то березка, то рябина»), что иронический взгляд перестает замечать их различий: «Не было ягоды слаще березы рябиновой. / Красная-белая-красная-белая-красная-белая сквозь полосатая ягода» (Волохонский)⁸.

Способность березы и рябины выступать антиподами проявилась, кажется, лишь в «Отговорила роща...», и то попутно, а между тем русская лирика давно и настойчиво приписывает им противоположные качества: «Если береза воплощает застенчивость, простоту, неяркость русской при-

роды, то рябина — ее огневое начало. <...> В березе наиболее гармонично сочетаются такие свойства женской природы, как хрупкость и выносливость, застенчивость и открытость, девственная чистота и праздничность <...> рябина [знаменует] огневую, испепеляющую страсть, дерзкое, удалое веселье, гордый вызов — и вместе с тем трагический надлом, обжигающую горечь страдания»⁹.

Эту тенденцию к полярности Стратановский доводит до предела, уподобляя березу славянке, а рябину — цыганке и тем самым подключая свой текст к европейскому сюжету о метаниях героя между отечественной блондинкой и демонической брюнеткой. Пожалуй, главной находкой тут было именно уподобление рябины цыганке. Намек на такую возможность Стратановский обнаружил, вероятно, у Блока:

Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

О прямом влиянии здесь можно говорить ввиду текстуального сходства, ср.: «в проезжих селах <...> зареет» и «И по селам царит».

¹ У него же в прозе: «...о старых книгах и старых липах лепетал я...».

² Строго говоря, русской поэзии известен и маскулинный образ сосны:

Стоит один угрюмый их товарищ
Как старый холостяк,

однако это редчайший случай, и тот же автор, переводя:

Два су бора напоредо расла,
Међу њима танковрха јела;
То не била два бора зелена,
Ни међ' њима танковрха јела,
Већ то била два брата рођена:
Једно Павле, а друго Радуле,
Међу њима сестрица Јелица,

заменял брата-сосну (бор) братом-дубом:

Два дубочка выросли рядом,
Между ним тонковерхая елка.
Не два дуба рядом выросли,
Жили вместе два братца родные:
Один Павел, а другой Радула,
А меж им сестра их Елица,

т. е. пожертвовал традиционной парностью сосен и елей, которой в оригинале обосновывалось родство персонажей.

³ Штыпель А. Звонкая подруга // Арион. 2004. № 2. С. 37–38.

⁴ Ранчин А. Филологическая биография: Рец. на кн.: Лосев Л. Иосиф Бродский. М., 2006 // Новое лит. обозрение. 2006. № 82. С. 481.

⁵ Жолковский А. Плиний на скамейке // Звезда. 2007. № 5. С. 216.

⁶ «Облако (глядевшие издали не могли определить, над какой горой оно возникло; что это был Везувий, признали позже), по своей форме больше всего походило на пинию» (пер. М. Сергеев). Не отсюда ли уподобление пинии облаку у Вяч. Иванова: «Меры полна, в небесах стелет пиния облак округлый»?

⁷ Брюсов В. Я. Баллада (1916) // Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 т. М., 1974. Т. 3. С. 361–362; впервые: Брюсов В. Незданные стихи (1914–1924). М., 1928.

⁸ Пример подсказан Р. Лейбовым.

⁹ Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной...». М., 1990. С. 67, 86.

Р. Бёрд
**К истории поэтического цеха «Окон ТАСС»
(1941–1945)¹**

С первых дней Великой Отечественной войны группа советских поэтов работала наряду с художниками над созданием плакатов «Окна ТАСС», ставших ярким явлением графического искусства военной поры. Всего за 1941–1946 гг. вышло приблизительно 1350 «Окон», которые воспроизводились трафаретным способом и выставлялись в различных общественных местах, как витрины торговых помещений, станции метро, и даже на специальных выставках как в России, так и в союзных странах². Более восьмидесяти писателей приняли участие в литературной работе над центральными «Окнами ТАСС», в их числе были и широко известные поэты. Мастерские «Окон ТАСС» работали и в Ленинграде, где подвизались ведущие местные писатели, как Ольга Берггольц и А. А. Прокофьев, а также в Ташкенте и других городах Средней Азии³. Цель настоящей заметки — наметить некоторые вехи в истории центральных «Окон ТАСС» и обозначить вопросы для дальнейшего исследования.

Группа поэтов, примкнувших к мастерской «Окон ТАСС» на Кузнецком мосту, была разнородна. Были маститый сатирик Николай Адуев, известный поэт Семен Кирсанов и именитый критик Осип Брик. Были и молодые поэты, как Александр Рохович и Александр Раскин, а также и совсем безвестные люди, приславшие свои стихи в редакцию. Поначалу демократический дух выражался в строго коллективном принципе авторства и издания: хотя все плакаты носили имя художника, до начала августа 1941 г. плакатные тексты подписывались коллективным девизом «Литбригада»⁴.

Вскоре к работе были привлечены еще более известные поэты, в том числе Демьян Бедный, имеющий многолетний стаж сатирической работы в центральной печати и переживший все изгибы постоянно меняющейся генеральной линии, и ведущий детский поэт страны Самуил Маршак, перевоспитавшийся в сатирика во время Финской войны 1939–1940 гг. и регулярно печатавший сатирические стихи и стихотворные подписи к карикатурам в «Правде». В сентябре появились первые плакаты с текстами В. И. Лебедева-Кумача, ставшего со временем одним из признанных мастеров этого жанра. Уже с начала августа 1941 г. плакаты все чаще подписываются именем автора, вырабатываются индивидуальные манеры и устанавливаются творческие союзы между художниками и поэтами. Наибольшую известность получили плакаты, созданные совместными усилиями Маршака и Кукрыниксов (М. В. Куприянов, П. Н. Крылов, Н. А. Соколов), например № 177 «Аттестат зверости» и № 307 «Юный Фриц». Некоторые из их плакатов сначала печатались в «Правде» в виде карикатур и получили широкое распространение в других видах искусства, вплоть до художественного кино (к/ф «Юный Фриц», реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг, 1943).

О некотором напряжении между признанными и юными поэтами, а также между коллективным и индивидуальным принципами творчества свидетельствуют воспоминания А. Б. Раскина: «Маршак обычно задерживался в нашей комнате, читал наши стихи, помогал „дотянуть“ трудную строку. Однажды он так увлекся, что „нечаянно“ написал вместе со мной и Морисом Слободским целое сатирическое стихотворение „Сверхскоты“. Помню, он очень этому дивился и все повторял:

— Я никогда не думал, что так интересно писать стихи коллективно... <...>

На другой день стихи появились в одной из московских газет. За подписью одного Маршака. Нас это несколько озадачило. Вскоре пришел в „Окна“ Самуил Яковлевич, белый от ярости.

— Я при вас позвоню в редакцию! — свирепо заявил он и набрал номер.

— Что вы сделали? — закричал он в трубку. — В какое положение вы меня поставили перед моими молодыми товарищами?! Авторы же трое! Допустим, что три фамилии под небольшим стихотворением громоздки, так сняли бы мою!»⁵

Обстоятельства войны также препятствовали сохранению коллективного принципа. Во время военных действий под Москвой редакция «Окон ТАСС» эвакуировалась в Куйбышев, а поэты попали в различные

уральские и приволжские города. К началу 1942 г. в Москве остались в основном молодые, относительно неизвестные поэты, как А. И. Машистов и А. М. Коган, которые продолжали дело своих наставников. На время сбились сплошная нумерация плакатов и налаженное распространение. Однако сам факт производства и выпуска в Москве все новых плакатов являлся для многих современников значительным актом мужества и свидетельством о продолжающемся сопротивлении вражескому натиску.

В печати и на творческих совещаниях высказывались различные мнения об оптимальной форме плакатного текста. Наиболее взвешенная формулировка принадлежит О. М. Брику: «Оперативный плакат без текста невыносим. Вся задача заключается в том, чтобы найти соответствующую текстовую форму <...> Неверно также утверждение <,> будто чем короче текст тем лучше. Вполне возможны плакаты <,> в которых текст занимает большое место <,> а рисунки являются как бы иллюстрацией к тексту. Возможны плакаты с пространной цитатой и рисунком, иллюстрирующим эту цитату. И обратно, есть плакаты, где требуется короткая ударная подпись, — но подпись эта необходима, чтобы плакат получил свою полную эффективность. / Далеко не все поэты могут подписать плакат. Требуется особое поэтическое мастерство, чтобы найти и срифмовать самые нужные, самые ударные слова выражающие тему плаката»⁶. При этом, как поясняет Брик, «задача не в том, чтобы достичь внешней краткости, — можно и в двух строчках быть многословным, — а в том чтобы сказать только самое необходимое. „Без лишних слов“ — таково задание»⁷.

Главными качествами стихов для «Окон ТАСС», как и для советской сатирической поэзии в целом, являются изобретательность образа и находчивость рифмы. Не всегда выдерживаются синтаксическая последовательность и заданные поэтические размеры, но иногда нарочитые нарушения поэтического этикета лишь усугубляют эффект срочной и искренней импровизации, будто поэты сознательно жертвуют своими талантами для общего дела. О трудности такой работы вспоминала Н. А. Черемных: «Вообще у меня был заскок — я избегала глагольных рифм. Мне казалось, что если я так коротко пишу, то просто стыдно в двух строчках подсовывать легкие глагольные рифмы. И однако одно из „Окон ТАСС“ „Дело было на Днепре, то же было на Днестре“, где жалкие мокрые фашисты вылезают из воды, кончилось так: „Ни вздохнуть, охнуть — некогда обсохнуть“. Эта концовка имела успех и частенько повторялась работниками „Окон ТАСС“»⁸.

Как рассказывает Н. А. Черемных и как подтверждают материалы в фонде О. М. Брика, редакторы часто обращались довольно жестоко с текстами, устраняя длинноты и непоследовательности, обостряя их смысловое и образное острие. Примером может послужить текст И. Петровой к «Окну ТАСС» № 958 (художник С. Костин). Первоначальный вариант состоял из тринадцати строк:

Что посеешь — то пожнешь
рисунок вам не говорит ли,
что перед мужеством бойца
В предсмертных судорогах — Гитлер
рычит, в предчувствии конца...
Зимой — бросает в жар злодея,
Весной — охватывает дрожь...

В полях родных — колхозник сеет
Ячмень, овес, пшеницу, рожь...
Наш урожай — богат и дорог
На нивах родины взойдет!

А Гитлер всюду сеял войны
И поражение — пожнет!⁹

После редакторской работы текст был сокращен до восьми строк:

Фашистского злодея
Бросает в жар и в дрожь: --
Колхозник будет сеять
Овес, пшеницу, рожь.

В полях под солнцем знойным
Наш урожай взойдет.
А Гитлер сеял войны
И смерть свою пожнет.

Картина художника П. П. Соколова-Скаля к этому плакату показывает весеннее поле, на котором, читая справа, идут крестьянин с сеялкой, красноармеец с винтовкой и (в нижнем левом углу) карикатурный Гитлер

окруженный разбитыми немецкими пушками и танками, дико машущий кинжалом. Стоит отметить, как в картине героические портреты воина и крестьянина в духе социалистического реализма сочетаются с сугубо издевательской карикатурой врага. В текстах же подобные синтетические решения встречаются гораздо реже.

В плакатной поэзии прежде всего бросается в глаза ее функциональность: она называет врага по имени, обозначает его главные качества, разоблачает расстояние между его словом и делом и дает лозунг для борьбы с ним. О. М. Брик находил специфику плаката «не в особых свойствах формы, не в особых качествах текста, а в глубокой агитационной убедительности и текста, и изображения, — в точном и ясном знании, во имя какой идеи плакаты созданы»¹⁰.

Как писал Брик, «несмотря на столь большую разнохарактерность плакатов по своей тематике, есть тема, которая объединяет все другие темы, придает им целевую направленность. Эта тема в течение всего существования „Окон ТАСС“ является движущим мотивом в работе творческого коллектива — это речи, доклады, приказы тов. Сталина»¹¹. Действительно, далеко не последнее место в поэтике «Окон ТАСС» занимают речи и приказы И. В. Сталина, которые пестрят метафорами и лозунгами, порождающими немало плакатов. Например, на изречение «Молодец против овец, а против молодца и сам овца» (из речи Сталина 1 мая 1942 г.) были созданы два плаката, в том числе и № 472 с изображением Кукрыниксов и текстом Маршака. Поэтам приходилось считаться с общими установками, задаваемыми вождем. Например, после того как 23 февраля 1942 г. Сталин приказал не умалять угрозу со стороны врага, издевательски-карикатурные плакаты временно уступили первенство более патетическим призывам к героизму.

Над поэтами «Окон ТАСС» неотвязно висела тень В. В. Маяковского, который как бы узаконил анархический дух сатирической поэзии в пределах советской литературной системы, но который к концу 1930-х гг. стал обязательным авторитетом для всех работающих в этом жанре. В лице О. М. Брика и М. М. Черемных «Окна ТАСС» сохранили живую связь с традициями «Окон РОСТА». При посещении мастерской осенью 1945 г. Луи Арагон восклицал: «Да, здесь бессмертный дух Маяковского...»¹² Поэты и художники «Окон ТАСС» охотно ассоциировали свое творчество с великим предшественником, и эти ассоциации признавались современниками¹³. Однако сравнение порой шло на руку их критикам. В статье «Непонятые традиции»

от 4 апреля 1942 г. драматург Георгий Мунблит писал: «В целом ряде случаев рисунки так красноречивы и выразительны, что текст, которым они снабжены, кажется попросту излишним. И очень редко этот текст, как у Маяковского, мог бы существовать самостоятельно»¹⁴. Под подзаголовком «Маяковский сегодня» Алексей Сурков стонал: «Обидно становится за жанр, взлелеянный Маяковским, когда, проходя по улице Москвы, читаешь приклеенные к огромному столбу стишки Машистова „Партизанка“, которые ни по жанру, ни по качеству не подходят „Окнам“ и столь слабы, что и в стенгазете бы их не напечатали»¹⁵. В анонимной передовой «Художник-агитатор», после критики некоторых шаблонных картин, достается и поэтам: «Очень неудачны и многие из текстов к „Окнам ТАСС“. Они многословны, подчас литературно недоброкачественны. Что, к примеру, могут сказать современному человеку, участнику великой войны, неряшливые „вирши“ А. Когана:

Товарищ, в военное время живем,
Мы боеприпасы для фронта куем.
Чтоб уничтожить фашистских гадов,
Все больше и больше дадим снарядов»¹⁶.

Трудно согласиться, будто все стихи Маяковского, включая подписи к «Окнам РОСТА» и рекламные тексты, действительно могли «существовать самостоятельно». Дело скорее в том, что после смерти Маяковского в советской системе поэтических жанров сатира резко отделилась от «серьезной» поэзии. Например, в структуре Союза советских писателей «сатира и юмор» относились к иному отделу, чем «поэзия», для них создавались отдельные журналы и т. п. На этом фоне попытки поэтов «Окон ТАСС» снова писать остро на серьезные темы не могли не показаться критикам гротескными и сомнительного вкуса. Не исключено, что повышенный интерес к качеству стихотворных подписей к плакатам также был связан с вышеупомянутым приказом Сталина от 23 февраля 1942 г.

Во всяком случае бурные дискуссии вокруг поэтических текстов «Окон ТАСС» в феврале—апреле 1942 г. отражают кризис в официальных органах страны. 6 февраля было проведено совещание руководства ТАСС, на котором детально разбирались различные стороны плакатного дела¹⁷. Возможно, именно это совещание привело к следующему письму, которое руководитель ТАСС Яков Хавинсон направил председателю Союза советских писателей А. А. Фадееву:

СССР
Телеграфное агентство Союза
ТАСС
при СНК СССР
20.II.1942
№ 27

Ответственному секретарю Союза советских писателей
тов. Фадееву А. А.

Копия: ЦК ВКП(б) — т. Зуевой

Тов. ФАДЕЕВ!

На последнем расширенном заседании Президиума Союза писателей Вы сказали, что «замечательные кадры литераторов вместе с художниками участвуют в создании „Окон ТАСС“». Это относится к прошлому. Действительно, в начале Отечественной войны часть лучших поэтов принимали участие в создании литературных текстов «Окон ТАСС», активно работали: Маршак, Кирсанов, Демьян Бедный, Лебедев-Кумач, Адуев и другие. Но вот уже более двух месяцев, как они фактически прекратили вести какую-либо работу в «Окнах ТАСС». В настоящее время никто из членов Союза писателей не принимает участия в этой интересной и нужной для страны работе.

Это, естественно, заметно понизило качество литературных текстов. Вам лично хорошо известно, что от литературного текста в большой степени зависит качество плакатов-окоп в целом. Сейчас совершенно очевидно, что «Окна ТАСС» стали одной из острых форм массовой наглядной политической агитации в условиях Отечественной войны, они хорошо принимаются в действующей армии, на предприятиях, вокзалах, площадях, выпуск их принимает все более массовый характер. Мы имеем все возможности выпускать окоп больше, делать их интереснее и лучше.

Прошу Вас поставить на заседании Президиума ССП вопрос о выделении для систематической работы в «Окнах ТАСС» поэтов:

1. Маршак — руководитель бригады
2. Суркова
3. Демьяна Бедного
4. Щипачева
5. Кирсанова
6. Анатолия Гусева
7. Твардовского
8. Симонова

Ответственный руководитель ТАСС
Я. Хавинсон <подпись>¹⁸

Кампания за обновление писательского состава дала быстрые результаты. Союз писателей отозвал в Москву С. Я. Маршака и Демьяна Бедного. Также стал интенсивно сотрудничать и Василий Лебедев-Кумач.

С этого момента наблюдается заметное оживление в распространении и пропагандировании «Окон ТАСС». Плакаты воспроизводились и распространялись различными способами, от литографированных листовок до «световых окон», диафильмов и художественных фильмов, например «Юный Фриц» Григория Козинцева и Леонида Трауберга (1943, фильм не был выпущен на экран). Летом 1942 г. вышел плакат «Убей его!» (№ 527), подпись к которому составили две строфы из стихотворения К. М. Симонова, получившего широкий резонанс и породившего многочисленные подражания¹⁹. В известном докладе «Советская литература в дни Отечественной войны» заменивший А. А. Фадеева на посту председателя Союза писателей Н. С. Тихонов вспоминал, как стихи Симонова «расклеивает аршинными буквами осажденный Ленинград»²⁰. О. М. Брик и А. И. Машистов создали «Фельетон-монолог» под названием «Русская честь», который рассказывал историю войны посредством просмотра избранных «Окон ТАСС»²¹.

Тем не менее качество поэтических текстов в «Окнах ТАСС» продолжало вызывать недовольство. В недатированном письме к Н. С. Тихонову, вероятно относящемся к началу 1944 г., новый руководитель ТАСС Н. Г. Пальгунов точно повторил некоторые формулировки из письма своего предшественника Фадееву:

«Председателю Союза Писателей тов. Тихонову

Тов. ТИХОНОВ!

В начале войны большая группа лучших наших поэтов принимала активное участие в создании литературных текстов плакатов «ОКНА ТАСС».

В настоящее время мало кто из поэтов, членов Союза Писателей, делает эту увлекательную и нужную для страны работу.

От этого, естественно, сильно понизилось качество литературных текстов. А вместе с тем и качество всего плаката в целом.

«ОКНА ТАСС» являются одной из самых острых форм массовой наглядной политической агитации в условиях Отечественной войны. Они хорошо принимаются в действующей армии, на предприятиях, на вокзалах, на городских площадях. Выпуск их принимает все более массовый характер.

Снижение качества плакатов «ОКОН ТАСС» недопустимо.

Просим Вас поставить на заседании Президиума Правления ССП вопрос о выделении для систематической работы в «ОКНАХ ТАСС» поэтов:

Алигер, М.

Антокольский, П.

Исаковский, М.

Кирсанов, С.

Тихонов, Н.

Уткин, И.

Эренбург, И.

Щипачев, С.

Ответственный руководитель ТАСС
при СНК СССР (Пальгунов)²².

На сей раз письмо не имело явных последствий. Из названных поэтов все, кроме М. В. Исаковского и Н. С. Тихонова, уже печатали тексты на плакатах «Окна ТАСС», однако никто из них больше не привлекался к этой работе вплоть до конца войны. Исаковский подписал свой единственный плакат («Русской женщине», № 1335, художник В. И. Ладягин) лишь в конце 1945 г.

Сегодня работа советских поэтов в мастерской «Окон ТАСС» часто вспоминается в связи с едкой эпиграммой арбатского поэта Николая Глазкова:

Мне говорят, что «Окна ТАСС»

Моих стихов полезнее.

Полезен также унитаз,

Но это не поэзия²³.

Невзирая на неровное качество литературной продукции поэтов «Окон ТАСС», нельзя сомневаться в том, что они внесли значительный вклад в создание специфического фона войны и в традицию русской эпиграмматической поэзии (к которой, впрочем, следует отнести и Глазкова). След этих текстов также отложился как на иных видах искусства (например, в двенадцати «Боевых киноальбомах» и отдельных полнометражных фильмах военной поры), так и в крупных произведениях художественной литературы, подобно «Василию Теркину» А. Т. Твардовского, который поначалу вызывал не меньше возражений со стороны блюстителей литературного вкуса, чем «Окна ТАСС». Вспоминая истоки своего персонажа в карикатурах

и плакатах о Васе Теркине, Твардовский приветствовал многочисленные любительские «продолжения» своей поэмы, усматривая в них возврат Теркина «в современную полуфольклорную поэтическую стихию»²⁴. «Окна ТАСС» представляются одним из важных русел, по которым осуществлялась эта взаимообратимость официального и народного сознания (или элитной и массовой культуры) во время войны.

¹ Работа над настоящим сообщением велась в связи с готовящейся в Art Institute of Chicago выставкой «Окон ТАСС», которая откроется в г. Чикаго в июле 2011 г. За обсуждение изложенных в сообщении наблюдений и предоставление материалов автор приносит свою искреннюю благодарность организаторам выставки: Константину Акинше, Джилл Бугайски, Адаму Джоллесу, Дугласу Друику, Питеру Зегерсу.

² См.: Острое перо: Стихи советских поэтов в центральных «Окнах ТАСС» / Предисловие и публикация Т. Н. Конопацкой и Л. Э. Медне // Литературное наследство. Т. 78. Кн. 1. М., 1966; *Жаров А.* Слово в плакатах «Окон ТАСС» // *Окна ТАСС 1941–1945.* Сост. Н. Денисовский. М., 1970.

³ См.: Ленинградские «Окна ТАСС» 1941–1945 гг. в собрании Российской национальной библиотеки. Каталог / Сост. И. В. Селиванова, Н. Н. Школьный // СПб., 1995; *Долгинская В. Г.* Плакат Узбекистана. Ташкент, 1968. С. 57–82.

⁴ Плакаты, подписанные «Литбригадой», атрибутируются отдельным поэтам на основании экземпляра «Летописи изобразительного искусства Великой отечественной войны» (№ 1. 1942) с пометками О. М. Брика; см.: РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 111.

⁵ *Раскин А.* Вечер эпиграмм // *Литературная Россия.* 1970. № 24. 12 июня. С. 19. Раскин имеет в виду «Окно ТАСС» № 124 «Сверхскотство» (художники Кукрыники).

⁶ РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 346. Л. 47. Цитируемые записи относятся к работе Брика над апологетической статьей: *Брик О.* Картина вышла на улицу (Из опыта работы в редакции военно-оборонного плаката — «Окна ТАСС») // *Знамя.* 1944. № 12.

⁷ РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 346. Л. 48.

⁸ *Черемных Н. А.* Хочется, чтобы знали и другие. М., 1965. С. 187.

⁹ РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 52. Л. 40 об.

¹⁰ *Брик О.* Картина вышла на улицу. С. 187.

¹¹ РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 346. Л. 3.

¹² *Колесникова Л. Е.* Тысяча штыковых атак // *Советская Россия.* 1986. 26 декабря. С. 4.

¹³ См. например: *Полевой Б.* Повесть о настоящем человеке. М., 1947. С. 182.

¹⁴ *Мунблит Г.* Непонятые традиции // *Литература и искусство.* 1942. 4 апреля. С. 4.

¹⁵ *Сурков А.* Маяковский сегодня // *Литература и искусство.* 1942. 18 апреля. С. 2. Сурков имеет в виду «Окно ТАСС» № 442.

¹⁶ Художник-агитатор // *Литература и искусство.* 1942. 28 марта. С. 1. Имеется в виду «Окно ТАСС» № 433 художника К. А. Вялова и поэта Аркадия Когана.

¹⁷ ГАРФ. Ф. 4459. Карт. 11. Ед. хр. 1253. Л. 19.

¹⁸ РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 575. Л. 4.

¹⁹ См. например: *Кирсанов С.* Истреби // *Комсомольская правда.* 1942. 28 июля; *Барто А.* Убей его // *Комсомольская правда.* 1942. 23 сентября.

²⁰ *Тихонов Н.* Советская литература в дни Отечественной войны // Литература и искусство. 1944. 12 февраля. С. 2.

²¹ РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 111. Л. 36–54.

²² РГАЛИ. Ф. 2852. Оп. 1. Ед. хр. 346. Л. 51–52.

²³ *Глазков Н.* Избранное. М., 1989. С. 541. По другим поводам, однако, будучи близким другом литературного редактора «Окон ТАСС» Осипа Брика, Глазков совсем по-другому оценивал эту поэзию как честный вклад поэтов в защиту родины; см.: *Валюжнич А.* Осип Максимович Брик: Материалы к биографии. Акмола, 1993. С. 197.

²⁴ *Твардовский А. Т.* Собрание сочинений: В 6 т. М., 1980. Т. 5. С. 140.

Т. Венцлова

О строении сонета Вячеслава Иванова «La Superba»

Тень реет. В глубине, за рощей горных пиний,
Залива гневный блеск под грозовым крылом,
И зыбкой чешуи изменчивым стеклом –
Туч отраженный мрак, и волн отлив павлиний...

А на краю земли, в красе надменных линий,
Восточный стражник — мыс подьмет свой шелом,
И синие хребты властительным челом
Из влажной бирюзы встают до тучи синей.

Лазурный дух морей, безвестных гость дорог –
Вдали корабль; пред ним — серп лунный, вождь эфирный...
Уж день переступил предельных скал порог.

Но горном тлеющим, в излучине сафирной,
В уступах, на чертог нагромоздив чертог,
Все рдеет Генуи амфитеатр порфирный.

Стихотворение «La Superba» впервые опубликовано в сборнике Вячеслава Иванова «Кормчие звезды» (1902), в разделе «Итальянские сонеты», состоящем из двадцати двух поэтических текстов. Его можно предположительно датировать 1898 или 1899 годом. С конца 1897 года до конца 1898 года поэт жил в приморском городке Аренцано, несколько западнее

Генуи, которой посвящены стихи¹. 1899 годом датируются некоторые другие «Итальянские сонеты»². Две строки «La Superba» Иванов цитирует в своем письме Лидии Зиновьевой-Аннибал от 2–4/15–17 декабря 1901 года из Афин: в это время стихотворение, несомненно, было ей хорошо знакомо³. В письме Лидии Ивану Михайловичу Гревсу от 17/29 января 1898 года можно найти описание пейзажа Аренцано, близкое к тексту стихотворения: «Местечко наше совсем полудикое: никого нет. Тишина и море и вся красота упоительная Генуэзского залива с амфитеатром Генуи по холмам вдали — лежит перед нами, видимая с нашей горки, где наша вилла, через серую рощу олив»⁴.

Раздел или цикл, куда входит «La Superba», посвящен в основном местностям Италии (Венеции, Равенне, Риму, Сиракузам, Таормине, озеру Неми...) и памятникам итальянского искусства («Последней вечере» Леонардо да Винчи, «Давиду» Микеланджело, ватиканским фрескам Рафаэля...). Его можно считать частью весьма обширного «итальянского текста» русской литературы⁵. Сонеты цикла обычно построены по так называемому итальянскому (петрарковскому) типу, хотя рифмовка — особенно терцетов — от него иногда отклоняется⁶. Эту ориентацию на классический чужеземный образец подчеркивает сам Вячеслав Иванов в стихотворном эпиграфе к разделу:

Италия, тебе славянский стих
Звучит, стеснен в доспех твоих созвучий!
Стих родины отзвучной и певучей,
Прими его — дар от даров твоих!

Пятнадцать «Итальянских сонетов», в том числе «La Superba», написаны шестистопным ямбом с цезурой после третьей стопы; в семи сонетах употреблен пятистопный ямб.

Как и многие другие сонеты цикла, «La Superba» — пейзажное стихотворение, сопоставимое, скажем, с «Крымскими сонетами» Адама Мицкевича. Оно описывает Генуэзский залив на закате, под грозовыми облаками, с кораблем на воде и лунным серпом в небе. Край залива отмечает гористый мыс Портофино, о котором дан авторский комментарий: «„Восточный стражник — мыс“ — Porto Fino, напоминающий своею формой коринфский шлем». Сам город находится в глубине картины и появляется только в завершающем терцете.

В этом пейзаже (в отличие, например, от того же Мицкевича) вообще нет человека: изображены атмосферные массы, массы ландшафта, массы архитектуры. Человек представлен только взглядом — он есть как бы зри-

тель торжественного (античного) спектакля. В последней строке недаром поминается амфитеатр. Но любопытно, что этот амфитеатр — часть, причем главная часть, развернутой перед нами сцены: зритель не находится в амфитеатре, а глядит на него издали — видимо, с морского берега, со стороны Аренцано (как актер мог бы глядеть на ярусы сидений с края орхестры). Иначе говоря, зрительный зал оказывается частью представления, как бы декорацией. Поэт преподносит нам некий «театр в театре», театр в квадрате, где разыгрывает спектакль то ли природа, то ли Бог.

Смысловое движение катренов и терцетов в целом следует классической (шлегелевской) схеме. Первый катрен описывает залив — изменчивую воду и небо над ней; противопоставленный ему второй катрен уточняет границы картины — дальний восточный берег Портофино и хребты, окружающие водное пространство. При этом последние строки обоих катренов связаны — они подчеркивают вертикаль, крайние точки которой (облака и волны) расположены согласно фигуре хиазма («**Туч** отраженный мрак, и **волн** отлив павлиний — Из **влажной бирюзы** встают до **тучи синей**»). В первом терцете сохранена та же оппозиция **верх** vs. **низ**, но вводятся новые ее элементы: появляется корабль — точка на воде залива, и луна — серп высоко над водой. Кроме этого, здесь уточнено время — вечер («Уж день переступил предельных скал порог»). Во втором терцете сонет находит свое разрешение и логическое завершение. Взгляд устремляется в **глубину** (упомянутую уже в первой строке), и ему открывается зрелище далекого, уступами поднимающегося **вверх**, вечернего, но еще не погруженного во мрак города. Этот город предстает как медиатор в пространстве и во времени: он расположен между водой и небом, а также между ночью (тенью) и днем.

При этом сонет построен по модели загадки. «La Superba» (великолепная, превосходная) — традиционный эпитет Генуи. Как известно, подобные эпитеты прилагаются ко многим итальянским городам (Roma la santa, Firenze la bella, Padova la dotta, Bologna la grassa). Но если читатель этого не знает (что, впрочем, относится скорее к современному читателю, чем к читателю эпохи Вячеслава Иванова), ему до конца не вполне ясно, о чем идет речь, и лишь последняя строка дает разгадку (в этом смысле, как и в других, оказываясь разрешением сонета). Заглавие стихотворения есть как бы псевдоним, который раскрывается в конце. Кстати говоря, этот же прием в ослабленном виде проведен в первом терцете. «Лазурный дух морей, безвестных гость дорог» — две загадочные перифразы, смысл которых («корабль») раскрывается только в следующей строке.

Впрочем, фонетические намеки на имя «Генуя» обильно рассыпаны в сонете с самого его начала (тень, глубине, гневный и т. д.; ср. еще чешуи — Ге-

нуи). Весьма любопытно, что в последней строке анаграммировано и другое географическое название — Портофино (амфитеатр порфирный).

Один из основных ивановских приемов, заметный отнюдь не только в разбираемом нами стихотворении, — нарастание материальности от строфы к строфе и даже от строки к строке. «Все легкое, зыбкое, туманное и разреженное посредством ряда метафор последовательно подменено и вытеснено тяжелым, незыблемым, плотным»⁷. Вначале перед нами волны и тучи, затем появляются дальние, слегка «дематериализованные» холмы, превращенные как бы в мифические фигуры («Восточный стражник — мыс подъемлет свой шелом, / И синие хребты властительным челом / Из влажной бирюзы встают до тучи синей»), затем корабль и луна, еще обладающие признаками «летучести», «космичности» и данные в антропоморфно-мифологическом модусе («Лазурный дух морей, безвестных гость дорог», «вождь эфирный»), затем вполне материальные скалы, и в конце концов «сверхматериальные», громоздящиеся друг на друга дворцы Генуи на уступах каменного амфитеатра. То же нарастание материальности очевидно в последовательности рифм: эфирный — сафирной — порфирный. Речь идет вначале о «невесомой материи» эфира, после этого о *прозрачном* драгоценном камне и наконец о *непрозрачной*, тяжелой горной породе. «Поэт озабочен тем, чтобы вернуть стершимся „ювелирным“ сравнениям почти навязчивую чувственную конкретность. Для этого он ставит метафорический образ камня в возможно более тесное соседство с образом „настоящего“ камня»⁸. Впрочем, даже зыбкая материя воды и туч дается как нечто весомое и/или твердое (крыло, стекло, бирюза).

Этому нарастанию материальности аккомпанирует игра света. На землю сходит вечер и ночь, но свет постепенно усиливается. Сонет начинается со слов «Тень реет», которым в последней строке, в той же позиции, отвечают слова «Все рдеет» (отметим здесь и сильную звуковую связь реет — рдеет). «Отраженный мрак» в конце первого катрена соотносится с «горном тлеющим» в начале заключительного терцета (причем горн, в отличие от мрака, — нечто материальное). Можно заметить, что слово «тлеющим» (причастие от глагола тлеет) связано с открывающими текст словами тень реет.

Неоднократно отмечалась «геральдичность», «эмблематичность», статичность ивановских текстов, имеющая прямое отношение к его концепции символа⁹. В конечном счете к ней сводится подчеркнутая материальность, о которой мы только что говорили. Статичность стихотворения «La Superba» проявляется и на грамматическом уровне. Вячеслава Иванова часто определяют как «поэта существительного». Это оправдывается и в нашем случае. Всего в сонете 89 слов: почти половина из них (41) — существительные, 21 — прилагательные или причастия, глаголов толь-

ко б (правда, в основном это глаголы движения). В первом катрене только один глагол — **реет**; все остальные глаголы трансформированы в имена (**блеск, изменчивый, отраженный, отлив**). Только один глагол — **переступил** — дан и в первом терцете, изобилующем эллипсисами. При этом имена очень часто (24 случая, из них в первом терцете 9) появляются в «наиболее статичном» падеже — номинативе. Следует отметить характерные для Иванова архаизмы (**подъемлет, шелом, челом, пред, чертог...**), а также иностранные слова, обычно грецизмы, выделяющиеся «нерусской» фонемой **ф**. Впрочем, и те и другие в тексте стихотворения употребляются скорее умеренно.

Вторая и четвертая строки сонета (так же, как четвертая и восьмая) дают фигуру хиазма:

Залива гневный блеск / под грозовым крылом

Туч отраженный мрак, / и волн отлив павлиний

Слово **залива** как бы отражено в слове **отлив**, слова **грозовым крылом** — в словах **туч ... мрак**. Интересно, что в существительном **отлив**, обозначающем «игру красок», оживает и другая коннотация — «убыль воды», «отступление волн от берега». Можно заподозрить и окказиональную коннотацию, действующую только в пределах данного текста: «отлив» противопоставлен «заливу», есть как бы «антизалив» — может быть, то место суши, где с радужным сверканием разбиваются волны.

На ритмическом уровне, кроме общего оттенка торжественной архаизации, свойственного строгому шестистопному ямбу, заметны разнообразные семантические эффекты: «утяжеляющие» спондеи (**тѣнь реет, сѣрп лѹнный, всѣ рдеет**), резкий перебой (хориямб) в четвертой строке (**тѹч отраженный мрак**), два пиррихия перед цезурой в завершающем терцете, дополнительно сближающие параллельно расположенные трехсложные слова **тлѣющим** и **Гѣнуи**.

Интересна ритмическая игра на коротких односложных словах в номинативе (**дух, гость, серп, вождь**), противопоставленных своему окружению: это, несомненно, иконический прием — точки в пространстве выделяются на его фоне. На уровне синтаксиса подобным же образом первая фраза, состоящая только из субъекта и предиката, противопоставлена развернутым предложениям, из которых в основном строится сонет. Многочисленные перифразы и инверсии деавтоматизируют смысловое развитие стиха, делают его медлительным, затрудненным, что для Вячеслава Иванова вообще типично.

Наконец, бросается в глаза утонченная звуковая организация сонета. Как свойственно символистской поэтике вообще, в фонетической ткани стиха преобладают сонорные: в частности, на них построены все рифмы (**пиний — крылом — стеклом — павлиний, линий — шелом — челом — синей, дорог — эфирный — порог, сафирной — чертог — порфирный**). Однако в «La Superba» эта установка на сонорные дополнительно мотивирована темой: поэт стремится приблизиться к итальянскому языку — так сказать, вычленив в русской речи итальянский слой. Отметим и другие звуковые игры — например, **краю ... красе, земли ... линий** в пятой строке (здесь, как и во многих других местах, создан айкон «отражения»), **переступил предельных ... порог** в одиннадцатой строке (сокращающиеся фонетические последовательности дают айкон «переступания»). Слово **горном** в двенадцатой строке есть как бы фонетический намек на **гору (горы) и город** — слова, которые в тексте отсутствуют¹⁰.

Сонет «La Superba» — одно из высоких достижений Вячеслава Иванова. Геометрическая точность его композиции, статичность и эмблематичность словаря, изысканная игра на смысловых и формальных уровнях, некоторая загадочность — характерные черты ивановской поэтики, воплощенные здесь с несомненным блеском. При этом сложность стихотворения не переходит в переусложненность (что для Иванова отнюдь не является правилом). Пейзаж превращается в философский этюд о связи природы и культуры, древности и современности. Из неба и моря, из словесных масс, из их движения, разрешающегося только в последней строке, возникает образ одного из прекрасных городов любимой Ивановым Европы. «Великолепная» Генуя приобретает вес и глубину символа. «Я стою часто „на границе символизма“, но это не недостаток; к символизму приближаются лучшие поэты, и где он отсутствует вполне, отсутствует, по мнению С[оловьева], и поэзия», — писал, передавая справедливое мнение одного из своих учителей, Вячеслав Иванов Лидии Зиновьевой-Аннибал 21 октября/2 ноября 1895 года¹¹.

¹ Известны пять писем Иванова Зиновьевой-Аннибал, посланных из Аренцано в период от 15/27 апреля до 22 апреля/4 мая 1898 года. Одно письмо (20 апреля/2 мая 1898 года) послано из самой Генуи. См.: *Иванов Вяч., Зиновьева-Аннибал Л.* Переписка 1894–1903. Москва: Новое литературное обозрение, 2009. Т. 1. С. 566–571, 574–580, 582–584.

² К ним примыкают многие стихи раздела «Thalassia», шесть из которых посвящены той же области, где находится Аренцано (La Riviera di Ponente).

³ *Иванов Вяч., Зиновьева-Аннибал Л.* Переписка 1894–1903. Москва: Новое литературное обозрение, 2009. Т. 2. С. 21.

⁴ История и поэзия: Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова. Москва: РОССПЭН, 2006. С. 206.

⁵ Ср. Цивьян Т. В. Семиотические путешествия. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2001. С. 29–57.

⁶ В «La Superba» отклонений от строгого типа рифмовки (AbbA AbbA cDc DcD) нет.

⁷ Аверинцев С. Вячеслав Иванов // Иванов В. Стихотворения и поэмы. Ленинград: Советский писатель, 1976. С. 29.

⁸ Там же.

⁹ Там же. С. 30–32.

¹⁰ Кстати говоря, **горном** перекликается со словом **горных** из первой строки.

¹¹ Вячеслав Иванов, Лидия Зиновьева-Аннибал. Переписка 1894–1903. Т. 1. С. 328.

С. Гардзонио

Образ Флоренции в творчестве Вячеслава Иванова (1890–1900-е годы)

Флоренция — город, который сыграл довольно важную роль в жизни Вячеслава Иванова. Возможно (хотя и не доказано определенно), что именно из Флоренции Лидию Зиновьеву-Аннибал, тогда еще Шварсалон, увез в Рим на «роковое» знакомство с Вяч. Ивановым Иван Михайлович Гревс летом 1894 года¹. В своем дневнике 18/6 октября 1894 г. Лидия писала:

«День моего рождения. Опять пишу. Хочу, чтобы стало яснее на душе, и ничего не понимаю. Флоренция принесла мне столько нового, и столько прекрасного, и столько странного. Я не знала, что в моей душе столько туго натянутых, тонких и чутких струн. Но эти струны отзываются страстью на всё, и в конце концов я не понимаю, кто я и что я?»²

Поэт с семьей переселился из Рима во Флоренцию, когда Лидия Дмитриевна уже уехала из Италии. Но через несколько месяцев они опять встретились во Флоренции, куда Лидия приехала продолжать учиться пению. Дальше были поездки и встречи в Риме и Витербо, но скоро поэт опять возвратился во Флоренцию. Пишет О. Дешарт:

«Он решил побороть „преступную страсть“, но уже понимал, что прежнюю жизнь вернуть невозможно: ее нет, она — не жизнь больше. Он во всем покаялся жене, сказал, что в Лидию влюблен безумно, оторваться сразу от нее не в его силах, но он надеется, что со временем „наваждение пройдет“. Он попросил Дарью Михайловну [первая жена поэта. — С. Г.] не разъезжаться, жить вместе как брат с сестрою. В от-

вет на такое предложение он получил решительный отказ и заверение от Дарьи Михайловны, что она готова дать ему немедленно развод»³.

Сам Иван Гревс был свидетелем семейной драмы, и не без чувства вины. Все данные факты биографии Иванова теперь широко доступны благодаря изданию некоторых разделов переписки, и в частности переписки поэта с Л. Зиновьевой-Аннибал и с Иваном Гревсом⁴.

Уже после смерти Лидии Зиновьевой-Аннибал Иванов посетил Италию и Флоренцию в 1910 г. Он уехал в Италию 31 июля, чтобы встретиться с Верой Шварсалон⁵. В письме Марии Михайловне Замятниной от 26/13 августа 1910 г. поэт уже из Рима описывает свою поездку и подробно сообщает о своем пребывании во Флоренции⁶.

В своей статье «Из итальянских впечатлений Вячеслава Иванова» Н. А. Богомолов утверждает:

«...важнее было бы составить нечто вроде биографо-топографического очерка, где географические, исторические, культурные реалии итальянских странствий оказались бы связаны с событиями как внешней, так и духовной биографии поэта»⁷.

Здесь я бы хотел восстановить определенную связь флорентийских впечатлений Иванова с его творчеством, учитывая, что некоторые элементы уже были намечены и изучены мною в предыдущей статье⁸. В течение первого пребывания в Италии (с весны 1892 г.) поэт устроился во Флоренции в августе 1894 г. Жил он на *via dei Pucci*, 13. В комментариях к изданию «История и поэзия. Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова», в адресной книжке Иванова за 1888–1995 гг. указано:

«Мы 1894. Firenze. Via dei Pucci 13 presso la S^{ra} Fortunata Salvatore (connessa Foschini)»⁹.

Жена поэта, Дарья Михайловна, записала в черновике письма к М. В. Шульман: «Мы во Флоренции, имеем как и в Риме 2 комнаты, <...> в 1 минуте ходьбы от собора...»¹⁰

Письмо Вяч. Иванова к Гревсу от 11/23 августа 1894 г. богато флорентийскими впечатлениями. Саму Флоренцию он называет «милой, прекрасной» и дальше отмечает: «...я вступил в этот город, который снова в такой сильной степени возбудил мою историческую фантазию и мое художественное чувство. Piazza della Signoria! Piazza del Duomo! Даже в моем несравненном Риме нет ничего подобного. И притом это город Данта, которого я обожаю... И город Микель-Анджело... В Уффициях я еще не был, но был уже в Sagrestia Nuova. И мне кажется, что был не понапрасну... А какой вид на Флоренцию открывается с piazzale Michel Angiolo на закате солнца!...»

Но дальше уточняет: «Однако мое письмо состоит из одних восклицаний. Я могу легко продолжить их ряд, вспоминая о виденном. Ничто не мо-

жет сравниться с Ассизи; его впечатление совершенно своеобразное, лирическое и до сих пор волнует душу как какая-то сладкая, мучительная мелодия...»¹¹

Комментаторы письма правильно подчеркивают зависимость Иванова от концепции экскурсионного метода «градоведения», разработанной И. М. Гревсом, согласно которой «покорение города нужно начинать с вышки» (Н. Анциферов)¹². Иванов, ознакомившись с Флоренцией с высоты панорамной площади Микеланджело, упоминает любимого Данте и сразу спешит осмотреть творения любимого им Микеланджело.

Будущая вторая жена поэта Лидия Зиновьева-Аннибал летом 1894 г. из Женевы переехала в Италию, сначала в Пезаро — учиться у певицы В. Боккабати, потом во Флоренцию. Поводом для переезда во Флоренцию стала поездка самой учительницы во Флоренцию 26 сентября (н. ст.). Лидия Дмитриевна попросила у Иванова «подыскать комнату в 15 м. (максимум) ходьбы от... По возможности очень дешевою; лестница может быть плохой, лишь бы забраться повыше, где можно дышать...»¹³

В частности, Л. Д. Зиновьева-Аннибал собиралась приехать во Флоренцию 30 сентября 1894 г. и просила подыскать комнату около *via Nazionale*, 42, *riazza* *Indipendenza*, где, очевидно, поселилась учительница¹⁴. Вяч. Иванов осмотрел целый ряд комнат поблизости от указанного адреса (письмо от 15/27 сентября 1894 г.).

В начале 1895 г. мы точно знаем, что Л. Д. Зиновьева-Аннибал жила во Флоренции по адресу *Viale Regina Margherita*, 36.¹⁵

В последние месяцы 1894 г. Л. Д. Зиновьева-Аннибал часто писала о Флоренции в своем дневнике. Среди прочего читаем: «Итак, я иду по *via Savonarola*. Вечер, звездное небо, небо Италии. Длинная вереница фонарей, кончающихся загадочно где-то вдали. Впереди четыре черные фигуры по широким плитам мостовой в глубокой тишине мерно и быстро несут черный гроб на носилках. Шествие освещает фантастическим светом смоляного факела. Ароматический запах его разлит в воздухе, свет то вспыхивает ярко, то, дрожа, замирает и тухнет. Что-то странное, таинственное, и жуткое, и притягивающее направляет мои шаги, и я иду за гробом. Я ничего ясно не думаю, и смерть, и небо одинаково навевают на душу что-то великое и спокойное...»

Дальше размышления о страхе перед смертью, о любви... «О смерть, ты не страшна. О смерть, приходи, приходи. Дорогая, желанная, сжался надо мною... О смерть приходи. Я не могу писать, я хочу рыдать, но слез нет. Я одна. Боже, я одна. Я хочу человека, которому я была бы дорога. Я хочу сказать ему. Оживи меня, дай силы, а я дам веры, веры в жизнь, в добро, в красоту, в идеал...»¹⁶

Перед нами описание похорон с участием братьев Misericordia («Общество милосердия»). Об этом с такой же силой напишет в 1909 г. Александр Блок в «Молниях искусства» («Маски на улице»).

Тот же спектакль Лидия Дмитриевна смотрела вместе с Вяч. Ивановым. Пишет об этом О. Дешарт (с рядом неточностей): «Однажды, тому в 1907 г. уж минуло двенадцать лет, во Флоренции, где они остались одни после отъезда Дарьи Михайловны в Москву, стояли Вячеслав и Лидия у открытого окна их гостиничной комнаты. На душе было радостно невероятно — „полнота, какой названья нет“. А внизу под ними проходила похоронная процессия, подчеркнута мрачная, как то полагалось в прекрасной Тоскане. Именно там, где так царственно властвует гений человека и природы, люди мучительно наслаждаются, обнажая издевательскую гримасу смерти, торжество ее над сиянием ликующего солнца и блеском художественного мастерства: *sic transit gloria mundi*. Среди узкой мостовой медленно двигались люди, ряд за рядом в черных, точно маскарадных домино с острыми капюшонами, не люди, а черные, неаккуратной формы большие конусы с двумя дырами для глаз; черные фонари; черные покрывала на черном катафалке, и всюду серебром вышитые черепа и перекрещивающиеся скелетные кости; из черных безротых фантомов исходили звуки: монотонные погребальные песни»¹⁷.

14 октября 1894 г. Лидия записывала о встрече с Ивановым: «Вчера после обеда мы шли домой. Он хотел проводить меня, и у нас внезапно родилась мысль идти в Cascine. Мы взяли коляску и поехали прямо в центр сада. Там мы вышли и пошли. Небо слегка подернулось тучами, солнце сквозило, но как-то матово и ласково <...> Мы дошли до конца парка. Он кончается мысом: с одной стороны Арно и его долина. Вокруг синяя цепь гор смягченная лиловатою дымкою, и опять ничего яркого, но что-то мягкое, нежное, ласкающее и глубоко и меланхолическое. Мы подошли к памятнику индийского принца. Бедный принц, точно для того и приехал во Флоренцию, чтобы умереть вдали от своей родины и послужить своим пестрым памятником для украшения Cascine. Бедный принц! Мы сели на каменную скамейку с мозаичным сидением, запрятанную в густой зелени „Божьего“ дерева. Мы взглянули вокруг, взглянули в глаза друг другу. Душа моя была счастлива, сердце полно, нет, переполнено даже до физической боли. Оно болело от счастья!»¹⁸

Здесь речь идет о мысе в конце парка Кашин у впадении р. Муньоне в Арно, где стоит памятник индийскому принцу Раджи из Холапора, который умер во Флоренции в 1870-м и был там кремирован.

Интересные детали о восприятии Флоренции Ивановым можно найти и в его переписке с И. М. Гревсом. Приведу несколько примеров. В письме

от 6 ноября 1894 г. Иванов выражает свою благодарность за SS. Annunziata, вероятнее всего за указание посетить знаменитую флорентийскую церковь, где сам Гревс «слушал и великолепное пение на воскресных messe cantate»¹⁹. В другом письме от 27 марта / 8 апреля 1895 г. отмечает: «Флоренция так хороша, что советую вам скорее и подольше воспользоваться удовольствием пребывания в ней»²⁰.

К флорентийскому периоду относится стихотворение из «Кормчих звезд» «Усталость» (цикл «Цветы сумерек»). Оно написано во Флоренции в декабре 1894 г. В этой перспективе оно читается как вечерний флорентийский пейзаж. Напомню начало:

День бледнеет, утомленный,
И бледнеет робкий вечер:
Длится миг смущенной встречи,
Длится миг разлуки томной...
В озареньи светлотенном
Фиолетового неба
Сходит, ясен, отблеск лунный,
И ясней мерцает Веспер;
И все ближе даль синее...

Среди художественных текстов самого Иванова, специально посвященных Флоренции, стоит упомянуть два сонета, включенных в кн. «Кормчие звезды» (1902). Это «Il gigante» и «„Magnificat“ Боттичелли». Проанализируем эти два текста. Первый, „Il gigante“, посвящен знаменитому Давиду Микеланджело.

Средь стогн прославленных, где Беатриче Дант,
Увидев: «Inscipit — воскликнул, — vita nova», —
Наг, юноша-пастух, готов на жребий зова,
Стоит с пращой, себя почуявший Гигант.

Лев молодой пустынь, где держит твердь Атлант,
Он мерит оком степь и мерит жертву лова...
Таким его извел — из идола чужого —
Сверхчеловечества немой иерофант!

Мыщ мужеских узлы, рук тяжесть необорных,
И выя по главе, и крепость ног упорных,
Весь скимна-отрока еще нестройный вид, —

Всё в нем залог: и глаз мечи, что, медля, метят,
И мудрость ждущих уст — они судьбам ответят! —
Бог-дух на льва челе... О, верь праще, Давид!

В сонете описан Давид Микеланджело на площади Синьории перед Палаццо Веккио (как известно, с 1873 года там стоит копия, так как оригинал перенесен в Академию)²¹. В нем целый комплекс дантовско-флорентийских и в то же время библейских подтекстов. Первый образ сочетает вид площади с местом, где Данте встретил Беатриче. Как известно, поэт увидел Беатриче в первый раз, когда им было по 9 лет, и вторично — когда им исполнилось по 18 лет²². Само восклицание «*Incipit vita nova*» указывает на духовный и жизненный переворот поэта после встречи с идеальной женщиной. Интересно отметить, что Иванов жил девять лет с первой женой, Д. М. Дмитриевской, и потом начинается его любовь к Лидии Дмитриевне²³. Далее поэт описывает Давида («наг юноша-пастух»). В письме М. М. Замятниной от 26/13 августа 1910 г. поэт называет статую: «мой излюбленный Давид». Стих: «Лев молодой пустынь, где держит твердь Атлант...», предлагая традиционное изображение молодого героя, символ Флорентийской республики, одновременно намекает и на другой символ свободной Флоренции, Льва Марцокко, изваяние Донателло, которое тоже стоит перед дворцом Синьории.

Второе флорентийское стихотворение Иванова, «*Magnificat*» Боттичелли», посвящено известной картине художника.

Как бледная рука, приемля рок мечей,
И жребий жертвенный, и вышней воли цепи,
Чертит: «Се аз раба», — и горних велелепий
Не зрит Венчанная, склонив печаль очей, —

Так ты живописал бессмертных боль лучей,
И долу взор стремил, и средь безводной степи
Пленяли сени чар и призрачный ручей
Твой дух мятущийся, о Сандро Филиппи!

И Смерть ты лобызал, и рвал цветущий Тлен!
С улыбкой страстною Весна сходила в доли:
Желаний вечность — взор, уста — истомный плен...

Но снились явственней забвенные глаголы,
Оливы горние, и Свет, в ночи явлен,
И поцелуй небес, и тень Савонаролы...

О сонете писал сам Иванов: «Этот сонет, как и предыдущий, посвящен впечатлениям Флоренции. — „Рок мечей“ — *Septem Dolores* [сем скорбей Богоматери. — *Ред.*] — „Се аз, раба“ („*Ecce Ancilla Domini*“) — неточность. Богоматерь чертит именно „*Magnificat*“ („Величит душа моя Господа“). — Последний терцет намекает на „Поклонение Пастырей“ Лондонской Национальной галереи. Все в этой, едва ли не последней, картине Боттичелли — и, яснее ясного, сделанная на ней самим художником надпись, — свидетельствует о мистическом омрачении его души в последние годы жизни, обусловленном трагическим концом Савонаролы»²⁴.

Сонет посвящен знаменитой картине, хранящейся в галерее Уффици, и представляется изысканным примером сплетения образов в особо высокой лексике. Как всегда у Иванова, глубина мысли сочетается с осложненным интонационным рисунком. Мрачное заключение приводит нас еще раз на площадь Синьории, где место казни Савонаролы отмечено плитой и откуда начался предыдущий сонет о Давиде.

Об особой любви Иванова к картине свидетельствует следующий отрывок из письма поэта к Вере Шварсалон от 8 июня 1910 г.: «В Троицын день я получил 11 роз, фиалки и васильки, причем Кассандра заключила свои 3 розы в вазу, представляющую собой три башни, расположенные под прямым углом. А нынче она прислала мне хорошую фотографию лица Мадонны из *Magnificat* Боттичелли»²⁵.

О Флоренции Иванов писал в уже упомянутом письме Марии Михайловне Замятниной от 26/13 августа 1910 г. Приведем интересующий нас отрывок: «Во Флоренции я остановился в *Albergo Patria* <...> На другой день, после ванны, я отправился в Академию, где все примитивы <?> и „Весна“, и М. Анджемо. Все увидел переменившимся к лучшему, все стало еще богаче и лучше: говорю это про изменения музея <...>. Я весь задрожал, и слезы у меня потекли из глаз, когда я вдруг увидел целый ряд незаконченных *ébauches* М. Анджемо (тогда их еще не было здесь), мимо которых идешь к моему излюбленному Давиду. Ну, и так далее. Из Академии я пошел в очень жаркий день по моим святым местам, всюду, где была Лидия, где жила она, где мы встречались, по *viale Margherita*, в сады у бастионов...»

И после прибытия Веры: «День ее рождения — четверг — праздновали мы вот как. Сначала пошли в капеллу Медичи, где скульптуры М. Анджемо, его *Ночь*. Потом в *Palazzo Riccardi*, где она еще не была: я показал ей фрески Беноццо Гоццоли, и она была ими счастлива. Потом мы завтракали, ели мороженое, пошли на *Ponte Vecchio* и выбрали ожерельице из маленьких жемчужинок. Потом взяли веттуру и поехали на *Viale dei Colli*, а оттуда

в Cascine. На нашем историческом местечке в конце Кашин было хорошо при луне, которая светила ясно через большие деревья над памятной скамеечкой и далеко серебрила Арно <...> Наконец мы приехали в одну тратторию у Maria Novella и весело ужинали. В пятницу мы были в San Miniato [см. «Кормчие Звезды» — «То был не сад...». — С. Г.] и во Фиезоле [ibid., «Тризна Диониса». — С. Г.] в руинах театра...»²⁶

Что касается роли Фьезоле в истории любви поэта к Вере, отсылаем к нашей уже процитированной статье²⁷. Здесь хочется подчеркнуть, как поэт называет мыс в конце Кашин, где памятник индийскому принцу и у которого он бывал с Лидией Дмитриевной, «нашим, историческим местечком», имея теперь в виду дочь ее, Веру. Тут явно осложненная психологическая и жизненная деталь. Обращаясь к дочери, он нечаянно обращается к матери.

Перед нами любопытные совпадения и возвращения. Флоренция для Иванова — город *Vita Nova* и влюбленности, искренних художественных и жизненных переживаний, где поэтика и биография творчески переплетены. Одновременно Флоренция есть и город теней (Данте, Савонарола и т. д.), город братьев Мизерикордии, город любви и заката у мыса, где неподалеку рассеян прах индийского принца.

С Флоренцией связана и биография поэта после того, как он эмигрировал. Но этот аспект здесь не будет затронут. Материал пока не собран, но в будущем, безусловно, будут открыты новые, существенные детали особого отношения поэта к городу цветов. В заключение хочется лишь добавить, что, как известно, Вячеслав Иванов чуть не стал профессором Флорентийского университета. Данный эпизод отражен в интересной переписке поэта с известным историком-медиевистом Николаем Оттокараром, к которой мы и отсылаем читателя²⁸.

Хочется завершить данный очерк новым подтверждением образа Флоренции у Иванова как города возвышенной любви. В своих записных книжках, относящихся к периоду встреч с Вяч. Ивановым, Марина Цветаева записывает:

«19 русск<ого> мая 1920 г., среда. Сейчас у меня три радости: Вячеслав Иванов — Худолеев — и НН...». Дальше она приводит диалог с поэтом, его слова, его возвышенную речь, его приглашение написать прозу, роман.

И продолжает: «(Речь Вячеслава несравненно плавнее, чем здесь, у меня, но тороплюсь — пора за Алей и боюсь забыть.)

— „Однако, уже 10 часов, Вам пора за Алей“.

— „Еще немножечко!“

(Вспоминает не в первый раз.)

— „Но ей спать пора“. — „Но ее там накормят, она всегда рано ложится, и я так счастлива Вами — и разочек — можно?“

Улыбается.

— „Взял бы я Вас с собой во Флоренцию!..“²⁹

¹ О проблеме датировки пребывания Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в Италии и ее встрече с Ивановым см. во вступительной статье Н. А. Богомолова к публикации: *Вячеслав Иванов и Лидия Шварсалон: первые письма* (Новое литературное обозрение. 2007. № 88).

² *Иванов Вяч., Зиновьева-Аннибал Л.* Переписка. М., 2009. Т. 1. С. 96.

³ *Дешарт О.* Введение // *Иванов В.* Собрание сочинений. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 25.

⁴ *Иванов Вяч., Зиновьева-Аннибал Л.* Переписка. М., 2009. Т. 1–2; История и поэзия. Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова / Издание текстов, исследование и комментарии Г. М. Бонгард-Левина, Н. В. Котрелёва, Е. В. Ляпустиной. Москва, 2006.

⁵ Об этом запись Кузмина в дневнике. См.: *Богомолов Н. А.* Из итальянских впечатлений Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов между святым писанием и поэзией, «*Europa Orientalis*», XXI, 2002. Т. 2. С. 109.

⁶ Текст письма издан Н. А. Богомоловым в вышеуказанной статье «Из итальянских впечатлений Вячеслава Иванова». (Цит. соч. С. 109–114).

⁷ Там же, С. 105.

⁸ *Гардзонио С.* По поводу «фезуланского» сонета Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов-Петербург-Мировая культура. Томск; Москва, 2003. С. 295–300.

⁹ История и поэзия. Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова. С. 75.

¹⁰ Там же.

¹¹ Там же. С. 73–74.

¹² Там же. С. 75.

¹³ Зиновьева-Аннибал — Иванову, 5/17 сентября 1894 (*Иванов Вяч., Зиновьева-Аннибал Л.* Переписка. Т. 1. С. 85).

¹⁴ Там же. С. 87.

¹⁵ Там же. С. 118.

¹⁶ 26 сентября 1894 г. Флоренция (там же. С. 95).

¹⁷ *Дешарт О.* Введение // *Иванов Вяч.* Собрание сочинений. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 120–121.

¹⁸ *Иванов Вяч., Зиновьева-Аннибал Л.* Переписка. Т. 1. С. 107.

¹⁹ См.: История и поэзия. Переписка И. М. Гревса и Вяч. Иванова. С. 109 и 112. О пении в SS. Annunziata вспоминал и Аполлон Григорьев, который был во Флоренции в 1857–1858 гг. и наоборот не очень любил «слушать плохую оперу в кокетливой Аннунциате» (Письмо А. А. Григорьева Е. Н. Эдельсону от 13 (25) декабря 1857 г. Цит. по кн.: *Хождения во Флоренцию. Век XIX.* М., 2009. С. 319).

²⁰ Там же. С. 140.

²¹ Сам поэт отметил в примечании: «IL GIGANTE—народное прозвище знаменитого «*Давида*». Известно, что молодой Микель-Анджело изваял его из куска мрамора, уже обесеченного для другой статуи» (*Иванов Вяч.* Собрание сочинений. Т. 1. С. 859).

²² Кстати, о второй встрече существует очень известная иконографическая традиция, восходящая к картине художника-прерафаэлиты Генри Холлидея, в которой встреча происходит у моста Санта Тринита.

²³ См.: *Альтман М. С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 48.

²⁴ Иванов Вяч. Собрание сочинений Т. 1. С. 859.

²⁵ Цит. в ст.: *Богомолов Н. А.* Из итальянских впечатлений Вячеслава Иванова. С. 108.

²⁶ См. сноску 6. Скорее всего у Иванова описка: «То был не сад...» — следует читать: «То был не сон...», т. е. стихотворение «Отречение», которое, таким образом, приобретает определенную флорентийскую окраску:

То был не сон; но мнилось: в чарах сна
Одни меж плит мы бродим погребальных...
Зима легла на высотах печальных:
Дыханьем роз дышала здесь весна.
В гроб снежных гор сошла в цветах венчальных
Краса долин, умильна и ясна...

Намек на «плиты погребальные» скорее всего можно отнести к монументальному кладбищу *Porte sante* рядом с монастырем и церковью *San Miniato*.

²⁷ См.: *Гардзонио С.* По поводу «фезуланского» сонета Вячеслава Иванова.

²⁸ *Гардзонио С.* Письма Н. П. Оттокара к Вяч. Иванову // Вестник истории, литературы, искусства. М., 2006. Т. 3.-

²⁹ *Цветева М.* Записная книжка 8, 1920–1921. М., 2001, Т. 1. С. 165, 172.

М. К. Гидини

Jacov Pavlovitch и Monsieur Berdiaeff: Запад и Восток во «Франко-русской студии»

Духовные и творческие отношения Николая Бердяева и Жака Маритена еще нуждаются в тщательном анализе. Для этого у нас есть много возможностей: сохранились свидетельства очевидцев, в том числе дневники жен обоих философов¹, существует и несколько попыток реконструкции взаимных влияний². Эти строки являются всего лишь предварительными замечаниями по поводу одного внешнего и частного случая их плодотворного знакомства: встречи во «Франко-русской студии» в самом начале тридцатых годов.

Вопрос о взаимоотношениях православия и католичества остро стоял в католических церковных кругах после Октябрьской революции.

В тогдашнем восприятии казалось, будто насильственное движение истории вдруг поставило рядом в одном пространстве два далеких и во многом противоположных мира. Благодаря массовой эмиграции из России европейские Запад и Восток стали близкими, как никогда, и их встреча была не только полной проблем, но и чреватой надеждами их плодотворного взаимопроникновения.

Центром этих процессов был, конечно, Париж.

В конце двадцатых годов особо активными в деле сближения и взаимного знакомства русских и французов были два круга.

Первым был неформальный кружок, собравшийся вокруг Бердяева и Маритена³, а другим, более организованным, была «Франко-русская студия»⁴.

На своих межконфессиональных встречах Бердяев и Маритен собирали знакомых и друзей из числа религиозных мыслителей или церковных деятелей — в основном православных и католиков, так как в первый период работы представители протестантизма не были приглашены. Каждый раз оба философа вместе решали, кого именно позвать⁵. В течение краткой своей истории (1929–1932) эти собрания стали интимными встречами, скорее мистического и духовного, чем культурного или церковного характера⁶. Их неофициальный, почти домашний, характер виден уже из того, что, начавшись при «Maison russe» («Русский дом») на Монпарнасе, они вскоре переместились в дом самого Бердяева в Клараме, недалеко от Медона, где жили Маритены и где они также создали место для живых встреч, дружбы и жизненных связей⁷.

«Франко-русская студия» возникла в том же 1929 году. Но она началась скорее как литературный салон, основанный и одушевленный группой интеллектуалов вокруг Всеволода де Вогта⁸ и Роберта Себастиена, чтобы предоставить русской диаспоре в Париже место и повод для сближения с французской культурой: своего рода «сближение элит», как сказал Себастиен в предисловии к четвертому вечеру, посвященному Толстому⁹.

С самого начала, однако, Студия поставила себе целью нечто большее, чем укрепление франко-русских отношений, и была намерена принять участие в широком диалоге по проблемам европейской культуры, которая в конце двадцатых годов переживала период кризиса и особенной тревоги.

Во введении к публикации материалов Студии Л. Ливак ясно подчеркивает, что все родилось из двух разных потребностей: с русской стороны ощущалась нужда что-то противопоставить культурному и политическому влиянию советского режима, который после 1925 года укрепил свою репутацию за рубежом; с французской стороны происходил поиск общей почвы для европейского сознания, подходящей для гуманистических ценностей, которые нуждались в глубоком переосмыслении в ситуации роста тоталитаризма¹⁰.

Итак, после первого, более литературного, сезона Студии, с 1930 года встречи приняли более решительный религиозный характер и этот «*религиозно-философский поворот*» действительно ознаменовал сближение двух миров и двух христианских традиций, олицетворенных в знаковых фигурах Бердяева и Маритена. Не случайно, что это произошло, когда европейская цивилизация в своем кризисе видела в религиозном обновлении единственный выход из симметричных ошибок либерального индивидуализма и тоталитарного коллективизма.

Но надо учитывать и другие, всецело французские и католические обстоятельства. Надобность в подобной встрече неслучайно возникла имен-

но в эти годы: со стороны неотомистских кругов более тесная и сознательная связь с русским миром была необходима для того, чтобы преодолеть или, по крайней мере, обойти риск национализма, который стал жгучей проблемой для французской католической интеллигенции после травматического осуждения папой деятельности Моррасса и его движения «Action Française» в 1926 году.

Именно тема «Запад и Восток», которая естественно возникла в Студии, очень показательна для дискуссии и раскола внутри самого французского неотомизма после 1926 года, когда был окончательно разрушен проблематичный союз между томизмом и движением «Action Française», а следовательно, между Маритеном и Моррассом.

Жан-Пьер Максанс (Jean-Pierre Maxence), ученик Маритена, близко стоявший к организаторам Студии, определил конец послевоенного времени 1930 годом, заметив *смену* установки, другой взгляд образованной французской молодежи. Молодежь тридцатых годов испытывала то же самое чувство искоренения, как их старшие братья, но причины его видела не столько во внутренней смуте, сколько в более широком и глобальном кризисе цивилизации, который касался всей Европы и всей ею созданной западной культуры. По мысли Максанса, существует некий «дух 1930 года», новой синкретической эпохи, когда стираются даже политические противостояния, потому что «дух эпохи важнее традиционных различий между течениями мысли»¹¹.

В решениях и путях предыдущего поколения эти молодые люди видели только крайний индивидуализм, последний итог цивилизации, которая возникла из «антропоцентричного гуманизма» (широко цитировавшееся выражение Маритена) и из Ренессанса (и здесь вынужденной отсылкой служило «Новое средневековье» Бердяева¹²).

Отрицательное понятие антропоцентричного гуманизма будет центральным в книге Маритена «Интегральный гуманизм»¹³. Но Маритен начал говорить об этом уже в своих работах «Ангельский доктор» (1929) и «Религия и культура» (1930)¹⁴ в связи с кризисом Нового времени и с кругом вопросов, поставленных Бердяевым в тот же период в работах, опубликованных именно через посредничество Маритена: «Судьба культуры»¹⁵ и уже упоминавшееся «Новое средневековье»¹⁶. Именно в это время Маритен говорит о христианской диаспоре в мире как о факте, который может быть не только отрицательным, но даже наоборот, являться преддверием новой христианской цивилизации, где искомое единство будет разворачиваться в духовном плане¹⁷.

Итак, в Студии выбор тем заседаний в конце концов стал своеобразным судом против *la modernité*, ее индивидуализма, циничной эксплуатации ею

отчаяния («ложной тревоги» Жида, по категоричному и немного грубому определению Максанса¹⁸) и броской чисто эстетической откровенности. Таким образом, несмотря на разнообразие тем вечеров (от Достоевского, Валери, Толстого до современного романа и советской литературы), скоро выделилось тематическое ядро, которое проступало через тесную ткань выступлений и споров: вопрос о европейском духе и отношениях между западной и восточной культурами. Эта тема с самого начала присутствовала в Студии: в один из первых вечеров, посвященный Толстому, Станислас Фумет поставил вопрос о религиозности в литературе в связи с проблематичными отношениями между Западом и Востоком, а через два заседания после выступления Бердяева о Западе и Востоке, говоря о Поле Валери, Рене Лалу почти буквально повторил слова русского философа о кризисе европейской культуры.

Таким образом, не случайно, что одной из самых оживленных встреч стало выступление Бердяева о Западе и Востоке. Он выступал в одиночестве, так как его оппонент, Анри Массис, отверг приглашение, сказав, что он уже достаточно ясно изложил свое мнение в уже тогда считавшейся очень спорной книге «Защита Запада» («Défence de l'Occident», 1927)¹⁹.

Как истолкователь актуального исторического момента, Бердяев исходил из вопроса о Европе, потерявшей в послевоенный период свое культурное преимущество: Россия в силу своей маргинальности в отношении к европейской культуре представляла собой привилегированную точку зрения для анализа сущностных характеристик европейской мысли.

Будучи убежденным, что Массис крайне упрощает вопрос, Бердяев подчеркивает существование многих разных Востоков, как и Западов, тем самым ослабляя разрыв между антропоцентрическим Западом и теоцентрическим Востоком. Афины и Иерусалим оба являются европейским наследием, и поэтому оба забыты Новым временем. Несмотря на все ее влечение к Востоку, Россия всегда в такой же степени жила и западной культурой, и западничество представляется типически русским явлением. По судьбе она стала местом встречи или борьбы между западным и восточным менталитетами.

По этой причине, по Бердяеву, встреча с русской культурой смогла бы помочь всей Европе поставить себе задачу универсализма (который он противопоставлял пустому советскому интернационализму): только благодаря стремлению к культуре без барьеров, где Запад и Восток больше не будут двумя противоположными мирами и двумя отдельными мировоззрениями, станет возможным найти путь преодоления всех опасных национализмов, оберегая тем самым все особенности каждого отдельного народа.

В очередной раз Бердяев таким образом сознательно принял участие в очень актуальной европейской дискуссии, которая за десятилетие породила многочисленные произведения. Укажем, кроме упомянутых бердяевского «Нового средневековья» (1924) и «Защиты Запада» Массиса (1927), на «Закат Европы» Освальда Шпенглера (1922), «Соблазн Запада» Андре Мальро (1926), «Кризис современного мира» Рене Генона (1927), не говоря уже о разных работах Маритена, о которых речь шла выше. Особенно о его «Примате духовного» (1927)²⁰, где французский философ, осторожно пробираясь между Сциллой теологии и Харибдой политики, смотрит на Новое время, некоей метонимией которого становится Запад, с универсалистской точки зрения, что доказывают два посвященных православию и Китаю приложения к книге.

Именно это произведение стало центральным в дискуссии на вечере Бердяева в Студии. Маритен написал его после ватиканского осуждения деятельности «Action Française» и моррасизма²¹. Но оно представляется и ответом «воинственной» книжке Массиса «Защита Запада», его ученика и соратника во время создания «La Revue Universelle» и работы в редакции ими основанной серии «Le Roseau d'or» в издательстве Plon.

Как будто размышление над позицией такого близкого ему человека, как Массис, послужило Маритену поводом для анализа риска и переосмысления своих собственных, уже преодоленных, положений, особенно после папской энциклики «Quas primas» (1925), где Пий XI установил праздник Христа-Царя, подчеркивая универсальную царственность Христа, чтобы бороться с любым партикуляризмом и любым националистическим соблазном.

Итак, «Примат духовного» видится нам знаком своего рода поворота в издательской стратегии Маритена и новой эпохой в короткой жизни серии «Le Roseau d'or». Идейнными противниками этой его (и именно все больше и больше его собственной) затеи являются больше не Жид и его друзья из «Nouvelle Revue Française», а Моррас и его движение. Внимание к литературной и художественной *modernité* первых двух лет уступает место требованию подчеркнуть спасительный универсализм истинной культуры и католицизма, а также способность к диалогу с другими традициями (православие, иудаизм, восточные религии²²). В третьей главе книги Маритен сосредоточивается на сверхполитической точке зрения Церкви, которая в своей универсальности, основанной на признании всеобщей тварности и уважении любых природных и культурных характеристик народов, сохраняет духовное наследие человечества. Маритен отвечает ревнивой защите Запада и латинской цивилизации утверждением, что Церковь не Запад и не Восток, ее универсальность, имея свой центр в Христе, «не нахо-

дится ни в какой части мира»²³. Призыв к томистскому учению продиктован именно универсализмом великого аквинского богослова.

Учитывая подобный пафос, снабжение книги двумя приложениями, посвященными Китаю и православию и представляющими собой прямую реакцию на воззрения Массиса (который с тех пор не будет больше публиковаться в рамках серии «Le Roseau d'or»), — не удивляет. Не случайно и то, что именно в годы сближения с Бердяевым Маритен утверждает, что различия между католиками и православными являются не большим препятствием к единству веры, чем разница между францисканцами и бенедиктинцами²⁴.

Пожалуй, не исключено, что сама эволюция взглядов Маритена развивалась и под влиянием тогдашних близких отношений с Бердяевым, как будто углубление в другую, но близкую традицию помогало ему расширить свой кругозор и наделяло новой мерой, «новой золотой тростью», которой он мог вновь измерить «свою» западную культуру. Когда его призвали комментировать папскую энциклику за два месяца до выхода «Примата духовного», он сразу подчеркнул, что ею Пий XI учил мир духовному, а отнюдь не политическому²⁵ единству: «Речь здесь идет о том, как издалека приготовить возврат христианского Востока к единству, и в то же время о конце братоубийственного разрыва, причиненного Реформой, и, наконец, торжественно призвать желтую расу к разделению апостольского наследия и управления Церковью»²⁶.

Гордое утверждение Массиса о первенстве латинского мира над остальными культурами сейчас для Маритена крайне опасно, особенно если оно принимает конфессиональную форму в ущерб истинной католичности и миссии универсальной Церкви. Но он выдвигает своему бывшему ученику и целый ряд возражений с чисто культурной точки зрения: он не может принимать грубое смешение Азии и Востока, которое лежит в основе всех неоправданных упрощений о «восточной анархии» и «восточном субъективизме». На полях книги Массиса Маритен подчеркивает все эти выражения, считая их «слишком похожими на Моррасса» и добавляя в письме к автору, что «вы как будто устанавливаете некое равенство между Западом и латинством и вечным порядком»²⁷. Он вполне соглашается с выводом Бердяева о том, что Средневековье и Восток являются щедрым порывом утонченных западных людей, бунтом против превращения их собственной культуры в цивилизацию²⁸.

Будучи приглашенным выступить на заседании 27 мая о Западе и Востоке, Маритен был вынужден отказаться из-за уже принятого обязательства, но написал организатору Роберту Себастиену, что по этому поводу он не мог не повторить того, что он уже сказал в «Примате духовного», и что

«необходимая предпосылка к дискуссии о Востоке и Западе состоит в строгом суде совести со стороны нас, западных христиан, поскольку сегодня вселенная страдает из-за распространенных повсюду ошибок „современного мира“ Запада»²⁹.

И действительно, речь Бердяева во «Франко-русской студии» движется вся в русле идей «Примата духовного», вплоть до употребления специфических терминов, как «универсализм», служащих неким знаком и сознательной отсылкой. Это и не удивительно — ведь труды обоих философов суть ответы Массису и реакция на распространенное в межвоенный период недовольство цивилизацией, равно как и на всеобщую тревогу по поводу судеб Европы, которая была особенно ощутима во время дискуссий в Студии.

Еще раз Жак Маритен снова подошел к этим темам явным и систематическим образом. В своем докладе о Декарте 27 января 1931 года³⁰ он последовательно применил к себе самому суд совести, к которому он год назад призвал всю западную цивилизацию. И он ввел свои «картезианские размышления» (тьень Гуссерля тайно прошла над всем вечером) в рамки спора между Западом и Востоком. Он противопоставил антропоцентризм и ультрарационализм (термин Бердяева, который выступил в прениях в поддержку Маритена) картезианства («великого французского греха») — восточной мысли и соловьевскому учению о Богочеловеке³¹.

Год спустя эти соображения нашли свое место в его монографии «Сон Декарта» (1932), которая заключается призывом к русским философам равно понимать Восток и Запад и совместно работать над примирением умов в истине³².

Однако история собраний «Франко-русской студии» подошла к завершению. Как и петербургские Религиозно-философские собрания, они длились чуть менее двух лет. Но Бердяев и Маритен продолжались общаться и находить новые возможности и поводы, чтобы обменяться идеями и размышлениями о судьбе Европы, а также новые места, где можно было пустить новые побеги идей, как это доказывает опыт их участия в «Esprit» Эммануэля Мунье.

¹ *Journal de Raïssa / J. Maritain (ed.)*. Paris: Desclée de Brouwer, 1962; *Бердяева Л. Ю.* Профессия: жена философа. М.: Молодая гвардия, 2002.

² *Clément O. Berdiaev: un philosophe russe en France*. Paris: Desclée de Brouwer, 1991. P. 89–91, 108–112; *Viotto P. Grandi amicizie: i Maritain e i loro contemporanei*. Roma: Città Nuova Editrice, 2008, в частности, P. 82–88, где автор подробно описывает отношения между двумя философами с 1925-го года, когда они встретились благодаря вдове Леона Блуа.

³ *Arjakovsky A.* La génération des penseurs religieux de l'émigration russe. Kiev; Paris: L'Esprit et la Lettre, 2002. P. 372–394.

⁴ Все материалы Студии — почти все тексты докладов и протоколы прений — были опубликованы журналом сына Ш. Пеги, Марселя, «Cahiers de la Quinzaine». Сейчас они переизданы и тщательно прокомментированы Леонидом Ливаком и Жервез Тассис: *Le Studio Franco-Russe / L. Livak, G. Tassis (sous la red.)*. Toronto: Toronto Slavic Library, 2005.

⁵ В письме от 27-го декабря 1928 г. к Маритену Бердяев говорит об организации собраний и консультируется с ним по поводу их содержания («мы согласны, будет западная и восточная мистика»), предлагая для первого заседания 29-го января (предварительное, интимное, собрание) у себя в Клараме поставить «принципиальный вопрос о мистике и ее отношения к религии». Сообщив свое намерение обратиться к Э. Жильсону и Ш. Дю Босу, Бердяев просит Маритена заняться приглашением французских католиков (*Centre d'Archives Maritain de Kolbsheim*). Я сердечно благодарна Рене Мужелю (*René Mougel*), любезно предоставившему мне эти письма. В своем ответе от 7 января 1929 г. Маритен приводит список своих приглашенных: Stanislas Fumet, abbé Altermann, Charles Du Bos, Jean de Menasce, Emile Dermenghem, Louis Massignon, Etienne Gilson (РГАЛИ. Ф. 1496. Ед. хр. 605. Л. 19).

⁶ Некоторые следы этих дискуссий остались и в переписке двух философов, несмотря на то, что она имеет скорее практический и ежедневный характер — они довольно часто общались и не нуждались в письмах, чтобы поговорить о существенном. Но встреча 13 мая 1930 г. из-за ее живых, если не бурных споров, так озадачила Маритена (письмо от 14 мая, РГАЛИ. Ф. 1496. Ед. хр. 605. Л. 33–34), что Бердяев посчитал нужным успокоить его, оправдываясь и говоря, что русские всегда так живо спорят, и что он сам не может оставаться спокойным, когда речь идет о теме зла («я истерзан этим вопросом», см. письмо Бердяева от 23 мая 1930 г., *Centre d'Archives Maritain de Kolbsheim*).

⁷ *Maritain R.* Les grandes amitiés: souvenirs. Paris: Éditions de la Maison française, 1941.

⁸ Псевдоним русского поэта и писателя Всеволода Борисовича Фохта.

⁹ *Le Studio Franco-Russe*. P. 123.

¹⁰ *Ibidem*. P. 7–43.

¹¹ *Loubet Del Bayle J.-L.* Les Non-conformistes des années 30. Paris: Seuil, 1969. P. 37.

¹² *Berdiaev N.* Un nouveau Moyen Âge. Paris: Plon, 1927; первое издание: *Бердяев Н.* Новое средневековье. Берлин: Обелиск, 1924.

¹³ Французское издание датируется 1936 годом, но впервые книга вышла в Испании в предыдущем году под названием «*Problemas espirituales y temporales de una nueva cristiandad*» («Духовные и темпоральные проблемы нового христианства»).

¹⁴ *Maritain J.* Le Docteur angélique // *Maritain J. Oeuvres Complètes / Ed. J. M. Allion, M. Hany, D. et R. Mougel, M. Nursin, H. R. Schmitz.* Paris: Editions Universitaires Fribourg-Éditions Saint Paul, 1986–2000. T. IV. P. 90–97; *Maritain J.* Religion et culture // *Ibidem*. P. 212–217.

¹⁵ *Berdiaev N.* Le Destin de la culture. Paris: Plon, 1926. P. 73–100 (Chroniques, II numéro, Le roseau d'or. Œuvres et Chroniques. № 10).

¹⁶ Оба этих произведения Бердяева были переведены Анютой Фумет, женой Станисласа Фумета, под непосредственным наблюдением самого Маритена. В начале Маритен был недоволен переводом из-за «славо-французского» слога и недостатка

философской лексики. Он был также озабочен возможным смещением понятий в связи с термином «символический», который, будучи отнесенным к религии, мог ошибочно отсылать к религиозному модернизму. См. письмо Маритена Бердяеву от 9 августа 1926 г. (РГАЛИ. Ф. 1496. Ед. хр. 605 Л. 6). В «Судьбе культуры» Бердяев писал: «В рамках культуры религия имеет „символический“ характер — в вышеуказанном смысле; в рамках цивилизации она становится прагматичной» (*Berdiaev N. Le Destin de la culture. P. 91*).

¹⁷ *Maritain J. Le Docteur angélique. P. 94.*

¹⁸ *Le Studio Franco-Russe. P. 59.*

¹⁹ *Massis H. La Défense de l'Occident. Paris: Plon, 1927 (Le Roseau d'Or).* Сразу после выхода книги Бердяев ответил строгой рецензией в журнале «Путь»: *Бердяев Н. Обвинение Запада (О книге Массиса: «Defence de l'Occident») // Путь. 1927. № 8. С. 145–148.* По этому поводу см. интересную статью Татьяны Викторовой: *Victoroff T. L'émigration, lieu de rencontres culturelles: le Studio franco-russe, «tribune libre» des années 1930 // Colloque «Les Premières Rencontres de l'Institut européen Est-Ouest», Lyon, ENS LSH, 2–4 décembre 2004 (http://russie-europe.ens-lsh.fr/article.php?id_article=58).*

²⁰ *Maritain J. Primauté du Spirituel. Paris: Plon, 1927; см. также: Maritain J. Oeuvres Complètes. T. III P. 783–988.*

²¹ Здесь Маритен отвергает всякий национализм, как опасную болезнь (*Ibidem. P. 875*) и символично предлагает первенство созерцания над поступком (*action*), которое, в форме внешней деятельности, стало привилегированным отношением современного сознания к миру. Новое прочтение дела с *Action française* в свете его религиозных, а не чисто политических корней, см.: *Prévotat J. Les catholiques et l'Action française. Histoire d'une condamnation 1899–1939. Paris: Fayard, 2001.*

²² «L'esprit était devenu chapelle» («дух стал часовней»), иронически прокомментировал Максанс (*Histoire de dix ans, 1927–1937. Paris: Gallimard, 1937. P. 61*).

²³ *Maritain J. Primauté du spirituel. P. 878.*

²⁴ *Ibidem. P. 943.*

²⁵ И этим он явно намекает на фразу Моррасса *le politique d'abord* («политика прежде всего»).

²⁶ *Maritain J. Pie XI et le Christ-Roi // Revue des jeunes. 1927. 10–25 mars. P. 577–592.*

²⁷ *Mougel R. Pour lire la «Primauté du spirituel» // Cahiers Jacques Maritain. 1989. 18 juin. P. 64.*

²⁸ *Berdiaev N. Le Destin de la culture. P. 76.*

²⁹ Письмо от 21.5.1930, см.: *Maritain J. Oeuvres complètes. T. IV. P. 1135.*

³⁰ *Maritain J., Vyacheslavzev B. Descartes. Paris: Edition Cahiers de la Quinzaine, 1931; перепечатан в: Le Studio Franco-Russe. P. 403–418.*

³¹ *Ibidem. P. 417.*

³² *Maritain J. Le songe de Descartes // Maritain J. Oeuvres complètes. T. V. P. 9–222.*

А. Б. Грибанов

Какой гул затих в пастернаковском «Гамлете»?

Стихотворение «Гамлет» открывает цикл «Стихи из романа» и, в некотором смысле, является уникальным в этом цикле. В частности, потому, что оно одно из двух прокомментировано Пастернаком в тексте романа¹. По поводу «Гамлета» чаще всего ссылаются на известный пассаж в «Замечаниях к переводам Шекспира», где говорится о драме «долга и самоотречения». Между тем внутри романа, а именно в 11-й главке части 15 «Окончание», говорится:

«Беспорядочное перечисление вещей и понятий с виду несовместимых и поставленных рядом как бы произвольно, у символистов, Блока, Верхарна и Уитмана, совсем не стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни и списанный с натуры...

Я живу на людном городском перекрестке...

Постоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связана с современною душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заалевшимся огнями рампы театральным занавесом. Беспреданно и без умолку шевелящийся и рокочущий за дверьми и окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе.

В сохранившейся стихотворной тетради Живаго не встретилось таких стихотворений. Может быть, стихотворение „Гамлет“ относилось к этому разряду?»

Довольно-таки неожиданно оказывается, что «Гамлет» написан о городе (хотя и со знаком вопроса), и характерно, что тема «современного» го-

рода — в размышлениях героя и автора стихотворения «Гамлет» — увязана с постоянным шумом и с образом начинающегося спектакля (увертюра, рампа, занавес). В том ряду поэтов, с которых и начинается данный фрагмент, по-настоящему релевантен именно Блок. И особенно потому, что первое слово пастернаковского стихотворения довольно часто встречается в лирике Блока и в его прозаических вещах. Легко выделяются у Блока «гулы», привязанные к конкретным звукам извне:

«Забытый гул погибших городов» («На небе зарево. Глухая ночь мертва...», 1900);

«Внемлю голосу свободы, / Гулу утренней земли...» («Внемлю голосу свободы», 1901);

«Из бледноватого далека / Железный возникает гул» («Я тишиною очарован», 1902);

«Там гул шагов терялся и исчез» («Там — в улице стоял какой-то дом...», 1902);

«Вдруг кто-то вошел — и сквозь гул голосов...» (Все кричали у круглых столов...», 1902);

«Прокатился и замер стеклянный гул: / Звенящая дверь хлопнула вниз...» («Из газет», 1903);

«И ярмарки гулу — далеке / В полях отвечает зеленый двойник» («Потеха! Рокочет труба...», 1905);

«Но вдали несутся гулы, / Светы новые бегут... Нет, опять он обманул, — / Отдаленного восстанья / Надвигающийся гул» («Пожар», 1906);

«И в этом гуле вод холодных, / В постылом крике воронья...» («Какая дивная картина...», 1909);

«Слабеет жизни гул упорный...» (из цикла «Венеция», 1909);

«...гул житейской суеты...» («Сусальный ангел», 1909)?;

«...Есть немота — то гул набата / Заставил заградить сердца...» («З. Н. Гиппиус», 1914);

«Здесь радостный галдеж ворон / Сливался с гулом колокольным...» («Возмездие», 1910–1921);

Гораздо реже у Блока встречаются строки, где гул не связан с внешним источником:

«Но ясно чует слух поэта / Далекий гул в своем пути... И вещей падает, немея, / Заслыша близкий гул в пути...» («Не жди последнего ответа...», 1901);

«Ты, тревога рассветных минут, / Непонятный, торжественный гул...» («Ты, отчаянье жизни моей...», 1902);

Эти словоупотребления в лирике подтверждаются и примерами из блоковской эссеистики.

«Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; ...это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда — о великом».

«...Над городами стоит гул, в котором не разобраться и опытному слуху; такой гул, какой стоял над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит сказание. Скрипят бесчисленные телеги за Непрядвой, стоит людской вопль, а на туманной реке тревожно плещутся и кричат гуси и лебеди» («Народ и интеллигенция», ноябрь 1908).

Наконец, нельзя не вспомнить, что слово «гул» дважды возникает у Блока в «Записных книжках»: в дневниковых записях о «Двенадцати»: «На днях лежа в темноте с открытыми глазами, слышал гул, гул...» (А. Блок, Записные книжки. 1901–1920, М., 1965. С. 383)³. Эти тексты Блока были опубликованы в начале тридцатых годов, и можно предполагать, что они были известны Пастернаку.

«Гул» в контексте грандиозных социальных перемен уже активно использовался в русской публицистике одновременно блоковским этюдам, если не раньше. Наиболее яркий пример находится у П. Б. Струве, который писал в «Вехах»: «Интеллигенция нашла в народных массах лишь смутные инстинкты, которые говорили далекими голосами, сливавшимися в какой-то гул. Вместо того чтобы этот гул претворить систематической воспитательной работой в сознательные членораздельные звуки национальной личности, интеллигенция прицепила к этому гулу свои короткие книжные формулы. Когда гул стих, формулы повисли в воздухе»⁵. Пастернаковское начало чуть-чуть не повторяет фразу Струве.

Вероятно, не без влияния Струве слово «гул» использовал в статье о Блоке П. П. Сувчинский:

«Блок уже не раз употреблял неясный, безответственный, недоговоренный как бы, недочувствованный термин — музыка, музыкальность. „Все телом, всем сердцем, всем сознанием — *слушайте* Революцию“. „Дух есть Музыка“.

Путь Дух — есть музыка. Но Дух — не хаос. Дух Божий носился над хаосом. Хаос — это гул, а гул не всегда музыка...»⁶

Пора, наконец, сказать, что «гул» многократно встречается у самого Пастернака, причем не только в лирике, но и в романе, а также и в переводе «Гамлета» Шекспира.

Внутри романа «гул» встречается прежде всего в эпизодах, посвященных революции 1905 г.: «Когда налетели драгуны, этого в первую минуту не подозревали в задних рядах. Вдруг спереди прокатился нарастающий гул, как

когда толпою кричат „ура“. Крики „караул“, „убили“ и множество других слились во что-то неразличимое» (Книга 1, часть 2). «К столам нельзя было протиснуться. За гулом сотни голосов никто ничего не понимал»; «Гул голосов достигал оглушительности морской бури» (Книга 1, часть 5). «Где-то отворили дверь, и волною разлились два голоса, обесформленные гулкостью до того, что нельзя было сказать, какие они, мужские или женские» (Книга 1, часть 6). «„Дальнобойные орудия“, — решил он, прислушавшись к ровному, спокойно прокатывающемуся гулу на низкой сдержанной ноте» (Книга 1, часть 7). «Гул пьяных голосов заглушил громозвучный раскат недалекого взрыва» (Книга 2, часть 10). «Из глубины лагеря катился смутный, похожий на отдаленный рокот моря, гул большого людского становища» (Книга 2, часть 11). «Гул отдаленного сражения почти не достигал гущи лагеря» (Книга 2, часть 12). «Позади ребенка, обдавая его и дверь брызгами, с грохотом и гулом обрушивался водопад испорченного ли водопровода или канализации...»; «гул заглушал крики мальчика...» (Книга 2, часть 13). «Вдруг дно оврага озарилось огнем и огласилось треском и гулом сделанного кем-то выстрела» (Книга 2, часть 14). «Напрягая слух вследствие сдержанного гула, Евраф приглушенным голосом, как требовало приличие...» (Книга 2, часть 15).

По крайней мере часть этих примеров настойчиво связывает гул с «бесформенностью», с «невозможностью что-либо понять».

В лирике среди самых известных пастернаковских текстов — «Баллада» (1916, 1928), где мы читаем:

Куда б утекли фонари околотка
С пролетками и мостовыми, когда б
Их марево не было, как на колодку,
Набито на **гул** колокольных октав?⁷

Не обошелся Пастернак без «гула» и в начале стихотворения «Болезни земли» (1917):

О, еще! Раздастся ль только хохот
Перламутром, Иматрой бацилл,
Мокрым **гулом**, тьмой стафилокков...

Вполне ожидаемо использование того же слова в описании бури из «Темы с вариациями» (1916–1922):

В осатаненьи льющееся пиво
С усов обрывов, мысов, скал и кос,

Мелей и миль. И **гул**, и полыханье
Окаченной луной, как из лохани...
/.../ Раскатывался балкой **гул**,
Как баней шваркнутая шайка...

С морем же было связано и появление слова «гул» в начале стихотворения «Отплытие» (1922):

Слышен лепет соли капающей.
Гул колес едва показан.

В седьмом заключительном стихотворении из цикла «Болезнь» (1918-1919) звучит вопрос:

Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаяй горлинок
Летели хлопья грудью против **гула**...

Уже традиционная связь железной дороги с гулом обыгрывается в стихотворении «Вдохновенье» (1921):

Без клещей приближенье фургона
Вырывает из ниш костыли
Только **гулом** свершенных прогонов,
Подымающих пыль издали.

Двумя годами позже этим же словом начинается стихотворение «Бабочка буря»:

Бывалый **гул** былой Мясницкой...

В стихотворении 1931 г. «Красавица моя, вся статья» находим следующий пример:

И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный **гул** корней и лон.

В том же 1931 г. было написано стихотворение «Волны»:

Здесь будет облик гор в покое.
Обман безмолвья, **гул** во рву...

Какой гул затих в пастернаковском «Гамлете»? [87]

/.../

Все стало **гулом**⁷: сосны, мгла...

Внутри цикла «Стихи из романа» «гул» встречается в стихотворении «Весенняя распутица» (1953):

Когда же опускал поводья
И шагом ехал верховой,
Прокатывало половодье
Вблизи весь **гул** и грохот свой.

/.../

Как гулкий колокол набата,
Неистовствовал соловей.

Нам представляется, что для ответа на поставленный в заглавии статьи вопрос самый релевантный пример — это строки из стихотворения лета 1917 г. «Распад»:

...И воздух степи всполошен:

Он чует, он вливает дух
Солдатских бунтов и зарниц.
Он замер, обращаясь в слух.
Ложится — слышит: обернись!

Там — гул. Ни лечь, ни прикорнуть.
По площадям летает трут.
Там ночь, шатаясь на корню,
Целует уголь поутру.

К этому стихотворению поставлен эпиграф из Гоголя: «Вдруг стало видно далеко во все концы света». Эпиграф ясно подсказывает, что «гул» здесь — существенный компонент эсхатологического контекста.

Имеет ли отношение этот эсхатологический контекст «гула» 1917 г. к «гулу» в «Гамлете» 1946 г., сказать с уверенностью трудно. В частности, потому что «гул» в «Гамлете» возникает на самой границе текста: «гул» предшествует тому, что составляет «сюжет» стихотворения и появляется только для того, чтобы исчезнуть: «гул затих». Кроме того, автор не сообщает нам, кто есть источник «гула». Есть соблазн считать, что источником его является публика в зале («На меня наставлен сумрак ночи / Тысячью

биноклей на оси»). Но нельзя исключить и того, что «гул» — признак смятения и психологической бури внутри того, кто выходит на подмостки. Наконец, можно предположить, что эсхатологический «гул» пронизывает все на свете: и героя, и «хор».

Если же обратиться за объяснениями к прозаическому корпусу романа, то на память приходят те примеры, где «гул» увязывается с бесформенностью, с нерасчлененностью, неартикулированностью звукового потока извне. Тогда «гул затих» оказывается необходимым условием того диалога, который ведет герой стихотворения, и того поступка, который он готовится совершить.

¹ Вторым стихотворением является «Сказка» («Встарь, во время оно...»)

² Заманчиво сопоставить последние два примера с оборотом И. Анненского в рецензии на пьесу Горького «На дне» 1906 года, где упомянут «весь этот нестройный гул жизни, недоговоренные реплики, хлопанье дверей, мелькание мокрых подолов...»

³ Об этом уже писал И. П. Смирнов в: «Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака» (*Wiener Slavistischer Almanach, Sonderband 17. Wien, 1985. P. 114–115*).

⁴ *Струве П. Б.* Интеллигенция и революция // Вехи. Из глубины. М., 1990. С. 160.

⁵ *Сувчинский П. П.* Типы творчества. Памяти А. Блока // Петр Сувчинский и его время. М.: Композитор, 1999. С. 143. Имя Сувчинского относительно часто встречается в записях Блока. Позднее у него наладится корреспонденция с Пастернаком. Пастернак упоминает Сувчинского, вкуче с другими евразийцами, в письме к С. Д. Спасскому от 3 января 1928 г., сообщая об откликах на поэму «Девятьсот пятый год». См. публикацию в «Вопросах литературы». 1969. № 9. С. 166.

⁶ Чуть ниже звуковой состав повторяется в строчке «Валилась в разгул листопада зима».

⁷ Ср. пушкинское «Все стало мрак и вихорь» из «Капитанской дочки».

А. д'Амелия
Русские вечера в художественном театре
Луиджи Пиранделло

С окончанием Первой мировой войны в итальянской художественной жизни начался период программного обновления, поиска новых творческих стратегий, словно годы, проведенные во фронтовых окопах, подталкивали к определению новаторских позиций. При этом решительно переосмысливался опыт авангарда начала века, принесшего настоящий творческий подъем, и осознавалось, что в истории итальянской культуры начинается новая глава.

По всей стране наблюдался невиданный расцвет творческих инициатив: складывается группа художников «Пластические ценности» (*Valori Plastici*), объединившихся вокруг одноименного журнала (1918–1922), который призывал вернуться к классическому наследию и к итальянскому искусству треченто и кватроченто¹. В 1918 г. появляются первые картины «Римской школы» (Франческо Тромбадори, Карло Сократе, Вирджилио Гвиди, Антонио Донги и др.), сосредоточенной на поиске «магического реализма» и метафизики обыденности, близкой исканиям русских зарубежных художников.

В конце 1918 г. братья Антон Джулио и Карло Лудовико Брагалья основывают инициативный «Дом искусств Брагалья», организовавший в двадцатые годы одну за другой выставки — Балла, де Кирико, Сирони, Пранполини, Розаи, Боччони, Сант'Элиа, Паннаджи, де Пизис, Климт и Шиле, Цадкин и многие другие. Из русских итальянской публике были представлены скульпторы Генрих Глиценштейн (1870–1942) и Осип Цадкин (1890–

1967), художники Филипп Гозиасон (1898–1979), Григорий Шилтян (1900–1985) и Павел Мансуров (1896–1983)².

В 1923 г. Антон Джулио Брагалья открыл по соседству с галереей «Театр Независимых», его первый сезон был посвящен современному танцу и пантомиме — излюбленным жанрам русских и европейских театров миниатюр. Здесь осуществились новаторские постановки произведений Пиранделло, Бонтемелли, Соффичи, Маринетти, Брехта, Жарри, Аполлинера, Лафорга и многих других. На сцене подземного театра на виа дельи Авиньонези ставятся не только пьесы Тургенева и Чехова, но и драмы Осипа Фелина (псевдоним Осипа Абрамовича Блиндермана), Соломона Полякова и Петра Потемкина. Среди «русских» авторов был и оригинальный драматург Василий Четов-Штернберг, выдуманный писателем Луиджи Бонелли³.

Присутствие русских в этом историческом контексте было заметным и многочисленным. Мы не станем говорить обо всех этапах культурной жизни Рима, а сосредоточим внимание на одном театральном эксперименте, в котором, благодаря посредничеству Ольги Ресневич-Синьорелли, вместе со сторонниками обновления итальянского искусства, объединившимися вокруг Художественного театра Пиранделло⁴, приняли участие некоторые представители русской колонии.

Художественный театр открылся 2 апреля 1925 г. в полностью перестроенном зале римского театра Одескальки постановками пьес Луиджи Пиранделло «Празднество Господина корабля» (*Sagra del Signore della Nave*) и «Боги горы» Лорда Дансени. Хотя в этом помещении труппа пробудет недолго (актеры будут играть на сцене театра Одескальки всего два месяца, со 2 апреля по 3 июня 1925 г., а затем отправятся в турне), Художественный театр, который, по замыслу его создателей, должен был подняться на самую высокую ступень по уровню исполнителей, новаторскому репертуару и качеству постановок, успеет вписать яркую страницу в историю итальянского театра и в биографию всех тех, кто в нем работал⁵.

Три постановки, осуществленные в 1925 г. в Художественном театре, занимают особое место в истории русско-итальянских отношений: первая итальянская постановка балета Игоря Стравинского «История солдата» (28 апреля), арлекинада в одном действии «Веселая смерть» Николая Евреинова (29 апреля) и одноактная трагедия «Смерть Ниобы» на музыку Альберто Савинио (14 мая).

Стравинский написал музыку к балету «История солдата» в 1918 г. (мировая премьера спектакля состоялась в Лозанне 29 ноября 1918 г., режиссер — Георгий Питоев), в Италии это произведение звучало только в концертном исполнении: 4 апреля 1925 г. в театре Одескальки за дирижерским

пультом стоял Альфредо Казелла, либретто Шарля-Фердинанда Рамюза перевел на итальянский Альберто Савинио.

Савинио, познакомившийся со Стравинским в Париже во время легендарных «Русских сезонов» и присутствовавший на премьере «Весны священной» в театре Елисейских Полей 29 мая 1913 г., не без иронии пересказывает либретто: «История солдата претендует на историю „маленького Фауста“. Вернее — Фауста „деревенского“. Перед нами солдат, играющий на скрипке (скрипка — символ души). Бедного солдата искушает дьявол: тот поддается на обман и продает скрипку противнику. Но у сатаны не получается играть на скрипке (несовместимость злого духа и души). Солдат же, вкусив мирские соблазны, осознает их тщетность. Далее следует борьба солдата с дьяволом за карточным столом. Солдат побеждает повелителя тьмы и получает назад скрипку (т. е. вновь обретает душу). Апофеоз — солдат возвращается к маме и невесте»⁶. По поводу музыки Стравинского Савинио замечает: «то и дело взрывается и сверкает праздничное веселье. Танцы хрупкие, как юные бабочки. Скрипка — маленькая, невинная, растерянная, настаивает и зовет голосом муравьишки. Под громоханье потешного, напыщенного оркестрика проходят короли. Щекот назойливых ноток пробуждает восточных принцесс от векового золотого сна. Большой барабан и семь маленьких барабанов (мать и ее сыновья) завершают „Историю солдата“, открывая своим глухим боем неожиданные горизонты, на которых, когда музыка умолкает, наши очарованные глаза видят новую зарю»⁷.

Первая постановка «Истории солдата» была осуществлена (как позднее «Смерть Ниобы» и «Веселая смерть») в сотрудничестве с «Корпорацией новой музыки», основанной знаменитыми композиторами Альфредо Казеллой, Джан Франческо Малипьеро и Марио Лаброкой. Дирижировал Герман Шерхен, на исполнении присутствовал Стравинский⁸. Спектакль был показан в рамках новой инициативы Художественного театра — так называемых «Четвергов», во время которых Пиранделло, как писали газеты, собирался «представлять вниманию публики разные любопытные спектакли, в которых были бы объединены три составляющие: театральное действие, музыкальный отрывок и чтение поэзии или прозы»⁹. Таких «Четвергов» в театре Одескальки прошло всего три: 16 апреля, 29 апреля и 14 мая 1925 года.

В первый «Четверг» были представлены одноактная пьеса А. Шницлера «Подруга», три короткие картины «Дом в саду» на музыку Гвидо Сомми-Пиченарди¹⁰, в заключение Пиранделло прочитал свою новеллу «Рука бедного больного» (*La mano del malato povero*)¹¹.

Вечер второго «Четверга» был полностью «русским»: зрители смогли вновь посмотреть «Историю солдата», послушать чтение «Последнего рассказа» Павла Муратова и увидеть «Веселую смерть» Николая Евреинова

в постановке Орио Вергани¹² под музыкальный аккомпанемент Альберто Савинио.

Арлекиада Евреинова «Веселая смерть», показанная в 1922 г. в парижском театре «Старая голубятня», впервые ставилась в Италии в переводе Раисы Олькеницкой-Нальди¹³. На подготовку спектакля ушла неделя (репетировали с 23 по 29 апреля), руководил постановкой сам Пиранделло, которому понравились театральность пьесы и то, что один из ее героев, Пьеро, постоянно обращается к зрителям. «Нежная и грустная фантазия, — как сказал о ней Сильвио д'Амико в рецензии, напечатанной в газете „Л'Идеа нацонале“, — не раз заставляет вспомнить де Мюссе и всех тех романтиков, которые поэтически изменили грубоватое здоровое начало наших масок, обогатив их человеческими и драматическими чертами»¹⁴.

Художественный театр поставил очень тонкий спектакль, соответствовавший «романтическому» сценарию Вергани. Винченцо Кардарелли¹⁵ отметил, что особого упоминания заслуживает «чрезвычайно сдержанный и воздушный Пьеро» в исполнении Ламберто Пикассо. Драматическая нота возникает только в самом финале, когда «под звуки адской музыки, которую выколачивают из рояля мгновенно узнаваемые руки Савинио, Смерть [ее играла Раиса Гуревич¹⁶, выступавшая под псевдонимом Раиса Лорк] начинает непристойную пляску вокруг постели Арлекина»¹⁷.

Упоминание о Савинио вызывает в памяти слова, сказанные о его исполнении музыкальным критиком журнала «Суаре де Пари» (*Soirées de Paris*), которые Андре Бретон приводит в «Антологии черного юмора»: «Невозможно умолчать о манере исполнения Савинио своих произведений на фортепьяно. Этот молодой композитор, не имеющий себе равных в мастерстве и силе исполнения, играет стоя, без пиджака, и смотреть, как он мечется, кричит, колотит по педалям, размахивает руками так, что у зрителя голова идет кругом, бьет кулаками в неистовстве страстей, отчаяния и восторга, — редкое зрелище и самый настоящий спектакль. После каждого отрыва приходится вытирать испачканные кровью клавиши»¹⁸.

О присутствии русских в римском Художественном театре рассказывала сатирическая газета «Иль Травазо делле Идее». 3 мая 1925 г. в ней появилось следующее объявление: «В театре Одескальки Пиранделло устроил вечер *итальянского искусства*: Рамюз, Стравинский, Евреинов, Раиса Олькеницкая, Муратов, Раиса Лорк и т. д.»¹⁹.

Главным событием третьего «Четверга» стала мимическая трагедия «Смерть Ниобы». Хореографом постановки был русский режиссер, ученик Мейерхольда, Георгий Кроль²⁰, сценографом и художником по костюмам — Джорджо де Кирико. Роль Ниобы исполняла жена Кроля Раиса Гуревич. Оркестром, состоявшим из горстки духовых и ударных инструментов, дири-

жировал сам Савинио. Достаточно беглого взгляда на программку, чтобы уловить семейный характер вечера: помимо братьев де Кирико и супружеской пары Кроль — Гуревич, в ней указаны имена Делии и Марии Морино, будущей жены Андреа Савинио, и юных сестер Синьорелли, занятых в ролях одной из ниоб (Елена) и ханжей (Мария и Вера).

Из-за ремонтных работ открытие театра Одескальки постоянно откладывалось: «Каждый понедельник архитектор Марки²¹ обещал, что к следующему понедельнику театр будет готов, — вспоминал Бонтемпелли, — так проходили недели, к величайшему сожалению Вергани и Ланди²², которые руководили работами. Весь Рим ждал, в газетах все чаще появлялись интервью с Пиранделло, с участниками „Театра Одиннадцати“ и с актерами. Муссолини объявил, что придет на премьеру»²³.

Поскольку театр был еще закрыт, первый сбор труппы для читки пьесы Савинио, под руководством Кроля, состоялся в воскресенье 22 марта дома у Массимо Бонтемпелли по адресу виале Джулио Чезаре, 51. Репетиции шли весь март и апрель, раз в четыре-пять дней, в театре Метастазियो на виа Паллакорда. Только генеральная репетиция прошла в театре Одескальки, который открыли всего за несколько часов до премьеры — 14 мая 1925 г. в 14:30. В спектакле также принимали участие студенты Театральной школы святой Цецилии, среди которых молодой актер Паоло Стоппа, исполнитель роли Статуи.

Размышляя над композицией «Смерти Ниобы», Савинио в интервью, появившемся 14 мая 1925 г. в газете «Иль Тевере», подчеркивает, что завершил работу над тремя партитурами — «Две любви в ночи», «Персей» и «Смерть Ниобы» (*Deux amours dans la nuit, Persée, La mort de Niobé*) — в свой первый приезд во Францию: «„Смерть Ниобы“, действие и музыку, я сочинил зимой 1913 г. Поскольку это произведение не опирается ни на какие традиции, а призвано создать новую форму музыкальной драмы, дата его сочинения приобретает историческое значение»²⁴. Действительно, в партитуре Савинио присутствует шутливое, увиденное трезвым взглядом отражение Парижа тех лет — Парижа Кокто, Пуленка, Орика и особенно Стравинского²⁵.

Для оформления сцены, изображавшей площадь перед церковью, де Кирико предложил простой раскрашенный задник и два пустых, без статуй, постамента. Эскизы сценографии и костюмов утеряны; о них свидетельствует только черно-белая репродукция, которая появилась в мае 1925 г. на обложке журнала «Ривиста ди Фиренце», где изображены сошедшая с постамента статуя, Ниоба и два маленьких, безликих метафизических манекена; на заднем плане, за низкой каменной оградой, виднеются очертания парохода²⁶.

Предлагая современное прочтение античного мифа, «Смерть Ниобы» переносила его в атмосферу, в которой ощущалось сильное влияние французского авангарда (Аполлинер, Кокто) и немецкого экспрессионизма. Воспоминание о метафизической живописи оживало в пустых пространствах Греции, некогда великой страны, зараженной сейчас отвратительными знаками современности — «треньканьем» музыкальной шкатулки и шорохом театра-варьете, — уже превращенной в мещанский рай для туристов.

Спектакль начинается сценой ночного бала призраков и похабного шествия монахов, которые при нападении призраков женского рода пятаются назад и обнимают друг друга. Ниоба появляется на сцене вместе с детьми, выглядит она как дородная матрона «лет сорока, тучная и величественная», похожая на домашнее животное (позднее Савинио изобразит ее на одной из картин с головой пеликана). «Нечто среднее между индюшкой и цесаркой; — указано в либретто, — на ней широкое одеяние с пышными оборками. На девочках легкие газовые платьица разного цвета с кружевами. У старшей волосы заплетены в косички, у остальных распущены по плечам, на макушке — большие банты. Мальчики одеты, как ученики английских колледжей: черные пиджаки, накрахмаленные воротнички, белые брюки, прилизанные волосы... Ниоба собирает детей, словно насадка цыплят, и выталкивает их на авансцену. Позабыв обо всем, она глядит на них, [...] ставит детишек в позу, будто фотограф [...] слегка поправляет их позы»²⁷.

Ночь, действие происходит перед церковью. «Два постаменты — без статуй». За всем и всеми следит «высокий, худой, одетый в черное персонаж»; не показывая зрителям лица, он останавливается прямо перед рампой. За брошенным богам вызовом следует наказание: «Небо покрывает черный занавес. Толпа охвачена ужасом. Статуи дрожат на постаментах, одна из них падает на землю. Люди в страхе бегут. Ниоба и ее дети остаются одни и стоят неподвижно. Раздаются звуки органа. Черный персонаж даже не пошевелился».

Словно цитата из метафизической живописи, внезапно «на черном небе распахиваются два светлых квадратных окна. В них появляются Аполлон и Диана — юные, златокудрые, прекрасные: они глядят друг на друга, здороваются, обмениваются улыбками». Начинается бойня. Трагедия разворачивается стремительно, почти в полной тишине. «С неба течет поток стрел». Один за другим, не издав стона, от руки Аполлона погибают мальчики, девочек убивает Диана. Только теперь Ниоба, безумно метавшаяся вокруг детей, словно пытаясь закрыть их от стрел, замирает: «Тишина: загадочная мелодия музыкальной шкатулки. Выйдя из забвения, мать начинает

вить, как собака, и без чувств падает на мертвые тела. Боги исчезают. Окошки закрываются, будто их и не было». На сцене ничто не движется, небо по-прежнему черное, вдалеке слышна жалобная песня, «черный персонаж медленно подходит к трупам и смотрит на них».

«Преображенная» во время всеобщего смятения, Ниоба движется по сцене, «с безграничной нежностью» глядя на своих умерших детей. «Она вздрагивает при воспоминании о божественных стрелах», «грозит кулаком небу: рука ее больше не опустится. Дрожь вновь пробегает по ее телу, прежде чем она окончательно замирает, выпучив глаза — словно статуя в оборках». Заканчивается спектакль прибытием революционной повозки, которая вместе с трупами увозит окаменевшую Ниобу, тщетно грозящую небу.

Рассматривая театр как площадку для художественных экспериментов, Савинио соединяет на автономном музыкальном фоне пантомиму и поэзию, заново прочитывает миф, помещая его в метафизический контекст, в котором цитаты из произведений «высокого» искусства чередуются с отсылками к современности (отзвуки кабаре, опереточная атмосфера, китчевые детали, профанирующие все «классическое»), и прибегая к типичному для авангарда смешению жанров.

Подобное зрелище не могло не ошеломить зрителей. Перед «Смертью Ниобы» они увидели другую премьеру — пьесу «Странник» (*Le pèlerin*) Шарля Вильдрака в исполнении Ламберто Пикассо, ведущего актера Художественного театра; закончился вечер повтором «Веселой смерти» Николая Евреинова. По сравнению с тонким психологизмом Вильдрака и арлекинадой Евреинова, созвучными атмосфере театра Одескальки, мимическая трагедия Савинио казалась диссонирующим, инородным телом.

Именно в театре Одескальки впервые стало очевидно, насколько не вписывался Савинио в итальянский театр. В течение сорока минут, пока шло представление, зрители то и дело начинали смеяться и умолкали только для того, чтобы «не выглядеть неприлично». По окончании спектакля Савинио, который стоял за дирижерским пультом, с насмешливым видом, с вызовом встречая отрицательную реакцию публики, положил палочку и поднялся на сцену, призвав зрителей соблюдать спокойствие: «Спокойно, синьоры, в конце концов, ничего страшного не произошло». Критики по-разному откликнулись на спектакль: некоторые его решительно отвергли, некоторые защищали, некоторые приняли вызов.

Музыка Савинио и исполнение Гуревич получили положительные отклики в тогдашней прессе: «Что до музыки, которая кому-то напомнила Скрябина, она была грохочущей, бурной, неистовой и мрачной — в тон траурному содержанию. Автор лично правил тройкой роялей... Мимическое

действие добросовестно следовало музыке: госпожа Раиса Лорк танцевала с подобающей пылкостью, а студентки консерватории святой Цецилии старательно ей подражали»²⁸.

Критик Гвидо Сомми на страницах газеты «Л'Имперо» хвалит танцовщицу Лорк, «исполнявшую роль Ниобы с удивительным чувством судорожной и сбивающей с толку комичности», и храбрость Савинио, который смел представить Ниобу как «посудомойку в седом парике» и ее невинных детей «в разноцветных платьицах»: «миф о трагедии матери приобретает таким образом совершенно особый вкус, горьковатый и терпкий, но, безусловно, забавный», — и прибавляет: «„Смерть Ниобы“ — подпольное произведение, созданное среди грязи и глины, кажется, что оно родилось в химической лаборатории, между склянкой с серной кислотой и горстью пороха, в ночь, когда бушевала буря и дул сирокко; по замыслу автора она призвана освятить миф, перенеся его в вечность»²⁹. Критики оценили мастерство оркестра и куда меньше — хора.

Недолгое сотрудничество с Художественным театром доказало несовместимость Савинио, все творчество которого пронизано авангардными чертами, с итальянским театром, вставшим на путь политического и культурного приятия фашизма.

Два месяца спустя, в июле 1925 г., в статье с шутовым названием «Mei pop obliviscar» («Себя не забуду») Савинио вспоминал вечер в театре Одескальки и сумбурное настроение зрительного зала. Однако это только укрепило его убежденность в том, что, не заботясь об одобрении публики, художник обязан повиноваться духу своего искусства и идти своим путем, не думая, что его не поймут. «Мне пришлось перенести град обычных, бессмысленных вопросов — всяких „А что это значит?“, „Что вы хотели сказать?“ — будто произведение искусства можно объяснить причинами практического свойства, как акведук, мост или приют для беспризорников»³⁰. А на упреки, что он, дескать, исказил миф, перенеся его в наши дни, Савинио напомнил, что миф — это вечная метафора, которая все выдержит именно потому, что она всегда современна³¹.

В статье «Правда о последнем пути», появившейся в журнале «Ла Фьера Леттерариа» в сентябре 1933 г., Савинио признался в глубочайшем отвращении к современному театру — убогому подражанию действительности, серому театрику, призванному служить зеркалом буржуазному обществу, — и противопоставил ему свое видение театра как «Разноцветного Приключения», освободившегося от мутных требований правдоподобия и вновь обретшего способность преобразовывать реальность, вновь обретшего свою утопическую сущность³². Театра, стремящегося переступить порог человеческого разума, чтобы двигаться дальше, в «неизведанный мир»,

и погружаться в тайну вещей; театра, в котором соединились бы сокровенные задачи искусства — воспоминание об утерянном рае и обещание грядущего обретения рая. Театра, способного подарить голос предметам, раскрыть связь между людьми и предметами, стереть ложную границу между воображением и реальностью³³.

Опыт работы в театре будет позднее ощущаться в картинах Савинио: в деревянных настилах, так похожих на театральные подмостки, в драпировках, за которыми, как за театральным занавесом, скрыта представленная реальность. В его живописи нередко встречаются мотивы, свидетельствующие о непреходящем интересе к миру сцены и отсылающие к воображаемому театру, в котором рама картины превращается в рампу: двухмерным воплощением этого театра становятся удивительные полотна Савинио, написанные в 1927 г. и неслучайно представленные французской публике таким влюбленным в театр человеком, как Жан Кокто. Все темы его картин уже присутствуют в созданных двумя годами ранее произведениях для театра.

Прощание Савинио с театром эхом отзовется в уходе со сцены Раисы Гуревич: расставшись с мужем, в декабре 1925 г. она едет в Париж к де Кирико, за которого она вскоре выйдет замуж, оставляет театр и начинает заниматься археологией. После неудавшихся попыток продолжить работу в Италии и Кроль в конце 1925 г. вернулся в Россию в надежде снова работать в театре с Мейерхольдом³⁴.

На этом завершается недолгая история сотрудничества русских деятелей искусства с Художественным театром Пиранделло, почти полностью уместившаяся в рамки «встреч по четвергам». Впрочем, драматург вовсе не собирался заниматься авангардным или экспериментальным театром, он преследовал совсем иную цель: создать хороший театр для постановки собственных пьес. Однако, хотя Пиранделло тщательно отбирал репертуар и вкладывал в постановку все силы, несмотря на поддержку фашистского правительства, тяжелое экономическое положение не позволило труппе Художественного театра превратиться в «городской театр» Рима. Художественному театру пришлось отправиться в турне по Италии и за рубежом, благодаря которому в течение нескольких лет произведения его основатели завоевали успех у самой широкой публики.

¹ См.: *Rivosecchi V.* La vita artistica a Roma negli anni di «Valori Plastici» // *Valori Plastici*, a cura di P. Fossati, P. Rosazza Ferraris, L. Velani. Milano: Skira, 1998. P. 137–146.

² См.: *Verdone M., Pagnotta F., Bidetti M.* La Casa d'Arte Bragaglia. 1918–1930. Roma: Bulzoni, 1992; *Verdone M.* I fratelli Bragaglia. Roma: Lucarini, 1991. О них см. на сайте www.russinitalia.it

³ См.: *Piccolo L. Novità agli Indipendenti: russi reali e immaginari in scena // Archivio russo-italiano V. Russi in Italia — Русско-итальянский Архив V. Русские в Италии. Salerno: Collana di Europa Orientalis, 2009. P. 219–236.*

⁴ Созданный осенью-зимой 1924 г. по инициативе Пиранделло, изначально театр должен был называться «Театром Одиннадцати» («Teatro degli Undici») или «Двенадцати» («Teatro dei Dodici») — по числу сотрудников и основателей (Стефано Пиранделло, О. Вергани, К. Арджентьери, А. Бельтрамелли, Дж. Кавиккьоли, М. Бонтемпелли, М. Л. Челли (актриса), П. Кантарелла, Л. Пикассо (актер), Дж. Преццолини, Р. Ренди. Художественный руководитель — Луиджи Пиранделло). Создание труппы было заверено нотариальным актом от 6 октября 1924 г. Об истории Римского Художественного театра Пиранделло см.: *Alberti A. C. Il teatro nel fascismo. Pirandello e Bragaglia. Roma: Bulzoni, 1974; D'Amico S., Tinteri A. Pirandello capocomico. Palermo: Sellerio, 1987.*

⁵ *Tinteri A. Savinio e lo spettacolo. Bologna: Il Mulino, 1993. P. 62–63.*

⁶ *Savinio A. Scatola sonora. Torino: Einaudi, 1988. P. 177.*

⁷ Там же.

⁸ *D'Amico A., Tinteri A. Pirandello capocomico. P. 24.*

⁹ *Il Giornale d'Italia. 1925. 31 gennaio.*

¹⁰ Гвидо Сомми-Пиченарди (1894–1949), русский по происхождению музыкант, сын Н. Г. Базилевской, который иногда подписывался «русским» псевдонимом Сомми-Базилевский.

¹¹ *D'Amico A., Tinteri A. Pirandello capocomico. P. 22.*

¹² Орио Вергани (1898–1960), итальянский писатель, журналист и фотограф, высоко оцененный Пиранделло.

¹³ Раиса Григорьевна Олькеницкая-Нальди (1886–1978), переводчица. О ней см. на сайте www.russinitalia.it

¹⁴ Ср.: *D'Amico A., Tinteri A. Pirandello capocomico. P. 116.*

¹⁵ Винченцо Кардарелли (1887–1959) вошел в историю итальянской литературы XX века не только как поэт и писатель, но и как крупный журналист.

¹⁶ Раиса Гуревич, Кроль, Де Кирико, Кальца (1894–1979), танцовщица, актриса, археолог. О ней см. на сайте www.russinitalia.it

¹⁷ *Cardarelli V. La poltrona vuota. Milano: Rizzoli, 1969. P. 252. 29 мая 1925 г. в Художественном театре состоялась премьера другой пьесы Евреинова — «Самое главное», в переводе Р. Олькеницкой-Нальди.*

¹⁸ *Breton A. Antologia dello humour nero, a cura di M. Rossetti e I. Simonis. Torino: Einaudi, 1970. P. 304–305.*

¹⁹ *D'Amico A., Tinteri A. Pirandello capocomico. P. 348.*

²⁰ Георгий Александрович Кроль (1893–1932), режиссер, актер, ученик В. Э. Мейерхольда. О нем см. на сайте www.russinitalia.it, а также в ст.: *Hellman B. «Under the Yoke of Bolshevism», a Russian Anti-Soviet Film produced in Finland // Литература как миропонимание. Literature as a World View. Festschrift in honor of Magnus Ljunggren. Gothenburg, 2009. P. 99–115.*

²¹ Вирджиліо Марки (1895–1960), архитектор и сценограф, близкий к футуризму, которому в 1925 г. поручили реставрацию театра Одескальки.

²² Стефано Ланди (1895–1962), псевдоним сына Пиранделло, итальянский драматург.

²³ *Bontempelli M. Il teatro degli Undici // D'Amico A., Tinteri A. Pirandello capocomico. P. 396.*

²⁴ Savinio A. Omaggio al pianoforte // Il Tevere. 1925. 14 maggio.

²⁵ См.: D'Amico F. Niobe al Luna Park // L'Espresso. 1981. 23 marzo.

²⁶ Tinterri A. Savinio e lo spettacolo. P. 66. См. также: Sinisi S. Cambi di scena. Teatro e arti visive nelle poetiche del Novecento. Roma: Bulzoni ed., 1995. P.134.

²⁷ Либретто «Смерти Ниобы» можно прочесть в книге: Tinterri A. Savinio e lo spettacolo. P. 225–228.

²⁸ Cardarelli E., Cecchi A. Le novità al Teatro Odescalchi. Il «Pellegriano» di Charles Vi-drac, «La morte di Niobe» di A. Savinio // Il Tevere. 1925. 15 maggio. P. 3.

²⁹ D'Amico A., Tinterri A. Pirandello capocomico. P. 129.

³⁰ Savinio A. Mei non obliviscar // Teatro Archivio. 1981. 4 maggio.

³¹ Tinterri A. Savinio e lo spettacolo. P. 70.

³² Savinio A. La verità sull'ultimo viaggio // La Fiera Letteraria. 1933. 3 settembre. Много лет спустя в «Римских заметках» Савинио с горьким сожалением вспомнит «эфемерный» Художественный театр как возможность, которой ему не удалось воспользоваться.

³³ Tinterri A. Savinio e lo spettacolo. P. 9.

³⁴ В Москве у него не сложилось, и Кроль отправился в Ленинград — снимать фильмы на киностудии Совкино, с 1931 г. он работал в Белгоскино.

П. Деотто

Милан в описаниях русских путешественников Предварительные заметки

Милан никогда не притягивал русских путешественников так, как Венеция, Рим или Флоренция, и редко внушал эмоции, которые вдохновляли бы лирические или прозаические произведения¹. Тем не менее существуют письма, дневники, заметки, свидетельствующие о пребывании русских в Милане, начиная с XVII века².

Кроме писателей и художников в конце XVIII и в начале XIX века в Милан приезжают, ради собственного удовольствия или чтобы заказать туфли известному миланскому сапожнику Ансельмо Ронкетти³, русские туристы, направляющиеся в Оледжо, где тогда находилась «водолечебница, пользующаяся большим успехом»⁴.

До первой половины XIX века русские путешественники приезжают в Милан и по практическим соображениям, например, чтобы познакомиться с общественными и культурными учреждениями того времени⁵. Уже Петр Андреевич Толстой подробно описывает в своем дневнике *Ca' Granda*⁶, построенную по проекту Филарета в XV в., которая поражает его величиной пространства и количеством предоставляемых услуг: кроме больницы, имелся сад лекарственных растений, церкви, часовни, зал для собраний и комната, где собраны портреты благодетелей. Жуковский во время первой поездки в Италию в 1821 г. посещает знаменитую богадельню *Pio Albergo Trivulzio*, основанную в 1768 г. и тогда находившуюся недалеко от *Ca' Granda*: «15 [марта]... В *Palais Trivulci*: до 70 лет, обед; свежесть; отделение мужчин; отделение женщин; высокие дортуары; государыня; цер-

ков; сад; рабочая. Старик живой»⁷. Обязательным для всех путешественников было посещение Амвросианской библиотеки, основанной кардиналом Федерико Борромео в начале XVII века. Большое впечатление производят на них богатство книг и коллекция произведений искусства, в частности «картон „Афинской школы“ Рафаэля». Вызывает большой интерес и Брера, где «сосредоточиваются все высшие учреждения и отрасли народного просвещения, как то: институт наук, академия изящных художеств, пинакотекка или картинная галерея, библиотека публичная, кабинет медалей, астрономическая обсерватория, гимназия, ботанический сад, школы рисования, живописи, гравирования, зодчества, ваяния, украшений, перспективы и анатомии для живописцев. Из всех этих учреждений самое достопримечательное — пинакотекка»⁸.

Хотя воспоминания русских о Милане немногочисленны, нам кажется небезынтересным попробовать восстановить образ Милана в свете традиционной модели изображения Италии и итальянских городов в итальянском тексте русской культуры, проверяя, подходят ли для ломбардского города такие определения, как «духовная родина» и «земной рай», где жизнь проходит в одухотворенной сфере мира и обыденное обрывает вневременным измерением.

Первая встреча с городом возбуждает противоположные чувства. Обычно путешественники разочарованы, они в недоумении, ибо не находят в окружающем мире признаков, оправдывающих образ райского места, за исключением прозрачного воздуха и сияющего неба, и в то же время поражены отсутствием явных черт большого европейского города, славой которого Милан пользовался. В середине XIX века художник Владимир Яковлев, возвращающийся из поездки по южной Италии, едет через Павию в Милан вдоль канала Навильо. Однообразная и полупустынная ломбардская равнина утомляет путешественника: «По сторонам дороги вы видите ряды тополей, группы шелковиц и необозримые поля, зеленеющие маисом... Но с этих роскошных полей не слышно ни звука песни... на станциях девушки не предлагают вам цветов. И вами овладевает тягостное меланхолическое чувство несмотря на то, что в прозрачном воздухе носятся благоухания роскошнейших растений, и над вами блещет небо, достойное золотого века».⁹

Ожидание увидеть на горизонте панораму большого города не оправдывается: «Милан издали представляется в виде зубчатой, туманной линии. Только главный шпигель его собора белеется на голубоватом силуэте далеких гор»¹⁰. Милан не производит живописного впечатления, как Флоренция, Сиена или Рим, которые находятся на холмах и открывают путешественнику картину, осуществляющую полную гармонию городского про-

странства с природой. Издали силуэт города представляет однообразие окружающей равнины. Милан обнаруживается, как и все большие города того времени¹¹, с помощью фрагментарных признаков: дорога оживляется, мчатся экипажи последнего фасона и, наконец, городские ворота, — всё это признаки, заставляющие путешественника изменить свое отношение к городу и свой взгляд на него.

Сорок лет спустя, в 1894 году, Александр Бенуа испытывает горькое разочарование, приезжая в дождливый и холодный Милан, на грязный, мрачный и захолустный вокзал¹², мало соответствующий представлению о большом городе. Особенно если сравнить его с «новешенькими и грандиозными вокзалами» немецких городов, где Бенуа с женой только что побывали во время свадебного путешествия.

Муратов в «Образах Италии» объясняет причины, мешающие русским путешественникам установить непосредственную связь с городом. Приезжающие из Рима или Венеции, выходя с вокзала, попадают в скучный район с банальными отелями, который равняет Милан с «европейским городом средней руки»¹³. Путешественник должен сделать усилие над собой, чтобы познакомиться с миланским художественным прошлым и увидеть его достоинства.

Но разочарование и недоумение быстро проходят у того, кто преодолевает первоначальное равнодушие и постепенно, не спеша, знакомится с городом: «хотя бы немного жить в нем... в сердце старого города»¹⁴, как советует Муратов. Этот совет подтверждается и личным опытом Бенуа, который после первого неудовлетворительного посещения вспоминает: «В Милане я с тех пор бывал несчетное число раз, даже подолгу жывал в нем и успел изучить его досконально. Я научился любить этот богатый, насыщенный историческим прошлым город»¹⁵.

Не нуждается в особых усилиях Вяземский, который с самой первой поездки в Милан, в 1835-м, очарован городом, пространство которого тогда более или менее совпадало с настоящим историческим центром. Приехав усталым, простуженным, в плохую погоду, он так описывает свое первое впечатление в письме к жене: «Милан — очень красивый город»¹⁶. Так же настроен по отношению к городу путешественник Растеряев, приехавший в Милан на поезде через Сен-Готард. В его восприятии отрицательные черты, отмеченные в предыдущих воспоминаниях, принимают другие оттенки. Он попадает в Милан не проездом, а специально приезжает из Швейцарии, желая «осмотреть все, чем славится „итальянский Париж“»¹⁷, определение, напоминающее выражение Оскара Уайльда «Милан — это второй Париж»¹⁸, и с заманчивой мыслью, что там его ждет знаменитый ризотто. Хотя Растеряев считает, что «вокзал в Милане не представлял из себя ничего

особенного»¹⁹, он не разочарован: здание ему кажется даже несколько кокетливым, благодаря большой тихой площади перед ним, где в саду растет масса цветов. Тут видна склонность к подходу «особо благоприятному», и даже «сносный номер» гостиницы близ вокзала представляется как незначительная деталь по сравнению с перспективой скоро увидеть «чудо — Миланский собор»²⁰.

Дуомо — это главный памятник города, притягивающий всех путешественников. Они восхищаются «фантастическим чертогом из вековых снегов Монблана»²¹, который со своими арабесками, фестонами, гирляндами из мрамора и тысячами статуй, «белеющими в воздушной синеве»²², выглядит еще баснословнее. Замечательно легкое кружево игл, устремленных в синее небо: «весь ажурный, словно в кружок, величественный и высокий!»²³

«Баснословный» и «великолепный» часто встречаются в описаниях русских путешественников, но у некоторых приобретают особые оттенки. Вяземскому собор представляется как «шахматная штука из кости, удивительная тонкостью и многосложностью узорчатой работы»²⁴. Он воспринимает его великолепие не в торжественной и величественной форме, свойственной храму святого Петра²⁵, а в его сказочном и веселом характере, открывающем «великолепие несколько игрушечное»²⁶. В каком-то смысле первое впечатление Бенуа от внешнего фасада собора тоже толкуется в этом ключе, но тем не менее он приводит к несколько отрицательному суждению: «Миланский собор снаружи нам показался каким-то „мишурным“»²⁷. Наверное, это суждение, как объясняет сам художник, обусловлено недавним посещением «величественных», «строгих» немецких готических соборов. Игровой подход приводит Бенуа к истолкованию Дуомо в бытовом плане: собор как будто возникает из рук опытного кондитера. В письме к отцу он сравнивает Дуомо с «кондитерским пирогом» и «белоснежный мрамор» — с «сахарным изделием»²⁸.

Легкость присутствует и в описании Муратова, который, хотя и подчеркивает полуподлинность этого готического памятника, где большинство игл было поставлено в XIX веке, не может не воспевать его за красоту мрамора и не назвать его улыбкой миланской жизни. Символ миланской жизни приобретает антропоморфические качества, содержит черты, традиционно приписываемые миланцам, такие как веселость и живое добросердечие, «сохраненные сквозь самые тяжкие испытания»²⁹, это всё черты, подчеркиваемые и Стендалем, по следам которого Муратов идет в своем толковании города.

Русских путешественников XIX и XX века очень привлекает крыша Дуомо. Вид с высоты становится с XVIII века постоянной чертой в описании города и конкретно реализуется в технике панорамного изображения. Это

обеспечивает общее, синтетическое представление о городе и о его территории³⁰. В панораме, как говорит Дуббини, «осуществляется процесс преобразования взгляда, направленный на непосредственное, реалистическое и научное наблюдение, хотя не исключает и живописной стороны»³¹. Яковлев так определяет вид с крыши Дуомо: «Одна из таких картин, которые навсегда остаются в памяти»³².

Этот взгляд отличается от видения через живопись, присущего русским в восприятии итальянских городов. Взгляд не обусловлен закрытым пространством как в ведуте, ограниченной рамкой³³, а свободен по всем направлениям: «Отсюда раскидывался план ломбардской столицы до синих холмов»³⁴ (пишет Петров-Водкин), и в то же время наблюдает город и окружающую территорию, рассматривает их в деталях, исследуя места как на географической карте.

Тонкая линия силуэта города разворачивается в панораму ломбардской равнины, на которую Яковлев смотрит с крыши собора: его взгляд сначала охватывает зеленый простор, где выделяются «города и селения со своими белыми и красными башнями»³⁵, потом он направляется вперед к горизонту, обрамленному горами, подчеркивая широту территории. Дальше меняет перспективу, выделяя разные картины, показывающие все новые и новые ракурсы: озера, Симплонскую дорогу и Триумфальную арку, от которой дорога начинается, а дальше перспектива сужается и взгляд останавливается на дворцах, на движении улиц и на площади, с которой «шум этой жизни едва-едва долетает»³⁶, и поднимается вверх вдоль лестницы, игл и аркад.

В восприятии русских путешественников XIX века восхождение на крышу Дуомо преследует еще один образ, через который можно воспринимать город. Дуомо — это мраморная гора, «отделившаяся от цепи Альпийской»³⁷ и высящаяся на «море зелени Ломбардии»³⁸. Показательно, что Вяземский, описывая свой подъем на крышу, пишет: «Лазил»³⁹. Образ горы обогащается природными деталями, оживляющими его: она «сияет снежной белизной»⁴⁰, и крыша — «густой лес высоких обелисков»⁴¹. Дуомо образно воспринимается как природа: гора из белого мрамора, являясь пейзажем Милана, осуществляет ту полную гармонию природы с культурой, то есть с искусством, в которой воплощается модель Земного Рая, соответствующая представлению русских об Италии. Но природа Милана не естественная, она не является отражением идеальной духовной сферы, где произведения искусства создают непосредственное эстетическое пространство, как во Флоренции. Пейзаж города — это Дуомо, то есть урбанистический элемент, являющийся осуществлением архитектурного проекта, где творче-

ская мысль сливается со своим материальным воплощением в реальном историческом пространстве.

«Милан всегда был и остался дольше, чем какой-либо другой из итальянских городов, архитектурным городом»⁴², — пишет Муратов, называя среди многочисленных примеров базилику Сант-Амброджио как редкое воплощение глубокого понимания романской архитектурной концепции и вспоминая художников, в разные времена придававших форму городу: Браманте в Милане работает в основном в качестве архитектора, Леонардо в годы пребывания в Милане занимается инженерной деятельностью и в частности исследованиями в отрасли гидравлики и архитектуры.

Русских путешественников начала XIX века особенно привлекали такие торжественные гражданские строения, как Триумфальная арка, переименованная в Арку Мира при открытии в 1838 г., строительство которой было начато по указанию Наполеона в 1807 г. (проем ворот был ориентирован по оси «Париж — Милан») по проекту Луиджи Каньола. И Арена, возведенная в неоклассическом стиле Луиджи Каноники в 1806 г. и созданная для театра морских сражений и состязаний колесниц. В обоих строениях подчеркивается связь с императорской римской традицией, но Глаголев вводит в описание этих памятников свои критические взгляды на миланских граждан, которые покорились Наполеону. Он, в отличие от Осоргина, считающего, что даже в простом римском народе «чувствуется великое»⁴³, не смотрит на миланцев как на продолжателей великой традиции древних римлян, «перед которыми трепетала вселенная», а узнает в них «дух и склонности... роскошных сибаритов и низких рабов, которые за одни игрушки продавали пришельцам себя, отечество и славу своих предков»⁴⁴.

Отрицательное описание миланцев, как следствие антинаполеоновских настроений, дает неидеализированное представление об итальянце. Нестереотипный подход выделяется прежде всего в описании миланской женщины, образ которой не воспринимается через живопись, как это обычно происходит в итальянском тексте русской культуры⁴⁵. Миланские женщины не воплощают идеальной красоты, как Аннунциата Гоголя в рассказе «Рим», это конкретные женщины. Единственная шаблонная черта — это черные волосы и «многоговорящие» темно-синие глаза, которые «придают даже не красавицам много волшебной привлекательности»⁴⁶. В воспоминаниях изображаются фигуры женщин «стройных и чрезвычайно грациозных»⁴⁷, которые встречаются на улицах или в театрах, как замечает Растеряев, когда гуляет по галерее Виктора Эммануила, переполненной народом: «Красивых женских лиц, пышных, хорошо сложенных фигур попало довольно много»⁴⁸. Эти слова напоминают впечатления Стендаля,

приведенные Муратовым в «Образах Италии»: «Живые красавицы, встречающиеся мне, отвлекают меня несколько от красот искусства...»⁴⁹

В представлениях русских о Милане Дуомо имеет важное символическое значение, относящееся к разным аспектам города. Само его присутствие — это нечто вроде введения к художественному Милану, часто игнорируемому путешественниками, которых, не без сожаления, описывает Яковлев так: «Возвращающиеся из центральной Италии, утомленные и пересыщенные обзором сокровищ искусств, которых достало бы для наслаждения в продолжение целой жизни... осматривают здешние галереи торопливо...»⁵⁰ Художник, как сделал Гюго с Нотр-Дамом⁵¹, смотрит на фасад Дуомо как на музей, где можно «проследить все эпохи христианского ваяния». Бенуа сосредоточивается на внутренности собора, определяя ее как музей, где находятся предметы, «достойные самого бережного хранения и самого восторженного внимания». Представление о Дуомо как о музее вводит два интересных элемента: с одной стороны, Милан подсказывает новые возможности для ознакомления с полуостровом: «в Миланском соборе мы впервые встретились с „музейностью“ Италии»⁵², пишет Бенуа; с другой стороны, не имея, как Рим или Флоренция, большого количества памятников искусств, выделяющихся на городском пространстве (все русские путешественники цитируют гигантскую античную колоннаду, стоящую подле церкви св. Лаврентия, самый значительный остаток римской эпохи), воссоздает эстетическое пространство внутри церквей. Именно там русские путешественники открывают для себя, среди других, такие ценные произведения искусства, как «Тайная вечеря» Леонардо и фрески Бернардино Луини в церкви Сан-Маурицио. Хранение произведений искусства в церквях, а не «в равнодушном музейном хранилище»⁵³ радует Муратова, упорного противника музеев и убежденного сторонника того, что произведение искусства может удачно поместиться только внутри оригинального контекста, для которого оно было создано⁵⁴.

Но все-таки эстетическое пространство Милана — это по определению театр Ла Скала, где для русских конкретизируется представление об Италии как о родине музыки, представление, создавшееся благодаря успеху итальянской оперы в России XVIII века и жизнерадостной музыки Россини в начале следующего века. Вяземский во время своего второго пребывания в Милане в 1863 г. проводит все вечера в Ла Скала⁵⁵, Жуковский остается в Милане не на три дня, как запланировал, а на пять, для того чтобы дождаться открытия Ла Скала, где давали «Золушку» Россини, и восторгался: «Слышал божественную музыку»⁵⁶. Во время короткого пребывания в Милане Жуковский — постоянный посетитель театров: смотрит оперу буфф в театре del Re, бывает, наверное, в театре Каноббиана⁵⁷, построенном

Пермарини в подражание Ла Скала, только в меньшем размере, и проводит один вечер в театре Gerolamo⁵⁸, созданном в начале XIX века и известном во всей Европе своими замечательными куклами. Зрителей привлекала оригинальность репертуара, предусматривавшего — кроме фарса с куклой Gerolamo, исполняющей главные комические роли и отпускающей шуточки на миланском диалекте — кукольные постановки трагедий, романтических драм и балетов, пользовавшихся успехом на сцене миланских театров. Подтверждают необычайность этих постановок восторженные слова Яковлева: «Такие куклы вполне достойны XIX века: они разыгрывают и фарсы, и романтические драмы так же ловко, как записные актеры... Вообще, эти куклы неподражаемы. Балет, который давали при мне в антрактах комедии, был, что называется, — spettacolo!»⁵⁹.

Театральная жизнь Милана с лирической оперой и кукольным народным театром вполне оправдывает ожидания русских путешественников. Кроме того, средоточие театров на центральных улицах города создает подходящую атмосферу для воплощения стереотипного образа итальянца как прирожденного певца: «И до утра не смолкают канцоны и арии сограждан Ла Скала, расходящихся по домам из маленьких театров и скромных кафе»⁶⁰.

В воспоминаниях русских путешественников выделяются два элемента, отличающих Милан от остальных итальянских городов. Милан не духовная родина, как Рим, Флоренция или Венеция⁶¹, он сопоставляется с европейскими городами, и в частности с Парижем. Это сопоставление не предполагает утопической модели, стремящейся к подтверждению уже созданного образа Земного Рая, а осуществляет восприятие в плане действительности и исторического развития. Милан не отражение идеальной красоты, а «благоприятный город», играющий роль «делового кабинета» в Италии, отождествляемой Осоргиным с собственной квартирой⁶². Восприятие города не в эмоциональном плане, а в рациональном приводит к приобретению всё новой и новой информации, заставляя постоянно переосмысливать собственный образ и образ другого. Романтические образы ладзарони или «даровых натурщиков на неаполитанском молу»⁶³ не воплощаются в городском пространстве, где преобладают конкретные черты: «Миланец — практически господин в цилиндре»⁶⁴, щедро содействующий общественным инициативам и весело гуляющий по вечерам по центральному Корсо или беседующий за столиком модного кафе. Несмотря на то, что Милан представляется русским как город современный, динамичный в повседневной жизни, его эстетические пространства, такие как Дуомо с лесом игл, устремленным в синее небо, и Ла Скала, общепризнанный храм лирического искусства, обеспечивают связь с мифическим образом Италии как неисчерпаемого источника духовности.

¹ Иногда Милан трактуется в стихах второстепенных авторов или встречается как фон жизни Леонардо да Винчи в произведениях Мережковского и А. Волынского. Город также упоминается в «Охранной грамоте» Пастернака.

² Первое общее описание Милана находится в «Дневнике неизвестного, который был в Голландии, Германии и Италии в 1697–1698 гг.» и более подробное описание в «Путешествии стольника П. А. Толстого по Европе (1697–1699)». См.: *Lo Gatto E. Russi in Italia. Dal secolo XVII ad oggi.* Roma, 1971. P. 25–29.

³ Ансельмо Ронкетти (Anselmo Ronchetti) был известен тем, что сделал сапоги для таких международных знаменитостей как Александр Первый и Наполеон. См.: *Kauchtschischwili N. L'Italia nella vita e nell'opera di P.A. Vjazemskij.* Milano, 1964. P. 83.

⁴ См.: *Kauchtschischwili N. Anselmo Ronchetti e i suoi amici russi // Il Risorgimento.* 1963. Anno XV. № 1. P. 20.

⁵ Кроме того, известны встречи Жуковского и Вяземского с писателем Алессандро Мандзони. См.: *Kauchtschischwili N. Alcune considerazioni su un incontro tra P. A. Vjazemskij e Alessandro Manzoni // Aevum.* 1962. XXXVI/V–VI. P. 1–20; *Жуковский В. А. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки: 1834–1847 // Полное собрание сочинений и писем.* М., 2004. Т. 14. С. 132.

⁶ В настоящее время Миланский государственный университет.

⁷ *Жуковский В. А. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки: 1804–1833 // Полное собрание сочинений и писем.* М., 2004. Т.13. С. 202.

⁸ *Глаголев А. Записки русского путешественника с 1823 по 1827.* СПб., 1837. Ч. 3. С. 250.

⁹ *Яковлев Вл. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя.* СПб., 1855. [Т]. I. С. 332.

¹⁰ Там же. С. 333.

¹¹ См. *Dubbini R. Geografie dello sguardo. Visione e paesaggio in età moderna.* Torino, 1994. P. 60.

¹² Александр Бенуа имеет в виду старый миланский вокзал, который находился тогда на нынешней площади della Repubblica. В 1931 году открыли новый вокзал в помпезном фашистском стиле, но его построили чуть дальше от центра, чем прежний вокзал. См.: *Бенуа А. Мои воспоминания: В 5 кн.,* М., 1993. Т. 2. С. 29.

¹³ *Муратов П. Образы Италии.* Берлин, 1924. Т. III. С. 171.

¹⁴ Там же С. 172.

¹⁵ *Бенуа А. Мои воспоминания.* С. 29–30.

¹⁶ См.: Письмо Вяземского П. А. к жене Вере Федоровне из Милана от 18/30 апреля 1835 г., цитируемое из книги: *Kauchtschischwili N. L'Italia nella vita e nell'opera di P. A. Vjazemskij.* Milano, 1964. P. 298.

¹⁷ *Растеряев Н. Г. Путевые очерки и заметки по Европе.* СПб, 1904. С. 147.

¹⁸ В письме к жене от 24–25 июня 1875 г. Оскар Уайльд так выразил свой восторг от Милана. См.: *Milano è una seconda Parigi. Viaggiatori britannici e americani a Milano, a cura di Eleonora Carantini.* Palermo, 2007. P. 206.

¹⁹ *Растеряев Н. Г. Путевые очерки и заметки по Европе.* С. 144.

²⁰ Там же.

²¹ *Яковлев Вл. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя.* С. 337.

²² Там же. С. 338.

²³ *Растеряев Н. Г. Путевые очерки и заметки по Европе.* С. 145.

²⁴ Письмо из Милана от 18/30 апреля 1835. С. 298.

²⁵ Русские путешественники начала XIX века, такие как Глаголев и Вяземский, оба приводят пример, который, видимо, тогда был злободневным, судя по словам Глаголева: «Один из профессоров Лондонской Академии изящных искусств столько был очарован великолепной наружностью этой церкви, что не усомнился поставить ее выше Римской Св. Петра» и в заключении: «Я не имею никакого права быть строгим и решительным судьей этих двух совершенно противоположных произведений; впрочем не усомнился бы, вместе с г-жей Сталь, дать первое такое же почетное место в архитектуре готической, какое занимает последняя в Римской». *Глаголев А.* Записки русского путешественника с 1823 по 1827. С. 223–224. Сравнение Дуомо с храмом святого Петра встречается также у американского путешественника Ральфа Уайльдо Эмерсона, который был в Италии в 1833 г. См.: *Milano è una seconda Parigi*. P. 148.

²⁶ Письмо из Милана от 18/30 апреля 1835. С. 298.

²⁷ *Бенуа А.* Мои воспоминания. С. 30.

²⁸ Там же.

²⁹ *Муратов П.* Образы Италии. С. 175.

³⁰ *Dubbini R.* Geografie dello sguardo. P. 62–63.

³¹ *Ibidem*. P. 65.

³² *Яковлев Вл.* Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. С. 345.

³³ См.: *Stoichita V. I.* L'invenzione del quadro. Arte, artefici e artifici nella pittura europea. Milano, 1998. P. 176–187.

³⁴ *Петров-Водкин К. С.* Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1982. С. 486.

³⁵ *Яковлев Вл.* Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. С. 344.

³⁶ Там же. С. 345.

³⁷ *Глаголев А.* Записки русского путешественника. С. 215.

³⁸ *Яковлев Вл.* Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. С. 344.

³⁹ Письмо от 18 (30) апреля 1835. P. 299.

⁴⁰ *Яковлев Вл.* Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. С. 338.

⁴¹ *Глаголев А.* Записки русского путешественника. С. 215.

⁴² *Муратов П.* Образы Италии. С. 178.

⁴³ *Осоргин М.* Очерки современной Италии. М., 1913. С. 121.

⁴⁴ *Глаголев А.* Записки русского путешественника. С. 236.

⁴⁵ Восприятие через живопись является основным в итальянском тексте русской культуры и касается не только Италии, но и ее жителей, как доказывает описание стройных и пластичных мужчин Велетри и Альбано, как будто сошедших с картин Эрколе де Роберти (*Герцен А. И.* Сочинения: В 9 т. М., 1956. Т. III. С. 112), или описание женщин, которые взбираются по переулкам маленьких итальянских деревень, изящным жестом поддерживая на голове медные кувшины, проливающие воду, добытую из фонтана. Формальное совершенство этого образа заставляет русских писателей, таких как Гоголь, Герцен, Муратов, сопоставлять его с живописным изображением. См.: *Deotto P.* In viaggio per realizzare un sogno. L'Italia e il testo italiano nella cultura russa. Trieste, 2002.

⁴⁶ *Яковлев Вл.* Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. С. 351.

⁴⁷ Там же. С. 347.

⁴⁸ *Растеряев Н. Г.* Путевые очерки и заметки по Европе. С. 148.

⁴⁹ Муратов П. Образы Италии. С. 174. (*Stendhal. Rome, Naples et Florence. Paris, 1854. P. 73*).

⁵⁰ Яковлев Вл. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. С. 365.

⁵¹ *Dubbini R. Geografie dello sguardo. P. 132–135.*

⁵² Бенуа А. Мои воспоминания. С. 30.

⁵³ Муратов П. Образы Италии. С. 192.

⁵⁴ Об этом см.: Муратов П. П. Национализация искусств // Понедельник Власти Народа. 1918. № 7. 2(15) апреля. С. 3.

⁵⁵ См. Письмо Вяземского П. А. к жене Вере Федоровне из Милана от 25 ноября 1863 г., цитируемое из книги: *Kauchtschischwili N. L'Italia nella vita e nell'opera di P. A. Vjazemskij. Milano, 1964. P. 316–317.*

⁵⁶ Жуковский В. А. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки: 1804–1833. С. 202, 207.

⁵⁷ С 1894 Театро Лирико.

⁵⁸ 12 марта 1821 он записал в дневнике, что посмотрел балет *Dedale e Icare*. См.: Жуковский В. А. Дневники, письма-дневники, записные книжки 1804–1833. С. 202.

⁵⁹ Яковлев Вл. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. С. 378.

⁶⁰ Муратов П. Образы Италии. С. 172.

⁶¹ См.: *Deotto P. In viaggio per realizzare un sogno.*

⁶² Осоргин М. А. По этапам экскурсантных мытарств // Русские ведомости. 1912. 27 июня. См.: также: *Конечный А. Образ Италии в корреспонденциях и очерках Михаила Осоргина // Europa Orientalis, 1998. № 17/2. С. 103–124.*

⁶³ Яковлев Вл. Италия. Письма из Венеции, Рима и Неаполя. С. 337.

⁶⁴ Осоргин М. А. Итальянцы // Очерки современной Италии. С. 77.

П. В. Дмитриев

Вяч. Иванов и М. Кузмин

К истории одного недоразумения

Сложной истории вокруг появления на страницах журнала «Труды и Дни» рецензии Кузмина¹ посвящено, можно сказать, исчерпывающее исследование Н. А. Богомолова, опубликованное в первом номере журнала «Philologica»². Однако для нашего сюжета требуется вкратце коснуться истории публикации этого текста. Отклик Кузмина на выход первой части книги Вяч. Иванова был с прохладой встречен самим Вяч. Ивановым, с явным отторжением — Андреем Белым и московскими символистами и довольно равнодушно — всеми прочими современниками. Кого публикация не оставила равнодушным — так это ее автора, Кузмина. Редакция «Трудов и Дней» без согласия на то автора (и без ведома Вяч. Иванова) отбросила заключительный абзац рецензии. Кроме того, текст был опубликован с искажающими его смысл опечатками. Кузмин вынужден был обратиться с протестом в журнал (его развернутое письмо было опубликовано на страницах «Аполлона»³). Любопытно отметить, что редакция «Аполлона» в очередной раз воспользовалась Кузминым как орудием для «художественно-идеологической» полемики — письмо Кузмина выглядит маленьким эстетическим манифестом, в котором, между прочим, в полемическом ключе снова всплывает тема «прекрасной ясности»⁴, провозглашенная два года тому назад.

Работа Вяч. Иванова над своей поэтической книгой «Cor Ardens» хронологически в основном совпадает со временем общения двух поэтов, Иванова и Кузмина, и на биографическом уровне охватывает всю цепочку

«знакомство — сближение — охлаждение — отчуждение — примирение». Отнюдь не желая преувеличивать влияния друг на друга таких самодовлеющих фигур, отметим только, что даже с формальной стороны участие Кузмина в книге Иванова ощутимо. Во-первых, ему принадлежит музыка к латинскому гимну Иванова «Breve aevum separatum», открывающему вторую часть сборника (нотный автограф Кузмина воспроизведен факсимиле)⁵. Кузмину же Вяч. Иванов посвятил стихотворение «Анахронизм»⁶, присутствует он и в «Sonetto di risposta», кроме того, в последнем разделе «Лепта» Кузмин прямо или косвенно упомянут не единожды⁷.

* * *

Известно, что само название поэтического сборника прямо восходит к магистральному эпизоду «Новой жизни» Данте⁸. Любопытно, что впоследствии этот эпизод (из «Новой жизни») был переведен Вяч. Ивановым и опубликован им в упомянутой уже статье «О границах искусства» в 7-й тетради «Трудов и Дней»:

«и в размышлениях о ней застиг меня приятный сон, и чудное во сне возникло видение. Мне снилось, будто застлало горницу огнецветное облако, и можно различить в нем образ владыки, чей вид ужаснул бы того, кто б на него воззреть посмел; сам же он веселится и ликует; и дивно то было. И мнилось, будто слышу его глаголы, мне непонятные, кроме немногих, меж коими я уловил слова: «Аз властелин твой». И будто на руках его спящую вижу жену нагую, едва прикрытую тканью кроваво-алую; и, взглядываясь, узнаю в ней жену благого привета, ту, что удостоила меня в день оный благопожелания приветного. И в одной руке, мнилось, он держит нечто пылающее пламенем, и будто говорит слова: «Узри сердце твое». И некоторое время пребывал он так, а потом, мнилось, будил спящую, и неволил ее принуждением воли своей, и нудил вкусить от того, что держал в руке, и она ела робко. После чего вскоре веселье его обратилось в горький плач; и с плачем поднял он на руки жену, и с нею, мнилось, возлетел к небу. А на меня навело сие боязнь и тоску такую, что легкий сон мой не мог вместить ее, но она рассеяла его, и я проснулся⁹.»

Очевидно, именно видение Данте из «Новой жизни», где герой вкушает от пламенеющего сердца, трансформировалось во сне Вяч. Иванова в эпизод, в котором участвуют Л. Д. Зиновьева-Аннибал, ее дочь Вера и сам Вяч. Иванов (отраженный в дневнике, запись от 15 июня 1908 г.):

«Лидию видел с огромными лебедиными крыльями. В руках она держала пылающее сердце, от которого мы оба вкусили: она — без боли, а я — с болью от огня. Перед нами лежала, как бездыханная, Вера. Лидия вложила ей в грудь огненное сердце, от которого мы ели, и она ожила; но, обезумев, с кинжалом в руках, нападала в ярости на нас обоих. Потом вдруг смягчилась и обняла нас обоих, и прижимаясь к Лидии, говорила про меня: «он мой?» Тогда Лидия взяла ее к себе, и я увидел ее, поглощенную в стеклянno прозрачной груди ее матери¹⁰».

Интересно, что тут же в дневнике несколькими строками выше присутствует запись, свидетельствующая о том, что именно Кузмин советовал в то время Вяч. Иванову создать книгу наподобие «Vita Nova»¹¹. Нельзя ли видеть в этом предложении Кузмина тонкое понимание личности и особенностей творческого дарования Вяч. Иванова? Более того, Кузмин как будто деликатно задает своему старшему другу и некоторое «направление» для воображения.

Скрепляющий всю книгу образ пылающего сердца как нерасчленимый символ любви и творчества делает этот сборник (и по замыслу его автора) едва ли не главной поэтической книгой Вяч. Иванова этого периода, а может быть, и всего его поэтического творчества в целом. Рецензия же Кузмина, даже содержащая множество ценных наблюдений, не была, если можно так сказать, «адекватна» тому образу книги и тому значению, которое придавал ей сам автор. Кузмин сосредоточил свое внимание на мелочах, частностях, иногда «поэтической кухне» и совершенно проигнорировал (что вовсе не означает «не заметил») философскую, так сказать, «идеологическую» сторону издания, низведя «откровение» до «сообщения». Этим был неудовлетворен и сам Вяч. Иванов, назвавший отклик Кузмина «плохонькой статейкой»¹², правда, в том же письме Э. К. Метнеру он энергично протестует против «купирования» заключительного абзаца рецензии.

Но примечательнее всего известный отзыв Александра Блока. В письме к Белому от 16 апреля 1912 г. содержится несколько замечаний к новому изданию, затем упреки непосредственно Вяч. Иванову. Третьей волной в этой череде следует такой пассаж: «Мне больно, когда он <Вяч. Иванов> <...> тащит за собой Кузмина, который на *наших* пирах не бывал... Какие-то „кони, стонущие с нежным ржанием“, — ведь это мерзость»¹³. Кажется, что мнение Блока отчасти обусловлено несколько развязным оборотом самого Кузмина, относящимся к поэзии Блока («„лунный ладан“, в котором *любо купаться* А. Блоку») ¹⁴, но, конечно, прежде всего каким-то манерным,

жеманным образом «стонущих с нежным ржанием коней», возникших вследствие ошибки наборщика. Вот этот злополучный предпоследний абзац, задевший за живое нескольких современников Кузмина:

«Вяч. Иванов часто делает себя лунным, открывая свои глаза прозрению, гаданию, ночи, но состав его, более солнечный и мужественный, неудержимо влечет его на predetermined путь, и туманы более похожи на пелену, которой кипучая кровь застилает глаза порою, на «синь фимиама», которая застит блеск изумруда, нежели на «лунный ладан», в котором любо купаться А. Блоку. Поэзия Вяч. Иванова — звук труб и флейт, шум крыльев, бег белых коней, которые станут с нежным ржанием только в час жертвенной тишины¹⁵».

В рецензии Кузмина это — последняя красивая фраза, которая сама подобна бегу коней перед остановкой — заключительным, несколько суроватым пассажем о двух поэтах — вершинах современного русского поэтического мастерства¹⁶:

«Говорить ли нам о технике? пусть другие это сделают со спокойным духом, мы же напомним, что техника стиха, общих и частичных форм, теперь имеет лишь двух мастеров: Валерия Брюсова и Вяч. Иванова¹⁷».

Кстати, этот последний абзац, выброшенный редакцией, даже формально необходим: он связует начало и конец, и в нем еще раз подчеркивается то, что утверждалось в начале.

Возвращаясь к предпоследнему отрывку, мы можем только недоумевать, почему тонкий слух Блока не уловил опечатки. Ведь этот момент остановки (вообще сам глагол «стать» в смысле «остановиться») явно инспирирован самой книгой Вяч. Иванова, так же как и заключительный образ коней. Можно сказать, что слабая сторона рецензии Кузмина — ее реферативность, когда взгляд рецензента только скользит по поверхности, ее бесконечные уходы в сторону, парадоксально сочетающиеся с каким-то топтанием на месте, при непредубежденном взгляде, является и ее сильной стороной.

Повторяя и цитируя то скрыто, то явно тексты Иванова, Кузмин «адаптирует» лексику Иванова, используя весь спектр его поэтических образов от «Мэнады» через «Огненосцев», «Spesulum spesulogum» и вплоть до «Золотых завес».

И как раз к этому стилистическому «вживанию», все же несколько компенсирующему, на наш взгляд, «информационную недостаточность» кузминского текста, некоторые читатели (как Блок) оказались нечувствительны, а сам герой рецензии остался равнодушен. И все же здесь важно, что рецензию о поэте писал поэт. И как сам сборник Вяч. Иванова проникнут зримой идеей пылающего сердца, таким же образом финал рецензии Кузмина пропитан образами и мотивами ивановского «*Cor ardens*» (чего в полемической схватке противоборствующих литературных лагерей никто, увы, не заметил).

¹ Рецензия на «*Cor Ardens*» (Труды и Дни: Двухмесячник издательства «Мусагет». 1912. № 1. Январь–февраль).

² Богомолов Н. А. История одной рецензии («*Cor ardens*» Вяч. Иванова в оценке М. Кузмина) // *Philologica*: Двухязычный журнал по русской и теоретической филологии. 1994. Т. 1. № 1/2. С. 135–147. Далее при ссылках на эту публикацию — Богомолов, с приведением цитируемых документов к современной орфографии и указанием страницы.

³ Аполлон. 1912. № 5. С. 56–57.

⁴ О работе Кузмина над своей статьей-манифестом «О прекрасной ясности» в контексте его творческого взаимодействия с Вяч. Ивановым см.: Дмитриев П. В. М. Кузмин и Вяч. Иванов: К вопросу о творческих соприкосновениях // Вячеслав Иванов: Исследования и материалы. Вып. 1. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2009. С. 533–540.

⁵ См. оригинальное издание «*Cor Ardens*» (С. 211–213). Перепечатано: Иванов Вяч. Собрание сочинений. Т. II. Брюссель. С. 829–830.

⁶ Из книги второй «*Speculum speculogum*», в цикле 4 «Пристрастия».

⁷ Если говорить о переключках, отметим также газеллы о Розе из *Rosarium*'а и духовный стих «Сон Матери-Пустыни», они и некоторые другие произведения из *Cor Ardens* так или иначе соотносятся с подобными же у Кузмина («Венком вёсен» и «Духовными стихами»), вошедшими в книгу Кузмина «Осенние озера» (1912), хотя мы далеки от того, чтобы делать какие-то обобщения и выводы.

⁸ О формировании замысла и публикации книги Вяч. Иванова см. комментарий О. Дешарт (Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Т. II. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1974. С. 690–743) и комментарий Р. Е. Помирного (Иванов Вяч. Стихотворения. Поэмы. Трагедия: В 2 кн. СПб.: Академический проект, 1995. Кн 2. С. 295–298). Однако в перечисленных исследованиях отмечены только библейские, католические и масонские истоки этого образа. Литература, посвященная источнику названия «*Cor Ardens*», прежде всего «Новой жизни» Данте, довольно обширна. См., прежде всего, исследование Памелы Дэвидсон (*Davidson P. The poetic imagination of Vyacheslav Ivanov: A Russian Symbolist perception of Dante. Cambridge, 1990*), а также работы А. Б. Шишкина («Пламенеющее сердце в поэзии Вячеслава Иванова: К теме «Иванов и Данте» // Вячеслав Иванов: Исследования и материалы. М., 1996. С. 333–352), В. Проскуриной («*Cor Ardens*»: Смысл заглавия и эзотерическая традиция // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 196–213) и др.

⁹ Иванов. Собр. соч. Т. II. С. 628.

¹⁰ Там же. С. 772.

¹¹ Там же.

¹² См.: *Богомолов*. С. 141.

¹³ *Блок А.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8. Письма 1898–1921. М.; Л.: ГИХЛ, 1963. С. 386–387. Ср. также запись Блока на экземпляре журнала «Труды и дни»: «чернилами в строках 41–42 подч. <еркнуто> „стонут с нежным ржанием“, рядом надпись: „какая мерзость!“» (Библиотека А. А. Блока. Описание. Кн. 3 / Сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина. Под ред. К. П. Лукирской. Л.: БАН, 1986. С. 51).

¹⁴ *Богомолов*. С. 147. (Курсив мой).

¹⁵ *Богомолов*. С. 147.

¹⁶ Последняя фраза, отделенная в автографе чертой, настолько отличается от основного текста, что, действительно, как легко заметить, отделяется от него без труда.

¹⁷ *Богомолов*. С. 147.

С. Н. Доценко

О генезисе архитектурного стихотворения О. Мандельштама «Notre Dame»

В своем детальном анализе стихотворения «Notre Dame» М. Гаспаров обращает внимание на то, что Мандельштам, описывая готический собор, выделяет главный принцип его строения — принцип контрастов, принцип антитезы:

«Готический стиль — это система противоборствующих сил: соответственно, стиль стихотворения — это система контрастов, антитез. <...> Самая яркая из них: *Души готической рассудочная пропасть*: пропасть — это что-то иррациональное, но здесь даже пропасть, оказывается, рационально построена человеческим рассудком. *Стихийный лабиринт* — это нечто горизонтальное, *непостижимый лес* — нечто вертикальное: тоже контраст. Стихийный лабиринт: природные стихии организованы в человеческую постройку, запутанную, но сознательно запутанную. <...> Далее, *Египетская мощь и христианства робость* — тоже антитеза: христианский страх Божий неожиданно побуждает возводить постройки не смиренные и убогие, а могучие, как египетские пирамиды» (Гаспаров 2002; курсив автора; см. также Гаспаров 2001: 267–268).

Зооморфные черты («ребра», «нервы», «мышцы»), которые видит и подчеркивает в готическом храме Мандельштам, Гаспаров объясняет тем, что «ребра» (подпружные арки) внешне напоминают ребра рыбы, а «нервы» (каменные швы между клиньями крестового свода) напоминают нервы и/или мышцы (Гаспаров 2001: 265, 267). Сам взгляд Мандельштама на готический собор как на нечто зооморфное (животное или человек¹) Гаспаров вы-

водит из статьи Мандельштама «Утро акмеизма», в которой последний писал: «Любовь к организму и организации акмеисты разделяют с физиологически-гениальным Средневековьем» (Мандельштам 1993, 1: 179). При этом он оговаривается: «Почему Мандельштама (в отличие от его товарищей) так привлекало Средневековье — на это мы не будем отвлекаться. Но заметим: „организм“ и „организация“ — понятия не тождественные, они противоположные: первое принадлежит природе, второе — культуре. В своей статье Мандельштам прославляет готический собор как естественный организм; в своем стихотворении он прославляет *Notre Dame* как организацию материала трудами строителя. Это — противоречие» (Гаспаров 2002)².

Все это верно. Нам же представляется нелишним указать на генезис представления Мандельштама о соборе как зооморфном феномене. Более чем вероятный источник такого представления — фрагмент из статьи Вяч. Иванова «Спорады» (гл. III «О эллинизме»), в котором Иванов объясняет принцип устройства («тайный план», как сказал бы Мандельштам) древнегреческого храма:

«Архитектура каменных зданий в эллинизме имеет своим зооморфическим принципом образ позвоночного хребта, идеальная линия которого соединяет вершины противоположащих фронтонных треугольников и намечается снизу возвышением стилобата по оси храма. Стилибат Парфенона — кривая поверхность, поднимающаяся от краев фронта к его середине. Это напухание горизонтальной линии отвечает возрастанию всего здания по его оси, достигающему высшей точки в вершине аэтомы. И подобно тому, как напухание колонн производит впечатление эластического напряжения, — оно выражает напряжение, необходимое для поднятия солидного внутреннего корпуса периптерального храма, отчего является быстрым и энергическим по краям и медленным в середине лицевого портика. Легкий наклон столпов во внутрь здания также указывает на зависимость боковых частей архитектурного тела от его становой основы. Все здание подчинено принципу анатомического строения животного организма. У египтян, напротив, преобладают в зодчестве формы кристаллические или растительные» (Иванов 1979, 3: 118) [курсив мой. — С. Д.]³.

Мандельштам прочитал книгу статей Вяч. Иванова «По звездам» в 1909 г., вскоре после ее выхода в печать, о чем свидетельствует его письмо Иванову от 13(26) августа 1909 г.:

«Дорогой Вячеслав Иванович! Вы позволите мне сначала — несколько размышлений о вашей книге. Мне кажется, ее нельзя оспаривать — она пленительна и предназначена для покорения сердец. Разве, вступая под своды *Notre Dame*, человек размышляет о правде католицизма и не становится католиком просто в силу своего нахождения под этими

сводами? Ваша книга прекрасна красотой великих архитектурных созданий и астрономических систем. Каждый истинный поэт, если бы он мог писать книги на основании точных и непреложных законов своего творчества, — писал бы так, как вы.

Вы — самый непонятный, самый темный, в обыденном словоупотреблении, поэт нашего времени — именно оттого, что как никто верны своей стихии — сознательно поручив себя ей. Только мне показалось, что книга слишком — как бы сказать — круглая, без углов. Ни с какой стороны к ней не подступиться, чтобы разбить ее или разбиться о нее. Даже трагедия в ней не угол — потому что вы соглашаетесь на нее. Даже экстаз не опасен — потому что вы предвидите его исход. И только дыхание Космоса обвеивает вашу книгу, сообщая ей прелесть, общую с „Заратустрой“, — вознаграждая за астрономическую круглость вашей системы, которую вы сами потрясаете в лучших местах книги, даже потрясаете непрерывно» (Мандельштам 1997, 4: 14).

Чем примечательно это письмо? Не только тем, что Мандельштам предстает в нем внимательным и восхищенным читателем книги Иванова⁴, но и тем, что саму книгу Иванова он воспринимает через призму «архитектурности». Как представляется, Мандельштам не мог пройти мимо того самого фрагмента Иванова, в котором тот рассуждает об устройстве древнегреческого храма (Парфенона). Кроме того, именно мысль Иванова о «зооморфном принципе» «каменных зданий в эллинстве» могла вдохновить Мандельштама увидеть аналогичный принцип в устройстве готического собора Notre Dame. Примечательно и другое: «зооморфный принцип» устройства храмов в эллинизме Иванов противопоставляет египетской традиции: «У египтян, напротив, преобладают в зодчестве формы кристаллические или растительные» (Иванов 1979, 3: 118). Тем самым получает дополнительную мотивировку появление в стихотворении Мандельштама «египетской» темы. В готическом соборе Notre Dame нашли воплощение противоположности: от Египта взята кристаллическая «мощь», от эллинизма (через посредство Рима) — «зооморфическая» (животная) «робость».

В этой мысли Мандельштама можно увидеть отголосок другой статьи Иванова, «О веселом ремесле и умном веселии» (1907):

«Из перегона нескольких древнейших культур, величайшею среди которых была египетская, выросла единая на долгие века средиземная культура; имя ей — эллинизм. Нет в Европе другой культуры, кроме эллинской, подчинившей себе латинство и доныне живой в латинстве, — пускающей все новые побеги из ветвей трехтысячелетнего, дряхлеющего, но живучего ствола. Коренится она в крови и языке латинских племен: чужими ей по крови и языку германством и славянством никогда не могла она

овладеть до полного себе уподобления, до перерождения органических тканей души народной, — хотя и наложила на варваров все свои формы (славянству передала даже формы словесные), хотя и выжгла все свои тавра на шкуре лесных кентавров. <...> А в лоне латинства все кажется непрерывным возрождением древности, ибо органически живет там сама древность, и постоянный приток варварских влияний непрестанно уравнивается силами, бьющими из родных неоскудных недр» (Иванов 1979, 3: 69–70)⁵.

Последняя мысль Иванова — о «непрерывном возрождении древности» «в лоне латинства» (т. е., по сути дела, мысль об *органической* культурной преемственности) — особенно близка Мандельштаму. В статье «Утро акмеизма» (1912) Мандельштам напишет: «<...> Notre Dame есть праздник физиологии, ее дионисийский разгул. Мы не хотим развлекать себя прогулкой в „лесу символов“, потому что у нас есть более девственный, более дремучий лес — божественная физиология, бесконечная сложность нашего темного организма» (Мандельштам 1993, 1: 179).

И здесь мы опять видим след знакомства Мандельштама с книгой Иванова. Слова «дионисийский разгул» — явно отсылают к идеям Иванова 1900-х годов. В частности, в статье «Спорады» (гл. V. «О Дионисе и культуре») он пишет: «Дионисийский экстаз разрешается в аполлинийское видение. Восторг и одержание, испытываемые художником, сокрушили бы свой сосуд, если бы не находили исхода в творчестве. Героический порыв хочет жертвенного дела. Ибо аполлинийские чары ждут дионисийского самозабвения; и мрамор зовет ваятеля; и дело требует героя» (Иванов 1979, 3: 124)⁶.

«Дионисийство» Иванова является основой его концепции *восхождения* и *нисхождения*, изложенной в статье «Символика эстетических начал» (1905). Разумеется, категории «*восхождение*» и «*нисхождение*» понимаются Ивановым прежде всего метафизически (религиозно-эстетически). Но для этих метафизических категорий он находит и вполне конкретные визуальные образы:

«Взмывший орел; прынувший вал; напряжение столпное, и башенный вызов; четырехгранный обелиск, устремленный к небесной монаде, — суживающийся в меру взлета и преломляющийся в верховной близости предельного; таинственные лестницы пирамид, с четырех концов земли возводящие к единой вершине; „*sursum corda*“ горных глав, — незыблемый побег земли от дольного, окаменелый снеговым осиянным престолом в отрешенном торжестве последнего достижения, — вот образы того „возвышенного“, которое взывает к погребенному я в нас: „Лазаре, гряди вон!“ — и к ограниченному я в нас заветом Августина: „Прейди самого себя“ („*transcende te ipsum*“)» (Иванов 1971, 1: 823).

Можно заметить, что среди этих визуальных образов «восхождения» у Иванова есть и собственно архитектурные: «напряжение столпное»

и «башенный вызов», «четырёхгранный обелиск», «таинственные лестницы пирамид, с четырех концов земли возводящие к единой вершине»⁷. Особенно характерны два последние: «четырёхгранный обелиск» и «лестницы пирамид», т. е. прямо отсылающие к египетской традиции в ее «архитектурном» аспекте⁸.

Когда же Иванов пытается найти визуальные образы «нисхождения», то вспоминает христианскую идею и христианскую символику: «Красота христианства — красота нисхождения. Христианская идея дала человеку прекраснейшие слезы: слезы человека над Богом. Прекрасен плач мирноносиц... Эти восхождение и нисхождение — лестница, приснившаяся Иакову, и то взаимное тайнодеяние встречных духов, двигателей и жителей земной и горней сферы, обменивающихся водоносами мировой влаги <...>» (Иванов 1971, 1: 827–828)⁹.

Тогда «египетскую мощь» в «Notre Dame» можно интерпретировать как знак прежде всего *восхождения*¹⁰, а «христианства робость» — как знак *нисхождения*¹¹, т. е. тех религиозно-эстетических категорий, которые были разобраны в статье Иванова «Символика эстетических начал»: «Восхождение — разрыв и разлука; нисхождение — возврат и благовестие победы. То — „слава в вышних“; это — „на земле мир“. Восхождение — „Нет Земле“; нисхождение — „кроткий луч таинственного Да“. Мы, земнородные, можем воспринимать Красоту только в категориях красоты земной. Душа Земли — наша Красота. Итак, нет для нас красоты, если нарушена заповедь: „Верным пребудь Земле“. Оттого наше восприятие прекрасного складывается одновременно из восприятия окрыленного преодоления земной косности и восприятия нового обращения к лону Земли» (Иванов 1971, 1: 826–827) [курсив Иванова. — С. Д.].

Египет с его пирамидами и обелисками оказывается лишен «физиологичности», что отличает его и от средневековой готики, и от эпохи эллинизма. «Notre Dame есть праздник физиологии» — эти слова из статьи Мандельштама «Утро акмеизма» делают акцент на *природном* («физиологическом», «животном») аспекте и эллинской, и готической архитектуры¹². Египет же с его каменными пирамидами и обелисками символизирует мертвую мощь, лишённую жизни¹³. Этот мотив будет подчеркнут в позднем стихотворении Мандельштама «Чтоб, приятель и ветра и капель...» (1937):

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

(Мандельштам 1994, 3: 132).

Антитезой *мертвой* мощи Египта опять выступит *живая* («физиологическая») готика.

М. Гаспаров полагает, что в ранний период творчества Мандельштама (1912–1921 гг.) Египет предстает как «милый Египет вещей»: «Вот этот домашний, человечный и немного смешной в своей мелочности Египет представлен в двух ранних стихотворениях Мандельштама под одинаковым заглавием „Египтянин“» (Гаспаров 2001: 285). Такое представление о Египте сформулировано и в статье Мандельштама «О природе слова» (1921). И лишь в статье «Гуманизм и современность» (1923) взгляд Мандельштама на Египет кардинально меняется: «Египет теперь не уподобляется готике, а противопоставляется ей» (Гаспаров 2001: 287).

Представляется, что эта концепция эволюции представлений Мандельштама о Египте требует уточнения. «Домашний, человечный и немного смешной» Египет (по определению М. Гаспарова), очевидно, не укладывается в мандельштамовскую дефиницию «египетская мощь» из «Notre Dame». Резонно предположить, что в стихотворении «Notre Dame» (1912) и двух стихотворениях «Египтянин» (1913) — египетская тема интерпретируется различно: в свете вполне вероятной реминисценции статей Иванова «египетская мощь» у Мандельштама понята именно как символ государственного величия, воплощенного в пирамидах. И в таком понимании Египет скорее чужд «физиологической» готике. Но этот чужеродный Египет (по принципу антитезы) входит в готику на правах той культурной основы, из которой выросла вся эллинская (античная) культура, о которой Иванов писал: «Нет в Европе другой культуры, кроме эллинской, подчинившей себе латинство и донныне живой в латинстве, — пускающей все новые побеги из ветвей трехтысячелетнего, дряхлеющего, но живучего ствола» (Иванов 1979, 3: 69). Иными словами, готика оказывается «новым побегом» «дряхлеющего, но живучего ствола» эллинской культуры, выросшей, в свою очередь, из культуры более древней — египетской.

В итоге напрашивается вывод: создавая свое акмеистическое стихотворение-манифест «Notre Dame», Мандельштам вступает в полемику с символистской эстетикой. Но даже в этой полемике, как ни парадоксально, он во многом опирается на другой манифест, символистский, а именно — сборник статей Иванова «По звездам», из которого он заимствует многие темы, мотивы, образы, идеи¹⁴. Произошло то, о чем Мандельштам писал в статье «О природе слова» (1922): «Не идеи, а вкусы акмеистов оказались убийственны для символизма. Идеи оказались отчасти перенятыми у символистов, и сам Вячеслав Иванов много способствовал построению акмеистической теории» (Мандельштам 1993, 1: 229).

СОКРАЩЕНИЯ

- Безродный 2009 — *Безродный М.* Мандельштам и символизм: Две заметки к теме // На рубеже двух столетий: Сб. в честь 60-летия Александра Васильевича Лаврова. М., 2009. С. 50–54.
- Гаспаров 1995 — *Гаспаров М.* Поэт и культура: Три поэтики Осипа Мандельштама // Гаспаров М. Избранные статьи. М., 1995. С. 327–370.
- Гаспаров 2001 — *Гаспаров М.* Две готики и два Египта в поэзии О. Мандельштама: Анализ и интерпретация // Гаспаров М. О русской поэзии. Анализы. Интерпретации. Характеристики. СПб., 2001. С. 260–295.
- Гаспаров 2002 — *Гаспаров М.* Анализ и интерпретация: Два стихотворения Мандельштама о готических соборах // Русский язык. 2002. № 43 (<http://rus.1september.ru/2002/43/1.htm>).
- Иванов 1971–1979 — *Иванов В.* Собрание сочинений. Брюссель, 1971–1979. Т. 1–4.
- Лекманов 1999 — *Лекманов О.* Осип Мандельштам и поэзия Вячеслава Иванова: Заметки к теме // Литературный текст: Проблемы и методы исследования. Тверь, 1999. Вып. 5. «Свое» и «чужое» слово в художественном тексте. С. 107–111.
- Лекманов 2003 — *Лекманов О.* Об одном стихотворном манифесте акмеизма // Литература. 2003. № 40 (511) (<http://lit.1september.ru/article.php?ID=200304003>).
- Лекманов 2003а — *Лекманов О.* Жизнь Осипа Мандельштама: Документальное повествование. СПб., 2003.
- Лекманов, Глухова 2006 — *Лекманов О., Глухова Е.* Вячеслав Иванов и Осип Мандельштам // Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. С. 168–174.
- Мандельштам 1993–1997 — *Мандельштам О.* Собрание сочинений: В 4 т. М., 1993–1997. Т. 1–4.
- Тахо-Годи 2010 — *Тахо-Годи Е.* Текст и подтекст стихотворения Вяч. Иванова «Аллеи сфинксов созидал...» // Вячеслав Иванов: Исследования и материалы. СПб., 2010. С. 205–218.
- Тоддес 1991 — *Тоддес Е.* Поэтическая идеология // Литературное обозрение. 1991. № 3. С. 30–43.
- Malmstad John 1986 — *Malmstad John.* Mandelstam's 'Silentium': A Poet's Response to Ivanov // Vyacheslav Ivanov: Poet, Critic and Philosopher. Ed. by R. Jackson and L. Nelson. New Haven, 1986. 236–252.

¹ В беловом автографе ранней редакции 1-й строфы упоминается еще один анатомический мотив — *жилы*: «Ажурных галерей заманчивый пролет — // И, жилы вытянув и напрягая нервы, // Как некогда Адам, таинственный и первый, // Играет мышцами крестовый легкий свод» (Мандельштам 1993. 1: 240).

² Более подробно о восприятии Средневековья Мандельштамом см.: Гаспаров 2001: 271–276.

³ Отдельные главы статьи «Спорады» были опубликованы в журналах «Весы» (1908. № 8) и «Золотое руно» (1908. № 11–12), сборнике «Факелы» (СПб., 1907. Вып. II). Глава «О эллинизме» была впервые напечатана в сборнике статей Иванова «По звездам» (СПб.: Оры, 1909).

⁴ Как уже отметил О. Лекманов, упоминаемое в стихотворении Мандельштама выражение «готическая душа» имеет своим источником статью Вяч. Иванова «Экскурс I. О Верлене и Гейсмансе», опубликованную также в книге статей «По звездам» (см.: Лекманов 2003). По мнению Иванова, Гейсманс «показал впервые, под лупою своей повышенной чувствительности, тончайшие ткани готической души <...>» (Иванов 1974. 2: 564).

⁵ Статья Иванова «О веселом ремесле и умном веселии» впервые была опубликована в журнале «Золотое руно» (1907. № 5), а потом вошла в сборник Иванова «По звездам» (СПб.: Оры, 1909).

⁶ М. Гаспаров отметил прямое влияние статьи Вяч. Иванова «Ницше и Дионис» (1904) на стихотворение Мандельштама «Ода Бетховену» (1914): «А „Ода Бетховену“ вся — апофеоз прямо названного Диониса и его огненного вдохновения и вся построена на реминисценциях из статьи заклятого символиста Вяч. Иванова „Ницше и Дионис“» (Гаспаров 1995: 335). См. также о влиянии Вяч. Иванова на Мандельштама: Лекманов 1999: 107–111; Лекманов 2003а: 29–31; Лекманов, Глухова 2006: 168–174.

⁷ Даже образ «взмывшего орла» ассоциируется у Иванова скорее с архитектурным термином — «орлом» (азомой) древнегреческого портика, о котором он вспомнит в той же статье «Символика эстетических начал»: «Гармоничны треугольный тимпан — „орел“ (αἴτωρα) — греческого портика и пирамидальные группы Рафаэля» (Иванов 1971. 1: 826).

⁸ См. также в статье Вяч. Иванова «Символика эстетических начал»: «Таково, после „возвышенного“, в выше определенном смысле, и после „прекрасного“, принцип которого — милость нисхождения, — третье, демоническое, начало наших эстетических волнений: имя ему — хаотическое. Его образы — оборвавшийся, прядяющий в глубь ключ и рушащийся водопад, магия провалов и темных колодцев, чудовищные тайны подземных и подводных глубин, ларвы лабиринтных блужданий, молниеносные личины смесившихся в буре стихий» (Иванов 1971. 1: 828–829). Обратим внимание на соединение у Вяч. Иванова понятия «хаос» («стихия») с мотивом «лабиринтных блужданий». Возможно, отсюда генезис «стихийного лабиринта» в «Notre Dame» Мандельштама.

⁹ Мотив водоноса (в значении: посуда для носки воды), и особенно — земли и неба, которые обмениваются «водоносами мировой влаги», позволяет расшифровать загадочный образ из стихотворения Мандельштама «Реймс — Лаон» (1937): «И, влагой напоен, восстал песчаник честный, // И средь ремесленного города-сверчка // Мальчишка-океан встает из речки пресной // И чашками воды швыряет в облака» (Мандельштам 1994. 3: 126).

¹⁰ См. также: «В нисхождении, этом принципе красоты и добра вместе, нет гордости. Напротив, восхождение, взятое как отвлеченное начало, имеет в себе что-то горделивое и жестокое» (Иванов 1971. 1: 327). О «египетской теме» у Вяч. Иванова см. подробнее: Тахо-Годи 2010: 205–218.

¹¹ См. в стихотворениях 1912 г. сопряжение мотивов «падения» и «страха»: «Паденье — неизменный спутник страха, // И самый страх есть чувство пустоты» (Мандельштам 1993. 1: 75), а также — мотив страха перед высотой: «Я чувствую непобедимый страх // В присутствии таинственных высот» (Мандельштам 1993. 1:74).

¹² См. вывод Е. Тоддеса об архитектурных образах у Мандельштама: «<...> архитектурное мыслилось как укорененное в природе» (Тоддес 1991: 31). Ср. также в статье Иванова «Спорады» (гл. III. «О эллинизме») о том, что у эллинов «неорганическая природа воспринималась отчасти в категории антропоморфизма, отчасти — зооморфизма, в соответствии с большею или меньшею явственностью ее оживления. <...> а камень, прошедший в зодчестве через геометрические формы, проникнутый началом меры, числа и строя, оживлялся в обликах сфинксов, драконов и львов» (Иванов 1979. 3: 118; курсив мой. — С. Д.). Резонно предположить, что само название сборника Мандельштама «Камень» восходит, среди прочего, к этой сентенции Вяч. Иванова.

¹³ Египет мертв еще и потому, что сам египетский язык — в буквальном смысле слова «мертвый», в то время как древнегреческий и латинский языки, пусть и с известными оговорками, продолжали жить в средневековой культуре, о чем Мандельштам писал в статье «О природе слова»: «<...> Когда латинская речь, распространившаяся по всем романским землям, зацвела новым цветением и пустила побеги будущих романских языков, началась новая литература <...>» (Мандельштам 1993. 1: 220). В этой связи характерна реплика Мандельштама об эллинизме Иванова в статье «Буря и натиск» (1923): «Архаика Вячеслава Иванова происходит не от выбора тем, а от неспособности к относительному мышлению, то есть сравнению времен. Эллинистические стихи Вячеслава Иванова написаны не после и не параллельно с греческими, а раньше их, потому что ни на одну минуту он не забывает себя, говорящего на варварском родном наречии» (Мандельштам 1993. 2: 292). Впрочем, стоит помнить специфическое понимание «эллинизма» Мандельштамом, о коем он писал в статье «О природе слова».

¹⁴ О полемическом восприятии Мандельштамом эссеистики Вяч. Иванова см. также: Malmstad John 1986: 236–252. О переосмыслении Мандельштамом символистских постулатов см.: Безродный 2009: 53–54.

Л. Д. Зубарев

«Все они впоследствии занимались литературой...» Еще раз о бакинском периоде Вяч. Иванова

Всем вячеславоиванововедам хорошо известно, что долгое время большая часть биографических сведений о нем носила характер «семейного предания». Многие были сообщены либо самим Вяч. Ивановым¹, либо сподвижниками и детьми². В некоторых изданиях появлялись даже разного рода фантастические домыслы о занимаемых им должностях: ректор Бакинского университета, заместитель наркома просвещения Азербайджана, префект Ватиканской библиотеки, кардинал... Подобные удивительные свидетельства о бакинской «карьере» Вяч. Иванова украсили собой даже одну из антологий русской поэзии³ и несколько энциклопедий⁴.

Одной из первых научных публикаций, посвященных именно биографии поэта, стало теперь уже хрестоматийное исследование Н. В. Котрелёва «Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета»⁵. Сведения, сообщенные автором в этой публикации, «исчерпывающе документированы»⁶ и не только развеивали мифы, но и воссоздавали цельную картину этого периода, тем более важного, что именно в Баку Иванов облек в законченную форму свои научные исследования мифа о Дионисе⁷.

Описывая свою жизнь у «кастальского источника» (то есть попросту в ванной комнате в крохотной бакинской квартире семьи Ивановых), С. В. Троцкий вспоминал: «И здесь — постоянные гости, искатели самораскрытия в свете общения с В. И., сознательные и несознательные. Но все загорались от живого слова и казались интересными другим и самим себе»⁸.

Этими «искателями самораскрытия» были студенты Бакинского университета, посещавшие лекции и семинары Вяч. Иванова: М. С. Альтман, В. А. Мануйлов, Е. А. Миллиор, К. М. Колобова, М. М. Гухман и многие другие. В дошедших до нас воспоминаниях учеников Иванова важное место занимает поэтический кружок «Чаша»⁹, сложившийся вокруг поэта.

Воспоминания о «Чаше» оставил В. А. Мануйлов: «Наше содружество называлось „Чаша“. Молодежь на этих вечерах читала стихи, а в заключение с оценкой прочитанного и со своими произведениями выступал сам Вячеслав Иванович»¹⁰. Во многом сходно с ним (за исключением порядка выступавших) рассказывала об этом кружке и Е. А. Миллиор: «Собирались, и на столе стояла такая символическая чаша, ваза. А чаша заключалась в том, что по кругу каждый должен был читать стихи. Начинал обычно Вячеслав Иванович (свои стихи), а затем читали другие, те, у кого стихи были. Все мы стихи писали»¹¹.

Темой нашей заметки будет судьба еще одной участницы «Чаши» — Елены Борисовны Юкель (1904–1991). Л. В. Иванова вспоминала о ней: «Участвовала в „Чаше“ студентка восточного факультета Лена Юкель. Она „пела“ стихи различных поэтов членов „Чаши“, а также персидские песни. Она их распевала на простые мотивы, которые ей нравились — чужие или свои собственные, без всякого аккомпанемента. У нее создавался собственный стиль лирической сказительницы»¹², не раз она упоминается также в воспоминаниях В. А. Мануйлова и Е. А. Миллиор¹³.

В середине 1980-х британский исследователь русской литературы Гордон Маквей разыскал Елену Борисовну Юкель (в замужестве — Оганян), которая в завязавшей переписке рассказала о своей биографии, жизни в Баку в 1920-х годах, мимолетном знакомстве с Сергеем Есениным и дружбе с В. А. Мануйловым. Отдельные письма были посвящены воспоминаниям о «Чаше» и Вяч. Иванове. С любезного разрешения Г. Маквея мы публикуем фрагменты писем Е. Б. Юкель, относящиеся к ее биографии и знакомству с Вяч. Ивановым¹⁴.

19 сентября 1985
Лондон

Уважаемый, дорогой Гордон-джан!¹⁵

Вчера отправила Вам письмо, а сегодня получила Ваше! Большое спасибо, была очень рада. И теперь подробно напишу обо всех на фото¹⁶.

Должна сказать, что это не случайная группа¹⁷, а мы собирались в доме проф. Кузнецова¹⁸ (он был профессором Политехникума) часто, поэты читали свои стихи, композитор (ныне покойная — скончалась совсем недав-

но)¹⁹ Лидия Вячеславовна Иванова (дочь поэта и эллиниста Вяч. Иванова) играла свои произведения на рояле, я пела свои песни. Назывался наш кружок «Чаша» (на фот. на столе «Чаша», «Как чаша полная вина»). За столом слева Вячеслав Иванович Иванов, справа — проф. Зуммер²⁰, читал лекции по восточной архитектуре. Рядом с Вяч. Ив. сидит Вера Федоровна Гадзьяцкая²¹ — художник (у меня есть ее рисунок — персидская миниатюра), падчерица проф. Кузнецова. За ее спиной стоит ее мать, жена проф. Кузнецова²², хозяйка дома, где мы собирались. Рядом с Верой Фед. сидит Лидия Вяч., дочь поэта Вяч. Иванова, композитор (о ней некролог в газете «Русская мысль», не помню какого числа²³).

За Лидией Вяч. стоит студент и поэт Цезарь Вольпе²⁴, погиб во время второй войны когда поехал за своей семьей — немцы разбомбили поезд, где он был. Рядом с ним Андрей Давидович²⁵, сын белорусского священника, агроном, кажется еще жив (Иншалла!), живет на Кавказе. Рядом с ним Михаил Сироткин²⁶, филолог, пушкинист (пьяница), но очень милый человек, живет в Москве, женат на моей подруге. Рядом с ним Мирра Гухман²⁷, одна из лучших учениц Вяч. Иванова, моя хорошая подруга в те годы, но мы никогда не переписывались, живет в Москве. Около нее англичанин, студент Wels-wels²⁸ (хорошо не знаю), посещал кружок, но не был в нашей компании. Рядом с англичанином Сергей Троцкий²⁹, дворянин, друг семьи Вяч. Иванова, жил последние годы в ванной Вяч. Иванова, расстрелян из-за фамилии, хотя, по его словам, Лев Троцкий украл его фамилию. Около него Миша Брыскман³⁰, литературовед и писатель, был женат на Мусе Варшавской³¹ (см. первый ряд на фот. первая слева), умер.

В первом ряду Муся Варшавская, я с ней училась в Бакинской гимназии и университете, дочь врача, всегда интересовалась искусством, была искусствоведем в музее Эрмитаж, была замужем за Мих. Брыскманом, скончалась в прошлом году. Шурочка Вейсс³² (рядом с Мусей Варш.), комсомолка, была ликвидирована во время Сталина. Рядом с Шурочкой Виктор Мануйлов³³, поэт и литературовед, около него Лена Юкель (ныне Оганян), студентка Восточного факультета. За моей спиной, около проф. Зуммера, Ксения Колобова³⁴, моя близкая подруга, поэтесса, литературовед, рано скончалась. Рядом Нина Гуляева³⁵, студентка, дочь ректора Гуляева. За моей спиной Нелли Миллиор³⁶, поэтесса и филолог, написала эссе о «Мастер и Маргарита» Мих. Булгакова, напечатанн. за границей, а не в СССР³⁷.

Нашу компанию составляли: Муся Варшавская, Миша Брыскман (Брысмусы³⁸), Мирра Гухман, Миша Сироткин (Мирмиш), Лена Юкель, Витя Мануйлов (Витилен), Цезарь Вольпе, Андрей Давидович, Нелли Миллиор, Миля Блинков (не на фотог.), Шурочка Вейсс, Нина и ее сестра Гуляевы.

Надеюсь, дорогой Гордон, Вы разберетесь в моих каракулях. Когда Вы будете в Лондоне? Жду с нетерпением Вашего приезда. Будьте здоровы и счастливы, всего Вам хорошего! С любовью и уважением,
Ваша Е. Оганян.

15 Июня 1987
Лондон

Дорогой Гордон-джан! Спасибо за Ваше послание от 11-го июня.

Посылаю Вам свою биографию, написала наскоро, самые главные события моей пестрой жизни!

Я родилась 10 Мая 1904 г. в Брест-Литовске. Годовалым ребенком я попала в Персию, гор. Сабзевар. Мой отец Борис Яковлевич Юкель покупал и отправлял из Персии в Россию хлопок для мануфактурной фирмы Познанский³⁹ в Лодзь. Детство я провела в Персии.

Раз в 2–3 года вся семья проводила лето в Брест-Литовске.

Осенью 1917 г. мы переехали в Асхабад⁴⁰ в Туркестане на границе с Персией. А в 1919 переехали в Баку, на Кавказ, где я кончила гимназию в 1921 г. и университет в 1928 г. Сначала я была на словесном отделении Историко-филологического факультета, но потом перевелась и окончила словесное отделение Восточного факультета. Мои университетские друзья были: Виктор Мануйлов, Ксения Колобова, Нелли Миллиор. Будучи в университете, через Ксению Колобову, познакомилась с Есениным и пела ему «Шагане, ты моя Шагане»⁴¹. В 1929 г. в феврале я уехала в Мешхед (Персия), где были тогда мои родители. Мой отец вошел в компанию по синема с Борисом Тарасовичем Огановым (мой покойный муж) в 1929 г. Я помогала в работе по синема и вышла замуж за Бориса Оганова против воли моих родителей. Цыганка в Баку предсказала мне, что я уеду через воду (Каспийское море), выйду замуж, проживу с мужем лет 12–13. Потом он уйдет из моей жизни. Точно, по предсказанию, ровно через 12 лет, Борис был убит врагами. Я осталась с 3-летним ребенком (сын Константин)⁴².

Жила я в Персии (потом Иран⁴³) в Тавризе, в Абадане на юге Персии. Работала в Anglo-Persian Oil Company (АПОС). Переехала в Тегеран, работала в Sharakate Automobile, 7 лет, потом библиотекарем в Iran-America Society 20 лет и 2 года в библиотеке Америк. посольства Abraham Lincoln Library. В 1969 уехала в Вену, где жила 2 года, 2 года в Женеве с сыном и его семьей, вернулись в Иран откуда уехали, перед революцией, сначала во Францию, затем в Лондон, откуда я переехала в Барселону на 2 года. Последние годы живу в Лондоне.

С 1929 г. почти 50 лет ничего не знала о своих университетских друзьях. Нашла их благодаря воспоминанию В. Мануйлова о Есенине⁴⁴. <...>

Всего Вам доброго! Будьте здоровы и счастливы. Обо мне пишите что хотите.

Ваша, с любовью и уважением, Е. Оганян.

13 июля 1987

Лондон

Дорогой Гордон-джан!

Наконец-то я раскачалась и записала все, что могла вспомнить о Вячеславе Ивановиче Иванове. Простите, если мало и недостаточно, но было это 60 лет назад и память моя притупилась! <...> Ваша, с любовью и уважением, Е. Оганян.

О Вячеславе Ивановиче Иванове, поэте и эллинисте⁴⁵

Вяч. Иванович читал лекции об античной литературе Греции и Рима в Бакинском университете имени Ленина на словесном отделении Историко-филологического факультета⁴⁶. Его лекции были до того интересные, что посещались не только студентами его факультета, но и медиками, математиками и студентами Технологического Института. Поэтому лекции Вяч. Ив. обычно читались в большой аудитории, вмещавшей больше народу. Одновременно по истории русской литературы лекции читал проф. Сиповский⁴⁷ до того монотонным голосом и так неинтересно, что его лекции мало посещались несмотря на огромный интерес материала.

Выглядел В. И. точно, как на фотографии, всегда одет одинаково. Насколько я помню, его личность была спокойная, внушающая уважение.

Жил он со своей семьей (был уже тогда вдовцом): с взрослой дочерью Лидией (композитор) и малолетним сыном Димитрием (10–12 лет)⁴⁸, в квартире при университете. Дима и его приятели нашли неразорвавшуюся гранату и вздумали ее раздробить. Граната взорвалась и оторвала Диме правую руку⁴⁹. Вместе с ними жил Сергей Витальевич Троцкий, впоследствии расстрелянный при Сталине. (На фотогр. он справа, с краю.)

Вспоминаю интересный семинар «Фауст» и о Пушкине, в кот. принимали участие Елена Миллиор (Нелли), Мира Гухман, Моисей Альтман⁵⁰ и Лев Вайсенберг⁵¹. Последние два стали известными литературоведами. Еще принимали участие Виктор Мануйлов, Ксения Колобова, Мих. Сироткин и Мих. Брискман. Все они впоследствии занимались литературой.

Они писали рефераты, кот. потом обсуждались на семинаре.

Когда Вяч. Ив. читал греческие или римские стихи, они у него звучали, как музыка, так приятно было их слушать, даже не понимая языка. У него был приятный голос.

К экзаменам (очень серьезным) его лекций все готовились очень серьезно. Помню, как я сдавала экзамен по греческой литературе, как тщательно готовилась и сдала на «весьма удовлетворительно»!

Помимо университета мы встречались на квартире проф. Кузнецова (см. фотограф., снятая в их доме), где Вяч. Ив. основал литературный кружок под названием «Чаша». «Как чаша полная вина»⁵² (не помню автора). Этот кружок посещался не только нашими студентами, но иногда были почетные гости из Наркомпроса (Народный комиссариат просвещения) — комиссар Кулиев⁵³, его помощник Пепинов⁵⁴ и др. Знаменитый армянский композитор Спендиаров⁵⁵, друг Кузнецовых, бывал на собрании «Чаши». Мои друзья поэты читали свои стихи: Вик. Мануйлов, Кс. Колобова и др. Лида Иванова играла на рояле и пела свои музыкальные произведения, я пела свои песни. Каждый вносил свой вклад.

Это было в 1923–24 году. Весной 1924 г. Вяч. Ив. с семьей уехал в командировку в Рим. Там они приняли католичество и остались там жить.

Вяч. Ив. скончался в Риме (дату узнаю у Димы), Лида, с кот. я переписывалась⁵⁶, скончалась в прошлом году. Некролог в «Русской Мысли».

К сожалению это все, что я помню о Вяч. Иванове. Ведь это все было 60 лет назад!

P.S. Вяч. Ив. еще преподавал нам итальянский язык, и мы могли уже говорить по-итальянски, но без употребления я все забыла.

¹ Автобиографическое письмо С. А. Венгеру // Русская литература XX века (1890–1910). Кн. VIII. М., 1917. С. 81–96.

² Дешарт О. Введение // Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. 1. С. 7–227; Иванова Л. Книга об отце. М., 1992.

³ Русская поэзия XX века. Сост. И. С. Ежов и Е. И. Шамурин. М., 1925. С. 574.

⁴ См. например об этом: Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. СПб., 1999. С. 86. Реальные факты об административной карьере Вяч. Иванова в АзГУ изложены в примечании 39 (С. 337) в цитируемой статье Н. В. Котрелёва (см. следующую сноску).

⁵ Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1968. Вып. 209: Труды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение. С. 326–339.

⁶ Дешарт О. Введение // Иванов В. Собр. соч. Брюссель, Т. 1. 1971. С. 851.

⁷ Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. Баку, 1923.

⁸ Троцкий С. В. Воспоминания. Публ. А. В. Лаврова // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 70.

⁹ Весьма примечательно, что М. С. Альтман, оставивший наиболее пространные воспоминания, но не входивший в «Чашу», в своих «Беседах с Вячеславом Ивановым» (СПб., 1995) ни разу об этом поэтическом кружке не упоминает.

¹⁰ Мануйлов В. А. Записки счастливого человека. СПб., 1999. С. 93. Воспоминания В. А. Мануйлова представляют собой развернутую подпись под известным снимком (воспроизведенном на с. 94 цитируемого издания), на котором запечатлены участники «Чаши».

¹¹ Текст беседы с Е. А. Миллиор, записанной В. Д. Дувакиным, готовится в настоящий момент к публикации в ежегоднике «Контекст».

¹² Иванова Л. Книга об отце. С. 100.

¹³ В воспоминаниях В. А. Мануйлова — по именному указателю, о воспоминаниях Миллиор см. примечание 11.

¹⁴ В собрании Г. Маквея хранится 58 писем и открыток от Елены Борисовны Оганян.

¹⁵ В письме от 20 августа 1984 года Елена Оганян так объясняла выбранный ею вариант обращения: «По-персидски „джан“ значит душа или душенька, и это слово относится не только к женщинам, но и к мужчинам, и даже к птицам или животным, как ласкательное в русском языке — душенька! Поэтому не удивляйтесь, что я так называю Вас!».

¹⁶ Речь идет о трех фотографиях, отправленных Е. Б. Оганян в письме от 9 марта 1985 г.

¹⁷ По всей видимости речь идет о той же фотографии участников «Чаши», которую описывает в своих воспоминаниях В. А. Мануйлов (см. примечание 10). Подробное описание фотографии с краткими биографическими справками о некоторых участниках см. в примечаниях к публикации: Письма Л. В. Ивановой к Е. А. Миллиор // Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск, посвященный Елене Александровне Миллиор. 1995. С. 48. Автор примечаний не указан, но по всей видимости публикация подготовлена составителем этого выпуска журнала Д. И. Черашней.

¹⁸ В воспоминаниях Лидии Ивановой и В. А. Мануйлова указывается, что Петр Измайлович Кузнецов был профессором химии. Даты жизни установить не удалось.

¹⁹ Л. В. Иванова скончалась 6 июля 1985 г.

²⁰ Зуммер Всеволод Михайлович (1885–1970), историк искусства, археолог.

²¹ Гадзяцкая Вера Федоровна (в замужестве — Европина, 1899–?), художница.

²² Гадзяцкая Раиса Александровна (1871–?).

²³ И. А. Кончина Лидии Вячеславовны Ивановой // Русская мысль. 2 августа 1985. № 3580. С. 14. См. также: Незабываемые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–1999. М., 2001. Т. 3. С. 37–38.

²⁴ Вольпе Цезарь Самойлович (1904–1941). О его биографии см.: Нинов А. О Цезаре Вольпе // Вольпе Ц. С. Искусство непохожести. М., 1991. С. 3–13.

²⁵ Давидович Андрей Константинович. Никаких дополнительных биографических сведений установить не удалось.

²⁶ Сироткин Михаил Михайлович. В воспоминаниях В. А. Мануйлова указывается: «очень талантливый и многообещающий филолог и поэт, впоследствии занявшийся вопросами педагогики и психологии» (Цит. соч. С. 95).

²⁷ Гухман Мирра Моисеевна (1904–1989), языковед.

²⁸ Уэльс Александр Васильевич. Никому из авторов воспоминаний о «Чаше» дальнейшая судьба его неизвестна. Написание его фамилии Е. Б. Оганян позволяет предположить, что это сын действительного статского советника В. В. Вельс-Уэльс —

А. В. Вельс-Уэльс, который упоминается в списках Главного беженского бюро в Константинополе (ГАРФ. Ф. 5982. Оп.1. Д. 20) среди эвакуировавшихся в Баку из России после октября 1917 г. (автор признателен за предоставленную справку составителю электронной базы данных «Участники Белого движения и эмиграции» С. В. Волкову).

²⁹ Троицкий Сергей Витальевич (1880–1942). О нем см.: примеч. 8.

³⁰ Брикман Михаил Аркадьевич (1904–1975), литературовед и библиограф.

³¹ Варшавская Мария Яковлевна (1905–1983), искусствовед.

³² Вейс Александра Васильевна. По воспоминаниям В. А. Мануйлова и комментариям к письмам Лидии Ивановой Е. А. Миллиор ушла на комсомольскую работу и погибла в 1930 г. в результате репрессий (Цит. пуб. С. 48).

³³ Мануйлов Виктор Андроникович (1903–1987), литературовед.

³⁴ Колобова Ксения Михайловна (1905–1978), историк.

³⁵ Гуляева Нина Александровна, даты жизни неизвестны. Ее отец А. Д. Гуляев (1870–1930), преподаватель философии, автор учебника «Логика» (Баку, 1921).

³⁶ Миллиор Елена Александровна (1900–1984), литературовед.

³⁷ Отдельные главы исследования Е. А. Миллиор о романе «Мастер и Маргарита» были опубликованы в «Вестнике РХД» (1976. III–IV. № 119. С. 217–230). Подробнее см.: Миллиор Е. Размышления о романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Вестник Удмуртского университета. Специальный выпуск, посвященный Елене Александровне Миллиор. 1995. С. 77–128.

³⁸ В письме от 30 сентября 1985 г. Е. Б. Оганян разъяснила: «„Витилен“, наше прозвище — от Вити и Лены, так же как „Мирмиш“ — Мирра и Миша, „Брысмусы“ от Брыскман и Муся. Это были парочки, и друзья так нас прозвали...»

³⁹ По всей видимости имеется в виду основанное в 1889 г. в г. Лодзь Общество бумажных мануфактур И. К. Познанского.

⁴⁰ Название Ашхабада до 1919 года.

⁴¹ Так в письме.

⁴² Мать — Белла Наумовна (1877–1969), брат — Моисей (Михаил) Борисович Юкель (1906–1968). В письме от 7 мая 1985 г. Е. Б. Оганян также сообщила: «мамина девичья фамилия Гинзбург, наша фамилия Юкель. Папа — Борис Яковлевич (Менахем Бер Янкелев) был одних лет с мамой, скончался в 1941 году летом. Муж — Борис Тарасович Оганов (Бегляр Татевосян) родился 23 января 1893 г., умер (был убит большевиками) 17 декабря 1940 г.»

⁴³ В 1935 г. иранский шах Реза Пехлеви потребовал, чтобы иностранные государства стали официально использовать самоназвание государства — Иран вместо употреблявшегося до того названия Персия.

⁴⁴ Мануйлов В. О Сергее Есенине // Звезда. 1972. № 2. С. 176–188.

⁴⁵ Ниже следуют три от руки написанные страницы. — Примеч. Г. Маквея.

⁴⁶ Полный перечень курсов и семинаров Вяч. Иванова в АзГУ см. публ.: Котрелёв Н. В. Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета // Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту. 1968. Вып. 209: Труды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение. С. 326–327.

⁴⁷ Сиповский Василий Васильевич (1872–1930), литературовед.

⁴⁸ Иванов Димитрий Вячеславович (1912–2003), журналист.

⁴⁹ Источник такой версии происхождения неизвестен, семейное предание Ивановых сохранило намного более «мирную» версию происхождения (см.: Иванова Л. Книга

об отце. С. 99). В письме от 26 сентября 1987 г. Е. Б. Оганян сообщила: «Я Вам наверно писала, что недавно у меня был, проездом, сын Вяч. Иванова, Димитрий Вячеславович, которого я знала мальчишкой. Теперь он уже седовласый холостяк, журналист фран. газеты. Он <...> жил в Риме и теперь там живет. Он занят изданием произведений своего отца».

⁵⁰ Альтман Моисей Семенович (1896–1986), литературовед.

⁵¹ Вайсенберг Лев Маркович (1900–1973), прозаик, переводчик.

⁵² Источник цитаты установить не удалось.

⁵³ Кулиев Мустафа (1893–1938), в 1922–1928 гг. — нарком просвещения АзССР.

⁵⁴ Никаких сведений обнаружить не удалось.

⁵⁵ Спендиаров Александр Афанасьевич (настоящая фамилия — Спендиарян, 1871–1928), композитор.

⁵⁶ Письма Е. Б. Оганян к Л. В. и Д. В. Ивановым по всей видимости находятся в римском архиве Вяч. Иванова.

Е. В. Иванова
**Из комментариев к «Краткой повести
об Антихристе»**

Заключительная часть написанного незадолго до смерти сочинения Вл. Соловьева «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории», «Краткая повесть об антихристе», впервые была прочитана как публичная лекция под заглавием «Конец всемирной истории». Чтение происходило в зале Городской думы 26 февраля 1900 года, на нем произошел эпизод, который А. Блок нашел нужным упомянуть в статье-речи «Рыцарь-монах» (1910), посвященной десятой годовщине со дня смерти Соловьева: «...один известный мистик счел остроумным упасть со стула»¹.

Этим мистиком был В. В. Розанов, его падение со стула, правда без упоминания имени, тогда же попало в отчет о лекции, появившийся в газете «Новое время» в день ее чтения: «Оригинальная фантазия философа произвела глубокое впечатление на публику, совершенно переполнившую зал. Может быть, даже образность и сила выражения философа были причиной тому, что кто-то свалился со стула, и это было так неожиданно среди почти полной тишины, что многие с испугом повскакали со своих мест»². Даже газетный репортер почувствовал символический характер эпизода с падением и увязал его с содержанием лекции.

Хотя имя Розанова не называлось, что-то задело его в этом отчете, поскольку в ответ он поместил письмо в редакцию за подписью «Мнимо упавший со стула». Здесь он пытался указать на чисто бытовые причины своего падения, но одновременно с явным раздражением отзывался о содержании лекции: «Так как это замечание может дать повод к неправиль-

ному представлению о силе впечатления от лекции, кстати, не произнесенной изустно, а прочитанной по тетрадке, то считаю долгом сообщить, что дело было совершенно иначе и произошло от крайнего старья в мебелировке зала Городской думы и от крайней скуки, за отсутствием всего фантастического, мистического и просто занимательного в читаемой лекции. Занимая место в 6-м ряду кресел с правой стороны, я почувствовал некоторую сонливость и, чтобы приобрести более устойчивое равновесие, подложил по себе левую ногу, которая вероятно уперлась косточкою в совершенно тоненькую дрянную дощечку думского сиденья. Я уже приятно забывался, когда вдруг ужасный треск подо мною и чувство, что спина моя куда-то заваливается, заставили меня испуганно, но не от лекции, а от стула очнуться. Но видя, что все глаза устремлены в мою сторону, я смутился неловкости инцидента и низко нагнулся, перебирая конец левой штанины. Дрема же овладела мною на лекции от того, что на „светопредставлении“, о котором обещал нам прочесть почтенный философ, было так же буднично, буднично и не ново, как в отделе всякой газеты под рубрикой: „Среди газет и журналов“. Уже взять то, что антихрист (по изображению философа) есть наш брат литератор, что его „книгу“ переводят тотчас на все образованные и многие необразованные языки, что этот антихрист „благополучно разрешает экономический кризис“ и вообще похож на покойного Канкрин³, только еще притче его, и, наконец, что когда убиты были „электрическою искрою“ Петр II, последний папа, и старец Иоанн — он же знаменитый Федор Кузьмич и Александр I любочных брошюр, то антихрист будто бы сказал: „Секретари — запишите“... Словом, когда я услышал, что секретари, литераторы, экономисты и проч. так-таки до второго пришествия Христова не сгинут, то мною овладело такое уныние скуки и недовольства „концом всемирной истории“, а также неизобретательным философом, что я мог только... плотнее усевшись на стуле, попытаться заснуть. И уж не моя вина, а Городской думы, что это простое и не очень виновное желание произвело шум, нарушивший конечно всем желаемую тишину, в чем, однако, я почтительнейше извиняюсь перед публикою⁴.

В розановском письме содержится явное несоответствие: отзываясь о лекции как о чем-то исключительно скучном и не оправдывающем заглавия, Розанов, тем не менее, уловил на слух детали, которые часто ускользают даже при внимательном чтении (про переводы книг антихриста на иностранные языки, про секретарей и т. п.). Видимо, впечатление от лекции было вовсе не таким унылым, потому что к ее содержанию Розанов вернулся еще раз в заметке «Что приснилось философу», упомянув «зимнюю лекцию об антихристе, качеств которой никто не отрицал»⁵.

При этом в новой заметке Розанова о Соловьеве содержались довольно резкие выпады по адресу его статьи «О поддельном добре»⁶, которая станет позднее вступлением к отдельному изданию «Трех разговоров»⁷. Статья «О поддельном добре» была посвящена полемике с христианскими идеями Л. Толстого, ее газетная публикация заканчивалась словами: «Ощутителен для меня не такой уж далекий образ смерти, тихо советующий не откладывать самого существенного на неопределенные и необеспеченные сроки. Если мне дано будет время для новых трудов, то и для усовершенствования прежних. А нет — указание на предстоящий исторический исход нравственной борьбы сделан мною в достаточно ясных, хотя и кратких чертах, и я выпускаю теперь этот малый труд с благородным чувством исполненного нравственного долга»⁸. Под статьей «О поддельном добре» стояла весьма символическая дата: «Светлое Воскресение, 1900». Розанов имел неосторожность весьма язвительно прокомментировать и окончание статьи, и ее датировку: «И ведь все понимают, что в условиях перепечатки в газетах предисловия к книге — это только реклама. „Вот я умираю... Почти умер... Но я написал самую важную книгу — продается у Вольфа в Гостином дворе. Там о буддистах, Толстом и Антихристе. Писана эта реклама в Светлое Воскресение 1900 года. Владимир Соловьев”»⁹.

Светлое Воскресение, то есть Пасха, в 1900 году приходилось на 9 апреля по старому стилю, фельетон Розанова появился 16 мая, а 31 июля Владимир Соловьев скончался, тем самым оправдав собственные предчувствия. Розанову пришлось покаяться в своих насмешках: «Мне принадлежит о покойном несколько резких слов, прижизненно сказанных ему по поводу его идей. Неприятное в литературе, что она огорчает, что из-за нее огорчаешься. Во всяком случае, теперь своевременно высказать сожаление о возможном огорчении, какое эти слова могли причинить усопшему. Хоть поздно, но можно и хочется обратиться к нему не одно общее всем людям надмогильное „прощай”, но и отдельное свое: „прости”...»¹⁰

Однако и розановский некролог не сводился только к покаянию: он почти весь был посвящен объяснению причин непопулярности идей Владимира Соловьева. Тут Розанов снова попал впросак, поскольку его размышления были опубликованы на пороге XX века, который станет веком подлинного триумфа идей Вл. Соловьева: и для религиозно-философской мысли, и для поколения младших поэтов-символистов, для всех, с кем связаны наивысшие взлеты русской духовной культуры XX века, именно Соловьев станет той «гоголевской „Шинелью”», из которой «все вышли».

И совершенно особая роль в том, как наследие Вл. Соловьева будет воспринято в XX веке, принадлежала сочинению «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» и «Краткой повести об антихри-

сте», где впервые в русской религиозно-философской мысли зазвучали темы Апокалипсиса Иоанна Богослова. Благодаря Соловьеву эта пророческая книга приобрела особую роль для духовной жизни начала нового века, когда человечество как никогда остро ощутило себя перед лицом надвигающихся исторических сдвигов.

Позднее сам Розанов признавал, что интерес к Апокалипсису стал своего рода опознавательным знаком всего поколения, вышедшего на литературную арену в 1900-е годы: «Рачинский (С. А., Татево) мне говорил, что „Апокалипсис — конечно апокрифическая книга, ни малейше не могущая быть принимаемою в равном достоинстве с Евангелиями“. Между тем Рачинский вполне церковно верил в Христа, христианство, в чудеса и всё. Это — очень любопытно. Кроме одного Достоевского, „чувство Апокалипсиса“ вообще не было пробуждено в нашем обществе 80-х годов. Тогда именно все „пролетали через другие миры“, — и когда мы влетели „вот в наш мир“ — чувство Апокалипсиса „у всех пробудилось“. Мнение Страхова и Рачинского просто странно „для нас“, для Мережковского, Розанова, Евг. П. Иванова, для всего круга „Религиозно-философского общества“. Для нас „Апокалипсис“ — свой, то есть „точно будто стал своим“, „душевным“. Мне он страшно был близок в пору писания „Легенды об инквизиторе“»¹¹.

Соловьев был первым, кто с особой силой ощутил реальность пророчеств Апокалипсиса о надвигающемся конце мира и последнем решительном столкновении Христа и антихриста. Под влиянием Соловьева Апокалипсис стал, можно сказать, настольной книгой философов и поэтов. Молодой Флоренский, в эпоху, когда его движение навстречу Церкви только начиналось, в письме к Андрею Белому 1904 года называл свое христианство «апокалиптическим»¹², а самому Соловьеву посвятил поэму «Святой Владимир», вторая часть которой носила название «Эсхатологическая мозаика»¹³. Можно перечислить целый ряд произведений А. Белого, написанных под влиянием эсхатологических идей Владимира Соловьева.

Мы же вернемся к инциденту на лекции и первой розановской реакции на эсхатологические идеи Соловьева. Дело в том, что даже люди, начитанные в Священном Писании, куда входит и Апокалипсис Иоанна Богослова, не сразу улавливают связь апокалиптических пророчеств с пророчествами Владимира Соловьева о близком воцарении антихриста, потому что ни в тексте четырех Евангелий, ни в Апокалипсисе антихрист не упоминается, там речь идет о пророках и лжепророках, которые придут на землю перед вторым пришествием Христа, чтобы соблазнить и прельстить людей, невердых в вере.

Упоминание об антихристе как возможном лжепророке содержится лишь в двух посланиях Апостола Иоанна Богослова. В первом из них ска-

зано: «Дети! Последнее время. И как мы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но *они вышли, и* через то открылось, что не все наши» (1-е Ин. 2: 18–19) и «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца» (1-е Ин. 2: 22–23).

Эти мотивы, несомненно, присутствуют в «Краткой повести об антихристе», папа Павел II распознает в антихристе лжепророка потому, что он отказывается исповедовать Христа, это опять отсылает нас к тексту первого послания Иоанна Богослова: «... Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть в мире» (1-е Ин. 4: 3) и второго: «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой *человек* есть обольститель и антихрист» (2-е Ин. 1:7).

Однако упоминания об антихристе в посланиях Иоанна Богослова не дают никаких поводов для перенесения пророчеств о нем в другие эпохи, из текста посланий следует, что присутствие антихриста и его деяния Иоанн Богослов распознавал в своем времени. И здесь Н. В. Котрелёву принадлежит замечательное в своем роде открытие, что основным источником «Краткой повести об антихристе» является работа немецкого историка И. Янсена «Реформация в Германии по новейшему исследованию» (1881), где излагалось содержание мистерии об антихристе; реферат этой работы, написанный Вл. Соловьевым, Н. В. Котрелёв обнаружил в «Православном обозрении» (1885, № 8)¹⁴.

Но антихрист Соловьева обладает еще одним свойством, на которое обратил внимание Розанов уже во время лекции: он наделен сугубо бытовыми чертами («Уже взять то, что антихрист (по изображению философа) есть наш брат литератор, что его „книгу“ переводят тотчас на все образованные и многие необразованные языки, что этот антихрист „благополучно разрешает экономический кризис“...»).

И тут мы можем указать еще на один источник — характеристику антихриста, которую мы встречаем в статье одного из постоянных оппонентов Владимира Соловьева — критика Ю. Н. Говорухи-Отрока¹⁵, откликавшегося почти на все выступления философа в печати, особенно по религиозным вопросам. В одной из своих статей, полемически заостренной в адрес Соловьева, Говоруха-Отрок, можно сказать, открыл тему антихриста для публицистики. Статья так и называлась — «Господин Антихрист», в ней из-

лагалась фантастическая история о том, как к автору явился «молодой человек в высшей степени приличный, прилично одетый, с совершенно незначительной физиономией» и подал визитную карточку: Иван Иванович Антихрист¹⁶. Эта заметка была подписана одним из псевдонимов Говорухи-Отрока — Vox, другой его постоянный псевдоним Ю. Николаев также использовался в статье — ему якобы принадлежали некоторые особые представления об антихристе: «Мысль г. Николаева заключается в том, что в Антихристе будет как в фокусе сосредоточена вся *пошлость* мира, и что в этом будет его сила...»

В статье Говорухи-Отрока господин Антихрист рассказывал о своих визитах к писателям, среди которых был упомянут издатель «Русской мысли» В. А. Гольцев, издатель «Вопросов философии и психологии» Н. Я. Грот, которому этот господин предлагал для публикации в журнале свою статью, ранее опубликованную в «Вельзевуловом вестнике» под заглавием «Основные принципы Антихристовой этики», побывал он и у Н. К. Михайловского. Одним из последних описывался визит к Вл. Соловьеву, которого господин Антихрист называл давнишним приятелем, которому «когда он свой „Национальный вопрос“ писал, а потом и реферат „О причинах упадка средневекового мирозерцания“», «много помогал». Этот выпад имел особый подтекст: на обсуждении реферата Владимира Соловьева «О причинах упадка средневекового мирозерцания» на заседании Психологического общества, которое состоялось 19 октября 1892 года, Говоруха-Отрок выступал с резкими возражениями и даже обвинил Соловьева в том, что он «утверждает возможность какого-то христианства без христиан»¹⁷. По поводу этого реферата между Соловьевым и Говорухой-Отроком завязалась полемика об инквизиции, но это особый сюжет.

Во время своего визита господин Антихрист застал Соловьева за необычным занятием: «Теургией, говорит, занимаюсь: на кофейной гуще гадаю <...> И представьте себе: „ретроградные“ пророчества выходят сколько угодно, а либерального — ни одного...» Говоруха-Отрок первый наделил антихриста вполне житейскими чертами, представил его в образе литератора, воплощающего пошлость и посредственность, что совсем не свойственно ни антихристу посланий Иоанна Богослова, ни антихристу немецкой мистерии; эти черты соловьевского антихриста вполне могли восходить к тому, как представил его в своей статье Ю. Н. Говоруха-Отрок.

¹ Блок А. Рыцарь-монах // Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1962. С. 447. В подготовительных заметках к статье об этом эпизоде сказано: «один известный публицист счел остроумным упасть со стула» (Там же. С. 685).

² Новое время. 1900. № 8692. 28 февраля.

³ Канкрин Егор Францевич (Георг Людвиг), граф (1774–1845) — писатель и государственный деятель, генерал от инфантерии, министр финансов России в 1823–1844 гг.

⁴ Мнимо упавший со стула. Письмо в редакции. // Новое время. 1900. 29 февраля. № 8623.

⁵ Розанов В. Что приснилось философу // Новое время. 1900. 16 мая. № 8698.

⁶ Соловьев Вл. О поддельном добре: Предисловие к книге «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» // Россия. 1900. 13 мая. № 376. С. 2. Дата публикации уточнена А. П. Дмитриевым.

⁷ Соловьев Вл. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением Краткой повести об антихристе и с приложениями. СПб: Труд, 1900.

⁸ Соловьев Вл. Сочинения: В 2 т. Т. 2. С. 644. В отдельном издании первая фраза была пропущена по настоянию друзей, в современных изданиях также не воспроизводится в основном тексте, восстановлена только в примечаниях со ссылкой на М. С. Соловьева (Там же. С. 785. Примеч. 16).

⁹ Розанов В. Что приснилось философу.

¹⁰ Розанов В. Памяти Вл. Соловьева // Мир искусства. 1904. № 4 (15), август. С. 143.

¹¹ Розанов В. В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. С. 253.

¹² Павел Флоренский. Переписка с Андреем Белым // Павел Флоренский и символисты. Опыт литературные. Статьи. Переписка. Сост., подготовка текста и комментарий Е. В. Ивановой. М., 2004. С. 459.

¹³ Там же. С. 213–309.

¹⁴ Котрелёв Н. В. За кулисами мистерии об антихристе // НГ-религия. 7 июня 2006. С. 8. Котрелёв Н. В. Эсхатология у Владимира Соловьева: К истории «Трёх разговоров» // Эсхатологический сборник. СПб.: Алетейя, 2006. С. 238–257. В статье на с. 251 приводится программа лекции Вл. Соловьева «Конец всемирной истории».

¹⁵ Подробнее его биографию см.: Иванова Е. В. Литературный гёз: О судьбе Ю. Н. Говорухи-Отрока // Контекст 2008: Историко-литературные и теоретические исследования, М., 2009. С.167–202.

¹⁶ Vox [Говоруха-Отрок Ю. Н.]. Господин Антихрист // Московские ведомости. 1891. 23 декабря. № 354. С. 2–3. Поскольку слово «антихрист» в данном случае выступает в качестве фамилии, то пишется с большой буквы.

¹⁷ Выступление Говорухи-Отрока в прениях цит. по: Соловьев В. О причинах упадка средневекового мирозерцания. М., 1892. С. 22.

А. В. Лавров
**Вячеслав Иванов и Максимилиан Волошин
в 1907 году
(Эпистолярные иллюстрации)**

«Я полонен» — так назвал Андрей Белый главку в мемуарной книге «Начало века» (1933), в которой он рассказывал о начале своего духовного сближения с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус. Если бы М. Волошин взялся за работу над аналогичной книгой воспоминаний, то мог бы воспользоваться той же формулировкой при описании своих первых встреч с Вяч. Ивановым — в Швейцарии летом 1904 года и два года спустя в Петербурге, осенью 1906 года¹. Сообщая в письме из Петербурга от 22 сентября 1906 г. к своей молодой жене Маргарите (они обвенчались за несколько месяцев до того, 12 апреля) о желании обосноваться в Петербурге на постоянное жительство и выдвигая ряд практических соображений (широкие возможности литературной работы), Волошин добавлял: «Духовно же: здесь В. Иванов. Я тебе не могу сказать, как меня поразила и потрясла вся художественная атмосфера <...> это как ключ живой воды. <...> Я живу в небывалом подъеме и восторге»². Очарованность Ивановым побудила Волошина искать пристанища как можно ближе к нему, и в этом отношении ситуация разрешилась самым удачным образом: удалось снять комнаты в художественной школе Е. Н. Званцевой, располагавшейся на пятом этаже того самого дома на углу Таврической и Тверской улиц, который был увенчан «башней» — ивановской квартирой, ставшей тогда едва ли не самым притягательным центром петербургской культурной жизни. Волошин и Маргарита, урожденная Сабашникова, поселились у Званцевой около 10 октября, а три месяца спустя, около 13 января

1907 г., переехали в квартиру Иванова³. Самозабвенное погружение обоих в «башенную» атмосферу явилось, однако, лишь увертюрой к тому «жизнетворческому» действу в нескольких актах, которое развернулось затем в стенах ивановской квартиры и продолжилось за ее пределами.

Второй «башенный» сезон 1906—1907 года оказался не таким активным и многолюдным, каким был предшествовавший ему (собраниям препятствовала длительная болезнь хозяйки дома Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, продолжавшаяся с конца ноября 1906 до января 1907 г.), состоялось лишь несколько публичных «сред»⁴, но личные отношения двух супружеских пар, сначала живших по соседству, а потом и в общих стенах, стали в эту пору предельно близкими. И, разумеется, совместный быт оказывался самым благоприятным условием для манифестации высших ценностей, важнейших для представителей символистского мировидения, — ценностей творческих, эстетических и, что важнее всего, теургических и жизнестроительных. М. Сабашникова-Волошина вспоминает о первой встрече с Ивановым и Зиновьевой-Аннибал: «...я почувствовала только исключительно интенсивную, для меня еще загадочную жизнь их обоих. Из своего сообщества они вынесли что-то новое, своей жизнью хотели явить людям нечто новое — со страстью постигнутую идею»⁵.

Основное содержание этой «идеи» в «башенный» период — по словам О. Дешарт, «странное, парадоксальное, безумное», но знаменовавшее тягу к воплощению «хорового», вселенского начала, — включало стремление Иванова и его жены «в свое двуединство „вплавить“ третье существо» — «образовать духовно-душевно-телесный „слиток“ из трех живых людей»⁶. В течение 1906 года роль «третьего» суждено было исполнять Сергею Городецкому, дебютировавшему книгой стихов «Ярь» (которая получила признание в окружении Иванова еще до опубликования), однако чаемого тройственного союза с молодым поэтом не получилось; Городецкий сумел в конце концов уклониться от исполнения не привлекавшей его роли⁷. После появления на «башне» четы Волошиных представилась возможность для оформления другой «хоровой» композиции. И хотя Волошин вдохновлялся во многом жизнестроительной утопией Иванова и темами интеллектуальных дискуссий на «башне» (что нашло отражение в его лекции «Пути Эроса (Мысли и комментарии к Платонову „Пиру“»), оглашенной на «башне» 24 февраля, а затем прочитанной в Москве 27 февраля 1907 г. в Литературно-художественном кружке и весьма озадачившей аудиторию⁸), к тому повороту, который обозначился в его судьбе зимой 1906–1907 года, он оказался психологически и эмоционально не подготовленным.

4 февраля 1907 г. Зиновьева-Аннибал писала М. М. Зямытниковой: «С Маргаритой Сабашниковой у нас у обоих особенно близкие, любовно-

влюбленные отношения. Станный дух нашей башни. Стены расширяются и виден свет в небе. Хотя рост болезнен. Вячеслав переживает очень высокий духовный период. И теперь безусловно прекрасен. Жизнь наша вся идет на большой высоте и в глубоком ритме»⁹. В этих признаниях еще содер­жится оговорка о «болезненности» роста, но из другого исповедально­го письма Зиновьевой-Аннибал, адресованного А. Р. Минцловой, ясно, что формирующееся новое «трио» воспринимается описывающим его автором как некий эзотерический любовный союз, сулящий «откровения пути»: «...жизнь подрезала корни у моего Дерева Жизни в том месте, где из них вверх тянулся ствол любви Двоих. И насадила другие корни. Это впервые осуществилось только теперь, в январе этого года, когда Вячеслав и Маргарита полюбили друг друга большою *настоящею* любовью. И я полюбила Маргариту большою и *настоящею* любовью, потому что из большой, последней ее глубины проник в меня ее истинный свет. Более истинного и более настоящего в духе брака *тройственного* я не могу себе предста­вить, потому что последний наш свет и последняя наша воля — тожде­ственны и едины»¹⁰. В то же время на фоне этих экзальтированных переживаний, призванных отразить новые формы одухотворенной любви, нарождался конфликт во взаимоотношениях четырех участников интимно­го союза — тем более напряженный потому, что одному из них в перспек­тиве созидания «брака тройственного» не находилось места.

В своей мемуарной книге (в плане отражения намеченных коллизий минимально откровенной) М. Волошина-Сабашникова свидетельствует: «Однажды вечером Вячеслав сказал мне: „Я сегодня спросил Макса, как он относится к близости, растущей между тобой и мной, и он ответил, что это его глубоко радует“. Этот ответ был мне понятен, я ведь знала, как Макс любил и чтит Вячеслава; он сказал чистую правду, он действительно так чувствовал. Но постепенно я стала замечать, что сам Вячеслав не терпит моей близости с Максом. Он все резче критиковал его сочинения, его мысли. <...> Нередко, возражая мне, Вячеслав утверждал, что Макс и я — люди разной духовной породы, разных „вероисповеданий“, по его выраже­нию, и что брак между „инверцами“ недействителен. В глубине души у меня самой было это чувство, Вячеслав только облекал его в слова»¹¹. Отношения между Волошиным и Сабашниковой, завязавшиеся еще в 1903 го­ду, при всей их духовной насыщенности и напряженности, были всегда от­мечены чертами драматического надлома, временами перераставшими в отчужденность, которая не была преодолена с заключением брака, остав­шегося браком фиктивным¹². Не удивительно, что этот хрупкий союз не вы­держал испытания «башенным» мистериально-эротическим эксперимен­том — тем более и потому, что под покровами мифологизированной «трой-

ственности», которую патетически превозносила Зиновьева-Аннибал, выступали контуры вполне узнаваемых и однозначных переживаний: влюбленности Иванова в Маргариту и ее встречной увлеченности им. В конце февраля — начале марта 1907 г., когда Волошин в течение недели находился в Москве, Иванов объяснился ей в своих чувствах. Создававшийся тогда же цикл сонетов Иванова «Золотые Завесы» — поэтическое воплощение этих чувств: «И схвачен в вихрь и бурей унесен, // Как Пáоло, с твоим, моя Франческа, // Я свил свой вихрь...»¹³

Универсальная символистская мифопоэтика, перемещенная в сферу индивидуального «жизнетворчества», вознаградила Волошина в этих обстоятельствах переживанием «человеческой, слишком человеческой» драмы. Переживание ее становилось тем более мучительным, что совместная «башенная» жизнь продолжалась, все параметры, определяющие нерушимость внутренних духовных связей, неукоснительно соблюдались, как соблюдались и взаимная откровенность и доверительность, близость в плане литературной деятельности также сохранялась: еще с конца 1906 года в ивановском издательстве «Оры» готовилась к печати первая книга стихотворений Волошина «Ad Rosam», которая позднее, в марте 1907 года, получила заглавие «Звезда Полынь» (книга в свет так и не вышла: Волошин сначала откладывал ее печатание, а потом и вовсе отказался от публикации¹⁴). Картина происшедшего отчасти восстанавливается благодаря подробным дневниковым записям Волошина, которые он вел со 2 по 11 марта. Аморя (домашнее имя Маргариты), Вячеслав, Лидия не только описаны в них во всех каждодневных коллизиях, но и представлены прямой речью: Волошин фиксирует их признания, диалоги. Судя по этим записям, конструируемая эротическая утопия воплотилась в антиутопию: вместо искомой возвышающей гармонии и благих откровений «любви держающей» — контрастные перепады чувств и настроений, нервная взвинченность, надрывная экзальтация. Достаточно обратиться хотя бы к записи от 8 марта. В ней описывается вчерашний вечер: «Вячеслав пришел. Опять у меня был порыв любви к нему. Мы держались с ним за руки. Я чувствовал, что отдаю ему Аморию радостно и совсем. Я целовал его голову и его руки. Но он тоже целовал мою руку. И мне на мгновение сделалось страшно больно, точно он не хотел принять моего поцелуя. Но всё это прошло, и мне было радостно и спокойно». И далее — события текущего дня: «Лидия горячо упрекала Вячеслава в насильственности. Он сказал между прочим: „Я испытывал душу Маргариты“. Я вдруг этого не вынес и сказал: „Я не могу допустить испытаний над человеческой душой“. Но оказалось, что я это не сказал, а закричал, сжавши кулаки. Тогда Вячеслав сказал: „Я имею право, потому что взял его“. Я выскочил из комнаты. Потом вер-

нулся. Но уже не мог говорить. Весь день был проведен в сильнейшем волнении. Я долго, долго говорил Аморе о том, что всё разрушилось. Когда она взошла в комнату откуда-то, я стал целовать ее руки и опустил, чтобы поцеловать ее ноги. С ней вдруг сделалась истерика. Она захохотала и упала на кресло»¹⁵. И так далее.

Ситуация требовала разрешения или хотя бы снятия психологического напряжения, а этого невозможно было достичь в сложившихся обстоятельствах совместной жизни. 13 марта М. Кузмин записал в дневнике: «У Ивановых всё разлетается. Сабашникова в санаторию, Волошины в Крым, Диотима <Л. Д. Зиновьева-Аннибал. — А. Л.> в Юрьев <...>»¹⁶. 16 марта Маргарита отбыла в Свято-Троицкую санаторию в Царском Селе, а 19 марта Волошин вместе с матерью (жившей в Петербурге с ноября 1906 г.) выехал в Москву и на следующий день в Крым — в Коктебель. Отношения четырех насельников «башни» перешли в эпистолярную фазу.

Корпус переписки Иванова, Зиновьевой-Аннибал, Сабашниковой и Волошина между собой, относящийся к 1907 году, весьма объемён и не может быть с достаточной полнотой представлен в ограниченных рамках данной работы. Из имеющихся в архивных фондах шести двусторонних эпистолярных комплексов в данном случае избран один, не самый пространный: это письма Волошина к Иванову и одно письмо Иванова к Волошину, относящиеся к 1907 году. При необходимости используются также фрагменты других писем, входящих в указанную общую совокупность.

Характерная особенность писем Волошина к Иванову — их насыщенность стихотворными текстами. Отчасти это объясняется практической целью — желанием дополнить новым стихотворением готовившийся в издательстве «Оры» авторский сборник. Но вместе с тем стихотворения оказываются в ряде случаев необходимым элементом цельного эпистолярного высказывания, посредством которого Волошину открывалась возможность транслировать в различных регистрах содержание своего внутреннего «я». Стремясь избыть в себе пережитую драму, смиренно принимая и осмысляя ту картину, которая предстала ему на развалинах умопостигаемого «жизнетворческого» строения, он пытается, претворяя новую реальность в стихи, создать новую гармонию. Показательно в этом отношении первое по времени письмо к Иванову — на открытке, по пути в Крым, отправленное из Курска 22 марта¹⁷:

Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель.
По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре,
По долинам тонким дымом розовеет внизу миндаль,
И лежит земля страстная в черных ризах и ораях.
Я коснусь ногою звонкой острых щербней безлесных гор,

Причашусь я горькой соли задыхающейся волны,
Завернусь я в бледный саван холодеющего песка.
Обовью я чобром, мятой и полыню свою главу...
Здравствуй ты в весне распятый, мой таинственный Коктебель!¹⁸

Вот еще одно стихотворение для «Звезды Полыни» — если ты найдешь его достойным, Вячеслав. Им можно начать отдел «Stella amara». Тогда «Полынь»¹⁹ будет идти после него. Но предоставляю тебе полное право решить. Пишу в поезде где-то между Орлом и Курском. Может, ты найдешь нужным и в самом стихотворении что-нибудь изменить? Привет Лидии. Поезд идет убийственно медленно, и я жду не дождусь Коктебеля. Я отправил тебе открытку из Москвы²⁰. До свиданья. Я очень люблю тебя.

Максимилиан.

Следующее письмо Волошина к Иванову, отправленное по приезде в Коктебель, также сопровождалось стихотворением — сонетом «Диана де Пуатье» («Над бледным мрамором склонились к водам низко...»); автограф его при письме отсутствует²¹:

Понедельник 26 марта

Дорогой Вячеслав!

Три дня я в Коктебеле. Три дня не ослабевает и не утихает буря. На всем пространстве залива море пенится и клубится. Ураган колотит в двери и вырывает их из рук. По утрам я сражаюсь с неприступными поленьями; пилю, колю, ношу и топлю ими свою комнату, но это повышает только температуру во мне, а не вне меня, и жизни интеллектуальной я могу предаваться у себя в комнате только закутавшись в шубы, пледы и одеяла.

Только одна гимнософистика²² поддерживает меня и согревает в этой бесплодной борьбе со стихийными проявлениями мира.

Тем не менее я все-таки написал сонет о Диане де Пуатье. К «Звезде Полыни» он совершенно не подходит. Поэтому, прочтя его, передай пожалуйста Георгию Ивановичу для Невского Альманаха (я адрес его забыл)²³.

Кроме того я исправил стихотворение о Коктебеле, что я послал тебе на открытке с дороги. Теперь оно в окончательном виде, и я думаю, его можно включить в книгу.

Послал ли ты рукопись Ан<не> Руд<ольфовне>? Я здесь еще ни от кого, кроме нее, не имел известий²⁴.

Холод и ветер мешают мне наслаждаться моим одиночеством и предаваться как следует работе.

Но когда наступит тепло, я буду вполне счастлив.
До свиданья. Жду вестей с башни и из Царского²⁵.
Целую Лидию.

Максимилиан.

P. S. Не приходили ли посылки с книгами на мое имя? Переправлены ли они по моему адресу?

Ответных писем от Иванова не поступало, но это обстоятельство не смущало Волошина; он вновь обратился к своему корреспонденту, когда был завершен новый сонет²⁶:

Здесь был священный лес. Божественный гонец
Ногой крылатою касался сих прогалин...
На месте городов ни камней, ни развалин.
По склонам бронзовым ползут стада овец.

Зубчатых гор трагический венец
В пытливых сумерках таинственно печален.
Чьей темною тоской мой вещей дух ужален,
Кто знает путь богов — начало и конец?

Размытых осыпей как прежде звонки щепни,
И море древнее, вздымая тяжело гребни,
Кипит по отмелям гудящих берегов...

И ночи звездные в слезах проходят мимо,
И лики темные отверженных богов
Глядят и требуют... зовут неотвратимо²⁷.

Вот последнее мое стихотворение. Быть может, ты его тоже найдешь возможным включить в Звезду-Полынь, Вячеслав? Очень жду звука твоего голоса. Целую Лидию.

До свиданья.

Максимилиан.

Коктебель. 3 апреля. 1907.

Следующее письмо Волошина к Иванову — это обращенное к нему стихотворное послание, записанное и отправленное на открытке, еще один сонет. В нем коктебельский отшельник воздаёт хвалу главному детищу «ба-

шенного» литературного «симпозиона» — собранному Ивановым альманаху «Цветник Ор. Кошница первая» (он выйдет в свет в середине мая) и его участникам: Валерию Брюсову, Александру Блоку, Константину Бальмонту, Лидии Зиновьевой-Аннибал (поместившей там первое действие комедии «Певучий осел») и Маргарите Сабашниковой, автору стихотворного цикла «Лесная свирель».

Я здесь расту один, как пыльная Агава
На голых берегах среди сожженных гор.
Здесь моря вещего немолкнувший простор
И одиночества змеиная отрава...

А там — на севере крылами плещет Слава,
Там древний бог взошел на жертвенный костер,
Там в дар ему несут кошницы легких Ор,
Там льды Валерия, там солнца Вячеслава,

Там снежный хмель взрастил и розлил Александр,
Там брызнул Константин струями саламандр,
Там Лидиин «Осел» мечтою осиян

И лаврами увит, там нежные хариты
Сплетают верески свирельной Маргариты...
О мудрый Вячеслав, χαίρή!¹²⁸

Максимилиан.

Коктебель 15 апреля 1907²⁹.

Три дня спустя — еще одно письмо на открытке: вновь с сонетом, но и с деловым предложением относительно «Звезды Полюни»³⁰.

Коктебель 18 апреля 1907

Дорогой Вячеслав! Аморя советует мне не выпускать теперь моей книги, и отложить ее на осень, т-ак-к-ак и ты теперь очень занят, и уже поздно, да и я летом напишу еще многое, что сможет сделать ее гораздо более содержательной. Так что, если это возможно — отложи ее до осени.

Если это так, то тогда (если это только тебе улыбается) можно оттуда взять кое-что для «Цветника», напр-имер- Гност-ический- Гимн Деве Марии или четыре последних Руанских собора³¹. Сонеты, что я пишу теперь, слагаются в определенную серию, которая только что начинает-ся. Быть может, их лучше и не печатать еще (я говорю <о> «киммерийских» сонет-

тах). Мне приходит в голову сделать серию — Одиссей в Киммерии³². Но это я еще не знаю. Словом, я очень хочу отложить «Звезду Полюнь» на осень, так как для окончательной редакции я чувствую, что необходимо мое присутствие. Вот еще сонет, написанный сегодня:

Туманный день раскрыл больное око,
И бледный луч, расплесканный волной,
Дробясь, скользит над мутной глубиной —
То колос дня от пажитей востока!

И чаша вод колышется широко,
Обведена серебряной каймой...
Темнеет мыс, зубчатую стеной
Ступив на зыбь расплавленного тока.

О этот час в затишьи бледных утр,
Когда в горах струится перламутр,
Журчат ручьи, безмолвствуют долины,

Звенит трава и каждый робкий звук
Поет струной... И солнце как паук
Дрожит в сетях алмазной паутины³³.

Привет Лидии. Как подвигается «Осел»³⁴. Напиши мне о «Цветнике» и о журнале³⁵.

Максимилиан.

Следующее письмо Волошина к Иванову выслано из Москвы, куда он прибыл из Феодосии 28 или 29 апреля по настоятельному призыву Сабашниковой, которая приехала из Петербурга в Москву неделей ранее, 20 апреля. Написанное на открытке, отправленной 30 апреля и полученной в Петербурге на следующий день, оно вновь двусоставно, как и большинство ранее отосланных писем из Коктебеля: новые стихи в кратком деловом контексте³⁶:

САТУРН

На тверди видимой алмазно и лазурно
Созвездий медленных мерцает бледный свет,
Но в небе времени снопы иных планет
Несутся кольцами и в безднах гибнут бурно.

Пусть темной памяти источенная урна
Их пепел огненный развеяла как бред —
В седмичном круге дней горит их беглый след.
О Пращур Лун и Солнц, вселенная Сатурна,

Где ткало в дымных снах сознание-Паук
Живые ткани тел, но тело было звук,
Где лился музыкой непознанной для слуха

Творящих числ и воль мерцающий поток,
Где в горьком сердце Тьмы сгущался звездный сок,
Что древним языком лепечет в венах глухо!..³⁷

Дорогой Вячеслав, вот еще один сонет, который должен войти в «Звезду Полынь» к циклу «Луны», «Солнца», «Крови»...

Ради Бога, напиши мне хоть несколько строк на открытке о судьбе моей книги: отложена ли она на осень? Без окончательного просмотра ее мною ее невозможно выпускать, т<ак> к<ак>, судя по словам Амори, я заключаю, что, благодаря путанице в письмах, вновь присланные мною стихотворения могут быть напечатаны совсем не в том окончательном виде, который они получили.

Кроме того *теперь* у меня совершенно нет денег. И я не могу не видеть книги до ее выхода. На основании Амориных писем я считал ее окончательно отложенной на осень. Теперь же я совершенно запутался в ее словах. Пожалуйста, напиши хоть несколько слов. До свидания. Привет Лидии.

Максимилиан.

Москва. Поварская, д<ом> Милорадович³⁸.

После этого письма последовал, наконец, ответ от Иванова — на несколько посланий Волошина сразу³⁹:

3 мая.

Дорогой Макс, пожалуйста извини мое мертвое молчание... Устроить твою книгу в твоё отсутствие и мне казалось всегда только рассечением Гордиева узла. К счастью, меня миновала ответственность Александра⁴⁰. Печатных дел мастера согласились хранить набор до осени; но выяснилось это только вчера, ранее же велись об этом инциденте дипломатические переговоры. Если этот результат утешителен, зато твоё участие в «Цветнике Ор» не соответствует ни твоему, ни моему желанию. Давно уже отпечатаны первые листы книги, и что-либо переменить или дополнить в твоём отделе

было невозможно, когда я получил твое письмо о «Цветнике». Я нимало не сожалею, что в «Цв<етник>» вошли твои превосходные «*киммерийские*» сонеты; но мне жаль, что я располагал в момент печатания только двумя из этого цикла («Закатным золотом...» и «Здесь был священный лес»). Было уже поздно, когда, благодаря новым сонетам, присланным тобою (которые очень люблю и высоко ценю, кроме вчерашнего Сатурна, весьма, на мой взгляд, сумбурного), и благодаря отсрочке книги, мне явились богатейшие возможности великолепного букета твоих стихов, почти *embarras de richesse*...⁴¹ Впрочем, бесполезно долго обсуждать совершившийся факт. Я ни в чем не виноват перед тобой (вина в сроках и обстоятельствах) — кроме произвола, выразившегося в наименовании твоих двух сонетов «Киммерийскими Сумерками»⁴² (мне очень нравится это соединение и кажется соответственным и выразительным), и, быть может, отчасти произвольного выбора той редакции их из многочисленных твоих вариантов, которая представляется мне наиболее безупречною формально. За это прости дружески.

Ни о чем внутреннем и сердечном писать не в силах. Будем любить друг друга нашу лучшею верой друг в друга, не сводя балансов преждевременно. Ибо, как говорит Ангел в «Евдокии», хороший домохозяин считает прибыли по завершении предприятия⁴³. Итак, до свиданья, любимый друг, приветствуй от меня Маргариту и дай ей прилагаемые новые сонеты из «Золотых Завес»⁴⁴, а также прими благодарность за твой очаровательный поэтический привет «Орам».

Вячеслав.

Совместная жизнь Волошина и Сабашниковой в Москве и затем, в последней декаде мая, в Богдановщине (имение Сабашниковых в Смоленской губернии) изменения в тот характер их взаимоотношений, который определился к весне 1907 г., не внесла, равно как и временное расставание Маргариты с четой Ивановых не умалило напряженности внутри упорно лелеемого и творимого «трио». «Аморя здесь страшно мается и страдает, не получая писем от Ивановых, и все стремится назад в Петербург <...> Аморя все мечтает о квартире рядом с Ивановыми», — сообщал Волошин матери 3 мая⁴⁵. Зиновьева-Аннибал жертвенно была готова к любому разрешению ситуации. «...Люблю тебя глубоко и сознательно и совершенно сознательно желаю всего счастья, — писала она Маргарите 3 мая. — Моего счастья ты отнять не можешь. Твоя любовь с Вячеславом должна развиваться свободно, только по *своим* законам, и как мать твоя, которую я любовно почувствовала, я скажу: что все светлое и настоящее я приму с радостью и веселием. От вас же себе прошу только свободы»⁴⁶. Упомянутая же Лидией мать Маргари-

ты, Маргарита Алексеевна Сабашникова, узнав о происходящем, встала на пути намечавшихся «жизнетворческих» преобразований неодолимой преградой. «Когда ночная скиталица, — вспоминает о себе в третьем лице Маргарита, — явилась в добропорядочный родительский дом, она почувствовала себя по чести обязанной объяснить матери обстоятельства своей семейной жизни: она больше не расстанется с Ивановыми, Вячеслав ее любит, а Макс и Лидия согласны. Мама пришла в неопишумый ужас. Она заявила, что я уйду к Ивановым только через ее труп, и она была в таком состоянии, что можно было в это поверить»⁴⁷. Разрыв супругов в это время был осознан как окончательный; Сабашникова даже полагала, что ее соединение с Ивановым окажется для Волошина благотворным. «Макс отрешен и отчужден, и отчуждение не пройдет, пока я буду с вами, — писала она им обоим 2 мая. — Прежних отношений у нас с ним не может быть, и он найдет себя не в одиночестве, но только при мне и при вас»⁴⁸. Впрочем, подводя итоги этому непродолжительному возобновлению совместной жизни, Сабашникова признавалась Иванову в недатированном письме: «С Максом этот месяц было ужасно. Я была дурная, я отравлена и нет оправдания»⁴⁹.

О внутреннем состоянии Волошина в это время отчасти можно судить по его недатированному письму, ответному на приведенное письмо Иванову от 3 мая⁵⁰:

Дорогой Вячеслав,

эти дни были очень смутными днями, и много писем к тебе и к Лидии было разорвано. Только сегодня, сейчас кончилось это наваждение и могу снова с полной верой как брат говорить тебе. Я снова верю, что мы можем и найдем те формы, ту истину общей любви, которая позволит нам всем жить вместе, верю в то, что мы — я и ты — преодолеем любовью к Аморе те трепеты вражды, которые пробегают между нами неволью.

И верю в то, что я, обрученный ей, и связанный с ней таинством, и принявший за нее ответственность перед ее матерью и отцом, не предаю ни ее, ни их, ни мою любовь к ней, ни ее любовь к тебе.

Вячеслав! верю тебе как брату безусловно и вполне и требую твоей веры к себе — иначе нельзя жить. Нельзя Амору подвергать как младенца суду Соломонову⁵¹. Но, когда мы снова будем вместе, помоги и ты мне не предать доверие тех, кто больше всех трепещет за нее.

Хочу простой жизни, деятельной жизни, хочу смирения перед законами и истинного познания их.

Спасибо за твое письмо, спасибо за судьбу моей книги.

Не менее значимые признания содержатся в письме Волошина к Зиновьевой-Аннибал⁵², ответном на ее письмо к нему от 12 мая:

Дорогая Лидия,
из писем к Вячеславу⁵³ ты видишь, какие тяжелые дни были у нас.

Сегодня только все разошлось. Я и тебе не мог отвечать на письмо это время.

Мне было эти дни так же смутно, как Аморе, от всевозможных нравственных конфликтов. Все казалось безвыходным и темным и не было веры в себя, мне казалось, что мы совсем заблудились в лабиринте психологии и морали.

Я в области психологии как дельфин на суше и с радостью присоединяюсь к твоему кличу: «Долой психологию!», душа моя затосковала в этом обществе астральных чудовищ и требует простоты, звериности и смирения.

Мне невольно приходится быть посредником между Аморей и ее матерью, любовь которой к Аморе я ценю все больше и больше.

Трудно все совмещать и хранить в душе — и вас далеких, и Амороину любовь к Вячеславу, переходящую в безвыходную смуту, и тревогу матери, которая *мне* доверяет ее и для которой таинство, связующее нас, воистину ненаруσιμο.

Против помещения «Луны» и «Как звезд<ный> путь» в «Белых Ночах» я, разумеется, ничего не имею⁵⁴.

На вопросы о Богдановщине отвечает <?> Аморя в письме к Вячеславу.

В конце мая Волошин возвратился в Коктебель и не покидал Крыма до середины ноября. Сабашникова до начала августа оставалась в Богдановщине, после чего последовала настоятельному призыву Зиновьевой-Аннибал — приехать в имение Загорье Могилевской губернии, место ее с Ивановым летнего пребывания (с 21 июня): «Ты можешь поручиться своим, что из этого выйдет одно лишь благо, ибо заодно можем поручиться мы: ни истерической атмосферы, ни сентиментальной тягучести не будет, а лишь серьезные глубокие, человеческие отношения <...>»⁵⁵. 8 августа Маргарита, после длительных колебаний, выехала из Москвы в Загорье. Судя по ее недатированному письму к Иванову, отправленному по дороге оттуда в Коктебель, непродолжительное время (всего два дня), проведенное ею в Загорье, стало кульминацией их взаимоотношений:

Мой милый, мой любимый. Как Ты чувствуешь себя? Целую Тебя нежно. Ты должен писать мне все. Я все должна знать о Тебе, и не будет больше

никогда этих мертвых дней, когда я теряла Тебя и не знала, кто мы друг другу. Я уезжаю другой, чем приехала. <...> Мне кажется, что мы еще никогда не говорили. Еще никогда не было так, как теперь. Разве мы так были близки когда-нибудь? Что бы не <так!> было с моей жизнью потом, но эти два дня были, и я благодарю Бога. Они были наши. <...> Ты со мной и я с Тобой. Обнимаю Тебя крепко, мой Вячеслав. <...> Еще раз подыматься к Тебе по лестнице и войти с Тобой в Твою комнату, и быть с Тобой опять. Это должно быть опять⁵⁶.

15 августа 1907 г. Волошин писал Иванову:⁵⁷

Дорогой Вячеслав, вчера приехала в Коктебель Аморя радостная и счастливая после свиданья с тобой и принесла с собой твоё веянье и твои отблески, и мое сердце тоже с радостью устремлено к тебе теперь и благословляет то, что ты *еси*⁵⁸.

Я жду тебя и Лидию в Коктебель. Мы должны прожить все вместе здесь на той земле, где подобает жить поэтам, где есть настоящее солнце, настоящая нагая земля и настоящее Одиссеево море.

Все, что было неясного и смутного между мною и тобой, я приписываю ни тебе и ни себе, а Петербургу.

Здесь я нашел свою древнюю ясность, и все, что есть между нами, мне кажется просто и радостно. Я знаю, что ты мне друг и брат, и то, что оба мы любим Аморию, нас радостно связало и сроднило и разъединить никогда не может.

Только в Петербурге с его ненастоящими людьми и ненастоящей жизнью я мог так запутаться раньше.

Я зову тебя не в гости, а в твой собственный дом, потому что он там, где Аморя, и потому что эти заливы принадлежат тебе по духу.

На это<й> земле я хочу с тобой встретиться, чтобы здесь навсегда заковать все темные призраки петербургской жизни.

Лидия, Вячеслав, вы должны приехать сюда, и как можно скорее.

Материальные соображения ни в каком случае не должны останавливать вас.

Здесь вам ваша жизнь не будет стоить ничего и это ни для кого не будет ни стеснением, ни ущербом.

Мама, которая тоже вышла из петербургских наваждений, вас обоих очень любит, очень зовет и ждет с радостью.

Крепко целую тебя и Лидию.

Привет Марье Михайловне, Вере, Косте и маленькой Лидии⁵⁹.

Максимилиан.

Еще один зов, обращенный к супругам Ивановым, последовал из Судака, куда Волошин и Сабашникова приехали на несколько дней к сестрам Аделаиде и Евгении Герцык, — телеграмма от 23 августа: «Заклинаем приехать Аделаида Евгения Маргарита Максимилиан»⁶⁰. Многократно писала Иванову Маргарита, настаивая на том же самом. Однако вновь встретиться вчетвером им было не суждено. 17 октября 1907 г. Лидия Зиновьева-Аннибал скончалась в Загорье после скоротечной скарлатины. Для Вячеслава Иванова начался новый этап жизни — под знаком ее «бессмертного света». Для Маргариты Сабашниковой эта смерть обозначила между, сделавшую продолжение прежних отношений с Ивановым невозможным. Волошин еще целый ряд лет будет общаться с мэтром петербургского символизма, но эти отношения более никогда не достигнут той напряженности, того драматизма и того мифопоэтического накала, какими они были исполнены в затронутую непродолжительную пору.

¹ Некоторые свидетельства об этих встречах приводились нами в статье «Голос с Башни: „Венок из фиговых листьев“ Максимилиана Волошина» (Башня Вячеслава Иванова и культура Серебряного века. СПб., 2006. С. 74–77).

² Максимилиан Волошин в Петербурге: осень 1906. Письма к М. В. Сабашниковой / Публикация В. П. Купченко // Минувшее. Исторический альманах. 21. М.; СПб., 1997. С. 303–305.

³ Приводимые здесь и ниже хронологические сведения восходят к составленным В. П. Купченко сводам «Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1877—1916» (СПб., 2002) и «Летопись жизни и творчества Маргариты Васильевны Сабашниковой» (Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. 2000. Т. III. № 3. С. 360–387).

⁴ См.: *Богомолов Н. А. ...И другие действующие лица* // Иванов В., Зиновьева-Аннибал Л. Переписка 1894—1903. М., 2009. Т. 1. С. 43.

⁵ *Волошина М. (Сабашникова М. В.). Зеленая Змея: История одной жизни* / Пер. с нем. М. Н. Жемчужниковой. М., 1993. С. 152.

⁶ Примечания О. Дешарт в кн.: *Иванов В. Собр. соч.* Т. II. Брюссель, 1974. С. 756.

⁷ См.: *Богомолов Н. А. «Мы — два грозой зажженные ствола». Эротика в русской поэзии — от символистов до обэриутов* // *Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века: Портреты. Проблемы. Разыскания.* Томск, 1999. С. 241–242; *Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах: Документальные хроники.* М., 2009. С. 199–200.

⁸ См.: *Волошин М. Собр. соч.* Т. 6. Кн. 2. М., 2008. С. 208–235, 825–837.

⁹ Цит. по: *Богомолов Н. А. «Мы — два грозой зажженные ствола».* С. 243.

¹⁰ Там же.

¹¹ *Волошина М. (Сабашникова М. В.). Зеленая Змея.* С. 161.

¹² См.: *Купченко В. П. Маргарита Сабашникова: вечное ученичество* // *Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры.* 2000. Т. III. № 3. С. 354–355.

¹³ *Иванов В. Собр. соч.* Т. II. С. 385.

¹⁴ 10 сентября 1907 г. М. Сабашникова сообщила Иванову: «Макс просил передать Тебе относительно книги своей, что он совсем раздумал издавать свои стих<отворения> и спрашивает, сколько нужно заплатить за набор» (РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 9. Ср. другой вариант текста этого письма, опубликованный в кн.: Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. С. 230–231). Экземпляр верстки несостоявшегося издания этой книги хранится в Доме-музее М. А. Волошина в Коктебеле, другой экземпляр — в коллекции А. М. Луценко (см.: Луценко А. 45 любимых книг (о некоторых раритетах моей библиотеки). СПб., 2004. С. 80–81). Книга состояла из четырех разделов («Странник», «Stella Amara», «Орфей», «Мистическая Роза»), включавших 27 стихотворений. Стихотворению «Кровь» («В моей крови — слепой Двойник...»), входившему в раздел «Stella Amara», предпослано посвящение Вячеславу Иванову. Ср.: Волошин М. Собр. соч. // Комментарии В. П. Купченко. Т. 1. М., 2003. С. 77, 458–459.

¹⁵ Волошин М. Собр. соч. Т. 7. Кн. 1. М., 2006. С. 261.

¹⁶ Кузмин М. Дневник 1905–1907 / Предисловие, подготовка текста и комментарий Н. А. Богомолова и С. В. Шумихина. СПб., 2000. С. 333.

¹⁷ ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 49. Письмо получено в Петербурге 23 марта 1907 г.

¹⁸ Впервые опубликовано в журнале «Золотое Руно» (1907. № 4) в составе цикла «Terre antique», в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910» (М.: Гриф, 1910) — в составе цикла «Киммерийские сумерки». В опубликованном тексте — с делением на два четверостишия; вариант ст. 5: «Припаду я к острым щербням, к серым срывам размытых гор»; ст. 7 отсутствует; вариант ст. 8: «Обовью я чобром, мятой и польнюю свою главу...». См.: Волошин М. Собр. соч. Т. 1. С. 89.

¹⁹ Стихотворение «Польнь» («Костер мой догорал на берегу пустыни...», декабрь 1906 г.) было впервые опубликовано под заглавием «Коктебель» в иллюстрированном приложении к газете «Русь» 6 февраля 1907 г.; в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910» — первое в цикле «Киммерийские сумерки». См.: Волошин М. Собр. соч. Т. 1. С. 88.

²⁰ Эта открытка, по всей вероятности, не сохранилась.

²¹ ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 49.

²² Гимнософисты — греческое слово, употребляемое при описаниях встречи Александра Македонского с индийскими философами в Пенджабе; подразумеваются брамины, ходившие почти нагими и ведшие аскетический образ жизни.

²³ Имеются в виду поэт, прозаик и критик, теоретик «мистического анархизма» Г. И. Чулков (1879–1939) и комплектовавшийся им «петербургский альманах» «Белые ночи» (СПб., 1907); в дневниковой записи М. Кузмина от 13 марта 1907 г. этот альманах упоминается под предварительным заглавием «Нева» (Кузмин М. Дневник 1905–1907. С. 333). В альманахе «Белые ночи» (вышедший в свет в июне 1907 г.) сонет «Диана де Пуатье» не был включен, впервые опубликован в журнале «Русская Мысль» (1907. № 6).

²⁴ А. Р. Минцлова (1866–1910?) — деятель теософского движения, переводчица; в середине 1900-х гг. оказывала исключительно сильное духовное воздействие на Волошина и Сабашникову, а позднее и на Вяч. Иванова. Волошин подразумевает ее письмо, полученное в Коктебеле 24 марта. О получении рукописи от Вяч. Иванова Минцлова сообщила Волошину в письме из Москвы от 25 марта (Купченко В. П. Труды и дни Максимилиана Волошина. С. 178, 179).

²⁵ М. Сабашникова-Волошина оставалась в Царском Селе до 29 марта.

²⁶ ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 49. Текст — на открытке, полученной в Петербурге 6 апреля 1907 г.

²⁷ Впервые опубликовано в альманахе «Цветник Ор. Кошница первая» (СПб., 1907), в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910» — в составе цикла «Киммерийские сумерки». Варианты опубликованного текста: ст. 5–7 — «Безлесны скаты гор. Зубчатый их венец // В зеленых сумерках таинственно печален. // Чьей древною тоской мой вещей дух ужален?»; ст. 13 — «И лики темные отвергнутых богов». См.: *Волошин М.* Собр. соч. Т. 1. С. 90.

²⁸ Привет! (*др.-греч.*).

²⁹ ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 49. Получено в Петербурге 19 апреля 1907 г. Напечатано по приводимому автографу в кн.: *Литературное наследство.* Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М., 1994. С. 275 (Публикация К. М. Азадовского и А. В. Лаврова). Варианты автографа, отправленного М. В. Сабашниковой 17 апреля 1907 г.: ст. 3 — «Здесь моря вещего глаголящий простор»; ст. 6 — «Восходит древний бог на жертвенный костер»; ст. 9–10 — «Там брызнул Константин певучих саламандр, // Там снежный хмель взрастил и розлил Александр» (*Волошин М.* Собр. соч. М., 2004. Т. 2. С. 398).

³⁰ ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 49.

³¹ В «Цветнике Ор» эти стихотворения не были помещены. «Гностический гимн Деве Марии» («Славься, Мария!..») был впервые опубликован в «Вестнике Теософии» (1908. № 2) под заглавием «Гностический гимн»; в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910» это стихотворение напечатано с посвящением Вячеславу Иванову. Цикл из семи стихотворений «Руанский собор» был впервые опубликован в полном объеме в журнале «Перевал» (1907. № 8/9). См.: *Волошин М.* Собр. соч. Т. 1. С. 81–87.

³² Сонет «Одиссей в Киммерии» («Уж много дней рекою Океаном...») — заключительный в цикле «Киммерийские сумерки». Сонет (впервые опубликованный в книге Волошина «Стихотворения. 1900–1910») посвящен Лидии Дм. Зиновьевой-Аннибал и датирован днем ее кончины — 17 октября 1907 г. См.: Там же. С. 95–96.

³³ Первоначальная редакция сонета «Равнина вод колышется широко...», входящего в цикл «Киммерийские сумерки» и впервые опубликованного в «Золотом Руне» (1907. № 4) в составе цикла «Terre antique». Варианты автографа первоначальной редакции в творческой тетради Волошина: ст. 7 — «Мутится мыс, зубчатою стеной»; ст. 10–13 — «Когда в горах златится перламутр // И чуткий дым встает со дна долины, // Ручьи журчат, и каждый тихий звук // Звенит струной, и солнце, как паук» (*Волошин М.* Собр. соч. Т. 1. С. 391).

³⁴ Комедия Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел. Сатирический маскарад в четырех ночах» (вариации на темы «Сна в летнюю ночь» Шекспира с многочисленными прообразами и аллюзиями, указующими на Иванова и его окружение и на обстоятельства «башенной» жизни) впервые опубликована в полном объеме Н. А. Богомоловым в журнале «Театр» (1993. № 5). См. также: *Зиновьева-Аннибал Л.* Тридцать три уroda. М., 1999. С. 319–398.

³⁵ Инициатива издания в Петербурге журнала под эгидой Вяч. Иванова тогда осталась нереализованной.

³⁶ ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 49.

³⁷ Сонет впервые опубликован в «Вестнике Теософии» (1908. № 3), вошел в книгу Волошина «Стихотворения. 1900–1910». Вариант заключительной строки в опубли-

кованном тексте: «Что темным языком лепечет в венах глухо» (*Волошин М. Собр. соч. Т. 1. С. 78*).

³⁸ В доме Никиты Александровича Милорадовича располагалась квартира родителей М. Сабашниковой.

³⁹ ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 581. Опубликовано Г. В. Обатниным в кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 155–156.

⁴⁰ Подразумевается легендарно-исторический эпизод, относящийся к взятию Александром Македонским фригийского города Гордия: «...Александр увидел знаменитую колесницу, дышло которой было скреплено с ярмом кизиловой корою, и услышал предание <...>, будто тому, кто развяжет узел, закреплявший ярмо, суждено стать царем всего мира <...> узел был столь запутанным, а концы так искусно спрятаны, что Александр не сумел его развязать и разрубил мечом» (*Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В трех томах. М., 1963. Т. II. С. 407. Перевод М. Н. Ботвинника и И. А. Перельмутера*).

⁴¹ Затруднение от избытка (*франц.*).

⁴² Под этим общим заглавием в «Цветнике Ор» были напечатаны сонеты Волошина «Старинным золотом и желчью напитал...» и «Здесь был священный лес. Божественный гонец...» (С. 45–48). Вскоре Волошин опубликовал под тем же общим заглавием, данным Вяч. Ивановым, еще два сонета — «Над темной рябью вод встает из глубины...» и «Запал багровый свет. Над тусклою водой...» (*Русская Мысль. 1907. № 9*), а в сборнике «Стихотворения. 1900—1910» объединил в цикл под заглавием «Киммерийские сумерки» 14 стихотворений.

⁴³ Подразумеваются слова Ангела из «Комедии о Евдокии из Гелиополя» М. Кузмина (впервые опубликованной в «Цветнике Ор»): «Хозяин опытный всегда // В конце лишь прибыли считает» (*Кузмин М. Театр. В четырех томах (в двух книгах). I–III / Сост. А. Тимофеев. Под ред. В. Маркова и Ж. Шерона. Berkeley Slavic Specialties, 1994. С. 26*).

⁴⁴ Цикл из 17 сонетов «Золотые Завесы» Вяч. Иванова был впервые опубликован в «Цветнике Ор».

⁴⁵ *Волошин М. Из литературного наследия. III. СПб., 2003. С. 356* (Публикация В. П. Купченко и А. В. Лаврова).

⁴⁶ ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 5. Ед. хр. 76.

⁴⁷ *Волошина М. (Сабашникова М. В.) Зеленая Змея. С. 164. Об этом объяснении с матерью, состоявшемся 3 мая, Сабашникова рассказала на следующий день в письме к Зиновьевой-Аннибал: «...мы остались вдвоем, и она спросила меня про Макса, отчего я не хочу быть его женой и что с ним; почему он уезжал. А потом прибавила, что она всегда все про меня знает вперед; и я знала, что она знает, тогда я сказала, что люблю В<ячеслава>. Она сказала: ты этого слова и произносить не смеешь, потому что не знаешь, что оно значит. Раньше ты была очень строга в словах, а этот последний год вы с Максом черт знает сколько говорите и все это ложь. Ты тоже говорила, что любишь его; ты всегда омраченная; стоишь с закрытыми глазами и воображаешь, что видишь, всегда поглощена каким-то вихрем своей фантазии, всегда все стихийно, напролом, рассудочна, когда не нужно, и безрассудна, и всегда самоуверенна. Меня и отца, кот<орый> тебя обожает, ты всегда швыряешь для своих прихотей. Твое отношение к Максy было позорно, не было у тебя никогда любви к нему и т. д. Потом она спросила, как В<ячеслав> относится ко мне. Я сказала: он меня любит и Лид<ию> Дим<итриевну>. Я почти ничего не говорила, говорила она. „В вас*

смирения нет перед Богом, ты только себя слушаешь, а не Бога; и он, если думает все вместить, гордый и несмиранный человек; вы боги, конечно, и разобьешь ты их жизнь, свою жизнь и Макса, и нас топчешь". Конечно, речь только о платонической любви» (РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 12).

⁴⁸ РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 9.

⁴⁹ Там же. См. также письма Сабашниковой к Иванову, относящиеся к маю 1907 г., в кн.: *Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. С. 202–203.

⁵⁰ РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 4. Фрагмент письма был опубликован (с неточностями) в примечаниях О. Дешарт в кн.: *Иванов В.* Собр. соч. Т. II. С. 809.

⁵¹ З Цар 3: 16–28.

⁵² РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 5.

⁵³ Подразумеваются как приведенное выше недатированное письмо Волошина, так и письма к Иванову М. Сабашниковой.

⁵⁴ В письме к Волошину от 12 мая Зиновьева-Аннибал сообщала, что Г. Чулков просит у него «стихов для альманаха „Белые ночи“ <...> Можно ли напечатать» „Седой кристалл“ и „Как млечный путь“» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 587). Указанные стихотворения — «Луна» («Седой кристалл магических заклятий...»); первоначальная редакция магистрала венка сонетов «Lunaria») и «Как Млечный Путь, любовь твоя...» — были опубликованы в «петербургском альманахе» «Белые ночи» (С. 193–194). См.: *Волошин М.* Собр. соч. Т. 1. С. 406–407, 473.

⁵⁵ ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 5. Ед. хр. 76. Переписка между Зиновьевой-Аннибал и Сабашниковой, относящаяся к этому периоду, частично опубликована в кн.: *Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. С. 208–218.

⁵⁶ РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 9.

⁵⁷ Там же. Ед. хр. 4. Отправлено из Отуз 18 августа, получено в Загорье 20 августа. Фрагмент из письма был опубликован (с неточностями) в примечаниях О. Дешарт в кн.: *Иванов В.* Собр. соч. Т. II. С. 808–809.

⁵⁸ Еси — ЕІ, надпись на дверях храма Аполлона в Дельфах. Статья Вяч. Иванова «Ты еси» была опубликована в «Золотом Руне» в 1907 г. (№ 7/9).

⁵⁹ М. М. Замятина (1862–1919) — ближайшая подруга Зиновьевой-Аннибал, воспитательница ее детей; Вера Константиновна Шварсалон (1890–1920) и Константин Константинович Шварсалон (1892–1917 или 1918?) — дети Зиновьевой-Аннибал от первого брака; Лидия Вячеславовна Иванова (1896–1985) — дочь Иванова и Зиновьевой-Аннибал, впоследствии композитор.

⁶⁰ РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 4.

Г. А. Левинтон

Из комментариев к прозе Мандельштама (8)¹

Трудно выбрать адекватную тему для поздравления Николая Всеволодовича Котрелёва, слишком широк выбор возможностей и ассоциаций: от Данте до Пятницкого, от Марко Поло до Вяч. Иванова. Вспоминаются и фольклорные речения, вынесенные им когда-то из заводского опыта (например, содержавшие его собственное имя), и его рассуждения об итальянском кино или о переводах Мандельштама... Но тут на первый план выступает лист смородины, который он скатал между ладоней в трубочку и вставил в бутылку летом 1974 года... Так что автору остается выбрать тему, исходя из своего репертуара, а не юбиляра, но сохраняя надежду на то, что и она будет небезынтересна.

(1) «А потом кавалергарды слетятся на отпеванье в костел Гваренги. Золотые птички-стервятники расклюют римско-католическую восковую певунью.

Как высоко ее положили! Разве это смерть? Смерть и пикнуть не смеет в присутствии дипломатического корпуса.

— Мы ее плюмажами, жандармами, Моцартом!» («Египетская марка»)²

Сочетание «офицерской темы» с «похоронной» кажется воплощенным в слове «плюмажами», плюмажи представляют собой принадлежность и офицерской формы, и похоронной процессии³, ср. здесь же в «Египетской марке»: «Не Анатоля Франса хороним в *траусовом* катафалке, высоким, как тополь»⁴ (см. ниже).

«Офицерская» тема находит соответствия, во-первых, в самой «Египетской марке» — в синхронном срезе 1917 года — в теме *ротмистра* Кржи-

жановского и его «офицерского вздора» — неоднократно прокомментированная фраза:

(2) «Ротмистр Кржижановский выходил пить водку в Любани и в Бологом, приговаривая при этом — суаре-муаре-пуаре или невесть какой *офицерский вздор*»⁵. Другой связанный с ним пример будет приведен ниже.

Во-вторых, параллели находятся в «Шуме времени» (срез 1890-х годов):

(3) «Я бредил *конногвардейскими* латами и римскими шлемами *кавалергардов*, серебряными трубами Преображенского оркестра, и после майского парада любимым моим удовольствием был *конногвардейский* полковой праздник на Благовещенье» («Шум времени: Ребяческий империализм»)»⁶.

Отметим сразу, что в такой же пропорции, как в «Египетской марке» *кавалергарды* и *офицерский вздор*, этот пассаж соотносится внутри «Шума времени» с:

(4) «Да какое мне дело до *гвардейских* праздников, однообразной красоты пехотных ратей и коней, до батальонов с каменными лицами, текущих гулким шагом по седой от гранита и мрамора Миллионной» («Шум времени: Бунты и французенки»)»⁷.

Первое, что следует отметить в выписке (3), это этимологическую игру. Реальные названия полков *кавалергарды* и *конногвардейцы* представляют собой «взаимопереводные» слова — вернее, только части слов, т. к. корень *гвард-* имеется в обоих (см. ниже). Близкая билингвическая игра на том же корне встречается у Вас. Комаровского: «конница ковала < cavallo > коней»⁸. Хрестоматийная цитата из «Медного всадника» в (4) как будто акцентирует тему *кавалера/конника* «всадника»⁹.

Это «русское», «переводное» соответствие кавалергардам 1859 г.¹⁰ появляется в «Египетской марке» также в связи с ротмистром Кржижановским (1917 год):

(5) «На углу Вознесенского мелькнул сам ротмистр Кржижановский с нафабранными усами. Он был в солдатской шинели, но при шашке и развязно шептал своей даме *конногвардейские нежности*»¹¹.

Конногвардейские нежности кажутся почти синонимичными *офицерскому вздору* (или, скажем, *казарменным анекдотам*). Однако здесь игра на военных терминах, видимо, переключается в топонимический код: Вознесенский проспект¹² притягивает к себе близко лежащий Конногвардейский бульвар¹³.

Общий элемент в (1) и (3), также имеющий отношение к топонимии, — определение *римский*: «римскими шлемами кавалергардов» и «римско-католическую <...> певунью», которую «расклюют» те же кавалергарды — «птички-стервятники». Связь *птичек* (ворон и воробушка) с похоронами

и похоронным этикетом мы находим в «Египетской марке» в эпизоде, связанном с парком Мон-Репо¹⁴. *Римские шлемы* и птицы, кажется, восходят к раннему политическому стихотворению «Ни триумфа, ни войны!» (1914)¹⁵:

Или римские перуны —
Гнев народа — обманув,
Отдыхает острый клюв
Той ораторской трибуны;

где *острый клюв* семантически и анаграмматически означает «ростры»¹⁶ и, видимо (через Ростральные колонны), включается в число аналогий между Римом и Петербургом, характерных для стихов 1913–1914 гг.¹⁷

Более абстрактный вариант, появившийся в (4): «*гвардейских праздников*» — можно сказать, субстантивируется в позднейших стихах «С миром державным я был лишь ребячески связан»¹⁸ (1930)¹⁹: «Устриц боялся и на *гвардейцев* глядел исподлобья» — здесь мы и находим каламбур, который мне кажется уместным поднести юбиляру, хотя нашел его не я. Гаянэ Ахвердян в новогоднем письме ко мне от 30 декабря 2009 заметила в сочетании на *гвардейцев глядел* итальянский глагол *guardare* ‘смотреть’, ‘глядеть’.

Погребальная тема имеет еще некоторые параллели. Цитировавшееся (хотя и в отрицательной конструкции) упоминание похорон Анатоля Франса²⁰ содержит общий мотив *высоты*:

(6) «Не Анатоля Франса хороним в страусовом катафалке, высоком, как тополь, как разъезжающая ночью пирамида для починки трамвайных столбов».

ср. «Как высоко ее положили!» из выписки (1). Это слово появляется и в «Шуме времени», где похоронные мотивы представляют собой самые ранние воспоминания.

(7) «Мрачные толпы народа на улицах были моим первым сознательным и ярким восприятием. Мне было ровно три года. Год был девяносто четвертый, меня взяли из Павловска в Петербург, собравшись поглядеть на похороны Александра III. На Невском, где-то против Николаевской, сняли комнату в меблированном доме, в четвертом этаже. <...> Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественном пышном, парадном виде. Проходил я раз с няней своей и мамой по улице Мойке мимо шоколадного здания Итальянского посольства. Вдруг — там двери распахнуты и всех свободно впускают, и пахнет оттуда смолой, ладаном и чем-то сладким и приятным. Черный бархат глушил вход и стены, обставленные серебром

и тропическими растениями; *очень высоко лежал* набальзамированный итальянский посланник. Какое мне было дело до всего этого?²¹ Не знаю, но это были сильные и яркие впечатления, и я ими дорожу по сегодняшний день»²².

Ср. в предыдущей главке (то же сочетание *пышности* и *похорон* — так сказать, ротре *funèbre*):

(8) «Мне всегда казалось, что в Петербурге обязательно должно случиться что-нибудь очень пышное и торжественное.

Я был в восторге, когда фонари затянули черным крепом и подвязали черными лентами по случаю похорон наследника»²³.

Прямая связь двух итальянских похорон: Бозио и итальянского посланника — кроме необычайно высокого положения гроба, подчеркнута словами, почти непосредственно соседствующими с «Как высоко ее положили!»: «Смерть и пикнуть не смеет в присутствии *дипломатического корпуса*». При этом начало мемуарного эпизода²⁴ («Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественном пышном, парадном виде») прямо цитирует Некрасова (который, как хорошо известно, писал и о смерти Бозио)²⁵:

Но даже и труд обернется сначала
К Ванюше нарядной своей стороной
Крестьянские дети (1861)²⁶

Посольство в самом деле находилось на Мойке²⁷, но топоним и по существу связан со смертью, будучи последним адресом Пушкина — и это специально обыгрывается в «Египетской марке»:

(9) «Эта перегородка <в доме Мервиса>, оклеенная картинками, представляла собой довольно странный иконостас.

Тут был Пушкин с кривым лицом, в меховой шубе, которого какие-то господа, похожие на факельщиков, выносили из узкой, как караульная будка, кареты и, не обращая внимания на удивленного кучера в митрополичьей шапке, собирались швырнуть в подъезд»²⁸.

На скрещении двух названных тем можно высказать предположение, хотя, конечно, довольно произвольное, о возможном историческом источнике (это был бы уже пласт XVIII века), мотивирующем появление кавалергардов в сцене похорон; синхронно (для пласта 1859 г.) они выступают как представители света, театральной публики, как яркие пятна «образной» (в смысле Б. И. Ярхо) картины (ср. *латы, римские шлемы и плюмажи*), исторически же они могут восходить к Завещанию Екатерины II: «Носить гроб кавалергардам, а не иному кому»²⁹.

¹ См. предыдущие заметки: *Левинтон Г. А.* Отголоски детских игр (Мандельштам и Аделаида Герцык) // Сб. в честь С. М. Лойтер. Петрозаводск (в печати). Из комментариев к прозе Мандельштама. 1–7 // Топоровские чтения I–IV (2006–2009). Избранное. М., 2010. С. 236–254.

² *Мандельштам О. Э.* Полное собрание сочинений и писем: В 3 т. М.: Прогресс-Плеяда, 2010. Т. 2: Проза. С. 272–273.

³ Ср. например: «На слепых лошадях колыхались плюмажики, // Старый попик любезно кадиллом махал... // Так весной в бутафорском смешном экипажике // Вы поехали к Богу на бал». (Вертинский А. Бал Господень («В пыльный маленький город», 1917) // <http://avertinsky.narod.ru/info/lyric/014.htm>

⁴ Там же. Т. 2. С. 281.

⁵ Там же. Т. 2. С. 304.

⁶ Там же. Т. 2. С. 211.

⁷ Там же. Т. 2. С. 213.

⁸ *Комаровский В.* Стихотворения. Проза. Письма. Материалы к биографии. СПб., 2000. С. 111. Об этом каламбуре: *Левинтон Г. А.* Еще раз о литературной шутке (собрание эпиграфов) // Шиповник. Историко-филологический сборник к 60-летию Р. Д. Тименчика. М.: Водолей, 2005. С. 235.

⁹ Об этой реминисценции (и переключке с главой «Книжный шкаф», скрепленной мотивом *батальонов*) см.: *Осват А. Л., Тименчик Р. Д.* «Печальну повесть сохранить...»: Об авторе и читателях «Медного всадника». М.: Книга, 1987, с. 298–299.

¹⁰ Дату смерти Бозио заимствую из комментария: *Мандельштам О.* Египетская Марка. О. Лекманов, М. Котова, О. Репина, А. Сергеева-Клятис, С. Синельников. Пояснения для читателя (вывешено в предварительной версии http://community.livejournal.com/eg_marka/ — цит. по текстовой копии, любезно предоставленной мне О. А. Лекмановым).

¹¹ *Мандельштам О. Э.* Полное собрание сочинений, Т. 2. С. 282.

¹² Как название не только церкви, но и праздника, этот микротопоним, несомненно, связан с «конногвардейск[им] полков[ым] праздник[ом] на Благовещенье», но смысл этой переключки от меня ускользает.

¹³ Сходный механизм — возвращение топонима в апеллатив — я отмечал на примере Бродского, в ст. «Похороны Бобо» слова: «при морозе-ломоносе» рядом с: «в неповторимой перспективе Росси» (Соч. Иосифа Бродского. Т. II. СПб., 1992. С. 308) мотивированы соседством ул. Зодчего Росси и пл. Ломоносова (см.: *Левинтон Г. А.* Три разговора: о любви поэзии и (анти)государственной службе. // Россия / Russia. Нов. сер., вып. 1 [9]. М.; Венеция: ОГИ, 1998. С. 250–251).

¹⁴ *Мандельштам О. Э.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 294. Об этом эпизоде см. в одной из последующих заметок.

¹⁵ *Мандельштам О. Э.* Полное собрание сочинений и писем Т. 1: Стихотворения. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 74.

¹⁶ «Анаграмма слова *rostrum*, фонетически зашифрованного в *острый*, а семантически в *клюв*». (*Левинтон Г. А.* Романия и романистика у Мандельштама. // *Res philologica*–2. Сб. ст. памяти акад. Г. В. Степанова. К 80-летию со дня рождения (1919–1989). СПб, 2000. С. 209, примеч. 21).

¹⁷ Другой случай в том же стихотворении: *Рима ржавые ключи* – «редкий для Мандельштама пример чисто негативного значения „ржавчины“, в отличие от примеров из сферы античности или ее современных отголосков: „благородные ржавые гряд-

ки”, „римской ржавчиной окрасилась долина“. Другой такой пример и ближайший аналог находим в „Адмиралтействе“: „Как плуги брошены *ржавеют якоря*“. Эта перекличка не только отражает тему „Рим – Петербург“, но и цитирует один из вариантов герба Петербурга, где скрецивались ключ и якорь» (Там же, С. 210).

¹⁸ *Мандельштам О. Э.* Полное собрание сочинений Т. 1. С. 153–154. Первая строка, видимо, может рассматриваться как парафраз названия главы «Ребяческий империализм» (где *держава* соответствует *Империи*).

¹⁹ *Гвардеец* встречается, кроме него, только годом раньше в стихе «Бывший гвардеец, замыв оплеуху». («Дикая кошка — армянская речь» // *Мандельштам О. Э.* Полное собрание сочинений Т. 1. С. 151).

²⁰ Об этом мотиве ср. также *Лекманов О. А.* О французском слове «Египетской марки» Мандельштама // XVIII Лотмановские чтения. Тезисы докладов международной конференции. Москва РГГУ 16–18 декабря 2010. М., 2010. С. 67–68.

²¹ Лейтмотив обеих цитируемых глав «Шума времени».

²² *Мандельштам О. Э.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 212.

²³ *Мандельштам О. Э.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 210.

²⁴ Юбиляр однажды на моей памяти употребил в аналогичном случае термин «зачало» (в публичном и вполне секулярном выступлении).

²⁵ Строфы о Бозио из «О погоде» цитируются в связи с «Египетской маркой», начиная со статьи Л. Я. Гинзбург, впервые напечатанной в 1972 году (*Гинзбург Л. Я.* Поэтика Осипа Мандельштама. // Изв. АН СССР. СЛЯ. т. XXXI. 1972, Вып. 4, С. 324).

²⁶ О некрасовском слове в мемуарной прозе Мандельштама см.: *Левинтон Г. А.* Из комментариев к прозе Мандельштама. 1–7. С. 237. Примеч. 8.

²⁷ См. комм. А. Г. Меца: *Мандельштам О. Э.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 633.

²⁸ *Мандельштам О. Э.* Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 274.

²⁹ Памятные записки А. В. Храповицкого. М., 1862. С. 265 (запись 28 апреля 1792 г.). Цит. по: *Проскурина В.* Мифы империи. Литература и власть в эпоху Екатерины II. М.: НЛО, 2006. С. 313.

О. А. Лекманов

Из комментария к «Чистому понедельнику» И. Бунина: параллели с Александром Блоком¹

...она была загадочна, непонятна для меня,
странны были и наши с ней отношения.

Иван Бунин. Чистый понедельник

И сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого бога страстно верил,
Какую девушку любил.

Александр Блок. Русь

Как известно, Иван Алексеевич Бунин после разрыва с символистским «Скорпионом» не жаловал русских модернистов. Достается им и в бунинском рассказе «Чистый понедельник» (1944).

Лекция Андрея Белого в Художественном кружке вызывает здесь хохот жизнерадостного героя², а роман Валерия Брюсова — брезгливую отповедь героини, которая до этого «все книги» «всегда прочитывала»:

«— Вы дочитали „Огненного ангела“?»

— Досмотрела. До того высокопарно, что совестно читать».

Тем интереснее и неожиданнее убедиться в том, что в «Чистом понедельнике» с легкостью обнаруживаются отсылки к стихам русских модернистов, или (если быть более осторожными и менее категоричными) — значимые параллели к этим стихам.

Первую из них встречаем в зачине бунинского рассказа при описании движения вечерних московских трамваев:

«...в сумраке уже видно было, как с шипением сыпались с проводов зеленые звезды...»

Образ «зеленой звезды» — ключевой в стихотворении Александра Блока 1908 года [здесь и далее в цитатах курсив везде мой. — *О. Л.*]:

Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету.
И ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну,
И стало дивно на мосту
Смотреть в такую глубину,
В такую высоту.

Свирель поет: взошла звезда,
Пастух, гони стада...
И под мостом поет вода:
Смотри, какие быстрины,
Оставь заботы навсегда,
Такой прозрачной глубины
Не видел никогда...
Такой глубокой тишины
Не слышал никогда...

Смотри, какие быстрины,
Когда ты видел эти сны?..³

На второй странице рассказа героиня предается размышлениям вслух:

«Непонятно, почему, — говорила она в раздумье, глядя мой бобровый воротник, — но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимнего воздуха, с которымходишь со двора в комнату...»

Тут пушкинский «бобровый воротник», как кажется, соседствует с отсылкой к опять же блоковскому и знаменитому:

Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов...

Несколькими абзацами ниже герой рассказа как бы мимоходом сообщает, что в «комнате» героини «пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом».

Отзвуки блоковских стихов периода «Снежной маски» можно уловить еще в двух фрагментах «Чистого понедельника»:

«С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тесно сижу с ней на летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мехе шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана...»

И:

«Дорогой молчала, клоня голову от светлой лунной метели, летевшей навстречу».

Ср., например, в стихотворении Блока «На зов метелей» (1907):

Белоснежней не было зим
И перистей тучек.
Ты дала мне в руки
Серебряный ключик,
И владел я сердцем твоим.
Тихо всходил над городом дым,
Умирали звуки.

Белые встали сугробы,
И мраки открылись.
Выплыл серебряный серп.
И мы уносились,
Обреченные оба
На ущерб.

Ветер взвихрил снега.
Закатился серп луны.
И пронзительным взором
Ты измерила даль страны,
Откуда звучали рога
Снежным, метельным хором.

И мгла заломила руки,
Заломила руки в высь.
Ты опустила очи,
И мы понеслись.

И навстречу вставали новые звуки:
Летели снега,
Звенели рога
Налетающей ночи.

А на последней странице бунинского рассказа изображаются «раскрытые двери небольшой освещенной церкви», из дверей которой «горестно и умиленно неслось пение девичьего хора». Не отсылка ли это к зачину блоковского стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...»?

Что дает обнаружение «блоковского» слоя в «Чистом понедельнике» для понимания сокровенного замысла бунинского рассказа? Как минимум, дополнительные оттенки к «западной», «модернистской» составляющей образа героини, посещавшей лекции Андрея Белого, увлекавшейся пьесами и романами Гофманшталя, Шницлера, Пшибышевского...⁴ Как максимум — еще один ключ к «Чистому понедельнику». Ведь важнейшее для этого рассказа тайное соответствие «Женщина — Россия» открыто заявлено в целом ряде поэтических текстов Александра Блока, всю жизнь завороченно искавшего глазами ее «мгновенный *взор из-под платка*». Вот и у Бунина в финале рассказа герой «почему-то очень внимательно» *всма-тривался* в спутниц великой княгини Елизаветы Федоровны, выходящих из Марфо-Мариинской обители...

«А потом одна из идущих посередине вдруг подняла голову, *крытую белым платом*, загородив свечку рукой, *устремилась взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня...* Что она могла видеть в темноте, как могла почувствовать мое присутствие?»

Напомним, что в «Чистом понедельнике» в речи героини возникают два героя Куликовской битвы — Пересвет и Ослябя. Только вот у Бунина, в отличие от Блока, героиня (Россия) решительно отводит матримониальные притязания героя:

— Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь...

¹ Продолжение цикла, начатого нашей работой: Из комментария к рассказу И. А. Бунина «Чистый понедельник» // Русская литература конца XIX – начала XX века в зеркале современной науки. В честь В. А. Келдыша. М., 2008. С. 292–304. Приношу благодарность всем участникам моего спецсеминара в РГГУ «Медленное чтение», где рассказ Бунина разбирался.

² Скорее всего, сам Бунин на лекциях Белого не присутствовал, а взял свое описание из очерка Владислава Ходасевича «Московский литературно-художественный

кружок»: «Сперва нелегально, потом на правах гостя, потом в качестве действительного члена побывал я на бесчисленном множестве вторников и чьих только докладов не слышал. Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Маковский, Бердяев, Измайлов — не припомнишь и не перечислишь всех, кто всходил на эстраду Кружка. В Кружке происходили постоянные бои молодой литературы со старой. Андрей Белый потрясал его стены истерическими филиппиками, во время которых иной раз дирекция приказывала экстренно опустить занавес». Как известно, в период, описываемый в рассказе Бунина, Андрей Белый жил за границей, а, значит, в Москве отсутствовал.

³ Подробнее об этом образе у Блока и его генеалогии см.: *Тарановский К. Ф.* Зеленые звезды и поющие воды в лирике Блока // *Тарановский К. Ф.* О поэтике и поэзии. М., 2000. С. 330–342.

⁴ Подробнее о значении этих писателей для русского модернизма см.: *Котрелёв Н. В.* Переводная литература в деятельности издательства «Скорпион» // Социально-культурные функции книгоиздательской деятельности. Сборник научных трудов. М., 1985.

Г. А. Лесскис*
«Венгрия 56!»
(Глава из рукописи мемуарной книги)
Публикация В. Г. Лесскиса

Временами я увлекался каким-нибудь одним поэтом и запойно, днями и неделями читал его стихи — так было с Брюсовым, Маяковским, Баратынским, Блоком, Тютчевым, Державиным, Батюшковым... Последний, самый запойный, мандельштамовский, продолжался около пяти лет.

Начался он неожиданно (как, в сущности, начинается и все на свете, приятное и неприятное). — Просто как-то в Ленинке Гриша Померанц прочел мне в курилке три стихотворения этого поэта (из которого я читал только ранние стихи), в том числе «Шерри-бренди». Я как будто даже пропустил мимо ушей эти стихи. Но к вечеру синкопированный ритм всплыл в памяти и не отвязывался. Раздражало то, что ритм отсчитывался полупустым. Всплывали отдельные слова, а не фразы, пробелы заполнялись бессмысленными та-та-та́-та-та//та-та́-та//та-та-та́. Ритм был бесплотным, неподобным. На второй или третий день я не выдержал, позвонил Грише. Хотя до того ни разу у него не был. Гриша, в те годы не откладывавший встречи на два-три месяца, как теперь, тут же предложил приехать к нему. И я поехал, хотя был уже поздний вечер, ночь даже. Так началось мое подлинное знакомство с Гришей, знакомство с миром новых людей, новых идей и новой поэзии, Мандельштама, Цветаевой, Пастернака. Это была поэ-

* Георгий Александрович Лесскис (1917–2000) — лингвист, литературовед, автор монографий о Пушкине, Толстом, М. Булгакове, один из зачинателей московско-тартуской школы семиотики. В жизни сегодняшнего юбиляра сыграл весьма важную роль.

зия, передававшая транстрагизм поколения, которому открылась несостоятельность всех вер и всех идей. Днями, неделями, месяцами я повторял:

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой...

Так в 1958 году я открыл для себя поэтическое выражение времени, найденное еще в году 1931-м. В грохоте «пайковых» и «пенковых» «Урожайных маршей» Мандельштам услышал подлинный безумный ритм эпохи. И через 27 лет эпоха была все та же, ритм ее — все тот же. Все та же «шестипалая неправда» искушала и иссушала людей.

Когда теперь, спустя почти четверть века, я вспоминаю тот период, то кажется, что в 1958 г. время ползло улиткой — так был насыщен для меня тот год новыми событиями, делами и лицами, мне как будто открылся новый мир, в котором «все впечатленья бытия» приобретали для меня, как и в детские годы, огромный смысл и прелесть новизны, так что жизнь снова оказывалась плотно набитой неожиданными, непривычными деталями, и время замедлялось.

В тот достопамятный вечер мне открылся не только мир новой поэзии, поэзии XX века, но и мир новых людей, советских людей, думающих, рассуждающих, разговаривающих и даже поступающих не по канонам и нормам социалистического быта и нравов, а по каким-то своим, мне глубоко симпатичным, человеческим нормам. Гриша жил тогда в моем старом Зачатьевском переулке, в разваливающемся двухэтажном доме со скрипучей деревянной лестницей, вот-вот готовой, казалось, обрушиться, на втором этаже, в коммунальной квартире, в маленькой комнатенке в одно окно. Комната была так мала, что просто понять нельзя, как могла она вмещать порой 10, 15 и даже 20 человек, которые, на моей памяти, в течение целого года с утра до ночи со страстностью фанатиков-неофитов обсуждали в ней все проблемы внутренней и международной жизни нашей страны, развития материальной и духовной истории человечества, искусства и нравственности, бытия и небытия.

В тот первый достопамятный вечер, когда я пришел за стихами Мандельштама, там было человек 8-10; из них я помню теперь, кроме Иры и Гриши, Ириных сыновей Володю и Ледика, студента-литовца, приятеля Володи, и Наташу Трауберг, о которой мне потихоньку сообщили, что она увлекается мистикой. Такая рекомендация в прежние времена для меня и для людей моего круга была бы равносильна рекомендации человека, за-

нятого поисками философского камня, вечного двигателя или астрологией: я прожил всю предшествующую жизнь в том круге, где свято верили в школьную физику и в таблицу умножения, а все необычное, сверхъестественное отвергали решительно и совершенно; даже те верующие, которых я знал в детстве, по-моему, едва ли допускали в реальной, земной жизни обнаружение сил, не предусмотренных школьной программой; единственное исключение делалось для примет, но и о тех даже верившие в них говорили с усмешкой, как о своей слабости, извинительной, но отнюдь не опровергающей фундаментальное знание школьной физики. Я, конечно, знал об удивительной доверчивости Пушкина к приметам и даже о том, что они удивительным образом в его жизни сбывались, вероятно, знал и об увлечении Гёте мистикой и астрологией и других подобных «странностях» в жизни некоторых больших и совсем неглупых людей, но никакого значения такого рода фактам не придавал: разумный и ясный XIX век лег между моим временем и временами, когда такого рода явления считались возможными. Так что рекомендация Наташи Трауберг как женщины, глубоко интересующейся мистикой, произвело на меня чисто комическое впечатление; однако в последующие годы с такого рода интересами мне приходилось и приходится встречаться все чаще, и хотя сам я не получил интереса к явлениям «сверхъестественным», я не могу решительно противопоставить «законные» интересы к ним Гёте якобы «незаконным» интересам к ним современных людей:

Повсюду вечность шевелится,
И всё к небытию стремится,
Чтоб бытию причастным быть.

Когда я вошел в комнату, по чашкам и консервным банкам разлили остатки вина и провозгласили тост: «Венгрия 1956!» — Это было так невероятно: чтобы люди, много людей, вслух, произносили такие крамольные слова, которые мы слевой едва осмеливались говорить друг другу на ухо, что я сразу как будто вернулся наконец в свою родную семью, после того как долгие годы был с нею разлучен; школьное, детское доверие к людям, свобода и непринужденность в выражении чувств и мыслей, каких не было в течение всей моей предшествующей взрослой жизни, вдруг вернулись ко мне в этот удивительный вечер. Такого внезапного освобождения, единства и близости с почти незнакомыми мне людьми я не испытывал до того никогда.

В этот вечер я получил не только стихи Мандельштама, за которыми я пришел, но и стихи Цветаевой, Пастернака, Волошина — словом, мне впер-

вые открылся мир потаенной, запрещенной, украденной ограбившими меня и мое поколение большевиками русской поэзии XX века, а также мир советской каторжной песни: узнав, что я не знаю не только Мандельштама и Цветаевой, но даже и «Воркуты», все потребовали, чтобы Ира ее немедленно исполнила, и Ира исполнила и «Воркуту», и весь каторжный репертуар тех лет...

Я шел домой по своим привычным, родным местам, но шел без суеверного страха — тот мир навсегда ушел в *plusquamperfectum*, а с ним вместе уходил в прошлое мой привычный страх перед свободным выражением своих чувств и мыслей, страх перед каждым новым человеком, который воспитала во мне наша социалистическая жизнь. Я был переполнен ощущением нового мира, к которому я только что приобрелся и который, я чувствовал это, сразу, внезапно стал моим миром.

Действительно, с того вечера не проходило двух-трех дней, чтобы мы не были у Гриши или Гриша с Ирой — у нас.

Комнатка в Зачатьевском переулке была в те годы своего рода клубом либералистов, как я называл тогда этих людей, которых Гриша называл «нконформистами», а позже все стали называть «инакомыслящими» или «диссидентами». Комната была пуста, мала и гола, как, вероятно, ни одна самая бедная и трущобная дыра из описанных Достоевским, да и сам Гриша едва ли был богаче какого-нибудь Макара Деушкина или Раскольниковца. Отца Гришиного я никогда не знал и не знаю, когда и куда он исчез из его жизни, а мать была провинциальной актрисой и в Москве не появлялась годами. Вернувшись из лагеря, Гриша поселился в пустом «отчем доме», в котором, кроме крыс и мышей, не оставалось ему никакого наследства. Хотя со времени возвращения с каторги прошло уже около четырех лет, Гриша все еще не мог устроиться на постоянную работу — причиной тому было, вероятно, то, что он, в отличие от большинства вернувшихся, не захотел восстанавливаться в партии, и это делало его социальное положение почти нелегальным, он был как бы на положении «лишенца» (и даже хуже — на положении «лишенца» добровольного, т. е. сознательного и активного протестанта!) — все сколько-нибудь подходящие и сносные работы были для него закрыты, даже его знакомые и однокашники боялись рекомендовать его на работу, и он перебивался случайными и мизерными заработками. Естественно, что никакого «хозяйства», кроме нескольких предметов из кухонной и чайной посуды, у Гриши с Ирой не было, так что пустые консервные банки и куски бумаги заменяли для большинства гостей чашки и тарелки, нож был один на весь стол, вилок и ложек не доставало.

Но эта совершенная нищета нисколько не смущала ни их самих, ни их многочисленных гостей, которые и не были гостями в общепринятом обы-

вательском смысле — хозяева за ними не ухаживали (их чаще всего и не приглашали), не уговаривали что-нибудь «скушать» или «выпить» (гости обычно сами приносили с собой кто выпивку, кто закуску, а кто при деньгах — и то и другое), не соглашались ни с кем из вежливости или любезности; большую часть гостей составляла молодежь или наши сверстники, из «стариков» бывал один Леонид Ефимович [Пинский]. Никакого «комплекса», возникающего на почве бедности и нужды, у них не было, напротив — они прямо-таки поражали меня оптимизмом, уверенностью в будущем — не в своем личном будущем, не в будущих доходах, устроенности и благополучии, которых ждать, очевидно, не приходилось, а в будущем духовном, так сказать, и не столько даже в своем, а в будущем общем, — они жили беззаботно, не боясь ни стукачей, ни нового ареста, как будто советская власть уже утратила всю свою власть и ужас, как будто не за горами было ее полное исчезновение, — и таково было, по-видимому, настроение большинства окружавших их людей. В их круге я оказался едва ли не единственным пессимистом, не верившим в это скорое исчезновение советской власти. Леонид Ефимович Пинский, подняв глаза к потолку, что он обычно делал перед тем, как выдать какой-нибудь парадокс, задумчиво говорил, что он боится не чрезмерно долгого ожидания вождя-деленного момента, а чрезмерной поспешности несомненных и близких перемен, избыточного *iraе* (гнева, ожесточения), порожденного преступлениями советской власти: «*Ігае* и так много — вот здесь сидят две Иры», — каламбурил он, имея в виду Иру Бунину и Иру Муравьеву. Алик Штротас, впоследствии уехавший в Англию, так и не дождавшись свободы у себя на родине (он был из Литвы), убеждал меня, что в XX веке длительный застой, развал экономики, изоляция — вещи невозможные по чисто экономическим и техническим причинам, и т. п.

Это была своего рода «Молодая Россия», вроде «Молодой Германии», «Молодой Италии» и т. п. движений европейской интеллигенции прошлого века, исполненная надежд, веры в свою силу, мужество, честность, а также неосновательной веры в слабость и дряхлость противостоящего им мира коммунистического насилия и рабов.

И центром, душой всего этого молодого движения была удивительная женщина, уже пожилая (ей было тогда 38 лет) и очень больная (у нее был туберкулез), — Ира Муравьева.

Даже теперь, спустя двадцать лет после ее смерти, мне случается встречать людей, которые при имени Иры Муравьевой распускаются в улыбку, оживляются и светлеют, как при воспоминании о какой-то большой радости, о молодости и первой любви, и имя это оказывается своего рода паролем, создает между незнакомыми людьми доверие и близость.

Как это обычно бывает у людей, играющих в каком-то кругу подобную объединяющую роль, у Иры Муравьевой не было никаких иных больших талантов в какой-нибудь специальной области, кроме этого таланта внушать людям симпатию, доверие и в силу этого объединять самых различных людей, которые без нее, сами по себе, может быть, никогда бы не сблизились. Она писала, но не очень много и интенсивно (после ее смерти осталась только одна законченная вещь, видимо биографического характера, сказочно-романтическая, милая, но значительная и интересная скорее «для немногих», чем «для потомства»). Она имела чутье и вкус в литературе, но успела написать только одну книжку об Андерсене, которая вышла чуть ли не в день ее смерти; книжка эта, теперь ставшая библиографической редкостью, также имеет интерес не столько литературоведческий, сколько личный, для нас, ее друзей; ее суждения были всегда глубоко личны и категоричны, интересны более для понимания ее характера, чем самого предмета суждения. Так, при первой нашей встрече, еще до ареста Гриши и Зори, в вестибюле Ленинской библиотеки, Ира выдала мне в течение какого-нибудь получаса ошеломившую меня обойму таких суждений: «Первый поэт России — Александр Блок, второе место — вакантное, а на третьем — Александр Пушкин»; «Роман Чернышевского — замечательная книга о русской свободной женщине» и т. п.

Но страннее всего то, что эти странные и поспешные, безапелляционные и неприемлемые суждениянисколько меня не шокировали, хотя ни с одним я и не мог согласиться, — мне хотелось продолжать этот нелепый разговор, продолжать знакомство с этой некрасивой, но удивительно симпатичной женщиной, тогда еще молодой, но совсем не кокетливой, явно равнодушной к туалетам, косметике, вообще даже к своей внешности, такой азартной, одухотворенной, такой, при всем своем азарте, внимательной к словам и мнениям собеседника, такой благорасположенной и открытой. Вскоре Зорю арестовали, и Ира исчезла из моего поля зрения...

Теперь она снова появилась, теперь уже в качестве Гришиной жены; впрочем, то, что она была чья-то жена, было не так уж важно, — она была духовно независима, ее взгляды и вкусы могли совпадать или не совпадать со взглядами и вкусами ее мужа, но никогда им не определялись, а образ жизни их с Гришей, пожалуй, почти целиком определялся Ириной безалаберностью, равнодушием к комфорту, удобствам и даже к здоровью. У нее была чахотка, но в комнате у них всегда было накурено, как в курилке, и пример подавала сама Ира, которая, несмотря на трогательные Гришины уговоры, продолжала курить, как и пить наравне с нами (она не любила кислого сухого вина и всегда добавляла в свою чашку или рюмку сахарного песка). Хотя из гостей Грише почти всегда удавалось увести ее до двенадцати (обычно Гриша около полуночи вставал и говорил: «Император встает из гроба...» —

и Ира безропотно покорялась), но у них дома гости засиживались до глухой ночи, и часто мы с Ирой возвращались от них пешком, после закрытия метро.

У них всегда толкся и толпился народ, всех возрастов и профессий, здесь бывали будущие известные математики, филологи, поэты, диссиденты, причем каждый их знакомый мог приводить с собой и приводил кого он хотел — никто не спрашивал, кого он привел, насколько надежен этот новый человек, не стукач ли он (это было так странно и страшно для меня на первых порах, привыкшего после 1938 г. и к собственной, и к Левиной — двойной — осторожности, но потом я привык и поступал точно так же, ибо без этого доверия, безусловно опасного, нет и не может быть подлинной духовной свободы, полного духовного общения, ибо боязнь людей — это то, чего от нас ждет и требует тайная полиция и социалистическое начальство, воспитывающее в нас «здоровое недоверие к людям»), — знакомство с их знакомыми рассматривалось, очевидно, хозяевами и всеми их гостями как основание вполне достаточное, чтобы гарантировать безусловную политическую и всякую другую порядочность новоприбывшего. Разумеется, Ира и Гриша знали, чем они рискуют, но они шли на этот риск и были правы: из их круга действительно не вышло ни одного предателя, к ним действительно никто не привел ни одного стукача, хотя, видимо, о существовании этого дома, о характере ведущихся там разговоров, об умонастроении собиравшихся там людей тайная полиция все же была осведомлена, так как раз или два там устраивали «проверку документов», а ко мне на работу, к моим соседям по квартире в тот период стали приходиться полицейские агенты, как приходили они и к некоторым другим посетителям квартиры в Зачатьевском переулке.

И постоянно в этой комнатке было много молодежи, студентов и старшеклассников (младший сын Иры, Ледик, еще учился в школе), вносящих во все споры самую большую страстность, приносящих самые свежие новости и анекдоты. Всегда здесь читались стихи — чаще всего Мандельштама и Цветаевой (Ира как-то прочла мне целиком «Крысолова», изданного у нас впервые много лет спустя и с большими купюрами); Володя читал свои переводы Рильке, Томаш Венцлова — свои литовские стихи... Здесь больше пили, чем ели (помню, как-то я дал 250 рублей — старых рублей — Володе и его друзьям, чтобы они купили что-нибудь выпить и закусить, Володя принес на 240 рублей выпивки и на десятку — хлеба и кислой капусты), но больше, чем пили, здесь говорили и спорили.

Посреди этих увлекательных споров и предположений о сроках падения советской власти, способах ее падения и замены (когда я говорил Грише, что в настоящее время у советской власти, точнее — у коммунистической доктрины нет реальной альтернативы, что мы знаем, чего мы не хотим,

но не знаем, чего мы хотим, чем можно было бы заменить коммунистическое устройство, что свобода — это понятие скорее негативное, означающее отсутствие деспотизма, чем позитивное, т. е. составляющее положительную программу устройства общества, Гриша беспечно возражал мне, что «нам стоит с тобой полчаса посидеть, чтобы сформулировать положительную программу», — не знаю, рождалось ли это от свойственной Грише легкомысленной самоуверенности или от тогдашнего представления Гриши, что социализм — вещь безусловно хорошая, а у нас нет никакого социализма, что Сталин нас обманул и нынешние наши правители этот обман поддерживают, т. е. от непонимания Гришей реальной сущности этого мифологического учения, его характера общественной западни), среди запрещенных стихов старых поэтов и еще не разрешенных стихов поэтов новых, разразилось вдруг «дело Пастернака», гнусное дело, напомнившее о Гумилеве, Мандельштаме, предвещавшее дела Бродского, Синявского. Обреченная, с точки зрения «Молодой России», советская власть «весомо, грубо, зримо» напоминала нам, что она пока что существует.

В эти дни бессильного гнева и возмущения человеческой подлостью Ира и Гриша, незнакомые ему, послали Борису Леонидовичу поздравление с Нобелевской премией. — Не знаю, много ли нашлось еще таких людей.

Пастернака под страхом изгнания из России заставили отказаться от Нобелевской премии — человек, которого негодяи, клеветавшие на него ради жирного казенного пайка, обвиняли в «непомерном самомнении» и антинародности, не мог покинуть свою страну, — и те, кто придумал ему такую казнь, хорошо знали, что он поступит именно так, потому что он — не из их породы, потому что слова «народ», «Россия», «русский язык» для него — не пустые звуки, как для них самих, а исполнены понятий, без которых для него теряла смысл сама жизнь.

Я помню тот вечер у Гриши и Иры, когда мы узнали об отказе Пастернака от премии. Молодежь восприняла этот отказ как отречение. Когда Ира попыталась вступить за Бориса Леонидовича, Томаш Венцлова гневно ответил ей стихами самого Пастернака:

А старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез!..

Я пришел к Грише за стихами Мандельштама, и весь тот год, даже годы (до середины 60-х годов) длился для меня мандельштамовский период: я не Мандельштама открывал для себя, а мир открывал в стихах и стихами Ман-

дельштама, передо мной заново прошли двадцатые и тридцатые годы, когда жить было — *«словно спать в гробу»* и некуда было больше бежать; прошла *«буддийская Москва»*, с трамваями «А» и «Б», где *«с дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных»*, по которым *«из густо отработанных кино убитые, как после хлороформа, выходят толпы»*...

Каждые два-три дня я добывал какое-нибудь новое стихотворение, и возникал новый поворот жизни:

Заблудился я в небе, что делать?
Тот, кому оно близко, ответь!..

Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно...

Наступает глухота паучья,
Здесь провал страшнее наших сил...

Так — в непрерывных попойках, каких не было, вероятно, со времени моего возвращения из армии, в опьяняющих спорах и разговорах с новыми друзьями, в занятиях Мандельштамом и структурной лингвистикой проходила вторая половина 1958 года. В таких же занятиях, застольных спорах и знакомствах прошла зима 1959 года. Мы собирались обычно у Гриши или у нас в Старомонетном, и там и тут — страшная теснота и синева табачного дыма; Ира Муравьева диктовала Ледику очередное домашнее сочинение по литературе, а Гриша развивал концепцию «философского плюрализма»; Женя перелистывал мое собрание Мандельштама и утверждал, что писать как Мандельштам мог бы и он, а вот как Пастернак — никто не может; Natalie Трауберг рассуждала о мистике, а мои ребята кричали и визжали, сидя под потолком на фанерной перегородке... таким видится мне то время, которое не только теперь, ретроспективно, но и тогда казалось самым интересным и живым, «настоящим» и вдохновенным из всего, что мы с Ирой до того пережили.

...А потом пришло несчастье — Ира Муравьева легла в больницу и уже не вышла оттуда. Мы все знали, что она тяжело больна, и в то же время постоянно об этом забывали, так как Ира никогда и ни в чем не вела себя как больная, — и казалось, что так может продолжаться всегда. На деле же Ире, видимо, становилось все хуже. Гриша бывал у нас каждый день. Все разговоры были об Ире. Но никто не допускал мысли о катастрофе.

И вдруг 30 октября, поздно ночью, я узнал, что Ира скончалась через несколько часов после операции, так и не придя в сознание.

Это была вторая ненасильственная смерть близкого мне человека моего возраста — за двенадцать лет до того, тоже от чахотки, умерла Броня;

но Броня умирала сравнительно медленно и на наших глазах, до того умер от той же болезни ее брат, от которого она и заразилась; смерть же Иры была полной неожиданностью.

Утром следующего дня мы вчетвером, Гриша, Володя, Ледик и я, принялись за печальные похоронные хлопоты, а на следующий день мы похоронили нашу Иру — и разошлись. Такая полная безобразность была нашей общей ошибкой, предрассудком интеллигентных людей, умом дошедших до понимания суетности всех слов и действий перед лицом смерти и не понявших собственных чувств и сердца, получающих от этих «бессмысленных» слов и действий некое успокоение, — да, *«смысла нет в мольбе»*, можно также считать кощунством поминальное пиршество, соблазн аппетитной закуски и сдерживаемого возбуждения от водки и вина, но просто и молча разойтись от свежей могилы по своим домам и делам — на самом деле кощунство не меньшее по отношению к своей подавляемой, внутрь загоняемой скорби. Естественно близким людям собраться вместе в память о том, кого они только что лишились, естественно живым есть и пить — и почему бы трапезе в этот день общего горя не быть общей, и почему разговор не может быть общим, и почему словам не быть «громкими», если дан нам язык, чтобы сообщать мысли и чувства свои своим ближним!..

В тот день всем хотелось собраться и провести вместе остаток дня в память об Ире, но так как поминалок объявлено не было, то все от могилы разбрелись кто куда — Женя с Кузьмой, я с Гришей и Леонидом Ефимовичем... И только через год мы с Женей собрали Ириных друзей, и с того времени каждый год — вот уже двадцать лет — в этот день мы собираемся — у Жени или у меня, у Володи или у Ледика, чтобы поговорить об Ире. В ту первую годовщину, когда разлили вино и встали, чтобы молча и тихо выпить в ее память, Кузьма, нарушая обычай поминальных тостов, чокнулся со мной и сказал: «За Ирину Игнатьевну надо пить как за живую!» — и я принял его тост. Прошло двадцать лет, наши дети стали старше, чем была Ира в год своей смерти, и многих нет уже из тех, кто хоронил тогда Иру, — одни уехали из России, другие умерли, мы все состарились, но память об этой удивительной женщине по-прежнему объединяет нас всех хотя бы раз в год...

Грустно и сиротливо встретили мы Новый Год: Гриша, Володя с Галей, Коля Котрелёв и мы с Ирой. Коля был школьным приятелем Ледика, оба они тогда казались беспутными, запьянцовскими ребятами, никто не поверил бы в те времена, что один станет серьезным филологом, другой — художником и оба — хранителями лучших традиций московской старины, православия, семейственности. В тот год оба они поступали в университет, Ледик провалился, а Коля, к всеобщему удивлению, поступил.

СПРАВКА ОБ УПОМЯНУТЫХ ИМЕНАХ:

- Гриша Померанц* (в других местах просто Гриша) — Григорий Соломонович Померанц (р.1918), философ, публицист. Учился в ИФЛИ (на разных факультетах) в одни годы с Георгием Александровичем Лескисом (ГАЛ).
- Ира* — Ирина Игнатьевна Муравьева (1920–1959), литературовед и педагог. В описываемые годы жена Григория Соломоновича Померанца.
- Володя* — Владимир Сергеевич Муравьев (1939–2001), переводчик, поэт. Сын Ирины Игнатьевны Муравьевой от первого брака.
- Лёдик* — Леонид Сергеевич Муравьев (1941–1995), художник, реставратор. Сын Ирины Игнатьевны Муравьевой от первого брака. Одноклассник Николая Всеволодовича Котрелёва.
- Наташа Трауберг* — Наталья Леонидовна Трауберг (1928–2009), переводчица.
- Лева* — Лев Антонович Чешко (1916–2000), филолог и педагог, профессор филологического факультета МГУ, один из авторов стандартного учебника русского языка для старших классов средней школы. Близкий друг ГАЛ, с которым учился вместе в ИФЛИ.
- Леонид Ефимович* — Леонид Ефимович Пинский (1906–1981), филолог педагог. Преподавал курс литературы эпохи Возрождения в ИФЛИ в годы, когда там учились ГАЛ, Померанц, Чешко, Мелетинский.
- Ира Бунина* — Ирина Константиновна Бунина (р. 1918), филолог, специалист по истории славянских языков. В описываемые годы жена ГАЛ. Училась в ИФЛИ на одном курсе с ГАЛ, Чешко и др.
- Алик Штротас* — Александр Штротас (1931-1999), юрист, историк, публицист.
- Зоря* — Елеазар Моисеевич Мелетинский (1918-2005), филолог, фольклорист. Учился в ИФЛИ на одном курсе с ГАЛ и др.
- Женя* — Евгений Борисович Федоров (р. 1929), писатель (автор романа «Бунт» и повести «Жареный петух»). Близкий друг ГАЛ. При Сталине сидел в одном лагере с Померанцем и Пинским, поделщик *Кузьмы*.
- Броня* — близкая школьная подруга Елены Владимировны Владимирской (жена Л. А. Чешко, также учившаяся в ИФЛИ). Умерла от чахотки в 1947г.
- Кузьма* — Анатолий Иванович Бахтырев (1928–1968), рабочий, писатель, сборник его рассказов «Эпоха позднего реабилитанса» издан в Израиле в 1973 г.

F. Malcovati

**Vjačeslav Ivanov e Rinaldo Küfferle:
alcune lettere inedite sulla traduzione di «L'Uomo»**

Esiste a Travo (provincia di Piacenza) un importante archivio, da poco venuto alla luce e in fase di catalogazione: quello di Rinaldo Küfferle (Pietroburgo 1903 — Milano 1955), situato nella casa del figlio Riccardo. E' un archivio molto ricco, che dimostra la centralità della figura di Küfferle nella cultura italiana a partire dagli anni Venti fino a metà degli anni Cinquanta (importanti sono i rapporti epistolari, esistenti nell'archivio, con molti rappresentanti del mondo intellettuale italiano, Vincenzo Errante, Enzo Ferrieri, Diego Valeri, G. A. Borgese). Dall'archivio risulta inoltre che Küfferle fu punto di riferimento fondamentale per i maggiori rappresentanti dell'emigrazione russa italiana, parigina e americana: enorme è il carteggio con Anfiteatrov, con cui Küfferle ebbe rapporti quasi paterni, e molto intensi furono gli scambi epistolari con Zajcev, Smelëv, Aldanov. Poeta e prosatore, pubblicista (scriveva elzeviri e articoli sulle principali testate italiane, dal «Corriere della Sera» alla «Gazzetta del Popolo»), traduttore dal russo di autori classici (Puskin, Dostoevskij, Turgenev) e contemporanei (i già citati Smelëv, Aldanov, Anfiteatrov, Zajcev, Bunin): di alcuni di loro divenne (come nel caso di Zajcev, Aldanov, Bunin) sostenitore e agente letterario presso le case editrici con cui era in contatto (altro materiale ricchissimo nell'archivio di Travo).

Un rapporto privilegiato ebbe con Vjačeslav Ivanov, che, al momento del loro primo incontro nel 1931 risiedeva al Collegio Borromeo di Pavia. A partire da quell'incontro, Küfferle si occupò continuamente di Ivanov, fu uno dei

principali divulgatori dell'opera ivanoviana in Italia: scrisse articoli, tenne conferenze, organizzò trasmissioni radiofoniche, tradusse molte poesie, ma soprattutto il poema «L'Uomo», un lavoro complicatissimo, estenuante, durato quasi tre anni, con uno scambio di corrispondenza di enorme interesse¹, parzialmente studiata. Nella loro corrispondenza, a differenza di quelle con altri emigrati russi, i due usarono sempre la lingua italiana.

A proposito del primo incontro esiste un articolo, pubblicato sul 'Corriere della Sera' del 15 luglio 1931, «Un poeta russo ospite dell'Italia. Visita a Venceslao Ivanov», dove così descrive il poeta: «Ho dinanzi a me un volto cordiale e insieme, se così mi posso esprimere, inaccessibile. Due chiare pupille dietro il vetro degli occhiali d'oro, vivide d'improvvisi barbagli, come quando sprazzi solari scivolano via su acque tranquille, una bocca di perfetto disegno dalle pieghe pensose agli angoli, una fronte rosea con le sopracciglia color rame, come due tenui fiamme, una chioma nivea, liscia, lievemente arricciata all'intorno, sì che dà l'impressione di una collotta o di un nimbo. Scambiatele prime parole, Ivanov ci guida nella visita della sua unica stanza: un étagère coi libri, una scatola in disparte con un mucchio di fogli arabescati di versi e di cancellature: è l'atteso poema su „L'Uomo”»².

Ma dell'affetto, della devozione, dell'ammirazione da parte di Küfferle per l'ospite del Borromeo ci sono continue testimonianze in una serie di lettere autografe inedite (di cui purtroppo non sono state reperite le risposte di Ivanov), nell'archivio romano del poeta, che risalgono al 1931-1933, prima ancora che si delineasse all'orizzonte l'ardua impresa della traduzione del poema.

Ecco un estratto della prima lettera del 9 luglio 1931: «Grazie per le ore spiritualmente intense che mi ha fatto trascorrere e che io rinnovo qui con la lettura sempre più appassionata della Sua Poesia. Temo assai che il mio romanzo con la Sua Musa, come Le è piaciuto di esprimersi scherzosamente, si converta in un vero e proprio contratto di nozze. Ho detto „temo” ma da questo connubio non mi aspetto che un alto, continuo godimento».

Ancora un estratto dalla lettera del 17 gennaio 1932: «Sono tanto colpevole dinanzi a Lei per non averle detto subito che la Sua ultima lettera è stata per me la più grande soddisfazione morale di tutto l'anno scorso ed una di quelle iniezioni di energia che ridonano a un tratto la fede nell'arte anche a un'anima così facile agli scoramenti come è la mia. Ho, infatti, lavorato con raddoppiata lena e nello stesso tempo ho trascurato il mio dovere principale che ora compio, non senza mortificazione per il ritardo: La ringrazio di cuore. <...> „Cor ardens” e „Gli astri piloti” mi nutrono di sé nelle pause dei miei giorni arruffati. <...> Non vedo l'ora di poterLe stringere la mano e di parlarle alungo. Dal Suo spirito mi viene tanta luce e calore!»

Il 29 aprile 1932 di nuovo sottolinea, con parole piene di trasporto, la sua gratitudine: «<...> Non c'è bisogno ch'io Le ripeta che il mio spirito si affissa in Lei come in un sole, tanto che a volte, dinanzi al vivido splendore della Sua arte sovrana, la vista vien meno! Immagini ora con quale riverenza e umiltà io goda di ogni Suo incoraggiamento e suggerimento e come ciò mi aiuti a battere il difficile e delizioso sentiero della creazione».

Esistono poi nell'archivio di Travo alcune lettere manoscritte inedite di Ivanov a Küfferle, una del periodo precedente all'inizio del lavoro sulla traduzione e altre tre nel pieno dellavoro, che qui vengono riportate: c'è da osservare anzitutto lo straordinario stile epistolare italiano di Ivanov, la ricerca di un linguaggio raffinato, poetico, la melodiosa inflessione delle frasi, tutte qualità che si ritrovano nell'acribico, ispirato, minuzioso lavoro di revisione delle traduzioni di Küfferle.

La prima lettera è del 23 dicembre 1937: il poeta risiede a Roma, sulle falde del Campidoglio, in un appartamento spesso cantato in molte liriche, e invita Küfferle a fargli visita, esprimendogli insieme la sua ammirazione per le opere poetiche inviategli e per la devozione dimostrata.

Di particolare importanza è la seconda, del 31 dicembre 1942, in cui Ivanov parla del lavoro di «autotraduzione» e rivendica la possibilità di introdurre da parte dell'autore stesso varianti e modifiche rispetto al testo originale.

Nella terza, del 27 gennaio 1943, non solo conforta Küfferle, scoraggiato e quasi deciso ad abbandonare l'impresa della traduzione, ma soprattutto sottolinea il proprio «sacrificio» nei riguardi della traduzione in corso: ha cioè rinunciato a «le „sapienti” rime e la simmetria ritmica su cui poggia l'architettura musicale della melopea».

Oltre alla breve missiva con i rallegramenti per la nascita del figlio (11 marzo 1943) c'è un'ultima lettera del 24 giugno 1943, dove Ivanov interviene nella discussione aperta da Küfferle con Marco Spaini sul ruolo della poesia religiosa italiana, di cui la traduzione de «L'Uomo» è — secondo il traduttore — insuperato esempio.

Lettere di Ivanov a Küfferle

Roma, via di Monte Tarpeo 61
23 dicembre '37

Caro, fedele, longanime Amico,

Vi invio i miei cordiali auguri d'un anno benedetto, ed un saluto spirituale alla vigilia della Notte «der Weihen», sotto il segno di Michele. Non trovo

parole per dirvi tutta la mia gratitudine per il vostro perspicace e paziente affetto che di lontano sento continuamente, per la vostra continua cura premurosa e la nutrizione spirituale continua che cercate d'offirmi, inviandomi tanti scritti di valore e bagliore miracolosi, che m'alimentano e l'illuminano, pur lasciando nell'anima mia il profondo dolore di sapervi, caro amico mio e fratello in Cristo, alieno dalla vita carismatica della Chiesa³. Gli ultimi invii furono importantissimi anche per la comprensione dell'attualità. Ben presto vi restituisco questi e parecchi altri scritti. Conscio sono della grave colpa mia di abusare della vostra grande bontà *sine die*, e la vostra indulgenza mi commuove. Perché mi rifiutate però spietatamente la gioia d'abbracciarvi sul Campidoglio, frequentando non di rado (sebbene sempre per un istante) la Città Eterna? E finalmente vi porgo da tutto il cuore i miei ringraziamenti (ben sapete quanto sentiti) per quel caro delizioso regaletto, atto ad entusiasmare un poeta vecchio sì, ma non infedele alla gaia scienza nell'«ordine naturale» e nella sua debolezza «umana, troppo umana».

Cordialmente vi salutano mia figlia e la signorina Olga Schor.

Vostro affezionatissimo e riconoscentissimo

Venceslao Ivanov

Roma, 31 Dicembre 1942

Vi auguro a tutti e due — o tre?⁴ — un anno buono, felice benedetto, e a Voi, poeta amico e confidente della mia musa, esprimo i miei vivi ringraziamenti dei graditissimi «saggi», che sono per lo più cose definitive e mi fanno sognare una traduzione completa della «meloepa» in tali «ritmi»; poiché sono pienamente d'accordo con Voi riguardo al metodo. La Vostra sensibilissima interpretazione è altrettanto esatta quanto elegante; e se io leggo alcune strofe altrimenti, queste divergenze sono cagionate da una mia proprietà particolare. Infatti, ogni qual volta sono costretto a tradurre me stesso in un'altralingua, mi sento come reincarnato; orbene, una nuova reincarnazione è per necessità alquanto diversa dalla precedente. Cosi la strofa:

Пасомы цѣлями родимыми,
Къ нимъ съ трепетомъ влечемся мы,
И — какъ подъ солнцами незримыми —
Навстрѣчу имъ цвѣтамъ изъ тьмы —

Io la traducevo nel miolibro tedesco sopra Dostojevski⁵ così:

Gute Hirten, zu des Lebens Bronnen
Lenkt ihr uns, ihr ewigen Ziele, sacht,

Vjačeslav Ivanov e Rinaldo Küfferle [187]

und den Strahlen unsichtbarer Sonnen
blüht das Herz entgegen aus der Nacht⁶.

Quel che non è lecito altrui, mi sembra un diritto dell'autore che vuole in tal modo confessare la sua vera e propria intenzione, e cioè l'introdurre una nuova immagine, perfino un nuovo concetto. Se voi approvaste le varianti accluse, mi sarebbe una gioia di vederle da voi adottate, magari con correzioni che ritenete necessarie.

Vostro
Venceslao Ivanov

P. S.

Mi è capitato un pasticcio: non posso trovare nelle mie carte una copia del mio nuovo piccolo saggio «Forma formans e forma formata», scritto per una specie di antologia compilata da E. Lo Gatto sotto il titolo «Poetica ed Estetica in Russia»⁷. Pazienza!

Un paio di inesattezze nelle vostre traduzioni: «Le piaghe *gemono*», «*Terror panico*»: io alludevo invece al presentimento timoroso d'una vendetta del destino (che si è tragicamente avverato!). «Le tavole di rame» è una invenzione vostra, eppure accettabile! «Dorirecante» è un malinteso: il vocabolo liturgico *дориносимый* proviene non già da *дарь*, ma dal greco *δóρυ* e significa «portato in trionfo sugli scudi posti sopra le aste incrociate (omaggio militare al condottiere o all'imperatore eletto)» — *δóρυφορούμενος*; nell'inno dell'offertoriola chiesa orientale canta: «noi, che rappresentiamo misticamente i cherubini, esaltiamo il Re dell'universo portato sugli scudi dalle gerarchie angeliche». — «*Febbrili membra*». «*Egli (?) fuse*»...

V. I.

27 gennaio '43

Caro Kufferle, stamattina ricevo un'altra lettera che pare smentisca, rendendo pace all'anima mia, quella «rinunciataria»⁸... Un lavoro urgente mi impedi di rispondere immediatamente a questa, per combattere il vostro scoraggiamento assolutamente ingiustificabile, per lodare sommamente la IV^o parte (specie «*Brillan le stelle sugli opachi stagni*»), per dirvi finalmente che il libro non era ancora arrivato... No, amico carissimo, io per parte mia non voglio affatto rinunciare al mio desiderio di vedere «*L'Uomo*» tradotto da voi in questo modo, e faccio a questo scopo volentieri il sacrificio non solo delle «sapienti» rime, ma anche della simmetria ritmica su cui poggia l'architettura musicale della «*meloepa*». Questa è la *mia* rinuncia, consapevole, perché basata sulla

conoscenza precisa dei limiti e delle possibilità del nostro mestiere; tale rinuncia non intacca quella che io chiamo *forma formans*⁹, ma un «gran rifiuto» sarebbe il rinunciare alla nobile impresa tutta quanta. Del resto, ne parleremo a sazietà a Roma (*telefono: 584-629*). A rivederci dunque, ben presto! Grazie, e cari saluti!

Vostro
Venceslao Ivanov

P. S.

Due cavilli:

1) nella poesia «E' la natura ancor docile schiava», il senso dei versi

И поколѣніе изводить (сіоє, изъ чресльъ)
Роднымъ отзвучное звѣздамъ

è: «e *procrea*, fa nascere una stirpe (o generazione) consona (conforme alla volontà)» ecc.

2) Nell'Ephymnion, correggo le due ultime righe così:

e il mio spirito rinato
la tua ipostasi rivesta

Si potrebbe dire anche «affrancato», invece di «rinato» (ciò che meno mi piace); ma non è lecito dire: «la tua libera ipostasi» (il che è addirittura privo di senso). Si tratta della esattezza teologica!

V. I.

11 marzo '43

Carissimo Amico,

gradite insieme colla Signora Giana¹⁰ i nostri cordiali rallegramenti¹¹. E' per me una gran gioia il vedervi ambedue varcare felici la soglia di quella matura ed armoniosa pienezza che è il compito e il premio d'una vita veramente feconda. Invoca benedizione divina sul vostro Riccardino. Grazie della ricca messe del vostro generoso e prezioso lavoro che io ammiro e a cui m'ispiro. Prossimamente v'inverò in copia dattilografica¹² i frutti del miolento studio che mi diletta, certi estrosi e chi sa se non inopportuni suggerimenti, insieme colla mia traduzione della poesia goethiana. Con affettuosi saluti.

Vostro
Venceslao Ivanov

Caro Amico,

Marco Spaini¹³ mi comunica il Vostro giudizio su «L'Uomo»: «dopo il Trecento, nella poesia italiana non si era più parlato di simili temi cristiani». E Alessandro Manzoni?¹⁴ Sela poesia religiosa di questi non è poesia (come lo proclama il Buontempelli¹⁵), non è poesia neppure «L'Uomo». Per quanto riguarda l'atteggiamento di fronte alla Chiesa, non vorrei essere opposto a lui: siamo ambedue convinti cattolici. (Della mia adesione al cattolicesimo nonché dell'attuale dilemma «col Cristo o contro il Cristo»¹⁶ ho parlato nella mia Lettre a Charles Du Bos, aggiunta nell'edizione francese¹⁷ alla «Corrispondenza da un angolo all'altro»). Qualcuno m'avrà rapito «I Sogni»¹⁸ — non ritrovo la mia copia, e ho bisogno d'un'altra!

Affettuosamente Vostro

Venceslao Ivanov

¹ Sulla traduzione e la corrispondenza relativa esistono due articoli: *Malcovati F.* La traduzione italiana de «L'Uomo» di Vjaceslav Ivanov / Dalla forma allo spirito. Scritti in onore di Nina Kauchtschischwili. Milano, 1989. P. 109–126; *Ruffolo D.* Vjačeslav Ivanov — Rinaldo Küfferle: Corrispondenza in Archivio italo-russo. Trieste, 1997. P. 562–601.

² Corriere della Sera. 15.7.1931. P. 3. Ripubblicato col titolo «I doni della grazia» / *Küfferle R.* Persone e personaggi. Milano, 1934. P. 213–220.

³ In questi anni Küfferle si avvicina all'antroposofia, traduce opere di Rudolf Steiner, dirige per Fratelli Bocca Editori la «Biblioteca scientifico-spirituale» con prevalenti interessi antroposofici, nel 1946 fonda la rivista «Antroposofia. Rivista mensile di scienze dello spirito», che dirige fino al 1955.

⁴ Il figlio di Rinaldo Küfferle. Riccardo, nacque il 2 marzo 1943.

⁵ *Iwanow W.* Dostojewskij. Tragödie — Mythos — Mystik. Tübingen, 1932. L'introduzione alla traduzione viene scritta a Pavia nel dicembre 1931.

⁶ *Iwanow W.* Op. cit. P. 23.

⁷ Firenze, 1947.

⁸ Nella lettera del 14 gennaio 1943, Küfferle scriveva a Ivanov: «Sono realmente scoraggiato e dovrò rassegnarmi a lasciare allo stadio di sogno il sogno di far conoscere, almeno in rifrazione pallida, ai lettori italiani „L'Uomo“» / *Malcovati F.* Op. cit. P. 114.

⁹ Il saggio ivanoviano «Forma formans e forma formata» è uscito nella raccolta «L'estetica e la poetica in Russia». Op. cit. P. 247–259.

¹⁰ Giana Anguissola, scrittrice, moglie di Küfferle.

¹¹ Per la nascita del figlio Riccardo, vedi nota 4.

¹² Lettera del 21 giugno 1943, pubblicata integralmente in *Ruffolo D.* Op. cit. P. 574–583.

¹³ In una lettera del 19 giugno 1943, Küfferle scrive a Marco Spaini: «Riguardo a „L’Uomo” di Ivanov <...> ti dirò spassionatamente che sarà un avvenimento per l’Italia il vederlo pubblicato; ché, dopo il Trecento, nella poesia italiana non si era più parlato di simili temi cristiani. <...> Ora Ivanov pone chiaro il dilemma: o si è col Cristo o si è contro, perché guai ai tiepidi (cfr. San Paolo). Cristo è la via al reale, a ciò che veramente è, cioè allo spirito» / *Malcovati F.* Op. cit. P. 119. Con Marco Spaini, curioso personaggio di organizzatore culturale, mecenate, antroposofa, oltre che funzionario del casinò di San Remo, Ivanov tenne un’ampia corrispondenza (1932–1941) di cui si è occupata Bianca Sulpasso nel sito «Dizionario dell’emigrazione russa in Italia», www.russinitalia.it/sezione.archivi.php

¹⁴ Nella lettera a Ivanov, in risposta a questa, del 29 giugno 1943, Küfferle ribadisce: «<...> se questa è poesia (*allude agli Inni Sacri di Manzoni, n.d.A.*), allora, naturalmente, „L’Uomo” non è poesia, ma un’altra cosa, perché sullo stesso piano io non lascerei le due cose nemmeno per riderne innocentemente con Voi! Anche ne „L’Uomo” — lo sapete meglio di me — non ogni componimento ha lo stesso ardore lirico, ma l’arte vi è dovunque (fin nelle Note!). Perciò, riguardo al Manzoni, la mia non vuol essere una dimenticanza, ma un „pio velo”, come si suol dire. E poi (rassicuratevi, Amico mio, non una parola di ciò nella prefazione) ne „L’Uomo” c’è il cattolico, negli „Inni sacri”, spesso, il parrochiano. Il che fa gran differenza, a me pare» / *Malcovati F.* Op.cit. P.120.

¹⁵ Per l’attacco di Massimo Bontempelli a Manzoni: vedi il capitolo «Panorama letterario» / *L’avventura novecentista.* Firenze, 1938; Tascabili Vallecchi, 1974. P. 126–127.

¹⁶ Vedi nota 13.

¹⁷ *Ivanov V. et Gerschenson M. O.* Correspondance d’un coin à l’autre, précédée d’une Introduction de G. Marcel et suivie d’une lettre de V. Ivanov à Ch. Du Bos. Paris, 1931.

¹⁸ Raccolta poetica di Küfferle. Milano, 1942.

А. Меймре, Н. А. Богомолов
Ситуация 1920 года: взгляд из Эстонии

Весной и летом 1920 года происходили события, которые стали примечательными в литературно-политической истории русской поэзии: советскую Россию по вполне официальным каналам покинул К. Д. Бальмонт с третьей женой и дочерью — и не смог по тем же каналам покинуть В. И. Иванов с третьей женой, дочерью и сыном. До совсем недавнего времени едва ли не все без исключения исследователи, обращавшиеся к данной теме, полагали, что именно эта ситуация стала причиной многих трагических событий в русской литературе, прежде всего — смерти Блока, которому не было разрешено выехать для лечения в Финляндию.

Ясность в этот вопрос была внесена двумя статьями, посвященными всему узлу событий¹. Согласно разысканиям авторов, 11 марта 1920 г. на Коллегии Наркомпроса был рассмотрен и положительно решен вопрос о командировке Иванова, 17 апреля — о командировках Бальмонта и дирижера С. А. Кусевицкого, в мае было отказано Ф. Сологубу и Ан. Чеботаревской. Белый вспоминал, что впервые он подавал прошение в феврале, но получил отказ; однако в марте поездка была разрешена, но не состоялась, после чего командировка была отменена и в июле на следующую просьбу последовал отказ². Также отказано было весной — М. О. Гершензону, летом — М. П. Арцыбашеву, но Вас. И. Немировичу-Данченко поездка была разрешена³ (время прошения и отказа имело значение, поскольку с конца апреля шла советско-польская война). Однако в значительной мере все эти наблюдения также страдают известной степенью недостоверно-

сти. До тех пор, пока не открыты архивы тайной полиции и Министерства иностранных дел, мы не можем обладать полными данными о процессе принятия решений, точных датах и пр. Вместе с тем к этому исследователи должны прибавлять суждения о законах телефонного права, о непоследовательности решений вследствие несогласованности в действиях учреждений или же негласной борьбы за влияние. Только таким образом может быть создана сколько-нибудь адекватная картина реальной действительности. К примеру, любому человеку, знакомому с советской ситуацией, должно представляться, что решающее слово в решении вопросов, подобных разбираемому, должно принадлежать тайной полиции (в данном конкретном случае — Особому отделу ВЧК). Однако Р. Бёрд сообщал: «...29 апреля Луначарский докладывал Коллегии <Наркомпроса>, что Особый отдел ВЧК предъявил возражения против командировки Кусевицкого. На заседании Общества любителей российской словесности 16 мая 1920 г. Бальмонт объявил, что „Особый отдел задерживает наш [т. е. Бальмонта и Иванова. — Р. Б.] отъезд“. Видимо, эти сложности были устранены, и Бальмонт вместе с семьей выехал в Ревель одновременно с Кусевицким 25 июня 1920 г.»⁴. Подобного рода обстоятельства затрудняют понимание действенной конкретики событий.

Однако у нас время от времени появляется возможность внести некоторые существенные дополнения в картину происходящего, поскольку архивы сопредельных России стран оказываются открыты и готовы предоставлять информацию. И в фондах МИДа Эстонии Аурикой Меймре в 2010 году были обнаружены документы, проливающие некоторый свет на проблему выезда и дальнейшего путешествия двух русских писателей.

Наибольшее количество документов касается действительно проехавшего через Эстонию из России в Германию К. Д. Бальмонта с сопровождавшими его Е. К. Цветковской, дочерью Миррой и А. Н. Ивановой.

Первый из этих документов — телеграмма из МИДа: «В штаб Первой дивизии, Лийваку. Приехавшему из России К. Бальмонту разрешен въезд. МИД № 3679». Телеграмма датирована 26. IV. 20⁵. При этом очевидно, что это не опечатка: разрешение под номером 3679 занесено в регистрационную книгу 26 апреля — и название месяца выписано словами⁶. Это означает, что телеграмма была отправлена за два месяца до реального въезда Бальмонта на территорию Эстонии. Коллегия Наркомпроса приняла решение о командировке Бальмонта и Кусевицкого 17 апреля⁷, и как раз к 25–26 апреля могло быть принято решение МИДа о выдаче ему паспорта и отправлен запрос эстонской стороне.

27 июня Бальмонт пересекает границу Эстонии в Нарве, что отразилось в списке приехавших⁸:

№	Число	Имя	Возраст	Подданство	Профессия	Откуда	Цель поездки	Документы и виза
56	27. 06. 1920	Бальмонт Константин Дмитриевич	53	Российское	писатель	Москва	Через Таллин в Италию	Российский загранпаспорт № 544 от 4.06.1920 и виза Эстонской опционной комиссии № 109 от 23.06.1920
57	То же	Цветковская Елена Константиновна Мирра, дочь	37 12	Рос	—	Москва	То же	Рос. загранпаспорт № 546 от 4.06.20 виза Эст.опт. ком. № 106 от 23.06.20
58	То же	Иванова Анна Николаевна	40	Рос	Секретарь	Москва	То же	Рос.загранпаспорт № 546 от 4.06.20, виза Эст. опт.ком. № 106 от 23.06.20

Предыдущим пунктом, 55-м, означен 45-летний С. А. Кусевицкий с 39-летней женой Натальей. Ему паспорт был выдан значительно ранее (26 апреля) и имел номер 455. Кстати сказать, не очень понятно, почему паспорта Цветковской и Ивановой имеют один и тот же номер. Возможно, это описка, и у кого-то из них он имел № 545.

Довольно быстро Бальмонт озаботился получением разрешения на выезд, и уже 3–5 июля, то есть менее чем в недельный срок, он подает ходатайство о выезде из страны, что были обязаны делать все: не только граждане Эстонии, но и те, для кого Эстония была страной транзита. Само ходатайство обнаружить пока не удалось, однако в картотеке лиц, ходатайствовавших о разрешении на въезд и выезд из Эстонии в 1919–1920 гг., находится регистрационная карточка⁹.

Лицевая сторона:

Бальмонт Константин вместе с супругой, дочкой и племянницей. (фамилия, имя) Место жительства: ул. Уус д. 24 кв. 4	К понедельнику № 3913
Куда направляется	Во Францию
Причина поездки	—
На какой срок	1 год
Число	3 июля 1920
Подпись	
Родился:	Национальность: русский
Профессия: писатель	Подданство: Российское
Вероисповедание: православие	Военная служба: —
Семейное положение: женат	Рекомендации: присяжный поверенный Кальманович, доктор Кломпус

Обратная сторона:

Когда прислана в генеральный штаб, т. е. МВД	3 июля 20
Когда вернулся	
С какой резолюцией	Разрешено навсегда
Какова окончательная резолюция и кем выдана	
Когда, куда и каким путем ответ выслан	
Когда и под каким номером выдан дипломатический паспорт, заграничный паспорт, дипломатическая виза, обычная виза, транзитная виза, разрешение на въезд	заграничный паспорт <судя по аббревиатуре> 3335, 5. 07. 20
Примечания	Сдана в архив

Одну рекомендацию он получил от бывшего присяжного поверенного Самуила Еремеевича Кальмановича. В 1920 году Кальманович принимал участие в разработке гражданских правовых актов Эстонии при министерстве юстиции, был лектором на юридических курсах при министерстве юстиции. Согласно воспоминаниям Г. Соломона «Среди красных вождей»,


Кальманович был Соломоном приглашен в качестве консультанта по разборке торговых договоров, заключенных полпредом И. Э. Гуковским. Второго рекомендателя пока что идентифицировать не удалось, поскольку в Эстонии проживало и работало несколько докторов Кломпусов и кого имел в виду Бальмонт — неизвестно.

Однако едва ли не самое интересное в этой карточке (так же как и в далее цитируемом списке покидающих Эстонию) — то, что он подал эстонский паспорт, а не российский, по которому въезжал в страну. К тому же в сохранившихся списках получивших в этот период эстонские загранпаспорта Бальмонта не оказалось. Паспорт под номером 3335 выдан некоему Владимиру Гольсту во второй половине июля (к сожалению, там не было точного числа)¹⁰.

Дальнейшие события известны нам по описаниям самого Бальмонта в письме к Е. А. Бальмонт, оставшейся в Москве, и по изложению в опубликованном очерке «Завтра»: он быстро получил (по ходатайству М. Палеолога при содействии супругов Пети) французскую визу, однако германский консул в выдаче необходимой для транзита немецкой визы отказал. 17 июля пароход в Штеттин ушел без Бальмонта, но в тот же день по ходатайству члена рейхстага В. Дитмана он все-таки получил визу и 31 июля покинул Ревель.

Для понимания обстоятельств его пребывания там существенно опровержение сведений, содержащихся в письме тогдашнего полпреда России

Elukohal: <i>Balmont, Koolandja ühis</i> <i>Mus. mu. 24 k. 4.</i> (perikonna ja ristl nimi) <i>abikaasaga, sünninumber № 3913</i> <i>õelärega, sünninumber 1790</i>	
Kuhu sõidab	<i>Prantsusmaale</i>
Sõidu põhjus	—
Kui kauaks	<i>1 aastaks</i>
Kuupäev	<i>3. juulil 1920a.</i> 19 a. 19
Wastawõtja allik	<i>Constantin Balmont</i>
Sündinud:	Rahvus: <i>venelane</i>
Elukatse: <i>riigiarst</i>	Mis riigialam: <i>Vene</i>
Uue: <i>õiguskor</i>	Wäeternistus: —
Paikond, seisukord: <i>Abielus</i>	Soovitusel: <i>Hauw. adr. Kal-</i> <i>mauritech</i> <i>47. Kõmpus</i>



в Эстонии, Латвии и Литве (обосновавшегося именно в Ревеле) И. Э. Гуковского к А. В. Луначарскому: «...всякую иную визу, кроме эстонской, можно пока получить, отрекшись от близости к Советской власти или скрыв свою связь с нею. Ни французы, ни англичане, ни шведы, ни даже немцы не пускают обыкновенных русских граждан с нашими паспортами. <...> Нужно очень много такта и выдержки, чтобы суметь, не роняя собственного достоинства и достоинства РСФСР, убедить консула того или иного государства выдать визу при наличии большевистского паспорта. Сделать это не все умеют и поневоле, добиваясь паспорта или визы, высказывают мнения и положения очень нежелательные»¹¹.

Однако Бальмонту, обладателю уже не советского, а эстонского паспорта, не было нужды предпринимать какие-либо особые меры для получения визы, если только не произошло неожиданного: известный русский поэт, едущий с паспортом другого государства, вполне мог вызвать подозрение в каком-то особом характере своей деятельности в Германии. Конечно, такого рода подозрения должны были для самого Бальмонта оставаться тайной. Но как в том, так и в другом случае подозрения Гуковского выглядели абсолютно необоснованными.

Как уже говорилось выше, 31 июля Бальмонт с женой, дочерью и А. Н. Ивановой (теперь значившейся его племянницей) уехал из Ревеля-Таллина на пароходе в Штеттин. Об этом свидетельствует лист регистрации лиц, выбывших из Эстонии через Таллинский погранпункт¹².

Mülat' sõndre-staapi ehk sinim. saadetud	3. VII 20
Mülat' tagasi tulned	
Missuguse resolutsioniga	<i>Handwritten notes</i>
Missugune lopulik resolutsion ja kelle poolt tehtud	
Mülat, kuhu ja mil viisil wastus teatatud	
Mülat' ja mis k's all dipl. pass, wäljamaa pass, dipl. wiisa, haalik wiisa, läbisõidu wiisa, sissesõidu luba wäljantud	<i>Handwritten: N. p. 3335, 5. VII 20</i>
Märkused:	Arbitwi antud
	19 a.



m.
kas

Выезд Бальмонта из Эстонии

№	Дата	Фамилия и имя	Гражданство	Куда едет	Документ и виза	Прим.
3244	31.07.20	Бальмонт Константин	Эстонское	Штеттин	EWP — Эстонский загранич. паспорт № 3335, Таллин, 5.07.1920	
3245	То же	Жена Елена	Эст.		Тот же документ	
3246	То же	Дочь Мирра	Эст.		Тот же документ	
3247	То же	Племянница (дочь сестры)	Эст.		Тот же документ	

О получении указанного здесь эстонского гражданства (согласно картеке, он все еще имел российское подданство) Бальмонт также не ходатайствовал, так что, возможно, мы имеем дело с простой оплошностью чиновника, определившего гражданство на основании эстонского заграничного паспорта.

Однако наиболее интересный, с нашей точки зрения, документ, найденный в эстонском архиве, относится все же не к Бальмонту, а к Вяч. Иванову. 5 марта 1920 г. на бланке Народного комиссариата иностранных дел Российской советской федеративной республики за исходящим номером 94 сообщалось:

В министерство Иностранных дел

4-го сего Марта, в разговоре И. Э. Гуковского с Министром Иностранных Дел А. А. Бирк, им была передана просьба Народного Комиссара по Иностранным Делах Г. В. Чичерина, о разрешении проезда через Эстонию в Германию русского литератора Вячеслава Иванова с семьей. Г. Министр устно выразил свое согласие и обещал это же согласие подтвердить в Москву. Я со своей стороны сообщаю в Москву о данном согласии, а о времени перехода гр. В. Ивановым границы сообщу Вам дополнительно.

Примите уверения в совершенном почтении

Н. Клышко¹³.

Самое существенное здесь — дата и степень решимости, с которой стороны договариваются о пересечении границы поэтом: 4 марта — то есть

REPUBLIQUE RUSSE FÉDÉRATIVE
DES SOVIETS
COMMISSARIAT DU PEUPLE
POUR
LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

Le 5 Mars 1920 r.

№ 94.

MOSCOU.

Sjundomsrödska 80 (rue des Éclairs de Pétersbourg).

TÉL. 4-23-65.

Handwritten signatures and initials, including "M. G. G." and "M. G. G."

Wältsministerium
Sissiel: mt: 6.11.20 № 2794

7

В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ.

4-го сего Марта, в разговоре И.Э.Гуковского с Министром Иностранных Дел А.А. Бирк, им была передана просьба Народного Комиссара по Иностранным Делам Г.В. Чичерина, о разрешении проеда через Эстонию в Германию русского литератора Вячеслава Иванова с семьей. Г. Министр устно выразил свое согласие и обещал это же согласие по радио подтвердить в Москву. Я со своей стороны сообщаю в Москву о данном согласии, а о времени перехода гр. В. Иванова границы сообщу Вам дополнительно.

Примите уверения в совершенном почтении

И.Э. Гуковский

практически за неделю до того, что ранее было отмечено как наиболее ранний срок разбора заявления Иванова, связанного с выездом, — МИД РСФСР договаривается на уровне министров и полпреда о разрешении ему проезда через Эстонию. Как кажется, этого ни в коем случае не могло произойти без согласования с ВЧК, Особый отдел которой возглавлял В. Р. Менжинский¹⁴, и путь за границу для Иванова был открыт.

Однако он не уехал. Что было тут основной причиной, мы можем только догадываться. Во-первых, он собирался устроить свое имущество, прежде всего библиотеку¹⁵, во-вторых — добиться гарантированного минимума денежного содержания для хотя бы первоначальной жизни за границей, что также удалось: ему было обещано 50 000 рублей подъемных и жалава-

ние в 50 000 рублей «знаками думского образца»¹⁶, в-третьих — мы не знаем подробностей о здоровье В. К. Ивановой (Шварсалон), которая была тяжело больна, и не исключено, что была не в состоянии перенести поездку. Наконец, известно всегдашнее кунктаторство Иванова в самых, казалось бы, неотложных делах. Вполне вероятно, что были и еще какие-то причины, но, как нам думается, если бы тогда, в марте и апреле, дело ему представлялось идущим о жизни или смерти, как то описано в письме Иванова к Н. К. Крупской от 18 июля¹⁷, он любым способом постарался бы выехать через Ревель в Германию, а далее в Италию: другие пути в то время были неосуществимы.

Но в то время он еще не понимал, что с советской властью затевать какие-либо игры чрезвычайно, иногда смертельно опасно. В 1924 г. он это уже знал, поэтому и не стал терять времени: в течение трех месяцев сумел вызвать семью из Баку, устроить самые неотложные дела, оформить документы и уехать в Италию.

¹ См.: Бёрд Р. Вяч. Иванов и советская власть (1919–1929): Неизвестные материалы // Новое литературное обозрение, 1999. № 40. С. 305–331 (к интересующей нас теме в наибольшей степени относятся с. 306–313); Бёрд Р., Иванова Е. Был ли виновен Бальмонт? // Русская литература. 2004. № 3. С. 55–85.

² Официальные документы об этой эпопее пока не обнаружены. Свод свидетельств современников см.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 208–211.

³ В статье Р. Бёрда утверждается, что он уехал за границу в конце 1921 г. На деле же он пересек эстонскую границу в Нарве 13 марта 1922 года, в Ревеле оказался 16-го (Государственный архив Эстонии. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 8505 — картотека регистрации иностранцев; Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 8341 — регистрационные листы иностранцев с фотографией).

⁴ Новое литературное обозрение, 1999. № 40. С. 309.

⁵ Первая цифра исправлена из какой-то иной. Документ хранится: Государственный архив Эстонии. Ф. 957. Оп. 11. Ед. хр. 404. Л. 37.

⁶ Государственный архив Эстонии. Ф. 957. Оп. 11. Ед. хр. 5. Л. 5.

⁷ Русская литература. 2004. № 3. С. 58.

⁸ Государственный архив Эстонии. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 17.

⁹ Там же. Оп. 1. Ед. хр. 1806.

¹⁰ Там же. Оп. 2. Ед. хр. 349. Л. 20.

¹¹ Литературное наследство. М., 1971. Т. 80. С. 208.

¹² Государственный архив Эстонии. Ф. 1. Оп. 10. Ед. хр. 50.

¹³ Там же. Ф. 957. Оп. 11. Ед. хр. 398. Л. 7. Машинопись, подпись — автограф. Входящий № 2794 датирован 6 марта 1920 г.

¹⁴ Отметим иронию судьбы: дальнейшую жизнь Иванова определяют А. В. Луначарский, бывавший на «Башне», близкий многолетний друг М. А. Кузмина Г. В. Чиче-

рин и дебютировавший как литератор-декадент в одном сборнике с тем же Кузминым В. Р. Менжинский.

¹⁵ На перевозку ее в музей им. А. А. Бахрушина Наркомпросом были даже выделены деньги (Новое литературное обозрение, 1999. № 40. С. 307).

¹⁶ См.: Там же. С. 307, 309.

¹⁷ В нем читаем: «Теперь же она <В. К. Иванова> сгорает и тает на глазах у всех, только в ближайшие дни она способна подвергнуться трудностям путешествия, которое составляет вопрос жизни или смерти» (там же. С. 310). Судя по тому, что она скончалась через 20 дней после данного письма, такой вопрос уже не стоял.

Т. Л. Никольская
«Героиня романов Тургенева»

О Софье Михайловне Марр, урожденной Михайловой, обычно вспоминают, как об идеальной жене, посвятившей жизнь своему мужу, умершему от туберкулеза в возрасте 42 лет востоковеду Юрию Николаевичу Марру, сыну лингвиста Николая Яковлевича Марра. Так, академик А. Гвахария, в течение тридцати лет общавшийся с Софьей Михайловной, писал, что «главная цель ее жизни, ее верность проявилась после безвременной кончины Ю. Н. Марра. Она стала собирать по крупицам его архив, разбросанные по отдельным листкам наброски, планы, мысли, неопубликованные работы, словарные карточки, письма, стихи, рисунки»¹. Вместе с учеником Н. Марра И. Мегрелидзе Софья Михайловна подготовила к печати двухтомное собрание сочинений Ю. Марра², а совместно с А. Гвахария — два тома переписки своего мужа по вопросам иранистики и грузиноведения³. При жизни Юрия Николаевича Софья Михайловна сопровождала его в двух поездках по Ирану в 1925 и 1934 гг. Не будучи по образованию востоковедом, С. Марр не только вела дневники во время путешествий, но и занималась персидской этнографией и лексикологией⁴. Впоследствии С. Марр написала беллетризованную биографию своего мужа, лишь отрывки из которой увидели свет⁵. Работала она и над биографией Н. Я. Марра⁶. Софья Михайловна высоко ценила стихи и шуточные рассказы Юрия Николаевича. Часть из них она подарила мне — мы были знакомы в последние семь лет ее жизни — с просьбой, если появится возможность, напечатать хоть что-то из его художественного творчества. Такая возможность появилась уже после кончины Софьи Михайловны⁷.

На мой взгляд, о Софье Михайловне стоит вспомнить и как о самостоятельной личности, участнице литературного процесса конца 1910 — начала 1920-х гг., в преклонные года ставшей центром притяжения молодежи, интересующейся культурой «серебряного века». Софья Михайловна привлекала людей своей добротой и нравственной чистотой, сочетавшейся с терпимостью к слабостям окружающих, отсутствием ханжества. Ее безукоризненные манеры, скромность, интеллигентность, чистейший русский язык переносили общавшихся с ней в досоветские времена. Казалось, что от хозяйки дома исходит свет, мягко согревающий всех, кто к ней приближался, будь то маститый грузинский ученый, бывшая владелица шляпной мастерской пани Стефания, машинистка-азербайджанка. На кладбище, куда Софья Михайловна регулярно ходила навестить могилу Юрия Николаевича, в нее с первого взгляда влюбился водонос, предложивший руку и сердце, — тогда Софье Михайловне было уже за восемьдесят. Другой поклонник, вышедший на пенсию преподаватель педагогического института, приходил поговорить о минувших днях и на прощание почтительно целовал руку.

Софья Михайловна родилась в семье железнодорожного служащего и преподавательницы тбилисской женской гимназии. Образование получила на Бестужевских курсах и в Петроградском университете. Подобно многим девушкам той поры, она была влюблена в Александра Блока, написала ему письмо, послала стихи. Это увлечение «трагическим тенором» нашло отражение в ее дневниках 1915 г., выдержки из которых были опубликованы в блоковском томе Литнаследства⁸. В начале 1918 г. Софья Михайловна вернулась в Тбилиси, где вступила в литературное дружество «Альфа-лира», основанное поэтессой Татьяной Вечоркой⁹. Члены этого кружка занимались совместным изучением поэзии Блока, переводили Бодлера, читали и обсуждали стихи и прозу собственного сочинения. Одним из мест заседаний «Альфа-лиры» стала квартира Софьи Михайловны¹⁰. Она писала в основном миниатюры и рассказы о первой, еще скромной любви девушки к богемному юноше, привлекавшему героиню своей непохожестью на пресных молодых людей. При жизни С. Марр ни одной строки из ее прозы не было опубликовано. В середине 1970-х, когда я гостила в ее доме, Софья Михайловна подарила мне два своих рассказа и миниатюру «Маки». Последняя в 2000 г. была опубликована в книге «Фантастический город»¹¹.

Публикуемый ниже рассказ «Как это бывало...» представляет собой машинопись, выполненную С. М. Марр, с авторской правкой чернилами. Название рассказа вписано рукой автора. Текст, написанный в конце 1910-х гг., представляет интерес в контексте популярных в этот период

споров о «современной женщине», в которых тургеневской девушке — к этому типу явно относится героиня рассказа Ирина — противопоставлялась «женщина-танго», не знающая условностей и моральных табу¹². Сама героиня рассказа сравнивает себя с княжнй Мери, а своего соблазнителя то с Печориным, то с влюбленным юношей д'Аннунцио, то с Дон-Жуаном. Интересен рассказ и тем, что в нем запечатлены и отрефлексированы такие события культурной жизни грузинской столицы, как лекции И. Зданевича и А. Крученых¹³.

Архив С. М. Марр после ее кончины был передан в тбилисский Институт рукописей им. К. Кекелидзе. Работа над ним еще предстоит.

¹ Предисловие к публикации: *Марр С. Ю. Н. Марр в Сирии* // Литературная Грузия. 1979. № 11. С. 131.

² *Марр Ю. Н. Статьи, сообщения и резюме докладов*. М.; Л.: АН СССР, 1936. Т. 1, 2.

³ Хакани, Низами, Руставели. Тбилиси: Мецниереба, 1966. Кн. 2; *Марр Ю. Н., Чайкин К. И. Письма о персидской литературе*. Тбилиси: Мецниереба, 1976.

⁴ Подробнее об этом см.: *Мегрелидзе И. Вместо послесловия* // Переписка по вопросам иранистики и грузиноведения. Тбилиси: Мецниереба, 1980. С. 256–258.

⁵ См.: *Марр С. В Тегеране* // «Мацне». Серия языка и литературы. Тбилиси, 1974. № 4. С. 198–207; *Марр С. Ю. Н. Марр в Сирии*. С. 132–144.

⁶ *Марр С. Поездка Н. Я. Марра в Южную Грузию — в Шавшети и Кларджети в 1904 г. и в Лазистан в 1909 г.* Тбилиси: АН Груз. ССР, 1949.

⁷ См., напр.: *Марр Ю. Н. Избранное*: В 2-х кн. М., 1995; *Никольская Т. Юрий Николаевич Марр — заумный поэт* // *Никольская Т. Авангард и окрестности*. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2002. С. 72–85.

⁸ См.: Блок в неизданной переписке и дневниках современников // Литературное наследство. А. Блок. Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 447–448, далее по указателю.

⁹ Татьяна Вечорка — псевдоним, урожденная Ефимова, в замужестве Толстая (1892–1965). Подробнее о ней см.: *Вечорка (Толстая) Т. Портреты без ретуши. Стихотворения. Статьи. Дневниковые записи. Воспоминания*. М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2007.

¹⁰ Подробнее см.: *Вечорка (Толстая) Т. Портреты без ретуши*. С. 10–12.

¹¹ *Михайлова (Марр) С. Маки* // *Никольская Т. «Фанстастический город». Русская культурная жизнь в Тбилиси 1917–1921*. М.: Пятая страна, 2000. С. 156.

¹² Подробнее об этом см.: *Кушлина О., Никольская Т. Предисловие* // Сто поэтов серебряного века: Антология. СПб., 1996. С. 6–9.

¹³ Подробнее об этом в комментариях к рассказу.

С. М. Марр

Как это бывало...

Если кого я люблю, я бешусь порою от тревоги, что люблю напрасно любовью. Но теперь мне сдается, что нет напрасной любви, что отплата здесь верна та или иная. Я любил одного человека, который меня не любил. Но вот оттого я создал эту песню¹.

Уот Уитман

Ш. К.

Неверный нежный, как туман,
А я люблю волну тумана...

Ты лгал, но каждый твой обман
Пьянил, как вздохи Дон-Жуана

Татьяна Вечорка²

Они встретились впервые на одном литературном докладе, касающемся модного течения в поэзии.

Как ни странно, этот доклад, сопровождаемый диспутом, происходил в ресторане, под звон вилок, ножей и хлопанье откупориваемых бутылок. Впрочем, это не смущало ни докладчика, маленького, но бойкого человека, ни его оппонентов — молодых поэтов³. Быть может, это придавало некоторую остроту заседанию, которое вел один довольно известный меценат, как тогда еще говорили.

Она была не одна, вместе со своей сестрой и ее женихом, военным, они сидели за маленьким столиком. Ей очень нравилось здесь: какой-то неудержимый поток радостного оживления бился в ней и трепетал, сквозя в улыбке, блеске глаз, дрожании ресниц. Все казалось здесь восхитительно простым, все пьянило ее: рядом стоящие поэты, обрывки стихов, свободные остроты, смех и взгляды. Ах, вот жизнь!

Небольшое помещение быстро заполнялось народом, было поздно. Входная дверь открывалась все реже, пропуская запоздавших посетителей, звенел колокольчик, настойчиво требуя тишины. Ирина вдруг почувствовала себя уставшей, так всегда, всегда обманывает ее ожидание.

Вдруг она увидела пробиравшегося между столиками высокого и бледного человека. Она посмотрела пристальнее на это бледное лицо с большими темными глазами и вдруг встретила такой странный, волнующий и внимательный взгляд, что у нее даже дыхание захватило. Наклонившись к ней, сестра шепнула: «Это К., в которого влюбляются все женщины». «Вот он какой!» — Ирина скользнула глазами по лицу жениха, как бы сравнивая. Его спокойно-влюбленный вид вдруг рассердил ее. Отвернувшись, она

украдкой посмотрела на того. Он сел близко и глядел на нее. Его настойчивый взгляд смущал и привлекал... Неудобно ведь, но так трудно оторваться от этих глаз. Чего он хочет?! Она полуотвернулась и сделала небрежное лицо, но сердце как будто сжато было чьей-то рукой.

Она попробовала слушать. Маленький докладчик уже выступал с речью. Он говорил, резко отчеканивая каждое слово. Это заставляло вслушаться в надежде, что он скажет что-либо оригинальное, но стоило вслушаться в его тезисы, выбрасываемые в публику как новые истины, которые она, публика, все равно не оценит и не поймет, как сейчас же можно было припомнить нечто, слышанное еще в Петрограде и несколько лет тому назад. Там была «Желтая кофта», здесь, несколько лет спустя — «41-й градус»⁴.

Она вздохнула и посмотрела наискось. Опять она встретилась с этим впивающимся взглядом! Горячая волна опьянительного смущения хлынула к щекам и пробежала по всему телу. Как он смотрит! Отвернись! Но почти сейчас же она повернулась к нему. Какое наслаждение погрузить глаза в его глаза, кажется, что душа уходит вместе со взглядом! Ах, как легко! Бледная, она откинулась на спинку стула, медленно кружилась голова. И, сидя с опущенными глазами, равнодушная к тому шуму, который поднял вокруг себя один из оппонентов, молодой поэт, неуверительность которого искупалась его увлекательностью. Она думала о том, кто казался ей похожим на юношу д'Аннунцио, изнемогающего от любви⁵, с глазами, притягательными, как бездна, с глазами, в которые она не должна глядеть. И неожиданно для себя она подняла на него глаза. Бешеным потоком хлынула кровь к щекам, и радость глубокая и острая, как лезвие ножа, пронзила сердце. Все уплыло куда-то — жених, и приличие, и презрительная надменность, как будто долго сдерживаемый огонь ее вспыхивающих глаз победил ее упорство и, вырвавшись наружу, залил лицо ярким румянцем и зажег искры золота в волосах. Она как будто пила пьянящий напиток, ничего не помня, отдавая себя этим взглядом и улыбкой.

Так прошел весь вечер. Она уехала раньше, взволновав его бессознательностью последней улыбки, которая говорила: «Мне все равно, я тебя люблю».

Ему сразу стало скучно. Она ему казалась прелестной — эта блондинка, робкая и пылкая. Он думал, что должен ее найти, и еще о том, как забавно, что он просидел весь вечер, не сводя с нее глаз и не подходя к знакомым. «Я влюблен», — он вздохнул полной грудью и подошел к соседнему столику. Он был встречен там недоверчивыми улыбками и ревнивым блеском глаз, но его вкрадчивый голос, небрежно-ласковая усмешка и темно-зеленые глаза, которые всем говорили о любви, сейчас же успокоили. На

другой день он еще помнил о ней и на улице настойчиво вглядывался в женские лица, как будто еще жило то чувство нежности, которое он испытывал вчера, но он скоро забыл о ней.

А она? О, она чувствовала себя такой грешницей и все-таки не могла забыть его ни на минуту. Этот вечер и эти взгляды как будто подняли со дна ее души все то томление по любви, которое она прятала глубоко. Ей было стыдно, когда она вспоминала эту дрожь наслаждения, какую она испытала, глядя в его глаза. Вот она какая! Только теперь она поняла, как далеко от любви то чувство спокойной привязанности, с которой она целовала своего жениха при встрече и прощании. И вечером, ложась спать, она отбрасывала все свои дневные обеты... ах, увидеть его на момент, погрузить глаза в его темные очи и почувствовать, как жизнь уходит вместе со взглядом.

Второй раз они встретились на «Интимном вечере поэзии», который происходил в небольшом темном помещении, носившем название «Фанстастический кабачок»⁶. Это была длинная, узкая, низкая комната с неглубокими нишами, стены были украшены неопределенной импрессионистической фанстастической живописью. Комната слабо освещалась тремя свечами, на стенах колебались тени. Ирина неожиданно попала на этот вечер. Только сегодня утром узнала она о нем и вдруг решила идти одна. В глубине души теплилась надежда, в которой она не сознавалась себе. Но она оделась особенно тщательно, выбрала любимые духи, щеки горели...

Он сидел в это время в залитой светом «Чашке чая»⁷, а приятель тащил его в «Кабачок», где даже не разглядишь, хорошенькая ли женщина. Он отговаривался, но так как никому не мог отказать, то лениво поднялся. Ах, как светло вдруг стало в комнате, когда он вошел! Сидя в углу, Ирина тихонько глядела на него. Было тесно. Поэты, поэтессы, сочувствующие и просто публика наполняли комнату.

«Фиолетовый вечер»⁸ начался. Поэт-футурист старался выяснить роль звука «ф» у Игоря Северянина: фиоль, фиолетовый, фиалка, сиреневый, сирень. Эти слова склонялись на все лады. Докладчик, желая быть убедительным, не останавливался и перед довольно рискованными положениями: «Фиалка — символ нежного, все девушки до семнадцати лет пахнут фиалками» и, помолчав немного: «Это проверенный факт, об этом мне говорили художники, они чаще других имели случай наблюдать тело девушки»⁹. Раздался сдержанный смех. Всем хотелось смеяться, но боялись, что это будет неприлично.

Ирина не смеялась, она ждала. Вдруг, повернувшись, он увидел ее, и глаза их встретились, как тогда. «Ах, это ты!», — сказали его глаза и так ярко вспыхнули, что под их пламенем страстно дрогнуло и загорелось сердце. «Да, я... ты рад? Не смотри так...» Ее улыбка, глаза, горячий блеск которых противоречил ее строгому облику, всколыхнули опять в нем нежность и жестокое желание покорить ее. Когда во время перерыва она сделала попытку подняться, с той спокойной грацией, которая отличала его, просто, как и все, что он делал, он опустился рядом с ней на свободный стул и сказал: «Простите, но мне захотелось сесть рядом с вами». Это было так неожиданно, что она сумела только прошептать побледневшими губами: «Пожалуйста». Молчание... «Вы хотели уйти?» — вкрадчиво спрашивает он, — «Здесь скучно?» — «Нет», — она смеется, глаза говорят что-то совсем иное, чем незначительные слова. И вдруг, горячим шепотом: «Ах, как я вас искал тогда, после того вечера... вы помните?» — «Неправда», — также шепотом отвечает она. — «Нет, правда... и сегодня я счастлив, — вы — радость».

Это невыносимо — смотреть в его глаза. Ответным током в ней поднимается бурная нежность, она рвется из ее глаз и рук, теребящих цветков. — «У вас глаза, как звезды...» Она отворачивается и смотрит на поэта, но ничего не слышит, кроме того, как восхитительно бьется сердце. В полутьме он находит ее руку и сжимает ее: «Снимите перчатку». Она пытается отнять руку, но сил нет. Одна половина ее существа, она обычная, сдержанная, борется против той чужой и безумной, которая позволяет сжимать ее руку и слушать те бессвязные слова, которые он шепчет. Та, обычная, побеждает. Она вырывает руку и говорит что-то об уважении. — «А оно вам нужно?», — насмешливо спрашивает он, глядя ей в глаза, и она, как бы почерпав силы для борьбы с самой собой из этих глаз, отвечает искренно и без обиды: «Нет!» Всё это слова, и реально лишь прикосновение горячей руки, взгляд темных глаз... и почему она должна считать все желанное греховным и отстраняться от него?

После окончания он пошел ее провожать. Накрапывал весенний дождь, слабо пахло в воздухе распускающимися листиками. Было темно и пустынно, он целовал ее руки и говорил о радости, которую она дала ему. Он осыпал ее таким хмелем нежных признаний, безумных слов, клятв и восторга, что она совсем потерялась и впитывала тонкий яд его лести, не помня ни о чем. Она попробовала насмешливо отшучиваться, но из этого ничего не вышло, и поцеловал он ее почти без сопротивления. Нет, она пыталась бороться. Она отвернулась, сказала, что не хочет его поцелуев, потому что они — лишнее унижение, но когда он отступил и, приподняв шляпу, сказал: «Ах, так, простите» — она почувствовала себя провинившейся девоч-

кой и на его иронический вопрос: «А много у вас было таких унижений?» — она ответила не взрывом негодования, а покорным: «Никогда». Он сказал, что уезжает послезавтра, и она поняла тогда, как ничтожны все размышления теперь. Когда жизнь летит бешеным потоком, сама жизнь теряет ценность. Она первая протянула ему губы, которых он не хотел касаться, потому что это самое большое счастье, какое она могла бы ему дать, а он хотел длить наслаждение, и, забыв обо всем, она согласилась встретиться с ним завтра, в семь вечера, здесь, на улице.

На другой день он не уехал, но вечером на свидание не пришел. Его задержала встреча с одной женщиной, которая ему нравилась. Он еще не забыл об Ирине, эта игра доставила ему удовольствие. Он знал, что принадлежать ему она не будет, это останется игрой для него. К тому же рядом с ним под руку шла женщина, лукавые глаза и заразительный смех которой и слова нараспев: «Я вас ни за что не отпускаю, ни за что» — волновали его.

Ирина ждала целый час. Дул холодный ветер, леденя сердце. Его не было — значит, он уехал! Она пришла домой усталая и униженная, как ей казалось, потому что женщина не знает таких препятствий, которые помешали бы ей прийти на свидание, если она хочет. Он мог бы не уезжать! Дома ее ждал Владимир. Его нежные расспросы и заботливость вдруг вызвали у нее слезы, и тогда, лепеча слова о прощении и браня себя, она сказала, что не может быть его женой. Она не спала всю ночь. О, какой жалкой эгоисткой чувствовала она себя! Два лица неотступно стояли перед ней — одно любящее и нежное, бледное, невозможное, неотразимое. На другой день, случайно проходя по главной улице, Ирина увидела его. — «Он здесь? Не уехал? И не пришел вчера? Почему? Неужели...?» Она видела, как он шел своей ленивой, раскачивающейся походкой, наклонясь к своей даме так же, как наклонялся к ней. На углу он распрощался и увидел ее. Удивление, как будто радостное, и глубокий взгляд, и пустые фразы: «Я рад вас видеть, как живете?» Она улыбнулась, от боли плохо сознавая окружающее. Ах, она ничего не понимала. Наконец, медленно выговорила: «Я хотела сказать вам несколько слов». Он наклонился к ней: «Посмотрите на меня!» — «Вы и так знаете очарование вашего взгляда. Нет». — Она хотела засмеяться и не могла. — «Вы сердитесь?» — «Сержусь? Вы знаете, никогда ни один человек так не оскорблял меня. Неужели вы этого не понимаете?» Он растерялся и попытался оправдаться: «Я, право, не мог, был занят...» — «Нет, нет, я пошутила, не будем говорить об этом. До свидания, мне на трамвай», — кивнув головой, она исчезла, оставив его со смутным чувством недовольства самим собой. Конечно, она ему нравилась, но ведь ничего особенного и не было! То первое волнение, которое она в нем вы-

звала, давно улеглось. Сколько было таких эпизодов в его жизни! И все проходило. Но им овладело чувство какой-то пустоты и усталости, горькая складка губ стала резче... Не ушло ли что из его жизни и по его вине.

А Ирина? И разве она могла его понять! И плакала она вовсе не от любви... от унижения. Да, унижения, и такого глубокого. Как он мог так поступить?! Как стыдно было ей вспомнить этот вечер и поцелуи, которых она не хотела... сначала. Но как она могла позволить ему расстегнуть ее пальто, касаться ее? Больней всего вспомнить, как его рука скользнула под блузку, как он, сжав ее плечо, прошептал: «Милое плечо». И после этого, после этого, после тех слов он почти не узнает ее на улице, не помнит ее имени?! Она старалась думать о нем холодно и критически: что такое он, чтобы его любить? Он гуляет в своем развевающемся пальто утром и вечером, в нем нет ни суровой мужественности, ни силы. Это — южный человек, для которого праздность милей всего в жизни. Он способен, пожалуй, целые часы перебирать четки, ни о чем не думая. Неужели так со всеми? Безумные слова и взгляды, поцелуи, а потом равнодушие?

Да, она понимает его! Он — Дон Жуан, ненасытимый и легкомысленный обольститель: вкрадчивый голос, бледное лицо, великолепные темно-зеленые глаза и складки горечи у губ... На каждую он смотрит этим взглядом, уверяющим в любви, и сжимает губы одним движением нетерпения и мольбы. И я попала в общую массу. Она содрогалась от обиды, ее гордость была посрамлена. А между тем его лицо, улыбка, голос и теперь еще имеет такую власть над ней! Она старалась не думать и быть совсем равнодушной, веселой, легкомысленной, как он. И она не жалела, что порвала с Владимиром.

Их редкие встречи на улице были мимолетны и холодны, кивок головы и быстрый взгляд. Он иногда вспоминал о ней, но было что-то в этих воспоминаниях, что его беспокоило, и он отгонял их, как бы сопротивляясь чему-то. А ведь он чувствовал своим чутьем Дон Жуана, отзывчивого на любовь, что вздрагивающие ресницы опущенных глаз сияют выдать тайну, которую упрямо бережет сжатый насмешливый рот. Он вспоминал ее закинутую голову, вздрагивающие губы и самозабвенный взгляд в тот далекий вечер, и он знал, что она не сможет с ним бороться, если он того захочет. А что он вообще знал о ней? Ничего. Она была для него чужая и серьезная.

Может быть, она и смеялась над ним, почему он так уверен в себе? Ему легче было с Эло, и она ему все больше нравилась, и она была понятная и своя.

Ирина не встречала его уже целый месяц. Даже этого была лишена, и вдруг ее покинуло обманчивое спокойствие, в которое она драпировалась. Сквозь призму воспоминания и мечты образ его приобрел новое очарование. Она поняла, что любовь для нее непреодолима. Она перестала анализировать, критиковать и останавливать себя. Ничего не знать, не думать, только видеть его, почувствовать взгляд, прикосновение, поцелуй. И вот она увидела его наконец в театре, с молодой девушкой, которая, по-видимому, всецело поглощала его внимание. Никогда, о, никогда Ирина не думала, что можно так страдать от ревности. Он ее видел, но он не подошел к ней. Все его взгляды, улыбки были отданы другой... а она так ждала эти взгляды! Она не выдержала и подошла к нему, когда он был один... «Я сейчас уйду, я должна вам сказать кое-что». — «Ах, я был бы очень рад, но я не один, с дамой». — «Вы сейчас вернетесь». Он колебался: «Неудобно... А что вы мне хотели сказать?!» — «Нет, так я не скажу». — «Скажите», — он наклонился к ней, вкрадчивый голос понизился до шепота. Любовь, нелепая и невозможная, охватила ее всю, и, полушутя, полусмеясь, но голо- сом, в котором дрожали слезы, она сказала: «Я в вас влюблена... смер- тельно». Он взял ее холодную руку: «Это неправда, ведь вы шутите». Она покачала головой: «Правда». Жар его горячей руки и сознание собствен- ного унижения как будто давало ей силу настаивать: «Пойдемте» — «Хоро- шо, я сейчас предупрежу». Он вернулся смущенный, с извиняющейся улыб- кой: «К сожалению, я никак не могу». — «До свидания! Нет, не извиняй- тесь», — и, кивнув головой, она быстро пошла, полная стыда, негодования и любви. Она, как вихрь, прилетела домой, как будто в быстрой ходьбе хо- телла найти забвение. Она старалась утешить себя, представляя комизм собственного положения, но это не помогало. Боль сделалась почти физи- ческой, как будто от головы до ног она была пронзена острой иглой. Она пыталась заснуть, ноющая боль сердца не проходила. — «Невыносимо! Ах не думать, не вспоминать! Интересно, так ли чувствовала себя княжна Ме- ри после признания в любви?» — ее опрометчивые слова вызвали у него лишь довольную усмешку: «Ах, невозможно!». Холодный ум, обвивавший сердце, сжимал ее все крепче, она металась в полубреду, без сна. Любовь, к которой примешалась сладость быть отвергнутой и сознание невозмож- ности счастья, создали эту страсть, вспыхнувшую наперекор всему.

На другое утро, одеваясь, она заглянула в зеркало и усмехнулась, глядя на свое бледное отражение: «Какая я безумная», — и потерла щеки руками, чтобы они порозовели. Полуодетая, она пролежала весь день у себя в комнате. Трудно было шевельнуться: «Все кончено для меня! Как хорошо было в прежнее время, когда уходили в монастырь». Перед вечером она стала лихорадочно одеваться: «Только увидеть его в последний раз!» И когда она встретила его, такого обычного, небрежного и неодолимого, и неизбежного для нее, как смерть, она постаралась спрятаться или отвернуться, как всегда, — лань, влекомая очарованием очковой змеи. Он, увидев ее, сразу подошел: «Вы не сердитесь?» Она посмотрела на него прямо, подняв глаза. Она была спокойна, не колебалась, не думала и не страдала, а просто любила каждой частицей своего существа. Ах, забыть всю обиду, речь, злые мысли и слова, отдать ему всю ту нежность и искупить ее любовь, которую она отдает нелюбящему. «Вы сегодня особенная, — сказал он, вглядываясь в нее, — он вдруг нашел слово — кроткая». — «Да, я вас искала». — «Правда?» — «Да, я люблю вас». — И это звучало совсем иначе, чем вчерашнее поддразнивающее — «Я влюблена».

Он взял ее за руку, она прошептала: «Побудьте со мной сегодня». Что-то несбыточное, непохожее на прежние любовные приключения чувствовал он в этой тоненькой странной девушке, как будто какая-то сила исходила от нее и опутывала его. Она показалась ему сейчас такой прекрасной.

Она не помнила почти, как очутилась у него. Его слова и поцелуи она впивала, как жаждущий холодную воду, зная, что в них гибель, не имея сил отвести жадные уста. Она отдалась ему, замыкая за собой неизбежный и гибельный круг, и счастье было так упоительно, что оно никогда больше не должно было повториться, и для нее уже не было разочарования.

Она отравилась, потому что он не пришел к ней на другой день, а ждать его, искать она больше не захотела.

¹ Эпиграф из стихотворения У. Уитмена «Если кого люблю» С. Марр неточно приводит по переводу К. Чуковского. Однако не исключено ее знакомство с английским оригиналом.

² Татьяна Владимировна Вечорка (1892–1965) — поэт, прозаик, близкий друг С. Марр. Стихотворение написано в конце 1910-х гг. Кто скрыт под инициалами Ш. К., нам не удалось установить.

³ Видимо, имеется в виду сопровождавшийся диспутом доклад И. Зданевича «Заумная поэзия и поэзия вообще», состоявшийся 19 января 1918 г. в помещении ресторана «Имеди».

⁴ «41-й градус» — группа футуристов-заумников, образованная в Тбилиси в 1918–1919 гг., основными участниками которой были А. Крученых, И. Терентьев, И. Зданевич.

⁵ Скорее всего, С. Марр имеет в виду героя произведения д'Аннунцио «Наслаждение» Андреа Сперелли.

⁶ Помещение «Фантастического кабачка», где с конца 1917 до осени 1919 г. собирались русские и грузинские поэты и любители искусства, располагалось на Головинском проспекте — проспекте Руставели в д. № 12.

⁷ «Чашка чая» — название благотворительной организации, отделения которой были открыты во время Первой мировой войны во многих городах. Доходы от продававшихся по завышенной цене чашек чая и других напитков шли в пользу раненых.

⁸ Имеется в виду доклад А. Крученых «Фиоль Игоря Северянина», прочитанный в «Фантастическом кабачке» 5 марта 1918 г.

⁹ Цитата из рассказа, содержащая изложение доклада А. Крученых, и описание «Фантастического кабачка» впервые опубликованы в кн.: *Никольская Т.* «Фантастический город». Русская культурная жизнь в Тбилиси 1917–1921. М., 2000. С. 116; в той же работе можно найти подробную информацию о «Фантастическом кабачке» и группе «41°».

Г. В. Обатнин

«Φιλία» Вяч. Иванова как ракурс к биографии

Нас будет интересовать стихотворение, которое вошло в состав трилогии «Человек», в ее вторую часть «Ты еси»:

Памяти Вл. Эрна

Свершается Церковь, когда
Друг другу в глаза мы глядим
И светится внутренний день
Из наших немеющих глаз:
Семью ли лучами звезда,
Очами ль сверкнул Серафим,
Но тает срединная тень,
И в сердце сияет алмаз.

Начертано Имя на нем:
Друг в друге читаем сей знак;
Взаимное шепчем Аминь,
И Третий объемлет двоих.
Двоих знаменует огнем;
Смутясь, отступаем во мрак...
Как дух многозвезден и синь!
Как мир полнозвучен и тих!¹

Внимательный читатель Иванова без труда определит актуальные для этого стихотворения кон- и интертексты. Ассоциация сердца и алмаза

с подразумеваемым сюжетом преобразования угля в драгоценный камень не нова в его поэтическом творчестве. Отметив символическую значимость упоминаний алмаза в поэме «Человек», особенно в ее части «Ты еси» («Аз и Есмь лучит алмаз...», III, 202; «Я в море кинул свой алмаз!», III, 215; «Свой ему, с печатью „Аз“, / Дашь алмаз», III, 216), такой читатель укажет на разработку этого сюжета в стихах эпохи первой русской революции и русско-японской войны («В огне перегори / И свой Алмаз спаси из черного горнила!», «Цусима», II, 253), поэму «Спор» («Как мертвый уголь, перекален раскалом, / Ожив, родит ковчежец солнц — алмаз...», II, 405), равно как и первое изложение сюжетного ядра в стихотворении «Алмаз» из «Прозрачности» («Мы возблестим, как угля мрачность, / Преображенная в алмаз...», I, 754). Такая живучесть поэтического мотива, привычная для Иванова, его также не будет удивлять — особенно если он еще и обучен правилам чтения символистских текстов. Но и на идейном уровне ничего принципиально нового для себя читатель Иванова в этом стихотворении не встретит. Уже само помещение в раздел под названием «Ты еси» привлекает к его истолкованию хорошо знакомый по одноименной статье и ряду других упоминаний комплекс идей о целеполагании Другого, в том числе в своем собственном сознании, как основе религии, понятой как переживание Бога². Все перечисленные тексты уже были совершенно доступны, когда Иванов в первый раз назначал к опубликованию свое стихотворение, и их повторная разработка составляет один из базовых принципов поэтики поэмы. Это заметил один из первых ее читателей, Ю. Балтрушайтис, писавший Иванову в письме от 14 июля 1915 из Тарусы: «Здесь, среди ржи и сосновых перелесков, вспоминаю твоего „Человека“ и могу только повторить сказанное тебе³. Как не раз говорил, в тебе установилась новая жизнь. Есть образы, есть мысли, есть слова, которые не могут быть подсказаны счастливым исступлением ума или сердца, счастливым наитием, а требуют для своего возникновения тысячи ступеней, общего перерождения по всему объему человека. И таковы твои новые образы, мысли и слова»⁴.

Однако интересующего нас текста в числе прочтенных Балтрушайтисом, возможно, еще не было. В двух архивных собраниях Иванова сохранились беловые автографы этого стихотворения. Как вариант из Пушкинского Дома, так и автограф, перебеленный автором для рабочей тетради в Римском архиве, оба содержат мелкие пунктуационные различия, озаглавлены «Φιλ(α)», датированы 10 февраля и «на 10 февраля»⁵, но без посвящения В. Эрну. Расположение автографа стихотворения в рабочей тетради, датированной февралем-мартом 1915 года (<http://www.v-ivanov.it/archiv/opis-1/karton-5/p03/op1-k05-p03-f00.jpg>) не оставляет сомнений, когда

оно было создано⁶. История написания и публикации «Человека» в общих чертах воссоздана⁷, однако детальное исследование формирования трилогии еще впереди. В письме к В. Шварсалон, находившейся в Анапе, М. Замятина 19 июня 1915 г. сообщала о работе Иванова над «циклом»: к этому моменту, по ее словам, поэт закончил как первую, под названием «Человек», так и вторую, «Люцифер», части — обе из шести стихотворений — и пишет третью, «Эрос», которая целиком будет состоять из «од» («пока написано уже три»). Интересно, что параллельно с этими 15 стихотворениями Иванов «написал еще одно вне цикла (нашел на столе прежние наброски)»⁸. Видимо, «Φιλία», поскольку это уже было готовое стихотворение, в этот базовый цикл не входило, попав в состав поэмы позднее (о вхождении ее в другие циклы см. ниже). В письме, сохранившемся лишь фрагментарно, Замятина сообщала той же корреспондентке: «„Человека“ Вячеслав к половине июля кончил (всего 44 стихотв.<орения>), теперь уже захвачен новой работой», и эти сведения были одобрены в приписке самого поэта⁹. Судя по всему, именно этот вариант Иванов сразу предложил С. Маковскому для «Аполлона». Сейчас затруднительно наверняка сказать, была ли уже включена в него «Φιλία», но в окончательном варианте в соответствии со схемой строения поэмы, растолкованной поэтом Маковскому¹⁰, ей откликается стихотворение «Вождь любящих, звездный Амур...» (III, 212). Оба текста сходны, говоря словами Иванова, «метрико-ритмически» — написаны трехстопным амфимбрахией, но кроме того, используют сплошные мужские рифмы со сложно сбалансированной рифмовкой, создающей ощущение скрытой упорядоченности (АБВААБВА ГДЕЖГДЕЖ и АБВГАБВГ ДДЖЕДДЖЕ), а также разделены на два восьмистишия.

Именно отброшенное заглавие, создавая новый ракурс для старых идей Иванова, сразу привлекает внимание. Сведения о том, что такое филия, означающая одновременно и любовь, и привязанность, и дружбу¹¹, легко находимы — достаточно обратиться к соответствующей статье в энциклопедии А. Паули, ныне доступной онлайн в ряде библиотек. Наиболее известные из греческих текстов, где разрабатывается это понятие, это «Лисид» Платона, а также «Никомахова» (8 и 9-я книги в особенности) и отчасти «Эвдемонова» и «Большая» этики Аристотеля. О разновидностях дружбы писал также Ксенофонт во второй книге «Воспоминаний о Сократе» («Memorabilia», главы 4, 5 и 6), где философ высказывается на темы истинной и ложной дружбы, а также о том, как приобрести истинных друзей, в беседах с Антисфеном и Критовулом. Глава о филии у Аристотеля в книге Д. Констан «Дружба в античном мире» начинается с того, что путаница в переводе этого многозначного, иногда внутренне противоречивого понятия нередко приводила к ошибкам¹². Констан указывает, что противоречие

между тем, что филии не может быть между отцом и ребенком, но может быть между матерью и ребенком, было замечено уже у греческих комментаторов Аристотеля¹³. Переводчица «Нимаховой этики» (1997) на русский язык Н. В. Брагинская, передававшая это понятие как «любовь», «дружелюбие», «дружественность», «привязанность», в частной беседе добавила к этим примерам, что филия может описывать односторонние отношения (он мне любезен, а я ему, может быть, и нет), а также отношения между Зевсом и Ганимедом, который называется *philos*, т. е. ординарным словом «друг». Особый вопрос — отношения между супругами, которые Аристотель как будто и не относит к филии, но, как замечает Констан, например, Плутарх в своем «Письме о дружбе» уже склонен отнести¹⁴. Впрочем, Констан замечает, что в целом греки не склонны были оценивать отношения между супругами как между *philoî*.

Таким образом, Иванов предпочитает в качестве заглавия использовать слово, которому нет точного соответствия в русском языке, и в этом состоит основной смысл его обращения к этому понятию. Вполне возможно, что рациональные аристотелевские дефиниции оснований дружбы (польза, удовольствие и уважение к добродетелям или характеру — взаимные обязанности Аристотель, как и все греки, выводил за пределы филии, относя к привязанности) вообще для Иванова не столь важны, хотя Аристотель и приходит к выводу, что ни добродетель, ни польза, ни удовольствие сами по себе не создают филии, в основе которой лежит желание, привязанность, так как это разновидность любви. С другой стороны, он считает, что уважение к этосу и добродетели является первичным мотивом для любви, т. е. не уникальность отдельного человека, но его черты, общие для всех добродетельных людей. Последнее нас обращает к диалогу Платона «Лисид», где иногда возникают различия между эросом, филией и эпифумией — исследование эроса Сократ продолжил в «Пире». Аристотель даже не исключает утилитарную филию, основанную либо на сходстве характеров, либо на соглашении¹⁵.

Традицию рассмотрения дружбы как союза двух схожих личностей, возможно, в силу ее поверхностной логичности, в XX в. можно рассматривать как расхожее мнение. Примером его может служить книга Э. Фаге «О дружбе», одна из его работ о каждой из десяти заповедей, единственная из переведенных на русский. Показательно, что брошюра Фаге была опубликована в качестве приложения к журналу «Модный курьер» и являлась изданием редакции журналов «Вестник моды», «Детские белье и платья», «Белье и вышивки» и т. п. (и, возможно, потому полна опечаток). В основе дружбы, по мнению Фаге, находится «искание себе подобного»: «Собственное я ищет внешнее я, чтобы из самого себя выйти и самого себя

обрести <...>. Дружба именно и отдает нам самих себя в ту минуту, когда мы сами себя от усталости рады покинуть и в то же время и инстинктивно и бессознательно ищем возможности себя снова обрести», «...дружба не страсть, а отвлечение страсти, перенос на другого чувства, какое питаешь к себе <...>». Умеренное различие между друзьями Фаге все-таки допускает: «Необходимо, чтобы дружба возвращала нам наше я, но не совсем точно, иначе зачем бы и искать второго я»¹⁶. Вслед за Аристотелем Фаге разводит семейные обязанности, которые суть долг, и дружбу — наслаждение. Он упоминает дружбу с животными и обсуждает возможность дружбы мужчины с женщиной, разбирает соотношение дружбы и любви, дружбы и влюбленности, светской дружбы, дружбы из скуки, из ненависти, из любви к одному и тому же умершему существу, базируясь на суждениях философов и моралистов, среди которых нет ни одного грека, — Цицерон, Монтень, Ларошфуко, Паскаль, Ницше, а также на собственном жизненном опыте. На нем же Фаге основывает в основном и способы поддержания дружбы, так сказать, умение дружить (избегать фамильярности, вовремя расставаться, давать возможность ответной колкой шутки и т. д.).

На фоне этого точка зрения Иванова имеет совершенно иную перспективу. Развитие идей о дружбе в философской мысли XX века как раз противостояло рациональной традиции рассмотрения друга как *alter ego*, сосредоточиваясь на дружбе между непохожими личностями и даже включая эту непохожесть как ее необходимое условие¹⁷. Даже в книге Фаге мы находим ссылку на тот фрагмент из Ницше, где друг называется третьим: мы всегда, по мысли философа, находимся в разговоре с самим собой, и друг является нарушить если не одиночество, то эту беседу¹⁸. Кроме того, Заратустра у Ницше назвал друга врагом и предложил любить в нем именно врага¹⁹. Характер отношений Иванова с некоторыми из его близких, например с покорной Ал. Чеботаревской, порой раздражали поэта²⁰. Такая дружба между *ego* и *alter ego* описывалась им как простое отражение одним другого, односторонняя зеркальность. В его поэтической мифологии само смотрение в зеркало, которым Титаны, по орфическому мифу, завлекли Диониса-Загрея, уже есть расчленение, начало принципа индивидуации.

Присмотревшись к тексту стихотворения, можно разглядеть еще один, скрытый мотив, столь же разработанный поэтом. Его инициальный образ подспудно развивает зеркальную метафорику. Подразумевая отождествление глаза с зеркалом²¹, Иванов тем самым сравнивает взаимный взгляд с двумя направленными зеркалами. Образ *speculum speculi* имеет в идейном творчестве поэта насыщенную историю, не раз иллюстрируя идею надперсонального соединения двух людей. Пояснением для разбираемого текста может послужить следующая цитата из статьи «Религиозное дело

Владимира Соловьева» (1911)²²: «Позвольте мне употребить уподобление. Человек, в тварном сознании зависимости познания своего от некоей данности, кажется себе самому похожим на живое зеркало. Все, что познает он, является зеркальным отражением, подчиненным закону преломления света и, следовательно, неадекватным отражаемому. Правое превращается в этом отражении в левое, и левое в правое; связь и соразмерность частей остались те же, но части переместились, фигура отражения и проекция отражаемого тела на плоскости не наложимы одна на другую, в том же порядке сочетания линий. Как восстанавливается правота отражения? Чрез вторичное отражение в зеркале, наведенном на зеркало. Этим другим зеркалом — *speculum speculí*, — исправляющим первое, является для человека, как познающего, другой человек, Истина оправдывается только будучи созерцаемой в другом. Где двое или трое вместе во имя Христово, там среди них Сам Христос²³. Итак, адекватное познание тайны бытия возможно лишь в общении мистическом, т. е. в Церкви» (III, 303). Это возможно при трансмутации, метаморфозе личностей, на что и указывает разобранный выше образ сердца-алмаза. Однако еще до того, в «Спорадах», символ зеркала зеркал использовался Ивановым в контексте полемики с идеями Л. Фейербаха (а также с Ницше и, возможно, с не названным здесь «мэонизмом» Н. Минского) о боге как объективации человеческих свойств: «... что, если мы, глядящиеся в зеркало и видящие ответный взгляд, сами — живое зеркало, и наше зрящее око — только отсвет и отражение живого ока, вперенного в нас? Бросая от себя луч вовне, не приняли ли мы его раньше извне, отразив в своем микрокосме вселенскую тайну? И не в том ли эта тайна, что

...в зеркальной Вечности Набир
Глядит в Зенит зеницею Зенита...

(«Кормчие Звезды», II, 124–125)

По сути, здесь наблюдается та же логика: бог не является всего лишь отражением человека и его, пусть и самых хороших, свойств, но самостоятельной активной силой, требующей взаимодействия. Немаловажно, что выражение *speculum speculí* появляется уже как обозначение раздела в сборнике «*Cor ardens*».

Впрочем, для данного конкретного случая использования этого образа можно подыскать и прямой подтекст. Нам приходилось утверждать, что аллюзий на творчество С. Шевырева, несмотря на все понуждающие к этому обстоятельства, у Иванова не обнаружено²⁴. Однако именно у него находим стихотворение «Таинство дружбы (Будущему другу)» (1828), фрагмент из

которого при желании можно посчитать прецедентным для ивановского текста:

Так в храм души моей чудесный
Мой друг свой чистый взор вперил
И благодатию небесной
Мой мир нечистый посетил,
И он проник в него глубоко,
И дух мой стал ему открыт;
Я мню: в очах его глядит
Творца всевидящее око²⁵.

Уже в стихотворении «Подстерегателью», посвященном В. Хлебникову, лирическое «я» проверяет собеседника проникновением в его взгляд:

Измерить верно, взвесить право
Хочу сердца — и в вязкий взор
Я погружаю взор, лукаво
Стеля, как невод, разговор.

(II, 340)

Финал поэмы «Деревья», посвященной воспоминаниям о совместном пребывании Ивановых и Эрнов в Красной Поляне, возвращает нас к той же ситуации:

Владимир Эрн, Франциска сын, — аминь!
Ты не вотще прошел в моей судьбине.
Друг, был твой взор такую далью синь²⁶,
Свет внутренний мерцал в прозрачной глине
Так явственно, что ужасом святынь,
Чей редко луч сквозит в земной долине,
Я трепетал в близи твоей не раз
И слезы лил внезапные из глаз.

(III, 536)

Упоминание взора Эрна встречается и в частных описаниях их совместной жизни. Например, в письме от 1 октября 1914 г. К. Шварсалону Иванов сообщал: «Все поглощены одним интересом, одной думой — о войне, ей подчинены и главные занятия, и все взгляды и беседы. В общем, у нас в семье светло и хорошо. Много радости и света дает присутствие Володи Эр-

на, — он ведь живет с нами и так глубоко и задушевно любит и ласкает нас каждым своим взглядом, тихий, чистый и мужественный»²⁷.

Ближайшее текстовое окружение в рабочей тетради из Римского архива, частично скопированное в четвертом томе брюссельского собрания сочинений, помещает стихотворение в специфический контекст переживания мыслей о смерти. В самом деле, 5 февраля 1915 г. Иванов пишет сонет «К портрету Баратынского» с терцетом: «За Летою отшедших в даль эпох, / Поблеклые, как Асфодел долины / Он различал, сновидец Мнемосины» (IV, 32, кстати, не прочитанное в брюссельской публикации слово в четвертой строке — «кость»), 7-го — «Памяти Комиссаржевской», далее — недатированные «Плач по убиенным воинам» и «Смерть», а через два дня после «Φιλία» — «Разводную» («Тебе письмо разводное, / Моя старуха-плоть...»). Последние три текста, как кажется, дают три варианта, как побороть эти мысли²⁸. В Пушкинском Доме сохранилась запись (на обороте другого черновика, также брошенного, на обрывке бумаги) первых строк и названий стихотворений, которую можно счесть планом неосуществленного цикла или списком себе на память:

«Острова
Первые откровения
Гиперборейская Быль.
Зефир <?>
Утренние Чары
Все может обручить
Превращение

Mystica.

Агапа
Психея. 1. 2.
Внутренняя Ночь
Во темном, сыром бору
Φιλία
Когда ты говоришь. Семиконечная звезда
Личина»²⁹.

Позднейшее посвящение «Φιλία» памяти Эрна (умер 29 апреля 1917 г.³⁰) намекает на то время особой близости, которая создалась у Иванова с философом: Альтману он признавался, что Эрн на него влиял «больше гораздо», чем Вл. Соловьев³¹. Посылая Флоренскому в письме от 12 июля 1917 г. мемориальную публикацию в так и не вышедший сборник памяти философа, Иванов прямо указывал, что стихотворение было написано, когда он «жил с другом Эрном и ему первому прочтено, ибо втайне оно было посвя-

щено ему. Сладость и свет духовного с ним общения — таков был сокровенный замысел этих строк. Какое-то целомудренное чувство [запретило] воспрепятствовало мне признаться, что я говорю о нем; думается, он молчаливо учуял это сам. Впоследствии это стихотворение было введено мною во второй цикл моей [неизданной] лирической трилогии „Человек”»³². Продолжим цитату по белой рукописи: «Итак, я приношу эти строки да-ню памяти почившего друга потому, что они принадлежат ему и им внуше-ны. Пусть будут они, в ряду заветных воспоминаний, сплетающихся в ве-нок, возлагаемый дружбою на его светлую могилу, свидетельством одного из друзей о внутреннем опыте того очищения, которое производилось его близостью. Нередко, взяв на него, сидящего молча, я должен был с не-малым усилием скрывать внезапно охватывавшее душу непередаваемое волнение, готовое излиться в счастливых слезах: мнилось, из его глаз гля-дели глаза другие, Образ и Подобие Божие в нем сквозили из-за внешних черт несказанным светом, душа [ою овладевали волнение и трепет] трепе-тала и горело сердце [горело ощущением благодатного присутствия...]. В глубине моей любви к молодому другу, пленявшему меня величием духа, чистотою голубиной души и орлиною зоркостью вперенных в Солнце высо-ких дум, таилось благоговение к нему, как носителю иного, нового Име-ни»³³. Какие именно идеи родились из этого общения, еще предстоит досконально выяснять, однако уже сейчас можно указать на две рабо-ты Эрна, очевидно, весьма актуальные для Иванова. Одну из них он об-ширно цитирует в позднейшем предисловии к сборнику рассказов Зи-новьевой-Аннибал — это статья «О природе научной мысли», вышедшая зимой 1914-го³⁴. Поход философа против механистичности понимания природы имел, в его собственной трактовке, антикантовский и антипроте-стантский пафос³⁵, получивший столь мощное развитие в его публицистике начала войны. Кстати заметим, что привлекавшая Иванова мысль Эрна об от-зывчивости природы, способной, в зависимости от взгляда на нее, прики-нуться и механизмом, легко находит свое соответствие с идеями, подразу-меваемыми образом зеркала зеркал: природа здесь как бы отражает взгляд человека, как надир отражается в зените. Рискнем предположить, что рас-суждение философа о том, как Кант, который «с пафосом говорит о звезд-ном небе», а на самом деле «обездушивал и обессмысливал» «вечную сла-ву звездных пространств»³⁶, также могло служить предметом обсуждения с Ивановым, не раз толковавшим «сокровенный» смысл слов «небо» и «не-беса» в евангельском учении, и особенно — в статье «Ты еси» («...иже еси на небеси»), идейном обрамлении для «Φίλια».

Вторая работа Эрна писалась именно в десятых числах февраля 1915 г. в квартире Иванова на Смоленском бульваре — это брошюра «Время сла-

вянофильствует». Так, 8 февраля Эрн сообщал жене: «Я действительно много пишу, но с большим удовлетворением и потому почти без усталости. Теперь работаю над „Время славянофильствует“. Опять замешал густо»³⁷. Именно Иванов вычитывал корректуру книги в конце весны³⁸. Очевидно, что в середине февраля Эрн писал вторую лекцию из тех, что в дальнейшем составили книгу, поскольку первую он уже прочел в конце января в московском РФО. Если первая лекция была посвящена метафизической оценке разделения Европы на сторонников Германии и ее противников, то вторая, начинавшаяся с цитирования ивановского «Стиха о Святой Горе», основывала свою идею на признании за Россией и ее европейскими союзниками начала «вселенского дела»³⁹. На этот доклад Иванова, прочитанный на совместном выступлении с Эрном 6 октября 1914 г., философ ссылался, говоря о «надмении» немцев, неизбежно должном кончиться трагедией, все элементы которой, «по меткому уподоблению Вяч. Иванова», видны в современной Германии⁴⁰. 10 февраля в газете «Утро России» вышла статья Эрна «Что такое форсировка?», интересная совпадением даты ее публикации и создания стихотворения Иванова. Статья была посвящена характеристике германской культуры в целом, и уже во втором абзаце философ ссылался на «Вселенское дело»: «Как говорит остроумно Вяч. Иванов, немцы над всем европейским хотели бы поставить марку: über»⁴¹. Не только каламбур Иванова с припевом известной «Песни немцев» А.-Г. Хоффмана (1841) «Deutschland, Deutschland über alles» понравился Эрну — сами их идеи обнаруживают характерное сходство. Эрн пишет, что немецкая культура занята «форсировкой» своих сил, чтобы непременно обгонять соседей, в то время как гениальность, дух истинной свободы «дышит, где хочет, и машиной, организацией, университетами, учеными обществами его нельзя „вынудить“, нельзя захватить насильственно». Отзвук ивановского стиля здесь заметен в слове «организация», не раз в его статьях столь же каламбурно противопоставлявшегося «организму». По мнению Эрна, внутренняя форсировка немецкой культуры последней четверти XIX в. проявилась в «любопытнейшем сальеризме», когда «Риккертом и Когеном они пытаются убить явление Вл. Соловьева, Гауптманом заслоняются от Достоевского, а ничтожным Зудерманом — от Толстого и Чехова». Внешняя же форсировка состоит в том, что немцы, вместо того чтобы духовно обогащаться от России, забрасывали ее в огромном количестве второсортной продукцией, сравниваемой автором с бурьяном. Меж тем, по его мысли, уже во второй четверти XIX в. Россия в духовном плане начинает решительно преобладать над Германией, а форсированный ввоз чужого продукта, как некогда в случае с Петром I, нарушает естественный ритм русской культуры. Восстание против этого, по мысли Эрна, началось уже до войны,

«и те, кто были более чуткими, чувствовали в воздухе приближение страшной грозы»⁴².

В заключение своей статьи о «форсировке» Эрн, описывая распространенное в «полуобразованных кругах» русского общества, а также «ученой молодежи» «изумление перед мощной динамикой всестороннего немецкого производства», пускал стрелу в Н. Бердяева, посоветовав ему здесь искать материал для своего анализа «вечно-бабьего» в русской душе. В самом деле, солидарность с идеями Эрн после начала войны и особенно на рубеже 1914–1915 гг. означала неизбежный выбор и осложнение отношений с другими мыслителями, не разделявшими напряженного пафоса его патриотической позиции. Впоследствии в беседе с П. Журовым Иванов сам назвал свою поддержку Эрн «мужественным» поступком⁴³. Вдова философа признавалась в письме к Иванову от 31 октября 1917 г.: «Мне всегда казалось, что за любовь нельзя благодарить. На любовь достойно можно отвечать только любовью, и я рада, что могу с избытком ответить на нее. К этому совершенно самостоятельному чувству примешивалось и многое другое. Радость за Вашу дружбу с Володей, радость за ту большую любовь, кот.<орую> я видела у Вас к Володечке. Радость за изумительное понимание его личности, его характера. Ведь Вы были единственным, даже среди его друзей, кот.<орый> понимал и принимал таким, каким он себя являл»⁴⁴. Если с Мережковскими Иванову уже нечего было делить, то расхождение с Бердяевым, важной персоной его петербургского периода и во многом тогдашним единомышленником, несомненно, его волновало, как волновало и семью философа⁴⁵. Об этом свидетельствует письмо Бердяева к Иванову от 30 января 1915 г., где его неприятие поэта в качестве религиозного мыслителя высказано напрямую и, что особенно важно, по просьбе самого адресата. Здесь же философ бросил поэту упрек в том, что Иванову «необходима санкция Эрн или Флоренского», а также в том, что он «стал перекладывать в стихи прозу Эрн»⁴⁶.

Появление имени П. Флоренского совершенно закономерно в фокусе нашего рассмотрения, и не только потому, что он имел отношение к «Христианскому братству борьбы» Эрн — Свенцицкого⁴⁷. Напрашивающийся контекст для понятия «филии» — это одиннадцатое письмо «Дружба» в «Столпе и утверждении истины», и он не раз уже упоминался в трудах А. Б. Шишкина. В самом деле, благодаря Флоренского за его согласие написать послесловие к «Человеку», Иванов писал ему в письме от 7 октября 1915 г.: «Сладостны мне, лестны и любезны»⁴⁸ эти знаки связующей нас, я уповаю, *филии*»⁴⁹. Смысл идеологизации Флоренским филии как христианского чувства лежал не в самом понятии, которое он брал в самом обычном, языковом, смысле, указывая, что уже греческий язык различил четыре

вида любви⁵⁰. Лингвистический анализ этого понятия у Флоренского достаточно бегл, и выводы его априори были известны Иванову. Новация Флоренского не филологическая, а богословская: он придал филии особенное значение, противопоставив его хорошо известному в богословии понятию «кагапе» и придав ему меньшие права на существование в составе христианской этики. Эта новация была не всеми принята. Укажем, например, на мнение С. Соловьева⁵¹, который писал Флоренскому 14 декабря 1914 г.: «Читал наконец Вашу книгу и о многом хотел бы поговорить с Вами при свидании. Особенно возразил бы относительно φιλία. Мне кажется, Ваше понимание очень уж антично и эллинистично. Я скорее согласен с Зелинским, который смотрит на φιλία как на принцип античного, а на *любовь* как <на> принцип христианского мира. Мне кажется, что к любви христианской подходит всего более латинский богословский термин *charitas*, хотя он и суховат»⁵². Тот же упрек Флоренскому адресовал и Бердяев: полагая, что в последних двух письмах, о дружбе и ревности, содержится весь пафос книги, он считал, что Флоренский «оправославливает античные чувства»⁵³.

С Флоренским (давно и близко дружным с Эрном), как указывает Шишкин, Иванов познакомился в 1904 г., но начало настоящих отношений, по справедливому замечанию публикаторов их переписки, приходится именно на осень 1913, а кульминация — на конец мая 1914 г., когда Флоренский после защиты диссертации провел несколько дней в доме Иванова, где уже с 10 мая гостил и Эрн, в беседах по душам⁵⁴. Судя по всему, посвящение Флоренским своей статьи «„Не восхищение непщева“ (Филип. 26: 8) (К суждению о мистике)» (1915) поэту, равно как и в значительной степени критическую реакцию Иванова на эту работу в цитированном выше письме от 7 октября 1915 г., можно соотнести с этими майскими беседами. Существенным нам кажется подчеркнуть, что критика не снимала высокой оценки труда Флоренского в целом. Так, 15 сентября Иванов сообщал В. Шварсалон: «Принес он <Флоренский> свою новую брошюру, посвященную мне. Очень интересная филологическая работа о значении ἁρταχυμός как мистич.<еского> экстаза»⁵⁵. Такое согласие-возражение как форма активного взаимодействия друзей подразумевается филией. Судя по первому известному нам письму Флоренского от 25 ноября 1913 г., инициатива углубления знакомства принадлежала именно Иванову, который попросил Флоренского прислать его статьи. Останавливает внимание, что уже в этом же письме Флоренский описывал свои интимные эмоции во время богослужения, используя теософскую терминологию: «прикосновения тонких перстов» он чувствовал «не у сердца, а ближе к эфирному телу»⁵⁵. Впрочем, придавать большое значение этой доверительности не следует — в «Столе» помещены признания не менее интимные, а кроме того, это письмо

Флоренского несет следы и некоторой дистанции или даже опаски. Косвенным образом свидетельствует об этом письмо к нему М. Новоселова, написанное 11 февраля 1914 г.: «Спасибо за письма. Жаль, что вместо них Вы сами не побывали в Москве. Впрочем, понимаю Вашу боязнь показаться в столице, особенно по водворении в ней Вяч. Иванова»⁵⁷. На второй-третий день по своем приезде 23 сентября Иванов идет к Булгакову, у которого видится со Степуном, Рачинским и Гершензоном. Бывший там же Новоселов, сообщая об этом Флоренскому, кратко добавлял: «Разговор до глубокой ночи велся теософический»⁵⁸. Новоселовский «Кружок ищущих христианского просвещения» и связанные с ним мыслители для Флоренского, судя по всему, представлялись образцом христианской дружбы. В письме к В. Розанову от 7 июня 1913 г. он признавался: «Конечно, московская „церковная дружба“ есть лучшее, что есть у нас, и в этой дружбе полная *coincidentia oppositorum*. Все свободны, и все связаны, все по-своему, и все — „как другие“». Далее, поясняя, почему Новоселов, Булгаков и Самарин мало или совсем не печатаются, он резюмировал: «Весь смысл московского движения в том, что для нас смысл жизни вовсе не в литературном запечатлении своих воззрений, а в непосредственности личных связей. Мы не пишем, а говорим, и даже не говорим, а скорее общаемся. Мы переписываемся, беседуем, пьем чай»⁵⁹.

Разделение в среде московских философов, которое обострилось в первые месяцы войны, своими корнями уходит в полемику вокруг «Столпа и утверждения истины». В середине февраля 1914 г. вся семья Ивановых читала книгу, чтобы подготовиться к докладу Е. Трубецкого 26-го числа в Московском РФО⁶⁰. Кроме того, среди черновых бумаг Иванова сохранилась запись одного из эпизодов прений по докладу (возможно, прочитанному на одном из собраний в его доме), который лег в основу вышеупомянутой статьи Бердяева. Она начинается с того, что автор отказывал Флоренскому в «бытовой простоте и естественности», считая его самого декадентом, а его богословие — «эстетическим уладочничеством». Его Бердяев критиковал как разновидность трансцендентизма, противоположного мистике, каковая, будучи основанной на личном мистическом опыте, есть «имманентизм». Здесь, по мысли Бердяева, кроется преувеличение Флоренским роли догматов в религиозной жизни. Они имманентно раскрываются во внутренней жизни и трансцендентно навязаны духовному опыту. Этому противоречит утверждение самого Флоренского о непризнании никаких внешних критериев церковности, в чем Бердяев усматривал даже не антиномичность, а двойственность его позиции. Антиномичность, в том числе между имманентным и трансцендентным, особенно интересовала Бердяева, считавшего возможным ее преодоление в религиозном опыте.

Рассуждения Флоренского о ней он считал «лучшими страницами его книги, местами очень глубокими»⁶¹. Записи Иванова, очевидно, излагают чьи-то рассуждения по поводу и возражения на доклад Бердяева — положениям докладчика отвечают отделенные квадратными скобками реплики:

«Антиномизм типичен для интеллигенции. Антиномизм избавляет ratio от имманентной разуму религии. Бердяев порвал с объектив<ным> открытием, сочувствует в антиномизме Ф^у. Упадочный дилетантизм — последнее алогизма. Афффект — как пророчественность, пленной мысли раздраженье»⁶². Логический состав догмата.

[Свобода аффекта, декадентский алогизм (Бердяев) — вовсе не признак алогизма.

[О Бердяеве, религиозный субъективизм?

Наклонность Ф^о к алогизму. Неопределенность в термине <?> „Церковь“. Апология бесформенности.

Эстетический критерий церковности у Ф^о.

[Он говорит о церковности!

[Эстетизм Ф — не субъективное начало.

Видно, что Иванова заинтересовало одно из рассуждений Бердяева — о церковности и Церкви. Это можно усмотреть и в его каллиграфических записях, разбросанных по листу, какие обычно делаются в раздумье. В них уже намечена цепочка понятий, ключевых для интересующего нас стихотворения: «Бердяев», δογμα Φιλια Εκκλησια⁶³ φιλειν⁶⁴ φιλημα⁶⁵ εξεταζω⁶⁶ Εξ √ 2 formula fidei Princeps Princeps Račinskij SB Boulgakoff” <на обратной стороне> το ονομα το αγιον»⁶⁷.

Конечно, связь Церкви и дружбы (филии) составляет одну из идей Флоренского, но поцелуй как ее ритуал — ивановский акцент. «Святое имя» — это, конечно, имя Христа, выданного поцелуем, а братский поцелуй не только подразумевается ритуалом Bruderschaft, но является отглагольным существительным от упомянутого тут же глагола φιλείν. Стихотворение, по схеме «Человека» соответствующее нами здесь разбираемому, устанавливало тождество взгляда и поцелуя:

Еще целомудренных уст
Не сплывило «ты» в поцелуй,
А меркнувший выразил взгляд:
«Я душу тебе отдаю! <...>»
(III, 212)⁶⁸.

Кроме того, в ту же поэму «Человек» входит и стихотворение, где вместе с поцелуем, находим и мотив «третьего»:

<...>

Я, затворник немоты,
Слову «ты»
Научился — поцелуем.

В поцелуе — дверь двух воль,
Рай и боль:
«Ты» родилось, — у порога
Третий тихо отвечал
И помчал
Эхом „ты“ к престолу Бога
(III, 211–212).

Речь здесь также идет о персональном религиозном переживании, которое рождается из интерперсонального акта поцелуя. Но Иванов и в жизни любил целовать друзей. Начало этому было положено в «братстве» московских символистов, Бальмонта, Брюсова и Балтрушайтиса, куда весной 1904 г. прибыл Иванов. Позже из этого писатель создал некий миф: написал в «Автобиографическом письме» С. Венгеру, рассказывал на вечере в 1920 г. на одном из диспутов на тему «Литература будущего», устроенных «Звеном»⁶⁹. Как недавно было показано Н. Богомоловым, дело обстоит проще, и упоминание обращения по имени появилось в отчетных письмах Л. Зиновьевой-Аннибал к М. Замятниной далеко не сразу⁷⁰. Еще позднее произошло братание с Бальмонтом, в пьяном дебоше которого супруги Ивановы вынуждены были принять участие. Зиновьева-Аннибал описывала его появление на одной из первых «сред» в письме к Замятниной 15 сентября: «Лицом возмужал как-то, даже почти похорошел, и Вячеслав с ним на ты. Оказывается, когда увидел его, то поцеловал и обратился на ты: „А я думал, ты меня ненавидишь!“, так они в радостной встрече побратались»⁷¹. В разговоре с Альтманом Иванов признавался, что когда-то очень любил целовать черные глаза Брюсова: «...я был одно время в него влюблен, я помню, целовал его глаза (а глаза его черные, прекрасные, подчас гениальные) неоднократно»⁷². К письму Замятниной к В. Шварсалон, датированному по содержанию второй половиной июля 1915 г., Иванов сделал приписку: «Володю целую в уста, Евг. Давыдовне ручку»⁷³.

«Столп и утверждение истины» написан в форме писем к другу, но Флоренский писал и другие письма в это время. В начале 1914-го выходит «Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови» В. Розанова (статьи печатались осенью 1913 г.) с приложением фрагмента из письма Флоренского, напечатанного под его обычным псевдонимом Ω (Омега)⁷⁴.

Оно начинается весьма характерным образом: «В том-то и дело, дорогой Василий Васильевич, что последние годы идет какой-то сплошной экзамен русскому народу, и на экзамене этом русский народ ежеминутно проваливается. <...> я никогда не примирюсь с тем, что и народ русский и церковь русская терпят и переносят *пошлость*». Прервем цитату, чтобы пояснить, что один из смыслов для пошлости у Флоренского выяснится более ясно, если сопоставить его с соответствующим фрагментом седьмого письма под названием «Грех» из «Столпа и утверждения истины». Здесь Флоренский пишет о Дьяволе-Мефистофеле, который, являясь «рассудком по преимуществу», «все делает плоским и пошлым»: «Дьявол-Мефистофель, этот Чистый Рассудок, и есть Чистая Пошлость; потому-то он и видит одну только глупость»⁷⁵. Зная это, дальнейшее перечисление Флоренского можно читать уже как признаки дьявольского в общественной жизни: «Размазня после революции в политике; размазня после автономии в университете и вообще в школе; позитивизм церковный, так ярко выразившийся в афонском деле <имеется в виду имяславие>; наконец, это полное непонимание религии, какой бы то ни было, это подхалимство пред „адвокатом“ в деле Бейлиса — это для меня ужаснее всяких других исходов. Какая-то серая липкая грязь просачивается всюду»⁷⁶. Последняя фраза привлекает одно из распространенных цветовых обозначений дьявола, серый пыльный цвет, символика которого именно в этом аспекте была разработана ранним русским символизмом (в первую очередь Мережковскими и Сологубом). Заканчивается пассаж Флоренского характерно: «Не это ли *кончина мира?*» В разворачивающемся в подстрочных примечаниях диалоге между ним и Розановым слово «пошлость» появляется еще раз: вражда между русскими и евреями нужна, по мнению Флоренского, чтобы «выколачивать жидовство из Израиля», а его «гнусность» оттеняет непорочную белизну Церкви Христовой: «...А мы *за это* должны колотить Израиля, чтобы он опомнился и отстал от пошлости»⁷⁷. Опасность Флоренский четко определял в другом письме к Розанову, написанном через два дня после цитированного выше письма к Иванову: «...черная магия всех видов, чернокнижие, весь темный оккультизм, — все это всегда шло с Востока, и именно от семитов. Затем масонство и современные оккультные ложи — это опять на почве жидовской мании, опять порождение иудаизма»⁷⁸. Неудивительно, что работу Розанова он оценил высоко: «Мне думается, что эта книга сыграет значительную роль в истории ритуальных процессов»⁷⁹. В качестве контрапункта к этим мнениям напомним, что Иванов, возражая 26 января 1914 г. против исключения Розанова из состава членов РФО, назвал его умозаключения по делу Бейлиса «гнусными выходками», а заявления — «парадоксальными, более того, отвратитель-

ными, внушающими глубокое омерзение»⁸⁰. Однако филии подобные расхождения не мешали.

Но не только Флоренский видел в это время сатанинскую опасность — представляется, что это было свежим настроением в предвоенной Москве. Один из первых текстов самого Иванова, написанный, видимо, по его возвращении, — оставшаяся неопубликованной статья «Символизм и фальсификация», где он, как бы отводя возможные упреки от Р. Штейнера (напомним, что статья была ответом на статью Н. Брызгалова⁸¹), истинной фальсификацией называет «черную мессу»⁸². «Злободневная» повесть Г. Чулкова «Сатана»⁸³, вышедшая в 1914 г. в пятой книге альманаха «Жатва», а также изданный осенью 1913 г. роман П. Карпова «Пламень»⁸⁴, поднимали тему «другой России», населенной кровожадными антисемитами и терроризируемой девиантными сектами. Специализировавшееся на модных темах издательство «Заря» выпустило кокетливый сборник «Образы сатанизма» (М., 1913), где наряду с переводной литературой были помещены работы многих знакомых Иванова (Арцыбашева, Брюсова, Маковского, Сологуба и Гумилева) и целая серия иллюстраций Ф. Ропса. Все это бросает свет на загадочное восприятие творчества П. Пикассо по образцам частной галереи С. Щукина. Уже в статье Бердяева 1914 г. в журнале «София», позднее перепечатанной в его сборнике «Кризис искусства», Пикассо рассматривался как симптом «космического расплывания и распыления» и «ускорения времени», «небывалого, катастрофического движения», а весь футуризм «как свидетельство апокалиптического времени»⁸⁵. Далее это получило распространение: Я. Тугендхольд в своем эссе о Пикассо сравнил его мастерскую с кабинетом «черной магии», где не было ни одного цветного пятна⁸⁶. Через год появилась статья Булгакова «Труп красоты», отрецензированная в «Бюллетенях литературы и жизни» под названием «Демонизм в искусстве»⁸⁷. В самом деле, из картин Пикассо, женских портретов в особенности, где «тело потеряло свою теплоту, жизнь и аромат, превратившись в фигуры, в геометрию, в глыбу», по мнению Булгакова, «струится мистическая сила» «демонического характера», «мистическая жуть и тоска»⁸⁸. М. Морозова самого Иванова первоначально восприняла как «темного вампира»⁸⁹. В воспоминаниях Н. Крандиевской рассказан эпизод, как на масленицу 1914 г. А. Толстой, сидя на ванне с крышоном, поведал ей, что «близок конец мира»⁹⁰.

В 1913 г. в «Мусгаете» выходит «Арийское мирозерцание» Х. С. Чемберлена. Несмотря на то, что, как заметил еще М. Юнгрен, Чемберлена Метнер прочел уже в 1906 г., издание его именно в 1913 г. о чем-то дополнительно свидетельствует. Издавая классика антисемитизма, Метнер конечно, знал, что это будет не первое его сочинение, переведенное на рус-

ский. Все предыдущие переводы выходили в издательстве А. С. Суворина: и «Явление Христа», и извлечение из книги Чемберлена «Основы девятнадцатого века» («Grundlagen der XIX. Jahrhundert») с характерным названием «Евреи, их происхождение и причины их влияния в Европе» (1906, в оригинале называлось «Вступление евреев в западноевропейскую историю»). Только критика книги Чемберлена, брошюра Ф. Оппенгеймера (1908), была издана, разумеется, в другом издательстве. Не имея в виду принять участие в развернувшемся в иванововедении обсуждении особенностей отношения его к еврейскому вопросу, сошлемся на уже преданное огласке свидетельство Метнера, как Иванов, не называя имени, хулил Чемберлена⁹¹. Напомним, что в «Арийском мирозерцании» автор предупреждал не только против «семитического духа», утверждая, что «от всякого, даже самого отдаленного, соприкосновения» с ним осталось свободным одно только древнеиндусское мышление. Антисемиты, по мнению Чемберлена, пускают, что чистых семитов не бывает, а также то, что врагов гораздо больше, чем семитов. Их происхождение Чемберлен ведет от тех скрывшихся в горах народов, в которых «врезались» европейцы («индогерманцы»). Будучи поработченными, они все же, благодаря физической и особенно сексуальной силе, «пропитывают основной германский ствол». Типичный их представитель — Игнатий Лойола, баск, и он еще опаснее, чем евреи. К этому добавляется влияние монгольского элемента, который приводит к уменьшению объема мозга (один из излюбленных «научных» аргументов этого автора). В общем, нам надо готовиться: «Целым столетием пожертвовали мы ради какой-то до нелепости неограниченной терпимости <...>»⁹².

В этом контексте надо рассматривать и отношение Иванова к антропософии. В письме от 1 ноября 1913 г. С. Булгаков, судя по всему суммируя впечатления о том посещении, которое упоминалось выше, сообщал А. Глинке об ивановских настроениях: «Злоба дня для него, конечно, Штейнер и штейнерианство, об этом всего больше говорится»⁹³. Письмо Флоренского к Иванову от 1 апреля 1914 г. содержит рассуждение о том, кем бы мог быть Иванов: «Если бы он был шарлатаном — он сделался бы Штейнером»⁹⁴. Внимание Иванова к антропософии в это время было обусловлено не только увлеченным погружением в нее супругов Бородаевских и не только организацией в декабре 1913 г. Русского антропософского общества. В стихотворении «Φίλια» говорится о церкви как мистическом опыте, «человеческой стихии церковности», если воспользоваться словами Бердяева о Флоренском. Но идея собственного, отдельного от Штейнера, мистического пути, выпестованная А. Минцловой, овладела Ивановым уже ранее, а в 1913 г. могла быть подогрета недавним отказом Доктора от зна-

комства с поэтом (некогда столь важное место уделявшим богоборчеству как основе мистики). Вот письмо Е. Герцык к В. Гриневиц от 13 февраля 1908 г.: «Он <Иванов> хочет и верит, что будет религиозным реформатором, он уж намечает себе новый, небывший путь в мистике — не одинокий, а общинно-мистический». А в другом письме, от 5 марта, она пересказывает разгром Ивановым Штейнера и вообще всей современной теософии за «недостаток мистического чувства»⁹⁵.

В поисках этой общины Иванов не только возобновил старые (Флоренский) и завел новые связи (дружба с Л. Шестовым) в философской среде, его явно интересовала и московская литературная молодежь. Первого ноября С. Шервинский сообщал А. Сидорову в Мюнхен: «Недавно был и у Брюсова и познакомился там с Вячеславом Ивановым. Он произвел на меня очень умное впечатление. Его блестящая речь, насыщенная ученостью и смягченная добродушной улыбкой, невольно запоминается. Он очень интересуется футуризмом, и Вадим Шершеневич читал ему стихи (кстати, мне не понравились)»⁹⁶. Шервинский имел непосредственное отношение к издательству «Лирика», выпустившему уже летом 1913 г. альманах с эпиграфом из Иванова. В «Лирике» тон задавали поэты-антропософы Ю. Анисимов и В. Станевич, осенью 1913 г. также вернувшиеся из-за границы⁹⁷. К. Локс, входивший в этот кружок, запомнил Иванова в обстановке московской квартиры Анисимовых, с которой они съехали уже в октябре 1913 г. Видимо, религиозные интересы Анисимова, полно выразившиеся в его поэтическом сборнике «Обитель» (1913), мотивировали обращение к «Часослову» Р.-М. Рильке, к переводу которого Иванов обещал, но не закончил предисловие⁹⁸.

Однако общение Иванова с Анисимовым интересно и в связи с неизвестным эпизодом несостоявшейся дуэли между ним и Пастернаком в конце января 1914 года⁹⁹. Преданные гласности материалы из архива С. Дурылина ярко свидетельствуют о неслучайности «стилистически-этнографических», по словам Пастернака, настроений, нараставших в этом обществе¹⁰⁰. Суть разногласий он позже объяснил в письме к Боброву от 27–30 апреля 1916 г.: «Прежде меня задевало то, что Юлиан мне колол *отдаленными догадками* о том, не еврей ли я, раз у меня падежи и предлоги хромают (будто мы только падежам и предлогам только <sic!> шеи свертывали)»¹⁰¹. Дело дошло и до Дурылина, который в письме Пастернаку от 1 февраля 1914 писал в узнаваемом стиле: «Я ненавижу ту интернациональную нивелировку под уровень коммивояжерской культуры, которая грозит все истребить и засалить. Литература тонет в панжурнализме, Скрябин — в Р. Штраусе, русское искусство в бесчисленных дантистах и адвокатах, судящих его и ему причастных. Распыление расовых культур (германской, суровой, мыслительной — латинской — славянской — восточных)

в какую-то всекультуру — есть угроза творчеству и жизни»¹⁰². Интересно, что даже когда Дурылин убеждает Анисимова в талантливости гипертрофированной образности Пастернака, он неточно цитирует строку из дифирамба Иванова «Огненосцы» (1909): «Из хаоса родилась — гляди, гляди: Звезда!»¹⁰³ Оставим пока без комментариев фрагмент весьма критического отзыва Иванова о поэтическом творчестве Б. Гуревича, сохранившегося в черновике письма к пока не установленному адресату: «Обладание русским языком лишь очень поверхностное, безусловно недостаточное <...>»¹⁰⁴.

К опасностям от семитов (дантистов, адвокатов) и сатанистов надо добавить и восточный вопрос. О соловьевских ожиданиях врага с Востока в новоселовском кругу нам уже приходилось мельком говорить¹⁰⁵, приходилось указывать и на числящийся в списках библиотеки Иванова одесский сборник «Вселенское дело» (1913) как на один из возможных источников для заглавия статьи Иванова, первой его печатной реакции на войну. Иванов был приглашен в это издание его редактором И. Брихничевым, который, называя адресата Вячеславом Константиновичем, попутно сообщал в письме от 14 октября 1913 г.: «Вас тоже специально посещал в Петербурге на Таврической А. К. Горностаев с твердым намерением убедить Вас принять участие в сборнике, но и ему, как мне в 1910 году, — не удалось повидать Вас»¹⁰⁶. Книга А. Горностаева (Горского) «Глубоким утром», вышедшая осенью 1913 г., интересна нам не только тем, что числится в библиотеке Иванова с дарственной надписью автора¹⁰⁷, но в первую очередь своим предисловием. В нем «федоровец» Горский обнаруживает чувство приближающейся катастрофы: «Еще судится всюду о восточном вопросе, но уже поется только о восточном ответе. Блаженны мы все, высоких зрелищ зрители, великих тайн советники, мы, позванные в мир в эти минуты, когда так истомилась по Заветному Слову живая сила естества, что все изрекаемое мгновенно становится роковым. Жизнь и смерть в наших руках, выберем что повелеть». Горностаев цитировал стихотворение В. Соловьева «Дракон» и провозглашал: «...нельзя мечтать о вечном мире до истребления Последнего Врага <...> превратить Стамбул в Царьград дано будет <...> встающей правде Востока Нового, грядущей крестоносной рати <...>»¹⁰⁸, а предчувствиям этого посвящены многие стихотворения книги. Интересно также, что одним из симптомов грядущей борьбы Горностаев считал кризис символизма: «Вчера еще знамя символизма всюду победно развевалось над поэзией, осознавшей свою цель. Не случаен и сегодняшний плач о кризисе символизма. Ищут печати — приложить ко лбу раннего покойника»¹⁰⁹. Помещенное в сборнике стихотворение «Утро пятницы» отсылало к полемике среди символистов в 1910 г. и было обращено к Брюсову: эпиграфом стоит цитата из его статьи в «Аполлоне», а также из стихотворения «Зерка-

ла теней». Брюсову Горностаев отказывал в праве быть апостолом символизма: «Ты не был с ними! Поздно поняли, / И видим: ошибались мы...»¹¹⁰.

Как видно из этих цитат, риторика войны была уже готова, и недаром Иванов в дальнейшем позаимствовал название одесского издания, характерное для стиля Брихничева, но, возможно, в своих истоках восходящее к словоупотреблению В. Соловьева. В качестве примера актуальности восточного вопроса в предвоенной Москве сошлемся на публичную лекцию В. А. Гурко¹¹¹ под названием «Белая опасность», прочитанную 31 января 1914 г. и вышедшую отдельной брошюрой. Посвященная завоеванию белым человеком Востока, она открывалась характерной фразой: «Мы являемся свидетелями великой, быть может, последней борьбы между Востоком и Западом»¹¹². Гурко последовательно развенчивал расхожие представления европейцев о Востоке: угнетенное положение женщины и азиатскую жестокость, указывая на варварство союзников во время Второй Балканской войны и на то, что магометанские массы приютили испанских евреев, поляков и египетских монофизитов, т. к. в Коране нет нетерпимости к другим нациям. Основной предрассудок, по мнению Гурко, состоит в том, что цивилизация есть непременно западное или европейское изобретение. Он, последовательно сравнивая метафизику, мистицизм, науки и историзм Запада и Востока и не раз ссылаясь на труды султана Абу-аль-Гамида и других деятелей «панисламизма», приходил к выводу: «Все мы, конечно, многократно слышали о „желтой опасности“, якобы угрожающей западной культуре и притом в самом непродолжительном времени, от народов Азии. Но вот прошло несколько десятилетий после приглашения этой опасности... И что же мы видим?» Целые области и страны завоеваны как раз европейцами: «Наблюдая эти факты, мы можем скорее говорить о „белой опасности“, угрожающей уже реально и притом уже теперь Востоку <...>»¹¹³. Интересно, что с начала Первой мировой войны Гурко в ряде повременных изданий вполне «правоверно» писал о зверствах немцев. Например с ноября 1914 г. он сотрудничал со «Свободным журналом», где поместил несколько статей, критически переоценивающих мелочность знаменитой германской науки и мегаломанию немецкого искусства и философии¹¹⁴. Последнее перекликается с тем замечанием Иванова о влечении немцев к «*über*», которое столь заинтересовало Эрна — недаром Гурко, говоря о государственном идеале германцев, вспоминает «песенку Гофмана фон Фаллерслебена»¹¹⁵. Перечисляя примеры упадка и пессимизма в современной германской культуре, Гурко в другом месте ссылаясь на пока нами не идентифицированную брошюру Чемберлена, где было развито сравнение немцев с китайцами на основе их пристрастия к миру материальной культуры — мысль, казавшаяся настолько органич-

ной для Иванова, высказавшего ее в статье «Россия, Англия и Азия», что она ранее не нуждалась в контекстуализации¹¹⁶.

Таким образом, «приближение страшной грозы», о котором позже писал Эрн, и в самом деле ощущалось в Москве 1913–1914 гг., и противостоять грядущему можно было только дружно. Ключевые тексты Иванова эпохи начала войны ретроспективно об этом свидетельствуют. Если «Человека» можно назвать ивановской «антропософией», то «Прометей» по самому смыслу главного образа касается именно вопроса о «надмении». Не исключено, что давний замысел Иванова, к которому он неоднократно возвращался, из размышлений над теперешней Германией получил недостающий импульс к завершению. В письме к Игорю Северянину Иванов указывал на «торжественно-смирненное» провозглашение истинным поэтом ограниченности своей деятельности: «вот что я сделал, большего же сделать — и хотел, да не удалось», что, по его мнению, поэт (Пушкин) говорит, предчувствуя близкую смерть¹¹⁷. Это соображение интересно тем, что составило одну из концептуальных констант в трагедии «Прометей», подготовленной к печати в конце 1914 г. Признание ее протагониста «Что мог, я сделал; большего не мог» Иванов в предисловии, добавленном к отдельному изданию в 1919 г., называет «выстраданным»¹¹⁸. В трагедии оно произносится Прометеем в нескольких ключевых сценах. Например, в третьем явлении, признавая пока еще не очевидную зрителям, но ясную ему самому неудачу своего дела и отпуская коршуна со своего плеча, которому будет далее назначено клевать ему печень. В другой раз — когда один из избранных им огненосцев, которым назначено в дальнейшем хранить огонь, Автодик, пронзает себя копьем, не желая смириться со смертью своего друга Осфельта, задранного львом:

Себя творить свободных сотворил я.

Что мог, я сделал; и не мог иного...

(II, 126)

Наконец, во втором явлении Прометей, которому уже тяжела работа молотом, все-таки устанавливает две железные колонны перед алтарем (зная свою судьбу, он хочет приготовить чертог, где будет храниться огонь после того, как его закуют). За этой работой он разочарованно рассуждает о человеческом роде, который он создал и который совсем не рад своему существованию, успокаивая себя все той же фразой:

Но бóльшого не мог соделать я:

Что́ мог, соделал, — и ко благу все!..

(II, 131)

Немаловажно в этой связи, что Прометей обладает даром предвиденья. Пандора в своей речи к людям говорит, что это отличало уже род Иапета, отца Прометея, от других Титанов, более известных своим буйным нравом. Один из композиционных принципов драмы состоит в том, что с самого начала в ней идет игра между абсолютной компетенцией протагониста и недостаточным знанием читателя.

Подобно тому, как зритель понимает все приготовления Прометея или реплики Фемиды только в конце трагедии, так и зритель европейской истории начал понимать опасения определенных московских интеллектуальных и творческих кругов только после августа 1914 г. Поэтому предисловие, которым Иванов снабдил отдельное издание своей трагедии, задача которой, по определению Аристотеля, состоит в подражании действию, является истолкованием уже состоявшегося пророчества. Давая своему произведению новое название (вместо «Сынов Прометея» оно станет просто «Прометеем»), Иванов выделяет в нем теперь именно то, что наиболее подходит к 1919 году: трагедию всякого «действия», своего рода «философию поступка», если воспользоваться названием незавершенной работы М. Бахтина, также создававшейся в начале 1920-х.

¹ Иванов В. Собр. соч. Брюссель, 1987. Т. III. С. 215. Далее ссылки на это издание будут даваться в тексте с указанием номера тома и страницы.

² Размышление над ними, равно как и связанная с этим оценка отношения Иванова к Плутарху, стали топосом в ивановедении и околотивановедческой литературе. Но среди работ Д. Уэста, В. Библихина, Р. Бёрда и прочих (до нашей включительно) безусловный приоритет принадлежит сопоставлению ивановских и бахтинских идей в статье: *Котрелёв Н.* К проблеме диалогического персонажа (М. М. Бахтин и Вяч. Иванов) // *Культура и память. Третий международный симпозиум, посвященный Вячеславу Иванову. II. Тексты на русском языке.* Флоренция, 1988. С. 94.

³ Ср. замечание в письме М. Замятниной к В. Шварсалон от 26–27 июня 1915 г.: «Юргис бывал у нас каждый день, а раз мы у них обедали, там было большое сравнительно общество: Татьяна Федор.<овна> Скряб.<ина>, Бальмонт, Ремизов, Меерхольд <так!>, Гнесин, Сабанеев, Шапошников (модный красавец, московский купчик)» (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 20. Ед. хр. 5. Л. 34).

⁴ НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 12. Ед.хр. 3. Л. 10 об.; через два дня, 16-го он еще раз поздравлял поэта с завершением «Человека». Л. 12.

⁵ ИРЛИ. Ф. 607. № 54; РАИ. Оп. 1. Карт. 5. Тетрадь 3. Л. 3 об. (см.: <http://www.v-ivanov.it/archiv/opis-1/karton-5/p03/op1-k05-p03-f03v.jpg>), сохранился также список рукой О. Шор, см.: <http://www.v-ivanov.it/archiv/opis-1/karton-5/p23/op1-k05-p23-f30.jpg>

⁶ Сведения о первоначальном заглавии и дате были опубликованы в: Переписка Вячеслава Иванова со священником Павлом Флоренским / Публ. игумена Андроника

(А. С. Трубачева), Д. В. Иванова, А. Б. Шишкина // Вячеслав Иванов: Архивные материалы и исследования. М., 1999. С. 109.

⁷ См.: Шишкин А. Б. К истории поэмы «Человек» Вяч. Иванова // Известия Академии наук. Серия литературы и языка. 1992. Т. 51. № 2. С. 47–59.

⁸ НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 20. Ед. хр. 5. Л. 29.

⁹ Там же. Л. 47.

¹⁰ Письмо от 23 июля (Переписка Вяч. Иванова с С. К. Маковским // НЛО. 1994. № 10. С. 150).

¹¹ Поскольку дружба относится к числу базовых культурных понятий, мы имеем дело с особой категоризацией действительности. В книге А. Вежбицкой «Понимание культур через посредство ключевых слов» (1997, рус. пер. 2001) отдельная глава посвящена русскому, английскому и австралийскому пониманию дружбы. Создается, что нам пока остались недоступными материалы итальянского симпозиума, посвященного понятию дружбы в европейском контексте (1995), который упоминается в статье: Валентини Н. Понятие «дружба» в трудах П. А. Флоренского // На пути к синтетическому единству европейской культуры. Философско-богословское наследие П. А. Флоренского и современность. М., 2006. С. 71.

¹² Konstan D. Friendship in the Classical World. Cambridge, 1997. P. 68. По сведениям Д. Калугина, уже в Древней Руси его переводили и как «дружба», и как «любление», см.: Калугин Д. История понятия «дружба» — от Древней Руси до XVIII века // Дружба: Очерки по теории практик / Науч. ред. О. Хархордин. СПб., 2009. С. 198–199.

¹³ Konstan D. Friendship in the Classical World. P. 69.

¹⁴ Ibidem. P. 71.

¹⁵ Констан ссылается при этом на мнение ученых, которые исследовали практику договоров в Афинах, зачастую основанных именно на неформальных финансовых соглашениях (Konstan D. Friendship in the Classical World. P. 78–79).

¹⁶ Фэге Э. О дружбе. СПб., 1912. С. 4, 36, 5.

¹⁷ Анализ этого ницшеанского в своих истоках комплекса представлений у Ж. Дерриды и М. Бланшо см. в работе: Хархордин О. Дружба свободных умов: возможно ли ницшеанское сообщество? // Ницше и современная западная мысль: Сб. статей / Под ред. В. Каплуна. СПб.; М., 2003. С. 245–248, а также: Хархордин О. Дружба: классическая теория и современные заботы // Дружба: Очерки по теории практик. С. 30–34.

¹⁸ Фэге Э. О дружбе. С. 31.

¹⁹ О концепции дружбы у Ницше см.: Хархордин О. Дружба свободных умов. С. 216–236.

²⁰ Посвященное ей стихотворение «Осенью» («Повилики белые в тростниках зеленых...») было в писано в альбом Чеботаревской (ИРЛИ. Ф. 189. № 202. Л. 3). Объясняя Альтману значение повилики как символа верности (Альтман М. Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 100), Иванов, возможно, имел в виду и его традиционный, известный уже в традиции барочной эмблематики, смысл.

²¹ Это было характерно для поэзии Иванова, примеры см.: Минц Э. Г., Обатнин Г. В. Символика зеркала в ранней поэзии Вяч. Иванова (сборники «Кормчие звезды» и «Прозрачность») // Зеркало. Семиотика зеркальности. Труды по знаковым системам. 22. Тарту, 1988. С. 60–61 (Уч. зап. ТГУ. Вып. 831). Отметим в этой связи, что Иванов, назвав глаза «немыми», заранее отмечает возможное истолкова-

ние происходящего в качестве куртуазного «языка взглядов», перемещая на периферию интерпретационных средств и расхожую метафору «глаза — зеркало души».

²² К ее публикации в сборнике памяти философа В. Эрн имел самое непосредственное отношение, см. его письмо к Иванову от 18 декабря 1910 г. (Литературное наследство. М., 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 474).

²³ Этому фрагменту из Мф. 18: 20, на который намекает Иванов, слишком мало, на наш взгляд, отведено места в недавней попытке проследить историю тройственных опытов в биографии и их обоснования в творчестве Иванова: *Паперный В.* Вяч. Иванов между Чернышевским и Беме // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. VI. Новая серия. К 85-летию Павла Семеновича Рейфмана. Тарту, 2008. С. 215.

²⁴ *Обатнин Г. В.* Локус и топос городского текста // *Соп аторе: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой.* М.: ОГИ, 2010. С. 426–427.

²⁵ *Шевырев С.* Стихотворения / Вст. ст., ред. и примеч. М. Аронсона. Л., 1939. С. 58. Не исключено, что интерес к Шевыреву, помимо прочих обстоятельств, мог быть подогрет той борьбой за актуальность идейного наследия славянофилов, которую вел Эрн. В порядке проблематизации надежности этой интертекстуальной связи отметим все же мотив вглядывания в глаза друга в стихотворении А. Белого: «Вперив друг в друга очи голубые / у очага за чашами сидели» («Старинный друг», 1903).

²⁶ Познакомившись весной 1913 г. с Ю. Верховским, Эрн сразу отметил его «ясные, голубые, хорошие, как у Волжского» глаза (Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных философов в письмах и дневниках. М., 1997. С. 535). Отметим попутно, что мотив небесного/синего взора (в цитате из «Деревьев» слитый с романтическим штампом «голубой дали»), который составляет необходимый компонент в упомянутых текстах Шевырева и Белого, в финале комментируемого стихотворения находим в намеренно парадоксалистской характеристике мистического состояния («Как дух многозвезден и синь!»), в которой можно усмотреть скрытый символ дневной звезды.

²⁷ НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 44. Л. 1 об.

²⁸ Неудивительно, что название «Φιλία», правда, зачеркнутое, находим в неосуществленном плане сборника (не ранее осени 1917), который должен был состоять из четырех частей (Лира, Ось, Колесницы — и Кошница) во второй его части между стихотворениями «Семиконечная звезда...» (дата 30 января 1915, IV, 32) и «Разводная» (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 2. Ед. хр. 71. Л. 1 об.).

²⁹ ИРЛИ. Ф. 607. № 203. Л. 133 об. Некоторые из упомянутых здесь стихотворений Иванова планировал включить в подборку, часть которой составила цикл «Мой дом» (ОР РНБ. Ф. 304. Ед. хр. 47. Л. 3, опубл.: Русская мысль. 1916. № 9): «Психея-скиталица» и «Психея-мстительница» (III, 549), «Агапа» — «Вечеря любви» (III, 554–555) и упоминавшаяся «Семиконечная звезда...». Поскольку «Φιλία» не попала в «Мой дом» даже в его первоначальном составе, остается предположить, что она уже была включена в «Человека». Поясним остальные тексты пушдомовского «мистического» миницикла: «Внутренняя ночь» — «Внутреннее небо», «Во темном сыром бору...» — «Владычица Дебреньская», «Когда ты говоришь...» — «Смерть», «Личина» — «Разводная».

³⁰ От внимания Иванова, наверняка, не ускользнул тот факт, что последней напечатанной при жизни работой Эрна была, по замечанию автора некролога, «рыцар-

ски-боевая, посвященная защите друга в ответ на иронический литературный шарж-портрет» статья «О великолепии и догматизме», реплика на «Вячеслава Великолепного» Л. Шестова (*Аскольдов С. Памяти Владимира Францевича Эрн // Русская мысль. 1917. № 5–6. С. 131–132*).

³¹ *Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 68.* Видимо, в полной мере это соображение может относиться только к Иванову 1910-х гг. Будущие друзья познакомились еще когда Ивановы жили в Швейцарии в конце 1904 г., см. письмо, посланное Эрном к Ивановым 22 декабря с выражением благодарности за общение (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 40. Ед. хр. 1. Л. 1), а также письмо Иванова к Брюсову с описанием совместной встречи нового 1905 г., где Эрн назван уже «любимым нами» (*Литературное наследство. М., 1976. Т. 85. С. 470*). Далее отношения поддерживались по мере создававшихся обстоятельств. Так, например, философ сообщал В. Шварсалон в письме от 2 октября 1905 г. (по штемпелю): «Недавно я был с неделю в Петербурге. Виделся почти каждый день с Вашими» (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 40. Ед. хр. 3. Л. 1, о посещении философом «башни» в тот приезд см.: *Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах: Документальные хроники. М., 2009. С. 127*). В органе церковных обновленцев, близком к Эрну журнале «Век», Иванов числился в составе сотрудников. Именно ему Иванов мог доверить тайну своей личной жизни — беременность Веры. Для переговоров М. Замятнина специально поехала в конце января 1912 г. в Рим, где остановилась у Эрнов (философ тогда находился в Италии в научной командировке). Оттуда она сообщала Иванову 2/16 февраля: «Вчера впервые, наконец, наедине удалось поговорить с Влад. Фр. Рассказала ему, в чем дело и в чем затруднительно положение. Попросила его пораскинуть умом и помочь [выйти из затруднительного положения]. Сама пока не делала никаких лично к нему запросов. Он был очень смущен положением дела. Предлагает, чтобы Вера приехала к ним в Рим тотчас же и жила бы с ними (комната тут же найдется)» (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 19. Ед. хр. 19. Л. 13; уже через три дня, 19 февраля, Эрн уже сообщал Ал. Чеботаревской об отъезде Замятниной в Петербург, ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 189. Л. 2). Без дополнительных данных трудно сейчас оценить, какие именно запросы должна была сделать Замятнина Эрну лично, но уже в следующем письме, от 3 февраля, она упоминала вариант фиктивного замужества В. Шварсалон на некоем М. П. Несмотря на все это, новый этап интенсивного общения между друзьями надо отнести к периоду совместного пребывания Эрнов и Ивановых в Риме весной 1913 г. (см. открытки Е. Эрн из Пятигорска к Иванову 29 апреля и к М. Замятниной 7 мая по возвращении, НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 40. Ед. хр. 4. Л. 2 и 5. Л. 4). В черновике недатированного, но явно относящегося к весне 1913 г., письма В. Шварсалон к Екатерине Павловне Иолшиной она, обсуждая планы возвращения в Россию, попутно сообщала: «Очень соблазняют нас Эрны в Тифлис, где и юг, и может быть уединение и курсы (куда Вячеслава звали) и т. д., но против этого прозекта слишком много всего. Эрн очень бы хотел иметь Вячеслава, т. к. он опять к нам очень приблизился и с нами сдружился. (Мы случайно встретились с ним в русской церкви на Рождество). В данное время, кажется, больше всего говорит за себя Москва» (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 7. Л. 4 об. — 5, ср. фрагмент черновика ее же письма к пока неустановленному лицу: «Видимся мы тут с Эрнами, к<о>т.<орой> живет в Риме на командировке с женой и маленькой девочкой», Там же. Л. 7–7 об., 14 июля Замятнина уже сообщала Шварсалон, что сняла шестикомнатную квартиру на Зубовском, куда перевозила вещи с «башни» до

середины августа, НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 20. Ед. хр. 4). Близость римского общения, видимо, позволила Эрну по возвращении делиться своими впечатлениями от семейной жизни Ивановых: «Вячеслав делает вид, что преклоняется перед Верой, поет ей дифирамбы, а сам скучает: она слишком обыкновенная для него, неумна, она не может заменить ему Лидию Дм.<итриеуну>, не может быть ему женой...» (запись в дневнике А. Ельчанинова от 4 или 5 июля 1913 г., Взысующие града. С. 535). Впрочем, поселившись у Ивановых, он изменил свое мнение (см. его письмо к жене от 10 мая; Там же. С. 574–575).

³² Цит. по: Переписка Вяч. Иванова с Павлом Флоренским. С. 115.

³³ НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 3. Ед. хр. 40. Л. 2–2 об. (на Л. 1 находится черновик этого же текста). Сохранившаяся в РГБ переписанная набело (и разорванная на части) подборка, состоящая из двух стихотворений: «Блаженный Брат! Ты чистым оком зреть...» и «Φιλία», предваренного приведенным нами предисловием, очевидно, и представляет собой контрибуцию Иванова в эту книгу. Поэт вынул стихотворение из состава поэмы, видимо, потеряв надежду на издание — в том же письме к Флоренскому, напоминая о его намерении написать к ней комментарий, он сам называл ее «уснувшей царевной» (Переписка Вяч. Иванова с Павлом Флоренским. С. 118). Следы всего мемориального проекта, видимо, остались в виде статей С. Булгакова и Флоренского в 11–12 номере «Христианской мысли» за 1917 г.

³⁴ *Иванов В.* Предисловие к повести Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода» // *De visu*. 1993. № 9(10). С. 27; см.: *Эрн. В.* Природа научной мысли // *Богословский вестник*. 1914. Январь и февраль (его цитата в февральском выпуске на с. 363–364; отдельное издание: Сергиев Посад, 1914). Сам философ, используя ее идеи для характеристики механистического и насильственного характера кантовской онтологии, в работах «От Канта к Круппу» и «Сущность немецкого феноменализма» порой в ссылах смешивал ее с ранее опубликованным в «Богословском вестнике» с марта по май 1913 г. трудом «О природе мысли» (*Эрн В.* Сочинения / Сост., подготовка текста Н. В. Котрелёва и Е. В. Антоновой. Вступ. ст. Ю. Шеррер; Примеч. В. И. Кейдана и Е. В. Антоновой. М., 1991. С. 311, 321).

³⁵ Ср., например, нападки Эрна на Канта, Фихте и Гегеля, усовершенствовавших «машину субъективирования», в их связи с протестантизмом и немецкой «научностью» в ст.: *Эрн В.* Письма о христианском Риме. Письмо второе. В катакомбах Св. Валентина // *Богословский вестник*. 1912. Декабрь. С. 764–765.

³⁶ *Эрн В.* Сущность немецкого феноменализма // *Эрн В.* Сочинения. С. 327. В приведенном пассаже Эрн имеет в виду знаменитое определение Кантом задач своей философии: звездное небо надо мной и моральный закон во мне. О мистическом значении понятия «небес» Иванов говорил не только в докладе «О евангельском смысле слова „земля“», но и в своем выступлении в прениях по докладу Бердяева в РФО 24 февраля 1909 г. (см.: Петербургское Религиозно-философское общество (1909–1917) // *Вопросы философии*. 1993. № 6. С. 129).

³⁷ Взысующие града. С. 619.

³⁸ См. письмо к В. Княжнину от 21 мая (*Обатнин Г. В.* Из материалов Вячеслава Иванова в Рукописном Отделе Пушкинского Дома // *Ежегодник Рукописного Отдела Пушкинского Дома на 1991 год*. СПб., 1994. С. 50). К сообщаемому здесь добавим, что первоначальная корректура была прочитана В. Княжниним, как явствует из контекста, плохо — и «легкомысленно» им подписана в печать (ИРЛИ. Ф. 94. № 54. Л. 1 об.).

³⁹ Эрн В. Сочинения. С. 391. К этому надо также подверстать фельетон Эрна «Серый гранит», вышедший 9 февраля в «Утре России», так как «Время славянофильству» заканчивалось развитием этого заглавного образа русского воинства.

⁴⁰ Эрн В. Сочинения. С. 317.

⁴¹ См.: Иванов В. Родное и вселенское. Статьи (1914–1916). М., 1917. С. 12.

⁴² Эрн В. Что такое форсировка? // Утро России. 1915. 10 февраля. № 40. С. 2. Тема «форсировки» уже поднималась Эрном в фельетоне двумя неделями ранее, также позднее вошедшем в его сборник статей «Меч и крест» (1915). Здесь в число культурных продуктов, насильственно внедряемых через «машинные немецких университетов» и «культурно-промышленные организации», открывшие свои филиалы «по нашим градам и весям», Эрн включал «„Кассиреров“ и каждое новое недоразумение какой-нибудь провинциальной немецкой знаменитости», а также музыку Р. Штрауса. От опасности несвободного и нездорового усвоения чужого Россию, по его мнению, «спасительным вихрем» спасла война, а сама она вступила на «обширную ниву свободного и вселенского дела» (Эрн В. Ненужные рыдания // Утро России. 1915. 22 января. № 22. С. 4). Э. Кассирер, чей труд «Познание и действительность» был переведен на русский в 1912 г., упоминается здесь, видимо, как редактор собрания сочинений Канта (1914), а последнее замечание, разумеется, еще раз намекало на название статьи Иванова.

⁴³ Субботин С. И. «...Мои встречи с вами нетленны...» Вячеслав Иванов в дневника, записных книжках и письмах П. А. Журова // НЛО. 1994. № 10. С. 216.

⁴⁴ НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 40. Ед. хр. 4. Л. 4. Поводом к написанию этого письма послужила присылка Ивановым сонета «Памяти Эрна» («Блаженный брат! Ты чистым оком зреть...», IV, 63) в письме от 16 октября 1917 г. (находится в Римском архиве, Оп. 3. Карт. 2. Папка 10. Л. 2). Сонет датирован 28 мая, т. е. написан через месяц после кончины Эрна, поэтому Иванов, хоть и с извинениями за опоздание, послал его вдове, стараясь поспеть к полугодовщине смерти. Последнее обстоятельство может послужить объяснением той концентрации текстов памяти Эрна по возвращении Иванова в свою московскую квартиру осенью 1917 г.: 12 ноября написано стихотворение «Оправданные» (названное в автографе «Усложные» и посвященное его памяти, см. машинопись с авторской датировкой: <http://www.v-ivanov.it/archiv/oris-1/karton-3/p05/or1-k03-p05-f080.jpg>), а 14 ноября — стихотворение «Скорбный рассказ» (III, 524), воспоминание о повествовании дочери, присутствовавшей при кончине друга. Отметим, что Л. Иванова не раз подолгу проводила время без родителей в компании Эрнов. Весной 1913 года они вместе возвращались из Италии в Россию, т. к. она планировала поступать в московскую консерваторию (см. ее письмо к Ал. Чеботаревской от 29 марта из Москвы, ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 95), вместе они поехали из Красной Поляны в Москву в середине сентября 1916 г., в то время как Иванов, Вера и Дима отправились в Сочи (Там же. Л. 2 об., письмо от 14 ноября 1916 г.), поэтому мартовскую революцию друзья встретили в разлуке (см. размышления Иванова о ней в письме к Эрну: *Обатнин Г. В.* Штрихи к портрету Вяч. Иванова эпохи революций 1917 года // Русская литература. 1997. № 2. С. 225). К концу 1917 г. относится и начало работы Иванова над поэмой «Деревь».

⁴⁵ См., например, письмо Эрна к жене от 15 февраля с описанием вечера у Бердяевых, где было предложено разделить полемику и дружеские отношения и «образовался мир» (Взыскающие града. С. 620–621). Обмен выпадами между философами на страницах «Биржевых ведомостей» известен: на статью Бердяева «О вечно-

бабьем в русской душе» (14–15 января), посвященную разбору брошюры Розанова «Война 1914 г. и русское возрождение» с критикой идей Булгакова, Иванова и Эрн, последний ответил статьей «Налет валькирий» (30 января), на которую Бердяев отреагировал статьей «Эпигонам славянофильства» (18 февраля).

⁴⁶ Из писем к В. И. Иванову и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал Н. А. и Л. Ю. Бердяевых // Вст. ст., подг. писем и примеч. А. Б. Шишкина // Вячеслав Иванов. Материалы и сообщения. М., 1996. С. 139 (а также: Взыскующие града. С. 617). Видимо, к этому же поворотному моменту относится и начало расхождения Иванова с М. Гершензоном, чья реакция на выступление Эрн заслужила с его стороны специального упоминания.

⁴⁷ См.: *Иванова Е. В.* Флоренский и Христианское Братство Борьбы // Вопросы философии. 1993. № 6. С. 159–166. Нельзя не упомянуть, что в жизни Иванова был еще один человек, которого он называл братом не по родственным связям, а по причине вхождения в «братство» — это Андрей Белый. Ср. начало недатированного, очевидно, написанного в 1913 г. письма Иванова к нему: «Счастливого нового года, милый Борис, брат мой далекий и желанный, о котором я думаю постоянно!» (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 9. Ед. хр. 8. Л. 5). В свете новой конфигурации связей немаловажно, что Белый, сознававшийся в письме к Флоренскому: «органически не выношу творений Эрн» (Павел Флоренский и символисты. Опыт литературные. Статьи. Переписка / Сост., подг. текстов и коммент. Е. В. Ивановой. М., 2004. С. 478), занимал позицию противника той «борьбы за Логос», которую Эрн вел против неокантианства.

⁴⁸ Пэонический ритм этого куртуазного зачина, инкрустированного насыщенной аллитерацией, если бы это было в стихотворном тексте, можно было бы свести к пястистопному хорею.

⁴⁹ Переписка Вячеслава Иванова со священником Павлом Флоренским. С. 107; ранее цитировалось в ст.: *Шишкин А.* О границах искусства у Вяч. Иванова и о. Павла Флоренского // Вестник РХД. 1990. № 160. С. 119.

⁵⁰ *Флоренский П.* Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 400.

⁵¹ С Сергеем Соловьевым и его женой Ивановы общались в Риме. См. фрагмент недатированного письма В. Шварсалон к неустановленному лицу: «Вячеславу пришлось пойти в русскую читальню на лекцию <1 нрзб.>. Там читал об эллинизме и церкви С. Соловьев, захавший в Рим со своей молодой женой А. Тургеневой, сестрой жены Бел[ова]ого» (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 8. Л. 1). Другому, также неустановленному корреспонденту она сообщала: «Еще приезжал Соловьев с молодой женой, младшей сестрой Аси Тургеневой, женой А. Белого. Он читал лекцию в Русской читальне об эллинизме и Церкви» (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 38. Ед. хр. 7. Л. 8). Вынужденность выхода Иванова была обусловлена его занятостью, ср. еще один черновик письма Шварсалон: «Вячеслав, к<а>к приехал, т<а>к засел за свой письменный стол и [редко] почти не выходит. Он <1 нрзб.>, что чувствует себя в Риме, к<а>к дома и не хочет развлекаться. Между прочим у него почти готов перевод Агамемнона» (Там же. Л. 7–7 об.; подробнее см.: *Котрелёв Н. В.* Иванов в работе над переводом Эсхила // Эсхил. Трагедии в пер. Вячеслава Иванова. М., 1989. С. 503–504). Собственно, об этом же Иванов писал и в дружеском послании Ю. Верховскому из Рима: «Так мной владеет Эсхила стоустого вызванный демон; / Голосом вторить живым нудит он пленный язык <...> В Городе Вечном я — твой! / Не чуженин!.. А зачем своему, как на чуждый, дивиться?» (IV, 12). Сборник С. Соловьева «Цветник Царевны», вышедший осенью 1913 г., числится в библиотеке Иванова среди книг с дар-

ственной надписью. В предисловии к нему Соловьев еще раз присоединялся к идее «славянского возрождения», высказанной Ф. Зелинским (М., 1913. С. XII).

⁵² Павел Флоренский и символисты. С. 547.

⁵³ Бердяев Н. Стилизованное православие // Русская мысль. 1914. № 1. С. 123 (II-й пагинации).

⁵⁴ Переписка Вячеслава Иванова со священником Павлом Флоренским. С. 93, 98; ср. письмо Эрн к жене от 29 мая: «Все эти дни гостит у нас о. Павел. Мое спасение, что днем они с Вячеславом спят, а ночью я с ним сижу лишь до 1 до 2-х, они же сидят каждый день до 7–8-ми!!» (Взыскующие града. С. 579). Для домашних это тоже было испытанием, см. письмо М. Замятниной к В. Шварсалон от 28 мая, где она сообщала: «Вторую ночь не раздеваясь сплю», а Лидия, игравшая на рояле Флоренскому, «блаженно легла около 11 ч.», в то время как «Отец Павел дает большую радость Вячеславу» (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 20. Ед. хр. 5. Л. 7–7 об.).

⁵⁵ НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 41. Л. 23.

⁵⁶ Переписка Вячеслава Иванова со священником Павлом Флоренским. С. 101, конец письма купирован публикаторами. Не имея сейчас возможности должным образом погрузиться в тему отношения Флоренского к тео- и антропософии, заметим все же, что его надо отделять от отношения к Штейнеру и конкретным теософам. В гневном письме к Е. Ф. Писаревой (которую он, невольно путая с Блаватской, симптоматично называет Еленой Петровной) от декабря 1910 г. он признавался: «Поверьте, что то, о чем не сказано мною и что могло быть сказано, неизмеримо превосходит сказанное, тем более, что в области некоторых вопросов я владею собственными работами, которых никто не видел и результатов которых мне не приходилось встречать в литературе». Раздражало Флоренского и «многоглаголание» о мистике, когда из Каббалы, по его мнению, делают «тему для фельетона, читаемого за утренним чаем, или реферата на „музыкальном“ собрании <нарек на „Дом Песни“> среди флиртующих дам», а «русские оккультисты, довели оккультизм до того, что он стал модным (!), что он соперничает с Пиккертоном, шляпами шантеклер и патентованными средствами» (Павел Флоренский и символисты. С. 530, 531).

⁵⁷ Священник Павел Флоренский. Переписка Павла Александровича Флоренского и Михаила Александровича Новоселова. Томск, 1998. С. 130.

⁵⁸ Письмо от 26–27 сентября 1913 г. (Там же. С. 121).

⁵⁹ Переписка В. В. Розанова и П. А. Флоренского // Розанов В. В. Собрание сочинений. Литературные изгнанники. М., 2010. Кн. 2. С. 133.

⁶⁰ Шишкин А. О границах искусства у Вяч. Иванова и о Павла Флоренского. С. 122. Отметим, что «Φιλία» была написана через год после этого.

⁶¹ Бердяев Н. Стилизованное православие. С. 109–110, 114, 116, 119.

⁶² Крылатое выражение из стихотворения М. Лермонтова «Не верь себе» (1839).

⁶³ Церковь (греч.).

⁶⁴ Любить-дружить (греч.).

⁶⁵ Поцелуй (греч.).

⁶⁶ Я исследую (греч.).

⁶⁷ Святое имя (греч.); ИРЛИ. Ф. 607. № 203. Л. 142, 142 об.

⁶⁸ Уже по этому фрагменту заметна тщательная инструментовка рифм, построенных на звучании закрытой и открытой (у:а), а также йотированной и нет гласных (у:ю и а:я из невошедшей в цитату рифмопары взгляд:назад).

⁶⁹ См.: «Они <Бальмонт и Брюсов> его сразу приняли как своего, и тотчас же как бы посвятили в свой орден, одним из условий которого было называть друг друга

на „ты“ и лишь по имени) (Старый писатель. Суд над символистами (письмо из Москвы) // Вестник литературы. 1920. № 4–5 (16–17). С. 7).

⁷⁰ Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. С. 103.

⁷¹ ОР РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 14. Л. 51–51 об. Цитируется также в: Богомолов Н. А. Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. С. 127.

⁷² Альтман М. С. Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 27. Слово «влюблен» в этой цитате вполне может быть соотносено с филией. Зоркость Иванов выделял в стихах и личности Брюсова: «Твой зорок стих, как око рыси, / И сам ты — духа страж, Линкей...» («Valerio vatī. Ему же»).

⁷³ Письмо из Москвы в Анапу (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 20. Ед. хр. 5. Л. 47), куда Шварсалон с сыном поехала отдыхать по приглашению Эрн вместо запланированного Силламяги (см. письмо Е. Эрн к Замятниной от 31 мая: «Ваша телеграмма возвестила приезд дорогих „Вячеславовичей“», НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 40. Ед. хр. 5. Л. 6, а также приветственную телеграмму от самого Эрн 1 июня; НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 40. Ед. хр. 1. Л. 14). Сам философ не раз лечил в Анапе свои почки, см. его закрытку к Иванову от 8 июля 1914 г.: НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 40. Л. 1. Л. 11.

⁷⁴ Полный текст письма от 26–28 октября 1913 г. см.: Переписка В. В. Розанова и П. А. Флоренского. С. 145–147. Аналитический обзор мнений Флоренского на эту тему см. в работе: Хагемайстер М. Новое средневековье Павла Флоренского // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник 2003 [6]. М., 2004. С. 86–106. С. Фудель обрывочно запомнил разговор его отца с Флоренским о «...темных силах, которые рвутся в Россию (это было начало распутинского периода)», а потом о символике цветов Богородицы (Фудель С. И. Об о. Павле Флоренском. Париж, 1988. С. 126). Вторая тема подробно развита в «Столпе».

⁷⁵ Флоренский П. Столп и утверждение истины. С. 179.

⁷⁶ Розанов В. В. Осязательное и обонятельное отношение евреев к крови. СПб., 1914. С. 200.

⁷⁷ Там же. С. 204. Подробнее об этой традиции см. в нашей работе «Two Hundred Years of Pošlost': A Historical Sketch of the Concept» (в печати).

⁷⁸ Письмо от 27 ноября 1913 г. (Переписка В. В. Розанова и П. А. Флоренского. С. 151).

⁷⁹ Письмо 1, 14, 19 февраля 1914 г. (Там же. С. 154).

⁸⁰ Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (Петрограде). История в материалах и документах. М., 2009. Т. 2. С. 437–439.

⁸¹ Брызгалов напал на Белого и ряд писателей, пытавшихся сделать антропософию идейным базисом «Трудов и дней». Здесь не место исследовать его идейный путь, но все же отметим, что сохранившееся в архиве Иванова его письмо к А. Минцловой, посланное 17 апреля 1910 г., демонстрирует почтительное отношение к ней как к духовному учителю (НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 13. Ед. хр. 81).

⁸² Иванов В. Ответ на статью «Н. Брызгалова» «Символизм и фальсификация» // Предисл. Г. В. Обатнина и К. Ю. Постоутнеко. Комментарий Г. В. Обатнина // НЛО. 1994. № 10. С. 168. Схвостное чтение переписки московских философов создает впечатление, что «фальсификация» была достаточно распространенным и маркированным словом в их среде, однако это еще требует дополнительных подтверждений.

⁸³ Об этом автор признавался в предисловии: «Меня обвиняли в злободневности, в желании моем осветить некоторые лица и события, недавно занимавшие исключительное внимание общества. Это обвинение, вероятно, не было бы мне предъявлено,

если бы роман мой появился тогда, когда он был написан, а именно за два с половиною года до его опубликования» (*Чулков Г.* Сатана. Роман. М., 1915. С. 3).

⁸⁴ Внимание к отношениям Иванова с Карповым было в свое время привлечено публикацией: Письмо Вячеслава Иванова к Пимену Карпову / Публикация Николая Котрелёва // *Русская мысль*. 1990. 6 апр. № 3822. Литературное приложение. № 9. С. XII.

⁸⁵ *Бердяев Н.* Кризис искусства. М., 1918. С. 22, 35.

⁸⁶ *Аполлон*. 1914. № 1–2.

⁸⁷ *Бюллетени литературы и жизни*. 1915–1916. № 3. Октябрь. С. 128.

⁸⁸ *Булгаков С.* Труп красоты. По поводу картин Пикассо // *Русская мысль*. 1915. Кн. VIII. С. 92–93 (II-й пагинации).

⁸⁹ Письмо к Е. Трубецкому декабря 1913 г. (Взыскующие града. С. 560). Сам Трубецкой, не рекомендуя своей возлюбленной читать «Наоборот» Гюйсманса, писал ей в письме от 13 июня 1913 г.: «Тут оккультизм прямо вырождается в сатанизм с черной мессой и убийством, с отвратительными оргиями» (Там же. С. 537).

⁹⁰ *Крандиевская-Толстая Н.* Воспоминания. Л., 1977. С. 81.

⁹¹ *Безродный М.* Вячеслав Иванов и «Мусажет»: материалы и заметки к теме // Вячеслав Иванов и его время. Материалы VII Международного симпозиума, Вена 1998. Frankfurt am Mein [et al.], 2002. С. 419. Отметим, что реакция Метнера в этом свидетельстве предполагает знакомство Иванова по крайней мере с идеями книги Чемберлена «Явление Христа» (5-е русское издание вышло в 1912 г.), в чьих жилах, по мнению автора, не было ни капли еврейской крови, и кто был свободен от захиревшей еврейской религиозности. В таком случае фразу из диалога с Альтманом: «Евреи — и будь они за это трижды благословенны — те дали Бога нам» (*Альтман М.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. С. 69) тоже надо отнести к полемике с Чемберленом. Центр тяжести высказывания Иванова лежит в ином: подчеркивая «семицитизм» христианства, он явно имел в виду вопрос о трансцендентном (иудейском) и имманентном (христианском) религиозном опыте, обширно обсуждавшийся в кругу его друзей-философов.

⁹² *Чемберлен Х. С.* Арийское миросозерцание. М., 1913. С. 35, 38. О том, что страхи перед врагом охватывали более широкие этнографические и культурные сферы см.: *Безродный М.* Из истории русского германфильства: издательство «Мусажет» // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 1999 год. М., 1999. С. 167–169.

⁹³ Взыскующие града. С. 556.

⁹⁴ Переписка Вячеслава Иванова со священником Павлом Флоренским. С. 100.

⁹⁵ Сестры Герцык. Письма / Составление и комментарий Т. Н. Жуковской. СПб.; М., 2002. С. 509, 510.

⁹⁶ Из архивов Шервинского, Дурылина, Сидорова / Публикация Т. Ф. Нешумовой // *Toronto Slavic Quarterly*. 2006. No 18 (<http://www.utoronto.ca/tsq/18/neshumova18.shtml>).

⁹⁷ К. Локс отмечал, что после их возвращения собрания у Анисимовых стали походить на антропософскую секту (*Локс К.* Повесть об одном десятилетии (1907 — 1917) / Публ. Е. В. Пастернака и К. М. Поливанова // *Минувшее*. М.; СПб., 1994. [Вып.] 15. С. 98). Экономя место, мы сейчас сознательно не касаемся отношений Иванова с Г. Рачинским.

⁹⁸ Подробнее об истории этих контактов см. в статье: *Азадовский К. М.* Вячеслав Иванов и Рильке: два ракурса // *Русская литература*. 2006. № 3. С. 119–122.

- ⁹⁹ См. подробнее: *Кобринский А.* Лингвистическая дуэль: Борис Пастернак и Юлиан Анисимов // *Кобринский А.* Дуэльные истории Серебряного века. Поединки поэтов как факт литературной жизни. СПб., 2007. С. 316–326.
- ¹⁰⁰ Из письма Пастернака к К. Локсу от 27 января 1914, см: Борис Пастернак. Письма к Константину Локсу / Публ. Е. Б. и Е. В. Пастернак // *Минувшее*. 1993. Вып. 13. С. 183.
- ¹⁰¹ Борис Пастернак и Сергей Бобров: письма четырех десятилетий. Публ. М. А. Рашковской. Stanford, 1996. С. 59. (*Stanford Slavic Studies*. Vol. 10).
- ¹⁰² Борис Пастернак и Сергей Бобров. С. 24–25.
- ¹⁰³ *Кобринский А.* Дуэльные истории Серебряного века. С. 302. У Иванова стих звучит как «Из хаоса родимого / Гляди — Звезда, Звезда!» (II, 243), что слепляет, что нередко у него, основной подтекст из «Так говорил Заратустра» с аллюзией на знаменитый тютчевский эпитет.
- ¹⁰⁴ ОР РНБ. Ф. 304. Ед. хр. 49. Л. 1 об. Стоит напомнить, что Гуревич, среди прочего, был автором сборника стихов и прозы «Народу моему» (СПб.: Еврейский ренессанс, 1913), полного раздумий, гордости и жалоб на судьбу диаспоры.
- ¹⁰⁵ См.: *Обатнин Г. В.* Три эпизода из предыстории холодной войны // *Европа в России: Сборник статей*. М., 2010. С. 264–266.
- ¹⁰⁶ НИОР РГБ. Ф. 109. Карт. 13. Ед. хр. 78. Л. 1 об. — 2.
- ¹⁰⁷ См.: *Обатнин Г. В.* Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова // *Europa orientalis*. 2002 (2004). Vol. 21: 2. № 1190.
- ¹⁰⁸ *Горностаев А.* Глубоким утром. М., 1913. С. V, IX–X.
- ¹⁰⁹ Там же. С. V–VI.
- ¹¹⁰ Там же. С. 32.
- ¹¹¹ В. А. Гурко-Кряжин — в дальнейшем известный советский востоковед, публицист и живописец, с 1923 г. профессор, редактор журналов «Вестник жизни» (1918–1920) и «Новый Восток», преподаватель Военной академии и ряда других учебных заведений, секретарь Всероссийской научной ассоциации востоковедов, скоропостижно умер в разгар ее разгрома. По краткой летописи его жизни и деятельности, лекцию «Белая опасность: Восток и Запад» он после произнесения ее в Политехническом музее в Москве повторил 3 июня того же года в родном Тифлисе, городе детства для Эрн и Флоренского (Востоковед Владимир Александрович Гурко-Кряжин (1887–1931): биобиблиографический указатель / Составитель Е. В. Гурко-Кряжина. М., 2003).
- ¹¹² *Гурко В. А.* Белая опасность. Восток и Запад. М., 1914. С. 3.
- ¹¹³ Там же. С. 54.
- ¹¹⁴ *Гурко В.* Механическая наука // *Свободный журнал*. 1914. Ноябрь. Стлб. 11–116; *Гурко В.* Современные бробдиньги // *Свободный журнал*. 1914. Декабрь. Стлб. 103–114; 1915. Январь. Стлб. 95–106. Последняя тема, особенно в связи с политической кайзера в сфере искусства, имела расхожий характер, ср., например, замечание М. Кузмина в ответе на анкету: «Мы видим, к чему приводит и чего стоит культура, построенная на нейрастеническом стремлении к внешнему величию и „большому искусству“» (Все о немцах (Анкета «Синего журнала») // *Синий журнал*. 1914. № 31. 21 августа. С. 12).
- ¹¹⁵ *Гурко В.* Современные бробдиньги // *Свободный журнал*. 1915. Март. Стлб. 103.
- ¹¹⁶ *Гурко В.* Глиняные ноги колосса // *Свободный журнал*. 1915. Май. Стлб. 97. Справедливости ради напоминю, что Иванов свое мнение также подтверждал ссылкой на «Антихристианин» Ницше.

¹¹⁷ *Обатнин Г. В.* Письмо Вяч. Иванова к Игорю Северянину из архива Пушкинского Дома // *Memento vivere*. Сборник памяти Л. Н. Ивановой. СПб., 2009. С. 254.

¹¹⁸ *Иванов В.* Прометей. Трагедия. Пб., 1919. С. X. Н. А. Богомолов обратил наше внимание на то, что эта фраза является переводом первой части ставшей крылатой формулы, которой римские консулы заключали свою речь, передавая полномочия преемнику (*Fecit quod potui, faciant meliora potentes*). Ср. в цитированном выше письме, написанном буквально накануне выхода «Сынов Прометеев», наблюдение Бердяева: «...это усталость в Вас, духовное истощение от ложных опытов дерзания» (Из писем к В. И. Иванову и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал Н. А. и Л. Ю. Бердяевых. С. 139).

О. Я. Обухова

Анна Ахматова глазами итальянской журналистки

Из мало исследованной сферы — откликов итальянской прессы на визит Ахматовой для получения премии «Этна Таормина» в декабре 1964 года — приводим одну из статей, появившихся в эти дни (*Il Mondo*. 1964. 20 dic.). Судя по воспоминаниям людей, бывших рядом с Ахматовой и знавших о ее впечатлениях, визит известной итальянской журналистки Аделе Камбриа (род. 1931) вызвал у нее известного рода напряженность, свойственную всем советским гражданам при беседах с иностранцами (см. об этом: Тименчик Роман. Анна Ахматова в 1960-е годы. М.; Toronto, 2005. С. 662–663).

Аделе Камбриа

Арсенал любви

«Пусть камнем надгробным ляжет на жизни моей — любовь».

Я познакомилась с женщиной, которая написала это, которая шестьдесят лет подряд писала стихи о любви и которой сейчас — семьдесят пять.

Она русская, это Анна Ахматова. Я чувствую недоверчивость, исходящую от ее большого и кажущегося белесым тела, с ногтями, покрытыми розовым девичьим лаком и белой шей-башней, которую рисовал Модильяни осенью 1911 года. Она как корабль, собравший в своем чреве поэтов и художников и революции, смерти и войны.

Первые ее слова: «Мы с вами очень разные». И как же она права. Однако она похожа на одну мою южную бабушку, которая свою юность провела

за фортепьяно (всегда один и тот же Шопен), а потом — дети на коленях, — девять, один за другим, и четыре служанки, двое мужей, первый погиб при землетрясении, и кончила она тем, что остался у нее один только чемодан с венецианским кружевным чепчиком последнего сына, любовными письмами и нотами. В те годы, когда моя бабушка играла на фортепьяно перед окном, раскрытым на калабрийскую равнину, грязь и оливковые деревья, — Анна Ахматова публиковала свои первые книги: они назывались «Вечер», «Четки», и Блок писал ей в письме: «Ваша поэма настоящая и Вы настоящая...», и он, и Мандельштам, и Гумилев, и Пастернак писали о ее глазах — «...таинственное мерцание расширенных зрачков», и о ее испанской шали, и о челке черных волос на лбу. Так — Блок, самый великий из них: «„Красота страшна“, — Вам скажут, — Вы накинете лениво шаль испанскую на плечи, Красный розан в волосах...»

О своих романах и своих поэтических успехах эта величественная женщина, с детской улыбкой и радостью лакомки в глазах сидящая за накрытым к завтраку столом в гостинице на виа Венето, не хочет сейчас вспоминать.

Было время, когда все влюбленные студенты в Ленинграде и в Москве переписывали стихотворения из «Четок», девушки записывали в альбомы: «Как соломинкой пьешь мою душу... на кустах зацветает крыжовник». Или: «Звенела музыка в саду Таким невыносимым горем. Свежо и остро пахли морем На блюде устрицы во льду». Это было время, когда уже создавались легенды о ее лице послушницы, о серых не улыбающихся глазах, о темных ситцевых платьях или, наоборот, парижских с юбкой с разрезом; или о гибкости ее тела, и как она танцевала, или об искусности в играх, которые устраивал ее муж, литератор-сноб Николай Гумилев, и где Анна выступала в роли женщины-змеи.

Она не хочет об этом говорить. Не знаю, может быть, из романтического желания, старея, вспоминать себя молодой. Но, думаю, не из-за боязни политических преследований, которые достигли вершины двадцать лет назад, когда Жданов назвал ее «типичной представительницей бессодержательной поэзии, чуждой русскому народу».

Если бы она боялась, то не спросила бы меня сейчас, читала ли я «Реквием» 1957 г., опубликованный в Мюнхене с ее объяснением в прозе: «В страшные годы ежовщины [между 1934 и 1938 гг., когда начальником полиции при Сталине был Ежов. — Прим. ред.] я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то „опознал“ меня. Тогда женщина с голубыми губами... спросила меня на ухо: “А это вы можете описать?” И я сказала: „Могу...”»

В ленинградской тюрьме находился сын Анны Ахматовой; ее первый муж Гумилев был убит в 1921 г. как контрреволюционер.

Она не боится. Это, скорее, застенчивость, и еще гордость от того, что она принадлежит России. (И еще ее не оставляет подозрение, что Запад стремится спекулировать на фактах ее биографии; кто был знаком с Пастернаком, говорит, что и он испытывал такую же тревогу.)

Мы разговариваем по-французски. Она хочет знать, читала ли я ее автобиографию. Говорю, что читала. Это всего одна страница, напечатанная в антологии советских писателей в 1961 г. Говорит: «Это много». Дает мне свои последние стихотворения, напечатанные в «Новом мире» в июне этого года, чтобы мне их перевели и чтобы я наконец поняла. Говорит, «Песенка слепого»: «Не бери сама себя за руку — на себя пальцем не показывай — про себя сказку не рассказывай».

Она рассержена на то, что где-то в Италии написали, будто она делала реверансы при царском дворе: «Это мне кланялись». Смеется, ее большое тело отдыхает в черном шелковом, блестящем, на красной подкладке халате, любовно сохраненном среди революций и войн, осколок моды тех лет на все восточное (время сражения при Порт-Артуре).

В Италии она не была с весны 1912 г. И вообще она больше никогда не выезжала из России. «Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом Там, где мой народ, к несчастью, был».

Из Таормины, где ей вручили Международную поэтическую премию, она приехала с рыцарями Орlando в чемодане и с роскошным изданием «Божественной комедии», где на первой белой странице напечатано ее имя. «Как примерной школьнице, — говорит, — мне дали в премию куклу и книгу». К детской радости примешивается ирония. Она хочет прочесть вторую песнь «Чистилища» и читает так хорошо, произносит по-итальянски с наслаждением, смакуя. Она перевела на русский Леопарди, сейчас переводит индийского поэта Тагора и древних египтян: «О египтянах мне рассказывал Модильяни». И еще одно имя из тех лет, Нижинский: «Никто больше не сумеет танцевать, как он». Она видела русский балет в Париже во время его первого турне.

— Вы иногда читаете свои стихи перед публикой, как это принято у поэтов в Советском Союзе? У вас есть контакт с молодыми поколениями? Как вы считаете, это правда, что сегодня любовь менее важна?

— Я не читаю своих стихов уже двадцать лет (Но она была очень больна). — «Молодые поколения...»

Открывает большую сумку, достает две фотографии — светловолосая девушка в муслиновом, кажется белом, платье. Тип ангела с узкими, как щечки, зелеными или голубыми глазами. «Я знаю ее», — просто, с иронией говорит Анна Ахматова. Это ее внучка, с которой она живет и которая носит ее имя, Анна.

«Небесная красота». На вопрос о любви — она не знает, ведь арсенал любви меняется. «Но я никогда не называю предметы из арсенала».

¹ Виа Венето — одна из самых дорогих и престижных улиц в центре Рима. Вероятно, в контексте статьи такое упоминание должно было подчеркнуть «благополучие» поэтессы.

² Так в тексте.

³ В тексте Guillen; возможно, опечатка.

⁴ Речь идет о марионетке сицилийского кукольного театра, так называемого «орегга dei pupi», представляющего сцены рыцарских легенд времен Крестовых войн.

Неизвестная записная книжка <1920> Вяч. Иванова *Публикация Дж. Малмстада и М. Павловой*

Обширный и еще не до конца освоенный исследователями архив Федора Сологуба, хранящийся в Пушкинском Доме, таит в себе немало неожиданных находок, одной из них посвящена наша публикация.

В сологубовском фонде среди материалов биографического характера, в папке с записными книжками, отложился блокнот с записями Вяч. Иванова, до недавнего времени его приписывали Ф. Сологубу¹. Сам факт местонахождения рукописи удивления не вызывает: писателей (их личное знакомство состоялось в 1905 г.) связывали многолетние отношения, которые после женитьбы Сологуба на Ан. Н. Чеботаревской (1908) переросли в дружеские, а в 1910-е гг. приобрели характер семейных². Связь писательских семей еще более упрочивалась благодаря старшей сестре Анастасии Николаевны — Александре Николаевне Чеботаревской (Кассандре), на протяжении многих лет являвшейся ближайшим другом семьи Ивановых³.

После отъезда Иванова с детьми в Баку (1920) и затем ликвидации его московской квартиры в Большом Афанасьевском переулке (1923) часть его вещей и библиотеки перешли на попечение Ал. Чеботаревской⁴ и перекочевали в Петроград, в ее квартиру на Ждановской набережной (д. 3/1, кв. 22)⁵. В этом же доме (в кв. 26) с 1918 г. жила с семьей Ольга Николаевна Черносвитова (урожд. Чеботаревская) — сестра Александры и Анастасии. Ранней осенью 1921 г. Ал. Чеботаревская выехала в Баку на помощь Иванову, в связи с тяжелым положением его дочери Лидии, заболевшей брюшным тифом, и задержалась там на год. Той же осенью в ее квартиру

переселился овдовевший Сологуб (с Большого проспекта Васильевского Острова, где он жил вместе с женой вплоть до ее самоубийства 23 сентября 1921 г.).

Таким образом, личные вещи и книги Иванова и Сологуба с 1921 г. находились по соседству в одном помещении. После возвращения из Баку Чеботаревская переехала в Москву, оставив свой архив в петроградской квартире, Иванов с детьми вернулся в Москву летом 1924 г., 28 августа она проводила их в Италию, а через полгода (22 февраля 1925 г.) ее не стало⁶.

После смерти Сологуба (5 декабря 1927 г.) О. Н. Черносвитова, наследница и распорядительница всего имущества писателя и двух погибших сестер, начала систематизировать и передавать их архивы в Пушкинский Дом⁷. Основная часть материалов, образовавших личный фонд Ф. Сологуба и Ан. Чеботаревской (№ 289), поступила в архивохранилище в 1928–1929 гг. В 1946–1947 гг. дочь умершей во время ленинградской блокады О. Н. Черносвитовой — Лидия Николаевна (в первом браке Щуко, во втором — Брандо) передала вместе с остатками сологубовского архива материалы к биографии, переписку и рукописи Ал. Чеботаревской⁸, из них впоследствии был сформирован ее личный фонд (№ 189), а также, по справедливому заключению Г. В. Обатнина, фонд Вяч. Иванова (№ 607)⁹.

По-видимому, при передаче материалов записная книжка Иванова, первоначально отложившаяся в архиве Ал. Чеботаревской,¹⁰ переместилась в архив Сологуба (по внешнему подобию). Она представляет собой блокнот из 62 листов (175 на 110 мм): бумага в клетку, обложка и верхние листы отсутствуют; большая часть листов не заполнены; записи сделаны карандашом и чернилами¹¹. Подобными блокнотами иногда пользовался Сологуб. В той же единице хранения, наряду с его тремя записными книжками разного формата и разного вида (1906–1926), находятся разрозненные листы из других записных книжек, в том числе из отрывного блокнота — приблизительно того же формата, что и ивановский.

Характер и содержание записей Иванова и Сологуба более или менее однотипны: наброски, черновые и беловые автографы стихотворений, планы произведений, профессиональные и хозяйственные заметки (карандашом и чернилами). В записных книжках Сологуба имеются также адреса и телефоны писателей, издателей и т. п. лиц, принадлежавших к общему для Иванова и Сологуба кругу. По внешним признакам, не вникая в почерк и смысл текстов, вполне возможно принять записную книжку Иванова за сологубовскую (специфическое отличие: у Сологуба записи, как правило, отмечены датировками).

В новонайденной записной книжке Иванова календарные даты отсутствуют, за исключением одной: запись на латинском языке датирована: *6 августа* (без года).

В блокноте записаны: черновые автографы и наброски двух стихотворений из цикла «Зимние сонеты», над которым поэт работал в конце декабря 1919 — феврале 1920 г., а по его завершении сразу же опубликовал в журнале «Художественное слово» (1920, № 1); два черновых автографа сонета «Когда б из горнего монастыря...» — варианты ранней редакции сонета «Когда бы, волю Отчую боря...» (17 июня 1920 г.) из цикла «De profundis amavi»; черновой автограф первого из двенадцати писем Иванова к М. О. Гершензону, написанных летом 1920 г. в здравнице для работников науки и литературы в Москве, опубликованных в «Переписке из двух углов» (Пг., 1921); планы двух лирических циклов: «Лебединая память» — расширенный вариант одноименного цикла, напечатанного в «Русской мысли» (1915, № 8), и «[Мать-]Земля» (неизвестен); молитвенное послание к Лидии на латинском языке; перечень виз, необходимых для выезда из России¹².

В контексте названных недатированных записей — единственная, имеющая датировку (неполную), получает недостающую атрибуцию. Молитвенное послание на латинском языке, обращенное к Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (второй жене), трагически ушедшей из жизни в октябре 1907 г., очевидно, было записано Ивановым в предчувствии и преддверии смерти В. К. Шварсалон (третьей жены и падчерицы, «завещанной» ему Лидией)¹³, скончавшейся от тяжелой болезни 8 августа 1920 г.

Запись о визах для поездки в Италию (последняя в блокноте) может быть датирована мартом-апрелем 1920 г. — временем, когда Иванов добивался для себя и своей семьи разрешения на выезд из России, но получил отказ (17 апреля). В то же время есть основания отнести эту запись к летним месяцам 1920 г.: в ней зафиксирован маршрут, которым Иванов предполагал двигаться из России в Италию; первым пограничным пунктом в записи обозначена Литва (весной 1920 г. литовская граница была закрыта, а как раз летом начались переговоры об ее открытии). Кроме того, во время пребывания в здравнице летом 1920 г. Иванов все еще надеялся получить со стороны советской власти судьбоносное разрешение и выехать в командировку¹⁴.

Таким образом, по составу и содержанию текстов можно заключить, что Иванов начал заполнять блокнот не ранее последних дней 1919 г. (по ранней датировке «Зимних сонетов») и вел в нем записи вплоть до августа, а затем, перед отъездом с детьми на юг, оставил его в Москве.

Значительная часть записей в блокноте, в особенности черновые наброски стихотворений, сделаны мягким, кое-где осыпающимся каранда-

шом, местами — ивановской скорописью. Эти особенности рукописи сильно затрудняют аутентичное воспроизведение всего текста. Несмотря на эти трудности, мы решаемся опубликовать новонайденный документ и тем самым привлечь внимание коллег, подготавливающих Полное собрание стихотворений и писем Вяч. Иванова, к ранее неизвестным авторизованным источникам, возможно бесполезным для воссоздания истории отдельных поэтических текстов и циклов.

Выражаем признательность Н. А. Богомолу за соучастие в прочтении черновых набросков стихотворений, а также А. К. Гаврилову и Р. В. Киму за помощь в прочтении и толковании текста молитвенного послания.

Текст записной книжки Вяч. Иванова публикуется по оригиналу: РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 80. Записи воспроизводятся полистно: первоначально указывается порядковый номер листа в записной книжке Вяч. Иванова, рядом в скобках — номер листа по старой пагинации в ед. хр. 80; затем приводится текст записи, вслед за ней — краткие сведения об автографе и комментарии к тексту. Зачеркнутые автором слова и фразы заключены в прямые скобки, в угловые скобки — пояснения публикаторов.

Вяч. Иванов. Записная книжка <1920>

Л. 1 (138).

Незримый вождь глухих моих дорог
[В] Чистилищ[а]ем [спиральными кругами]
[что жизнью именуем]
[ты, или <?> жизнь, ведущий]
[Ученика]
[Тобою я] Вседневно я тобою испытуюем
[Дабы, ч] В [юдоли] той <лесу скорбей <?>>, что жизнью именуем
В чистилище <[1 нрзб]> блужда<ний> и тревог

И все ясней [прожитых] сгоревших лет итог
Все должен я принять и поцелуе<м>
Приветствовать, чего любить не мог,
<[Пристрастьем и]>
[И] Иной мечтой и волею волнуем
И все ясней мук прожитых итог
Я надолго оковами связуем

[Дабы чего дотоль любить не мог]
Доколь со всем, чего любить не мог,
Не примирюсь смиренным <?> поцелуем

Карандашом.

Черновой автограф первых восьми строк стихотворения «Незримый вождь глухих моих дорог...», второго сонета цикла Вяч. Иванова «Зимние сонеты». Впервые: Художественное слово. 1920. № 1, с датой: 1920. Окончательный текст 12 сонетов воспроизведен в сборнике «Свет Вечерний», составленном автором, вышедшем в свет посмертно, под редакцией сына поэта Димитрия Иванова (Оксфорд: Oxford University Press, 1962). Сб. «Свет Вечерний» (далее: СВ) был переиздан в третьем томе «Собрания сочинений» Вяч. Иванова (Брюссель, 1979); не в полном составе в книге «Стихотворения. Поэмы. Трагедия» Вяч. Иванова в серии «Новая библиотека поэта» (СПб., 1995. Т. 2; далее: БП-2). См. окончательный текст сонета:

Незримый вождь глухих моих дорог,
Я пбдолгу тобою испытуюем
В чистилищах глубоких, чей порог
Мы жребием распутья именуем.

И гордости гасимой вот итог:
В узилищах с немилым я связуем,
Пока к тому, кого любить не мог,
Не подойду с прощеным поцелуем.

Так я бежал суровыя зимы:
Полуденных лобзаний сладострастник,
Я праздновал с Природой вечный праздник.

Но кладбище сугробов, облак тьмы
И реквием метели ледовитой
Со мной сроднил наставник мой сердитый.

Л. 2 (139).

Лес <?> причудливо заснежен
Белый сон [глухих] полей <[застыл]> безбрежен
Океан без берегов
Зыбь застывая снегов

Морозный воздух, [и ночных светил] чистой высоты ночной
[Алмазное убран<ство>]
Искристее алмазное убранство
[Прозрачнее] Но далее в эфирное пространство
Возносится <?> [от нас], <1 или 2 нрзб.>
И недостижимый в

Автограф карандашом.

Черновой набросок первого сонета цикла «Зимние сонеты»: «Скрипят полозья. Светел мертвый снег...». См. окончательный текст:

Скрипят полозья. Светел мертвый снег.
Волшебнo лес торжественный заснежен.
Лебяжьим пухом свод небес омрежен.
Быстрее оленя туч подлунных бег.

Чу, колокол поет про дальний брег...
А сон полей безвестен и безбрежен...
Неслежен путь, и жребий неизбежен:
Святая ночь, где мне сулишь ночлег?

И вижу я, как в зеркале гадальном,
Мою семью в убежище недальном,
В медвяном свете праздничных огней.

И сердце, тайной близостью томимо,
Ждет искорки средь бора. Но саней
Прямой полет стремится мимо, мимо.

Л. 3 (140).

Как призрачен саней скользящий бег
Лебяжьим пухом свод небес омрежен
И дивно лес торжественный заснежен
Как тень черна, и светел мертвый снег
Узор теней причудлив, светел снег/
Чу, колокол поет про дальний брег
А мертвый сон глухих полей безбрежен/
А сон полей завейных безбрежен
Безвестен путь, и жребий неизбежен
Святая ночь, где мне сулишь ночлег?

Л. 5 (142).

Когда б из горнего монастыря
Я не ушел, любовью обаянный,
В душе, Творцом в творенья излианной,
Не к Солнцу душ всей волею горя, —

О блудном сыне притчу говоря
И болью нег, и болью покаяний,
Над [перстной долей] разрушеньем персти изваяний
Я не рыдал бы, тварь боготворя.

И если [б]бы, [вновь], в юдоли сердца бедной,
[Я] Вновь жить был осужден, я б жизнь замкнул
Как древний царь Данаю, в замок медный:

Чтоб милый лик под свод не заглянул,
И страсть, грозой расплавя башню, дивней
Свергалась золотом безымянных ливней.

Карандашом.

Автограф с правкой стихотворения «Когда б из горнего монастыря...».

Автографы (2) стихотворения «Когда б из горнего монастыря...» являются вариантами первоначальной редакции сонета «Когда бы, волю Отчую боря...» — второго сонета цикла «De profundis amavi». Цикл состоит из девяти сонетов, восемь были написаны в июне-августе 1920 г. (второй — 17 июня), впервые напечатаны в парижском журнале «Современные записки» (1937, № 64). Публикация вызвала большой резонанс в эмигрантской прессе. Девятый сонет «Прилип огнем снедающий хитон...» был написан лишь в 1949 г. и закончен за два дня до смерти поэта (16 июля); Иванов поставил его третьим. Окончательный текст девяти сонетов впервые появился в «Oxford Slavonic Papers» (1954, V), а затем вошел в СВ (цикл не вошел в БП-2). См. окончательный текст второго сонета «De profundis amavi»:

Когда бы, волю Отчую боря,
Я не ушел, любовью обаянный
К душе, Творцом в творенья излианной,
За ней скитаться без поводыря:

О блудном сыне притчу повторя
И болью нег, и скорбью покаянной,
Над разрушением персти изваянной
Я не рыдал бы, тварь боготворя...

О жизни сон, болезненный и бредный!
Приснись ты вновь, — я сердце бы замкнул,
Как царь-отец Данаю, в замок медный:

Чтоб милый взор в тайник не заглянул,
И пламень неба, свод расплава, дивней
Свергался золотом безликих ливней.

Л. 5–6 (143–144).

Зна[й]ю, мой дорогой друг и сосед по углу нашей общей комнаты, что Вы усомнились в личном бессмертии и личном Боге. И не мне [бы], казалось бы, отстаивать перед Вами права личности на ее метафизическое признание и возвеличение. Ибо, поистине, я не чувствую в себе самом ничего [достойного], могущего притязать на вечную жизнь. Ничего, кроме того, что уже во всяком случае не я, — кроме того всеобщего и вселенского во мне, что связует[, устрояет] и духовно осмысливает, как некий светлый гость [моей темницы], мое ограниченно-личное и неизбежно временное существование во всей сложности его причудливого и случайного состава. Но мне кажется все же, что этот гость недаром посетил меня: цель его, душается мне, одарить бессмертием гостеприимца.

Моя личность бессмертна, не потому, что она уже есть, но потому, что она возникнет впервые; и это возникновение будет [чудом] безусловным чудом. Ясно вижу, что не найти мне в своей так называемой личности и ее многообразных выражениях ни одного атома, [достойного быть признанием] подобного хотя бы только зародышу самостоятельного истинного, т. е. вечного бытия: я семя, умершее в земле: но смерть семени есть условие его оживления. Бог меня воскресит, потому что Он со мною; из Него я возник, и во мне Он пребывает. И [так как] поскольку захочет пребыть, [то] создаст и форму пребывания. Бог не только создал меня, но и создает. Ибо желает, чтобы я создавал его в себе и впредь, как создавал доселе. Не может быть нисхождения без приятия; оба подвига равноценны, и приемлющее становится равным по достоинству нисходящему. Итак, внутренний закон любви, в нас начертанный, ибо мы читаем без труда его невидимую скрижаль, — уверяет нас, что прав библейский псалмопевец, говоря Богу:

„Ты не оставишь души моей во аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление“. ВИ».

Карандашом.

Черновой автограф первого из 12 писем Вяч. Иванова к М. О. Гершензону. Окончательный текст см.: *Иванов В., Гершензон М.* Переписка из двух углов / Подгот. текста, примеч., коммент. Роберт Бёрда. М., 2006. С. 9–11. Письмо датировано 17 июня 1920 г.

Л. 7 (145).

Лебединая Память

Лира.

Ось.

Дрема Орфея.

Острова.

Первые Откровения.

Гиперборейская Быль.

Замышление Баяна.

Зефир.

Превращение.

Туча.

Утренние Чары.

Мемнон.

[К Поэту («Любовию мечты твои...»)]

[К Поэту («Мнят поэта...»)]

Жар-птица.

Вдохновение.

Певец в Лабиринте.

Поэт и Муза.

[Мать-]Земля

Деметра.

Мать.

Могилы.

На кладбище.

Анемоны.

Элевсинская Весна.

Ручей.

Сомнение.

[Погост] Память земли.
Исповедь Земле.
Утренняя в гробу <?>.
Мать Дебрeнская.
Погост.

Автограф чернилами.

План двух стихотворных циклов.

«Лебединая Память» представляет собой значительно расширенный вариант цикла под тем же названием из одиннадцати стихотворений, опубликованного в журнале «Русская мысль» (1915, № 8; далее: ЛП). Стихотворения, обозначенные в плане, были опубликованы в периодике; позднее почти все вошли в состав СВ (многие в переработанном виде), несколько — под новыми названиями. «Лира» и «Ось» — Сирин. Сб. третий. СПб., 1914; СВ как «Лира и Ось», одно стих. в двух частях (БП-2). «Дрема Орфея» — Альманах муз. Пг., 1916; СВ (БП-2). «Острова» — ЛП №2; СВ (БП-2). «Первые Откровения» — ЛП № 3; СВ. «Гиперборейская Быль» — ЛП № 1; СВ в составе стих. «Певец у Суфитов». «Замышление Баяна» — Русское слово. 1916, 25 декабря; БП-2. «Зефир» — ЛП № 4; СВ под названием «Певец». «Туча» — ЛП № 5; СВ (БП-2). «Утренние Чары» — ЛП № 7; СВ. «Мемнон» — ЛП № 6; СВ (БП-2). [К Поэту («Любовию мечты твои...»)] — Северные записки. 1915. № 5/6 под названием «Поэту», № 2; СВ в составе стихотворения «Певец у Суфитов». [К Поэту («Мнят поэта...»)] — Там же. Как «Поэту», № 1; СВ в составе стихотворения «Певец у суфитов». «Жарптица» — ЛП № 9; БП-2. «Вдохновение» — стихотворение с таким названием нами не найдено у Иванова. «Певец в Лабиринте» — ЛП № 11; СВ (БП-2). «Поэт и Муза» — Записки мечтателей. 1919. № 1; СВ под названием «Поздний час».

Цикл «[Мать-]Земля» не был напечатан. Заглавие цикла содержит коннотацию со стихотворением «Плоской чашей, розовой по краю...», 1915 (впервые: Северные записки. 1915. № 5/6; СВ под названием «Фламинго»), ср. ст. 6: «Мать-Земля себя подобной Гебе...». Произведения, озаглавленные: «Деметра» и «Память земли» в стихотворном корпусе Иванова нами не выявлены; какие именно стихотворения поэт имел в виду, установить не удалось. Другие стихотворения, отмеченные в плане, были опубликованы и затем включены в СВ. «Мать» — Сирин. Сб. третий. СПб., 1914; СВ. «Могила» — Скрижаль. Сб. первый. Пг., 1918; СБ (БП-2). «На кладбище» — Сирин. Сб. 3. 1914; СВ (БП-2). «Анемоны» — Русская мысль. 1914. № 5; СВ под названием «Первенец полей». «Элевсинская Весна» — Альманах муз. Пг., 1916; СВ (БП-2). «Ручей» — Сирин. Сб. 3. 1914; СВ (БП-2). «Сомнение» — Русская мысль. 1914. № 4; СВ (БП-2). «Исповедь Земле» — Русское слово. 1915, 25 декабря; СВ. «Утренняя в гробу» — Русская мысль. 1914. № 11; СВ. «Мать Дебрeнская» — *Иванов В.* Собр. соч. Т. IV. Брюссель, 1987. С. 29–30 («Владычица Дебрeнская»); «Погост» — Гюлистан. Альманах II. М., 1916; СВ под названием «У порога».

Л. 8 (147). Чистый лист.

Л. 9 (148).

6 августа

Lydia tibi Amen	Тебе, Лилия, воистину.
fit Domini Voluntas	Вершится воля Божия,
liberamini ab atra	избавлены вы от черной
morte miraculo magno	смерти чрез чудо великое
Dei Omnipotentis et	Всемогущего Бога,
exitis feliciter in regionem	исходите счастливо в пределы
novam sanatur filia	новые. Исцеляется дочь
et corroboratur feliciter	и крепнет счастливо.
laudabitis Deum	Славить вам Господа,
Liberatorem et Salvatorem	Избавителя и Спасителя,
erepti e faucibus exitu(s)	вырваны из пасти смерти
feliciter Ora e Sempre	счастливо. Ныне и навсегда.
dux vestra conivente	Поведет, снисходительностью вашего
Divinitate Lydia tua	Божества, твоя Лидия

Автограф карандашом.

Молитвенное послание к Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (1866–1907). Приводим вариант прочтения и перевода этого текста, предложенные А. К. Гавриловым, и его комментарий: «Латинский набросок не обработан в отношении interpunctio, четкости грамматических конструкций, в смысле разнообразия лексики (в небольшом тексте трижды *feliciter*) или, наоборот, единства стиля; есть слитные написания, форма мужск. рода *erepti*, хотя следовало бы ожидать женск. род *ereptae* (писавшему, конечно, естественно было присоединить к числу спасенных себя, что и повлекло изменение рода). В наброске заметна привычка к живой латыни (употребление сравнительно редкого глагола *coniveo*; формулы вроде *e(x) faucibus fati vel sim. ereptum esse*, которую весьма любили Цицерон и Ливий; там, где читается *exitu*, имелся в виду, наверное, gen. sing. *exitus*)».

Об истории выражения *Ora e sempre* (ит.: ныне и навсегда), часто служившего завершающей фразой в текстах Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, обращенных друг к другу, см.: *Обатнин Г. В.* К интерпретации некоторых мистических текстов Вяч. Иванова // От Кибирова до Пушкина: Сборник в честь 60-летия Н. А. Богомолова. М., 2011. С. 327, примеч. 39.

Л. 10–17 (149–155) — чистые.

Л. 18 (156).

Визы

2 Паспорта

2 Паспорта продлить	3.30
2 визы Италии	10.00
2 " Австрии	17.50
2 " Литвы	8.40
2 нем<ецкие> анкеты	2.00
2 нем<ецкие> визы	11.00

Запись чернилами.

28 августа 1924 г. Вяч. Иванов с детьми выехал из Москвы следующим маршрутом: Рига, Берлин, Мюнхен, Венеция, Флоренция, Рим (см.: Письма Вяч. Иванова к Александре Чеботаревской / Публ. А. В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 286–288).

¹ Сологуб Ф. Записные книжки (3) и отдельные листы из книжек. 1906–1926 (190 л.) // РО ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 80.

² См.: Иванов В. Письма к Ф. Сологубу и Ан. Н. Чеботаревской / Публ. А. В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976. С. 136–150; Богомолов Н. А. Федор Сологуб на Башне Вячеслава Иванова // Федор Сологуб: Биография, творчество, интерпретации. СПб., 2010. С. 5–16; дополнительные материалы к истории отношений писателей «семейного» периода (1910-х гг.) содержатся также в письмах 1908–1916 гг. Ф. Сологуба и Ан. Чеботаревской к Вяч. Иванову и В. К. Шварсалон: РГБ. Ф. 109. Карт. 34. Ед. хр. 63 (всего 36, включая записки и телеграмму).

³ См.: Письма Вяч. Иванова к Александре Чеботаревской / Публ. А. В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 238–293.

⁴ См.: Обатнин Г. В. Из материалов Вячеслава Иванова в Рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. Л., 1994. С. 29–31.

⁵ О пертурбациях, связанных с этой квартирой после отъезда ее хозяина А. С. Яценко в 1917 г. в Пермь, см. в письмах к нему Ал. Чеботаревской (1924) и В. П. Белкина (1922, 1924, 1926): Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. Русский Берлин 1921–1923: По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Париж, 1983. С. 293–295; 267, 277, 280–281.

⁶ См. об этих событиях во вступ. статье А. В. Лаврова в публ.: Письма Вяч. Иванова к Александре Чеботаревской. С. 249–250.

⁷ О передаче архива в Пушкинский Дом см.: Письмо О. Н. Черносивитовой Т. Н. Черносивитовой / Публ. М. М. Павловой // Ежегодник Рукописного Отдела на 1990 год.

СПб., 1993. С. 317–320; *Иванов-Разумник*. Федор Сологуб // Иванов-Разумник. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 40.

⁹ Эту часть архива О. Н. Чернозитова не успела (или не торопилась) сдать в Пушкинский Дом; передача бумаг, следовавшая в 1947 г., вероятно, была связана с переездом семьи Лидии Николаевны из квартиры покойной матери (Мучной пер., д. 1) на квартиру И. А. Браудо (Мойка, д. 112).

¹⁰ *Обатнин Г. В.* Из материалов Вячеслава Иванова в Рукописном отделе Пушкинского Дома. С. 31.

¹¹ Похожего типа блокнот с поэтическими автографами имеется в фонде Вяч. Иванова: РО ИРЛИ. Ф. 607. Ед. хр. 202.

¹² Подробнее об этих записях см. в притекстовых примечаниях в публикации записной книжки.

¹³ Об истории третьего брака Вяч. Иванова см.: *Кобринский А.* Дуэльные истории серебряного века: Поединки поэтов как факт литературной жизни. СПб., 2007. С. 339–340; Дневниковые записи и воспоминания В. К. Шварсалон о последних днях и смерти матери // *Богомолов Н. А.* Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. Документальные хроники. М., 2009. С. 257.

¹⁴ См. об этих событиях: *Бёрд Р.* Вяч. Иванов и советская власть (1919–1924). Неизвестные материалы / Новое литературное обозрение, № 40 (6/1999). С. 305–331.

А. Е. Парнис

**Заметки к теме «Вячеслав Иванов
и Александр Иванов»**

**(Неизвестные отзывы Вяч. Иванова о докторской
диссертации В. М. Зуммера)***

В замечательной книге «Разговоры с Вячеславом Ивановым» (1994) Моисей Альтман, ученик поэта, приводит свою дневниковую запись от 5 февраля 1921 г., в которой он зафиксировал слова учителя, трактующие его собственную фамилию и устанавливающие его духовную связь с великим художником-однофамильцем:

* Эта работа, в основу которой положено мое сообщение, произнесенное в 1998 г. в Вене на VII Международном симпозиуме, посвященном творчеству Вячеслава Иванова, состоит из двух частей. Первая часть статьи (вступление к публикации) была напечатана в 2003 году в сборнике материалов симпозиума «Вячеслав Иванов и его время», вышедшем под редакцией С. Аверинцева и Р. Циглер (Wien, 2003. S. 293–305), а вторая часть, состоящая из двух неизвестных отзывов Вяч. Иванова о диссертации Зуммера, не была напечатана. Здесь необходимо сделать некоторые пояснения: во время работы над этой статьей я заболел и был вынужден лечь на обследование в больницу (об этом в постскрипуме к моей статье была дана краткая информация). Мой друг Н. В. Котрелёв любезно согласился просмотреть незаконченную работу, сделать необходимые поправки и отправить ее редактору сборника Р. Циглер, за что я еще раз хочу ему выразить крайнюю признательность. Моя статья «Заметки к теме „Вячеслав Иванов и Александр Иванов“» здесь впервые приводится здесь в полном виде.

Считаю приятным долгом поблагодарить прежде всего юбиляра Н. В. Котрелёва, который на первом этапе работы над этой статьей принимал в ней деятельное участие, а также Н. А. Богомолова, Г. В. Обатнина, А. В. Лаврова, М. М. Алленова, К. Ю. Лаппо-Данилевского, С. Н. Доценко, И. З. Белобровцеву, Н. А. Громову, С. И. Белоконя, а также Т. А. Рогозовскую за многообразную помощь.

«Нет, я нахожу, что фамилия моя, ввиду моего соборного мировоззрения, весьма подходит, я даже думаю, что я ее сам выбрал. „Иванов” встречается среди всех наших сословий, она всерусская, старинная и вместе с моим именем и отчеством звучит хорошо. Вячеслав Иванович Иванов — Вячеслав Иванов сын — Иванов. Кроме того, она мне еще приятна по духовному моему родству с художником Ивановым, которого только недавно начали как следует ценить и понимать»¹.



Любопытно, что эта запись была сделана почти за три года до знакомства Вяч. Иванова с искусствоведом из Киевского университета В. М. Зуммером, автором ряда работ, посвященных творчеству Александра Иванова. Мэтр символизма выступил официальным оппонентом на защите докторской диссертации Зуммера «Александр Иванов. Материалы и исследования» в Бакинском университете 21 марта 1924 года. Кроме приведенной дневниковой записи М. Альтмана, а также «ивановского» мотива в пятом сонете из цикла «Римские сонеты» («Где в келью Гоголя входил Иванов...», 1924 г.), в котором Вяч. Иванов сопоставил автора «Явления Христа народу» с итальянским гравером Пиранези и его «архитектурными фантазиями», кажется, нет никаких других свидетельств об отношении поэта к творчеству своего великого однофамильца². Никак не комментировала эту строку из сонета и польская исследовательница Гражина Бобилевич в своем капитальном труде «Воображаемая поэтика — Вячеслав Иванов в кругу искусств»³. Тем не менее слова Вяч. Иванова о его духовном родстве с художником имеют, разумеется, глубинные основания: здесь не просто совпадение фамилий и сам факт, что оба — поэт и художник — подолгу жили в Риме (разумеется, в разные исторические эпохи). Несомненно, за строкой из этого сонета стоит не только обстоятельное знание творческих биографий писателя и художника, но и такие частные вопросы, как например осведомленность о полемике вокруг «Библейских эскизов» А. Иванова и о победе, которую заслуженно одержал в этой полемике с видными критиками и исследователями молодой ученый Зуммер, напечатав в 10-х годах свои первые работы, посвященные художественному и литературному наследию автора «Явления Христа народу». Несомненно, тему «Вячеслав Иванов и Александр Иванов» следует рассматривать в контексте общей проблемы «Вяч. Иванов и синтез искусств».

Л. К. Чуковская в «Ташкентских тетрадах», включенных в 1-й том ее «Записок об Анне Ахматовой», приводит запись рассказа А. А. Ахматовой об одном эпизоде, связанном с Зуммером и датированном 20 октября 1942 г.:

«Вчера ко мне вдруг явился некий профессор Зуммер. Пригласил меня на лекцию об Александре Иванове. Тут же сообщил мне, что Александр Иванов был связан с Герценом и пр. Вообще я вижу, что без высшего образования меня из этого города не выпустят. А кончил он так: „Я провел год у ног Вячеслава <Иванова> в Баку... Здесь я услышал Вас в Педагогическом Институте. К Вам меня привел Эрос“».

Ф. Г. «Фаина Григорьевна Раневская. — А. П.», которая была при этом визите, сразу по уходе сделала замечательный скетч⁴.

Интересно, что сам Зуммер приводит такую же формулу в неизданном письме к М. А. Волошину от 20 ноября 1924 г.: «Как раз год назад приехал я в Баку, чтобы сесть у ног Вяч. И<вано>ва...»⁵

Эти слова бакинского профессора подтверждаются следующим фактом — сохранились три бакинские групповые фотографии, на которых рядом с Вяч. Ивановым запечатлен Зуммер. Одна из них, на которой засняты Вяч. Иванов, Зуммер и их ученики (1924) — неоднократно печаталась, правда, у ног мэтра символизма сидит не киевский искусствовед, а студент университета юный Виктор Мануйлов, впоследствии известный литературовед⁶. На другой фотографии, которая ни разу не публиковалась, зафиксирована веселая компания после застолья в мастерской художника Е. С. Самородова — на ней Зуммер снова рядом с Вяч. Ивановым. На третьей, которая также не публиковалась, — дочь поэта Лидия, художник Е. С. Самородов, сын поэта Димитрий, сам Вяч. Иванов, Зуммер и неизвестный (возможно, профессор Л. А. Ишков)⁷.

К. М. Колобова, ученица Вяч. Иванова по Бакинскому университету, а в 60-е годы доктор исторических наук и заведующая кафедрой античной истории в Ленинградском университете, спрашивала Зуммера в письме от 19 сентября 1966 г.: «Пишете ли Вы воспоминания о Баку? Литературоведы университета в Тарту все время нажимают на нас, чтобы мы написали (каждый) воспоминания о Баку, т. к. в то время он был крупным центром культуры... Вы могли бы лучше всех написать о нем.

Р. С. Видели ли Вы в Баку (а м. б. слышали) перевод Данте у Вяч. Иванова, им сделанный?»⁸. К сожалению, воспоминаний о Баку Зуммер не написал.

В литературе о Вяч. Иванове, напечатанной в 1990-х годах, имя его бакинского коллеги — искусствоведа Всеволода Михайловича Зуммера встречается крайне редко⁹. Например, он упомянут в одном из писем Вяч. Иванова к детям из Павии (1927), опубликованном Лидией Ивановой в «Книге об отце» (1990)¹⁰, а также в напечатанных в этой же книге воспо-

минаниях В. А. Мануйлова о Вяч. Иванове¹¹ как участник заседаний бакинского литературного кружка «Чаша». В комментариях к этой книге профессор Джон Малмстад привел годы жизни Зуммера — 1885–1970¹². Однако в комментариях К. Ю. Лаппо-Данилевского в книге М. Альтмана «Разговоры с Вячеславом Ивановым», где имеются несколько любопытных эпизодов о Зуммере¹³, приведена другая дата его смерти — 1951 (со знаком вопроса), которая почему-то перекечевала и в другие работы. Вне всякого сомнения, даты, указанные Д. Малмстадом в «Книге об отце» Л. Ивановой, соответствуют действительности. В середине 1960-х годов автор этих строк встречал на улицах Киева и в Музее русского искусства старика среднего роста с большой белой бородой «лопатой», он обращал на себя внимание. Это и был, как я впоследствии узнал, профессор Зуммер.

Приведу краткую справку о Всеволоде Михайловиче Зуммере, основанную на биографических материалах ученого, обнаруженных мною в его архиве, хранящемся в Институте рукописей Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского в Киеве¹⁴.

Он родился в 1885 г. в местечке Тальное Уманского уезда Киевской губернии, закончил 1-ю киевскую гимназию (1894–1903). После гимназии несколько лет учился в драматической школе Е. А. Лепковского в Киеве, затем работал как актер и режиссер.

В 1910 г. Зуммер поступил на историко-филологический факультет Киевского университета по специальности «история искусства», был учеником профессоров А. П. Новицкого, С. А. Гилярова и Г. Г. Павлуцкого, закончил университет в 1916 году. Первая научная публикация Зуммера появилась в 1913 г., когда он был еще студентом, — статья о храмовой статуе «Дионис Эрмитажный»¹⁵. В 1915–1917 гг. учился также в московском Археологическом институте. Был оставлен при Киевском университете для подготовки к профессорскому званию на кафедре истории и теории искусства (1916–1921). Выпустил две книги «Система Библейских композиций А. А. Иванова» (1915), «О вере и храме Александра Иванова» (1918), которые сразу же сделали ему прочное имя в искусствознании.

В сентябре 1923 г. Зуммер был приглашен в Бакинский университет, где организовал кафедру истории искусства, а через несколько месяцев защитил докторскую диссертацию по теме «Александр Иванов. Материалы и исследования» (см. об этом далее). Одновременно он преподавал в бакинской Высшей художественной школе и в Тюркском театральном училище (1923–1925). В Бакинском университете он проработал пять лет, до преобразования его в педагогический институт. Тогда же Зуммер стал осваивать новую для себя область искусствознания — ориенталистику и вскоре напечатал целый ряд работ, которые выдвинули его в ведущие специалисты в этой области¹⁶.

В начале 1930-х годов Зуммер вернулся на Украину — организовал в Харькове художественно-исторический музей и стал его первым директором, читал лекции в Харьковском художественном институте. После самоубийства наркома просвещения Украины Н. А. Скрипника в 1933 г. он был арестован, обвинен в национализме и осужден на пять лет — его отправили в лагерь на Дальний Восток, но через три года и четыре месяца он был досрочно освобожден «за ударную работу»¹⁷. Находясь в лагере, Зуммер стал писать историю строительства Байкало-Амурской магистрали. Когда его освободили, он не успел закончить работу и добровольно еще на месяц остался в лагере, чтобы довести ее до кондиции. В 1938–1940 гг. он вернулся по приглашению Государственной Третьяковской галереи к своему главному труду, которым начал заниматься в 10-х годах в Румянцевском музее, — к работе над систематизацией и описанием «Библейских эскизов» Александра Иванова. В 1940 г. он был приглашен в ташкентский Средне-Азиатский университет, где организовал и возглавил кафедру истории искусства. В Узбекистане он проработал до 1949 года. В космополитические годы он подвергся репрессиям за формализм и за «низкопоклонство перед Западом» и был уволен из университета¹⁸. В 1949 г. он был снова приглашен в ГТГ для завершения работы над составлением полного систематического каталога «Библейских эскизов» А. Иванова. В 1950 г. он закончил этот капитальный труд, но издать его так и не удалось. В том же году он вернулся на Украину, недолго читал лекции в Киевском художественном институте. С 1952 г. он поселился в г. Остёр Черниговской области и несколько лет работал в местном краеведческом музее и занимался главным образом исследованием архитектурного памятника XI–XII вв. — Юрьевой божницей, которую начал изучать еще в 10-х годах, писал статьи об искусстве для УРЕ (Українська Радянська Енциклопедія), а также печатался в местных газетах и выступал с публичными лекциями об искусстве¹⁹.

Личная и творческая жизнь Зуммера сложилась трагически. После нового возвращения на Украину в 1952 г. он не имел права жить и работать в Киеве. Его реабилитировали только 18 сентября 1958 года. В это время он редко печатался, главным образом в местных газетах, а в конце жизни был вынужден писать такие конформистские работы на украинском языке, как «Образ Ленина в искусстве», «Образ Сталина в искусстве», «Достижения советской живописи». Из-за репрессий, которым он подвергался в 30-е и в 50-е годы, ему не удалось написать обобщающей монографии об А. А. Иванове, изучением творчества которого он занимался фактически всю свою жизнь, начиная с 1913 года.

Он автор более 70 научных работ, посвященных прежде всего творчеству Александра Иванова (16 статей), росписям Врубеля в Кирилловской

церкви в Киеве, различным аспектам искусства Украины, искусству ислама в Азербайджане, национальному и современному искусству Узбекистана, а также социологии искусства и музееведению. Кроме того, он написал большое количество популярных статей, посвященных различным вопросам русского и украинского искусства и искусства народов Востока.

В ряде работ о Вяч. Иванове, напечатанных в последние годы, исследователи обращались к беседам или диалогам, которые мэтр символизма вел со своими друзьями-«совопросниками», поэтами, единомышленниками, коллегами и учениками. Несомненно, такой диалог Вяч. Иванов вел и с профессором Зуммером, коллегой по Бакинскому университету. Надо думать, что Вяч. Иванов и Зуммер дискутировали преимущественно на две главные темы — это литературное и художественное наследие Александра Иванова и история религии, в частности житие Серафима Саровского.

Вернемся ко времени переезда Зуммера из Киева в Баку — к сентябрю 1923 г., ко времени знакомства и отношений историка искусства с мэтром символизма. Это был новый и переломный этап в научной и педагогической деятельности киевского ученого.

Моисей Альтман не без иронии описал в автобиографии появление Зуммера в Баку:

«А вскоре приехал в Баку мной из Киева выписанный профессор [Зуммер].

Мне Лидия рассказала, что, когда Зуммер впервые появился в их комнате, он перед Вячеславом стал на колени. Был он религиозным, даже ханжой.

Мои стихи, например, он, прежде чем читать, крестил. Вскоре он по искусствоведению защитил диссертацию»²⁰.

В фонде Зуммера сохранилось несколько документов, которые позволяют реконструировать его бакинский период. Прежде всего речь идет о двух отзывах Вяч. Иванова и об одной записке, написанной его же рукой. Все эти тексты — характеристики искусствоведа.

Вероятно, при аресте Зуммера в 1933 г. большая часть его архива не сохранилась: например, пропали или уничтожены письма Вяч. Иванова, письма М. Волошина, пропало значительное количество документов, относящихся к наследию А. Иванова, в том числе и «Ивановский архив», полученный им от своего учителя профессора А. П. Новицкого в самом начале работы по изучению творчества А. Иванова еще в 10-х годах, о чем он сам упоминал во второй книге об Иванове²¹. Пропала и значительная часть его послевоенного архива (например, письма А. Ахматовой, Н. Пунина и др.).

Но каким образом сохранились указанные выше два рукописных текста Вяч. Иванова и одна его записка?

Один текст — авторская рукопись, условно названная «Представление...» (его заглавие написано рукой Зуммера), на двух листах большого формата и с подписью-автографом. Второй — тоже авторская рукопись «Отчет о диссертации Вс. М. Зуммера...» на четырех листах и с подписью-автографом. Оба текста находятся в очень плохом состоянии: рыхлая бумага, листы написаны черными чернилами и с оборванными краями, некоторые сложены вдвое и на местах сгибов текст полустерт и отдельные места плохо поддаются прочтению. Кроме того, имеется записка, написанная рукой Вяч. Иванова и адресованная в деканат ФОНа с предложением избрать Зуммера профессором. На этих рукописях следы (круглые!) от канцелярских проколов. Вне всякого сомнения, они были изъяты из личного дела Зуммера, которое ранее хранилось в архиве Бакинского университета. Возможны два пути происхождения этих рукописных текстов.

Первый — сам Зуммер изъясил их из своего личного дела, хранившегося в университете, в 1930 или в 1931 г., когда переезжал из Баку в Харьков. Понятно, что он очень дорожил этими документами, написанными рукой Вяч. Иванова, и поэтому решил забрать с собой подлинники текстов. Но в таком случае они должны были пропасть или погибнуть при его аресте в Харькове в 1933 году.

Второй — их могла забрать (или изъять?) в 1950-х гг. по просьбе Зуммера его жена М. М. Васюхова-Зуммер, которая продолжала жить и работать в Баку в Индустриальном институте. Она окончательно переехала в Остёр только в 1963 году.

В фонде Зуммера сохранилось также его недатированное заявление в администрацию Бакинского университета с просьбой предоставить возможность прочитать несколько лекций — оно, вероятно, было написано до поступления на постоянную службу и относится к августу-сентябрю 1923 г.:

В Историко-филологический Факультет Азербайджанского
Государственного университета

магистранта по кафедре истории и теории искусств, научного сотрудника научно-исследовательской кафедры искусствознания, преподавателя Киевского археологического института

Всеволода Михайловича Зуммера

Заявление.

Прошу предоставить мне чтение лекций в Азербайджанском Государственном Университете по кафедре истории и теории искусств.

А. Е. Парнис [272]

Прилагаю:

жизнеописание,
список научных трудов,
программы некоторых читанных мною курсов,
выдержки из отзывов о моих книгах,
печатные работы.

Всеволод Зуммер.

Киев, Нестеровская 31, кв. 7²².

Уже с самого начала пребывания Зуммера в Баку Вяч. Иванов принял самое деятельное участие в судьбе младшего коллеги. Киевский историк искусства сразу же познакомил Вяч. Иванова со своими трудами за первые десять лет научной деятельности, начиная с 1913 года. Мэтр символизма, вероятно, был единственным, кто представил его ученому совету Бакинского университета.

Заглавие одного из двух сохранившихся документов Вяч. Иванова написано карандашом рукой самого Зуммера — «Представление проф<ессора> Вяч<еслава> И. Иванова в Факультет общественных наук Азербайджанского Государственного Университета» (далее — «Представление») ²³. В этом документе, датированном 12 сентября 1923 г., Вяч. Иванов дал обстоятельную характеристику младшему коллеге, а также высоко оценил его работы. Он, вероятно, и стал настаивать на скорейшей защите докторской диссертации.

Автор «Представления», много лет занимавшийся историей дионисийства и выпустивший в Баку капитальный труд «Дионис и прадионисийство» (1923), который лег в основу его докторской диссертации, не мог не отметить первую студенческую работу Зуммера «Дионис Эрмитажный» (1913) и не оценить «эрудиции автора». Он показал широкий диапазон его научных интересов — от античного и византийского искусства до русской иконописи и Александра Иванова и от Ф. Ропса до М. Врубеля. Своими двумя работами «Система Библейских композиций А. А. Иванова» и «О вере и храме Ал. Иванова», как писал Вяч. Иванов в «Представлении», Зуммер «занял одно из первых мест в кругу лиц», изучавших творчество «гениальнейшего из русских живописцев», а главное — ему впервые удалось «установить действительный смысл библейских композиций Иванова, упрочивших за ним высокое признание потомков, но до сих пор толковавшихся превратно». Кроме того, как утверждал автор «Представления», «упомянутые работы В. М. Зуммера вызвали живую полемику», в которой участвовали такие известные ученые и критики, как А. Бенуа, Я. Тугендхольд, С. Глаголь, А. П. Новицкий, Н. Г. Машковцев, Н. И. Романов и другие, и «она окончилась всеобщим признанием его положений» (см. далее полный текст отзыва).

Уже через десять дней после этого «Представления», 22 сентября, ученый совет факультета избрал Зуммера доцентом университета. И через месяц после этого события новоизбранный доцент организовал и возглавил кафедру истории искусства. Наравне с преподавательской деятельностью Зуммер стал вплотную заниматься подготовкой текста докторской диссертации, над которой он начал работать еще в Киеве. Первоначально Зуммер планировал работать над диссертацией, посвященной только одной теме — «Библейские эскизы Ал. Иванова: идеология и стилистика». Затем он, вероятно по предложению коллег по кафедре, расширил тему диссертации, включив в нее весь комплекс своих штудий по творчеству художника, и дал ей другое название — «Александр Иванов. Материалы и исследования».

К сожалению, ни одного экземпляра этой диссертации обнаружить не удалось. Видимо, единственный ее экземпляр остался в архиве университета в Баку. В личном фонде Зуммера Института рукописей находится лишь один экземпляр тезисов диссертации (8 машинописных листов)²⁴; второй экземпляр тезисов находится в фонде А. А. Иванова в ГТГ (9 машинописных листов)²⁵.

Текст диссертации Зуммера на тему «Александр Иванов. Материалы и исследования» представлял собой, как удалось установить, машинопись большого объема (489 листов), которая включала как отдельные его работы, ранее уже опубликованные, так и неизданные тексты, но объединенные единой темой²⁶. Она была построена, главным образом, на неизвестных материалах о жизни и творчестве художника, выявленных самим диссертантом в московских архивах. Кроме того, к диссертации был приложен «Указатель Библейских композиций Ал. Иванова», напечатанный гектографированным способом (тираж — 10 экземпляров)²⁷.

Защита диссертации состоялась 21 марта 1924 года. Оппонентами выступили профессора П. П. Фридолин, Вяч. Иванов, А. В. Багрий и М. В. Довнар-Запольский.

Сохранилось приглашение, извещающее о дне защиты диссертации. На нем указаны фамилии лиц, которым были посланы приглашения: т. Кулиеву (наркому просвещения Азербайджана), т. Мамед-заде, т. <Пепинову?>, т. Фрид<олину>, <т.> <Вяч>. Иванову, <т.> Д<овнар>- Зап<ольскому>:

Совет Факультета общественных Наук покорнейше просит Вас пожаловать на публичную защиту доцентом В. М. Зуммером диссертации «Александр Иванов. Материалы и исследования» для соискания степени доктора теории и истории искусств.

Защита состоится 21 марта в 12 ч. дня в аудитории 1²⁸.

Сразу же после защиты диссертации несколько профессоров выступили с письмом, текст которого был написан рукой Вяч. Иванова и с соответствующими подписями:

Декану Фак<ультета> общественных наук
Аз<ербайджанского> Гос<ударственного> Ун<иверситета>.
Просим внести в Факультет наше предложение о возведении
Вс. М. Зуммера в звание профессора по кафедре истории искусства.

21 марта 1924.

*П. Фридолин, Вяч. Иванов, Ал. Багрий, Евг. Байбаков,
Все<олод> Томашевский, А. Мак<овельский>²⁹.*

26 марта 1924 г. Зуммер был утвержден в звании профессора кафедры истории искусства. Впоследствии, в 1927 г., эта кафедра была переведена на Восточный факультет и ее главными задачами стали: исследования, посвященные исключительно искусству Азербайджана и подготовка специалистов в этой области.

Основной отзыв о диссертации Зуммера принадлежал профессору П. П. Фридолину³⁰. В своем отзыве, который был написан от руки на 17 листах ученической тетради, он подробно остановился на составе и композиции диссертации, которая состоит из разнородных материалов: как опубликованных ранее, так и неопубликованных работах автора диссертации. Он высоко оценил труд Зуммера, но также отметил и спорные моменты и вопросы. В частности, он сформулировал несколько положений, которые следовало бы, по его мнению, развить на диспуте: «Таким образом, В. М. Зуммер в литературе об Иванове пытался занять самостоятельное место, но и здесь также позиция его не является неувязимой, и здесь также придется на диспуте поставить вопрос об ассирийских, еврейских, древневосточных влияниях, равно и о степени отклонения от Запада и уклона к Востоку»³¹.

Несмотря на некоторую «эскизность» и «недоработанность» диссертации и на «небесспорность выводов», труд Зуммера, как считал Фридолин, «представляет весьма ценный вклад в ивановскую литературу» и «пролагает новые пути» в искусствознании, а главное — он «окончательно и бесповоротно решает вопрос о связи библейских композиций с французским изданием книги Штрауса»³².

Под рукописным отзывом Фридолина стоит помета, написанная рукой Вяч. Иванова, и проставлены собственноручные подписи других оппонентов:

К заключениям проф<ессора> Фридолина присоединяемся:

Вяч. Иванов, М. Довнар-Запольский, Ал. Багрий.

С подлинным верно секретарь ФОН'а А. Маковельский³³.

Между тем ученый совет факультета, вероятно, решил, что один отзыв Фридолина недостаточен, и попросил профессора Вяч. Иванова написать вторую рецензию. Но возможно, что это была личная инициатива мэтра символизма, и он назвал ее — «дополнение к отзыву Фридолина».

В отличие от отзыва Фридолина Вяч. Иванов дал абсолютно апологетическую оценку диссертации Зуммера. Он отметил прежде всего «строго научный» уровень исследования, его «безукоризненную филологическую акрибию» и подчеркнул, что изучение творческого наследия А. Иванова, осуществленное Зуммером в 1913–1924 гг., впервые выходит на предельно высокий научный уровень. Вяч. Иванов считает, что диссертация Зуммера является основой, «крепким фундаментом» для создания в будущем «полной монографии» А. Иванова.

Высоко оценив диссертацию Зуммера, Вяч. Иванов как бы ставит последнюю точку в полемике, которая развернулась еще в 1916 г. в журнале *Аполлон*, где А. Бенуа и Н. Машковцев утверждали, что Зуммер в своих студиях слишком «немец» и незаслуженно преувеличивает значение книги Д. Штрауса «Жизнь Иисуса» для художника во время его работы над «Библейскими эскизами»³⁴. А. Бенуа в своей статье вообще полностью отвергал связь «замысла» «Библейских эскизов» со Штраусом. Вяч. Иванов не только решительно поддержал версию Зуммера в этом затянувшемся споре, но и считал, что он давно завершен и победа автора этой версии очевидна.

Мэтр символизма хорошо знал немецкий контекст, он прошел берлинскую университетскую школу и смог увидеть и оценить проблему связи книги Д. Штрауса «Жизнь Иисуса» с «Библейскими композициями» или «эскизами» А. Иванова, выдвинутую и анализируемую Зуммером в диссертации, как бы изнутри. Будучи учеником Э. Целлера, который, в свою очередь, был учеником и биографом Д. Штрауса, и, зная блестяще немецкую философию и теологию, мог, как никто, понять и верно интерпретировать этот источник³⁵. Отметив незначительные неточности и «мелочи», Вяч. Иванов заявил, что диссертация Зуммера — «огромный, высокоценный и прочный вклад в науку истории русского искусства» (см. далее полный текст отзыва).

Личное общение Вяч. Иванова и Зуммера в Баку, как уже было сказано выше, продолжалось всего один год, а после отъезда мэтра в августе 1924 г. в Италию, отношения — продолжились... в переписке.

Зуммер после отъезда мэтра поселился в его университетской квартире и стал фактически его представителем в Баку: он выполнял его просьбы и поручения, информировал его обо всех событиях в университетской жизни и в жизни друзей и учеников, составил и послал ему список бакинской части его личной библиотеки³⁶, а также стал активным распространителем его стихов на родине.

Письма Вяч. Иванова к Зуммеру — их было, вероятно, около тридцати, подлинник его стихотворного послания «Уж расставались мы...» и книги из бакинской библиотеки мэтра, к сожалению, не сохранились — все они, вероятно, пропали еще при его аресте в 1933 году. Сохранились только от-ветные письма Зуммера в Римском архиве поэта — их двадцать восемь (с 1924 по 1929 г). Разумеется, Зуммер очень дорожил дружбой и перепиской с мэтром, и потеря или вынужденное уничтожение писем и документов Вяч. Иванова было для него большой душевной травмой. Известны только три небольших фрагмента из писем Вяч. Иванова к Зуммеру, которые адресат переслал М. Волошину. В письме от 10 ноября 1926 г. он переслал ему отзыв Вяч. Иванова о его стихотворении «Святая Русь»:

«Вот как реагировал в Риме на посланное мною туда „Суздаль и Москва не для тебя ли...“:

„Когда получил я прекрасное стихотворение Макса, Вами мне присланное, я сказал себе: «с подлинным верно, она — такова, но если бы такую имел я женой, то без всякого колебания развелся бы с ней». И в моем за-прещении ей и отлучении ее больше верности ей же самой, истинной, из-начальной, призванной, не одержимой, чем в потворстве ее беснованию, ибо та, что сочетает монастырь с разгулом и разбоем, одержима семью бе-сами и воистину беснуется“.

Оказывается, Вяч. прочил меня в ближайшие сотрудники (несостояв-шегося) русского Археологического Института в Риме. Он получил лектуру в Павии, и адрес его теперь: Pavia, collegio Borgomeo»³⁷.

В письме от 4 ноября 1929 г. он сообщал Волошину о начале работы Вяч. Иванова над «Повестью о Светомире царевиче»:

«Мой Вам подарок, дорогой Максимилиан Александрович, несколько запоздал, — тем не менее, полагаю, Вы его оцените по достоинству. Это две строки из письма Вячеслава (я посылал ему *Владимирскую*):

„Спасибо за стихи Максимильяновы, пронзительно-трогательные: как он поэтически похорошел, прямо красавцем стал!“»

Вот еще несколько осведомительных выдержек из этого его письма, от 19.VIII.1929:

«Назначен в павийском университете „professore incaricato“ по русско-му языку, коим занимаюсь с двумя группами: профессоров и студентов; по-том и история литературы читаться будет. Муза моя „открывает сонны очи“: принялся я за большое художественное дело, которое Бог весть удастся ли довести до конца: о великой загадке нашей, русской, речь, — то ли сказоч-ная, то ли житийная. А теперь, получив только что Госиздатский заказ, устремился на поэтические переводы из Гёте»³⁸.

Я обратился в письме к сыну поэта Дмитрию Вячеславовичу с рядом вопросов и, в частности, попросил рассказать о том, что он помнит о Зуммере и о стихотворении «Уж расставались мы...», которое Вяч. Иванов посвятил своему бакинскому другу. Он ответил мне в письме от 20 октября 1999 г. и прислал мне копии нескольких писем Зуммера к отцу:

«Посылаю Вам письма у нас сохранившиеся от 1927 г. (некоторые сохранились не полностью). Они „вокруг даты написания стихов, посвященных Зуммеру“.

Там есть — как Вы увидите, намеки на „гремучий ключ“ и на Серафима, но нет, к сожалению, подробной „реакции“ на эти стихи. Вы спрашиваете, помню ли я Зуммера. Я хорошо его помню в далекие бакинские годы, хотя не конкретный облик, а некое живое присутствие, что чувствуется и <читая?> его хроники из Баку. Он быстро воспринял тот полускрытый, полушуточный мирок вокруг „пещеры Льва“ (выражение, по-моему, принадлежит ему, а не семье). Тот же мирок <сосуществования?>, часто упоминает в письмах Сергей Витальевич Троцкий³⁹ и наша молоденькая „домработница“ Настя, ставшая другом семьи и доброй подругой сестры моей Лидии. Дата последнего письма, сохранившегося у нас: 4.X.1929»⁴⁰.

Дмитрий Вячеславович любезно прислал мне копии нескольких писем Зуммера к его отцу. Одно из них, как отмечено выше, сравнительно недавно было опубликовано⁴¹.

Сразу по приезде в Рим Вяч. Иванов предпринял попытку вызвать Зуммера в Италию в связи с проектом создания Русской Академии. Он планировал пригласить своего бакинского коллегу в качестве помощника. Об этом можно понять из ответных писем Зуммера и об этом он писал Луначарскому в специальной «Записке» от 22 сентября 1924 г.: «<...> если бы на помощь мне был командирован ревностный и энергичный ученый, вместе исследователь и человек из любви к делу, не боящийся и простой работы (опять указываю, как на желательного мне сотрудника, на профессора Всеволода Михайловича Зуммера) — с полугодовым бюджетом от 7500 до 10 000 рублей, из какой-либо суммы можно было бы назначать по соглашению с Полпредством»⁴².

Однако этот проект не состоялся.

Через три года Вяч. Иванов сделал новую попытку выписать Зуммера в Италию и послал в Государственную Академию Художественных наук (президенту П. С. Когану?) рекомендательные письма. В связи с этим Зуммер ответил Вяч. Иванову в письме от 16 февраля 1927 г.:

«И другое письмо мое, отосланное обратно из Акад<емии> Худ<ожественных> Наук, пришло в Баку. Я полагал, что, заявивши о своем приезде секретарю Академии и предупредив его о том, что даю свой адрес на Академию, я был гарантирован от такого; но в Академии на редкость не-

приятный состав низших служащих и сделано это было, по-видимому, просто на гадость. Я отчасти рад, что золотого имени Вячеслава Иванова <подчеркнуто автором письма. — А. П.> не разменял на медную монету протекции. Письма Ваши рекомендательные я сберегу — на память. <...> Мучиться снова „пыткой надежды“ Мар<ия> Митр<офановна> <жена В. М. — А. П.> не хочет, и на это лето отложила попечение о заграниче<...>»⁴³.

В архиве ГАХНа (ныне — в РГАЛИ) сохранились некоторые документы Зуммера, в том числе и заполненная им анкета. Но и эта попытка, как и первая, не увенчалась успехом. Обе попытки отпали прежде всего из-за возрастающей международной изоляции Советской России. К сожалению, не сохранились и упоминаемые Зуммером рекомендательные письма Вяч. Иванова.

Едва ли не главным событием в переписке Вяч. Иванова и Зуммера стало стихотворное послание мэтра к своему бакинскому другу. Он написал его в канун нового 1927 г. и, вероятно, тогда же, в январе-феврале этого года, отправил его в Баку.

Вс. Зуммеру

Уж расставались мы, когда, подвижник строгий,
Близ хижины твоей пробился светлый ключ.
Все так же ль чистый бьет, все так же ли гремуч,
Как верно *ты* бредешь крутой своей дорогой,
С мечтой заветною о Саровских местах,
Со звонкой песнью на радостных устах?

29 декабря 1926⁴⁴.

Это шестистишие было впервые напечатано в «Собрании сочинений» Вяч. Иванова только в 1987 г.⁴⁵, с разночтениями, но сам адресат, получив его от автора в начале 1927 г., стал сразу же распространять этот текст в списках. Возможно, один из этих списков стал источником неавторизованной машинописи, хранящейся в Пушкинском Доме, с иной (вероятно, ошибочной), датой и указанием места написания — 21 декабря, Павия⁴⁶. Отсюда и возникли ошибочные сведения о том, что существуют три разных варианта текста.

Как известно, Вяч. Иванов за двадцать лет пребывания в Италии, с сентября 1924 г. по 1 января 1944 г., кроме «Римских сонетов», созданных в первые месяцы по приезде, стихов почти не писал. За это время, как свидетельствует О. А. Дешарт, им написано всего двенадцать стихотворений⁴⁷.

Почему же через полтора года после отъезда из Советской России, живя и работая в Павии, он написал стихотворное послание, обращенное

Вс. Зуммеру

Ты почувствовал, как, долго, — — — — —
 Близ — — — — —
 Но — — — — —
 Но — — — — —
 С — — — — —
 С — — — — —

29 декабря 1911.

Автограф стихотворения Вяч. И. Иванова «Вс. Зуммеру»
(РАИ, 4-я тетрадь, Л. 25 об.)

к бакинскому другу, с которым находился в переписке? Что же послужило непосредственным толчком или причиной для создания этого послания?

На эти вопросы сейчас со всей определенностью ответить трудно. Как указано выше, письма Вяч. Иванова к Зуммеру не сохранились. Из ответных писем Зуммера, известных мне, можно попытаться восстановить, хотя бы отчасти, диалог в письмах и узнать о круге тем, которые они обсуждали после отъезда мэтра в Италию в 1924–1929 годах.

О. А. Дешарт свидетельствовала, что Вяч. Иванов в стихах почти никогда непосредственно не реагировал на затронувшие его душу события или переживания, поэтический отзыв появлялся лишь через какое-то неопределенное время⁴⁸.

Попытаемся реконструировать обстоятельства, которые могли послужить толчком к созданию Вяч. Ивановым этого послания.

В этом стихотворении Вяч. Иванов нарисовал религиозный портрет, подчеркнуто православный, своего бакинського друга и сопоставил его с образом святого старца Серафима Саровского. Он отождествил его с «подвижником строгим», связал его образ с идеей русской святости и обратился к одному из ярких эпизодов жития чудотворца — к явлению Богоматери. В символистской традиции такое сравнение — это высокая оценка.

В четвертом стихе «Как верно ты бредешь крутой своей дорогой» метафорически описан тернистый путь Зуммера — от театральных подмостков в науку. Метафора, очевидно, навеяна рассказами самого Зуммера о собственном жизненном пути, о крутых его поворотах и, наконец, о пути в науку. Эти рассказы, несомненно, слышал Вяч. Иванов непосредственно от адресата послания еще в Баку в сентябре 1923 г., когда писал «Представление» молодого коллеги для ученого совета факультета.

Косвенно это подтверждает сам Зуммер в письме к М. Волошину от 22 января 1926 г., в котором он рассказывал о своем жизненном пути и в котором он предлагал кокетельскому поэту-отшельнику заняться наукой и защитить диссертацию:

«Я не решился бы Вам предложить то, что предлагаю, не будь у меня перед глазами примера — Вячеслава. Разве он — не приемлет единственную квалификацию — поэта? разве он не *бродит* (курсив мой. — А. П.) тропинками? Вы — тончайший знаток искусства, не только в России, может быть. <...> И ему, как Вам, стало возможно быть в литературе, — он ушел в науку. Почему бы не уйти и Вам? Профессионализма — и в моем предложении, и во мне лично, — нет, и, может быть, потому нет, что и я *бродил* <курсив мой — А. П.> тропинками, да еще путаными, притом.

Из гимназии пошел в театральную школу, а оттуда на сцену — и 8 лет изображал всесветных злодеев — Мефистофеля, Грозного, Нерона, Пере-

донова, — в разных Тамбовах, Лугансках, Ромнах. Для педанта, как видите, мало подходящая школа <...> Тринадцать лет, с тринадцатого года (*dates fatidiques!*)⁴⁹ ношу на себе Александра Иванова, — а это, подчас, тяжелый сожитель! И когда я издыхал от голода, роясь в земле на своей дачке под Киевом, возделывая бураки и тыквы <...> и все же — в мороз, в пальтишке, с подвязанной рукой, с ящиком диапозитивов на плече, ходил я еженедельно за 9 верст в город — читал лекции, обучал наглядно киевским памятникам, хватался за все возможности, чтобы отдать людям то, что, думалось мне, для них удалось мне узнать и продумать»⁵⁰.

Вяч. Иванов в этом послании, говоря о «верном» пути адресата стихотворения, намекает также и на научный подвиг Зуммера: на тщательное описание всех «Библейских эскизов» А. Иванова, на которое он потратил много лет жизни. А главное — на определение несомненного и неопровержимого источника, несмотря на возникшую вокруг этого вопроса жестокую полемику, и установление связи «всего композиционного плана» «Библейских эскизов» с книгой Д. Штрауса «Жизнь Иисуса». Ср. также в отзыве Вяч. Иванова о диссертации: «Но исследователь идет и дальше, — и, в остальном намечает *верные* (курсив мой — А. П.) вехи душевной и умственной эволюции художника, определяющие точки ее, заверенные фактически».

В этом стихотворении Вяч. Иванов описал, скорее всего, не только личную, но и научную судьбу адресата. В нем он также говорит о заслугах Зуммера в науке и воздает ему должное

Это шестистишие представляет собой, как выясняется, интересный пример анаграмматического текста, характерного для Вяч. Иванова. Мэтр символизма, ученик Ф. де Соссюра, был изощренным и виртуозным мастером анаграмматического искусства⁵¹. Здесь имя и фамилия адресата, к которому обращено послание, вынесены в «затакт», в заглавие-посвящение: *Вс. Зуммеру*. Задача читателя (или исследователя) намного облегчается: следует лишь выявить ключевое слово, в котором синтезируются звуки, составляющие искомую фамилию.

Первое и последнее слова текста фонически связаны друг с другом и составляют кольцевую композицию: *уж — устах*. Интересно, что уже в первом слове — зачине в наречии «уж» есть намек на фамилию адресата, а гласному звуку «у» придается существенная роль, как и в самой фамилии, где он удваивается, так и в структуре текста:

уж — устах — Зуммеру.

Звуковая структура текста строится по принципу «анаграммы в рифме» (термин М. Л. Гаспарова), а звуки, составляющие фамилию адресата, которые находятся в смысловом и фоническом «центре» шестистишия, повторяются в ключевом слове в конце третьей строки: в слове «гремуч»

(четыре звука из пяти: *p, e, m, y*). Необходимо подчеркнуть, что почти все звуки, составляющие имя и фамилию адресата, повторяются в этой третьей строке:

Все так же ль чистый бьет, все так же ли гремуч.

Семантическая и фоническая структура текста строится по восходящей линии и на межъязыковой игре:

Зуммеру (= нем. «жужжание») → *звонкою* → *гремуч.*

Некоторые слоги, составляющие фамилию адресата, варьируются в тексте (*ме-ер-зу*):

Как верно ты бредешь крутой своей дорогой,

С мечтой заветною о Саровских местах

В этом шестистишии Вяч. Иванов дал эффектный звуковой образ адресата послания.

Создавая портрет своего друга, этимология фамилии которого связана со звуком, Вяч. Иванов не мог не обыграть этот факт.

Вероятно, Вяч. Иванов мог беседовать с Зуммером о Серафиме Саровском еще в Баку (см. мотив расставания в начале стихотворения). Находясь в Италии, поэт, спровоцированный, по-видимому, какими-нибудь «внешними» событиями, мог, разумеется, продолжить разговор о святом старце в стихотворном послании. Как теперь стало известно, Вяч. Иванов написал это стихотворение за десять дней до нового года (21 декабря 1926), а в канун нового года он внес в него, вероятно, последние поправки и озаглавил его — «Вс. Зуммеру». Нельзя не учитывать и еще одно важное обстоятельство: он работал над этим текстом в преддверии или накануне дня памяти почитаемого им великого подвижника Саровской пустыни иеромонаха Серафима, скончавшегося 2 января 1833 г. по старому стилю. Однако здесь, вероятно, сработало или могло сработать простое предположение — письмо с рассказом о святом старце и о желании посетить «Саровские места», которое нам неизвестно, могло прийти и от самого Зуммера.

Замысел посетить Саровские места возник у Зуммера достаточно давно. В середине 20-х годов Зуммер приобщился к культу святого Серафима, который исповедовали многие символисты: А. Белый, М. Волошин, С. Соловьев, М. Сабашникова и другие. Уже в письме к М. Волошину от 30 сентября 1925 г. он сообщал об этом плане и предлагал совместно совершить эту поездку: «На будущий год собираюсь на летний праздник к Серафиму (Каспием до Астрахани, Волгой до Нижнего, от Нижнего железной дорогой до Арзамаса, оттуда посошком до Сарова): присоединяйтесь!»⁵²

В том же письме Зуммер благодарит Волошина за отзыв об его статье об А. Иванове:

«Несколько Ваших добрых слов о моей работе, которые я там застал, сделали меня счастливым и гордым. И стихи Вяч<слава> и моя работа предназначались Вам в подарок, — работу я отошлю Вам назад уже в печатном виде, а стихи Вы себе оставьте»⁵³.

Вне всякого сомнения, Зуммер должен был писать о плане поездки в Саров своему главному наставнику и учителю Вяч. Иванову еще в 1925 или в 1926 году.

В известных нам письмах Зуммера, написанных уже после создания стихотворного послания, имеются краткие свидетельства об этом замысле. Так, посылая Вяч. Иванову в письме от 16 февраля 1927 г. недавно написанное стихотворение М. Волошина «Фиалки волн и гиацинты пены», он неожиданно в конце письма сообщает: «И Макс хочет к Серафиму!»⁵⁴

В 1926–1927 гг. Волошин также собирался съездить в Саров и в связи с этим стал перерабатывать свою поэму «Святой Серафим», написанную несколько лет назад, в 1919 году.

В другом письме к Вяч. Иванову, отправленном из Баку 10 мая 1927 г., Зуммер уже подробно рассказывает о своем замысле посетить Саров и приводит строки из шестистишия, адресованного ему:

«Из Киева предполагаю перебраться в Москву, где хочу сделать музейную работу в музее Александра Иванова⁵⁵. Оттуда — в Казань, чтобы, присоединивши к Азербайджану, Средней Азии, Крыму еще и Поволжье, иметь право работать во всеюрьском масштабе. Уповаю осуществить и „мечту заветную о некаких местах“ (так!; здесь и далее курсив мой. — А. П.), о которой Вы говорите в своей посылке: кстати сказать, пользуясь тем, что никто не знает, у кого это „близ хижины пробился светлый ключ“, я и это шестистишие распространял, как Р. С. к сонетам, — и всех оно поражало своей необыкновенной свежестью. А там дальше — не то по Волге и Каспию, не то через Самару и Ср<еднюю> Азию снова сюда»⁵⁶.

Надо думать, в этой, упомянутой выше, посылке (или письме), присланной в январе-феврале 1927 г., Вяч. Иванов и мог послать Зуммеру свое шестистишие. Интересно, что адресат этого стихотворения, цитируя его, искажает строки — то ли по личным причинам, то ли по цензурным соображениям. Во второй строке он купирует притяжательное местоимение «твоей». А в пятой — заменяет топоним «Саровские места» на «некаких» (так!). Почему Зуммер шифрует этот текст, не совсем понятно⁵⁷. Но уже через два месяца, 12 июля 1927 г., Зуммер пишет Вяч. Иванову из Киева и снова цитирует это стихотворное послание: он сообщает поэту о новых событиях, которые резко поменяли его планы:

«В белой комнате моей гостит сейчас акварель Богаевского, — строгий и тихий „мечтательный“ пейзаж. И в открытое окошко слышен „светлый

ключ: все так же чистый бьет, все так же он гремуч...". Но „мечте заветной о некаких местах“ так и не суждено осуществиться: места разорены и опустошены. И случилось это как-то чересчур просто: приехали-прискакали двенадцать, не велели выходить, вынули тело, положили на сани... Теперь это — в Москве, в музее...»⁵⁸

Здесь речь идет о разграблении и закрытии в 1925–1927 годах Саровского и Серафимо-Дивеевского монастырей и об исчезновении мощей святого старца. Еще в декабре 1920 г. была вскрыта рака преподобного Серафима в Саровской пустыни. Более полугода мощи святого старца находились в раке под стеклом и были открыты для обозрения. К концу 1925 г. властями было принято решение о закрытии монастыря. Весной 1927 г. Саровская пустынь была полностью закрыта, а мощи преподобного Серафима были изъяты и тайно увезены в Москву в Музей религиозного искусства (Донской монастырь), а затем были переданы в ленинградский Музей истории религии (Казанский собор). На базе Саровского монастыря в 1927 г. была создана детская трудовая колония, а в 1931–1938 гг. здесь была создана трудовая колония для взрослых.

Как известно, мощи преподобного Серафима неожиданным образом в 1991 г. были обнаружены в запасниках ленинградского Музея истории религии и атеизма, где они значились как безымянный «экспонат». Летом того же года мощи святого старца были с почестями перенесены в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь.

Следует также напомнить, что осенью 1926 г. резко поменялась жизнь Вяч. Иванова — он получил в Павии место профессора новых языков и литератур в университетском Колледжио Борромео, где проработал восемь лет. И еще одно важное, переломное, событие в его жизни — 17 марта 1926 г., в день праздника св. Вячеслава в России, Вяч. Иванов, верующий в Церковь Единую и Святую, перешел в католичество. В известном письме к Шарлю дю Босу он так описал свои переживания этого кардинально важного для него события:

«Произнеся <...> Символ Веры, за которым следовала формула присоединения, <...> я впервые почувствовал себя православным в полном смысле этого слова, обладателем священного клада, который был моим со дня моего крещения <...> Я испытал великую радость покоя и свободы действий, <...> сознание, что выполнил свой личный долг и в своем лице долг моего народа, уверенность, что поступил согласно его воле, которую я ясно увидел созревшей для Единения, что остался верен его последнему завету: требованию забыть его и принести в жертву вселенскому делу Соборности»⁵⁹.

Перейдя в католицизм, Вяч. Иванов продолжал считать себя православным, но, несомненно, это радикальное событие в его духовной жизни сопровождалось долгими размышлениями — до и после 17 марта 1926 года.

Как известно, у младших символистов существовал культ Серафима Саровского и его образ занимал значительное место в их мировоззрении. «Саровские события» — открытие мощей святого старца 19 июля 1903 г. и его канонизация 1 августа того же года — произвели огромное впечатление на молодого Андрея Белого и на его московских друзей — С. М. Соловьева и А. С. Петровского⁶⁰. Незадолго до этих событий Андрей Белый в письме к Э. К. Метнеру от 3 марта 1903 г. утверждал, что старец Серафим — «единственная несокрушимо-важная и нужная для России скала в наш исторический момент»⁶¹. Он подробно рассказал об этом Блоку в письме от 19 августа 1903 г. со слов Петровского, побывавшего в Дивееве и Сарове⁶². Об интересе М. Волошина к образу святого Серафима и его поэме, посвященной старцу, упоминалось выше. Художница Маргарита Сабашникова, первая жена М. Волошина и близкий друг Вяч. Иванова в «башенный» период, написала книгу о Серафиме Саровском⁶³, а поэтесса Н. Павлович посвятила ему поэму «Серафим»⁶⁴. И уж совсем неожиданный и малоизвестный факт — статью о преподобном старце собирался написать глава футуристов Велимир Хлебников⁶⁵.

Бердяев в книге «Смысл творчества» (1916) писал:

«В начале XIX века жил<и> величайший русский гений — Пушкин и величайший русский святой — Серафим Саровский. Пушкин и св. Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались. Равно достойное величие святости и величие гениальности — несопоставимы, несоизмеримы, точно принадлежат к разным бытиям. Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина, и святостью Серафима»⁶⁶.

В своей рецензии на эту книгу Вяч. Иванов назвал ее «страстным творением высоко и дерзко взмывающей мысли»⁶⁷. Он особо отметил взгляд Бердяева на русскую святость:

«<... > отношение к святости и святым есть мерило верности религиозного мыслителя нашей народной религиозной стихии. Для человека западной обмирщенной образованности лучший цвет человечества — гений, для русского народа — святой»⁶⁸.

Любопытно, что Вяч. Иванов озаглавил эту рецензию «Старая или новая вера?», и это название перекликается с названием книги Д. Штрауса «Старая и новая вера», русский перевод которой находился в библиотеке поэта.

Вяч. Иванов неоднократно обращался к образу Серафима Саровского в текстах разных периодов. Кажется, он впервые упомянул Саров и явление Богоматери старцу Серафиму в статье «Достоевский и роман-трагедия» (1911):

«По легенде Дивеевского монастыря в Сарове, Богоматерь вышла в пустынь и очертила ограду своей обители на будущие времена. Так, по древ-

нему гимну, многострадальная мать Деметра вошла, после долгих скитаний по земле, в округу Элевсина и затворилась в священный затвор, полагая этим основание будущих таинств»⁶⁹.

Через год он написал сонет «*Gratiae plena*», навеянный латинской молитвой «*Ave Maria*» где в финальной строфе снова возникает Саров:

К струям святых озер, с крутых лесистых яров
Сойди, влача лазурь, — коль нежной тайны дар
И древлий Радонеж, и девий помнит Саров!⁷⁰

Во второй и третьей строках своего послания к Зуммеру Вяч. Иванов намекает на Серафимов источник и на явление Богоматери святому старцу, которое, по легенде, состоялось 25 ноября 1825 г.:

Близ хижины твоей пробился светлый ключ.
Все так же ль чистый бьет, все так же ли гремуч...

Примечательно, что эпитет «светлый», связанный с *ключом* из стихотворения Вяч. Иванова, восходит к названию Серафимова источника из житийной литературы: «фонтан светлой воды», святой источник Дивеевской обители, колодец о. Серафима, источник преподобного Серафима и другие. Важно также отметить, что эпитет «радостных», появляющийся в финале шестистишия как характеристика адресата, восходит к характеристике «последнего святого» (Д. Мережковский), который дал преподобному сам Вяч. Иванов в письме к сыну Димитрию от 10 марта 1927 г.: «радостный Серафим» (см. ниже). По легенде Серафим Саровский встречал каждого мирянина словами «Радость моя». А формула «звонкой песнью», также появившаяся в финале этого стихотворения, отсылает к Пушкину, у которого упоминается дважды: в «Бахчисарайском фонтане» и в стихотворении «В поле чистом, серебристом...». Весь текст этого краткого стихотворного послания, весь его пафос говорят о грядущей песне радости, радости приобщения к святости и душевной гармонии и, конечно же, к творческому экстазу.

К образу святого Серафима возвращается Вяч. Иванов и в программном для него письме к сыну Димитрию от 10 марта 1927 г.:

«<...> если бы, говорю я, благодать Божия не проявлялась действительно в отдельно избранных душах, несмотря на национальное схизматическое отделение от вселенского единства, православная Россия не имела бы своих великих святых; а кто не чтит и не любит, например, преподобного Сергия Радонежского и преподобного Серафима Саровского, тот русский не достоин именоваться христианином, — все равно, будь он православный

или католик. Ибо явление Божьей матери Серафиму, как и св. Сергию — такая же «Нечаянная радость» и подарок человечеству, как и Ее явление в Лурде. Радостный Серафим, учивший о Духе Святом, был „старец“ в Сарове, современник Пушкина. И если названные русские святые не записаны до сих пор в католические святцы, это потому только, что разделение Церкви делает невозможным обычного порядка канонизации»⁷¹.

К легенде о святом Серафиме вернулся Вяч. Иванов и в последней «Повести о Светомире царевиче», над которой он работал, начиная с 1928 г. до самой смерти. Неслучайно он дал «ангельское» имя Серафим при крещении царевичу — главному герою этой «Повести». И по точному замечанию С. С. Аверинцева (в комментариях к «Повести»), это второе имя царевича соотносится с «преподобным Серафимом, причисленном к лику святых на памяти поэта, в котором часто видели предвосхищение некоего грядущего преобразования России, а может быть, и вселенского христианства»⁷².

Таким образом, стихотворное послание Вяч. Иванова «Уж расставались мы...», адресованное Зуммеру и написанное в конце декабря 1926 г., за два года до начала работы над «Повестью о Светомире царевиче», можно считать одним из подступов к этому главному, как он считал, произведению последних лет.

В исследовательских трудах об Александре Иванове, написанных в 30–80-х годах XX в. (Н. Романов, Н. Машковцев, М. Алпатов и др.) работы Зуммера почти не упоминались, а если и упоминались, то как-то вскользь, пунктиром, и с какой-то странной «скупостью», и без объективной оценки его несомненных заслуг.

М. М. Алленов в своей диссертации и в монографии об А. Иванове⁷³ дал краткую характеристику трудам Зуммера и признал, что киевский ученый был первым, кто неопровержимо доказал зависимость расположения фигур в «Библейских эскизах» А. Иванова от «построений» немецкого ученого Д. Штрауса в его книге «Жизнь Иисуса».

В 1990 г. была напечатана «старая» работа выдающегося искусствоведа Н. Н. Пунина, написанная еще в конце 40-х годов, — глава из его докторской диссертации «„Библейские эскизы“ Александра Иванова»⁷⁴. В ней были высоко оценены все труды Зуммера об А. Иванове — от первой работы «Система библейских композиций А. А. Иванова» (1914) до последней неизданной работы «Ал. Иванов — художник и просветитель», написанной в 1949 году, рукопись этой статьи Пунин получил от автора буквально незадолго до своего ареста (она сохранилась в семье погибшего искусствоведа).

Через двадцать пять лет после Вяч. Иванова Пунин, продолжая работать над докторской диссертацией об А. Иванове, в личном письме к Зум-

меру от 31 января 1949 г., написанном за несколько месяцев до своего ареста (сохранился черновик), дал высокую оценку его работам:

«Мне хочется выразить Вам свое восхищение Вашими трудами. Сколько в них научной ответственности, точности, уменяя себя ограничить и вместе с тем какая смелость мысли. Я уже много раз перечитываю их и все нахожу новые, не сразу замеченные мною драгоценные наблюдения и строгие мысли.

В пресловутой полемике Вы одержали блестящую победу, и с каким великодушием! Вопрос о взаимоотношении „Системы“ с книгой Штрауса я считаю навсегда решенным. Но мне хочется пойти несколько дальше, и я позволил себе утверждать в своей работе, что книга Штрауса в известной мере „стала движущим фактором духовного развития Иванова“ <...> Я показывал „Эсхатологию“ А. А. Ахматовой, которая Вас почему-то немного боится; она была очень заинтересована; вообще я пропагандирую Вас, как могу, так что аппарат к одной из глав моей работы состоит из сплошных ссылок на Зуммера. Да это и естественно, т. к. Ваши работы прочно вошли в историографию русского искусства»⁷⁵.

В своей монографии об А. А. Иванове Пунин, подводя итоги многолетним разысканиям и открытиям, сделанным Зуммером, пришел к следующему выводу: «Штраус помог А. Иванову приблизиться к тому синтетическому мировоззрению, в котором слились в более или менее органическом единстве его общественные, религиозно-этические и художественные взгляды»⁷⁶.

В настоящей работе впервые в научный оборот вводятся два неизвестных ранее текста Вяч. Иванова. Кроме того, в ней сделана попытка прочтения шестистишия «Уж расставались мы, когда, подвижник строгий...», обращенного к Вс. Зуммеру, а также напечатан ряд новых материалов о бакинском периоде Вяч. Иванова и его взаимоотношениях с адресатом стихотворения.

Необходимо подчеркнуть, что Вяч. Иванов в своем послании нарисовал не только словесный портрет своего бакинского друга, но и дал его звуковой портрет, построенный на анаграммах. При анализе пятого сонета из цикла «Римские сонеты», а также при анализе этого стихотворного послания следует иметь в виду, что в подтекстах стоит не только личная судьба Зуммера, но прежде всего имеется в виду его многолетний труд, посвященный изучению и толкованию «Библейских эскизов А. А. Иванова», труд, в котором, как считал Вяч. Иванов, ему «удалось установить действительный смысл» этих композиций.

Тексты отзывов Вяч. Иванова печатаются по рукописям, хранящимся в Институте рукописей НБУВ (Ф. 291. Ед. хр. 193. Л. 1–1 об.; ед. хр. 163. Л. 1–4) с сохранением особенностей стиля, орфографии и пунктуации автора.

¹ *Альтман М. С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 47.

² *Иванов В.* Собрание сочинений. Брюссель, 1979. Т. III. С. 580. (далее указываются том и страницы). Недавно были опубликованы свидетельства, на которые мое внимание любезно обратил Н. А. Богомолов. См.: *Богомолов Н. А.* Вяч. Иванов в 1903–1907: Документальные хроники. М., 2010 (по указателю; ВИ рекомендует Зяматиной с благоговением посмотреть «Явление Христа», а Сабашникова рекомендует посмотреть эскизы). Ср. также: Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал. Переписка. М., 2009. Т. 2. С. 156, 158.

³ *Bobilewicz G.* Wyobrażenia poetycka — Władzisław Iwanow w kręgu sztuk. Warszawa, 1995. S. 259.

⁴ *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 1. С. 489. Ср. об этом в письме Зуммера к искусствоведа Д. П. Гордееву от 31 января 1960 г.: «Нине Николаевне <Васильевой, жене Д. П. — А. П.> может быть будет забавно узнать, что в Ташкенте жила по эвакуации Анна Ахматова, и я носил ей «розы с площадки круглой» и провожал к ней приехавшего из Самарканда Ник. Ник. Пунина. Она писала ташкентские стихи с очень тонким *couleur locale*» (ЦДАМЛМ. Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 158. Л. 34). Об этом он сообщал и в другом письме к тому же адресату: «Между прочим, когда Анна Андреевна по эвакуации жила в Ташкенте („Ташкентские стихи“!), жила она недалеко от меня, и мы часто виделись, а после некоторое время переписывались» (Там же. Л. 45). Писем А. А. Ахматовой к Зуммеру обнаружить не удалось. В архиве Зуммера сохранилась телеграмма от Н. Н. Пунина из Самарканда в Ташкент от 27 июня 1943 г. с просьбой передать А. Ахматовой сообщение об его приезде (ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 245).

⁵ РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 578. Л. 1 (Здесь и далее копии писем Зуммера к М. Волошину мне предоставлены Е. Р. Обатниной).

⁶ *Лавров А. В.* В. А. Мануйлов — ученик Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов: Исследования и материалы. СПб., 2010. Вып. 1. С. 623.

⁷ Указанные бакинские фотографии Вяч. Иванова находятся в распоряжении автора этой статьи.

⁸ ИР НБУВ. Ф. 291 (Фонд В. М. Зуммера). Ед. хр. 280. Об этом переводе ВИ (с публикацией сохранившегося текста) см.: *Davidson P.* The poetic imagination of Vyacheslav Ivanov: A Russian Symbolist's perception of Dante. Cambridge e.a., [1989]. P. 261–273.

⁹ Например, юбиляр Н. В. Котрелёв в своей пионерской (не побоюсь этого слова!) статье о пребывании Вяч. Иванова в Баку (*Котрелёв Н. В.* Вячеслав Иванов — профессор Бакинского университета // Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1968. Вып. 209. Труды по русской и славянской филологии. XI. Литературоведение. С. 369) упомянул Зуммера всего один раз — в ряду преподавателей университета. В его новой статье «Два забытых стихотворения Вяч. Иванова» (От Кибирова до Пушкина: Сборник в честь 60-летия Н. А. Богомолова. М., 2011. С. 188) Зуммер упоминается также один раз как участник юбилейного вечера, посвященного главному режиссеру оперного театра Н. Н. Боголюбову (19 декабря 1923 г.), — на нем он выступил со вступительным словом «Миф о Тангейзере». Уже после моего сообщения на эту тему в 1998 г. на Венском симпозиуме в печати появилось несколько материалов о Вяч. Иванове, в которых упоминался Зуммер (прежде всего следует назвать тома итальянские издания с публикациями А. Шишкина (Archivio Italo-russo III. Vjačeslav Ivanov — testi inediti / A cura di Daniela Rizzi e Andrej Schishkin. Salerno, 2001 [по указателю]) и Г. Обатнина (Europa orientalis. 2002. XXI: 2. P. 265), публика-

цию Л. Н. Ивановой в «Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 г.». СПб., 2002. С. 329),), кроме того, вышла монография о нем на украинском языке, но исключительно как об ориенталисте: *Кочубей Ю. М., Циганкова Е. Г. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20–30 рр. ХХ ст. В. М. Зуммер (1885–1970)*. Київ, 2005.

¹⁰ *Иванова Л. В. Воспоминания: Книга об отце / Подг. текста и коммент. Джона Мальмстада. Paris, 1990. P. 152.*

¹¹ Там же. P. 352–353.

¹² Там же. P. 411.

¹³ *Альтман М. С. Указ. соч. С. 178–179, 273, 313, 350, 358.*

¹⁴ ИР НБУВ. Ф. 291.

¹⁵ *Зуммер В. М. Дионис Эрмитажный // Университетские известия. Киев. 1913. № 9. С. 1–10 (см. комментариев к «Представлению»).*

¹⁶ См.: *Кочубей Ю. М., Циганкова Е. Г. Указ. соч. Зуммер посылал Иванову свои востоковедческие сочинения, которые сохранились в РАИ.*

¹⁷ ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 185. Этот документ Зуммера с просьбой о реабилитации датируется 1956 г.

¹⁸ В архиве Зуммера сохранилось его протестное заявление в Союз художников Узбекистана (Ф. 291. Ед. хр. 192) в связи с опубликованием в газете «Правда Востока» от 27 февраля 1949 г. заметки с обвинением его в космополитизме и с сообщением о том, что он отстранен от работы.

¹⁹ В местной печати появлялись доносы на Зуммера. Например, в газете «Десняньска правда» (от 13 февраля 1953 г.) в статье некоего В. Мирошниченко «Кормушка под вывеской областного лекционного бюро» сообщалось: «Из г. Остёр приехал какой-то В. М. Зуммер, назвавший себя профессором. Для него организуется цикл лекций о Леонардо да Винчи и устанавливается самая высокая плата — 200 рублей за выступление». В архиве Зуммера сохранилась копия его письма-протеста, адресованного главному редактору «Десняньської правди» (Ф. 291. Ед. хр. 206).

²⁰ *Альтман М. С. Указ. соч. С. 133.*

²¹ *Зуммер В. М. О вере и храме Ал. Иванова. Киев, 1918. С. 52 (в примечании автор книги благодарит своего учителя профессора А. П. Новицкого, передавшего Зуммеру собранный им «Ивановский архив» и сообщает, что в нем находились «копии бумаг, писем, записных книжек и записей в альбомах Иванова, снятые им (Новицким. — А. П.) в начале 1890-х годов для книги, частью не использованных и сохранивших многие из карандашных записей Иванова, ныне стершиеся и совершенно неразличимые в оригинале»).*

²² ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 194. Л. 1. Эта единица состоит из автобиографических материалов, написанных рукой Зуммера на 13 листах ученической тетради. Кроме заявления, в нее входят пять приложений, в которых подробно описана вся его личная и научно-педагогическая деятельность, а также приведена библиография и фрагменты из отзывов в печати (до осени 1923 г.). В этой единице следы от канцелярских проколов. Она также была извлечена из личного дела Зуммера (им самим или его женой), хранившегося в архиве университета.

²³ ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 193. Авторская рукопись написана по старой орфографии. В этой единице, кроме авторской рукописи, находится машинопись, сделанная, очевидно, Зуммером еще в Баку, т. к. на ней такие же следы от проколов.

²⁴ ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 137 (машинопись с авторской правкой с датой: *21 марта 1924 г. Вс. Зуммер*; на ней следы от канцелярских проколов).

²⁵ ОР ГТГ. Ф. 51. Ед. хр. 16 (авторизованная машинопись с подписью и датой: 21. III. 1924. Баку. Зуммер).

²⁶ Уже после защиты диссертации Зуммер напечатал статью «Проблематика художественного стиля Александра Иванова: стиль „библейских эскизов“», которая, как указано в примечании, является главой из его диссертации (Известия Азербайджанского государственного университета им. В. И. Ленина. Общественные науки. Баку, 1925. Т. 2–3. С. 84–103).

²⁷ Ни одного экземпляра этого уникального «Указателя Библейских композиций Ал. Иванова» (М., 1916), составленного В. М. Зуммером, разыскать не удалось.

²⁸ ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 168. Л. 28.

²⁹ Там же. Л. 29.

³⁰ ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 167 (авторизованная рукопись); Ед. хр. 166 (машинопись, заверенная А. О. Маковельским). Оба текста с канцелярскими проколами — из личного дела Зуммера.

³¹ Там же. Здесь и далее цитируется отзыв Фридолина по машинописному тексту.

³² *Vie de Jesus, ou exament critique de son histoire, par le docteur David Frederic Strauss, traduite de l'allemand sur la troisieme édition par E. Littré.* Paris: Librairie de Landrange, 1839–1840, 2tt. Одним из первых, кто поставил вопрос о связи «Библейских эскизов» А. Иванова с книгой профессора Д. Штрауса «Жизнь Иисуса», был учитель Зуммера, А. П. Новицкий, когда он работал над книгой «Опыт полной биографии А. А. Иванова», вышедшей в 1895 году, он обратился к В. С. Соловьеву с просьбой помочь разобраться в философско-богословских вопросах. Новицкий упоминал об этом в своей рецензии на первую книгу Зуммера «Система Библейских композиций А. А. Иванова»: «Я обратился за содействием к В. С. Соловьеву. Он очень заинтересовался этим и даже вызвался сам написать для моего труда специальную главу о влиянии Штрауса на Иванова; но, конечно, для этого потребовалось время, а издатель, конечно, не согласился откладывать выпуск книги и, таким образом, лишил нас получить решение этого вопроса от В. С. Соловьева» (Голос минувшего. 1916. № 3. С. 282). Писем В. С. Соловьева к А. П. Новицкому обнаружить не удалось.

³³ ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 167. Л. 17 об.

³⁴ См. об этой полемике: *Зуммер В. М.* О вере и храме. Киев, 1918. С. 47–60.

³⁵ Т. II. С. 17; См. также: *Котрелёв Н. В.* Неизданная автобиографическая справка Вячеслава Иванова // Сестры Аделаида и Евгения Герцык и их окружение. М.; Судак, 1997. С. 189.

³⁶ См.: *Обатнин Г.* Указ. соч.

³⁷ РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 578. Л. 13.

³⁸ Там же. Л. 22.

³⁹ О нем см.: *Троцкий С. В.* Воспоминания / Публ. А. В. Лаврова // Новое литературное обозрение. 1994. № 10. С. 41–88.

⁴⁰ Настоящее письмо хранится у автора статьи.

⁴¹ См.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 г. СПб., 2002. С. 329. Публ. Л. Н. Ивановой.

⁴² О советском полпредстве и его роли в жизни Иванова см.: *Шिशкин А.* Вячеслав Иванов и Италия // *Archivio italo-russo / A cura di Daniela Rizzi e Andrej Shishkin.* Trento, 1997. [Vol. 1]. P. 550–556.

⁴³ Цитируется по копии, присланной Д. В. Ивановым.

⁴⁴ Здесь цитируется по рукописи, хранящейся в РАИ (см. ее в отсканированном виде: <http://www.v-ivanov.it/archiv/opis-1/karton-5/p04/op1-k05-p04-f25v.jpg>). В «Собрании сочинений» (см. след. примеч.) ошибка чтения или опечатка в ст. 2, ср.: «Близ хижины твоей дробился светлый ключ».

⁴⁵ Т. IV. С. 94.

⁴⁶ Этот текст приведен в примечаниях Р. Е. Помирного к кн.: *Иванов В.* Стихотворения. Поэмы. Трагедия: В 2 т. СПб., 1995. Т. 2. С. 348.

⁴⁷ I, 206.

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ Даты роковые (франц.).

⁵⁰ РО ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 578. Л. 4–5.

⁵¹ *Топоров В. Н.* «Скрытое» имя в русской поэзии // *Имя. Семантическая аура.* М., 2007. С. 118–132. См. также: *Парнис А. Е.* Об анаграмматических структурах в поэтике футуристов // Роман Якобсон: тексты, документы, исследования. М., 1999. С. 852–868. На VII Ивановском симпозиуме в 1998 г. в Вене в своем сообщении я говорил о том, что в этом тексте Вяч. Иванова зашифрована анаграмма имени адресата — Вс. Зуммер. В прениях на меня набросился с пылом молодого льва коллега М. Безродный и стал уличать меня чуть ли не в стиховой «глухоте». Как и тогда, так и сейчас, через двенадцать лет, я думаю, что я нашел верный ключ к прочтению текста.

⁵² РО ИРЛИ Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 578. Л. 2.

⁵³ Там же. Здесь речь идет, вероятно, об одном из последних стихотворений Вяч. Иванова, написанном накануне отъезда в Италию (10 июля 1924) и посвященном Вл. Вл. Руслову «Неведомый собрат, сочувственный смиренный...». В тетради Иванова оно переписано рукой Зуммера (см.: *Кузнецова О. А.* Материалы к описанию тетрадей стихотворных автографов из Римского архива Вяч. Иванова // *Русский модернизм: Проблемы текстологии.* СПб., 2001. С. 238, 257). Кроме того, Зуммер имеет в виду предстоящую публикацию своей статьи «Проблематика художественного стиля Ал. Иванова: стиль „библейских эскизов“», которую он послал Волошину в машинописи (*Известия Азербайджанского... С. 84–103*).

⁵⁴ Цитируется по копии, присланной Д. В. Ивановым.

⁵⁵ Имеется в виду галерея Московского Румянцевского музея, где ранее хранились картины и архив А. А. Иванова.

⁵⁶ Цитируется по копии, присланной Д. В. Ивановым.

⁵⁷ С рядом вопросов, связанных с разночтениями в двух или трех вариантах стихотворения «Уж расставались мы...», я обратился к Н. В. Котрелёву. Он ответил: «Можно предположить, что замена прилагательного „Саровских“ на „некаких“ вызвана автоцензурными соображениями. Труднее объяснить появление глагола „пробился“ в цитате, там, где текст Собрания сочинений дает „дробился“. *Пробился* звучит естественно, тогда как *дробился* представляется необъяснимой языковой натяжкой. <...> не менее важно подчеркнуть, что приводимое тобой письмо свидетельствует о том, что Зуммер был одним из первых получателей и распространителей знаменитых „Римских сонетов“ в России, тогда советской» (письмо находится в архиве автора настоящей статьи).

⁵⁸ Цитируется по копии, присланной Д. В. Ивановым. Приведа эти строки из послания, Зуммер имеет в виду, вероятно, источник Божией матери или «Живоносный источник», находящийся в Киево-Печерской Лавре.

⁵⁹ III, 429.

⁶⁰ В связи с этим см.: *Malmstad John, Andrey Bely and Serafim of Sarov // Scottish Slavonic Review*. 1990. Vol. 14. P. 21–61; *Ibid*. Vol. 15. P. 59–102; *Доценко С. Н.* Легенда о Серафиме Саровском в творчестве Вяч. Иванова // *Studia Slavica Hung. Budapest*. 1997. Т. 41. P. 97–109.

⁶¹ Цит. по: *Белый А.* Петербург. СПб., 2004. С. 674.

⁶² Андрей Белый и Александр Блок. Переписка 1903–1919 / Публ., предисл. и коммент. А. В. Лаврова. М., 2001. С. 95.

⁶³ *Сабашникова М. В.* Святой Серафим. М., 1913.

⁶⁴ Отрывки из поэмы Н. Павлович «Серафим» печатались в сборнике «Зарево заводов» (Самара, 1919) и журнале «Знамя» (1919. № 9, 10).

⁶⁵ Сведения из анонса на обложке футуристического сборника «Пета» (М., 1916). Об интересе Хлебникова к образу Серафима Саровского свидетельствуют также неизданные записи поэта в одной из его последних записных книжек.

⁶⁶ *Бердяев Н. А.* Смысл творчества. М., 1916. С. 164.

⁶⁷ III, 312.

⁶⁸ III, 316.

⁶⁹ IV, 436.

⁷⁰ *Иванов Вяч.* Нежная тайна. Лепта. СПб., 1912. С. 32.

⁷¹ Вячеслав Иванов: Материалы и исследования. М., 1996. С. 17.

⁷² *Аверинцев С.* Разноречия и связность мысли Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов. Лики и личины России: Эстетика и литературная теория. М., 1995.

⁷³ *Алленов М. М.* Александр Андреевич Иванов. М., 1980.

⁷⁴ *Пунин Н. Н.* «Библиейские эскизы» Александра Иванова / Публ. М. Ю. Евсевьева и И. Н. Пуниной // Проблемы изобразительного искусства XIX в. Л., 1990. Вып. 4. Л., 1990. С. 3–96.

⁷⁵ *Пунин Н.* Мир светел любовью. Дневник. Письма. М., 2000. С. 413.

⁷⁶ *Пунин Н. Н.* «Библиейские эскизы» Александра Иванова. С. 13.

Приложение 1

Вяч. И. Иванов

[Представление проф<ессора> Вяч. И. Иванова в Факультет общественных наук Азербайджанского Государственного Университета]

Магистрант киевского университета Всеволод Михайлович Зуммер имеет за собой, с года издания его первого научного опыта¹, десять лет разносторонней и плодотворной исследовательской и учено-преподавательской деятельности, в круге археологии и истории искусства². Уже ранняя его работа (1913 г.) „Дионис Эрмитажный“³ свидетельствует о хорошей ориентировке и эрудиции автора в области античного искусства, об умении методически трактовать проблемы его истории, о чувстве стиля и форм. В дальнейшем научные интересы В. М. Зуммера проявляются<я> в двух главных направлениях. С одной стороны,

он с любовью углубляется в искусство византийское и старорусское, в историю иконописи⁴. Художественно-археологические экскурсии и некоторые публикации имеют предметом специальное изучение отдельных памятников киевского искусства⁵. Печатающийся большой курс лекций Зуммера „Русская иконопись“⁶ будет, без сомнения, с живым интересом встречен учеными читателями, так как наше время есть время открытий первостепенной важности в этой сфере и напряженного внимания к ней во всем культурном мире. Другим предметом, на котором сосредоточились искания В. М. Зуммера, было творчество Александра Иванова⁷. На него положил наш исследователь огромный труд и всю свою душевную силу, и блестящие достижения уже и теперь этот труд вознаградили вполне. Двумя работами „Библейские композиции Ал. Иванова“ и „О вере и храме Ал. Иванова“⁸ В. М. Зуммер занял одно из первых мест в кругу лиц, посвятивших свои усилия раскрытию значени<я> гениальнейшего из русских живописцев нового времени. В. М. Зуммеру удалось путем тщательного изучения архивного материала, записей, писем, рисунков и набросков художника, определить генезис и содержание его невыполненных замыслов, тон<у>с его душевной жизни, эволюцию его мирозерцания, — автором заложены основы интимной биографии Иванова⁹, которая представляет собою одну из красноречивейших страниц в истории русской мысли и бросает, между прочим, яркий свет на загадку Гоголя¹⁰, — как удалось ему впервые установить действительный смысл ряда «библейских композиций» Иванова, упрочивших за ним высокое признание потомков, но до сих пор толковавшихся превратно¹¹. Упомянутые работы В. М. Зуммера вызвали живую полемику, но она окончилась всеобщим признанием его положений, основанных на полном владении материалом и на обнаружении многочисленных и неопровержимых фактов¹². Александр Бенуа так пишет об „огромном“, как говорит он по поводу книжки в 112 страниц, исследовании В. М. Зуммера¹³: «Зуммеру за его „Систему библейских композиций“ большое спасибо. Во-первых, за то уже, что он вообще вернулся к самой теме об Иванове-мистике, а, во-вторых и в-главных, за то, что он приложил к этому обсуждению изумительную, чисто бенедиктинскую кропотливость. За каждый камень, принесенный к „Храму Иванова“, надо благодарить, но в особенности это следует <с>делать за такой тщательно обработанный камень <...> Пусть он будет вкраплен в тайниках «целлы» для использования посвященными „жрецами“ <...> „Жрецы“ <...>, думается, будут все же пользоваться найденными „человеком науки“ нитями для того, чтобы пробраться глубже в некоторые еще малоисследованные недра Ивановского творчества»¹⁴. В настоящее время готов к завершению 1-ый том большого трактата Зуммера об Иванове¹⁵.

Но сказанным не ограничиваются интересы и работы В. М. Зуммера. Еще среди ранних мы встречаем этюд о Фелисьене Ропсе¹⁶, и ныне он работает над Врубелем, особенно над росписями Кирилловской церкви (тема, логически

связанная с темой Иванова)¹⁷. В области русского искусства и искусства византийского наш университет, одним словом, едва ли найдет лучшего знатока.

Было бы внутренне неоправданным педантизмом отказать В. М. Зуммеру в звании профессора в силу лишь формального соображения, что не доведена до конца большая книга, первые пробы которой уже достигли в науке столь скорого и окончательного признания, потому что поставили все исследования об Иванове на новую почву. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что в лице В. М. Зуммера наш университет приобрел бы высокоценную научную силу.

12 / IX. 1923.

Проф-ессор Вячеслав Иванов

¹ В различных документах (автобиографиях, анкетах, послужных и библиографических списках) Зуммер называл первой научной работой свою студенческую статью «Дионис Эрмитажный», напечатанную в «Университетских известиях <Киевского Императорского университета Св. Владимира>» (Киев, 1913. № 9; отд. оттиск). См. дарственную надпись Зуммера анонимному адресату на отдельном оттиске этой статьи в первой части нашей работы «Заметки к теме „Вяч. Иванов и Александр Иванов“»: «Глубокая благодарность за помощь и поддержку. В. Зуммер. 1913, 21 сент-ября» (собрание автора. См.: Вячеслав Иванов и его время. Материалы VII Международного симпозиума. Вена. 1998. Wien. 2003. S. 305).

² Научная деятельность Зуммера до его приезда в Баку в сентябре 1923 г. проходила главным образом в Киеве и в Москве. Он учился на историко-филологическом факультете по специальности история искусств (1910–1916) у профессоров Г. Г. Павлуцкого, С. А. Гилярова и А. П. Новицкого и в московском Археологическом институте (1915–1917), и затем был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре истории и теории искусств. Некоторое время он преподавал в Москве — в университете им. А. Л. Шанявского (1915–1917), в Киеве на вечерних Высших женских курсах (1918–1919), в Археологическом институте (1918–1923) и в народном университете (1919–1921). В 1918–1921 гг. выступал в различных обществах и кружках с лекциями по истории русской и западно-европейской живописи.

³ Эта работа Зуммера была единственным, насколько нам известно, обращением его к области античного искусства.

⁴ Кроме общих курсов истории искусств, Зуммер читал специальные курсы по истории византийского искусства и русской иконописи. В своих работах этого времени он также обращался к русским и европейским художникам XIX в. и к современным художникам: см., например, его первые работы об Александре Иванове, 1914–1918; ст. «Иконные работы Натальи Гончаровой» (Куранты. Киев, 1918. № 10. С. 13–14); см. подробнее об этом далее; ст. «Ропс, идеология и психология творчества» (Искусство. 1913, № 9–10; отд. изд. 1913) и др. ст.

⁵ В Археологическом институте Зуммер читал курс «Художественные памятники Киева» (см., например, его ст. «О Кирилловской церкви» (Наши дни. Киев, 1918. № 16), а также «Врубель в Кирилловской церкви», написанную в 1923-м и напечатанную через несколько лет (Ювілейний збірник на пошану академіка Д. І. Багалія.

Київ, 1927); см. также еще ряд работ об этом памятнике, напечатанных в 1920-х и в 1940-х годах, и его библиографию на задней обложке оттиска «Эсхатология Ал. Иванова» (1929). Кроме того, он работал экскурсоводом и водил экскурсии по Древнему Киеву. В 1918–1919 гг. Зуммер сделал ряд докладов на эти темы в киевском Историческом обществе Нестора Летописца, в Историко-литературном обществе и в Обществе деятелей искусств.

⁶ Подготовленный им к печати курс лекций «Русская иконопись» издан не был.

⁷ Зуммер неоднократно упоминал в биографических документах и разного рода записях, что он стал изучать творчество А. Иванова, еще будучи студентом, в 1913 году. В 1914 г. он опубликовал о нем свою первую работу «Система Библейских композиций Ал. Иванова» (Искусство. Киев, 1914. № 7–12; отд. оттиск, 1915), которую защитил как диплом. Впоследствии он опубликовал еще целый ряд значительных работ об А. Иванове и продолжал им заниматься практически всю свою жизнь (см. далее).

⁸ Эти работы Зуммера (о первой см. прим. 7; вторая — «О вере и храме Ал. Иванова». Киев, 1918) вошли как главы в его «бакинскую» диссертацию об А. Иванове. Во 2-й работе Зуммера идет также речь о полемике, возникшей в 1915–1917 гг. в научной среде в связи с «библейскими эскизами» А. Иванова (см. об этом в указанной книге, с. 47–60). См. также отзывы в печати об этой книге Зуммера: С. Гилярова (Голос жизни. 1918. № 2. 12 мая); В. Гиппиуса (Куранты. 1918. № 4. Июнь); П. Пастухова (Русский голос. 1918. 12 июня).

⁹ Уже в первых своих статьях об А. Иванове, основанных на изучении архива художника, хранившегося в рукописном отделе Румянцевского музея (ныне — РО РГБ), Зуммер предпринял принципиальную попытку пересмотреть и объективно оценить значение книги М. П. Боткина «А. А. Иванов, его жизнь и переписка» (СПб., 1880), считавшейся ранее основным источником биографии художника. Он противопоставил «ивановской легенде» научный подход к изучению творчества и биографии автора картины «Явление Христа народу». На основе тщательного анализа различных документов, обнаруженных им в архивах, Зуммер утверждал, что книга Боткина является недостоверным источником сведений о жизни и деятельности художника: он отметил прежде всего «неполноту» книги, ошибочные датировки документов и писем художника, значительные купюры в опубликованных документах и тенденциозность в их интерпретации. Кроме того, полное отсутствие сведений о «грустном романе» художника с «русской девицей знатного происхождения» (М. В. Апраксиной) и т. д. Впоследствии он подробно описал эти ошибки и недочеты в своей «бакинской» диссертации и в ст. «Книга М. П. Боткина как источник для биографии Ал. Иванова», напечатанной уже позже отъезда Вяч. Иванова в Италию: Мистецтвознавство. Збірник 1-й Харківської секції науково-дослідчої катедри мистецтвознавства. Додаток. Матеріали. Харків, 1928. С. 1–15.

¹⁰ Не совсем понятно, о какой «загадке» Гоголя здесь говорит Вяч. Иванов. Речь может идти вообще о феномене Гоголя, или о «загадочности» его творчества в целом; см. в связи с этим «письмо» Н. В. Гоголя «Исторический живописец Иванов» (1846), в котором писатель дает высокую оценку творчеству художника. Ср. также в кн. «О вере и храме Ал. Иванова» о неудавшемся романе художника: «Художник склонялся уже к тому, что «вопрос (о допустимости женитьбы для избранных) решит Гоголь напечатанием своего сочинения («Мертвых душ», 2 и 3 тт.), решу и я окончанием моей картины» (С. 6). Зуммер в своих работах об А. Иванове неоднократно обращался к теме взаимоотношений художника и писателя. Он ввел в научный обиход новые документы, прежде всего неизвестные письма А. Иванова к Гоголю, первый

сравнил «Мысли, приходящие при чтении Библии» А. Иванова с «Выбранными местами из переписки с друзьями» Гоголя. Ср. в тезисах диссертации: «Совершенно исключительная близость «Мыслей» к «Переписке с друзьями» Гоголя, которую Иванов узнал уже после написания «Мыслей» объяснима тесным общением Иванова к (sic!) Гоголю в зиму 1845–1846 в Риме». В 1918 г. он прочел в киевском Историко-Литературном обществе доклад «Иванов и Гоголь, новые данные». См. о Гоголе в его кн. «О вере и храме Ал. Иванова» (С. 4, 8–13). См. также его публикации неизвестных писем А. Иванова к Гоголю (Наши дни. Киев, 1918. № 13; Голос жизни. Киев, 1918. № 12); впоследствии он напечатал найденные им письма А. Иванова к Гоголю в «Известиях Азербайджанского университета» (Т. 4–5. Баку. 1925. С. 38–56; отд. оттиск). См. также его статью о семи рисунках Гоголя, в которой он высказал гипотезу, что интерес писателя к иконографии возник под влиянием А. Иванова: *Зуммер В. М.* Рисунки М. В. Гоголя в Музеї Слобідської України (Бюллетень Музея Слобідської України ім. Г. С. Сковороди. Харків, 1928. № 4–5). В связи с этим см. также: *Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. М., 1955.

¹¹ Здесь речь идет о том, что Зуммер был одним из первых исследователей, который «заложил прочный научный фундамент по изучению библейских эскизов Иванова» (Н. Н. Пунин) и доказал действительную непосредственную связь замысла этих эскизов с трудом немецкого философа и теолога Д. Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса» (1839–1840). Он познакомился с этим трудом во французском переводе Э. Литтре (см. прим. 32 к вступительной статье). Между тем, этот вопрос вызвал, как упоминается выше, научную полемику, которая продолжалась несколько лет. В 1916 г. Зуммер составил и издал в Москве (гектографированным способом) первоначальный «Указатель библейских композиций Ал. Иванова».

¹² В этой полемике приняли участие известные исследователи А. Бенуа, Я. Тугендхольд, С. Глаголь, А. П. Новицкий, Н. Г. Машковцев, Н. И. Романов и др. Подробнее об этом см. в примеч. 8.

¹³ Речь идет о работе Зуммера «Система Библейских композиций А. А. Иванова» (1915). Между тем, объем этой книги вместе с альбомом рисунков и с предисловием Г. Г. Павлуцкого (отд. пагинация) был значительно больше.

¹⁴ Здесь неточная цитата из рецензии А. Бенуа на указанную выше работу Зуммера (Речь. 1916. № 290. 12 октября).

¹⁵ В основу этой книги, подготовленной и озаглавленной Зуммером «Александр Иванов: жизнь, мысль, творчество. Материалы и исследования. Т. 1», легла, вероятно, его «бакинская» диссертация, но в силу разных причин это издание не состоялось (см. далее).

¹⁶ Речь идет о ранней ст. Зуммера «Ропс, идеология и психология творчества» (см. примеч. 4).

¹⁷ В 1918 г. Зуммер написал рецензию на книгу В. Бабаджана «Врубель», изданную в Одессе (Наши дни. № 8). Затем в 1922 г. киевский Археологический институт издал литографским способом (тираж 10 экземпляров) его статью «Врубель в Кирилловской церкви», которая впоследствии была напечатана на украинском языке (Ювілейний збірник на пошану академіка Д. І. Багалія. Київ, 1927). Ср. с тезисами его диссертации: «Врубель в киевских работах, равно исходящий от древнерусского искусства и Ивановских акварелей (прямые цитаты: сложные сферы, ассирийские ангелы, радужная гамма), связывает дело Иванова с еще незавершенными исканиями наших дней...» (ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 137. Л. 10).

Приложение 2

Вяч. И. Иванов

Отчет о диссертации Вс<еволода> М<ихайловича> Зуммера, представленной на соискание ученой степени доктора истории искусств: «Александр Иванов. Материалы и исследования»

(дополнение к отчету, подписанному профессорами П. П. Фридолин<ы>м, М. В. Довнар-Запольским и А. В. Багрием)

С похвалой надлежит отметить самый выбор темы. Александр Иванов занимает центральное положение в истории новой русской живописи¹. В нем, как в фокусе, собираются лучи прошлого, из него же исходят могущественные импульсы в эпоху новейшую. Вполне раскрывшаяся только позднему потомству гениальная сила его творчества делает его в глазах последних поколений значительнейшим художником нового русского искусства. Между тем изучение его еще не было строго научным². Насущной потребности науки отвечает разбираемый труд. Он полагает прочную основу биографии Александра Иванова и его исторической оценки, которые отныне делаются впервые возможными. Можно надеяться, что полная монография об А. Иванове будет впоследствии написана именно Вс. М. Зуммером, который представляется наиболее призванным и подготовленным на это завершительное дело³. Ныне же перед нами только «материалы и исследования» — крепкие фундаменты всякой будущей стройки, необходимые для нее в той же мере, в какой самая стройка в наши дни еще невыполнима; и мерила, применимые к оценке этой предварительной работы, очевидно, не могут быть теми, которые критика впоследствии применит к законченному во всех частях историческому изображению⁴.

В настоящем труде автор, прежде всего, приносит новый материал высокой ценности и представляет его с безукоризненной филологической «акрибией»⁵. Далее он впервые овладевает всем материалом, как новым, так и прежде бывшим в распоряжении ученых, — методически, с полной независимостью исследующей мысли, с величайшею остротой, трезвостью и точностью выводов, выводы эти по своей новизне, значительности и непререкаемости, несомненно, послужат базой всякого дальнейшего изучения нашего художника, поскольку речь идет о существе и содержании его верховного замысла, об истолковании его доселе зачастую неправильно понимаемых в отношении сюжета «библейских композиций», наконец, о прямой зависимости всего композиционного плана от книги Давида Штрауса «Жизнь Иисуса»⁶. Но исследователь идет и дальше — и в остальном намечает верные вехи душевной и умственной

эволюции художника, определяющие точки ее, заверенные фактически. От того, какими линиями гипотетически соединим мы эти определяющие точки, зависит конфигурация целого, законченный образ внутреннего человека и его творчества. И о направлении пунктиров, заведомо «проблематически» намеченных автором, может быть частичный спор.

Можно думать, что автор, всесторонне обследовавший фактическое содержание книги Штрауса, но в то же время именующий его (а не Баура) основателем Тюбингенской школы⁷, вопреки общему мнению, вопреки мне<нию> друга Штрауса и одного из виднейших представителей той же школы Эдуарда Целлера (в его биографии Штрауса⁸), недостаточно вник и вжился во внутр<еннюю> сторону воззрений автора «Жизни Иисуса» на христианство в эпоху написания им названной книги, когда этот гегелианец был еще не тем, чем стал впоследствии, как автор «Старой и Новой веры»⁹. Тогда определенно провозглашая религиозный имманентизм¹⁰ (как говорят в наши дни), он в то же время еще остерегается порвать все связи с положительным протестантским вероучением, почему и солидаризация с точкою зрения Штрауса не знаменует, по-видимому, для Иванова резкого «перелома» в сфере религиозного сознания, который утверждает автор «Материалов и исследований», после того, как им самим превосходно было выяснено, что и до знакомства с книгою тюбингенца Иванов, протестуя против церковной обрядности и символики, мечтая об освобождении религии от суеверия, видя в христианстве только моральное учение и в Христе едва ли не только человека, самопроизвольно приближался к позиции Штрауса, от которого отличался, как личность и характер, только глубиной мистических предрасположений психической жизни. Нам казалось бы, что о переломе воззрений Иванова уместно было бы говорить по отношению к его патриотическому мессианизму и месс<иа>ническому идеалу царя¹¹, в области же религиозных взглядов, перед нами медленная эволюция, не прерываемая катаклизмами. Если же так, то и циклы «библейских композиций» не должно истолковывать исключительно в смысле наглядных иллюстраций к критическому исследованию Штрауса для просвещения народных масс¹² и вместо морального назидания последних, но вероятнее отношение к ним их творца как к историческим символам, знаменующим некоторую мистическую вечную правду, заложенную в миф. Эту мистическую правду должно было представляться художнику выявление в судьбах человечества и его сверхчеловеческих вождей имманентной человеку божеств<енной> мысли и воли. Отсюда магический характер «библейских изображений» Иванова, как уже и в его «Явл<ении> Христа народу» Иоанн (как бы идеальное «я» самого художника) магическим жестом, кажется нам, вызывает приближающегося издалека на его настоящий зов Мессию.

В связи с вышесказанным можно спорить с автором и о степени влияния иконного стиля на библейские композиции, ибо это влияние, без сомнения,

преувеличено. Кажется, что в последний период своего творчества Иванов, удаляясь одновременно и от своего прежнего «исторического» стиля, <к> сфере которого принадлежит «Явление Христа», и от стиля византийского, «иконного», «апофеозического», испытанного им в картине «Воскресение»¹³, вырабатывает — эклектически по элементам (сочетая академию с иконою традицией и Древним Востоком), гениально-самобытно по силе творческого синтеза и глубине впечатления своей творческой личности — третий, новый стиль, наиболее соответствующий и символическому заданию религиозного имманентизма, и духу библейского, монотеистического и демонологического мифа, — стиль магический.

Разногласие в этих вопросах, <как> явствует из связи вышеизложенного, не затрагивает существенного состава «Материалов и исследований», относясь по преимуществу к части, означаемой самим автором как «проблематика»¹⁴, и отнюдь не ослабляет общей оценки труда как огромного, высокоценного и прочного вклада в науку истории русского искусства.

<21 марта 1924>

Профессор Вячеслав Иванов

¹ Здесь, вероятно, речь идет о влиянии А. А. Иванова на современных художников и прежде всего на творчество М. Врубеля, а также на «иконников» (Рерих, Стеллецкий, Нат. Гончарова, Петров-Водкин, Савинов, Чехонин и др.), о чем сам Зуммер писал в диссертации. Об этом Вяч. Иванов упоминал также в официальном «Представлении» автора диссертации ученому совету. Об этом также писал в своем отзыве о диссертации оппонент профессор П. П. Фридолин: «Это плоскостный, обобщенный стиль древней иконописи, модернизированный Ивановым через творческое усвоение им „катакомбных византийских“ влияний и через Врубеля усвоенный новой русской живописью вплоть до Натальи Гончаровой как содержащий в себе идущую от антика подлинно живописную традицию. Этим и объясняется место Иванова в истории живописи» (ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 166. Л. 8). Ср. также утверждение Н. И. Харджиева о том, что творчество А. Иванова «высоко ценили такие художники-новаторы, как Врубель, Ларионов, Чекрыгин, Малевич» (*Харджиев Н. И. Статьи об авангарде. М., 1997. Т. 1. С. 128*).

² О творчестве А. Иванова писали многие известные художественные критики и исследователи, но Зуммер фактически первый, как отмечает Вяч. Иванов, обратился к литературному наследию художника — к его письмам и записным книжкам, которые тогда хранились в рукописном отделе Румянцевского музея (ныне — РО РГБ).

³ И хотя впоследствии Зуммер напечатал еще целый ряд значительных работ о творчестве А. Иванова, но в силу различных причин ему не удалось создать «полной монографии» об этом художнике.

⁴ Здесь Вяч. Иванов справедливо отмечает то обстоятельство, что диссертация, несмотря на капитальный объем (около 500 машинописных страниц), носит характер «предварительной работы» и «незаконченности», однако она может и должна быть

оценена как самостоятельный и принципиально важный этап в изучении творческой биографии художника.

⁵ Вяч. Иванов в отзыве отмечает не только новые материалы, которые соискатель вводит в научный обиход, но и подчеркивает «филологическую акрибию» этих новаций, которую он сам считал едва ли не главной характеристикой любой научной работы и неоднократно писал об этом в своих текстах. См., например, запись в дневнике от 26 июня 1909 г.: «Сию и работаю. Забочусь об акрибии» (*Иванов Вяч. Собрание сочинений*. Брюссель, 1974. Т. II. С. 774).

⁶ О значении книги Д. Штрауса «Жизнь Иисуса» в творчестве А. Иванова см. во вступительной статье. Сам Вяч. Иванов упоминает Д. Штрауса в «Автобиографическом письме» и в поэме «Младенчество».

⁷ Здесь Вяч. Иванов отмечает неточность у Зуммера, который ошибочно называет Д. Штрауса основателем новой *Тюбингенской школы* в теологии. В действительности, основателем этой школы был Фердинанд Христиан Баур (Baur Ferdinand Christian, 1792–1860) — теолог, гегельянец, один из учителей Д. Штрауса в блаубойрейнской евангелической гимназии. В «бакинской» части библиотеки Вяч. Иванова (см. «зуммеровский список») находились два сочинения Баура: 1) *Symbolik und Mythologie oder de Naturreligion des Alterthums*. Stuttgart: Metzler, 1824–1825. Th. 1–2; 2) *Geschichte der christliche Kirche*. Bd.1–5. Tübingen, 1863–1877 (см.: *Обатнин Г. В.* Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова // VIII convegno internazionale Vjačeslav Ivanov: Poesia e Sacra Scrittura / A cura di A. Shishkin. Salerno; Roma, 2002 [2004]. Vol. II. P. 261–343; *Лаппо-Данилевский К. Д.* К истории библиотеки Вяч. Иванова // От Кибирова до Пушкина: Сборник в честь 60-летия Н. А. Богомолова. М., 2011. С. 236).

⁸ Целлер Эдуард (Zeller Eduard Gottlob, 1814–1908) — теолог, историк античной философии, ученик и друг Д. Штрауса, автор его биографии (*David Friedrich Strauss in seinem und seinen Schriften*. Bonn, 1874), выпустил 12-томное собрание его сочинений (*Strauss D. F. Gesammelte Schriften*. Bd.1–12. Bonn; 1876–1878, см. ст. о нем Э. Целлера в 1 т.) и том его писем. Вяч. Иванов в Берлинском университете слушал лекции Целлера (см. упоминание его в «Автобиографическом письме» — Т. II. С. 17–18). В его библиотеке находился труд Целлера: *Zeller E. Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie*. Berlin, 1883 (рус. пер.: *Очерк истории греческой философии*. СПб., 1886). Это издание упоминается в интернет-версии ст. Г. В. Обатнина о библиотеке Вяч. Иванова под № 966 (www.europaorientalis.it/rivista_indici.php?id=36).

⁹ Д. Штраус в книге «Старая и новая вера» (Лейпциг, 1872) и во втором переработанном издании «Жизни Иисуса» пытался создать новую пантеистическую религию, отличную от христианства. В библиотеке Вяч. Иванова находился русский перевод книги «Старая и новая вера» (СПб., 1906); см. перечень книг Вяч. Иванова, составленный Г. В. Обатниным (Указ. соч. № 802).

¹⁰ В Германии имманентная философия имела большую популярность. В то время, когда Вяч. Иванов учился в Берлинском университете, здесь издавался специальный журнал под редакцией Кауфмана «Zeitschrift für immanente Philosophie» (Berlin, 1895–1900).

¹¹ 16 декабря 1845 г. Николай I посетил в Риме мастерскую А. Иванова и одобрительно отзывался о его картине «Явление Мессии» и предложил художнику написать (в пару к «Явлению Мессии») картину на сюжет из русской истории. Ср. в тезисах

диссертации: «Факт посещения студии Иванова Николаем I вырастает в образ исторического живописца, приближенного к царю, и дальше, художника-пророка при царе Мессии...» (ИР НБУВ. Ф. 291. Ед. хр. 137. Л. 1–8).

¹² Ср. в связи с этим замечание Н. Н. Пунина: «Но ведь никто не собирается выдавать „библейские эскизы“ за простые иллюстрации книги Штрауса; мне только хотелось подчеркнуть, что книга эта, кроме достаточно уже выясненного конструктивного значения для росписи „особо на то посвященного здания“, имела для Иванова внутренний, т. е. идеологический смысл; это нельзя недооценивать, если мы хотим понять во всем богатстве творческую биографию художника» (Пунин Н. Н. «Библейские эскизы» Александра Иванова // Проблемы изобразительного искусства XIX ст. Л., 1990. Вып. 4. С. 17).

¹³ Здесь у Вяч. Иванова неточность: художник написал не картину «Воскресение», а исполнил эскиз запрестольного образа «Воскресение Христово» для строящегося Храма Христа Спасителя (см. воспроизведение этого эскиза в альбоме «Александр Андреевич Иванов. 1806–1858». М., 2006. С. 175). А. Иванов по предварительной договоренности с архитектором К. А. Тоном занялся разработкой образа Воскресения Христова для Храма Христа Спасителя в 1844 году. Художник напряженно работал над эскизами запрестольного образа Воскресения несколько месяцев. Зуммер первоначально считал, что А. Иванов исполнил семь вариантов эскиза, как он писал в диссертации, но затем он установил, что существует двенадцать предварительных разработок этого образа — см. об этом в ст. Е. Л. Плотниковой «Восхождение. От академических картонов до Библейских эскизов» (Указ. альбом. С. 131). Однако «ивановский» образ «Воскресения» остался не завершенным, так как этот заказ на запрестольный образ был передан Карлу Брюллову (Там же). Зуммер считал, что работа А. Иванова над этим эскизом — важный этап его творчества. О проблемах, связанных с этой работой, сам художник сообщал в письме к А. О. Смирновой-Россет от 12 февраля 1845 г.: «Чтоб сочинить мне образ „Воскресения Христова“ множество нужно сведений: необходимо знать, как этот образ был понимаем нашей Православной церковью, когда еще религия не была трупом... Нужны советы живущих образованных отцов нашей Церкви. Здешний наш священник слишком мал, а Римские с нами разные... Я... увлекся сочинением Воскресения не из алчности значительно задатка за образ, но потому, что двухмесячные чтения во время болезни церковных книг и постоянное в них вдумывание приучили мысли мои следовать в глубину нового предмета...» (Там же. С. 236).

¹⁴ Этому вопросу посвящена отдельная работа Зуммера, напечатанная вскоре после защиты диссертации и озаглавленная им «Проблематика художественного стиля Александра Иванова: стиль „библейских эскизов“» (Известия Азербайджанского... С. 84–103).

Ф. Б. Поляков

Заметки о текстологии писем Владимира Соловьева к княгине Е. Г. Волконской

История отношений Владимира Соловьева с княгиней Елизаветой Григорьевной Волконской (1838–1897) и ее семьей, при всей фрагментарности выявленного материала, подчеркивает их особую душевную близость и общность богословских исканий. Кн. Е. Г. Волконскую, тайно перешедшую в католичество в 1887 г., «с Вл. Соловьевым соединяла многолетняя и духовная дружба, начавшаяся с его первого появления в Петербурге, когда он в Соляном городке выступил со своими чтениями о Богочеловечестве»¹. По семейному преданию, общение с Соловьевым было важно Е. Г. Волконской в совершенно особенном смысле — «для приволья души моей»². Интересная зарисовка характера и облика кн. Волконской представлена в записях бесед С. М. Лукьянова с князем Э. Э. Ухтомским в 1920 г., незадолго до его кончины³. Тогда же, «по временной слабости узурпаторов»⁴, еще печаталась переписка Соловьева, однако должно было миновать немало лет, прежде чем стала известна его корреспонденция с кн. Волконской: подборка из 37 текстов (писем, записок и одной телеграммы) вошла в XI том брюссельского издания (далее — ed. Bruh.), с присовокуплением его некролога кн. Волконской из газеты «Русь»⁵.

Редакторы тома сообщают, что «[п]исьма Вл. С. Соловьева княгине Е. Г. Волконской и письма княгини были собраны племянником писателя, священником Сергеем Соловьевым и переданы князю Петру Михайловичу Волконскому (одному из сыновей княгини) 12 июня 1917 г. в Москве. Князь П. М. вывез их во Францию. <...>»⁶. Такое указание неточно: как выясняет-

ся, материалы переписки объединены самим кн. П. М. Волконским с включением собственных бумаг, нескольких полученных от С. М. Соловьева оригиналов писем, а также копий из собрания Franjo Rački, загребского покровителя Соловьева (см. ниже). В ed. Vgih. наиболее раннее письмо Соловьева датируется 5 ноября 1885 г., наиболее позднее — декабрем 1896 или январем 1897 г. Часть их корреспонденции, без сомнения, оказалась утраченной, например, письмо Соловьева от 10/22 июля 1886, упоминаемое кн. Волконской (см. ниже). Наконец, еще одно его письмо, которое не попало в ed. Vgih., сохранилось в бумагах самого Соловьева — оно или «не было отправлено по адресу, а может быть Соловьев оставил у себя черновик или копию», по догадке С. М. Соловьева⁷.

Князь П. М. Волконский (1861–1947) также был коротко знаком с Вл. Соловьевым, ср. в письме к кн. Е. Г. Волконской от 12 февраля 1900 г.: «я приехал отдать визит сыну Вашему, князю Петру Михайловичу»⁸. В брошюре, изданной Обществом св. Иоанна Златоуста во Львове под эгидой униатского митрополита Андрея (графа Шептицкого), об их деятельности говорится: «Вл. Соловьев и кн. Волконская являются действительными родоначальниками католического движения в России», а несколько ранее Соловьев назван «идейным отцом русского католичества»⁹. Сам кн. П. М. Волконский перешел в католичество, как предполагают, в Константинополе в начале 1920-х годов¹⁰. Если эти данные достоверны, то оказывается, что формальное присоединение совершилось десятилетия спустя после его внутреннего обращения, которое относится ко второй половине 1880-х гг. Об этом пишет Соловьеву кн. Волконская в письме от 16/28 июля 1886 г., имея в виду свое желание тайно перейти в католичество (об источнике цитаты см. ниже):

Владимир Сергеевич, да благословит Вас Господь. Я сейчас получила Ваше письмо от 10/22 числа и зарыдала от счастья, от надежды на возможность того *великого* счастья, для достижения которого я готова отдать жизнь. Я прошла через страшные мучения. В Москве я решила не переходить только ради Вас, зная, что мой переход (переход в католичество — прим. кн. П. М. Волконского) при известной дружбе с Вами мог бы повредить Вам. Но верьте мне какая-то сила сильнее меня до того толкала, изнуряла, что бороться с ней не было больше возможности и успокоилась только решившись по обещанному с Вами свиданию в Августе сделать решительный шаг. В это же время Бог послал мне большое утешение. Сын мой второй, Петя, открылся мне, что он находится в том же душевном состоянии. Я была удивлена глубиной его религиозного чувства и пониманием предмета.

Я благодарю Провидение, что ни у кого из моих детей нет предрассудков и *вражды*, старший сын и дочь сочувственно следуют за Вами, но Петя прямо живет в одном со мною духовном мире. Понятно, что это тоже действовало на меня успокоительно.

В эмиграции кн. П. М. Волконский проделал кропотливую работу по сбору документов об истории католических кругов Петербурга и Москвы в первой трети XX века. Как сообщает диакон Василий (Владимир фон Бурман, 1891–1959): «После войны, в течение пяти лет, с 1931 по 1937 год, кн. П. М. Волконский четыре раза ездил в Львов и в общей сложности провел там около полутора лет, работая в архиве митрополита Андрея над разборкой и копированием документов, писем, отчетов, докладов и т. п. материалов по истории русской католической Церкви восточного обряда. Это дало ему возможность, с согласия митрополита, составить свой собственный архив, который, как уже сказано, был широко использован автором этой книги»¹¹. К такому собранию материалов кн. Волконский присоединил и документы, не имевшие отношения к архиву графа Шептицкого, в том числе корреспонденцию Соловьева. Таким образом, фрагмент частного архива семьи кн. Волконских вошел в традицию русского католического движения и в дальнейшем получил распространение в этих кругах в различных копиях.

Во время редактирования в 1994 г. перевода книги Романо Гвардини «Господь» (вышел в свет в 1995 г.) по просьбе директора брюссельского издательства «Жизнь с Богом» Ирины Михайловны Посновой (1914–1997) и доверительного общения с ней и двумя словенскими священниками, выпускниками Руссикума, о. Антонием Ильцем (1923–1998) и о. Кириллом Козиной (1925–2004), нам была предоставлена именно такая копия переписки кн. Волконской и Соловьева. Подготовленный кн. П. М. Волконским конволют представляет собой машинопись (третий экземпляр) с рукописными пометами и дополнениями составителя. Конволют (дореф. орфография) включает в себя десять писем кн. Е. Г. Волконской к Соловьеву между 16/28 июля 1886 (см. цитату выше) и 7/19 сентября 1887 г., 23 письма Соловьева, две его эпиграммы и «Справку» о переписке с подписью составителя («П. Vi^{ia}.») и датой — «1 Apr. 1935. Париж». Первоначально в тексте передача писем Сергеем Соловьевым кн. Волконскому была датирована маем 1917 г., это место зачеркнуто и на полях исправлено карандашом: «12 Июня»; та же дата находится в предисловии к переписке в ed. Vriix., ее происхождение, однако, нам не известно (правка самого кн. П. М. Волконского — чернильная, не карандашная). По данным «Справки» выясняется, что издатели ed. Vriix. неточно приписали собрание *всей* переписки С. М. Соловьеву, в действительности им были переданы оригиналы только *восьми* писем кн. Е. Г. Волконской к Вл. Соловьеву:

Оригиналы писем Вл. Соловьева находятся среди семейных бумаг кн-яжны М. М. Волконской и предназначены ею и моим покойным братом о. Александром для передачи в архив Русской Академии в Риме.

Письма кн. Волконской №№ 1, 2 и 3 находятся в Югославской Академии в Загребе в корреспонденции Фр. Рачкова. Соловьев получил их во время своего пребывания в Загребе и там их и оставил.

№№ 4–10 находятся среди моих семейных бумаг. Я получил их в мае 1917 г. в Москве от родного племянника Соловьева — о. С. М. Соловьева, впоследствии католического священника восточного обряда.

Эти письма также предназначены для передачи в архив Русской Академии в Риме.

Хотя при подготовке ed. Vriih. использовались те материалы переписки, которые после кончины вдовы кн. П. М. Волконского кн. Елизаветы Алексеевны (ур. княжны Шаховской, 1867–1950) находились в Медоне, редакторам тома были доступны и другие источники, например письма Соловьева «из архива о. Тондини в Риме»¹². Переданная нам копия, как представляется, идентична тому источнику, на который в ed. Vriih. дана глухая отсылка в парафразе «из бумаг о. Владимира Абрикосова»¹³.

Сравнение версии писем Соловьева в конволюте кн. П. М. Волконского с ed. Vriih. позволяет выявить в последнем неточности в воспроизведении (например ed. Vriih., с. 436, с. 438: «друг Церетели» — *recte* «друг Цертелев») и датировке писем (например, ed. Vriih., с. 427: «Зима 86/87 из под Москвы» — *recte* «[Письмо не помечено, вероятно: зимой 86/87 г. Из под Москвы, Троицкой Лавры?]], т.е. информация содержится не в оригинале, а в примечании кн. П. М. Волконского), а также установить наличие разночтений и более полных вариантов текста. Из одного письма (ed. Vriih., с. 442, № 18, здесь с ошибочной датой «21 Июня 88») воспроизведено безо всякой мотивировки только пять строк (Inc. «А. Ф. Аксаков <sic — Ф. П.> и другие»); сообщаем его текст по версии конволюта кн. П. М. Волконского (машинопись; адрес, франц. и лат. фразы дополнены кн. Волконским от руки, подчеркнутые им слова выделены нами курсивом):

21 Июля 88. 3, rue St. Roch.
Hôtel dela Couronne, Paris

Дорогая и глубокоуважаемая Княгиня,

Пишу Вам наскоро два слова, так как боюсь, что откладывая до более досужего времени письмо не застанет Вас в Франценсбаде (простите галлицизм). Я только что вернулся из деревни и нашел Ваше письмо. Ради Бога не думайте, что я могу *обижаться* Вашей материнскою опекою. Я во пер-

вых понимаю и чувствую сердечный источник Вашей опеки, а во вторых готов признать, что Вы можете быть правы в Ваших опасениях. Приходится однако *иногда* действовать по своему. Но все это не важно *sub specie aeternitatis* или даже *sub specie Antechristi venturi*.

Я послал брошюру под простою бандеролью, так как заказных в *poste restante*, если не ошибаюсь не принимают. Впрочем из посланных в Россию пропали две заказных.

Напишите о. Тондини (*avec tous les ménagements*), чтобы он был осторожнее и не говорил обо мне дурно в Париже. Я думаю, что он *искренно* мною недоволен, но другие понимают и объясняют это иначе.

О будущем своем ничего не знаю. А. Ф. Аксакова и другие пишут про нападения на меня в разных русских журналах и газетах. Уверяют между прочим, что я поступил в Иезуитский орден, *et en réalités jésuites font tout pour me mettre des bâtons dans les roues*. Tout de même je roule с грехом пополам.

Когда Вы вернетесь к постоянному месту жительства, сообщите пожалуйста сюда, и я напишу Вам обо всех своих делах подробно. Будьте здоровы. Кланяюсь очень княжне.

Душевно преданный Вам
Влад<имир> С<оловьев>

Как выясняется, ed. Врх. не использует полноценно результаты текстологической работы кн. П. М. Волконского и не отмечает ее должным образом, если все-таки обращается к ней (так, опущены указания, что некоторые даты получения писем были проставлены рукой кн. Е. Г. Волконской). Многие детали переписки остаются неясными и потому, что в ed. Врх. в соответствии с характером издания опубликованы только письма Соловьева без комментария, так что информация писем кн. Волконской оказывается вне пределов досягаемости исследователей. Такова, скажем, ситуация при воспроизведении письма № 11 (ed. Врх., с. 434–435): дата «19-ое Июня 87» в издании ошибочна, в конволюте сообщается: «(Рукой кн. Волконской помечено: „от 19-го Июля 87“)», а *postscriptum* приведен не полностью, без обозначения лакуны. В действительности текст письма содержит вводную фразу: «P. S. Адреса и крещеного имени Казанского Слависта не знаю. Думаю, что можно к нему адресоваться так: Казань, Университет, Г. доценту Снегиреву». Речь идет об Иване Алексеевиче Снегиреве (1843–1893), специалисте по истории чешской культуры; знакомство с его биографией¹⁴ едва ли способно объяснить интерес кн. Волконской к скромному ученому, однако фраза из письма кн. Волконской к Соловьеву от 6 июня 1887 г. («...не забудьте пожалуйста сообщить *имя*,

отчество, фамилию и адрес того казанского господина, которого Вы встретили год тому назад в Аграме. Крайне нужно») свидетельствует о каком-то отношении Снегирева к русскому католическому движению и его загребским покровителям.

Конволют содержит несколько добавленных от руки разъяснительных примечаний кн. Волконского, которые мы публикуем ниже.

[1] Письмо № 32 (ed. Вгух., с. 447, с опечаткой в дате «26 Марта 96»), в конволюте: «(Рукой кн. Волконской помечено: „из Царского 20 Марта 96“»), в фразе: «Не найдете ли возможным сегодня же известить об этом Ухт. или Петра Мих. <...>» (речь идет о кн. П. М. Волконском) к первому имени сделано примечание:

Кн. Э. Э. Ухтомский, редактор С.-Петербургских Ведомостей, где предполагалось напечатать передовую статью Вл. Соловьева; не смотря на то, что она была „très modéré“ <„весьма умеренной“ — Ф. П.>, все же Ухтомский не решился ее печатать, считая, что она все же <sic — Ф. П.> является слишком резкой критикой церковной политики покойного государя <Александра> III.

Далее в конволюте приводится записка Соловьева, не вошедшая в ed. Вгух., с датировкой «(рукой кн. Волконской помечено: „22 Mars 96“):»

Дорогая Княгиня, хотя моя статья не появится на Пасху, но all right.
До скорого свиданья.

[2] Письмо № 33 (ed. Вгух., с. 447–448; примечание парафразирует с некоторыми неточностями информацию конволюта с указанием на «бумаги о. Владимира Абрикосова», но содержит неправильное прочтение — вместо «письменных свидетельств о переходе Соловьева в католичество» в примечании издателей говорится о каких-то «последних свидетельствах» ...), в конволюте в конце текста читается:

NB Письмо не помечено, но по тексту — о рецензии для «Нивы» на лекции С. М. (т. е. кн. Сергея Мих. Волконского, старшего сына кн. Е. Г. Волконской) — может относиться только к Дек. 96 г. или Янв. 97 г.

Письмо интересно тем, что является одним из письменных свидетельств о переходе Соловьева в католичество. Последняя фраза относится к всенародной переписи 1896/97. — Помню, что моя мать, заполнив свой бланк, сказала мне: «J'ai fait le signe de croix et j'ai écrit — „католического“». — Соловьев придумал иначе. П. Вⁱⁱⁱ

Рецензия Соловьева на американские лекции кн. С. М. Волконского появилась в февральском выпуске «Вестника Европы» за 1897 г.¹⁵

[2] В ed. Вгух. в разных местах опубликованы эпиграммы «Мечты и молитвы православного» (ed. Вгух., с. 449, № 35) и «Эпитафия (К. П. П.)» (ibid., с. 446, № 30)¹⁶, приведенные вместе в конце конволюта с примечанием:

Первое стихотворение написано на начальника по делам печати <sic — Ф. П.> М. Соловьева (однофамильца автора), ярого православного и ненавистника иноверцев и в особенности католиков. Последняя строка — возглас диакона во время великого выхода за обедней.

Эпитафия — на Конст. Петр. Победоносцева. П. В^{id}

Относительно первого стихотворения мы располагаем подробным и проникновенным анализом его атрибуции: эпиграмма принадлежит перу кн. С. Н. Трубецкого и первоначально была направлена против В. В. Розанова, хотя декламировалась также Соловьевым¹⁷. Такие адаптации Соловьевым сатирических текстов своего круга были в порядке вещей; его биограф цитирует «стихотворение, принадлежащее другому лицу (одному из московских друзей Соловьева), но проредактированное Владимиром Соловьевым и читанное им во многих дружеских домах»¹⁸. Сходной склонностью к пародированию отличался и кн. Сергей Трубецкой. Отметим свидетельство историка А. А. Кизеветтера об ужине в доме фабриканта Алексея Абрикосова: «Владимир Соловьев сверкал юмористическими пародиями; Сергей Трубецкой читал свои сатирические сказки»¹⁹. Упомянутый выше Михаил Петрович Соловьев (1842–1901), в юности слушатель Победоносцева на Юридическом факультете Московского университета, в 1896–1900 гг. был начальником Главного управления по делам печати; как выражается автор прижизненной биографической статьи о нем, «время его управления было обильно предостережениями и приостановками органов периодической печати»²⁰. Рассказами о цензурных притеснениях, связанных с его деятельностью на этом посту, пестрят воспоминания современников²¹. М. П. Соловьев выступал на поприще публицистики, был иллюстратором изданий типографии Синода и членом Имп. Православного Палестинского общества, причем его деятельность в обществе иногда давала повод к охлаждению отношений с греческой стороной²². Владимиру Соловьеву также приходилось сталкиваться по цензурным делам со своим однофамильцем, поминаемым в записке к кн. Д. Н. Цертелеву²³. Ему же посвящена и эпиграмма Вл. Соловьева «Миша-потрошитель» (июль 1896 г., т. е. вскоре после назначения М. П. Соловьева на свой пост 7 июня), неоднократно пу-

бликовавшаяся, но в силу нежелательных ассоциаций с интернационализмом и советской цензурой не попавшая в издание З. Г. Минц²⁴. Возможно, что упоминание М. П. Соловьева в комментарии кн. Волконского следует объяснять не *lapsus memoriae*, а тем, что Вл. Соловьев при чтении эпиграммы кн. С. Н. Трубецкого, подходящей и к другим представителям тогдашнего официоза, мог сам переиначить ее адресата, тем более что разночтения в тексте стихотворения, зафиксированные в ed. Vrih., позволяют предположить, что «этот вариант прошел вольную или невольную редактуру Соловьева»²⁵.

¹ *Волконский Кн. П. М.* Краткий очерк организации русской Католической Церкви в России. Львов, 1930. С. 12–13. Первая публичная лекция Соловьева на эту тему состоялась 26 января 1878 г. (*Мочульский К.* Владимир Соловьев. Жизнь и учение. 2-е изд. Париж, 1951. С. 91).

² *Волконский Кн. С.* Мои воспоминания. Т. 2. Родина. Быт и бытие. М., 2004. С. 84 (впервые — Берлин, 1923). Ср. эссе Марины Цветаевой «Кедр. Апология» (1923; *Цветаева М.* Собрание сочинений в семи томах. Т. 5. М., 1994. С. 262) и ее письмо к Анатолию Штейгеру от 21 августа 1936 г. (*Цветаева М.* Письма Анатолию Штейгеру // *Опыты.* Литературный журнал под ред. Ю. П. Иваска. Книга VII. New York, 1956. С. 9; *Цветаева М.* «Хотите ко мне в сыновья?» Двадцать пять писем к Анатолию Штейгеру / Подгот. текста, вступление, сопроводительные примечания Анны Саакянц. М., 1994. С. 23; *Цветаева Марина.* Собрание сочинений в семи томах. Т. 7. М., 1995. С. 581).

³ Материалы к биографии Вл. С. Соловьева: (Из архива С. М. Лукьянова) / Публикация А. Н. Шаханова // *Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах.* [Т.] II–III. М., 1992. С. 396–397, № 1.

⁴ *Гаретто Э., Котрелёв Н. В.* К атрибуции В. С. Соловьеву стихотворения М 200: Приписываемое: «Эпиграмма на В. В. Розанова» // *De Visu.* 1994. № 1/2 (14). С. 62.

⁵ Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Т. XI. Bruxelles, 1969. С. 423–451. Дмитрий Философов писал о кончине кн. Волконской: «Несмотря на все старания К. П. Победоносцева — отпевание ее праха состоялось, с разрешения Государя, в католической церкви, на Невском проспекте. В те времена католические похороны супруги попечителя учебного округа являлись крупным событием в жизни петербургского общества» (*Философов Д.* Воскресные беседы. «Поговорим о старине». Кн. Волконские // *Меч* (Варшава) № 24, 31 октября 1934. С. 3). Обзор сведений о семье князей Волконских см. в кн.: *Simon Constantin S. J. Pro Russia. The Russicum and Catholic Work for Russia.* Roma, 2009 (*Orientalia Christiana Analecta*, vol. 283). P. 121–126.

⁶ Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Т. XI. С. 423.

⁷ *Соловьев С. М.* Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977. С. 386–387.

- ⁸ Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Т. XI. С. 444, № 27; ср. хронологически *предшествующее* этому упоминание его имени, ор. cit., с. 447, № 32.
- ⁹ *Волконский Кн. П. М.* Краткий очерк организации русской Католической Церкви в России. С. 13 и 4; см. также аналогичные пассажи в статье: *Wolkonskij Fürst Peter*. Um einen bodenständigen Katholizismus in Rußland // *Stimmen der Zeit* (Freiburg i. Br.). Bd. 120. 1930. S. 26–27, S. 27–29. Тогда же брошюра кн. Волконского вызвала нарекания могущественного иезуитского епископа Michel d'Herbigny, ср.: *Tretjakewitsch Léon*. Bishop Michel d'Herbigny SJ and Russia. A Pre-Ecumenical Approach to Christian Unity. Preface by Donald W. Treadgold. Würzburg (Das östliche Christentum. N.F., Bd. 39), 1990. P. 136.
- ¹⁰ *Tretjakewitsch Léon*. Bishop Michel d'Herbigny SJ and Russia. P. 57; Российское Зарубежье во Франции 1919–2000. Биографический словарь. Под общей ред. Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. Т. 1. М., 2008. Ст. 305–306.
- ¹¹ *Диакон Василий ЧСВ <Vasilij von Burman OSB>*. Леонид Федоров: Жизнь и деятельность. Рим, 1966 (Publicationes Scientifcae et Litterariae «Studion» Monasteriorum Studitarum, № III–V). С. 307. Об авторе см.: Российское Зарубежье во Франции 1919–2000. Т. 1. Ст. 229.
- ¹² Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Т. XI. № 3 и № 34. С варнавитом Cesare Tondini de Quarenghi (1839–1907) состояла в переписке и кн. Е. Г. Волконская.
- ¹³ Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Т. XI. С. 447.
- ¹⁴ *Мыльников А.С.* [s.v.] // *Славяноведение в дореволюционной России*. Биобиблиографический словарь. М., 1979. С. 309–310; *Лантева Л. П.* История славяноведения в России в XIX веке. М., 2005. С. 589–590.
- ¹⁵ Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Т. XII. Bruxelles, 1970. С. 347–351; см. также: *Грановская Л. М.* Сергей Михайлович Волконский (1860–1937) // *Русский язык зарубежья* / Отв. ред. Е. В. Красильникова. 2-е изд. М., 2010. С. 289.
- ¹⁶ *Соловьев В.* Стихотворения и шуточные пьесы. Вступ. статья, составление и примечания З. Г. Минц. Л., 1974 (Библиотека Поэта. Большая серия. 2-е издание). С. 151, № 154.
- ¹⁷ *Гаретто Э., Котрелёв Н. В.* К атрибуции В. С. Соловьеву стихотворения М 200. С. 62–66.
- ¹⁸ *Величко В. Л.* Владимир Соловьев. Жизнь и творения. 2-е изд. СПб., 1904. С. 177; *Вл. Соловьев: pro et contra* / Сост., вступ. статья и примечания В. Ф. Бойкова. СПб., 2000. С. 273.
- ¹⁹ *Кизеветтер А. А.* На рубеже двух столетий (Воспоминания 1881–1914). Прага, 1929 (reprint: Cambridge Mass. 1974). С. 87–88.
- ²⁰ *(Анонимус)* // *Энциклопедический словарь Брокгауза-Эфрона*. Т. XXXa. СПб., 1900. Ст. 796.
- ²¹ См., например, *Глинский Б. Б.* Среди литераторов и ученых. Биографии, характеристики, некрологи, воспоминания, встречи. СПб., 1914. С. 442–445, особ. с. 442: «<...> во главе ведомства управления делами печати стоял совершенно ненормальный субъект, создавший страшную путаницу в издательском деле, проявлявший на каждом шагу следы своей невменяемости <...>»; *Гуревич Л.* История «Северного вестника» // *Русская литература XX века (1890–1910)*. Под ред. С. А. Венгерова. Т. I, кн. 2–3. М., 1914 (reprint: München, 1972). С. 258–259; *Сытин И. Д.* Страницы пережитого. Современни-

ки о Сытине. 2-е изд. М., 1985. С. 196–199. Положительный отзыв о нем как юристе встретился нам в воспоминаниях: *Козлинина Е. И.* За полвека 1862–1912 (Пятьдесят лет в стенах суда). Воспоминания, очерки и характеристики. М., 1913. С. 293.

²² *Stavrou Theofanis George.* Russian Interests in Palestine, 1882–1914. A Study of Religious and Educational Enterprise. Thessaloniki, 1963. P. 146–147, p. 158–160; некоторые его публикации указаны в справочнике: *Stavrou Theofanis G., Peter R. Weisensel.* Russian Travelers to the Christian East From the Twelfth to the Twentieth Century. Columbus/Ohio, 1986. P. 663, no. 1164.

²³ Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. II. Под ред. Э. Л. Радлова. СПб., 1909 (reprint Bruxelles 1970). С. 275, № 47, без даты.

²⁴ М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Под ред. М. К. Лемке. Т. V. СПб., 1913. С. 396–397; *Соловьев Вл.* Письма. Т. IV. Под ред. Э. Л. Радлова. Петербург, 1923 (reprint: Bruxelles, 1970). С. 72; Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Т. XII. С. 138–139, № XX; *Гаретто Э., Котрелёв Н. В.* К атрибуции В. С. Соловьеву стихотворения М 200. С. 62, 65.

²⁵ *Гаретто Э., Котрелёв Н. В.* К атрибуции В. С. Соловьеву стихотворения М 200. С.

Д. Рицци

Сибилла Алерамо — корреспондент журнала «Русская мысль»

Интерес Сибиллы Алерамо¹ к русской культуре не назовешь глубоким, однако он был живым и постоянным. Свидетельство тому — многолетнее знакомство с русской литературой², а также присутствие русской темы в сочинениях итальянской писательницы, заметное с первых шагов в творчестве.

Что касается личных связей, известно, что Алерамо дружила с Максимом Горьким: они познакомились, когда Горький только что приехал в Италию в первый раз, и поддерживали отношения во время повторного приезда Горького в Сорренто, пока он не вернулся в Россию³. К имени Горького следует прибавить имена многих русских, сыгравших определенную роль в итальянской культуре, — Раисы Олькеницкой-Нальди, Ольги Ресневич-Синьорелли, Евы Амендолы-Кюн, Татьяны Павловой и других⁴.

Исчерпывающее освещение темы «Сибилла Алерамо и Россия» требует тщательного изучения фактов и рассмотрения их в широком историческом контексте. Это — задача будущего, настоящая статья преследует более скромную цель — воссоздать малоизвестный эпизод из жизни и творчества итальянской писательницы, связанный с Россией. Мы опирались на ранее не публиковавшиеся многочисленные письма Сибилле Алерамо от Елены Лазаревской,⁵ которая в течение десяти лет, с 1906 по 1916 год, была не только подругой и доверенным лицом писательницы, но и ее переводчицей и активным пропагандистом современной итальянской литературы в России.

Е. М. Лазаревская (1872–?)⁶ принадлежала к петербургской интеллигенции, которую отличали космополитизм и западничество и благодаря которой в начале XX века Северная столица превратилась в один из оживленных культурных центров Европы. Ее муж Николай Иванович Лазаревский (1868–1921) — известный юрист либерального направления, один из основоположников русского конституционного права (в 1917 году председатель Юридического совещания при Временном правительстве). Погруженные в свойственную тем годам атмосферу идейного обновления, Лазаревские общались с политическими деятелями, писателями, художниками и учеными, среди которых были Николай Гумилев, Владимир Набоков (отец писателя), В. М. Гессен, П. Б. Струве и многие другие.

Елена Лазаревская, образованная и тонкая женщина, отдавала много сил благотворительности, особенно просвещению и поддержке работниц: ее письма Алерамо пронизаны гуманизмом и стремлением к социальному равенству. Неудивительно, что среди многочисленных знакомств, которые завязались у Лазаревской во время поездок в Италию⁷, было и знакомство с Алессандриной Равиццей (1846–1915) — активным борцом за эмансипацию женщин, пользовавшейся в Милане в конце XIX века большой популярностью. Равицца родилась и выросла в России⁸, дружила с Анной Кулишовой, в ее салоне бывали самые разные люди, включая иностранных, прежде всего, русских путешественников.

Интерес Лазаревской к Италии распространялся и на литературу: не будучи профессиональной переводчицей, она много читала и переводила — подтверждение тому можно найти во многих письмах к Алерамо. С таким духовным багажом, как у Лазаревской, у которой обостренное внимание к социальным проблемам сочеталось с глубоким знанием европейской литературы и искусства начала XX века, нельзя было не познакомиться с творчеством Джованни Чены⁹ и Сибиллы Алерамо, которых в 1902–1910 гг. связывали близкие отношения. Вряд ли можно назвать случайностью то, что, читая современных итальянских авторов, Лазаревская наткнулась на роман Чены «*Gli ammonitori*» (букв. «Предостерегающие», 1904), написанный под сильным влиянием Горького. Роман Чены был восторженно встречен Равиццей и вдохновил ее на создание сборника близких по настроению рассказов¹⁰. Кстати, Чена был лично знаком с Равиццей, Сибилла Алерамо также познакомилась с ней в Милане на рубеже веков, и некоторое время они поддерживали отношения¹¹, так что, вероятнее всего, итальянские писатели и их будущая переводчица познакомилась благодаря общей русско-миланской приятельнице. Однако, помимо посредничества Равиццы, решающую роль должен был сыграть интерес Лазаревской к подобной прозе, нащупывавшей путь «вдоль размытой границы между национальной на-

родной культурой и декадансом»¹², ее восприятие и вкус: Лазаревская сразу выполнила русский перевод романа Чены, опубликованный в 1905 г. в нескольких номерах журнала «Мир Божий» под названием «Ценою жизни»¹³.

Неизвестно, явилась ли работа над переводом следствием личного знакомства с автором или поводом для оногo: как бы то ни было, Лазаревская, видимо, познакомилась сначала с Ченой, а уже потом с Алерамо. Тем не менее, по тону письма Сибилле, датированного 11/24.XI.1906, понятно, что, хотя его автор и адресат еще не были лично знакомы, они сразу нашли общий язык и стали относиться друг к другу с большой теплотой — это настроение сохранится в их письмах до самого конца. Лазаревская сообщает, что получила роман Алерамо «Упа donna» (букв. «Женщина») и пришла от него в восхищение. Вероятно, Лазаревская прочитала роман в рукописи (скорее всего, она получила его от Чены, активно пропагандировавшего творчество своей спутницы: известно, что он отправил роман Горькому¹⁴), поскольку он вышел в Турине в ноябре 1906 года, а Лазаревская в письме от 18.XI/1.XII.1906 говорит о том, что две недели назад передала оригинал в редакцию «Мира Божьего» и ждет ответа. «Что бы они ни ответили, „Упа donna“ я переведу в любом случае. Если не получится в каком-нибудь журнале, издам его отдельной книгой, сперва его, а потом уж „Ценою жизни“, чтоб опередить всех остальных переводчиков», — говорит она в том же письме. Несмотря на отказ из редакции, Лазаревская, очевидно, сразу села за работу, поскольку всего три месяца спустя, в первых числах марта 1907 г., роман, получивший в русском переводе название «Бесправная», начали публиковать по частям в «Образовании» — влиятельном общественно-политическом и литературном журнале прогрессивного направления¹⁵.

В мае того же года Елена и Николай Лазаревские приезжают на несколько месяцев в Италию. Тогда и состоялось личное знакомство с Алерамо — в Риме, прежде чем супруги отправились на юг страны. Понять, какова была эта встреча, можно из последующих писем, которые Лазаревская отправляла из Сорренто: их страницы дышат восторгом по поводу того, что в Алерамо Лазаревская нашла родственную душу, а беседа о литературе доставила ей неопишное удовольствие.

С возвращением на родину расстояние и временное снижение интенсивности переписки не погасили в переводчице желания познакомиться Россию с творчеством двух итальянских писателей: 9/22.VI.1908 Алерамо получила от Лазаревской длинное письмо, в котором подробно рассказывалось о переговорах с издательством «Шиповник» (1906–1922) по поводу издания последнего сборника стихов Чены «Ното» («Человек», 1907)

и будущих сочинений самой Алерамо. В России книги должны были выйти в то же время, что и в Италии, если не раньше. «Мне очень хочется, чтобы с „Шиповником“ все получилось: их книги пользуются таким вниманием публики, что напечатать у них Ваш роман означает, что Вы сразу сделаете себе имя в России», — объясняет Лазаревская.

Однако ни Чена, ни Алерамо так и не закончили в эти годы работу над новыми романами. Все их силы были направлены на оказание помощи жертвам мессинского землетрясения, произошедшего в декабре 1908 г.; на некоторое время это становится главной темой переписки с Лазаревской, которая призывала соотечественников проявить сочувствие к пострадавшим и взяла на себя роль посредника, переправляя в Италию пожертвования, собранные благотворительными организациями или переданные ей лично по велению сердца (письмо от 25.II/10.III.1909).

Последующие приезды Лазаревских в Италию весной-летом 1909 и 1910 гг. дали повод для новых встреч, благодаря которым знакомство переросло в настоящую дружбу и теплые, доверительные отношения. Летом 1910 г. в письмах Лазаревской, написанных по пути на родину, появляется особенно нежный, по-дружески сочувственный тон: «Дорогая Сестра, Подруга, моя Сибилла, быть рядом с тобой казалось мне сном <...> Я представляю тебя одинокой и усталой, как бы мне хотелось оказаться рядом, чтобы убаюкать тебя, как ребенка» (письмо от 18.VII.1910). Алерамо действительно переживала нелегкие дни, терзаясь из-за мучительной метаморфозы, которая поставит точку в отношениях с Джованни Ченой и знаменует собой начало полного тревог духовного и физического странствия, которое продлится два десятилетия. Судя по всему, Алерамо делилась переживаниями с русской подругой, поскольку в ответных письмах та постоянно выражает беспокойство за ее судьбу и заверяет ее в искренней сестринской любви (см., например, письмо от 14/27.X.1910). Жажда покоя, который заботливая состоятельная подруга готова была ей подарить, должна была привести Алерамо осенью 1910 г. в Петербург: Лазаревская сама организовала ее приезд вплоть до мельчайших деталей (см. письмо от 28.X/10.XI.1910), послала Сибилле денег на дорогу, однако в самый последний момент та передумала.

Из писем Лазаревской, в которых речь идет не только о личной жизни Сибиллы (очередную влюбленность быстро сменяло разочарование), можно многое узнать о событиях в России, о переводческих планах Лазаревской, узнать ее впечатление от прочитанных книг, мнения о статьях Алерамо¹⁶ и произведениях современных итальянских авторов (Панцини, Пиранделло, Марко Прага, Златапер, Анни Виванти), которые Сибилла посылала в Петербург, чтобы держать подругу в курсе событий. В переписке

(в 1911–1913 гг. Лазаревская писала Алерамо почти каждую неделю) говорится и о возможном сотрудничестве Сибиллы с каким-нибудь русским журналом. Эту мысль мог ей подбросить Папини (в 1904 г. благодаря посредничеству Балтрушайтиса Папини начал писать для «Весов»)¹⁷, и Сибилла обратилась к подруге за помощью. «Мне так хочется найти русскую газету или журнал для твоих статей, но не знаю, получится ли. Пока что я добилась только совета от редактора одного журнала: он посоветовал мне попытать удачи в еженедельном журнале „Современник“» (письмо от 19.III/1.IV.1911).

К попыткам получить для Алерамо работу в «Современнике» был причастен и Горький: писательница обратилась к нему с той же просьбой, однако, хотя переговоры с одним из редакторов вела сама Мария Андреева, дело ничем не кончилось¹⁸. В конце концов связи Лазаревской с Петром Струве, главным редактором ежемесячного журнала «Русская мысль», принесли желанные плоды (письмо от 25.V/7.VI.1911). Вероятно, договоренность была достигнута, все детали обсудили во время личных встреч в августе-сентябре, когда Лазаревская снова приехала в Италию. Однако главной темой писем, написанных в последующие месяцы, по-прежнему остается настроение Сибиллы, переживавшей жизненную бурю, и заботливые советы чуткой подруги¹⁹; вопросы литературы отходят на второй план, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Лазаревской придется напомнить Алерамо (вероятно, по ее просьбе), с каким именно журналом она собиралась сотрудничать²⁰.

Фактически сотрудничество с «Русской мыслью» начнется лишь в начале 1912 г., когда руководство журнала, получившее, по словам Лазаревской, такое же предложение от другого лица, сделает окончательный выбор в пользу Алерамо: «Редакция получила такое же предложение не знаю от кого <...> Так что, если ты собираешься написать что-нибудь о современной итальянской литературе в целом или статью о каком-нибудь авторе в связи с недавно вышедшей книгой или о чем-нибудь еще, полагаю, что теперь <...> такая статья будет кстати. Лучше, чтобы первая статья не была о женской литературе. Сейчас я перевожу твою статью „Итальянские писательницы“, пошлю ее посмотреть этому редактору» (письмо от 28.I/10.II.1912).

Требования редакции будущему корреспонденту изложил лично Валерий Брюсов, заведовавший отделом литературы²¹: его письмо напоминает перечень инструкций, новой сотруднице он поручает подготовить обзор самых интересных итальянских книжных новинок²². Одна из трех первых статей Алерамо, появившихся в «Русской мысли» в переводе Елены Лазаревской, носила как раз обзорный характер: «Итальянская литература за

истекший год»²³. «Вчера пришла твоя статья <...>. Полагаю, это именно то, что нужно», — сообщала переводчица (письмо от 17/30.III.1912).

Литературные итоги 1911 года, которые подводит Алерамо, не слишком утешительны: после Рисорджименто в итальянской литературе — по словам автора — было три великих поэта (Кардуччи, Пасколи и д'Аннунцио) и два достойных внимания романиста (Фогаццаро и Верга), однако на этом творческий потенциал культуры объединенной Италии исчерпался. В то время как в литературной критике (Де Санктис) и философии (Кроче) наблюдается некоторое идейное оживление, литература в целом подвергается тяжкому испытанию даже самого снисходительного критика. Что же включает Алерамо в число произведений, достойных упоминания? «Сказки добродетели» (*Le fiabe della virtù*) Альфредо Панцини («в современной итальянской литературе он занимает совершенно особое место», «он словно живет вне нашего времени»), в которых автор в очередной раз доказывает «свою способность чувствовать, видеть и понимать житейское горе и свое умение изображать его сжатыми эпическими рассказами, развивающимися медленно и размеренно, как евангельское повествование». Затем «Разговоры» (*I colloqui*) Гвидо Гоццано, «которого некоторые критики называли последователем Francis Jammes'a», хотя — по мнению Алерамо — нет нужды ссылаться на французского поэта, чтобы обнаружить его предшественников: «характер его творчества свойствен уже поэтам-романтикам, работавшим после Манцони и до Кардуччи преимущественно в Северной Италии, где создалась настоящая буржуазия с укоренившимися привычками и обычаями». Гоццано «как будто бы оплакивает это далекое время, когда вся жизнь казалась окутанной нежным и смешным сентиментализмом», и в то же время черпает из нее сюжеты для своих «изящных тонко-комических поэтических набросков». Хотя Алерамо и ценит у туринского поэта «умение владеть родным языком» и «благородную простоту, с которой он им пользуется», тем не менее она выносит суровый приговор, заявляя, что «то небольшое, что Гоццано мог дать, он уже дал» и его теперешние попытки «подняться от поэзии комической к поэзии космоса» не подадут больших надежд. Более благосклонно автор обзора относится к произведениям, о которых сегодня мало кто помнит: к сборнику стихотворений Джованни Бертакки «Едва слышное» (*A fior di silenzio*) («Бертакки многими сторонами своего ума близок Манцони; он воспевает христианский социализм несколько в духе Толстого»), к драмам в стихах Сема Бенелли «Потрепанная шинель» (*Il mantellaccio*) и «Розмунда» (*Rosmunda*), к «Словам и крови» (*Parole e sangue*) Папини («он напоминает Гофмана и По, но его самобытность вне сомнений»). Мельком упомянув «Песни из-за моря» (*Le canzoni d'oltremare*) д'Аннунцио и переиздание

стихов Пасколи, разделавшись в нескольких строках с Уго Ойетти и Россо ди Сан-Секондо, Лучано Дзукколи и Марио Маринетти, Алерамо посвящает заключительную часть статьи женской литературе, у которой, как она признает, «нет таких достоинств, чтобы она могла составить заслуживающую внимания конкуренцию творчеству мужчин». За двумя исключениями: романы «Пожиратели» (*I divoratori*) Анни Виванти («неожиданная грация блещет на всех страницах, увлекает и очаровывает») и «Искры в глине» (*Scintille nella creta*) Паолы Стафенды, которую Алерамо ценит за «глубокое проникновение в психологию действующих лиц и тонкую наблюдательность» и за взгляд на мир, «вполне независимый от внушений духа и ума мужского». Неоправданно лестная оценка, даже если сделать скидку на женскую солидарность, которой всегда отличалась Алерамо.

Следующее произведение, присланное Сибиллой в редакцию, — лирический очерк «Корсика», в котором рассказывается о поездке писательницы на этот остров летом 1912 г.: «<...> получила твой очерк о Корсике, который произвел на меня большое впечатление <...>. Очень хорош. Теперь я его переведу, но не знаю, получится ли хорошо: перевод тоже должен быть хорошим. Сейчас в деревне я читала Лермонтова, буду читать Тургенева и других наших великих мастеров слова, чтобы подготовить дух и воображение. Если перевод получится, pošлю его в „Русскую мысль“» (письмо от 30.VII/12.VIII.1912). Однако, несмотря на рвение подружки-переводчицы²⁴, очерк не был принят, потому что ранее он уже был опубликован по-итальянски²⁵.

Во втором письме к Алерамо Брюсов повторяет просьбу посылать статьи исключительно на литературные темы. Алерамо просьбу выполняет, и Лазаревская получает новый текст для перевода. «Статью получила, прочитала ее с большим интересом и уже известила редакцию о ее получении. Это именно то, что нужно сейчас» (письмо от 19.X/1.XI.1912).

На этот раз речь шла о литературном портрете: «Энрико Коррадини — писатель-империалист. Письмо из Италии»²⁶. Из писем Лазаревской понятно, что название придумали в редакции; как озаглавила текст, по сути представлявший собой монографию в миниатюре, сама Алерамо — неизвестно. В статье ощущается идейное влияние литераторов, близких журналу «Ла Воче», которое Алерамо испытывала в эти годы, — прежде всего Папини и Преццолини, которые соруководили с Коррадини, когда он руководил еженедельником «Иль Реньо»²⁷: из всех статей Алерамо, опубликованных в «Русской мысли», эта — самая пространная и страстная. В литературный раздел она попала потому, что в ней Алерамо расхваливает недавно вышедший сборник статей Коррадини «О путях новой империи»²⁸. Очертив идейный путь, пройденный Коррадини до Ливийской кампании

1912 года²⁹, Алерамо указывает на «литературные и духовные достоинства» книги, превращающие ее автора в «одну из крупнейших сил, какие есть теперь в Италии». Ничтоже сумняшеся, она величает эту книгу «романом итальянской нации в 1911–1912 году», написанным, как «шестьсот лет назад Дино Компаньи писал свою проникнутую пылким драматизмом хронику Флоренции, как другой человек с пылающей гражданственностью душой, Франческо Де Санктис, писал около семидесятого года прошлого века *Историю итальянской литературы*». Восхищение национальной гордостью, вылившейся в колониальную экспансию, не могло оставить равнодушной Алерамо, однако не меньшее впечатление произвели на нее мнимые литературные достоинства книги, в которой она видит «ключ поэзии, прозрачно чистый, хотя и суровый». Этот ключ бьет из груди человека, «относящегося к тому „религиозному“ типу людей, которые всю жизнь свою посвящают определенной идее».

Восторженное отношение к войне, которое в те годы для итальянских писателей было не редкостью, озадачило переводчицу: прежде чем отправлять текст в редакцию, она деликатно берет на себя обязанности цензора, чтобы смягчить чрезмерный энтузиазм автора по поводу Итало-турецкой войны 1911 года³⁰. Приблизив статью к идеологической платформе журнала, Лазаревская сумела преодолеть колебания редакции.

В доказательство того, как высоко он ценит итальянскую сотрудницу, Брюсов дает положительный ответ на предложение напечатать в «Русской мысли» новое произведение Алерамо («Я сказала Брюсову, что теперь ты пишешь роман и что, возможно, ты согласишься напечатать его в России одновременно с итальянским изданием или даже чуть раньше», письмо от 2/15.XI.1912). Речь шла о романе «Переход» (*Il passaggio*), который увидел свет лишь в 1919 г. Лазаревская издавала следит за тем, как идет работа над книгой, затем, в очередной раз вернувшись в Италию летом 1913 г., читает первые наброски во время встречи с подружкой, которой суждено было стать последней³¹.

Ветреная Алерамо, сменившая тем временем общество Папини на общество Боччони, в июле 1913 г. знакомится с Ф. Т. Маринетти и сблизается с футуристами: их движению она посвящает следующую статью, написанную для «Русской мысли». В статье «Футуризм в Италии»³², коротко изложив историю объединения и его восприятия в Италии («футуризм в Италии не был до сих пор удостоен ни малейшим „принятием во внимание“ со стороны литераторов»), Алерамо рассказывает об отдельных участниках движения, подчеркивая, насколько непохожи друг на друга входящие в него поэты и писатели: Маринетти («напоминает своим неоспоримым талантом Виктора Гюго и Эмиля Верхарэна», «это красноречи-

вый эпический рассказчик, богатый образами и неожиданными сравнениями»), Альдо Палаццески (отличающийся «величайшей искренностью и свободой вдохновения» и «преlestной музыкальностью, превосходящей иногда достигнутое лирой Джованни Пасколи»), Лучано Фольгоре (автор стихотворений, «со слишком очевидной преднамеренностью вдохновленных мотивами наисовременнейшей жизни; но пишет он легко, и у него незаурядная способность к синтезу»), Паоло Буцци (у которого присутствуют «лишнее многословие, перегружение образами, часто неприятные неровности, но помимо всего его произведения производят впечатление музыкальностью и несомненной наличностью благородства души»). Движение футуризма было пестрым, «можно улыбаться веселой дерзости, с которой руководящая его группа возвещает о своей миссии возрождения Италии, но справедливость требует признать личную ценность талантов, которых сумел открыть и сгруппировать около себя Маринетти».

На этом сотрудничество Алерамо и ее переводчицы прерывается: четвертая статья³³, о которой идет речь в письмах, написанных осенью 1913 г. и в 1914 г., судя по всему, так и не была окончена. Лазаревская тоже начинает писать Алерамо гораздо реже (семь писем за последние два года), а вскоре исторические события приведут к тому, что их пути окончательно разойдутся: Алерамо отправится в Париж покорять литературные круги французской столицы, о дальнейшей судьбе Лазаревской почти ничего не известно (в 1921 г. ее муж Николай был расстрелян³⁴, можно себе представить, что ей пришлось пережить).

Как бы ни сложилась жизнь Елены Лазаревской после гибели мужа³⁵, вряд ли она, как и прежде, с пониманием отнеслась бы к очередной перемене настроения подруги — на этот раз перемене идеологической, приведшей Алерамо в 1946 г. в ряды Итальянской коммунистической партии. Кто знает, как бы она откликнулась на публикацию единственного произведения Алерамо, появившегося на русском после ее переводов: сборника «Стихи» (1952)³⁶ — полного риторики автобиографического памятника ее новым политическим убеждениям. Повстречайся Лазаревская со своей итальянской подругой, когда та приезжала в СССР летом 1952 г., она наверняка рассказала бы ей нечто, что посеяло бы сомнения в сердце писательницы, безоговорочно принявшей советский режим, как ясно из отчета об этой поездке³⁷ — последнего звена в цепи событий, идеально и материально связавших Алерамо с Россией.

Перевод Анны Ямпольской

¹ Сибилла Алерамо (настоящее имя Рина Фаччо, 1876–1960) — писательница, феминистка, лауреат премии Виареджо. Автор крупных прозаических произведений (романы «Женщина», «Люблю значит существую», «Хлыст»), сборников малой прозы («Случайные радости», «Малая медведица»), стихов (сборники «Моменты», «Да — земле») и пьес для театра.

² См.: *Buttafuoco A.; Zancan M.* (a cura di), *Svelamento. Sibilla Aleramo: una biografia intellettuale*, Milano: Feltrinelli, 1988. P. 116–117.

³ См.: *Tamborra A.* *Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917*, Bari: Laterza 1977. P. 106–109; *Calebich Creazza G.* „Massimo Gor'kij e Sibilla Aleramo” // *Kanceff E., Banjanin L.* (a cura di), *L'Est europeo e l'Italia. Immagini e rapporti culturali. Studi in onore di Piero Cazzola*, Genève: Slatkine, 1995.

⁴ Материалы, хранящейся в Фонде Алерамо в римском Институте Грамши (далее ФА), свидетельствуют о том, что писательница многие годы была связана с Р. Олькеницкой-Нальди (1886–1978) и О. Ресневич-Синьорелли (1883–1973), в меньшей степени — с Евой Кюн-Амендолой (1880–1961). С Татьяной Павловой (1894–1975) Алерамо сталкивалась во время работы над постановкой своей драматической поэмы «Эндимион», показанной драматической труппой Павловой в 1924 г. в Турине, а в феврале 1925 г. — в римском театре Валле.

⁵ Сохранились 150 документов — писем, открыток и телеграмм (ФА). Первое послание датировано 20.IX/3.X.1905, последнее — 5.III.1916. Ответные письма итальянской писательницы обнаружить не удалось. Лазаревская писала Алерамо по-итальянски.

⁶ К сожалению, нам не удалось узнать отчество Лазаревской.

⁷ Среди знакомых Лазаревской упомянем Аннибале Пасторе (1868–1956), занимавшегося философией науки, друга Джованни Чены, сотрудника «Новой Антологии», и его супругу Марию Мукки. В письмах Лазаревская часто говорит о них, как о старых знакомых.

⁸ Алессандрина (Саша) Массини родилась в Гатчине. Ее мать была немкой, отец — офицером царской армии, имевшим итальянские корни. Алессандрина приехала в Милан в 1863 г.

⁹ Джованни Чена (1870–1917) — туринский литератор, с 1902 г. и до самой смерти главный редактор журнала «Новая Антология». Его стихи и романы пронизаны сочувствием к униженным, обездоленным и изгоям общества. Гуманистические социалистические настроения Чены, в которых прослеживалась идейная связь с народничеством и которые вызвали симпатию Горького, подтолкнули его к тому, чтобы оказать деятельную поддержку сельскому населению в окрестностях Рима, положение которого в то время было весьма плачевным. Наряду с инициативами врачей, направленными на борьбу с малярией, Чена и его товарищи, среди которых была Сибилла Алерамо, много сделали для просвещения безграмотных и темных крестьян (см.: *Alatri G.* *Dal chinino all'alfabeto: igiene, istruzione e bonifiche nella campagna romana*. Roma. Palombi, 2000). Впоследствии Чена много помогал жертвам мессинского землетрясения.

¹⁰ *Ravizza A.* *I miei ladruncoli: racconti dei bassi fondi milanesi*, Roma: Nuova antologia, 1906.

¹¹ О дружбе Равиццы и Алерамо см.: *Scaramuzza E.* *La santa e la spudorata. Alessandrina Ravizza e Sibilla Aleramo. Amicizia, politica e scrittura*, Napoli: Liguori, 2007.

¹² Craveri P. Cena, Giovanni // Dizionario biografico degli italiani, Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979. Vol. 23. P. 491.

¹³ Перевод был напечатан в следующих номерах журнала: № 6. С. 128–160; № 7. С. 133–177; № 8. С. 196–223 и № 9. С. 131–151.

¹⁴ См. ответ Марии Андреевой, тогдашней спутницы Горького, Джованни Чене, датированный 1 ноября 1907 г. (ФА). Лично они познакомились месяц спустя. См. статью Сибиллы Алерамо «Максим Горький в Риме» (*Aleramo S. Massimo Gorki a Roma // La tribuna*. XXV, 351, 19 dic. 1907.

¹⁵ Перевод опубликован в следующих номерах: № 2. С. 101–128; № 3. С. 100–142; № 4. С. 115–146; № 5. С. 128–170 и № 6. С. 139–167. См. письмо Лазаревской к Алерамо от 12/25. III. 1907. (ФА).

¹⁶ Письмо от 10/23.V.1911: «Дорогая моя, любимая, наконец-то я тебе пишу <...> Благодарю тебя за все твои письма и за твою глубокую статью „Апология женского духа“. Не могу сказать, что я ее „одобрила“, как ты говоришь, поскольку то, что ты написала, — для меня мысли новые; однако я была очень счастлива читать тебя, счастлива тому, что нашлась женщина (и это ты!), увидевшая и выразившая все это».

¹⁷ О сотрудничестве Папини с «Весами» см.: *Котрелёв Н. В.*, Итальянские литераторы — сотрудники «Весов» (эпизод из истории русско-итальянских связей) // Проблемы ретроспективной библиографии и некоторые аспекты научно-исследовательской работы ВГБИЛ, М., 1978. С. 129–158.

¹⁸ Письмо Марии Андреевой Сибилле Алерамо от 15 февраля 1911 г. (ФА).

¹⁹ Насколько важна была для нее в эти годы дружба с Лазаревской, рассказывает сама Алерамо на странице дневника, относящейся к концу июля 1912 г.: «Придется снова и снова страдать. Еще рано. Но ведь у меня есть сестры, далекие или близкие, у которых со мной уже одна душа... Ты, Елена, ты любишь меня издалека, словно открывшую тебе правду, так готова ли ты благодарно принять несчастье, которое может тебе выпасть, если оно послужит моему счастью, даже не счастью — более значительной, более привольной жизни...» (цит. по: *Annagulia Dello Vicario* — *Lettere Papini-Aleramo e altri inediti (1912–1943)* — Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1988. P. 166).

²⁰ «Это один из первых журналов России, весьма уважаемый и имеющий широкое хождение. В политическом отношении он либеральный, в Италии сказали бы — радикальный; <...> наиболее подходящим было бы для него французское определение „радикально-социалистический“, отражающее представление о политической эволюции государства и об экономических реформах в пользу беднейших классов, рабочих и крестьян. Что же до литературных идей и форм, которые журнал особенно поддерживает, <...> его двери достаточно широко открыты для разных сфер литературного искусства, если они представляют литературную ценность и не противоречат общему характеру журнала, как я тебе его описала. В выборе иностранных произведений для перевода — романов и новелл — действуют те же требования, но, естественно, с большей строгостью. Формат приблизительно такой же, как у „Новой Антологии“» (письмо от 26. II/10. III. 1912). Под руководством Струве (1910–1918) журнал, основанный в Москве в 1880 г., политически приблизился к «правому крылу» партии кадетов и открыл свои двери для литераторов из лагеря символистов.

²¹ Связи с итальянским литературным миром у Брюсова завязались, когда он руководил «Весами» в 1904–1909 гг. В Италии одно его стихотворение было

напечатано в журнале Маринетти «Поэзия» (№ 7–9. 1909), рассказ «Сестры» («Le tre sorelle») появился на страницах журнала «Ла Воче» (V, 25, 1913).

²² Под письмом, написанным по-русски и напечатанным на машинке, стоит дата: 13 февраля 1913 г. Скорее всего, это опечатка, поскольку на почтовом штемпеле на конверте указан 1912 год; впрочем, только дата «1912 г.» не противоречит содержанию письма. Это и следующее письмо (написанное от руки по-французски и датированное 15 сентября 1912 г.) хранятся в ФА вместе с посланиями Лазаревской.

²³ «Русская мысль». 1912. № 5. С. 36–41, раздел «В России и за границей. Обзоры и заметки». Под статьей указана дата: «Флоренция, март 1912 г.»

²⁴ В письме от 23.IX/6.X.1912 Лазаревская сообщает, что продолжает работать над переводом «Корсики», которую она надеется пристроить в другое издание.

²⁵ Статья была опубликована в журнале «Мардзокко» (XVII, 29) 21 июля 1912 г.

²⁶ «Русская мысль». 1913. № 1. С. 30–33. Под статье указана дата: «Сорренто, 25 октября 1912 г.»

²⁷ «Ла Воче» (1908–1916) — крупнейший литературный журнал довоенных лет, основанный Дж. Преццолини; общественно-политический журнал «Иль Реньо» (1903–1906), основанный Э. Коррадини, выражал националистические, антипарламентские и антисоциалистические настроения.

²⁸ *Corradini E. Sopra le vie del nuovo impero: dall'emigrazione di Tunisi alla guerra nell'Egeo; con un epilogo sopra la civiltà commerciale, la civiltà guerresca e i valori morali*, Milano: F.lli Treves, 1912.

²⁹ Стремясь стать колониальной державой, Италия объявила войну Турции и захватила Ливию (1911–1912).

³⁰ «Дорогая, я боюсь, что редакция станет придираться из-за военного вопроса. Не думаю, что они могут принять какую-нибудь другую войну, кроме войны за свободу. [...] В любом случае, полагаю, что редакция легко сможет опустить некоторые слова, некоторые предложения, чтобы статья не шла в разрез с их принципами, не меняя при этом (естественно!) тон твоей статьи. Более того, я сама за этим прослежу и pošлю некоторые страницы в двух экземплярах, чтобы они могли выбрать, убрав в одном восторги по поводу войны, против которой в нашей обществе действительно сильно протестуют. Я просто опущу, там не будет ни одного чужого слова, чужого тона» (письмо от 30.X/12.XI.1912).

³¹ См. страницу из дневника, датированную 23 ноября 1940 г.: «Во время другой войны, которую продолжают называть Великой, рукопись „Перехода“ была единственной вещью, которую я страшно боялась потерять; стиснутая, она лежала у меня в чемодане, когда я переезжала из Рима в Ассизи и Флоренцию, потом к ломбардским озерам, а потом добралась до Капри, где я закончила работу над ней за месяц до объявления перемирия. Я начала писать роман за два года до того, как в Европе вспыхнуло пламя, читала его первые главы в Сорренто моей русской переводчице, которая приехала из Петербурга навестить меня. Елена Лазаревская, женщина огромного роста с ласковым голосом, любившая меня с каким-то религиозным поклонением» (*Morino A. [a cura di], Un amore insolito. Diario 1940-1944*, Milano: Feltrinelli, 1979. P. 110).

³² «Русская мысль». 1913. № 12. С. 16–19. Указана дата: «Сорренто, май 1913 г.»

³³ Возможно, речь шла о Равицце: на эту мысль наводит письмо Лазаревской от 26.I/8.II.1913. Эта могла быть статья и небольшая подборка рассказов. Позднее Алерамо опубликует в Италии несколько статей о Равицце: *Ravizza A., «Il Marzocco»*

(XX). 5, 31 gennaio 1915; *Ravizza A.*, «L'unità» (XXIII), 175, 28 luglio 1946; I poveri la chiamavano «Contessa del brodo», «Il progresso d'Italia», 3 maggio 1948.

³⁴ Николая Лазаревского, в то время занимавшего пост проректора Петроградского университета, обвинили в причастности к заговору Таганцева — вымышленной контрреволюционной организации, «разоблаченной» ЧК в Петрограде. Среди более чем шестидесяти расстрелянных по этому делу был и поэт Николай Гумилев.

³⁵ Единственный след, который нам удалось найти, — «библиографический»: Лазаревская перевела книгу Гамсуна, вышедшую в 1924 г. (К. Гамсун, «Последняя глава». Роман. Перевод Е. Л. Вейнбаума и Е. М. Лазаревской. Петроград: Библиотека художественной литературы, 1924).

³⁶ *Алерамо С.* Стихи. Перевод с итальянского В. Соловьева. Предисл. Б. Всеволодова. М.: Издательство Иностранной Литературы, 1952. Стихотворения взяты из книги «*Aiutatemi a dire. Nuove poesie 1948–1951*» («Помогите мне сказать. Новые стихи 1948–1951»), опубликованной в Риме в 1951 г.

³⁷ *Aleramo S.* *Russia alto paese.* Roma: Italia-URSS Editrice, 1953.

А. Л. Соболев

**Cum scuto: Вячеслав Иванов —
участник сборника «Щит»**

В первых числах марта 1916 года Вячеслав Иванов работает над текстом, в жанровом отношении представляющим собою краткий мемуар а в функциональном — набросок показаний для третейского суда. Нижеследующие заметки представляют собой опыт комментария к этому сочинению:

«Честь имею, в ответ на письмо ко мне Разумника Васильевича Иванова, помеченное датую 1 марта и полученное мною 5 марта 1916 г., представить третейскому суду по делу между Ф. К. Сологубом и С. В. Познером нижеследующие свидетельские показания.

В бытность мою в Петрограде в последних днях ноября и первых декабря 1914 года, в самый день моего отъезда в Москву, посетили меня для переговоров по новому для меня делу Ф. К. Сологуб, Ан. Н. Чеботаревская и З. И. Гржебин. Они сообщили мне о предполагаемом [ими] издании сборника статей не-еврейских авторов по еврейскому вопросу и просили меня содействовать им, как в форме литературного сотрудничества, так и путем привлечения к участию в сборнике некоторых [московских профессоров и ученых] москвичей. Этот благотворительный сборник должен был, по мысли инициаторов, способствовать пробуждению в широких общественных кругах сочувственного внимания как к положению евреев в России, так и к еврейству вообще. В ряде независимых русских освещений общественно должно было почерпнуть импульс к достоверной и углубленной проверке сложившихся в нем навыков в воззрениях [взглядах] на еврейство и в социально-психологическом к нему отношении, — тем более, что эти

освещения и оценки, — свободные, разносторонние, отнюдь не нивелированные никакими общими директивами и объединенные лишь чувством неудовлетворительности современного положения и хотя бы частичными признанием за еврейством некоторых положительных ценностей — должны быть представлены людьми, пользующимися среди читателей доверием к самостоятельности их мыслей и к искренности их действий.

Желательны были статьи идеологические наравне с общественно-практическими, общие характеристики наряду со специальными рассмотрением отдельных сторон еврейства (напр., его места в музыке); нежелательно было только одиозное по отношению к еврейству.

Я обещал свое сотрудничество и содействие в смысле привлечения некоторых москвичей к участию в сборнике. Среди совместно намеченных нами лиц был и Н. А. Бердяев, который, когда в Москве я изложил ему взятое на себя поручение, тотчас сочувственно согласился дать в сборник свою статью.

В [начале] [весной] Уже, по моему, весной 1915 года посетил меня в Москве С. В. Познер, по делу о сборнике «Щит». С первых же слов выяснилось, что обещание дать статью в сборник, долженствовавший появиться в издании Гржебина, нисколько не связывает меня по отношению к «Щиту»: это было мне важно установить, чтобы оправдать свое промедление, п. ч. за статью я все не успевал приняться. По существу же, издатели «Щита», насколько я мог понять, руководствовались теми же принципами, как и зачинатели первоначально предположенного [сборника] издания. Я обязался не медлить с написанием статьи, тема которой была одобрена С. В. Познером, как интересная для сборника. Обсуждая проект моей статьи, мы заговорили о близости к ней по содержанию статьи Н. А. Бердяева, уже сданной в типографию, но мне неизвестной, и о пунктах нашего с ним расхождения, которое я предвидел, хорошо зная проходимость им этап религиозно-философских исканий. Говорили мы об этом расхождении совершенно теоретически, без всякого отношения к практической стороне дела. Меня интересовало это расхождение отнюдь не в связи вопроса о еврействе, но со своей богословской стороны: дело шло об оценке [еврейского] [библейского] ветхозаветного «наследия» христианства, и притом не в прошлом христианства (подозрительное отношение к этому наследию, как к [ложной] ничтожной <?> части исторического христианства в прошлом было вне спора), но в судьбах нового христианского сознания, которое Н. А. Бердяев обрек <?> быть чистым религиозным имманентизмом, без примеси библейского трансцендентизма. Мне хотелось, в целях ориентирования предполагаемой статьи, ознакомиться со статьей Н. А. Бердяева, и С. В. Познер любезно разрешил мне

вытребовать из типографии рукопись ее для прочтения, что, уже по его отъезде, было мною сделано: рукопись я прочел и по прочтении возвратил в типографию. В рукописи статьи я нашел пламенное обличение антисемитизма, высокую и глубокомысленную оценку религиозной стихии еврейства и, как я ожидал, указание на необходимость преодоления в христианстве грядущем захвата библейского трансцендентизма. Ни на мгновение не приходило мне в голову, что эта религиозно-философская проблематика (которую я радикально различаю от антисемитской идеологии Чемберлена и других националистических <нрзб> арийского начала) имеет отношение к политике или психологии еврейского вопроса ибо основа ее не националистическая, а чисто метафизическая, даже не культурно-историческая как у Чемберлена. И потому я был удивлен отсутствию <?> статьи Бердяева в <вышедшем?> «Щите» и слухами о недоразумениях [по поводу участия Н. А. Бердяева в «Щите»] связанных с «Щитом». Прибавлю что входя 9 дек 1915 г. в квартиру Ф. К. Сологуба на Разъезжей я застал его у телефона, занятым какими-то решительными переговорами в которых часто поминалось имя Бердяева; [оставив телефон] Ф. К. Сологуб объявил <объяснил?> мне, что дело идет о его выступлении в защиту Н. А. Бердяева¹.

История, увенчавшаяся выходом тремя изданиями литературного сборника «Щит»², началась в октябре 1914 года³. Леонид Андреев, проходивший курс лечения в Петроградской клинике И. Л. Герзони, попросил последнего подобрать ему материалы по вопросу притеснения евреев в связи с войной; тот обратился к своему приятелю И. О. Абельсону, который, в свою очередь, организовал знакомство Андреева с издателем и журналистом Соломоном Владимировичем Познером⁴. Во время состоявшейся беседы и двух последовавших за нею встреч обсуждалась необходимость собрания писателей для дискуссии по еврейскому вопросу; косвенным же следствием их явилась статья Андреева «Первая ступень», напечатанная в конце ноября⁵.

Это выступление получило широкий общественный резонанс, но для дальнейшей истории принципиальное значение имеет одна частная реакция: статью с вниманием прочла Анастасия Николаевна Чеботаревская. Чувствительное сердце в сочетании с холерическим темпераментом заставляло ее бурно реагировать на всякую творящуюся несправедливость; сила впечатления от изложенных Андреевым фактов была такова, что дело помощи евреям стало на ближайшие месяцы для нее (и, как не раз уже бы-

вало, для ее мужа) основным содержанием жизни. В меморандуме 1916 года Сологуб сухо констатирует: «В конце 1914 г. у Анс. Н. Чеботаревской по прочтении статьи Л. Андреева возникла мысль об издании сборника статей по еврейскому вопросу, и она вместе со мною обратилась к издателю журнала «Отечество» З. И. Гржебину»⁶. Разговор этот, по всей вероятности, происходил 28 или 29 ноября, поскольку уже 30-го Гржебин, Сологуб и Чеботаревская приехали обсуждать состав гипотетического сборника с собирающимся обратно в Москву Вячеславом Ивановым⁷. Судя по изложенным им впоследствии подробностям, план альманаха был уже готов в деталях, доходящих до такой степени, что он, уезжая, получил наказ ангажировать для него вкладчиков, что и исполнил, как минимум, в отношении Бердяева.

Тем временем конфигурация учредителей сборника претерпевает существенные изменения: вероятно, при посредстве Гржебина обсуждается план соединения инициатив Андреева и Сологубов с привлечением мощного союзника — Горького. Несмотря на сложную и изобилующую взаимными неудовольствиями историю тройственных отношений⁸, фон конца 1914 года достаточно благоприятен для заключения временного перемирия: Сологуб не так давно приветствовал возвращение Горького в Россию⁹ и одобрительно отзывался о нем в собственном журнале¹⁰. Предварительное собеседование было проведено во время шестичасовой встречи Горького и Андреева в первых числах декабря в Мустамяках¹¹, а организационное заседание складывающегося общества было назначено на начало второй декады декабря в квартире адвоката Самуила Еремеевича Кальмановича¹². Присутствовавший на этом заседании Познер вспоминал: «Явившись на другой день к Кальмановичу, я застал там М. Горького, З. И. Гржебина и М. Л. Тривуса. Вскоре пришел П. Е. Щеголев, — и в самом конце совещания, когда беседа подошла к концу, Ф. К. Сологуб и А. Н. Чеботаревская. М. Горький внес на обсуждение собравшихся три предложения: устройство анкеты среди представителей науки, литературы, искусства и практической жизни России по еврейскому вопросу, устройство анкеты о последствиях мировой войны среди выдающихся ученых и писателей-евреев на Западе и устройство лиги для борьбы с антисемитизмом. <...> О принятых решениях и было сообщено гг. Сологубам, пришедшим, как я сказал, в самом конце»¹³.

14 декабря¹⁴ состоялось следующее заседание, на этот раз — в квартире Сологуба и Чеботаревской на Разъезжей. Познер свидетельствовал: «Присутствовали: М. Горький, П. Е. Щеголев, М. Л. Тривус, Д. Н. Овсяннико-Куликовский, М. М. Винавер, З. И. Гржебин и я. Обсуждались представленные проекты опросных листов М. Горького, М. Л. Тривуса, П. Е. Щеголева и мой. Была избрана комиссия в составе Овсяннико-Куликовского, М. М. Ви-

наверя и меня для окончательной редакции опросного листа. На этом же заседании было постановлено, что анкетный сборник должен, наряду с ответами, содержать и ряд статей по еврейскому вопросу и, вследствие снова возбужденного М. Горьким вопроса об образовании лиги для борьбы с антисемитизмом, созвать совещание из представителей науки, литературы и политических кругов для выяснения вопроса»¹⁵.

Последующие несколько дней посвящены энергичной и разнонаправленной деятельности участников будущего общества: одни редактируют анкету, другие — готовятся писать воззвание к русскому народу¹⁶. Следующую встречу назначили на 21-е число у М. М. Винавера, но, по неизвестным причинам, она была перенесена на 23-е в квартиру Н. Я. Кетчера. «Председательствовал А. И. Шингарев. От имени организаторов собрания выступали Л. Андреев, М. Горький и Ф. Сологуб. Соображения о практических мероприятиях были развиты в речи М. Горького. Оживленные споры вызвало сделанное им и горячо поддержанное Л. Н. Андреевым предложение об обращении к обществу с воззванием по еврейскому вопросу. Решено было — избрать бюро в лице трех писателей-инициаторов собрания и предложить им представить к следующему собранию проекты воззваний»¹⁷. На другой день или через день Сологуб от имени бюро просил Познера принять на себя секретарские обязанности, на что тот изъявил свое полное согласие.

На следующем собрании, которое произошло 27 декабря, впервые обсуждался персональный состав авторов будущего сборника. «Присутствовали на нем Л. Н. Андреев, Ф. К. Сологуб, А. Н. Чеботаревская, З. И. Гржебин и я <т. е. Познер>. На этом заседании было уже от имени бюро принято постановление, что анкетный сборник должен, помимо ответов, содержать и статьи, причем для статьи на тему о роли евреев в религии и философии наметили одним из авторов Н. Бердяева (протокол заседания при сем прилагается). Ф. К. выразил готовность снести с последним, равно как и с некоторыми другими из намеченных участников сборника»¹⁸.

Сологуб должен был помнить, что у него уже достигнута предварительная договоренность с Вяч. Ивановым и с ним же передано приглашение Бердяеву; другое дело, что структура и идеологический контекст будущего сборника с тех пор изрядно трансформировались. Тем временем приглашения потенциальным участникам альманаха рассылают и другие соучредители: так, Бунину было предложено редактирование сборника, от чего он энергично отказался: «в сборнике приму участие с удовольствием, если, конечно, напишу что-нибудь подходящее, но редактировать его не берусь и прежде всего потому, что не вижу причин для Вашего отказа от редактирования»¹⁹.

4 января 1915 года вновь собрались в квартире у Сологубов. «Вниманию собравшихся было предложено три проекта — М. Горького, А. В. Карташева и Ф. Сологуба. Проект воззвания, представленный М. Горьким, был признан несоответствующим тогдашним цензурным условиям и потому не отвечающим заданию, ибо собрание сошлось на том, что воззвание должно быть составлено так, чтобы его можно было напечатать в газетах. Вместе с тем, по предложению Л. Н. Андреева, было выражено пожелание, чтобы этот текст воззвания получил распространение. Из двух других проектов было отдано предпочтение проекту Ф. К. Сологуба с тем, что в его текст будут внесены изменения»²⁰.

На субботу 17 января было назначено общее собрание, в преддверии которого приглашения были разосланы большой группе лиц: сохранилась, в частности, телеграмма Горького, адресованная Н. Д. Телешову²¹; аналогичная, отправленная Бунину, не разыскана, но существование ее несомненно, поскольку сам адресат прибыл в этот день в квартиру на Разъезжей: «Заседание у Сологуба. Он в смятых штанах и лакированных сбитых туфлях, в смокинге, в зеленых шерстяных чулках. Как беспорядочно несли вздор! „Вырабатывали“ воззвание в защиту евреев»²². Вероятно, на этом же собрании присутствовал М. М. Пришвин, оставивший в дневнике ретроспективную запись о пребывании в Петрограде во второй половине января: «Оставшиеся впечатления: обсуждение еврейского вопроса у Сологуба, встреча с Андреевым и Горьким. Блок у Сологуба»²³. В этот вечер было принято принципиальное решение о разделении сборника с ответами на анкеты и альманаха с художественными и публицистическими текстами по еврейскому вопросу: «<...> М. Горький ввиду того, что, как выяснилось, надежды на скорый выход в свет анкетной книги не было никакой, выступил с предложением составить наскоро хотя бы небольшой сборник статей и беллетристических произведений агитационного характера по еврейскому вопросу. Срок на представление материала он предлагал дать двухнедельный, а чтобы закрепить согласие присутствующих литераторов, он предложил им расписаться на листе бумаги (этот лист с подписями при сем прилагается)»²⁴.

На следующие две недели организаторы ассоциации (за которой тем временем закрепилось имя «Русского общества изучения еврейской жизни»²⁵) разъехались по разным городам; шанс встретиться был у четы Сологубов и Горького, дважды приглашавшего их на блины в свое финское имение²⁶; откликнулись ли они на это приглашение — неизвестно. А с первых чисел февраля деятельность общества неожиданно становится кипучей: 3 февраля печатается «Анкета об евреях»²⁷, а еще четыре дня спустя Познер присылает Сологубу на утверждение проект состава будущего сборника²⁸.

За исключением уже готовой к печати «Первой ступени» Андреева в реестре значились обещанные работы Бердяева и Булгакова о значении евреев в религии и философии, исследования В. В. Водовозова, А. А. Кизеветтера, П. Н. Милюкова, И. Х. Озерова, В. Д. Набокова и В. А. Мякотина. Заметно отсутствие в этом списке статьи Вяч. Иванова, приглашенного одним из первых, — и, судя по всему, эта лакуна была очевидна не только для нас, ибо два дня спустя, 9 февраля, А. Чеботаревская отправила Иванову письмо с напоминанием:

«Дорогой Вячеслав Иванович, еще раз очень прошу Вас и Н. А. Бердяева, от лица всего нашего Комитета возможно скорее прислать статьи на темы, о кот<орых> мы с В<а>м<и> беседовали в день Вашего отъезда. ФК тоже пишет В<а>м по этому поводу. Мы здоровы и много работаем. А Вы? Здоров ли Димочка?»²⁹

В конце зимы и начале весны общество проводит несколько резонансных мероприятий разного масштаба — от многолюдного собрания в квартире Сологуба 23 февраля (П. Н. Малянтович читал доклад «Русский вопрос о евреях»³⁰) до триумфального вечера в пользу еврейского комитета в Театре музыкальной драмы 6 марта³¹. 1 марта в нескольких газетах было напечатано воззвание в защиту евреев от поражения в правах, украшенное подписями двухсот с лишним писателей и общественных деятелей³². Между тем материал, заказанный для сборника, поступал весьма вяло, так что к концу апреля портфель редакции не был полон даже наполовину. «Посему на последнем собрании бюро перед летним разъездом, состоявшимся у меня <Познера> в последних числах апреля, на котором присутствовали Л. Н. Андреев, М. Горький, Ф. Сологуб и А. Н. Чеботаревская, я предложил приступить безотлагательно к изданию сборника, который мы имели в виду, говоря о „книге воззваний“, включив в него, ввиду недостаточного количества поступивших рукописей, также те статьи и беллетристические произведения, которые за время войны появились в периодической печати, — конечно, по еврейскому вопросу»³³. В надежде ангажировать для сборника новых авторов Познер собрался ехать в Москву; попутно он, движимый соображениями сравнительной мягкости московской цензуры, намеревался подыскать здесь типографию для альманаха. За несколько дней до отъезда он зашел к Сологубу и Чеботаревской — те собирались отправиться на все лето в Ярославскую губернию и торопились закончить петербургские дела. Они обсудили собранный к тому времени материал для сборника, Познер выбрал из нескольких предложенных Сологубом стихотворений одно и утвердил к печати его небольшой прозаический этюд под названием «Вечный

жид»³⁴. Вероятно, накануне его отъезда Чеботаревская отправила Иванову краткую записку, подтверждающую полномочия петербургского посланца: «Дорогой Вячеслав Иванович, к В<а>м зайдет С. В. Познер, н<а>ш секретарь — если у В<а>с есть что для сборника, о кот<ором> он скажет — статья, стихи — дайте»³⁵. Перед самым отъездом Сологубы получили по почте заказанную статью Бердяева, и Чеботаревская немедленно переслала ее Познеру. Тот не придавал ей особенного значения: «Каюсь, ни в Петрограде, ни в пути, ни, тем более, в Москве, где, кроме исполнения указанных поручений, я занимался еще вербовкой сотрудников для сборника, для чего посетил гг. Вересаева, Вяч. Иванова, Кизеветтера, Кокошкина, Арцыбашева, гр. Ал. Толстого, Шмелева и, кажется, кого-то еще, я не успел прочесть ст. Н. Бердяева»³⁶. Это было роковой ошибкой, добавим мы от себя.

Московский поход Познера увенчался полным успехом: удалось договориться с типографией Мамонтова, а из посещенных им потенциальных авторов четверых удалось привлечь к участию в альманахе. Если считать, что работа над статьей Иванова «К идеологии еврейского вопроса»³⁷ была инспирирована открыткой Чеботаревской и/или визитом Познера, то можно датировать ее первой декадой мая, ибо уже 11-го числа, по возвращении в Петроград, Познер рапортовал о получении манускрипта:

«Многоуважаемый Вячеслав Иванович,

Получил Ваше письмо со статьями Вашей и С. Н. Булгакова. Сегодня посылаю их в типографию. В интересах ускорения дела Вы разрешите не посылать Вам корректуры. Я ее прочитаю очень внимательно, так что никаких пробелов не будет. Ежели, все-таки, Вы считаете необходимым прочесть ее, будьте добры черкнуть пару строк, я сообщу в типографию, чтобы ее послали Вам»³⁸.

(Здесь нотабене. Вопрос об искренности чувств Иванова, энергично откликнувшегося на приглашение в альманах филосемитов (каковым манкировала изрядная часть званных), остается за пределами этих хроникальных заметок, тем более что эта тема, впервые попавшая в фокус научного зрения в 1984 году³⁹, за последнее время обогатилась рядом ценных наблюдений⁴⁰, живых дискуссий⁴¹ и преданных печати документов⁴².)

Таким образом, к 15 мая некоторая часть материалов «Щита» находилась в мамонтовской типографии (и среди них — рукопись статьи Бердяева «Религиозная судьба еврейства»⁴³, которую оттуда извлекал и потом вернул Иванов), а часть досылалась туда из Петербурга почтой. Вопросами окончательного комплектования и корреспонденцией ведал Познер при участии А. М. Калмыковой, поскольку все остальные разъехались: Андреев отправился путешествовать по Оке, Горький почти безвыездно жил в Му-

стамяхах, а Сологубы — в Ярославской губернии (с. Красное, усадьба Тихменевых). С очередной порцией корректур в начале июня из Москвы прибыла верстка статьи Бердяева. Почти год спустя Познер вспоминал следующие события: «<...> я прочел ее и нашел, что она не подходит для сборника ни по своему содержанию, ни по манере изложения, мало доступной для массового читателя, для которого предназначался сборник. В ближайший приезд М. Горького в город я показал ему статью, и он признал, что помещать ее в сборник нельзя»⁴⁴.

В ретроспективных записях о случившемся Познер упоминает свои неоднократные попытки разыскать Бердяева и объясниться с ним; между тем в регулярных рапортах, которые он отправляет Сологубам, этот сюжет не упоминается вовсе. 23 июня он, в частности, сообщает: «Наш сборник печатается. Выйдет большая книга страниц в двести. <...> Уже есть сорок различных статей и стихотворений, да от десяти, примерно, лиц еще ожидается материал. <...> Выйдет сборник в начале июля, не позднее 10–15, т. е. как раз к созыву Государственной Думы»⁴⁵. Примерно через неделю Познер отправляет Сологубу корректуры его собственных текстов, сопроводив их косметическим замечанием по поводу одного из них: «Мне кажется, что для того, чтобы сделать „Вечный жид“ приемлемым для цензуры, надо исключить заключительную часть. Она критикует действия военных властей, а это недопустимо»⁴⁶.

Вопреки чаяниям, остаток лета проходит в типографских и цензурных хлопотах, усугубленных ожиданием важного участника — В. Г. Короленко обещал статью «Мнение мистера Джексона о еврейском вопросе», сопроводив ее требованием не опережать журнальной публикации, которая состоялась только в августе⁴⁷. За это время Познер по делам «Щита» трижды бывает в Москве, среди прочего предпринимая попытки разыскать Бердяева, чтобы объясниться с ним по поводу исключенной статьи, но тщетно — «его не было в городе и не было никого, кто мог бы дать <...> его адрес»⁴⁸. Для Сологуба эта задержка не была неожиданной: более того, отвергая запоздавшего вкладчика «Щита», он ссылается на несовпадение форматов, а не на более естественный довод хронологического свойства: «Сборник, о котором Вы пишете, имеет цель не столько благотворительную, сколько осведомительскую, он должен состоять из статей, стихов и беллетристических произведений, имеющих непосредственное отношение к еврейскому вопросу, чтобы таким образом ознакомить широкие круги читающей публики с положением евреев и привлечь к ним сочувствие»⁴⁹. 26 августа Познер шлет Сологубу оптимистическую репликацию: «Наш сборник готов и на днях уже выйдет в свет. Получилась большая книга в 13 печатных листов. Назначили мы цену в 1 рубль, чтобы сделать ее доступной среднему читателю. Печатали 5 тыс. экз., но делали матрицы. Если хорошо пойдет, пустим

второе издание. Чистый сбор с издания жертвуем в пользу Общества вспомоществования беднейшему еврейскому населению, пострадавшему от военных действий»⁵⁰.

«Щит» вышел из печати в середине сентября⁵¹; в соответствии с распоряжениями Познера, редакторам-составителям было отправлено из типографии по десять экземпляров, а рядовым авторам — по три. 24-го числа Познер сообщал Иванову:

«Многоуважаемый Вячеслав Иванович.

Сборник „Щит“, для которого Вы выразили любезное согласие предоставить статью «К идеологии еврейского вопроса», только теперь получил в Петрограде. На днях Вы получите 3 экземпляра его, о чем сделано распоряжение одному из московских складов, получивших эту книгу. Если Вы пожелаете получить еще экземпляры, будьте добры сообщить — и Ваше желание будет немедленно исполнено»⁵².

Тем временем в Петрограде разразилась гроза.

Бердяев, получивший сборник одним из первых, не обнаружил там своей статьи, после чего обратился за разъяснениями к Сологубу:

«Так как я получил от Вас приглашение написать статью по еврейскому вопросу и отправил статью Вам, то обращаюсь к Вам с просьбой объяснить мне, почему моя статья не была напечатана в сборнике и почему редакция сборника ничего мне не написала о судьбе моей статьи? Согласитесь, Федор Кузьмич, что образ действия редакции сборника относительно меня очень странный и недопустимый. Не могу придумать никакого объяснения, которое оправдывало бы такое отношение ко мне и моей статье. За всю мою литературную деятельность ничего подобного со мной не было. Я совершенно не допускаю мысли, чтобы заказанная мне статья могла быть не напечатана, и еще менее мог допустить, чтобы так было поступлено без всяких объяснений со мной. Если меня просят написать по еврейскому вопросу, то, значит, хотят услышать мое независимое мнение по этому вопросу», etc., etc.⁵³.

Вероятно, это письмо, среди другой обширной корреспонденции, поджидало чету Сологубов в их Петроградской квартире утром 23 сентября, когда они вернулись из Ярославской губернии, — во всяком случае, отреагировали они незамедлительно.

«Узнав об их приезде, я позвонил им по телефону и попросил позволения прийти поговорить о делах кружка. Меня попросили позвонить по-

позже. Вскоре затем мне позвонили с их квартиры, и сначала Ф. К., а за ним А. Н. обрушились на меня с упреками за то, что в „Щите“ нет статьи Н. Бердяева. В этом они усмотрели проявление „самодержавия“ со стороны М. Горького, а меня обвинили в слепом подчинении ему. Нападки были так страстны, что я был лишен возможности сказать в ответ хоть одно слово. Поэтому, как только А. Н. повесила трубку, не дав мне сказать что-либо, я написал Ф. К. письмо, в котором изложил все обстоятельства дела, по возможности мягче, напоминая, что статья Н. Бердяева предназначалась, собственно, для другого сборника, анкетного, что решения бюро о включении ее в „Щит“ — не было, что кружок только начинает свою издательскую деятельность, и всегда будет возможность напечатать ст. Н. Бердяева. В заключении я писал, что все время полагал, что поступаю добросовестно, и что у меня не было намерения причинять Ф. К. огорчения. Если же помимо воли причинил, прошу чистосердечно извинения»⁵⁴.

На следующий день, 24 сентября, в середине дня произошло решающее объяснение: Познер отправив с утра примирительное письмо Сологубу, приехал к нему лично и, по его собственному ощущению, действуя дипломатически, совладал с его неудовольствием: «гнев его улегся, и мы расстались мирно»⁵⁵. Сошлись на том, что, дождавшись приезда Андреева, совет общества обсудит вопрос о включении статьи Бердяева во второе издание сборника, благо первое за несколько дней продаж практически разошлось. По мнению же Сологуба, высказанному им позже, эта встреча лишь выявила их принципиальные расхождения: «Прочитав внимательно и уже теперь отдельно от всего текста эти вменяемые в вину Бердяеву места, я не изменил своего мнения о статье: не обличая в авторе ревностного восхвалителя еврейства, и эти места в отдельности, как и вся статья в целом, произвели на меня впечатление высказывания свободной и просвещенной мысли, соединенной с несомненным для меня сочувствием к судьбе еврейства»⁵⁶. Таким образом, стороны разошлись, будучи уверенными в прямо противоположном, — и стали действовать соответственно.

Познер, сочтя конфликт, по крайней мере в острой фазе, исчерпанным, занимался новыми проектами общества, намереваясь вынести их на обсуждение в ближайшее заседание совета. Сологуб же, провидевший, судя по всему, за неловкой ситуацией с бердяевской статьей начало расхождения с Горьким, сознательно уклонялся от созыва совета. На этом фоне ключевой фигурой оказался Леонид Андреев, но он, в силу собственных обстоятельств, воздерживался от вступления в полемику, отвергая попытки обоих участников конфликта привлечь его на свою сторону. В меморандуме Познер описывает несколько безуспешных попыток добиться от Андре-

ева личного свидания; одновременно Сологуб пишет ему письмо, также не возымевшее никакого действия: «Хотел сегодня поговорить с Вами по телефону, но мне сказали, что Ваш телефон не звонит. Я хотел прочесть Вам второе письмо Бердяева, т. к. оно, по его желанию, должно быть доведено до Вашего сведения. Следовало бы его обсудить в нашем совете, но т. к. Вы в городе почти не бываете, то и Совету собраться не удастся. М. б. Вы сами позвоните по моему телефону — 106-44, чтобы я мог прочесть Вам это письмо»⁵⁷. В один из октябрьских дней в Петербурге оказался Бердяев, и Познер, прознав о том, что он остановился в квартире П. Б. Струве, попытался его там навестить, чтобы объясниться, но не застал.

Тем временем сам Бердяев прислал Сологубу вполне примирительное послание: «Письмо Ваше вполне меня удовлетворило в том смысле, что после Ваших разъяснений я не могу считать Вас виноватым в неприятной истории с моей статьей. Думается, и относительно Вас было поступлено не вполне корректно. Этого принципиально возмутительного случая я не придам гласности только потому, что это может произвести впечатление „еврейского засилья“ и повредить делу улучшения положения евреев в России, которого я горячо желаю»⁵⁸. Сологуб же, для которого центр тяжести конфликта переместился за пределы частного эпизода с бердяевской статьей, отнюдь не склонялся к компромиссу, ожидая от Познера (или даже скорее от Горького) решительных и деятельных извинений.

В начале ноября на хронологию этого сюжета наложился график лекционного турне Сологуба по провинции, что вызвало ожидаемые волнения в кругу лиц, прикосновенных к деятельности русско-еврейского общества. «Это известие обеспокоило меня, — вспоминал Познер, — оно грозило новой отсрочкой деятельности кружка, — и я обратился по телефону к Ф. К. с просьбой собраться до его отъезда. От этого он уклонился, но сказал, что между 5 и 12 ноября будет в Москве, и если к этому сроку я соберу общее собрание, то он подъедет»⁵⁹. Одновременно активизировалась деятельность по подготовке второго издания «Щита», которое предполагалось расширить и дополнить по сравнению с первопечатным: в частности, добавились статьи А. Карташева и А. Пешехонова, а также текст речи В. Соловьева на университетском обеде⁶⁰. Макет был практически полностью готов к третьей декаде ноября; Познер, наученный горьким опытом, старался согласовывать любые изменения в его составе: «Посылаю Вам корректуры очерков, которые предлагают дополнительно для 2-го издания „Щита“. Очень буду благодарен, если скоренько прочтете и дадите Ваш отзыв. Они посланы на заключение и Федору Кузьмичу»⁶¹.

5 ноября в московском Политехническом музее при большом стечении народа Сологуб читал лекцию; среди публики были, в частности, Вячеслав

Иванов и Леонид Андреев⁶². Подробности последующих двух дней не документированы, но точно известно, что к собранию бюро 7 ноября Сологуб в Петербург не вернулся, что, впрочем, не было воспринято никем из присутствующих в качестве демарша. Этому способствовала вполне техническая задача заседания: дебатировался проект большого учредительного собрания общества, долженствующего расширить масштаб его деятельности. Мероприятие было первоначально назначено на 10 декабря; благодаря содействию А. В. Карташева был арендован вместительный зал Географического общества. По возвращении Сологубов в столицу Познер, согласно их просьбе, уведомил их о дате и времени: «<...> я сообщил об этом Ф. К., но он сказал мне, что 9 и 10 декабря будет занят. Поэтому день собрания был перенесен на 12 декабря, о чем я снова предупредил Ф. К. Он сказал, что и в этот день должен быть в другом месте. Я просил его быть непременно у нас на собрании, против чего Ф. К. не возражал. Этот разговор был за неделю до учредительного собрания»⁶³.

Неувязка в датах, которая, судя по тону, показалась Познеру пустым капризом, на самом деле имела под собой существенное основание: в первых числах декабря Сологубы получили известие, что в Петербург собирается приехать Вяч. Иванов, и все их планы, таким образом, сопоставлялись с его графиком. 3 декабря Чеботаревская писала ему: «Сегодня из газет узнала, что Вы 9-го читаете здесь лекцию. Очень хотелось бы видеть Вас после лекции у нас. Соберем несколько друзей. Также могу предложить помещение у нас, — только довольно холодно»⁶⁴.

Это приглашение было принято — Иванов и В. Шварсалон, прибыв в Петроград 9-го числа, прожили в квартире Сологубов целую неделю⁶⁵. В день приезда Иванов сделался невольным односторонним свидетелем резкого телефонного разговора Сологуба с Познером, позже описанного им в приведенных выше свидетельских показаниях. Второй абонент позже пересказывал состоявшуюся беседу так: «В среду, 9-го, когда я думал пойти к Ф. К. со списком <членов будущего комитета Общества>, он позвонил мне по телефону и спросил меня, как улажен инцидент со ст. Н. Бердяева, на что я не мог дать никакого определенного ответа. На это Ф. К. сказал, что в неулажении этого инцидента он видит нежелание уладить его и поэтому должен будет устраниваться с А. Н. от дел Общества до тех пор, пока Бердяеву не будет дано удовлетворение. Я предложил ему немедленно же собрать старое бюро или собрание членов кружка с тем, чтобы уладить инцидент до учредительного собрания, т. е. до субботы, 12 декабря. Ф. К. не только решительно уклонился от такого способа решения дела, но заявил, что во всем происшедшем он видит проявление глубокого неуважения к чужой личности, что с такими людьми он с А. Н. работать вместе не может

и что потому он не только устраняется от участия в кружке, но совсем выходит из его состава и не явится на собрание 12 декабря. Мои настояния не принимать такого решения не помогли, и наша беседа закончилась моей фразой о том, что — я крайне сожалею о его отказе»⁶⁶.

В ближайшие несколько дней Познер предпринимает последнюю попытку ко всеобщему примирению, инспирируя визит к Сологубам З. И. Гржебина, но эта миротворческая миссия заканчивается провалом. Таким образом, многолюдное учредительное собрание общества проходит 12 декабря в отсутствие Сологубов; на нем, после программной речи Горького и выступления Д. В. Философова, избирают девять членов комитета, двух кандидатов, троих участников редакционной комиссии; оглашают предварительные итоги и обширные планы⁶⁷; единственным реликтом первоначальной тройственности организаторов остается упоминание Сологуба в качестве одного из составителей анкеты — и только⁶⁸. Три дня спустя, 15 декабря (вероятно, после отъезда Ивановых в Москву⁶⁹), Сологуб позвонил Познеру и сформулировал два пункта своего «J'accuse»: претензия состояла «во-первых, в том, что не был своевременно улажен инцидент с статьей Бердяева и, во-вторых, в том, что я <Познер> искажил смысл его заявления о выходе из Общества. На первое обвинение я ответил, что слышу его впервые, ибо до сих пор он и А. Н. винули всегда М. Горького, а, услышав в ответ, что виноват я один, что достаточно было бы одного моего письма к Бердяеву, чтобы все уладилось, я возразил, что если бы знал это, то послал бы не одно, а сто писем. На второе обвинение я ответил напоминанием Ф. К. нашего телефонного разговора от 9 дек., на что между прочим Ф. К. мне сказал: „Если я даже и выразился так, как вы говорите, то вы должны были меня переубедить“»⁷⁰.

Некоторое время в кругу оставшихся учредителей общества, судя по всему, дискутируется вопрос об отношении к эскападе Сологуба; при всей двусмысленности ситуации, вряд ли кто-то мог счесть его обиды полностью необоснованными. Обстоятельства усугублялись тем, что в расширившийся комитет вошли люди, заведомо недоброжелательные к Сологубу, что, в конечном счете, и предопределило результат. Лаконичным археографическим памятником этих дискуссий можно считать два письма тождественного содержания, отправленные Горьким в течение одного дня — 17 декабря. В обоих идет речь о планирующемся сборнике «Евреи на Руси», в обоих перечисляется приблизительный состав авторов: Бальмонт, Бунин, Куприн, Шмелев, Гиппиус. Но в первом, адресованном Брюсову, в этом списке значится Сологуб, а во втором, направленном Треневу, — уже нет⁷¹. Впрочем, неделю спустя размолвка между бывшими сотрудниками делается гласной: «На тот случай, если б Вас смутило участие Ф. Сологуба, — пишет Горький

В. Г. Короленко, — считаю нужным сообщить, что он уже заявил о своем выходе из членов общества»⁷². Среди оставшихся в комитете людей более прочих был расположен к Сологубу Леонид Андреев — и именно он инициирует внеочередное заседание для разьяснения конфликта.

11 января Андреев пишет Чирикову: «<...> вдруг сегодня телеграмма: завтра (<в> среду) собрание нашего еврейского комитета, собранное как раз по моему требованию ввиду одного очень неприятного конфликта. Приходится ехать, ничего не сделаешь»⁷³. Собрание состоялось 12-го числа, и на нем Андреев оказался даже не в меньшинстве, а в одиночестве. Вечером того же дня он писал Сологубу: «На меня это заседание произвело крайне тяжелое и скверное впечатление. Мое заявление о совершенной по отношению к Вам несправедливости не вызвало сочувственного отклика ни в ком; между прочим, в большую вину ставилось Вам участие в „Лукоморье“, находили, что несовместно быть членом Комитета в Обществе, защищающем евреев, и в то же время работать в „суворинском“ органе. <...> Мое предложение каким-нибудь путем привлечь Вас в члены Комитета (расширением устава и дополнительными выборами, либо как-нибудь иначе) было отвергнуто большинством четырех против одного моего голоса (Горький, Семевский, Калмыкова и Коробка)»⁷⁴. Сохранился более поздний рассказ о ходе этого собрания, в котором единодушные заседатели оказываются полным: «Ал. Макс. рассказывал, что на одно из собраний „Русского общества изучения еврейской жизни“ явился Л. Н. Андреев. Он настаивал, чтобы Ф. Сологуб был избран в распорядители общества, его комитет. Проф. В. И. Семевский (председатель общества), член литературного фонда, протестовал против этого избрания, говоря, что в противном случае он уйдет из Общества, так как сотрудничество с Сологубом для него невыносимо. А. М. присоединился к Семевскому. Андреев защищал Сологуба. Тогда Семевский начал журить Л. Н., упрекая его в измене славным традициям русской литературы, за близость к писателям буржуазии и т. д. В итоге Л. Н. Андреев голосовал вместе с остальными членами общества»⁷⁵.

Через несколько дней Сологубы уезжали в Курск проездом через Москву⁷⁶; вероятно, в один из дней между 12 и 17 января Чеботаревская отправила Горькому письмо, означавшее полный разрыв отношений: «Только сегодня я узнала о всей этой сложной и замаскированной интриге, которая велась против Ф. К. в комитете основанного им Об-ва, для которого мы столько работали и старались весь прошлый сезон. — *Этого* Вы хотели, когда в прошлом году вошли в наше Об-во? Мне были известны и раньше дикие проявления той травли, кот<орую> Вы годами практиковали по отношению к Ф. К., — письма, которые Вы писали в редакции изданий, требуя его бойкота и... может голодной смерти как результата Ваших неутомимых усилий <...>

Но когда Вы в прошлом году вошли в дело, учрежденное нами (я это докажу, где окажется нужно), когда Вы звали нас к себе (я зову только тех, кого уважаю), когда Вы восхищались стихами Ф. К., — тогда, скажите, что за цели Вы преследовали?»⁷⁷ и т. д.

В один из этих дней впервые возникла тема предстоящей официальной тяжбы; 17 января Познер писал Сологубу: «В пятницу, 15-го с. м. в 12 час. 25 мин. ночи, Вы по телефону 466-75 сообщили мне, что решили предложить мне третейское разбирательство, и тут же просили меня выбрать судей до сегодняшнего дня, дабы сегодня могло состояться первое заседание суда. Я тогда же, спросив Вас о предмете третейского разбирательства и заметив, что от такого суда не принято отказываться, указал, что вряд ли смогу найти посредников за такой короткий срок»⁷⁸.

Собственно, центральным пунктом конфликта к этому моменту сделалась не судьба статьи Бердяева (этот сюжет был в общих чертах исчерпан), а вопрос о добровольности выхода Сологуба и Чеботаревской из комитета русско-еврейского общества. Их обычная обидчивость, усугубленная в этом случае многолетней историей литературного противостояния с Горьким и его союзниками, оказалась дополнительно стимулирована узурпацией общественного дела, которое они не без основания считали почти полностью своим. 21 января супруги расстались в Курске: Сологуб, начиная обширное лекционное турне, отправился в половине шестого вечера в сторону Ростова-на-Дону, а Чеботаревская в первой половине дня выехала в Москву. С собой она везла письмо, адресованное Иванову и означающее новую эскалацию конфликта:

«Дорогой Вячеслав Иванович,

Обстоятельства сложились так, что мне пришлось вызвать на третейский суд С. В. Познера. Судьями со своей стороны я пригласил П. Б. Струве, Иванова-Разумника и Щеголева. Анаст. Н. расскажет Вам подробности: писать было бы слишком долго, а она знает все точно. Я же Вас прошу сообщить третейскому суду, если он к Вам обратится, об известных Вам обстоятельствах: Ваш разговор с нами и Гржебиным зимою 1914–5 г., в день Вашего отъезда из Петрограда, о сборнике об евреях; мой разговор по телефону с Познером, который Вы случайно слышали в день Вашего приезда к нам, т. к. содержание и тон мой в этом разговоре передаются неверно.

Шлю Вам сердечный привет
Ваш Федор Сологуб»⁷⁹.

Февраль был посвящен обоюдным приготовлениям к предстоящему третейскому суду; к названным Сологубом трем арбитрам прибавились избранные Познером А. Г. Горнфельд, П. Н. Милюков и В. А. Мякотин; из них

только последний был решительно предубежден против истца⁸⁰. Первую декаду месяца Сологуб провел в разъездах, вернувшись в Петроград лишь около 11-го числа; спустя неделю его оппонент в предстоящем разбирательстве прислал ему деловое письмо, которое можно было воспринять как шаг к примирению: «Типография Мамонтова, в которой печатается второе издание „Щита“, сообщает, что печатание книги подходит к концу, и просит дать ей текст титульной страницы и обложки. Будьте любезны сообщить мне не позже понедельника 22 с<его> м<есяца>, согласны ли Вы, чтобы и в этом издании было указано, как и в первом, что книга выпущена под редакцией Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба»⁸¹. Ответ на это письмо не разыскан, но, судя по неизменности выходных данных книги, он был положительным.

28 февраля прошло предварительное заседание третейского суда; Иванов, названный Сологубом в числе свидетелей со своей стороны⁸², в эти дни должен был быть в Петербурге⁸³, но приехать не смог; спустя несколько дней он получил от одного из судей запрос о свидетельских показаниях по делу:

«Многоуважаемый Вячеслав Иванович, третейский суд между Ф. К. Сологубом и С. В. Познером (в составе: А. Г. Горнфельд, Р. В. Иванов-Разумник, П. Н. Милюков, В. А. Мякотин, П. Б. Струве, П. Е. Щеголев, супер-арбитр Н. И. Кареев) в заседании 28 фев<раля> с. г. постановил: уведомить Вас, что Вы указаны одною из сторон (Ф. К. Сологубом) как свидетель некоторых, подлежащих обсуждению третейского суда, фактов. Ввиду этого третейский суд просит Вас сообщить все, что известно Вам по делу возникновения сборника „Щит“, участия в нем Ф. К. Сологуба и С. В. Познера, — и вообще все, что припомните из обстоятельств зарождения и осуществления этого сборника. Сообщение Ваше будет рассмотрено на заседании 6 марта с. г., в 3 ч. дня, на квартире Н. И. Кареева (СПб., Вас. Остр., Большой пр., д. 24). Если бы в этот день Вы случайно оказались в СПб., то Ваше личное, устное показание было бы, конечно, еще более желательным.

Примите уверение в совершенном уважении.

Разумник Иванов»⁸⁴.

Откликнуться на этот призыв и прибыть лично Иванов явно не успевал, но прямым следствием этого письма послужили приведенные выше наброски.

Заседание третейского суда состоялось, как и было намечено, 6 марта. Из обмолвки Горького в частном письме накануне («<...> завтра — свидетельствую на третейском суде по делу Сологуба с Познером, — дело, в котором скрытым обвиняемым являюсь я, а обвинителями Андреев и Сологубчик»⁸⁵) видно, что разбирательство априори воспринималось его участ-

никами не в качестве способа разрешения конфликта между бывшими партнерами, а как повод для дальнейшей манифестации случившихся расхождений. Так, в принципе, и вышло; на другой день после заседания Андреев сообщал брату: «Вчерашний день почти весь провел на квартире проф. Кареева в качестве свидетеля по делу Сологуба и Познера (за каковым стоит Горький). Боже мой, что это было! Чуть до мордобоя дело не дошло. Сологубы и Горький обменялись оскорбительными резкостями. Настя истерически кричала, кричали судьи и говорили разом. Кареев вел себя старым важным ослом и не давал говорить, я протестовал, он протестовал, все протестовали. Струве хотел уйти, русско-богатенькие были откровенно несправедливы к Сологубу. Мне было очень жаль Сологуба»⁸⁶. Схожим образом воспринял произошедшее и другой участник суда, П. Струве, вспоминая десяти с лишним лет спустя в некрологической заметке: «Последний раз я видел Ф. К. незадолго до революции 1917 г. в квартире почтенного Н. И. Кареева, которому, вместе с В. А. Мякотиним и мною, пришлось быть третейским судьей по довольно нелепому делу, возникшему между покойным Ф. К. и Максимом Горьким (формально противной стороной был не последний, а гораздо менее его известный писатель, ныне проживающий в Париже). Это третейское разбирательство так никогда не было доведено до конца. Но благодаря ему, мне пришлось тогда видеть за одним столом в каком-то странном не лишенном характерности состязании трех крупных русских писателей-беллетристов: покойного Леонида Андреева, здравствующего Максима Горького, моя первая встреча с которым относится к 1897 г., и Федора Сологуба. Отчетливо помню, как на этом судилище Леонид Андреев, которого я увидел тут в первый раз и к которому, как к писателю, я относился по меньшей мере холодно, как человек, произвел на меня тогда прямо обаятельное впечатление каким-то чарующим сочетанием прямоты и мягкости, и как, наоборот, тягостно, прямо удручающе неприятен был Максим Горький. Что касается Сологуба, то он — при наших встречах — был всегда как-то ровно внимателен и почти ласков. Так было и тут, где он и его жена как будто искали у меня, избранного Сологубом в судьи, какой-то защиты»⁸⁷.

Несмотря на то, что разбирательство не завершилось ничем и было прекращено⁸⁸, и у истца, и у благожелательно настроенных к нему участников сложилось ощущение предвзятости остальных арбитров; во всяком случае, Сологубы продолжали подбирать свидетельства собственной правоты. Так, десять дней спустя, Чеботаревская вновь обращалась к Иванову: «Дорогой Вячеслав Иванович, пишу Вам с вокзала в Костроме, где чернила хуже карандаша. Очень прошу к 27 м<арта> черкните П. Е. Щеголеву что Вы отказа Ф. К. от участия в Обществе не слышали»⁸⁹. Спустя еще месяц

(перерыв мог быть связан не только с вызреванием решения, но и с графиком лекционного тура Сологуба) конфликт был перенесен на страницы прессы. 18–20 апреля в нескольких периодических изданиях было помещено открытое письмо Сологуба:

«М. г., г. редактор!

Прошу вас поместить в вашей уважаемой газете следующее заявление:

Ко мне обращаются разные лица с вопросами о причине моего удаления от „Общества изучения еврейской жизни“, в организации которого я и А. Н. Чеботаревская принимали весьма деятельное участие.

Ввиду того, что третейский суд, заседавший по этому делу, вследствие разъезда членов его не мог довести до конца свои заседания, я вынужден через посредство печати огласить следующее:

Из этого общества ни я, ни А. Н. Чеботаревская не выходили. Правда, в конце 1915 г. мы временно намеревались не посещать общество, тщетно добываясь в течение трех месяцев чрез секретаря его С. В. Познера улажения корректным путем инцидента с Н. А. Бердяевым, статья которого, заказанная для сборника „Щит“, была забракована г. секретарем без согласия двух или трех его редакторов — моего и Л. Н. Андреева. Так как статья была заказана мною и Н. А. Бердяев обратил ко мне, как к редактору, свое законное возмущение, то я много раз в течение трех месяцев настаивал на выяснении г. Познером автору статьи мотивов этого решения. Убедившись в полном и сознательном игнорировании моих притязаний на корректное отношение к сотрудникам, я сообщил г. Познеру, что *впредь до ликвидации* инцидента с Н. А. Бердяевым я не считаю для себя возможным посещать собрания общества (этот разговор происходил в присутствии Вяч. Иванова). На это г. Познер, посоветовавшись, по его словам, с некоторыми лицами, вычеркнул мое имя из избирательного списка баллотирующихся в комитет общества и в учредительном собрании общества в декабре заявил желавшим голосовать за меня, что я „ушел“ из общества, „вероятно, изменив свои убеждения“.

На это я должен возразить. Я слишком ценю свои убеждения, чтобы менять их в зависимости от случайных обстоятельств. К угнетению народа я не могу остаться равнодушен, как художник и поэт. Только эти — художественные и гуманитарные мотивы владели мною тогда, владеют и теперь. Возмущенный исчезновением моего имени из списка, подал мотивированный отказ от участия в делах комитета — учредитель и зачинатель общества Леонид Андреев. Таким образом, ясно, что я и А. Н. Чеботаревская не „выходили“, но фактически очутились за бортом дела, созданного при нашем деятельном участии.

Федор Сологуб»⁹⁰.

Через несколько дней в газетах было помещено ответное письмо Познера⁹¹, на чем история конфликта была в общих чертах завершена, хотя отдельные последствия этого инцидента продолжали ощущаться и в последующие месяцы. Так, в процессе подготовки третьего издания «Щита»⁹² Познер обратился к Иванову за разрешением перепечатать там его переводы из Бялика, выполненные им для журнала «Еврейская жизнь»⁹³. Иванов, явно держа в уме изложенную выше историю, отвечал ему крайне осторожно:

«Москва, Зубовский б. 25

25 апреля 1916

Многоуважаемый Соломон Владимирович,

Поездка в Киев, к сожалению, [немного] задержала мой ответ. Я ничего не имею против перепечатания моего стихотворного перевода из Бялика в 3-м изд. „Щита“, если первоначальный состав сборника — разумею первое издание — целиком воспроизводится в третьем, — другими словами, если материал 1-го издания лишь умножается новыми дополнениями, а не сокращается устранением чего-либо, напечатанного в первом. Впрочем, в этом последнем случае я должен был бы получить соответствующее уведомление; ибо и статья моя, помещенная в 1-м издании, может быть повторена в следующих изданиях лишь при том же условии — неприкосновенности первоначального целостного состава книги. Изменение же последнего в смысле особенного отбора предполагало бы новый принцип соединения сотрудников, и каждый должен был бы отдать себе предварительно отчет в том, как он относится к этой новой фазе в существовании „Щита“. Между тем, после происшедших несогласий, мало ли чего можно ждать? Например, ухода или изгнания Сологуба — либо [какого-нибудь] дальнейшего — вовсе неподвижного [административного] мероприятия со стороны Максима Горького против какого-либо [усмотренного им] опасного проявления независимости в чем-либо образе мыслей. Вследствии высказанных опасений я был бы Вам благодарен за несколько успокоительных строк.

Прошу Вас принять уверение в моем совершенном почтении

Вячеслав Иванов»⁹⁴.

Как известно, высказанное здесь пожелание было исполнено.

¹ РГБ. Ф. 109. Карт. 8. Ед. хр. 19. Рукопись представляет собой черновик с правкой, интенсивность которой нарастает к исходу последней страницы.

² Аннотацию содержания см.: *Рогожин Н. П.* Литературно-художественные альманахи и сборники. 1912–1917 годы. М., 1958. С. 166–167 (Литературно-художественные альманахи и сборники. Библиографический указатель. Т. 2).

³ В изложении ранней части хронологии «Щита» мы следуем тексту меморандумов, составленных в начале 1916 года С. Познером и Ф. Сологубом в преддверии третейского суда. Эти отчасти противоречащие друг другу ремингтонированные тексты (познеровский — несравненно более подробный) были, судя по всему, разосланы всем участникам предстоящего заседания; ныне общедоступны два идентичных экземпляра — принадлежавший А. Горнфельду (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659; в одной архивной единице объединены оба текста) и П. Милюкову (ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Ед. хр. 2018 и 2019; с густой, но бессистемной правкой получателя). Чтобы не перегружать ссылки, далее мы цитируем текст по горнфельдовскому экземпляру.

⁴ О С. В. Познере см.: *Кельнер В.* Соломон Познер и «Русский дом» в Париже // Евреи в культуре Русского Зарубежья. Статьи, публикации, мемуары и эссе. Том III. 1939–1960 гг. / Составитель и издатель М. Пархомовский. Иерусалим. 1994. С. 495–510; *Кельнер В. Е.* Издательская деятельность С. В. Познера и некоторые вопросы общественной жизни в России в начале XX в. // *Кельнер В. Е.* Очерки по истории русско-еврейского книжного дела во второй половине XIX — начале XX в. СПб., 2003. С. 97–112. Последняя работа, наряду с отчасти вобранной ею статьей того же автора «Еврейский вопрос и русская общественная жизнь в годы первой мировой войны» (Вестник Еврейского университета в Москве. 1997. № 1 (14). С. 66–93) подробно касается занимающей нас истории, отчего ниже мы регулярно обращаемся к приведенным там документам.

⁵ *Андреев Л.* Первая ступень // Утро России. 1914. 27 ноября. № 294. С. 2; статья изначально предназначалась для «Биржевых ведомостей», но была отклонена цензурой; в начале декабря перепечатана в нескольких провинциальных газетах, см.: Леонид Николаевич Андреев. Библиография. Выпуск 1. Сочинения и письма / Составитель В. Н. Чуваков. М., 1995. С. 127–128.

⁶ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 12. В более поздних вариантах биографии Чеботаревской мысль об издании сборника не всегда связывается напрямую со статьей Андреева, ср. запись за 1914 год в составленной Ф. Сологубом хронологической канве ее жизни: «Мысль об изд<ании> Сборн<ика> по евр<ейскому> воп<осу>; — Редакция сборника; — Общество для заш<иты> евр<еев>» — ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 172. Л. 158. Ср., впрочем: «В начале зимы того же <1914> года, преследования, которым тогда подвергались евреи, заставили ее начать хлопоты об издании сборника в защиту евреев. Мысль об этом сборнике дала ей статья Леонида Андреева «Первая ступень». Ан. Н. принимала деятельное участие в организации Общества для изучения еврейской жизни, возникшего по нашей инициативе с той же целью» (*Сологуб Ф.* «Вступительная статья» // Сологуб-Чеботаревская А. Женщина накануне революции 1789 года. Пг., 1922. С. 19).

⁷ Вяч. Иванов приехал в Петербург, чтобы прочесть 25-го ноября совместную с В. Ф. Эрном лекцию «Вселенское дело» (см. повестку и афишу (РГБ. Ф. 109. Карт. 51. Ед. хр. 3. Л. 63, 65), а также отзывы: От Канта к Крупну // БВ. 1914. 26 ноября. № 14518. С. 4; Б<рянчанинов> А. Н. Лекции о войне и миссии славянства Вяч. И. Ива-

нова и В. Ф. Эрн // Новое звено. 1914. № 49. 29 ноября. С. 15; Кризис германской культуры и миссия России // Речь. 1914. № 321. 27 ноября. С. 5; И. М. Война и писатели. У Вячеслава Иванова // Голос Москвы. 1914. № 277. 2 декабря. Дата его отъезда из Петербурга (она же — день встречи с Сологубами) устанавливается из дневниковой записи С. П. Каблукова 29 ноября: «Был Вячеслав Иванов, завтра уезжает в Москву. Укорял меня за германофильство, а я его за безудержное славянофильство и национализм» (РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 32. Л. 21).

⁸ Особенно напряженных между Горьким и Сологубом; см.: *Никитина М. А.* М. Горький и Ф. Сологуб (К истории отношений) // Горький и его эпоха. Исследования и материалы. Выпуск 1. М., 1989. С. 185–203; *Павлова М. М.* Творческая история романа «Мелкий бес» // *Сологуб Ф.* Мелкий бес. СПб., 2004. С. 722–738. Диалог между Сологубом и Андреевым был не в пример более дружественным; ср.: «Так утешительно чувствовать время от времени, как протягиваются тонкие и нежные соединяющие нити сочувствия, понимания. В письме очень трудно сказать все, что хочется иногда сказать, — а и мне не раз хотелось придти и говорить с Вами. Разделяет людей, — и нас с Вами, м. б., — иногда многое, больше внешнее, — вот как Вы пишете, — как я пойду? не помешать бы? да захочет ли он? Но изо всех современных писателей Вы, может быть, тот, с кем наиболее интересно было бы мне поговорить, и много раз, и о многом: так много есть общих точек, но и так много расхождений во всем» (письмо Сологуба Андрееву 23 октября 1908 // РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 1 — 1 об.); взаимоотношения Горького и Андреева подробнейшим образом исследованы при издании их двусторонней эпистолярной Литературное наследство. <Т. 72>. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1965.

⁹ *Сологуб Ф.* Конец ли Горькому // *Заря*. 1914. № 5. 2 февраля. С. 5.

¹⁰ *Сологуб Ф.* Заметки // *Дневники писателей*. 1914. Март. С. 17.

¹¹ См. в письме М. Горького к Е. П. Пешковой: «Был у меня Л. Андреев. Долго говорили, часов шесть кряду» (Письмо 5 декабря // *Горький М.* Полное собрание сочинений. Письма в двадцати четырех томах. Том одиннадцатый. Письма. Июль 1913–1915. М., 2004. С. 140).

¹² Эта встреча состоялась, по всей вероятности, 12 декабря 1914 года (Горький был в Петрограде между 12 и 15 декабря (см.: *Летопись жизни и творчества А. М. Горького*. Выпуск 2. 1908–1916. М., 1958. С. 465), а на 14-е число была назначен уже следующий коллоквиум (см. ниже).

¹³ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 1–2.

¹⁴ Дата устанавливается, исходя из следующих обстоятельств: а) 13 декабря Андреев писал Горькому: «Я очень огорчен, что завтра не могу быть у Сологуба. Рассчитываю все же поправиться и в другие разы не портить музыки» (Литературное наследство. <Т. 72>. С. 352); 2) 15 декабря Горький сообщал Е. П. Пешковой: «Сегодня вернулся из Питера, где пробыл почти неделю. Кое-что затеял, но — увы! из моих затей последнее время ничего не выходит. Ты, вероятно, скоро будешь удивлена, увидев мою подпись рядом с именами людей, очень чуждых мне: Андреева и Сологуба! Каково? Мы затеваем анкету по вопросу об антисемитизме, — а? Не веришь? Может быть, даже и более того затеем» (*Горький М.* Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 141).

¹⁵ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 2.

¹⁶ «<...> к вопросам необходимо приложить обращение, адресованное анкетерами. Написать это обращение должны мы — ты, я, Сологуб. Прилагаю мой проект. Напиши

ты и затем пошли оба листка Ф. К. Сологубу. Так условлено» (Горький — Л. Андрееву 15 декабря // *Горький М. Полное собрание сочинений*. Т. 11. С. 143).

¹⁷ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 2.

¹⁸ Там же. Упомянутый в тексте протокол заседания до настоящего момента не разыскан.

¹⁹ Недатированное письмо // М. Горький. Исследования и материалы. Т. 2. М.; Л., 1936. С. 445; этими же днями помечено известное письмо С. Булгакова, традиционно относимое к проекту «Щита»: «В Петрограде замышляется сборник по еврейскому вопросу, я уклонился от статьи в нем п. ч. при данном его составе (Плехановы, Коцовские и под.) суждение по существу (а только так и можно писать о нем) невозможно и, кроме того, крайне несвоевременно, между тем как еврейские издатели находят прямо наоборот. Мне, при антиномичности моего отношения к еврейству: крайнем филоиудаизме и крайнем антижидовстве выступать в этом обрамлении до последней степени трудно» (письмо от 22 декабря 1914 года к В. К. Хорошко — *Булгаков С. Н. Моя родина. Статьи. Очерки. Письма / Составление, предисловие, комментарии и публикация архивных материалов И. Б. Роднянской // Новый мир*. 1989. № 10. С. 241. Упомянутые здесь Плеханов с Коцовским в сочетании с фактом последующего безропотного участия Булгакова в «Щите» наводят на мысль, что здесь идет речь об альтернативном (несостоявшемся) проекте.

²⁰ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 3.

²¹ «Очень желателен Ваш приезд субботу. Горький» (*Горький М. Полное собрание сочинений*. Т. 11. С. 150).

²² Устами Бунинных. Дневники. Т. 1. Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы. М., 2005. С. 120; много лет спустя слабеющая память упустила все смысловое содержание встречи, уцепившись лишь за яркую деталь: «Последний раз я видел его в шестнадцатом году, у него на дому, на большом званом вечере. Он уже давно был славен, жил в достатке и, кажется, нередко устраивал такие вечера — собирал у себя литературных знаменитостей. В этот вечер знаменитостей собралось много, были Горький, Андреев. Но хозяин почему-то долго не выходил, предоставив принимать гостей Чеботаревской. Когда же вышел, то я глазам своим не поверил: на нем был смокинг, смятые и вытянутые в коленках панталоны, зеленые шерстяные носки и лакированные туфли со сбитыми каблукками» (*Бунин И. А. Собрание сочинений*. Т. 7. М., 2000. С. 554).

²³ *Пришвин М. М. Дневники*. 1914. 1915. 1916. 1917. СПб., 2007. С. 137; вероятнее всего, здесь контаминация двух вечеров — 17 и 20 января, поскольку 17-го у Сологуба не было Блока, а 20-го — Горького, тогда как Блок, наоборот, был, ср.: «Я у Сологуба до 6 ч. утра (Л. Андреев, Петров-Водкин, Верховский, Тиняков, Щеголевы)» (Запись 20 января // *Блок А. Записные книжки*. 1901–1920. М., 1965. С. 255).

²⁴ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 3. Упомянутый лист с подписями не разыскан.

²⁵ Официально оно будет зарегистрировано только 28 апреля; см.: Горький и его эпоха. Исследования и материалы. М., 1989. Вып. 1. С. 193 (со ссылкой на Архив Горького).

²⁶ Письмо 25 января и телеграмма 29 января // *Горький М. Полное собрание сочинений*. Т. 11. С. 154, 156; сведения о недатированных посещениях Сологубом Горького и Андреева содержатся в донесениях Департамента полиции марта и апреля 1915 года (*Литературное наследство*. <Т. 72>. С. 549).

²⁷ Анкета об евреях (открытое письмо к публике трех русских писателей) // Биржевые ведомости. 1915. 3 февраля. № 14648. Утр. вып. С. 4; текст ее см.: Горький М. Из литературного наследия. Горький и еврейский вопрос. Авторы-составители: Михаил Агурский, Маргарита Шкловская. Иерусалим, 1986. С. 155–156; она же, но с восстановлением выпущенных цензурой мест приведена в комментариях В. Н. Чудакова к письму Горького Андрееву: *Горький М.* Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 394–395; идея анкеты вызвала неоднозначное отношение (см. наиболее характерные отзывы: *Струве П.* По поводу одной анкеты // Биржевые ведомости. 1915. № 14674. 16 февр. С. 3; *Василевский И.* (Не-Буква). Книга легкомыслия // Петроградский курьер. 1915. 7 февраля. № 373. С. 3 («наилучшие намерения Л. Андреева, М. Горького и Ф. Сологуба нашли крайне неудачную форму»); Петроградский старожил. Анкета об евреях // Московские ведомости. 1916. 8 марта. № 55. С. 2; 10 марта. № 57. С. 2; *Загорский М.* О Максиме Горьком (Диалог) // Утро России. 1916. № 110. 20 апреля. С. 3 («...» идея такой анкеты встретила самое суровое осуждение на страницах еврейской печати»); Евреи в России. Анкета М. Горького, Л. Андреева и Ф. Сологуба // Журнал журналов. 1916. № 7. С. 13 (с удивительным, среди прочего, утверждением: «Листок анкеты предназначался для рассылки только литераторам и ученым. «Бирж. Вед.» только по недоразумению опубликовали его»); обзор ответов на анкету лег в основу доклада М. Горького (12 декабря 1915 года), позже напечатанного в журнале: *Горький М.* По поводу одной анкеты // Летопись. 1916. № 1. С. 188–220.

²⁸ «Посылаю Вам список тем, намеченных для первой части книги «Русские о евреях» (письмо 7 февраля 1915 года // ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 549. Л. 2).

²⁹ РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 30. Л. 30 об.; дата по почтовому штемпелю. *Димочка* — Дмитрий Вячеславович Иванов. Анонсированное письмо Сологуба не сохранилось или не было написано вовсе.

³⁰ Повестка воспроизведена: Литературное наследство. <Т. 72>. С. 548. Вероятно, этот вечер описывает в своих воспоминаниях Д. Бурлюк: «Сологуба посетил я в 1915 году. Время это ознаменовалось наделавшим шум выступлением по поводу равноправия евреев в России; выступление сие было подписано Горьким, Сологубом и Андреевым. <...> В описываемый вечер у Сологуба состоялось экстренное совещание по еврейскому вопросу. Мы сидели в столовой, когда, закончив его, к нам вышел Федор Кузьмич» (*Бурлюк Д.* Интересные встречи. М., 2005. С. 75; в более позднем варианте воспоминаний, положенном в основу издания 1994 года (*Бурлюк Д.* Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. СПб., 1994) весь этот фрагмент опущен).

³¹ См. газетные отчеты: Русско-еврейский вечер // Речь. 1915. 7 марта. № 64. С. 5 («Публика получила возможность увидеть и услышать на вечере трех самых популярных современных русских писателей — М. Горького, Л. Н. Андреева и Ф. Сологуба, читавших отрывки из своих произведений. Публика встретила и проводила писателей шумными аплодисментами, особенно бурными по адресу М. Горького, который появился перед «большой публикой» впервые после своего возвращения из-за границы. В течение нескольких минут М. Горький не мог из-за аплодисментов приступить к чтению отрывка из своего «Детства»); Ариель. Вечер в пользу еврейского комитета // Петроградский курьер. 1915. 8 марта. № 402. С. 5 («Театр дрожал от грома рукоплесканий, приветственных кликов, оглушительного браво и топота тысяч ног, когда на авансцене, жмурясь от огней рампы, появился каприйский изгнанник. Де-

сять лет не видел Петроград Максима Горького. <...> В качестве чтецов выступали еще Леонид Андреев и Ф. Сологуб. Несмотря на то, что гг. писатели в подавляющем большинстве случаев очень плохие чтецы, особенно собственных произведений, публика встретила обоих корифеев тепло, пожалуй, даже восторженно. Театр гремел несмолкающими рукоплесканиями); Новый восход. 1915. № 10–11. 13 марта. С. 50–51 («6-го марта в Большом зале Консерватории состоялся большой литературно-музыкальный вечер в пользу Еврейского комитета помощи жертвам войны. Вечер этот уже задолго привлекал к себе внимание широких кругов Петрограда и вызвал оживленные разговоры. <...> Билеты не поступали даже в продажу, потому что были расписаны задолго до концерта. Желающих попасть на концерт было впятеро больше, чем мест в театре. С самого начала в зале чувствовалось повышенное настроение. <...> Главный интерес вечера сосредоточился на выступлениях трех <слово вырезано цензурой> русских писателей, в последнее время заставляющих много говорить о себе в связи с еврейским вопросом. Мы имеем в виду Леонида Андреева, Максима Горького и Федора Сологуба. Публика восторженно встречала каждого из них. При появлении на эстраде Максима Горького, энтузиазм собравшихся достиг апогея — аплодисменты не смолкали в течение четверти часа. Поднявшаяся со своих мест публика не знала, как сильнее выразить свои чувства — на сцену летели цветы»).

³² К борьбе с антисемитизмом // Утро России. 1915. 1 марта. № 59. С. 5. Среди подписавших, помимо трех организаторов и идеологов, были Н. Бердяев, И. Бунин, З. Гиппиус, Вяч. Иванов, Д. Мережковский, Д. Философов и мн. др.

³³ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 4.

³⁴ На тот момент рассказ был запрещен цензурой; в печати он появился несколько месяцев спустя (Сологуб Ф. Вечный жид // Русские Ведомости. 1915. 11 августа. № 184. С. 5), практически сразу после чего был републикован в «Щите».

³⁵ РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 30. Л. 31 (дата по почтовому штемпелю).

³⁶ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 5.

³⁷ Впервые напечатана в «Щите»; вошла в сборник статей Иванова «Родное и все-ленское» (М. 1917 <на обл.: 1918>. С. 85–88).

³⁸ РГБ. Ф. 109. Карт. 33. Ед. хр. 10. Л. 1.

³⁹ *Markish S. Vjačeslav Ivanov et les Juifs // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1984. Vol. XXV (1). P. 35–47.*

⁴⁰ *Тименчик Р., Копельман З. Вячеслав Иванов и поэзия Х. Н. Бялика // Новое литературное обозрение. № 14 (1995). С. 102–118; Безродный М. Вячеслав Иванов и «Мусагет»: заметки к теме // Вячеслав Иванов и его время. Материалы VII Международного симпозиума. Вена, 1988. <Frankfurt am Main, 2002>. С. 411–419 (включая библиографию вопроса, аккумулированную в этих работах).*

⁴¹ См. описание наиболее существенной из них, сделанное одним из полемизантов: Там же. С. 417–418. В качестве запоздалой реплики хотелось бы добавить, что приводимый в качестве аргумента одной из сторон фрагмент дневниковой записи Р. М. Хин-Гольдовской («Вячеслав Иванов долго ежился, морщился, спросил *кто* подписал... и когда К-ускова» назвала самые «жирные» имена, тоже подписал, прибавив, однако, что он по этому предмету мог бы сказать многое, с чем, вероятно, авторы воззвания не согласятся») (*Хин-Гольдовская Р. М. Из дневников 1913–1917. Предисловие и публикация Е. Б. Коркиной. Примечания А. И. Добкина // Минувшее. Исторический альманах. 1997. <Т.> 21. С. 555–556; о воззвании см. примеч. 32)) вы-*

зывает некоторые сомнения в его достоверности — настолько описанная ситуация не соответствует тому, что мы знаем о диалогических ритуалах В. И.

⁴² Лаппо-Данилевский К. набросок Вяч. Иванова «Евреи и русские»; Иванов Вяч. Евреи и русские // Новое литературное обозрение. № 21 (1996). С. 182–193; из текстов на указанную тему, доньше не введенных в научный оборот, следует упомянуть исключенную из канонического состава спораду: «Евреи — кровь Божия. Оттого и рассеяны по земле; оттого и тайну крови святят. Они знают, что в жилах других людей течет другая кровь.

Религиозное сознание евреев тем отличается от нашего, что Бога они испытывают (Deus passivus) в собственных жилах. Но это отнюдь не наш имманентизм; напротив, это вид Трансцендентизма.

Мне кажется также, что Россия — сердце Божье, Китай — мозг, а Индия — легкие. Но мало ли, что покажется? Мнится, что Атлантида была крыльями и стала родом плавников; что Германия — селезенка; что прежде Рим, а ныне Англия — печень» (РГБ. Ф. 109. Карт. 4. Ед. хр. 36; черновой набросок).

⁴³ Написанная специально для «Щита», статья эта была впервые напечатана год спустя: Христианская мысль (Киев). 1916. № 4. С. 120–127.

⁴⁴ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 6; о простительности действий мемуариста мы сейчас не можем судить во всей полноте, поскольку киевский цензор исключил из первопечатного текста статьи Бердяева некоторые пассажи, показавшиеся ему сомнительными; его единодушие с Познером заставило столичный корреспондента воскликнуть в изумлении: «Не состоит ли киевская военная цензура в тайных сношениях с масонами?» (Разъяснение г. Познера // Утро России. 1916. 22 апреля. № 112. С. 2). Можно также предположить, что одной из причин настороженного отношения Познера к Бердяеву послужило участие последнего в недвусмысленно антисемитском сборнике «Израиль в прошлом, настоящем и будущем» (Сергиев Посад. 1915); впрочем, стоит помнить, что руководствоваться он мог только слухами о его подготовке, поскольку книга эта вышла на неделю позже «Щита» (см.: Книжная летопись государственного управления по делам печати. Перечень в алфавитном порядке книг, поступивших с 22-го по 29-е сентября 1915. № 21 298).

⁴⁵ Цит. по: Кельнер В. Е. Издательская деятельность С. В. Познера и некоторые вопросы общественной жизни в России в начале XX в. С. 104.

⁴⁶ Письмо от 2 июля 1915 года // ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 549. Л. 6–6 об.

⁴⁷ Об этом Познер писал Сологубу 26 августа; см.: Кельнер В. Е. Издательская деятельность С. В. Познера и некоторые вопросы общественной жизни в России в начале XX в. С. 105; очерк Короленко см.: Русские записки. 1915. № 8. Отд. I. С. 182–188.

⁴⁸ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 7.

⁴⁹ Письмо Сологуба к И. А. Новикову от 11 августа 1915 года // РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 2. Ед. хр. 36. Л. 2.

⁵⁰ ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 549. Л. 8.

⁵¹ Книжная летопись государственного управления по делам печати. Перечень в алфавитном порядке книг, поступивших с 15-го по 22-е сентября 1915. С. 9. № 21 175.

⁵² РГБ. Ф. 109. Карт. 33. Ед. хр. 10. Л. 2; на следующий день, обращаясь к нему уже по другому вопросу, Познер повторял новость и персонафицировал благодарность: «Сборник «Щит» вышел в свет, и в Москву написано, чтобы Вам доставили его, что,

наверно, уже сделано. Пишу, чтобы еще раз, от своего имени, поблагодарить за участие в сборнике» (Там же. Л. 3 (письмо 25 сентября 1915 года)).

⁵³ Цит. по: *Кельнер В.* Еврейский вопрос и русская общественная жизнь в годы первой мировой войны. С. 84.

⁵⁴ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 7.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Цит. по: *Кельнер В. Е.* Издательская деятельность С. В. Познера и некоторые вопросы общественной жизни в России в начале XX в. С. 106–107.

⁵⁷ Без даты // РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 204. Л. 3 об.

⁵⁸ Цит. по: *Кельнер В.* Еврейский вопрос и русская общественная жизнь в годы первой мировой войны. С. 85.

⁵⁹ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 9.

⁶⁰ По поводу этого текста, полученного из собрания Э. П. Юргенсона, см. письма Горького от 6 и 9 ноября 1915 года: *Горький М.* Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 213, 215.

⁶¹ Письмо Леониду Андрееву 21 ноября 1915 года // РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 178. Л. 1; днем раньше он сообщал Сологубу, что «на второе издание «Щита» поступает множество заказов» (Письмо от 20 ноября // ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 549. Л. 13).

⁶² Оба они, наряду с Шаляпиным, были замечены в зале дотошным хроникером: М. З<агорский?> На лекции Ф. Сологуба // Утро России. № 305. 6 ноября 1915. С. 4.

⁶³ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 9.

⁶⁴ РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 30. Л. 32. Дата по почтовому штемпелю. В адресе сделана трогательная ошибка: написано «Таврическая», зачеркнуто и переправлено на «Зубовский». Подробный отчет об анонсированной лекции см.: *Каратыгин В.* Лекция-концерт памяти А. Н. Скрябина // Речь. 1915. 13 декабря. № 343. С. 6.

⁶⁵ См. их благодарственные письма и дружеское стихотворное послание Иванова: «Эта седмица / В доме поэта / Гостеприимном — / Долгие лета / Будет мне сниться / ласковым сном» и т. д. — *Иванов В.* Письма к Ф. Сологубу и Ан. Н. Чеботаревской. Публикация А. В. Лаврова // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. Л., 1976. С. 147–148; ср. также: «Вячеслав приехал утром в среду, т. е. 9-го дек., а вечером читал свою лекцию «О Скрябине». <...> Вячеслав остановился у Ф. Сологуба. На мое приглашение посетить меня, ответил, что сделать это не сможет, ибо уезжает в воскресенье и имеет много важных дел в СПб. Вместо этого пригласил меня после лекции, т. е. в ночь с 9 на 10 к Сологубу в гости, где можно будет поговорить. Это предложение я, разумеется, отклонил, как потому, что после рабочего дня боялся ночи без сна да еще в чужой среде, так и по причине органического отвращения, которое возбуждает во мне «всепротивная» Сологубова жена, Настасья Чеботаревская, к<ото>рую решительно не выношу за ее особый паскудно-подсобный <?> вид. Не знаю, как иначе назвать ее, если не Паскудой Оболдуевной Непристойной» (Дневник С. П. Каблукова, запись 12 декабря 1915 года // РНБ. Ф. 322. Ед. хр. 38. Л. 65–66).

⁶⁶ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 10.

⁶⁷ «В ближайшем будущем выйдет в свет сборник со статьями о положении евреев в России. На издание сборника лицо, пожелавшее остаться неизвестным, пожертвовало 10 000 руб. Также намечена книга по истории еврейского быта с художествен-

ными иллюстрациями и сборник еврейских сказаний и легенд» (Доклад М. Горького // День. 1915. № 343. 13 дек. С. 3).

⁶⁸ Русское общество для изучения еврейской жизни // Речь. 1915. 13 декабря. № 343. С. 5.

⁶⁹ Точный день отъезда неизвестен; судя по записям Каблукова (см. выше), они намеревались уехать в воскресенье 13-го, но в ретроспективных благодарностях Сологубам неоднократно упоминается проведенная под их кровом неделя.

⁷⁰ РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 11; в указанной работе М. А. Никитиной упоминается о претензиях, сформулированных Сологубом в письменном виде и отправленных Познеру через Щеголева 17 января 1916 года; с этим документом, хранящимся в Отделе рукописей ИМЛИ, нам ознакомиться не удалось.

⁷¹ Горький М. Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 231, 232. Справедливости ради нужно добавить, что этим различия между списками не исчерпываются — в первом, например, есть Блок, а во втором вместо него — Поликсена Соловьева, что изрядно понижает степень выразительности этой детали.

⁷² Письмо 24 декабря 1915 года // Там же. С. 234.

⁷³ Переписка Л. Андреева и Е. Н. Чирикова. Вступительная статья, подготовка текста и комментарии В. Н. Чувакова // Леонид Андреев: материалы и исследования. М., 2000. С. 57.

⁷⁴ ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 20. Л. 5; фрагмент печатался в: Из писем, автобиографий и интервью Андреева. Публикация А. И. Наумовой // Литературное наследство. <Т. 72>. С. 553; самостоятельный сюжет о «Лукоморье» (со встречными обвинениями в адрес Горького, предъявленными Андреевым в том же письме) мы здесь не комментируем; среди голосовавших вызывает некоторое удивление позиция Калмыковой: объект дружелюбных отзывов Сологуба времен «Северного вестника» (см. его рецензии на книги «Каталог книжного склада А. М. Калмыковой. 4-е дополненное издание. 1895 г. Цена 10 к.» (Северный вестник. 1895. № 7. Отд. II. С. 70) и «Отчет о деятельности состоящего при Императорском вольном экономическом обществе Спб комитета грамотности 1893 г. СПб. 1894» (Северный вестник. 1894. № 12. Отд. II. С. 38–39; обе без подписи), близкая подруга и многолетний корреспондент П. С. Соловьевой, знакомая Ал. Н. Чеботаревской и т. д. никогда не была замечена в антисологубовских настроениях. Впрочем, он не держал на нее зла, меньше чем через год рекомендуя ее в качестве выездного лектора на педагогические темы; см. его письмо к жене от 16 ноября 1916 года: Сологуб Ф. Письма к Анастасии Чеботаревской. Вступительная статья, публикация и комментарии А. В. Лаврова // Неизданный Федор Сологуб. Под редакцией М. М. Павловой и А. В. Лаврова. М., 1997. С. 369. С другой стороны, человек, путешествующий по жизни с большевистской партийной кличкой «Тетка», по определению должен таить в себе некоторые психологические сюрпризы.

⁷⁵ Дневник Б. Н. Юрковского. Цит. по: Никитина М. А. М. Горький и Ф. Сологуб. С. 196; эта версия не находит себе документального подтверждения, поскольку Андреев, обещавший в цитированном выше письме Сологубу в знак протеста покинуть комитет («на ближайшем собрании я заявляю о своем выходе из членов Комитета — и Господь с ними, довольно!»), свое слово сдержал: «Несправедливость, которая была совершена по отношению к Ф. К. Сологубу и затем утверждена постановлением Комитета против моего голоса, — делает для меня несовместимым с совестью дальнейшее пребывание в Комитете» (письмо Познеру 13 февраля 1916 года // РГАЛИ. Ф. 2535. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 2–3).

⁷⁶ 8 января Чеботаревская писала Иванову: «Дорогие друзья, Ваш ласковый привет очень обрадовал нас среди обычных житейских забот и огорчений. Хотели только что В<а>м писать о том, что 18-го будем на 1½ день в М<оск>ву проездом в Курск, и это вечер 18-го Кам<ерный> Театр хочет использовать для лекции Ф. К. о Совр<ременном> Театре и хотелось бы очень, чтобы Вяч. Ив. принял участие в прениях» (РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 30. Л. 22 (дата по почтовому штемпелю)). Намерение это исполнилось; хроникер особо отметил выступление Иванова после сологубовской лекции: «Вяч. Иванов высказал свою мечту о соборности, которая сначала должна объединить разединенных людей, а потом уж создать и новый театр, где весь зрительный зал будет сочувствующим хором, а актеры — героями, вышедшими из среды соборного хора. — А пока, — обронил оратор холодящее слово, — мы все — глубокие обыватели, несмотря на все мечтания и порывы» (*Ж<илкин?> И. Федор Сологуб о театре // Русское слово. 1916. № 15. 20 января. С. 6*)

⁷⁷ Цит. по: *Никитина М. А. М. Горький и Ф. Сологуб. С. 136–197.*

⁷⁸ ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 549. Л. 18.

⁷⁹ РГБ. Ф. 109. Карт. 34. Ед. хр. 63. Л. 8 — 8 об. Чеботаревская собиралась передать его лично, но не смогла; в ночь с 21 на 22-е она приписала к имени адресата, начертанному Сологубом, почтовый адрес («Зубовский бульв. д. 25») и опустила конверт в почтовый ящик, сопроводив запиской: «Дорогой Вячеслав Иванович, не успела к Вам заехать! увы! засиделась у Бердяева! ФК шлет В<а>м это письмо, а я зайду 23-го наверное — буду обратно <так> Ваша Ан. Чеб.» (Там же. Л. 9); письмо со штемпелем «Москва-9» и проставленной почтой датой «22 января» было доставлено, вероятно, вечером того же дня.

⁸⁰ В ответ на письмо-запрос Короленко 8 февраля 1916 года он не считал нужным скрывать свои чувства: «Для Сологуба борьба с антисемитизмом была просто одной из его поз <...>. Его участие в организации общества и предполагавшийся выбор его в комитет, действительно, придавали обществу нечто неприятное. Но во время организации общества он успел поссориться с Горьким, как-то ущемившим его самолюбие, в комитет его не выбрали и теперь по этому поводу предстоит третейский суд, в котором и мне, и Горнфельду придется принимать участие в качестве судей» (цит. по: *Горький М. Полное собрание сочинений. Т. 11. С. 488; комментарий М. Г. Петровой.*)

⁸¹ Цит. по: *Кельнер В. Е. Издательская деятельность С. В. Познера и некоторые вопросы общественной жизни в России в начале XX в. С. 174.*

⁸² Сологуб предложил подкрепить свои показания свидетельствами Л. Н. Андреева, В. Е. <Беклемишевой>-Копельман, Н. А. Тэффи, З. И. Гржебина, Вяч. Иванова; Познер указал со своей стороны Горького, А. М. Калмыкову и тех же Андреева и Гржебина (РГАЛИ. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 659. Л. 11, 13); отдельно Сологуб упомянул, что ввиду его отъезда из города «все дополнительные объяснения» даст А. Н. Чеботаревская, «в точности знающая все эти обстоятельства» (Там же. Л. 14).

⁸³ На 29 февраля был назначен доклад Иванова «Байронизм как событие в жизни русского духа» в Петроградском «Обществе английского флага» (см. объявления: *День. 1916. № 57. 28 февраля. С. 2; Речь. 1916. № 57. 28 февраля. С. 4; Голос. 1916. 28 февраля. № 116. С. 4*); за неделю до этого Чеботаревская писала ему: «Дорогой Вячеслав Иванович, мы Вас ждем — 29 кажется В<а>ш<е> выступление, а 2го мы устраиваем вечер Метерлинка в небольшом помещении довольно интимно и безумно хотелось Вашего участия — хотя бы несколько слов о Метерлинке — черкните, на какую тему» (письмо 21 февраля 1916 // РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 30. Л. 34

(дата по почтовому штемпелю). Приезд Иванова, по всей вероятности, не состоялся; 8 марта 1916 года В. Пяст писал М. М. Замятниной: «Я ожидал все время Вашего и Вячеслава Ивановича приезда в северную столицу, был на той лекции об „Английской литературе и России“, где был обещан его доклад <...>. Знаете ли, что доклад Вяч. Ив. читал Каратыгин, что было довольно пикантно? Но публика не наполняла зал городской думы, и собрание не было ярким» (РГБ. Ф. 109. Карт. 33. Ед. хр. 35. Л. 1–1 об.). О причинах неучастия В. И. можно лишь догадываться: в один из первых дней марта его дочери делали операцию и, вероятно, это задержало его в Москве. Вопросы о здоровье Л. В. начинаются с 7-го числа: «Я очень беспокоюсь, как здоровье Лиды, как сошла операция и какое теперь ее положение» (письмо М. И. Балтрушайтис к М. М. Замятниной 7 марта 1916 // РГБ. Ф. 109. Карт. 12. Ед. хр. 1. Л. 2); «Как здоровье Лидии? Очень надеюсь, что она оправилась. Напишите ждате ли ее» (письмо В. В. Вульф к М. М. Замятниной 7 марта 1916 (в рукописи ошибочно: 6 февраля) // РГБ. Ф. 109. Карт. 15. Ед. хр. 31. Л. 2) и т. д.). Упомянутый вечер Метерлинка, был, вероятно, перенесен на неделю позже: 7 марта 1916 года он прошел в Зале инженеров путей сообщения под эгидой художественного общества «Искусство для всех»; Сологуб читал на нем доклад «Проблема любви и смерти в произведениях Метерлинка» (см. программу: ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 6. Ед. хр. 56); Иванов в нем участия не принимал).

⁸⁴ РГБ. Ф. 109. Карт. 25. Ед. хр. 15. Л. 7–8. Здесь возникает некоторая логическая дисгармония. Конверт с письмом был опущен в Царском Селе 2 марта, а попал в Москву 4-го. Иванов в свидетельских показаниях, приведенных выше, упоминает, что у него в руках письмо оказалось только 5-го марта. Важно не забывать, что вторая половина этого дня для работы была почти потеряна: Иванов выступал с большой приветственной речью на вечере поэзии Брюсова (см. Переписка «Брюсова» с Вячеславом Ивановым. 1903–1923. Предисловие и публикация С. С. Гречишкина, Н. В. Котрелёва и А. В. Лаврова // Литературное наследство. «Т. 85». Валерий Брюсов. М., 1976. С. 539–540). Учитывая, что суд был назначен на 6-е число, Иванов никаким образом не успевал представить на него свои показания, следовательно, работа над ними была лишена всякого практического смысла — в то же время из печатаемого ниже письма к Щеголеву (см. примеч. 90) прямо следует, что текст был перебелен и вынесен на рассмотрение суда. Упал ли он на перенос даты суда или на то, что рассмотрение затянется? Рассчитывал ли изначально поспеть лишь ко второй сессии? Существовал ли некий гипотетический и скорый на подъем поверенный, отправившийся из Москвы в Петербург ночным поездом, чтобы огласить документ на заседании? Рассматривался ли вариант собственного блиц-визита? Пока этот вопрос остается открытым.

⁸⁵ Письмо Е. П. Пешковой и М. А. Пешкову 5 марта 1916 года // *Горький М.* Полное собрание сочинений. Письма в двадцати четырех томах. Т. 12. Письма. Январь 1916 — май 1919. М., 2006. С. 28.

⁸⁶ Письмо 7 марта 1916 года (Леонид Андреев в эпоху империалистической войны. Предисловие и примечания Н. Любович // Залп. 1933. № 1. С. 72). *Русско-богатенькие* — Мякотин и Горнфельд, сотрудники журнала «Русское богатство».

⁸⁷ *Струве П.* Заметки писателя. 14 (25). Памяти Ф. К. Сологуба // Россия (Париж). 10 декабря 1927. № 16. С. 3. Очевидные ошибки памяти мемуариста (вроде отнесения суда к началу 1917, а не 1916 года) мы здесь не оговариваем.

⁸⁸ Комментаторы писем Горького считают, что заседание продолжалось четыре дня, с 6 по 9 марта (*Горький М.* Полное собрание сочинений. Т. 12. С. 304); нам пред-

ставляется более верным предположение, что 9-го числа участники собрались во второй раз в уменьшенном составе (без Струве и Андреева) и по итогам дискуссии приняли решение, результативная часть которого позже попала в газеты: «В виду невозможности для некоторых членов третейского суда между Ф. К. Сологубом и С. В. Познером продолжать посещение заседаний в ближайшее время,

в виду нежелания Ф. К. Сологуба откладывать дела до осени,

в виду неявки на заседание двух судей, приглашенных на третейский суд истцом,

в виду того, что оставшиеся считают свой состав недостаточным, наличный состав третейского суда постановил: рассмотрение дела в настоящем составе прекратить и самый суд считать несостоявшимся.

9 апреля 1916 г. Подлинное подписали: Н. Кареев,
А. Горнфельд, Р. Иванов-Разумник, П. Милюков, В. Мякотин»
(Разъяснение г. Познера // Утро России. 1916. 22 апреля.
№ 112. С. 2).

⁸⁹ Письмо 15 марта 1916 года // РГБ. Ф. 109. Карт. 36. Ед. хр. 30. Л. 35 об. (дата по почтовому штемпелю; из-за несовершенных письменных приборов текст почти нечитаем, отчего часть его реконструируется предположительно). Исполняя эту просьбу, Иванов отправил Щеголеву следующий текст:

«Дорогой Павел Елисеевич,

Я уже писал Н. И. Карееву, в дополнение к первоначальному показанию, подробности, относящиеся к переговорам 9 декабря, поскольку я случайно сделался невольным свидетелем происшедшего. Думаю, что полезно будет подчеркнуть Вам отрицательную сторону этого дополнения: а именно, о выходе Ф. К. Сологуба из Общества я ничего не слышал в связи этих телефонных переговоров. Он ставил какие-то условия и сроки для их выполнения, т. е. говорил, что будет ждать до какого-то срока, прежде чем принять какое-то решение.

Крепко жму Вашу руку

Сердечно Вам преданный Вяч. Иванов»

(ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 886–887. Л. 2–2 об.)

Текст предоставлен Г. В. Обатниным, которому, пользуясь случаем, выражаем глубокую благодарность; письмо, очевидно, написано около 20-го марта 1916-го года; возможно, о факте его сочинения и отправки сообщалось в «незначительном по содержанию» письме Иванова к Сологубу от 25 марта 1916 года, опущенном при публикации основного корпуса эпистолярной в 1976 году (см.: *Иванов В.* Письма к Ф. Сологубу и Ан. Н. Чеботаревской. Публикация А. В. Лаврова // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. Л., 1976. С. 140).

⁹⁰ Незначительно различающиеся варианты этого письма были напечатаны в газетах «День» (1916. 18 апреля. № 105. С. 3) и «Биржевые ведомости» (1916. 18 апреля. № 15505. Утр. вып. С. 6); в «Утре России» (1916. № 110. 20 апреля. С. 6), где оно вышло под заглавием «Статья Н. А. Бердяева и „цензура“», текст сопровождался редакционным предисловием: «В „обществе изучения еврейской жизни“ произошел типичный для наших нравов инцидент, закончившийся недоведенным до конца третейским судом. Суть этого инцидента хорошо охарактеризована в следующем „письме в редакцию“ г. Ф. Сологуба». Обнародование этой истории вызвало массовое глумление антисемитски настроенной части общества, ср.:

«Наконец-то давление партийной цензуры прищемило наших распрогрессивных писателей!

Федор Сологуб (Тетерников) закричал „караул“ и потребовал „городового“. Случай исторический. В сборнике об евреях, под названием *Щит*, г. Бердяев написал *что-то* об евреях. Уж, наверное, не очень черносотенное, ибо г. Бердяев и Сологуб — прогрессисты в квадрате и в кубе. Два редактора сборника, Л. Андреев и Ф. Сологуб, статью Бердяева „приняли“, но секретарь „Общества изучения еврейской жизни“ Познер эту же статью „забраковал“. И объявил, что она „не будет напечатана“.

Сологуб и Андреев спросили:

— По каким мотивам?

Познер молчал. Тогда Сологуб сказал:

— Впредь до выяснения этого инцидента и его ликвидации я не могу посещать собрания Общества!

Познер отвечал:

— Этово, значит, что ви завсем переменили своего убеждений? Гут, зер гут!

И вычеркнул Сологуба *из числа членов Общества* (*Неизвестный*. Миниатюры // Московские ведомости. 1916. 21 апреля. № 91. С. 4).

⁹¹ См., например: Разъяснение г. Познера // Утро России. 1916. 22 апреля. № 112. С. 2. В этой публикации письмо Познера сопровождалось достаточно резким замечанием редакции, родственно связанной с просологубовской фракцией (фактический редактор «Утра России», А. Алексеевский, был женат на сестре Леонида Андреева): «В каком смысле разрешится этот вопрос — в сущности безразлично, но жаль, что третейский литературный суд не состоялся. Вероятно, он не побоялся бы вынести осуждение цензорским замашкам г. Горького, принимающим оскорбительный характер для репутации почтенных писателей».

⁹² См., в частности, в письме Познера Сологубу от 7 мая 1916 года: «Второе издание „Щита“ также все распродано. Приступаем к печатанию третьего» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 549. Л. 22).

⁹³ Подробности и контекст см.: *Тименчик Р., Копельман З.* Вячеслав Иванов и поэзия Х. Н. Бялика. С. 102–118.

⁹⁴ РГБ. Ф. 109. Карт. 10. Ед. хр. 24. Л. 1–2 (черновик). В хранящемся там же варианте фрагмент, относящийся к Горькому, звучит еще более резко: «Ведь после происшедших несогласий возможно предположить мало ли еще что: напр., уход или изгнание Сологуба, или новое и непредвиденное полицейское мероприятие Максима Горького против кого-нибудь из литературных товарищей, который показался бы ему опасно независимым в своем образе мыслей» (Там же. Л. 3–4). Надо ли говорить, что отзыв Иванова о Горьком приобретает должностное значение лишь в контексте их многолетних отношений, подробно исследованных высокочтимым юбиляром (см. прежде всего: *Котрелёв Н.* Из переписки Вяч. Иванова с Максимом Горьким: К истории журнала «Беседа» // *Europa Orientalis*. 1995. XIV. 2. Р. 183–208; *Котрелёв Н. В.* Из переписки Вяч. Иванова с Максимом Горьким 2. Иванов в гостях у Горького, Сорренто, 1925 г. // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1. СПб., 2010. С. 562–609).

Е. А. Тахо-Годи

**Вяч. Иванов и его бакинские корреспонденты —
А. М. Евлахов и С. П. Семенов (Аргашев)¹**

«Вячеслав Иванов и Баку, кто из нас не пожимал плечами при таком сопоставлении», — писал Павел Муратов в очерке «Вячеслав Иванов в Риме»². Конечно, в Вечном городе «скворещниц вольных граждан» чувствовал себя гораздо уютней, но умел он, по словам Ф. Ф. Зелинский, «просвещать Атропотену в духе эллинизма и держать факел Диониса среди пылающих фонтанов Бакинской нефти»³. Годы профессорства Иванова в Бакинском государственном университете стали предметом синхронных дневниковых записей М. С. Альтмана⁴, позднейших воспоминаний как дочери поэта⁵, так и его бывших студентов, например В. А. Мануйлова⁶. С научных позиций разработка этой темы впервые была предпринята Н. В. Котрелёвым⁷. Наша публикация — маленький шаг в ее дальнейшем изучении.

Публикация состоит из двух разделов. В первый входят два письма Иванова 1923 г. к историку и теоретику литературы Александру Михайловичу Евлахову (1880, Одесса — 1966, Ленинград) и письмо Евлахова к Иванову от 22 марта 1925 г.⁸ Неизвестно, встречались ли они когда-нибудь друг с другом, но в письмах Иванова очевидна личная заинтересованность в том, чтобы Евлахов согласился занять профессорское место в Бакинском университете. Думается, одна из причин, побуждавшая Иванова так усиленно приглашать Евлахова, заключалась в его отношении к «Исторической поэтике» Веселовского и формальному методу. Судя по сохранившимся конспектам, Иванов-лектор активно использовал идеи Веселовского⁹, применяя, как он писал В. М. Жирмунскому, в своем семинарии по поэтике

исключительно формальный метод¹⁰. Вот почему Евлахов как ученик Веселовского и как ученый, чей главный тезис — «история поэзии есть история форм» — вполне отвечал исканиям формалистов¹¹, мог представляться ему оптимальной фигурой. Это предположение косвенно подтверждает и опубликованный Н. В. Котрелёвым отзыв Иванова на главный труд Евлахова «Введение в философию художественного творчества»¹².

Письма Иванова частично цитировались нами в работе о его взаимоотношениях с Евлаховым¹³. Полная публикация дает возможность исправить вкравшиеся при этом опечатки и редакторские поправки, а главное — проследить диалог корреспондентов. Судя по письму Евлахова, он воспользовался данной Ивановым рекомендацией, начав в 1925 г. преподавать в Бакинском университете, в том числе, как и советовал ему Иванов, итальянский язык. Возможно, Иванов не оставил безответным это мартовское письмо Евлахова, так как в РАИ сохранился еще и посланный спустя несколько месяцев, в июне 1925 г., оттиск из бакинского «Журнала теоретической и практической медицины» (1925. Т. 1. № 3–4) статьи Евлахова «Психология творчества как биологическая проблема» со следующей дарственной надписью: «Глубокоуважаемому и дорогому Вячеславу Ивановичу Иванову — автор. Баку 1925/VI».

Во втором разделе публикуется письмо к Иванову Сергея Петровича Семенова (псевдоним Сергей Аргашев; 1902, Владикавказ — 1985, Ленинград), добавляющее ряд деталей к истории взаимоотношений Иванова с поэтессой В. А. Меркурьевой.

В биографии «Сергей Аргашев: Жизнь и творчество», написанной в 1947 г. к 30-летию литературной деятельности С. П. Семенова для семейного рукописного журнала «Маяк»¹⁴, есть упоминания и о лицах, входивших в ивановский круг (В. А. Мануйлов, К. М. Колобова), и о знакомстве с самим Ивановым. Однако указанные при этом даты — 1924–1925 гг. — ставят под сомнение достоверность этого свидетельства. Когда в конце 1990-х годов я писала статью «„Поэт под инженерным кэпи...“ (О Сергее Аргашеве, Валерии Брюсове, Вере Меркурьевой и некоторых других, а также о пользе семейных преданий и архивов)»¹⁵, о существовании в РАИ посланного в мае 1927 г. письма Семенова к Иванову еще не было известно¹⁶. Это письмо устраняет сомнения и проясняет смысл текста 1947 г.: как очевидно, речь шла не о периоде встреч, а о времени, когда Иванов числился на университетской кафедре. Такое документальное подтверждение текста 1947 г. заставляет, кстати, внимательнее отнестись к упоминаниям о других встречах С. Семенова в Баку — с Маяковским и Есениным.

Письмо 1927 г. позволяет уточнить примечания к адресованному Семенову-Аргашеву стихотворению Меркурьевой «Легкою предстанет перепра-

ва...»¹⁷. В комментариях говорится, что С. Семенов был единственным из авторов сборника «Золотая Зурна» (Владикавказ, 1926), в котором участвовали Меркурьева, А. Кочетков, Л. Беридзе, М. Слободской, «не имевшим отношения к кружку „Вертеп“»¹⁸, возглавляемому Меркурьевой. Однако С. Семенов посылает Иванову сборник «Золотая Зурна» не от себя лично, но именно от кружка Меркурьевой, с которым, как он пишет, установил общение по данному ему в мае 1924 г. совету Иванова.

Учась в бакинском Политехническом институте, Сергей Семенов мечтал о поприще поэта. Его первый и единственный поэтический сборник под заглавием «Парида» (М., 1924) вышел с предисловием В. Я. Брюсова и под эгидой Всесоюзной научной ассоциации востоковедения (ВНАВ), вероятно благодаря поддержке тогдашнего наркома просвещения Дагестана Алибека Тахо-Годи, женатого на его старшей сестре Нине Семеновой. Судя по упоминанию имени Тахо-Годи в стихах Меркурьевой (указано М. Л. Гаспаровым), он по мере сил способствовал изданию и сборника «Золотая Зурна»¹⁹.

В римской библиотеке Иванова сохранились посланные одновременно с письмом и упомянутые в нем издания: «Парида» с дарственной надписью «Многоуважаемому Вячеславу Ивановичу — в память бакинских бесед. Сергей Аргашев. Баку 2<1>.V.<19>27» и «Золотая Зурна» с посвящением: «Многоуважаемому Вячеславу Ивановичу от авторов».

При внешней разнохарактерности и разномтемности публикуемых писем, оба раздела объединяются не только именем Вяч. Иванова и очевидной географической доминантой — Баку. Есть и еще одна, эксплицитно никак не прослеживаемая по письмам связь: в годы учебы во владикавказской классической гимназии Евлахов жил в пансионе, организованном родителями Сергея Семенова²⁰. В тексте «Сергей Аргашев: Жизнь и творчество» говорится, что Евлахов выступал на творческом вечере Аргашева в ленинградском Доме ученых 9 января 1946 г. (оба перебрались в Ленинград в 1930-е годы), и приводится фрагмент его речи. Евлахов дружил со старшим братом С. Семенова — историком русской литературы, лермонтоведом, профессором Леонидом Петровичем Семеновым (1886–1959). В 1926 г. Леонид Семенов, как знаток русской поэзии, сам писавший всю жизнь стихи, но никогда их не публиковавший, по мере сил содействовал выходу «Золотой Зурны»²¹. В это же время Евлахов надеялся с его помощью издать свой второй поэтический сборник, правда, из этой идеи так ничего и не вышло. Судьба также связала жизнь Леонида Семенова с Баку — вынужденный из-за болезни прервать учебу в Харьковском университете, он в 1926 г. сдал государственные экзамены по словесному отделению в Государственном Азербайджанском университете. Вяч. Иванова к тому времени там уже не было два года, но с его любимым учеником В. А. Мануйловым, одним из преподавателей которого

теперь стал Евлахов²², связи сохранились надолго. Именно Мануйлов самоотверженно взял на себя труд воплотить план издания «Лермонтовской энциклопедии», задуманный и завещанный ему «незабвенным <...> другом и учителем Леонидом Петровичем Семеновым»²³.

В свое время Ю. Тынянов говорил о «единстве и тесноте стихового ряда», порождающего и проявляющего новые смыслы. С неменьшей очевидностью предстает перед нами единство и теснота рядов культурной жизни одной эпохи — тем более такой недолгой, как эпоха пребывания Вячеслава Иванова в Баку.

¹ Приношу благодарность проф. А. Б. Шишкину за любезное разрешение на публикацию документов из Римского Архива Иванова (РАИ).

² *Муратов П.* Вячеслав Иванов в Риме // *Иванова Л. В.* Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 369.

³ Слова Ф. Ф. Зелинского из письма Иванову от 9 октября 1924 г., см.: *Тахо-Годи Е. А.* «Две судьбы недаром связует видимая нить...» (письма Ф. Ф. Зелинского к Вяч. Иванову) // *Тахо-Годи Е. А.* Великие и безвестные: Очерки по русской литературе и культуре XIX–XX вв. СПб., 2008. С. 303.

⁴ *Альтман М. С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995.

⁵ *Иванова Л. В.* Воспоминания. Книга об отце. М., 1992.

⁶ *Мануйлов В. А.* Записки счастливого человека: Воспоминания. Автобиографическая проза. Из неопубликованных стихов. СПб., 1999.

⁷ *Котрелёв Н. В.* Вяч. Иванов — профессор Бакинского университета // Уч. зап. Тартуского Гос. ун-та. Вып. 209. Тарту, 1968. С. 326–339.

⁸ В составленной Л. Н. Ивановой описи РАИ письмо Евлахова числится под номером 58, см.: *Иванова Л. Н.* Римский архив Вячеслава Иванова. Часть 2 // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1998–1999 год. СПб., 2003. С. 452.

⁹ *Лаппо-Данилевский К. Ю.* Труды А. Н. Веселовского и Бакинские лекции Вяч. Иванова (в печати); предварительная публикация в Интернете: <http://orozaj.ru/ivanov/lappo-danilevsky.html>

¹⁰ Письмо Иванова к Жирмунскому от 16 июня 1924 г. см.: *Альтман М. С.* Указ. соч. С. 285.

¹¹ См.: *Тахо-Годи Е. А.* Судьба ученика (А. М. Евлахов и А. Н. Веселовский) // Филологические науки. 2001. № 3. С. 39–46; *Тахо-Годи Е. А.* К истории споров о соотношении теоретического и исторического литературоведения (сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы изучения и преподавания русской литературы: Взгляд из России — взгляд из Зарубежья», в печати).

¹² *Котрелёв Н. В.* Указ. соч. С. 329–330.

¹³ *Тахо-Годи Е. А.* Несостоявшееся сотрудничество (Вяч. Иванов и А. М. Евлахов) // Вяч. Иванов. Архивные материалы и исследования. М, 1999. С. 462–465. См. также: *Тахо-Годи Е. А.* А. М. Евлахов // Русские писатели 1800–1917: Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 209–210; *Тахо-Годи Е. А.* «Дантовская тема» в работах А. М. Евлахова // *Тахо-Годи Е. А.* Великие и безвестные. С. 393–424.

¹⁴ Хранится в моем личном архиве.

¹⁵ Впервые статья опубликована в сб.: Контекст: 2003. Литературно-теоретические исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 203–224. С рядом уточнений вошла в кн.: *Тахо-Годи Е. А.* Великие и безвестные. С. 625–652.

¹⁶ В составленной Л. Н. Ивановой описи РАИ (указ. соч.) письмо Аргашева (Семенова) числится под номером 9.

¹⁷ Меркурьева В. А. Тщета. Собрание стихотворений. М., 2007. С. 459.

¹⁸ Там же. С. 585.

¹⁹ См.: Тахо-Годи Е. А. Великие и безвестные. С. 649–650.

²⁰ Об отце С. П. Семенова см.: Тахо-Годи Е. А. Семенов П. Х. // Русские писатели: 1800–1917: Биографический словарь. Т. 5. С. 560–561.

²¹ Подробнее об его участии см.: Тахо-Годи Е. А. Великие и безвестные. С. 648–651.

²² См. воспоминания внучки Евлахова, литературоведа Ирэны Подольской о разговоре с Мануйловым о Евлахове «Без вести пропавшие» — <http://www.proza.ru/2005/03/22-296>, <http://www.proza.ru/2005/03/22-302>

²³ См.: Л. П. Семенов — историк и критик русской литературы. Орджоникидзе, 1986. С. 20.

И. Переписка с А. М. Евлаховым

1*

Баку 7/VII [1923]

Глубокоуважаемый Александр Михайлович,

Разрешите мне, как представителю ближайшей кафедры (я профессор классической филологии¹) в отсутствие коллеги, и в частности декана², по случаю предоставляющейся оказией и перспективой Вашего июльского свидания с проф. [Селихановичем³], выразить Вам, как от своего лица, так и от лица факультета, и даже всего Университета, Вас избравшего⁴, наше горячее желание видеть Вас в нашей среде. Я лично уже писал Вам однажды об этом вместе с деканом, но письмо наше до Вас не дошло. Вы нам очень нужны и очень желанны, здесь Вы встретите людей, Вас глубоко уважающих и высоко оценивающих: решайтесь же в пользу Баку, а не Минска⁵, а медицинские Ваши занятия⁶ Вы можете самым удобным и, я уверен, плодотворным образом продолжать у нас; помещение же для Вас будет [наято] и издержки по перевозу обстановки, книг и прочего возмещены.

С искренним уважением

Вячеслав Иванов

¹ Вяч. Иванов был избран профессором по кафедре классической филологии историко-филологического факультета Бакинского государственного университета в ноябре 1920 г. «В Наркомпросе Вячеслава направили сразу в университет, где его приняли с распростертыми объятиями. Ему поручили кафедру классической филологии. Он читал курсы по греческой и римской литературе и античной религии» (см.: Иванова Л. В. Воспоминания. Книга об отце. М., 1992, С. 92).

* ИРЛИ. Ф. 680. Ед. хр. 26. Л. 1–2об. Все конъектуры взяты в угловые скобки. В квадратные скобки заключены позднейшие дополнения и исправления, вписанные рукой Евлахова.

² В 1923 г. деканом историко-филологического факультета был Леонид Александрович Ишков (1885–1927), профессор кафедры всеобщей истории. В 1927 г в Риме Вяч. Иванов получил от жены Ишкова извещение о смерти ее мужа в марте 1927 г. и вырезку из местной бакинской газеты с некрологом, где подробно излагалась биография Л. А. Ишкова, его педагогическая и научная деятельность (хранится в РАИ).

³ Селиханович Александр Брониславович (1880–1968) — педагог, историк педагогики, профессор (1920). Окончил историко-филологический факультет Киевского университета (1905), специализировался по психологии и философии под руководством Г. И. Челпанова. С 1906 преподавал в гимназиях Киева, где у него учились К. Г. Паустовский (изобразил в повести «Далёкие годы») и М. А. Булгаков; его младший брат, Иосиф Брониславович, один из персонажей книги Н. П. Анциферова «Издум о былом». С 1920 по 1926 — преподавал в Азербайджанском университете; один из его основателей. В этот период подготовил пособия «Введение в философию» и «Лекции по психологии» (1927). Фигурирует в воспоминаниях Л. В. Ивановой (Воспоминания. Книга об отце. С. 107). Подробнее о нем см.: *Макаев В. В. Селиханович А. Б.* // Российская педагогическая энциклопедия. Т. 2. М., 1999.

⁴ Избрание Евлахова состоялось в июне 1923 г., в том числе и на основании рекомендательного отзыва на евлаховский основной труд «Введение в философию художественного творчества», данного Вяч. Ивановым и датированного 14 июня 1923 г. Текст отзыва впервые опубликован Н. В. Котрелёвым (Указ. соч.).

⁵ Речь идет о приглашении Евлахова на работу в Минск. С конца 1923 г. и до конца 1924 г. Евлахов преподавал в Минском университете.

⁶ Отстраненный в 1920 г. за некоммунистические воззрения от должности ректора Ростовского университета, Евлахов с февраля 1921 г. стал студентом-медиком в Ростове-на-Дону, продолжил медицинское образование в Бакинском университете, став психиатром. С 1930 — профессор психиатрии в государственном Азербайджанском университете (см.: БСЭ. Т. 23. М., 1931), с 1944 — профессор судебной психиатрии в Ленинграде.

2

Баку. Гос. Университет
23 августа 1923.

Глубокоуважаемый

Александр Михайлович,

Все условия Ваши совершенно исполнимы. Итальянская литература живительна; я сам, в течение 2 семестров, вел семинарий по итальянскому языку; после беглого грамматического обзора современной живой речи перешли мы к разбору отрывков из *Fioretti*¹, потом из *Vita Nuova*², прочли потом несколько отдельных стихотворений разных поэтов и, наконец, разучили сполна 5^ю песнь *Inferno*³, участников же этих занятий было десятка два. Переезд Ваш с семьею и перевоз книг и вещей будет оплачен. Кроме университетских лекций по своей кафедре, а может быть и по кафедре русской литературы, Вы будете иметь ряд других, при желании Вашем.

Что до вопроса об издании Ваших работ, то именно желание мое окончательно выяснить и, если возможно, оформить намерение издательского Отдела Наркомпроса — и было причиной некоторой замедленности этого моего ответа. Издательский отдел — самостоятельно действующее учреждение при НКП⁴, который сводит свой годовой баланс. Окончательного оформления его обещаний мне не удалось добиться <ввиду — ?> мертвого сезона и замершей жизни издательской комиссии, но такое оформление было бы все же весьма условно, впоследствии договорного характера отношений между авторами и Отделом. Зато тов<арищ> Зенотлы, заведующий Отделом, все время неуклонно проявляет самое сочувственное отношение к Вашему предложению, тем более, что обращено оно было к нему в присутствии Наркома Кулиева⁵, который меня поддержал. Определенный ответ Вам заведующего Изд<ательского> отдела таков: как только, в конце ноября, Отдел закончит спешное печатание серии учебников для средней школы на тюркском языке, он охотно примется за печатание Ваших книг, если таковые (в чем я его уверил) будут покупаться более или менее широким кругом интеллигенции. Как видите, Отдел рассчитывает на сбыт столько же, сколько любое частное издательство. Печатаются, по правилу, кроме Уч<еных> Записок Университета, только университетские курсы. Монографии и исследования специалистов печатать не полагается, хотя исключения бывают: к таковым принадлежит моя книга в 300 страниц «Дионис и прадионисийство», обошедшаяся НКП-су дорого⁶.

Но книги, рассчитанные не на специалистов, а на более широкий сбыт (таковы, если не ошибаюсь, Ваши о Шницлере⁷ и Ибсене⁸) Отделу улыбаются. Итак, повторяю, полное и определенной уверение в том, что Ваши рукописи будут под станком с декабря<,> было мне дано и не однажды подтверждено.

Сумм по смете на приглашение профессоров с целью предварительного осведомления и ориентирования в Баку — нет ни в Унив<ерситете>, ни в НКП, и выплатить Вам денег на проезд в Баку без гарантии Вашей о вступлении в нашу профессию, к сожалению, отказано мне как университетским правлением, так и главпрообр. Но, думал бы я, самая разведка вовсе не необходима. Целесообразнее всего было бы приехать к нам окончательно, но, быть может, сначала — до приискания окончательного помещения — самому, без семьи и обстановки. Таков совет проф. Селихановича, который хотел увидаться с Вами в Пятигорске⁹. С квартирами постоянная трудность, но трудность, всегда благополучно разрешаемая. Остается опять и опять горячо убеждать Вас решить сомнения Ваши в нашу пользу, память<я,> что добрая академ<ическая> традиция хранится единственно

у нас, пока Бог грехам терпит, — и что все мы были бы *безумно* огорчены Вашим отказом. Юг лучше белорусских болот. Искренно преданный Вам
Вячеслав Иванов

ИРЛИ. Ф. 680. Ед. хр. 26. Л. 3–4.

¹ Речь идет о книге «Цветочки святого Франциска» («Fioretti di san Francesco»), рассказывающего о деяниях св. Франциска Ассизского (1181/82–1226).

² Речь идет о поэме Данте Алигьери «Новая жизнь» (Vita Nuova, 1292). Об отношении Вяч. Иванова к Данте см.: Davidson P. The poetic imagination of Vyacheslav Ivanov. A Russian Symbolist's Perception of Dante. Cambridge, 1989. Судя по письму В. М. Зуммера к Вяч. Иванову (февраль 1925 г.), в числе оставшихся в Баку книг поэта было два издания «Новой жизни»: на итальянском — Dante. La Vita Nuova. Fir., 1854 и на немецком языке — Dante. Das neue Leben. Halle, s.a. (см.: ПАИ. Оп. 5. К. 4. Ед. хр. 18. Л. 8).

³ Речь идет о первой части «Божественной Комедии» Данте Алигьери «Ад» (Inferno), в 5-й песни которой изображена судьба Франчески да Римини. Живя в Баку Вяч. Иванов не оставлял идею перевести «Божественную Комедию». О бакинских лекциях поэта о Данте см.: *Иванов Вяч.* «Из черновых записей о Данте» / Вст. заметка и подготовка текста А. Б. Шишкина // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. М., 1996. С. 7–13. Судя по письму В. М. Зуммера к Вяч. Иванову (февраль 1925 г.), в числе оставшихся в Баку книг поэта было два издания «Божественной Комедии»: на итальянском языке — Dante. La Commedia. Fir., 1854 и на немецком языке — Dante. Göttliche Comödie. Leipz, s.a. (см.: ПАИ. Оп. 5. К. 4. Ед. хр. 18. Л. 8). Там же осталась и два тома «Enciclopedia Dantesca» (1896–1899) Джованни Скартаццини.

⁴ НКП — Народный Комиссариат Просвещения.

⁵ Мустафа Кулиев (1893–1938) — просветитель, литературовед, партийный и государственный деятель, в 1922–1928 гг. нарком просвещения Азербайджана (АзССР). В 1938 г. репрессирован.

⁶ Речь идет о защищенной в 1921 г. диссертации Вяч. Иванова «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923). Деньги на издание лекций выделялись с самого основания университета. Еще в ноябре 1919 г. была создана издательская комиссия под председательством профессора Н. А. Дубровского. К началу 1920 г. «на издание лекций Селихановича и Зимина был внесен аванс в 5 тыс. рублей», а весной 1920 г. начал печататься первый номер «Известий Бакинского университета» см.: *Назарли А.* Народное образование в Азербайджанской республике (1918–1920 гг.). Баку, 2008. С. 161–171.

⁷ Книга Евлахова об австрийском писателе А. Шницлере (1862–1931) была напечатана в 4–5 и 6–7 томах «Известий Азербайджанского государственного университета им. В. И. Ленина» за 1926 г.; существует и ее отдельный оттиск: *Евлахов А.* Артур Шницлер. Баку, 1926.

⁸ Книга о Г. Ибсене так и не была опубликована. В письме от 10 мая 1936 г. к Л. П. Семенову Евлахов писал: «Ведь у меня до сих пор и литературных работ не напечатанных — немало: целая книга об Ибсене, статьи о Верлене, Данте, Л. Андрееве и пр.» (ЦГА Северной Осетии. Ф. Р. 781. Оп. 1. № 108. Л. 28).

⁹ Родители Евлахова переехали в середине 1880-х годов из Одессы в Пятигорск. Возможно, что и в 1920-е гг. Евлахов приезжал в Пятигорск к родным.

Глубокоуважаемый и дорогой Вячеслав Иванович!

Вы, конечно, знаете о моем переезде сюда. Собственно, Вы-то, главным образом, и были виновником этого необдуманного моего шага. Говорю «необдуманного» потому что, после «белорусских болот», о которых — помните? — Вы говорили с таким пренебрежением, жить здесь в материальном отношении почти невозможно. За *maximum* часов, какие можно иметь в У<ниверсите>те (12), я получаю 150 р., и их мне с семьей хватает не более, как на 2 недели. Впрочем, более всего виноват, разумеется, я сам: я ведь был здесь в октябре «на разведках», — и на что понадеялся — не знаю. В остальном своим переездом я доволен.

Слышал, что Вы хотите вернуться к осени?¹ Как это было бы хорошо! Приезжайте: вместе нам работать будет веселее.

Сейчас пишу Вам вот по какому поводу. На одной из лекций по итальянскому языку я указал на происхождение слова «carnevale»² из «carne» и «vale». Одна из бывших Ваших слушательниц вспомнила, что Вы объясняли иначе: из «car» и «navale». Не входя в обсуждение вопроса о <(возможности) — зачерк.> смысле этого сочетания и даже вопроса о возможности в последнем сокращенной формы car из carrum (resp³. carrus) — мы, ведь, не знаем другого такого сочетания этой сокращенной формы с отпадением окончания (аросоре⁴), — я высказал свое мнение по поводу *фонетической* сомнительности Вашего объяснения ввиду того, что 1) сохранилась и форма carnovalе, в которой а>о — было бы необъяснимо, тогда как е>о — обычный переход (mimimare>menemare>menomare, как minimus > menemo > menomo, demane > domani и т. д.<)>, 2) наряду с mots savants «carnevale» и «carnovale», мы имеем народные формы — «carnesciale» и «carnasciale», совершенно очевидно, дублетные — по типу ассимиляции протопического е с последующим а: denaro > danaro, meraviglia > maraviglia и пр., т. е. мы имеем здесь е > а, а не обратно — а > е, как должно было бы быть, если бы словообразование car-navale было первичным. Я, впрочем, оговорился, что базирую свое мнение исключительно на фонетических данных и что, не имея Körting'a⁵, не могу окончательно настаивать на своем толковании, при чем сказал, что напишу Вам, попросив навести справку. Если Вам не трудно, загляните в *Lateinisch-Romanisches Wörterbuch* и *выищите* мне *целиком всё*, что значится под словом *carnevale (если такового нет, то посмотрите *car-nis* и *carrus*). Кому-нибудь из нас уж придется уступить, и я, конечно, заранее приемлю объяснение Körting'a, как высшей компетентной инстанции⁶.

Еще прошу Вас сообщить *D-re Ettore Verga* в Milano, Castello Sforzesca, Archivio Storico Civico⁷, что я — жив и здоров, писал ему несколько раз, но ответа не получаю: пусть напишет на университет. Справьтесь у него, жив ли и где проживает наш общий с ним приятель проф<ессор> Павийского (б<ывшего> Туринского) У<ниверсите>та *Giuseppe Fraccaroli*⁸ — и об ответе сообщите мне.

Искренно преданный Вам

А. Евлахов.

Еще одна просьба: в Италию выехали мои хорошие знакомые Иван Владимирович и Зоя Александровна *Камлюхины* с дочерью Ниной Ивановной Сабуровой⁹; не можете ли узнать их местожительство?

РАИ. Оп. 5. Кар. 4. П. 8. Л. 1–2об. На конверте адрес: 172 via della Quattro Fontane. All'egregio Signor Professore Viaceslavo Ivanov. На обороте конверта штемпель: «Roma Centro 10-IV-1925». В письме всюду вместо заменяющих апострофов поставлен «ъ»: объясняли — объясняли.

¹ В 1925 году Вяч. Иванов считался временно командированным в Италию, за ним оставалось его место на кафедре. 12 ноября 1925 г. С. В. Троцкий писал ему: «Кафедра — за вами, и — многих радостное ожидание» (Цит. по: *Лавров А. В. А. Мануйлов — ученик Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1. СПб., 2010. С. 636*).

² *Carnevale (итал.)* — карнавал.

³ От латинского глагола *respicio* — смотреть выше, принимать во внимание, иметь в виду.

⁴ *Аросоре (греч.)* — усечение.

⁵ Густав Карл Отто Кёртинг (*Gustav Carl Otto Körting*, 1845–1913) — немецкий филолог, с 1892 г. профессор романской филологии в Киле. «*Lateinisch-Romanisches Wörterbuch*» (Bd. 1–2. Paderborn, 1890–1891; «Латинско-романский словарь») является одной из важнейших его работ.

⁶ В этом этимологическом споре словарь К. О. Кёртинга мог бы примирить обе стороны. Дело в том, что в словарной статье «*carus navalis*» К. О. Кёртинг связывал это латинское название «морской повозки», «корабля на колесах», используемого в праздничных шествиях, в том числе в маслинничном карнавале, с итальянским словом «*carnevale, carnevale*», что, с его точки зрения, вовсе не отрицало принятую в то время научную этимологию слова «*carnevale*» от «*carne*» (мясо)+«*vale*» (латинское приветствие), а наоборот придавало ей дополнительную убедительность. Если Евлахов следовал этому последнему толкованию, то Вяч. Иванов отдал предпочтение версии об этимологической связи «карнавала» с масленичным «кораблем на колесах» не случайно — для него тут явно возникала дополнительная цепочка ассоциаций с культом островного бога Диониса, плавающим на корабле (см.: *Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб., 1994. С. 131*).

⁷ Этторе Верга (*Ettore Verga*, 1867–1930) — директор расположенного в миланском замке Сфорца Гражданского исторического архива (*Archivio Storico Civico*), автор монументальной двухтомной библиографии сочинений Леонардо да Винчи

и трудов о нем (Bibliografia Vinciana. 1494–1930. Bologna, 1931). Его памяти посвящен сборник: *Miscellanea di studi lombardi in onore di Ettore Verga*. Milano, 1931.

⁸ К моменту написания Евлаховым письма профессора Павийского университета Джузеппе Фраккароли (Giuseppe Fraccaroli, 1849–1918) уже не было в живых. Фраккароли был одним из видных итальянских филологов-классиков, переводчиком Платона, Эсхила. Памяти Фраккароли была посвящена прошедшая в октябре 1998 г. в Вероне конференция, материалы которой легли в основу сборника: *Giuseppe Fraccaroli (1849–1918): letteratura, filologia e scuola fra Otto e Novecento / A cura di Alberto Cavarzere, Gian Maria Varanini*. Università degli studi di Trento. Studi Letterari, Linguistici e Filologici Collana Labirinti, Trento, 2000.

⁹ Речь идет о семье журналиста Ивана Владимировича Камлюхина, редактировавшего в Ростове-на-Дону ряд местных изданий: ростовскую политическую, экономическую и литературную газету «Юг» (1893–1895), ежемесячный журнал плодоводства, огородничества и декоративного садоводства «Садовод» (1903–1904; см.: Библиография периодических изданий России, 1901–1916. Л., 1958–1961).

II. Письмо С. П. Семенова (Аргашева)

Баку.

21 мая 1927 г.

Многоуважаемый
Вячеслав Иванович!

Одновременно с этим письмом направляю Вам почтой две книги: мой стихотворный сборник «Парида»¹ и поэтический альманах «Золотую Зурну»².

Если Вы помните, мы встречались с Вами в мае 1924 года³, когда я доставил Вам вести от В. А. Меркурьевой⁴ о работе ее поэтической группы⁵. Тогда же я услышал от Вас отзыв и о прочитанных мною стихах — объективный, меткий и во многом верный.

Следуя Вашему совету, я познакомился с Верой Александровной и в 1925 г. вошел в ее литературное объединение. Тесная и дружеская совместная работа привела к тому, что уже осенью 26-го года мы выпустили первую из намеченных книг стихов⁶. Ее появление вызвало оживленные диспуты в различных городах Кавказа, в том числе и в Баку, где, по поводу ее, состоялись выступления студентов и профессоров Азгосуниверситета. Пришлось выдержать немало нападков со стороны печатной критики⁷. На книгу отозвалась Академия Художественных Наук — в лице проф. Гудзия. Дали отзывы Сергей Городецкий, проф. Сакулин, Харьковский проф. Белецкий⁸. В настоящее время мы с Верой Алекс<андровной> заняты подготовкой к печати новой книги стихов⁹. Что касается сборника «Парида», то это — дань увлечению моему Кавказом — историческим в особенности. Центральные печатные отзывы о ней были благожелательны, и за внешней

ученостью и фольклорным обрамлением усмотрели истинно поэтические черты¹⁰. Опыт проделанный мной со стихотворной повестью «Парида» напоминает эпизод с Чаттертоном¹¹. Мне *не верили*, что повесть — плод моей фантазии, *а не перевод* древнего оригинала. Покойный В. Я. Брюсов и Ассоциация Востоковедения просили меня прислать *арабский* подлинник, которого никогда не существовало¹². Мною подготовлены переводы из Samuel-T. Coleridge, но не знаю, когда они увидят свет. В. Меркурьева нашла их весьма ценными¹³.

Недавно одна из Ваших бывших учениц Ксения Колобова¹⁴ показывала мне Ваши сонеты о фонтанах¹⁵. Мне раньше сообщал о них Сергей Витальевич Т**<роцкий>¹⁶. Ими очень интересовалась и Вера Александровна¹⁷.

В Баку функционируют два литературных кружка: 1 — при Университете, другой — под моим руководством — при Политехникуме¹⁸. На днях устраиваем объединенный вечер поэтов, в котором примет участие и Виктор Мануйлов¹⁹, усиленно готовящий к печати первую книгу стихов²⁰.

В заключение разрешите передать Вам привет от Веры Александровны. Она предполагает написать Вам сама. Адрес ее (общий и для нашей поэтической группы): Владикавказ, Красивая улица, 1²¹.

Уважающий Вас
Сергей Аргашев (Семенов).

РАИ. Оп. 5. Кар. 1. П. 9. Л. 1–2об. В письме всюду вместо заменяющих апострофов поставлен «ъ»: об'ясняли — обьясняли.

¹ Аргашев С. И. Парида (повесть IX в). II. Цветы на льду (Дагестанская лирика). III. Песни о вождях / Предисл. В. Я. Брюсова. М.: Всесоюзная научная ассоциация Востоковедения, 1924.

² Золотая зурна. А. Кочетков — Сергей Аргашев — Л. Беридзе — В. Меркурьева — Михаил Слободской. Стихи. Владикавказ: Красный октябрь, 1926. В. А. Меркурьева в письме от 1–14 января 1926 г. отослала из еще не вышедшего сборника Вяч. Иванову два своих стихотворения — «Беспокоен и bestолков...», «Давно я знахарки личину...».

³ Встреча могла состояться лишь до 27 мая 1924 г., когда Вяч. Иванов покинул Баку (о дате отъезда из Баку см.: Лавров А. В. В. А. Мануйлов — ученик Вячеслава Иванова. С. 630).

⁴ Вера Александровна Меркурьева (1876–1943) — поэтесса и переводчица. О ее взаимоотношениях с Вяч. Ивановым см.: Петросов К. Г. Письма Вяч. Иванова В. А. Меркурьевой // Русская литература. 1991. № 1.; Гаспаров М. Л. Вера Меркурьева — неизвестная поэтесса // Vyacheslav Ivanov — Russischer Dichter — europaischer Kulturphilosoph. Heidelberg, 1993. S. 113–126. Переписка Меркурьевой с Вяч. Ивановым к 1923 г. прекратилась. На свое последнее сохранившееся в РАИ письмо от 1–14 января 1926 г. из Владикавказа в Рим ответа она не получает — написанный Вяч. Ивановым 27 января 1926 г., он остался неотправленным (об этом см.: Иванова Л. Н. Вячеслав Иванов: Неотправленное письмо // Вячеслав Иванов — Петербург — Мировая культура. Томск; Мо-

сква, 2003. С. 254–279). Видимо, в 1924 г. поэтесса стремилась напомнить Вяч. Иванову о своем существовании хотя бы через посредника, каковым и оказался Сергей Семенов.

⁵ Речь идет о кружке «Вертеп» — группе поэтов (Людмила (Ладо) Беридзе, Александр Кочетков, Евгений Редин, Михаил Слободской), объединившихся в 1920-е годы вокруг В. А. Меркурьевой в бытность ее в городе Владикавказе (об уставе и задачах кружка см.: *Гаспаров М. Л.* Вера Меркурьева. Стихи и жизнь // *Меркурьева В. А.* Тщета. Собрание стихотворений. М., 2007. С. 520–521).

⁶ Речь идет о сборнике «Золотая зурна».

⁷ Под нападками со стороны печатной критики на сборник «Золотая Зурна», вероятно, имеются в виду отзыв Л. Шумского из владикавказской газеты «Власть труда» от 14 ноября 1926 г. (приводится М. Л. Гаспаровым, см.: *Гаспаров М. Л.* Вера Меркурьева. Стихи и жизнь. С. 521) и рецензия 1927 года М. Зенкевича в столичном журнале «Печать и революция» (цитируется в: *Тахо-Годи Е. А.* Великие и безвестные. С. 647–648). В биографии «Сергей Аргашев: Жизнь и творчество», написанной в 1947 г. к 30-летию литературной деятельности С. П. Семенова для семейного рукописного журнала «Маяк», даются также ссылки и на другие печатные отклики на появление «Золотой Зурны»: газета «Красный Дагестан» № 280 от 5 декабря 1926 г. (автор А. Файнберг) и № 294 (1410) от 21 декабря 1926 г. (без подписи).

⁸ Печатных отзывов члена Государственной Академии Художественных Наук, профессора МГУ (с 1922) Николая Калининвича Гудзия (1887–1965), поэта Сергея Митрофановича Городецкого (1884–1967), члена ГАНХ академик АН СССР Павла Никитича Сакулина (1868–1930), профессора Харьковского университета (с 1920 г.), а впоследствии академика АН СССР Александра Ивановича Белецкого (1884–1961), руководившего с 1926 кафедрой литературоведения, обнаружить не удалось. Возможно, имелись в виду рукописные отзывы. То, что большинство из перечисленных лиц — литературоведы и специалисты по истории русской литературы, связано, по-видимому, с участием в подготовке к изданию «Золотой Зурны» старшего брата Сергея Семенова, Леонида (судя по описи его фонда в ЦГА Северной Осетии, и Гудзий, и Белецкий были в числе его корреспондентов). Об этом косвенно свидетельствуют и дарственные надписи на фронтисписе «Золотой Зурны», подаренной Л. П. Семенову участниками сборника: «Нашему сотруднику и со-мученику — уважаемому Леониду Петровичу Семенову. 3 / XI. 26. Л. Беридзе. М. Слободской. В. Меркурьева» и две «недоставленные телеграммы» на обороте того же листа:

1

«Идем на вы» с дубиной на плечах
Раскольников Лелевич Авербах

2

От радости напились в дым и доску,
Надеемся, что вы еще не пьяны.
Сакулин Шкловский
Коган и Пиксанов».

⁹ Установить, о какой книге идет речь, не удалось.

¹⁰ В тексте «Сергей Аргашев: Жизнь и творчество» (1947) даются ссылки на следующие печатные отклики о «Париде» в местной и центральной печати: Бакинский рабочий. № 63 от 20 марта 1924 (раздел «Литературная хроника») и № 219 от 28 сентября 1924 (подпись: Кр.С.); Красный Дагестан. № 150 от 10 июля 1924 (подпись: Б-ва) и № 21 от 28 января 1929 (автор: Н. Вержейская); Известия ВЦИК (Москва);

№ 194 от 27 августа 1924 (автор: В. Н. Добрянский); Известия Общества Обследования и изучения Азербайджана. Вып. II. 1926 (статья «Лакская поэзия», автор: М. Чаринюв). О том, что книга Аргашева «истинно поэтична», говорилось в рецензии из «Бакинского рабочего» за 28 сентября 1924 г.

¹¹ Английский поэт Томас Чаттертон (1752–1770) известен литературными мистификациями, выдавал свои произведения за сочинения жившего в XV в. настоятеля собора Томаса Раули.

¹² Предисловие В. Я. Брюсова к сборнику стихов Аргашева–Семенова датировано февралем 1924 г.; поэт скончался 9 октября 1924 г. Всесоюзная научная Ассоциация Востоковедения была организована при ЦИК СССР в конце 1921 г. и просуществовала до 1930 г. В поэме «Парида» изображалась эпоха завоевания Дагестана арабами, борьба аварцев с сирийцами (отсюда речь об *арабском* подлиннике).

¹³ Семеновские переводы английского поэта-романтика Самюэля Тейлора Кольриджа (1772–1834) опубликованы не были. Оценка Меркурьевой могла быть важна для него, так как она сама занималась переводами английской поэзии — переводила Дж. Байрона, в 1937 г. в ее переводе вышел томик избранных стихотворений П. Б. Шелли.

¹⁴ Ксения Михайловна Колобова (1904/1905–1977) — ученица Вяч. Иванова по Бакинскому университету, впоследствии филолог-классик, профессор и заведующая кафедрой истории древней Греции и Рима Ленинградского университета.

¹⁵ Речь идет о цикле Вяч. Иванова «Римские сонеты» (1924).

¹⁶ Сергей Витальевич Троцкий (1880–1942) — один из Бакинских друзей Вяч. Иванова. Его воспоминания о поэте опубликованы А. В. Лавровым, см.: *Троцкий С. В.* Воспоминания // Вячеслав Иванов: Материалы и публикации / Сост. Н. В. Котрелёв // Новое литературное обозрение. М., 1994. № 10. С. 41–87. Фамилия в письме, по-видимому, сокращена из-за политических распрей вокруг Л. Д. Троцкого, выведенного в октябре 1926 г. из состава Политбюро, а через год, осенью 1927 г., исключенного из партии.

¹⁷ К адресованному В. А. Меркурьевой, но, вероятно, не отправленному письму от 27 января 1926 г. Вяч. Иванов прилагал два из «Римских сонетов» (см.: *Иванова Л. Н.* Вячеслав Иванов: Неотправленное письмо. С. 261).

¹⁸ В тексте «Сергей Аргашев: Жизнь и творчество» говорится: «Он [Аргашев] был избран [в 1922 или 1923] председателем студенческого литературного кружка, куда его рекомендовал профессор Георгий Артемьевич Харазов <...> В кружке участвовало до 100 человек. <...> В течение 1927 года С. Аргашев вновь вернулся к руководству студенческим литературным кружком, где прочел ряд докладов о психологии творчества».

¹⁹ Виктор Андроникович Мануйлов (1903–1987) — один из любимых учеников Вяч. Иванова по Бакинскому университету, в последствии видный лермонтовед, профессор Ленинградского университета. В биографии «Сергей Аргашев: Жизнь и творчество» (1947) упоминается о выступлении В. А. Мануйлова на творческом вечере С. П. Семенова в ленинградском Доме учителя 21 декабря 1945 г. и цитируется фрагмент из его речи об отношении В. Брюсова к стихам Аргашева (см.: *Тахо-Годи Е. А.* Великие и безвестные. С. 641).

²⁰ В 1920-е годы в Баку публиковались отдельные стихотворения В. А. Мануйлова, но книга стихов («Стихи разных лет: 1921–1983») была напечатана лишь в 1983 г. в Ленинграде (см. перечень публикаций в библиографическом указателе: Виктор Андроникович Мануйлов: К 80-летию со дня рождения / Сост. О. В. Миллер, В. А. Захаров. Темрюк, 1984. С. 45–48).

²¹ Именно этот адрес указан на последнем письме Меркурьевой к Вяч. Иванову, датированном 1–14 января 1926 г.

Р. Д. Тименчик
Карточки

Не знаю, огласилось ли уж где печатно, что филологические статьи — это всегда письма конкретным, но неназванным адресатам, учителям, друзьям, подругам, оппонентам, соперникам. И очень хорошо, что наши возрасты позволяют, наконец, снабдить завуалированные послания юридически безгрешной мотивировкой. И *vice versa* когда-то моя переписка состояла без преувеличения только в отосланных и полученных библиографических карточках. С этого и начнем.

В 1966 году на тартуской студконференции я познакомился с Колей Котрелёвым, до того остановившим внимание юного прибалтийского сочувственника авангардов своей непривычной фамилией в фельетоне «Бездельники карабкаются на Парнас» и уже читанным в спецхране в итальянском переводе — Дым коромыслом был. Мысль — небылицы. Лица — моток. *Vi era una torre di Babele. Il pensiero, tutte favole. I volti, una bobina.* Нельзя было не запомнить его неспешные, умелой выделки речи, его внезапно выскакивающие из непопулярных ячеек лексической наборной кассы диковинные слова, его интригующий жизненный опыт по ту сторону академизма («Вы знаете, Юрий Михайлович, то, что вы сказали, напоминает, как мы спали валетом в трансформаторной будке с барабанщиком из оркестра Эдди Рознера...» — «Понимаю», — сказал Ю. М.; удаление с дачной танцплощадки за искривление рисунка танца, рецепты приготовления питьевого алкоголя из непитьевого, да мало ли), песню «Мир пабдит, пабдит войну» или же прославленную впоследствии напряженность структуры придаточных и многое другое. Но все это, как пишут мемуаристы, — померкло перед. Пе-

ред тем, что я вскоре увидел в комнате коммуналки на Сивцевом Вражке. Картотека, заполнявшая безграничный выдвижной ящик стола, охватывала имена, названия, мотивы эпохи символизма, расфасовывала эту эпоху вплоть до последнего невзрачного статиста из заднего ряда массовки. В картонные каре непричесанным почерком были внесены коррективы и адденды, недодуманные думы, зачатые в библиотеке, полумысли с края архивного стола, сноски для будущих работ, рассчитанные на девять жизней. «N. В.» теснили «м. б.», попадалась и будущая коронная скатологическая аббревиатура эры всенародного сравнительства. Вповалку громоздилась полнозвучная номенклатура московского модерна, хризопрасы да жагадасы, их подпирали наркомпросы и бакгу. Тасовались, как колода, начало века, на рубеже двух эпох и между двух революций. Прямоугольнички аукались в выдвижной тьме, вступали в опасные связи. Ящик явственно гудел от впиханной в него информации, кренился и дрожал. Это размашисто каталогизированное прошлое вызывало желание спопугайничать. Я желанию поддался и стал заносить архивные и книжные впечатленья на карточки. В последние годы я их немного запустил из-за вторжения компьютера, ксерокса, сканера и яндекса в нашу жизнь, многие пришлось выкинуть, как уже отработанное и мной, и другими, нумерация их превратилась в кашу. Тем не менее, нет-нет да и впишу что-нибудь бегло в старые карточки, и несколько полумыслей и сносок решился, развернув побольше сокращений, но не устранив свойственных таким записям скачков внимания, выгрузить здесь в ознаменование 45-летия знакомства.

№ 213 К «КОДУ ЧТЕНИЯ» и «СТИХ. СОЗНАНИЮ ЭПОХИ»

т. е. к индексу пресуппозиций. Оно, беззвучное, в конце концов, обусловлено единичными (трудно)уловимыми текстами. Иногда оно-таки «проговаривается вслух». Ходасевич о Гершензоне: «считал почему-то, что если в четырехстрочной строфе первый стих рифмуется с четвертым, а второй с третьим, то это — пошлость». И мы, м. б., догадываемся, почему же: из-за спецэффекта обманутого рифменного ожидания в похабных двуликих куплетах с опоясывающей рифмой. «На виноградниках Шабли...» (новейшая публикация: НЛО. 2010. 104. 415; Г. А. Левинтон и В. А. Мильчина), «Среди полей, покрытых маком...» etc. (их коллекционировал Л. Чертков). Проговорилось оно, стих. созн., напр., у Александра Порошина (этот автор, как будто, расстрелян в Баку в 1923-м); в первой строфе, с игристым *Chablis*, — кольцевая, потом — перекрестная:

Плывут по морю корабли,
Шумит прибой волною сонной...

Безрадостный и утомленный,
Я пью искристое шабли.
 Пью за мечту, что их уводит
 За бег попутный ветерка,
 За тех, кто с горестью проводит
 В закатный сумрак моряка.

Корабль уйдет, а я останусь
На берегу морских полей.
Благослови, двуликий Янус,
Пути ушедших кораблей.

(Феникс. Тифлис. 1919. 1. 10)

Вполне конкретные тексты вырабатывают как коллективный, так и индивидуальный «коды чтения» (идиосинкратические критерии выделения «сильных мест»). Pro domo sua: читая к лекциям «Поэтику» Буало, почему я выделил и порадовался такому месту — пер. Э. Линецкой III, 88: ...до пошлых мелочей нигде не опускайтесь, примите мой совет: поэту не к лицу в чем-либо подражать бездарному глупцу, что рассказал, как шли меж водных стен евреи, а рыбы замерли, из окон вслед глаза.

N'y présentez jamais de basse circonstance.
N'imitiez pas ce fou qui, décrivant les mers,
Et peignant au milieu de leurs flots entr'ouverts,
L'Hébreu sauvé du joug de ses injustes maîtres,
Met, pour le voir passer, les poissons aux fenêtres.

(Окошки в стенах рассеченной акульей уха, меня остановившие, придуманы самим Буало; в порицаемом им «Moïse sauvé» Saint-Amant'a их нет: «Et là, près des remparts que l'oeil peut transpercer les poissons ébahis le regardent passer».) Ну, выделил, во-первых, потому, что всегда цепляет мой взгляд корень «евре-». Я писал о себе подобных в энц. статье «Рус. лит. XX в.»: «Подобно русско-еврейской писательской школе появляется русско-еврейский тип читателя, предложившего новый ключ прочтения русской литературы («Еврейские сюжеты в русской литературе? Отображение еврейской жизни в ней? Кто из евреев-читателей вольно или невольно не ставил себе этого вопроса!» — И. Клейнман. Еврейский вестник. Л., 1928)» (Крат. евр. энц. 7. 506). Порадовался потому, что приучен как читатель сов. лит.-ведения всегда выискивать и лелеять отрицательные примеры, особенно — «формализма», а эти «низкие обстоятельства», рыбки, глядящие в иллюминаторы, — вполне в масть эпохе постсюрреализма.

№ 315 РАЗМАЗАННЫЙ ПО ШИНЕ

Палиндромический *ШиШ*, начертанный Н. Альтманом на задней обложке 2 изд. крученыховской «Взорвали», когда «ша» прикидывается еврейским «шином», не имеет ли толчком заметку в «Сатириконе» 1912 года (№ 8. 17 фв. С. 8.), где выписка (сделанная Василием Князевым из вечного труженика) приладила *Judische Schiene* к кириллице: «Улыбки беззубого (Забытые перлы Третьяковского <sic!>). Буква Ш состоит из трех латинских I, связанных нанизу твердою, жидовскою шиной, чтоб они не разбежались и чтоб та шина везде, где они ни будут, гремела. Буква П состоит из двух I латинских, связанных по головкам. Буква Ц составляется из двух же латинских I, скованных внизу некоторою жидовскою цепью, называемой: ц а д е («Разговор о правописании»)».

№ 1434 ОЧЕРЕДНОЕ ПОХИЩЕНИЕ?

Слово батюшковское, согласно к-рому «такого рода похищения доказывают уважение и любовь» (кстати, замечено ли ОМ-ское похищение из Батюшкова: «И может быть в эту минуту / Меня на турецкий язык....»; «Вечер у Кантемира»: «Легко быть может, что в эту самую минуту на берегах Ледовитого моря, на берегах Лены или Оби, в пустынях Татарии — читают ваши остроумные письма, и имя Монтескье гремит в становищах калмыков и самоедов»).

Итак: «В это время проходили через площадь глухонемые: они сучили руками быструю пряжу. Они разговаривали. Они говорили на языке ласточек и попрошаек и, непрерывно заметывая крупными стежками воздух, шили из него рубашку.

Староста в гневе перепутал всю пряжу («Ег. марка»).
Глухонемые мы, нас много.
С рожденья в ковах тишины,
глухими стенами острога
безжалостно разделены.

Мы на углах, как обезьяны
или теней китайских бред,
разматываем неустанно
клубок прерывистых бесед.

От века мы друг другу тайна,
И брату брат от века враг.
Что нам дано? Лишь жест случайный,
дрожащих пальцев темный знак!

(Евгеньев Б. Ваятель. Пг., 1915 г. 25)

Борис Евгеньев-Рапоф (погибший, видимо, в застенке в блокаду) вообще недалеко от ОМ в околоакмеистич. пгр. контексте, но на след. стр. есть и явный отголосок «American Bar» («мы спросим кофе с кюрасо, в пол-оборота обернется Фортуны нашей колесо!»):

А. Терку

Звенящие стихи слагаем для кого мы?
и в жизни наших дней кому они нужны?
Да, мы заполнили бесчисленные томы:
безумны мы, свои позоря сны!

Срывая словом с язв заветных покрывало,
стихи мы для чего бросаем в колесо?
Чтоб опьянел от них «утонченно-усталый»,
как от душистой рюмки кюрасо?

Кстати, А-др Як. Терк (член Рел.-фил. О-ва, друг Зоргенфрея, посылал стихи в «Весы» — ОР ИРЛИ), писал по пов. ОМ в «Дракон»: манерность в «Черепаше», но строки из «Tristia» — крупное достижение (Начала. 1922. 2. 294). Ну а что вся «Ег. марка» целиком от первого до последнего слова развернута на «чужое» слово — становится все очевидней. От первого «Прислуга-полька ушла...» — ср. бетнуар петербургских пуристов: «„Прислуга“ — единственное число? Так говорили на кухне и на черной лестнице: „у нас много прислуг“» (Безпятов Е. Новая книга о театре [Рец. на кн.: Вопросы теории и психологии творчества. Т. III] // Театр и искусство. 1911. № 42. С. 792) до последнего «с шикарной стеклянной витриной вместо окна», о котором особый разговор.

№ 1435 ВТОРАЯ ИСТ. ЛИТ-РЫ

О переимчивости ОМ к чужому стиху мы и так знаем (из новых примеров, ср. «блажен, кто завязал ремень подошве гор на твердой почве» и

Я не чудак, не юридивый
Смыкаю перед тьмою взор
И, подходя к подошвам гор,
Хочу обуться торопливо
(Н. Бурлюк. Требник троих. 62)

В той, грезящейся мне второй створке диптиха «ист. рус. лит. XX в.» — История Читателей (не Писателей), в том контрмире этому явлению как-то

должна соответствовать пересеканости границы между корпусом ОМ и чужими текстами — как со стихотворением К. Эрберга (О. А. Овчинникова. Сохрани мою речь. 3. (2). 2000. 100; Полн. собр. соч. 1. 2009. 351), ненадолго залетевшим в мандельшт. dubia, или со строками Волошина, приписанными Верой Инбер Мандельштаму (Лотмановский сб. 2. 1997. 99). Если это просто путаница мемуаристов, как у пожилой корреспондентки Ахматовой, которая писала в 1955 г., спутав ОМ с Шершеневичем: «Была когда-то знакома с О. Мандельштамом, но знакомство было случайное, впечатления на меня он не произвел: то ли я была еще глупа; то ли он передо мною не раскрылся... Помню — очень смешило его: „Пока я не умер, простудясь у окошечка, поджидая — не пройдет ли по Арбату Христос...“» (РНБ. 1073. 1167; об этом письме см.: Л. Чуковская. 1991. 2. 124–125), то в той, чаемой, «ист. лит.-2» должны быть установлены мандельштамовские тексты или письменные и устные нарративы о нем, цепочка которых привела к ошибочной атрибуции: где конкретно Шевырев похож на Мандельштама (Илья Фейнберг. Вопли. 1991. 1. 69), что именно суммировано (Вера Лурье в рец. «Звериное тепло» Эренбурга) как «влияние» ОМ: Что птице кроме щибета и лета! / Заглох овчарок лай, молчат бичи, / И ставят Мельпоменовы тенета. / Психея бедная, не щибечи (Сполохи. 1922. 15–16. 43; ср. в рец. Ю. Офросимова: «В стихах его и Мандельштам, и Пастернак, и <...> Кузмин» (Комм. Б. Фрезинского. Эренбург. Биб-ка поэта. 2000. 713). Или здесь: «Тихонов в 1921–1922 гг. начал с того, что прошел хорошую акмеистическую школу. Ясность, скупую четкость, обдуманную полновесность сурового и мужественного стиха Гумилева он на первых же порах синтезирует с торжественной плавностью Мандельштама: И вот под небом, дрогнувшим тогда, / Открылось в диком и простом убранстве, / Что в каждом взоре пенится звезда / И с каждым часом ширится пространство» (Горбачев Г. Н. Тихонов // Печ. и рев. 1927. 6. 78). Или у самого Эренбурга: «От Мандельштама: Лишь пламень побуреет у лампадки, / Да жилы загустеют на руке, / Но вечен обруч огуречной кадки / И пауки на темном потолке, и проч.» (Эренбург > И. Рец: Тихонов Н. Орда. П. 1922 // Нов. рус. кн. 1922. 7. 11). Или: «...она ближе всего к Мандельштаму. В ритмической напряженности стиха, в синтаксисе (иногда затрудненном и не совсем русском) и в заключительных pointes есть следы его манеры. В последних строках вступительного стихотворения мне прямо слышится голос Мандельштама: И верный Пятница — Лирическая Муза / В изгнании не покидает нас» (Эйхенбаум Б. Рец: Полонская Е. Знаменья // Книж. угол. 1921. 7. 41). Или — не очень понятное: «Ледяная корочка лежит на строфах этих, порою напоминающих Мандельштама, порою Гумилева. <...> «Или тот, кто слушал Бергсона / В многолюдном колледже, или / Тот, кто может писать стихи...» — Мандельштам» (Книголюб А. Рец.: Оцуп Н. Град. Пг., 1922 // Сполохи. 1922.

9. 34). А Вик. Шкловский в ученики ОМ (и Антокольского) записал всего Бориса Лапина (Гревс Л. Доклад не состоялся // Лит. Ленинград. 1933. 5 авг.).

№ 1 436 P. S. K № 1435

Но конечно, конечно, конечно, по поводу всякого *déjà-dit* (типы лит-ного *Second hand'a* исчислены в: Antoine Compagnon. *La Seconde main ou le travail de la citation*, 1979) остается в силе развилка: или похищение, или саморазвитие тропов. «Шумят сады зеленым телеграфом» — производное и от зеленого шума, и от того сближения, которое легло в основу советской остроты «телегр. столб — отредактир. дерево» и т. д., и т. п. (см. напр. «Телеграфные столбы» Марии Шретер: Шретер М. В. Палитра. 1915. 13-15) — или же попало стихотворение одно время недалекого от Цеха поэтов (см. Лукницкий. *Асимиана*. 1991. 194 — с опечаткой: «Протеже Городецкого были <...> (Линецкий — не знаю, какого происхождения. Ужасные стихи были. Линецкий — во всяком случае — не Коли [Гумилева])» и соседа Мандельштама в рецензии Нарбута 1913 г. (Алексей Липецкий. *Надя Данкова. Повесть в стихах; Мандельштам. Камень*// Нов. ж. д. вс. 1913. 4. 175) Алексея Липецкого «Листья и корни» (1919):

Шумят широким шумом клены,
Вершины пышно разметав,
Как бы могучий потаенный
Вверху поет там телеграф.

А здесь, внизу — гнилого пруда
Молчит стоячая вода.
Но корни тянут сок отсюда,
Чтоб пели листья-провода

(Липецкий А. *Тишина*. Липецк. 1920. 109; с опечаткой: «труда»)?

А вот это похоже скорее на «изъятие имущества, находящегося в чужом владении» (УК РФ) — «Мороз» Георгия Шенгели:

Вместо воздуха — мороз;
В безвоздушной синеве —
Плоский легкий вырезной
Алюминиевый Кремль.

На ресницах у меня
Колкий Сириус повис,

Промерцал и отвердел
Неожиданной слезой.

Ах, недобрый это знак,
Если плачешь от красоты —
Это значит: в сердце нет
Никого и ничего.

(Ленинград. 1925. 10. 2; Шенгели Г. Норд. 40.)

Сам Шенгели об этих стихах — Марии Шкапской 17 марта 1924: «явная поэмь Бальмонта и Ахматовой» (Минувшее. 15. 1994. 253).

Ср.: «На мертвых ресницах Исакий замерз....».

№ 474 ЗАГАДКА И ОТГАДКА

Влиятельнейшая парижская книга в рассказе о Сен-Поле Ру предложила русским читателям загадку:

«Из его метафор можно составить целый каталог, целый словарь.

Акушерка света	Петух
Завтрашний день гусеницы в бальном наряде	Бабочка
Грех, который сосет	Незаконный ребенок
Живая прялка	Овца
Плавники сохи	Сошник
Оса с жалом в виде кнута	Дилижанс
Хрустальное вымя	Графин
Краб руки	Открытая рука
Живая информация	Сорока
Летающее кладбище	Полет воронов
Романс для ноздрей	Аромат воронов
Шелковичный червь камина	? »

(Реми де Гурмон. Книга масок. СПб., 1913. 101; перевод Е. М. Блиновой и М. А. Кузмина). Список продолжен и дальше — еще 10 примеров, но знак вопроса стоит только у каминного шелкопряда (*Le ver à soie des cheminées*). Представляется, что вокруг этой загадки вертится мандельштамовское «Что поют часы-кузнечик...»:

И шуршит сухая печка,—
Это красный шелк горит...
Что на крыше дождь бормочет,—
Это черный шелк горит...

№ 1005 ГЕНЕАЛОГИЯ «ЗАБЛ. ТРАМ.»:
КАНОНИЗАЦИЯ САМОЙ МЛ. ЛИНИИ

Как ложилось у Гумилева в стихи, что ему книжка последняя скажет. Напр., допускаю, что «Над этим островом какие выси, какой туман, и Апокалипсис здесь был написан...» родилось по прочтении перевода Вал. Парнаха из «Восточного путешествия» Нервала: «Я не мог надивиться розовым краскам, окутывающим по утрам и по вечерам высокие утесы и горы. Таким я видел вчера Патмос, остров св. Иоанна, залитый этими нежными лучами. Вот почему, может быть, в Апокалипсисе встречаются местами такие пленительные описания... Днем и по ночам апостол мечтал о чудовищах, о разрушениях и войнах; утром и вечером он возвещал под смеющимися лучами о чудесах грядущего царства Христова и о новом Иерусалиме, сверкающем скиниями» (Сев. зап. 1913. 9. 99). Однако он был, вероятно, внимательный читатель не только книг (ср. Н. Богомолов), но и всего печатного. В числе импульсов к написанию «Трамвая» можно предположить взгляд, упавший на текст, который в пору клаустрофобичного военного коммунизма обратил на себя внимание М. Добужинского 11 февраля 1920: «В трамваях висит объявление о географическом институте, где читают лекции путешественникам, отправляющимся в разные страны!! Что же это такое? Вот карикатура» (Дневник. Нью-Йоркская публ. библ.).

№ 512 ПОУЧИМСЯ У ХРИСТИАНА КЛЕЙСТА

В 1919 г. окружавшие «Всем. Лит-ру» петрогр. поэты услышали про Пастернака не только как про моск. футуриста из «посада, куда ни одна нога», но и как про переводчика Генриха Клейста. Осенью 1920 г. Мандельштам, вернувшийся в П-д с юга и тоже предлагавший Всемирке свои услуги, мог увидеть во втором номере недавно начавшего выходить журнала «Книга и революция» рецензии Н. О. Лернера, с которым была связана болезненная память о резком отзыве пушкиньянца на «Камень» («тяжелый, плохо обтесанный и тусклый „Камень“»; «книжка доставила большое огорчение моей покойной матери, прочитавшей в „Речи“ рецензию Н. О. Лернера» // О. Э. М. в письмах С. Б. Рудакова. 184), но сейчас произошло некоторое сближение, и ОМ подарил тогда Лернеру черновик «Я слово позабыл...». Из одной из рецензий можно было узнать, что если Пастернак один, то Клейсты есть разные. Лернер о томе Карамзина, изд. ОРЯС АН: «Работа была совсем не сложна, т. к. в рукописях почти ничего из соч. К-на не сохранилось, а первые два издания редактировал он сам, да и в третьем (текст которого воспроизводится в академ.) участвовал, — и тем не менее академ. изд. отличается очень бедным и, что того хуже, наивным ученым аппаратом. Предисловие предупреждает читателя: „комментарии ист.-лит.-ные,

равно как и экскурсии сравнительного характера в русскую и иностранную лит-ру — почти не вводились". Это большой недостаток: где же и быть таким объяснениям, как не в академ. изд., а надобность в них достаточно определяется, как исторической ролью К-на, так и прямым назначением академ. изданий и присущим им типом, который выработан опытом. Впрочем, если судить по тому, что и как сделано проф. Сиповским в тех узких границах, к-рые он сам себе отвел, едва ли ему удалось бы удовлетворить требованиям более широким в этом отношении. Например, встречая упоминания о немецком поэте Клейсте в двух стихотворениях 1788 и 1796 гг., Сиповский объясняет, что это „Генрих Клейст (1777–1811)“. Но Федот оказывается не тот. Клейст—действительно, Клейст, но не Генрих, а Эвальд-Христиан (1715–1759), автор знаменитой поэмы „Весна“. Проф. Сиповский не знает, что Генрих Клейст выступил на литературное поприще позднее создания упомянутых пьес К-на, и даже не обратил внимания на то, что в 1788 г., когда К-н впервые назвал в стихах это имя, Генриху Клейсту было одиннадцать лет...»

№ 2011 К ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ СОВ. ВРЕМЕН

Как эпитафия см. запись 1956 г.: «По словам А. А., Сурков произнес очень смелую речь. Он заявил, что в докладе Жданова были, оказывается, ошибки: напрасно, например, охаяны Серапионы, Лунц; литература тридцатых годов не отразила, к сожалению, ежовщину (почему бы это, интересно?); Институт Мировой Литературы не создал историю литературы; Советская Энциклопедия никуда не годится — и т. д.

— А теперь я покажу вам фокус, — сказала А. А., окончив излагать речь Суркова. Из той же сумки она достала газету и протянула мне. — Раз, два, три! Читайте — вот тут, на сгибе.

Я прочла: «С большой речью выступил тов. А. А. Сурков».

— Совершенная правда, — сказала А. А. — Пресса не лжет. Я свидетель. В самом деле выступил, в самом деле Сурков и в самом деле с большой. Точка. Все» (Л. Чуковская. Записки... 1991. 2. 214).

Таким же фокусом в 1934 году была фраза: «О недостаточно активных попытках наших поэтов переработать свое сознание для преодоления отставания поэзии говорил в своем выступлении С. Городецкий» (На всесоюзном поэтическом совещании // ЛГ. 1934. 26 мая). О ней в «Листках из дневника»: «А в это время бывший синдик Цеха поэтов, бывший Сергей Городецкий, выступая где-то, произнес следующую бессмертную фразу: „Это строчки той Ахматовой, которая ушла в контрреволюцию“, так что даже в Литературной газете, которая напечатала отчет об этом собрании, подлинные слова оратора были смягчены. (См. „Литературную газету“

1934 года, май)». На самом деле Городецкий (которого председатель прерывал: «Ваше время истекает»), скомкав свой план, сбивчиво (правда, цитируем по направленной стенограмме) говорил:

«Отражение должно быть не непосредственное. Что получается, когда мы имеем непосредственное отражение? Получается тот тип, который ярче всего можно выразить именем нашего блестящего поэта — Пастернака, то, что давно выражено латинской формулой — быть значит понимать. Мы видим мир, показанный с полной осязаемостью, в стихах Пастернака меня захватывает полная осязаемость, конкретность каждой вещи. Но в итоге получается картина, записанная им же: Клозеты, стружки, [взрывы перебранки, Рубанки, сурик, сальная пенька. Пора б уж вон из войлока и дранки. Но где же дверь? Назад из тупика!]

Я знаю, что это сказано в контексте (*Пастернак*: Не все знают, что это длинная картина и притом реалистическая). Я хочу только сказать, что попытка передать непосредственное ощущение нового мира приводит к тому, что предметы окаменевают, превращаются в самоцель и тем самым до некоторой степени блекнет реальность, тот мир, который мы хотим познать.

Что получается, когда поэт пытается найти отражение цельное? Получается та замена, которую допустили очень многие. Мы спорили с символистами, когда они говорили, что роза — это пылающее сердце. Мы говорили, что роза — конкретный цветок, имеющий запах, цвет, вкус и т. д., но на этом мы успокоились. Мы пытались поймать цельность этой розы, — это было не диалектично, и не жизненно, потому что роза это есть прежде всего семя, это есть расцвет ее, это есть опадение ее и т. д. Этого мы не видели и что получилось? Михаил Зенкевич — поэт высокой квалификации, отличный поэт, очень заблудился, и ему было бы очень полезно слышать то, что говорил Н. С. [Тихонов] Он определенным твердым шагом пошел к действительности, к тракторам, к землечерпалкам, он попытался поймать все это в свой поэтический горизонт и — не вышло, получился до известной степени механицизм. Я очень жалею, что я не знаком с поэмой Кирсанова „Робот“, но, судя по тому, что рассказывала товарищ Усиевич, я боюсь, что там есть опасность также уклониться в механицизм. Таким образом, в одну и ту же ошибку впадают поэты, идущие по разным путям.

Было бы интересно остановиться на Владимире Нарбуте, но, к сожалению, время не позволяет. Я только обращаю Ваше внимание на тот подход, который он берет в своей теории. Он ищет себе спасение от этого мнимозельного мира в науке. Он думает, что если поэт пойдет в науку, где огромное количество новых связей, он раздробит этот мир и как-то обогатится. Это — неверно, потому что между наукой и поэзией непроходимой черты нет.

Очень драматическое положение Мандельштама — поэта неплохого, с полным голосом, с большим опытом и настоящей культурой слова. Он заблудился на этом пути. Он воспринимает мир как цельность, но он заблудился между объектами и субъектами, он видит центр в самом себе и, таким образом, возвращается к предпосылкам семантизма <так! — Р. Т.>.

Огромный поэт — Анна Ахматова, поэт, который ушел в молчание или контрреволюцию (*Голос с места: Для того, чтобы так говорить, нужно знать*). Она в поэзии не участвует, потому что не нашла выхода на том же пути из тех же ошибок» (РГАЛИ. 631 — 1 — 148. Л. 221–223).

№ 1273 К МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ.

Поэт Герасим Левин-«Лугин» (1900–1941; пал в Риге от рук местных нацистов при приближении немец. войск), чьи восп-ия о Гумилеве (Даугава. 1988. № 11) и стих-ие о Гумилеве (Тынянов. Сб. 13. 2009. 306. 336–337) я перепечатывал, написал для латыш. журнала (Daugava. 1929. № 9) очерк «Культиваторы русского слова» — о Мандельштаме, Пастернаке, Сельвинском. О первом бывший ученик В. Жирмунского по Саратов. ун-тету писал: «Мандельштам и некоторые другие акмеисты продолжали линию, начатую Кузминым, который не отказывался воспевать «прогулку, сабли во льду, поджаренную булку и вишен спелых сладостный агат». Нет тем, которые были бы недостойны поэта. И мы находим в книге «Камень» стихи, посвященные бульварному кинофильму, игре в теннис, поеданию мороженого в киоске и т. п. Если всех поэтов можно делить на романтиков и классиков, то Мандельштам со своим объективистским восприятием жизни, в своем слиянии с внешним миром, в самовыражении через изображение внешне-го мира и со своей силой выразительных средств должен быть причислен к классикам. Его темы в упомянутой книге, как я уже сказал, мелки, незначительны, ибо:

И гораздо лучше бреда
Воспаленной головы —
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.

Стиль поэзии Мандельштама напоминает карандашную графику: в ней нет красок, но есть острые, определенные контуры. В его стихах почти никогда не обозначен цвет предмета: редко-редко встретится слово «серый» или «зеленый», и это почти все. Луна — «светлый циферблат», Европа — последний материк, который выброшен водой, как средиземноморский краб или морская звезда, храм Господень — как легкий паук-крестовик.

Но Мандельштам в очень малой мере воспринимает мир прямо: природа и весь первичный мир его не сильно интересуют. Острее и тоньше он чувствует явления искусства. В лучших из его стихов говорится о творении человеческом — об искусстве. И так как симпатии его принадлежат не цвету, а линии, естественно, что поет он не о картинах, а об... архитектуре: римской базилике, константинопольском храме Айя-Софии, парижском Нотр-Дам, как, конечно, и о петербургских зданиях. Но больше всего его привлекает Рим. В одном стихотворении он величает Петербург «девичьим Римом на берегу Невы». Даже говоря о природе, сравнения он берет из мира искусства.

Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера...

Эти два стиха очень характерны. Большая часть поэтов поступает так, что менее известный предмет изображают с помощью более известного образа, и потому они бы сказали, что в гомеровской метрике есть долгота, подобная той, которая есть в природе, а у Мандельштама процесс постижения идет в обратном направлении: от искусства, от менее знакомого, к природе, к более знакомому.

Он воспевае Баха, Шуберта, Бетховена. И в прозе он возвращается к музыке («Египетская марка», «0 поэзии»). В ней он чудесно описывает концерты на Рижском взморье (дни мандельштамовского детства связаны с Ригой и со взморьем в Майори), и там мы находим исключительно тонкие суждения о музыке и композиторах.

Мы не можем здесь останавливаться на мандельштамовских технических приемах — на его великолепной инструментовке стиха и слова, которая заставляет русский стих звучать как латинский».

№ 1995 ТИПОЛОГИЯ / АРЕАЛ / ГЕНЕЗИС?

Музей в Инсбруке. Дж. Краффонара. «Геба поит орла Юпитера». Датируют сейчас 1830 г. (Giuseppe Craffonara, 1790 – 1837. Museo civico, Comune di Riva del Garda, 1991, [catalogo a cura di Marina Botteri, Barbara Cinelli, Fernando Mazzocca]. «Весенняя гроза» напеч. в янв. 1829 г. В связи с Тютч. обычно вспоминают, естественно, «Гебу» Державина (Эйхенбаум. 1916; Серман. 1967), статуэтку из Муранова. Геба, «в Олимпе чашница» (Языков), — популярный в 18 в. костюм и реквизит дамского портрета (Натьер, Рейнолдс, Jean François-Marie Huet-Villiers, ср. Andor Pigler. Barockthemen. Budapest, 1956, но неполно, неполно). Как пишет директор Нац. Галереи, подавальщица нектара вроде бы ни в чем неприличном не замечена, так



что дамам было в охотку ассоциироваться с ней, а мужья и отцы были польщены темой грациозного и чинного услужения мужским потребностям (Nicholas Penny ed., Reynolds, Exh. Cat. RA, L., 1986. 251). У Лампи в этом костюме сидит Е. Долгорукова (ГТГ), протягивая чашу невидимому орлу, а на другом его портрете в Дармштадтском музее за дамой (теперь выяснилось — Е. Рибольер) сидит «агрессивного вида» (Un ritrattista nell'Europa delle corti. Giovanni Battista Lampi (1751–1830). Trento, 2001. 311) орел на фоне предгрозового неба. У Юзефа Пешки (Теофилия Радзивилл в костюме Гебы; Краков) тоже вдали вроде тучи с молниями. И т. д. (Гаспаре Ланди,

Анжелика Кауфман и др.). Но композиция Краффонары — вид сверху сквозь наливающую Гебу на далекую землю, на которой маленькие человечки радуются, как в другом стихке из хрестоматии, что «золото, золото падает с неба», — из всех мною виденных уникальна совмещением этих двух планов, как и «Вес. гроза». Небо у Краффонары какое-то серо-зеленое — ср.: «В начале мая иногда грохочет гром, но небо отнюдь не бывает при этом голубое, голубого никогда не бывает во время грозы — ни в мае, ни в другом месяце. Очевидно голубое оказалось из-за рифмы...» (Крымов В. Обрывки мысли. Берлин, 1938.83).

№ 1553 РЕЗОНАНСЫ «ЕГ. МАРКИ»

В 1961 сестра М. Л. Лозинского Елиз. Миллер прислала В. Ф. Маркову (текст сообщил мне Ж. Шерон) из Южной Африки образцы питерского фольклора времен ее молодости — анонимный «Лес рубят...» (Г. Галиной; «приписывали его даже К. Р.») и вариант «Нагаечки»:

«Над Невую рекой
Молчаливой четой
Пара сфинксов стоит, удивляется, (м. б., ухмыляется, не помню)
Фараоны кругом
Всех колотят кнутом,
Пирамидов прохвост забавляется

(Автор также неизвестен, и время появления этого произведения также 1905–1906 гг. Как известно, в России полицейских называли почему-то фараонами, а в то время полицмейстером, по странному совпадению, был Пирамидов. Дальше я не помню, были еще куплеты, и каждый сопровождался припевом:

Нагаечка, нагаечка, нагаечка моя,
Нагаечка, нагаечка, восьмого февраля

Как известно, восьмое февраля день С.Петербургского Университета и, возможно, что беспорядки произошли в этот день. Мотив припева был очень веселый). Я никогда левым настроением заражена не была, но первое стихотворение запомнилось из-за его красоты, а второе было комично по своему совпадению — фараоны и Пирамидов. Также всех поразило, что раз взвод жандармов или конной полиции проходил по Египетскому мосту, который от колебания (он был цепным) провалился, что очень обрадовало левую часть публики».

Действительно, Ег. мост через Фонтанку, рухнувший под эскадроном Конногвард. полка 2 февр. 1905, стал не только школьным примером губительности резонансных колебаний, но и либеральной аллегорией, дожившей до времен А. Галича. Сфинксы и фараоны (куплеты и разгон студ. демонстр. Пирамидовым относятся еще к 1899) вкупе с провалом моста составили существенный «политический» слой «ег. темы» (которая была, конечно же, неременной составляющей петерб. разговоров: «Я говорила, что ступени на реках Петрограда напоминают входы в подземелья египетских пирамид» — Гильдебрандт-Арбенина О. Девочка, катящая серсо. 160) петерб. текста (ср. воспоминания В. А. Верещагина о 1917: «Мне памятно, напр., заседание, на котором писатель Сологуб убеждал бросить в Неву украшающих Академич. набережную сфинксов, воплощающих ненавистное владычество фараонов...» (Свобода. Варш. 1920. 14 авг.). Эти мотивы египетского государственного камня (как и «ассиро-вавилонского») бросаются в глаза в карикатурах сатирич. журналов 1905-07 гг. Кстати, к фразе «Ег. марки» — «Страшная каменная дама „в ботиках Петра Великого“» — см. карикатуру с лицом Петра Великого как солнцем, встающим из-за моря, бороздимого жалким «дедушкой русского флота» справа и с ботинкой под Андреевским флагом слева, ее можно увидеть на сайте Йельского ун-та в коллекции рус. сат. журналов: обложку третьего номера «Гудка» февраля 1906 года — <http://beinecke.library.yale.edu/digitallibrary/>, Image ID: 1075498.

№ 2012 УРОК КОММЕНТАТОРУ!!

О ужас! В статье в ч. Ю.Цивьяна у меня дичайший ляп (От слов к телу. 2010. С. 340). Фразу из рассказа Городецкого (1914) — «Тут нет ни Шопена, ни головки Асти на стенах, ни дешевого фарфора на столе и этажерке, ни альбомов с открытками, ни абажура на лампе» — я неверно понял, молча (!!?) исправил (!!!) «Асти» на «Асты», подумав на Асту Нильсен. А это просто Анджело Асти (1847-1903), мастер женских головок.

Я попал на такое минное поле для комментаторов — итальянские живописцы, некогда знаменитые и потом забытые. А ведь когда-то сам писал про непроясненного комментатором Балестриери (Новые безделки. В ч. Вацуро. 1995). Кстати, о нем в связи с темой экфрасиса (интересной юбиляру) в рус. стихах нач. XX в. Сей Лионелло Балестриери был маскоттой сомнительного вкуса. Дон-Аминадо брезгливо вспоминает: «Никакого художественного беспорядка, ни чёток, ни кастаньет, ни одной репродукции Балестриери на стенах, ни Льва Толстого босиком, ни Шалапина с Горьким в ботфортах...» (Д-А. Поезд на 3 пути. Изд. Чехова. 1954. 148). И в стихах его:



Над Шаляпиным, налево,
 Босиком Толстой висит.
 А под ним Балестриери
 Под названием: «Моросит»

(Д. А. Накинув плащ. 1928. 82); на самом деле — «Морозит» («Il gelo»); это часть серии, следующая — «Оттепель» («Il disgelo»); на рус. открытках: «Морозит — разлад», «Тает — примирение»). Ср. в прозе Ив. Аксенова: «Скрипач Баллестриеревского <sic!> Бетховена по-прежнему в рамке красного дерева поворачивал спину Острову Мертвых» (Из творч. насл. Т. 2. 2008. 174) — сенсация парижской и венецианских выставок 1900–1901 гг.: в мастерской художника на заднем плане мы видим двух музыкантов, исполняющих пьесу для скрипки и фортепьяно; три молодых художника и молодая дама, — предположительно, возлюбленная одного из них — экстатически внимают магической гармонии великого поэта звуков, чья портретная маска висит на стене (Thieme-Becker. Allg. Lex. der Bild. Künstler. 2. 409). И у Сергея Горного про приемные петербургских врачей — «Остров мертвых» «и (понятно) Баллестриери <sic!> («Бетховен»)» (Горный С. Мысли вслух. Руль.1930.2769).

Экфрасис же принадлежит киевлянину Павлу Пихно (1880–1919?), еди-
ноутробному брату В. В. Шульгина, — в его сборнике (подписанном «Paul
Viola») «Прелюдии творчества» (1907):

К картине Балестриери «Манон Леско»

Седые сумерки настали,
Холодный день в свинце погас,
И счастье в трауре печали
Явилось к нам в последний раз...
Я знал, что с радостью, больная,
В моих руках ты б умерла,
Как эта зорька золотая
В свинцовых тучах отцвела...
И щеки бледного виденья
Я прижимал к груди тесней,
Ведь ты просила лишь мгновенья
Вдали от жизни и людей...
Забылась ты, а солнце скрылось,
Темнело поле, в мгле ночной
Дорога лентой затаилась...
И вдруг явилась предо мной
Старуха с мертвыми глазами
С лицом недвижным и немым -
Та, что всегда властна над нами,
Над всем небесным и земным:
Судьба явилась в ночь глухую,
Без слов, лишь думую одной
Пришла сорвать тебя больную
С груди наполненной тобой...
Забылась ты, но перед роком
Грудь беззащитная твоя
Была полна одним пороком:
В ней сердце билось для меня...
А я словами без значенья
Молил в безумьи без границ,
Чтоб до последнего мгновенья
Не поднимала ты ресниц,
Чтоб лучше, хрупкая, больная,
В моих руках ты умерла,
Как эта сказка золотая
В свинцовых тучах отцвела...



Это — перед концом возлюбленной, которую вскоре Де Грие попытается закопать шпагой, что у Кузмина восхитило Марину Цветаеву («— А я пятнадцати лет читала ваше „Зарыта шпагой — не лопатой — Манон Ле-

ско!» . Даже не читала, мне это говорил наизусть мой вроде как жених <...> И когда я от него же узнала, что есть такие, которых зарывают шпагой, такие, которые зарывают шпагой — „А меня лопатой — ну нет!“... И какой в этом восхитительный, всего старого мира — вызов, всего того века — формула: „Зарыта шпагой — не лопатой — Манон Леско!“ Ведь все ради этой строки написано?» — Незд. веч.), сестру большой любительницы открыток Балестриери («кто еще теперь помнит их? Целая эпоха в жизни таких вот и постарше девочек, как была тогда я» — Ан. Цветаева. Воспоминания. 2-е. 1974. 295): «Мы шли, не останавливаясь, насколько позволяли силы Манон, то есть около двух миль, ибо несравненная моя возлюбленная неуклонно отказывалась сделать привал. Наконец, изнемогая от усталости, она призналась, что дальше идти не в силах». В похожей позе они изображены и в мечтах композитора на полотне Балестриери «Масне, творящий оперу „Манон“».

ПОКА БЕЗ НОМЕРА

Левый пролетарский литзадира Георгий (Жорж) Горбачев, чей «куафер Жозеф», появившийся в журнальном абзаце недалеко от имени Мандельштама, мог быть (по принципу: чем черт, — последний чудный черт интертекстуальности, — не шутит) спусковым крючком для щелчка «парикмахера Франсуа» (Что вдруг. 541–542), у себя дома все оглядывался на стиховые формулы О. М., примеряя их пригодность для описаний и предсказаний судьбы своей и своего поколения — сужу по его переписке с литсоратником Г. Лелевичем, тоже маявшимся под гнетом своей репутации бывшего троцкиста. Здесь не без эзопова языка обсуждалась тактика интриг, потом — очередных самобичеваний, раздавались чистосердечные признания в уклонении от марксизма, фиксировались опасения. Сосланному в Саратов оппозиционеру 10 февраля 1927 сообщалось: «Есть слухи о моем переходе на твое положение (в плане территориальном) очень упорные. Виной, понятно, известный мужчина с специфически-женской „социальной функцией“» (РГАЛИ. 1392-1-48. Л. 26; вероятно, приписываемые Ленину слова о проститутке Троцком появились в партфольклоре раньше, чем это считают лексикографы). В мае 1932 Горбачев удручен отступничеством соратников: «Душевно сожалею покойного Пса Когана. Умер он, конечно, раньше. Грехов у него было много (не простится ему приветствие Санину в стиле «Вех»), но последние 10 лет был, как умел, левым и всегда был честен, трудолюбив и полезен. Да, уходят старички, а мужи зрелые и к бою охочие? В литературе одни, по Блоку, «стареющие юноши» и притом стареющие неприлично быстро.

Неужели будет по Мандельштаму

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит.
И как *свою* ее произнесет

Но постановление ЦК, должно быть, разрушит этот литературный пессимизм» (РГАЛИ. 1392-1-50. Л. 88).

Уже несколько раз свергавшийся с командных высот, исключавшийся из партии, постепенно отодвигаемый от всякого руководства в литературе и имевший все основания предчувствовать свое, и своего корреспондента, и своей подруги будущее (всех убили в тридцать седьмом), «Морж», как его звали друзья, пишет 7 октября 1932 «Лелевичу на берега киммерийские», завершая письмо:

«В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина,
Здесь каждый час мы смертный воздух пьем
И каждый день нам смертная година*».

Встречая 1933 год: «Вообще же, если обойдется без особых приключений, то в будущем году „и я высокое создам“. А пока зарабатываем деньги и право ходить среди „литераторов“, никого не пугая» (РГАЛИ. 1392-1-150. Л. 85; приключение случилось годом позже: после убийства Кирова он был арестован и на свободу уже не возвращался).

26 февраля 1933 на открытке из Ленинграда в Москву, только что услышав, видимо, в числе прочих стихотворений и «Довольно кукситься...»: «Вдумываясь в творчество Пастернака и Мандельштама последнего времени (он читал массу новых стихов на вечере в Капелле), думаю, что было бы хорошо, если б кто-нибудь написал статью о ликвидации буржуазии как класса и как следствие этого — судорожных усилиях до конца буржуазных поэтов переделаться, оторваться от тонущего корабля, о надрывах, проклятьях, смешных и трагических попытках поспеть за новой жизнью и сравнил бы этих трагически-юродствующих рыцарей прошлого с другими, пытаю-

* К сожалению, больше пить нечего... Не продают. Пей впрок в Крыму и наслаждайся экзотикой...» Потом добавил к письму эпитафия — «Недалеко до Смирны и Багада, / Но долго плыть, а звезды всюду те же». Мандельштам. „Феодосия“» (РГАЛИ. 1392-1-48. Л. 168). Цитирует, как видим, без книжки; он славился памятью на стихи.

щими прижиться как растения-паразиты к чужому дереву, занимаясь небезуспешной мимикрией и подсовыванием враждебных идей под благовидным одеянием (тема объективного вредительства в поэзии и прозе)» (РГАЛИ. 1392-1-48. Л. 169; судя по этой переписке, он метит здесь в Каверина, к которому мог иметь счет еще за изображение литдателя Жоржа в вообще эпатажном «Ревизоре»).

Наконец, из Коктебеля летом 1933 года — опять «Феодосия» по памяти: «4) здесь по Мандельштаму — «ежедневно дует ветер свежий» — даже надоело.

5) Кстати о Мандельштаме. Жил он здесь в июне. Приучил местного пса Бобика ходить к нему под окно жрать кости. Пес возьми да и приходи ночью. Костей нет. Пес воет, требует. М. в ярости. «Уберите пса! Он мне жить не дает! Или я или пес! Я его зарезу». Словом — истерика. Администрация решила пса удавить. Дети (в составе сына Мариенгофа, детей Десницкого, Томашевского и т. д.) собрались в глубоком подполье, где-то в балке и вынесли решение, запротоколированное так

Слушали

Кого резать Бобика или
Мандельштама

Постановили

Мандельштама

Так мало дети писателей нынче ценят поэзию. А тем временем стали давить пса почему-то публично. Мандельштам опять в истерику. Из-за меня давить пса! Да я лучше уеду. Оставьте животное!

Результат: пес жив, а Мандельштам уехал по одной версии из-за пса, по его словам — бухгалтеров много появилось, а вернее за окончанием срока.

6) В моей даче — 6 человек всего, и Мария Степановна принимает посетителей, гордо доказывая молодым, что М. В-олошин > первый открыл, что большевизм национальное явление (с одобрением такого большевизма), а кто постарше, так то же самое, но с иной интонацией по адресу «национального явления».

О ней же: Поехала в Москву о пенсии говорить. Возвращается. Ну что? — «Я думала с писателями поговорить, а меня к прокурору какому-то (<Л. М.> Субоцкому). Я никогда с прокурорами не зналась». Чья-то робкая реплика. «А А. Ф. Кони?» — «Ну, то было до 17 года».

7) Беседовал с Белым. Толкует гоголевскую тройку, везущую Чичикова, как символ торжествующей буржуазии, пугающей Гоголя тем, что за ней революция.

О Лермонтове — если бы не умер так рано, был бы во всем подобен Л. Толстому. О Блоке — был идиот в греческом смысле слова, т. е. мыслил для нас непонятно, алогично, хотя и с прозрениями.

Вообще, видно, Блока не любит. Ругает наших поэтов (Тихонова, Брауна) (См. Лит<ературный> соврем<енник> № 5) за отрыв поэзии от прозы. Нет-де грани по существу. С этим я согласился».

Что касается бухгалтеров, испугавших О. М., то одну деталь добавляет приписка на этом письме подруги Горбачева, Е. Я. Рабинович («Е. Мустанговой»): «...идиллический пейзаж, изображенный Моржом, значительно менее идилличесен благодаря подавляющему количеству ГИЗовских бухгалтеров и фотографов, не только отдыхающих здесь, но и выпускающих стенгазету с разоблачениями. Появление очередного номера, продергивающего жен, отдыхающих за счет ударников (!), вызвало за завтраком гневную филиппику Андрея Белого на тему о том, что „из социализма должны быть изъяты Смердяковы“. В своем гневе он был великолепен. Вообще же довольно скучно» (РГАЛИ. 1392-1-150. Л. 63–64 об).

№ 2013 К духу ИНТЕРТЕКСТУАЛИЗМА,

веявшему в окрестностях Башни. Ю. Верховский: «Е. А. Зноско-Боровский любезно обращает наше внимание на следующее обстоятельство, не отмеченное, кажется, до сих пор ни одним комментатором Лермонтова: последний стих лермонтовского „Кавказского пленника“ представляет собою точный перевод одного стиха из „Абидосской невесты“ Байрона, а именно: 'Where is my child?' — and echo answers — 'Where' (II, XXVII).

У Лермонтова:

‘Где дочь моя?’ и отзыв скажет ‘где?’

Заметим, что этот стих, воспроизводя и размер стиха „Абидосской невесты“, выделяется рядом с четырехстопным ямбом, каким написаны все отрывки поэмы Лермонтова» (Ю. В. Из истории лит-ры // Аполлон. 1910. 8. 54).

Другой разносчик этого духа — путаник Пяст. На строку Алексея Толстого (этого, как пишет Пяст, «малостихийного, но знавшего некоторые тайны творчества поэта») «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений твоих ты создатель» он отзывался как истый компаративист:

«„Ворон“ Эдгара По, например, прежде, чем застыть на бюсте Паллады в безупречно совершенных строфах Американца, предносился в воздухе не только в виде Perroquetto (попугай) поэмы одного миланского писателя, напечатанной в год рождения Эдгара По, но летал и над неизвестными россыпями персидской словесности и был, может быть, зачат „Вороном Одина“ скандинавской мифологии, хотя Э. По ни „Perroquetto“, ни персидской

поэзии, конечно, не знал» (Пяст В. Легенда о Дон-Жуане и «Севильский обольститель». [Июль 1916] // РГАЛИ. 998-1-3084).

О попугае. По мнению Даниелы Рицци, речь просто-напросто идет о книге: Gresset, Jean-Baptiste-Louis. Il parrocchetto. Poema del celebre sig. Gresset tradotto dal verso francese nel toscano. In Parigi: nella Stamperia italiana, 1761, выдержавшей ряд переизданий (Париж назван на обложке вместо Венеции). Поклонником этой вещи Грессе был, как известно, П-н, похоже, пытавшийся ее переложить. В 1910-е годы этими пушкинскими переключками занялся приятель Пяста (см.: Встречи. 1997. по указ.) Ал. А. Попов (Вир) совместно с Томашевским: Пушкин и франц. юмористич. поэзия XVIII в. // Пушкинист. II. 1916). В 1920 его перевели для «Всем. лит-ры», редактировал Гумилев.

Первый анекдот в жизни, который я запомнил, был «Попугай и электромонтер».

На возможное антитетическое соотношение вещей птицы с попугайчиком, наслушавшимся речей сквернословов и воспроизведшим их в женском монастыре, указывали издавна критики По, удивленные тем, что в «Падении дома Эшеров» Грессе внесен в ряд оккультистов, и называвшие Вер-вера «антиподом» баллады безумного Эдгара (См.: Sarah H. Whitman. Edgar Poe and his critics. NY. 1860. 37). Занимавшийся отголосками Грессе в пору онегинского комментария Набоков из-под полы отметил в «Пнине» переключку ворона с вервером, включив в десятку известных Пнину до приезда в США английских слов «nevermore» и дав ему два парижских служебных адреса — тот служил в Аксаковском институте на рю Вер-Вер и в книжной лавке на рю Грессе.

Чтобы закруглить все темы — ср. бывшего котрелёвского попинуку, не-вермором которого служило «рромочканетименчик».

А. Л. Топорков

Некоторые замечания по поводу переписки Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал

Отдельные письма Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал были известны и ранее, однако в таком объеме их переписка становится доступной впервые благодаря самоотверженной работе Н. А. Богомолова, М. Вахтеля и Д. О. Солодкой, которые подготовили тексты к изданию, прокомментировали их и снабдили вступительными статьями¹. Согласно общей нумерации, в публикацию включено 522 письма Вяч. Иванова к Л. Д. Зиновьевой-Аннибал и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал к Вяч. Иванову². Кроме этого, в основном тексте книги и в комментариях к отдельным письмам приведено большое число писем Л. Д. и В. И. к другим корреспондентам; например, на с. 713-739 1-го тома помещено 32 письма Л. Д. к М. М. Замятниной. Помимо писем, книга включает также фрагменты дневников Л. Д. и В. И. Общий объем переписки — около 1300 страниц — впечатляет своим фундаментальным характером. Каждое из писем и других документов сопровождается комментарием, включающим переводы иностранных текстов, необходимые пояснения, сведения об упоминаемых в письмах персонажах, атрибуцию литературных цитат и т. д.³

Письма расположены в хронологическом порядке и при этом композиционно разбиты по годам. Кроме этого, текст имеет «Интродукцию», включает пять «Интермедий», «Финал» и «Краткое прибавление после финала». Такая структура не только придает эпистолярному собранию стройность и законченность, но и делает ее неким подобием художественного целого.

Значение данной публикации прежде всего определяется тем, что исследователи получают в свое распоряжение колоссальный объем информации о жизни Вяч. Иванова на протяжении примерно десятилетия с 1894 по 1904 гг. На это время приходится такие знаменательные для поэта события, как его разрыв с первой женой Д. М. Дмитриевской и сближение с Л. Д., а впоследствии и венчание с ней; подготовка первого поэтического сборника Иванова «Кормчие звезды»; работа над его немецкой диссертацией, ученые занятия в Афинах; совместное путешествие Л. Д. и В. И. в Святую Землю; их проживание в Риме, Лондоне, Афинах, Париже и других российских и европейских городах.

Переписка создает необходимую фактологическую базу для реконструкции биографии Иванова в ранний («досимволистский», «добашенный») период его жизни. Она позволит будущим исследователям внести необходимые исправления в биографию Иванова, в свое время написанную О. А. Шор (Дешарт)⁴.

В письмах фигурируют многочисленные цитаты из Пушкина, Лермонтова, Гете, Ницше и других русских и зарубежных писателей и поэтов, что в совокупности позволяет судить о литературных вкусах и пристрастиях В. И. Письма дают ценный материал не только для комментария первой поэтической книги Иванова, которая в них многократно упоминается, но и для понимания его последующих поэтических и прозаических произведений. Мы видим, что целый ряд идей Иванова, сформулированных им в его статьях в общем виде, первоначально фигурировал в его письмах в драматическом биографическом контексте. Например, поразительное письмо от 5/17 июня 1895 г. раскрывает его взгляды на природу любви (1, 250–252). Читатель имеет возможность проследить, как характерная для Иванова высокая оценка «достоинства женщин» формируется в бурном противостоянии и одновременно страсти к Л. Д.

Эпистолярный роман. Переписка имеет глубоко личный, интимный, а подчас и драматический характер. В. И. в переписке с Л. Д. открывается с новой стороны, вызывая человеческое сочувствие.

Жизнь В. И. и Л. Д. напоминала роман, что отмечал и сам В. И.: «В моей передаче, краткой впрочем и совершенно правдивой, истории нас всех показались мне самому каким-то романом: подумай только — наша любовь, трагическая внутренняя борьба, отказ Д<арьи> М<ихайловны> своему обожаемому, преследования твоего мужа, наше полуизгнание... Моя этическая подруга была видимо импрессионирована нашей романтической историей...» (1, 477).

Роман В. И. и Л. Д. развивается на фоне Рима, Флоренции, Парижа, Берлина, Лондона, Женевы, Лозанны, Берна, других зарубежных городов

и сельских поселений, а время от времени он переносится в Москву и Санкт-Петербург. Европейские города, в которых оказываются В. И. и Л. Д., заполнены русскими, которые там работают, учатся, воспитывают своих детей и т. д. В целом переписка дает чрезвычайно живую картину жизни русских в Европе на рубеже XIX–XX вв. В одном из писем В. И. колоритно отражаются впечатления «русского европейца», возвращающегося на родину со словами: «Прощай, родная Европа...» (1, 215); здесь, конечно, пародийно переосмыслены слова М. Ю. Лермонтова «Прощай, немытая Россия...».

Основной сюжет этого эпистолярного романа связан с драматическим столкновением интересов и характеров мужчины и женщины (как бы сказали теперь, маскулинных и фемининных стереотипов поведения). Иванов время от времени пытается утверждать свое мужское превосходство, но тут же получает отпор и вынужден с ним согласиться. Сквозной сюжетный ход заключается в том, что Л. Д. настаивает на своем и побеждает, а Иванов сначала сопротивляется, но потом подчиняется ее воле, и именно в этом смиренном подчинении женщине проявляется его сила как мужчины.

Письма Л. Д. — это еще и памятник феминистского движения рубежа XIX–XX вв.; см., например, в письме Л. Д. к В. И. от 30 апреля / 12 мая 1895 г.: «Еще одно больно поразило меня в твоём письме, ты, конечно, не догадаешься, т. к. писал это совершенно бессознательно и бессознательно выдал свою „мужскую“ душу, кот<орая>, как и у всех Вас была, есть и будет нам врагом. Ты пишешь, что знай ты о намерении матери приехать „освободить“ дочь, „ничто в мире не заставило бы тебя отделить паспорт“. Ты знаешь, я краснею, когда читаю и пишу эту фразу. О, как живо напомнило это мне моего мужа! О, как Вы все похожи! Вы способны для защиты своего мужского деспотизма и самолюбия пользоваться даже „паспортной системой“ варварской России! Вячеслав, прочитав эти строки, да и всё письмо, я подумала: „О, какое счастье, что я не его жена, что я ничья жена и, видит небо Италии, я никогда ею не стану!“ Ну вот мне и легче стало, я всё выразила, что бурлило в душе моей» (1, 205–206). Не менее выразительны слова Л. Д. в письме к В. И. от 4–5/16–7 июня 1895 г.: «Не думаю, чтобы я еще когда-либо ожила для любви к другому. Слишком больно разочарование, а мужчины, вероятно, все наши враги» (1, 247).

Впрочем, с течением времени проблемы ревности и соперничества теряют свою актуальность. Переписка меняет свой характер: тема «рокового поединка» любовников уступает место тематике семейной жизни, ориентированной на воспитание детей и продолжение ученых занятий В. И. Все больше места занимает в письмах подрастающая общая дочь В. И. и Л. Д.

Лидия. Л. Д. описывает в письмах к В. И. свои материнские радости: ее волнуют проблемы кормления девочки, состояние ее здоровья и т. д.

В переписке вырабатывается своеобразный тип творчества, обращенного к одному-единственному человеку, который «знает», то есть связан с автором общими воспоминаниями, причем никто другой заведомо понять такой текст не может, поскольку лишен общей памяти с автором. В одном из своих писем Л. Д. точно описала эту ситуацию (речь идет о том, что Л. Д. попыталась читать матери свой роман «Пламенники»): «Третьего дня читала первую главу матери: она *ничего* не поняла, т. е. *ничего*, даже ни одной картины не поняла, и в „мечтах“ увидела лишь пейзаж. Я была даже импрессионирована и подумала, быть может, понимаем лишь мы с тобою, так как мы *знаем*, а другие *никто ничего* не поймет» (1, 486).

В переписке респонденты то и дело переходят с одного языка на другой; приводят отдельные обороты и фразы на французском, немецком, итальянском, английском. Некоторые письма целиком написаны по-итальянски. Литературные цитаты приводятся на языке оригиналов, часто с небольшими изменениями, призванными приблизить цитаты к текущей ситуации.

Эпистолярная культура. Переписка представляет интерес и как памятник своеобразной эпистолярной культуры, неотвратимо уходящей в прошлое в наше время мобильных телефонов и электронных сообщений.

Количество писем, которые пишут Л. Д. и В. И. друг другу и другим корреспондентам, просто поражает. Иногда одному и тому же корреспонденту пишут по два-три письма в день⁵. Иногда один человек пишет подряд множество писем разным корреспондентам. На это может уходить большая часть дня или даже весь день целиком.

Довольно часто письма пишутся в виде дневниковых записей или в виде отчета о проведенном дне. Когда такие письма следуют одно за другим, они создают подобие дневника. Возможна и другая ситуация: человек ведет дневник, но время от времени дает его прочитать своему респонденту. В первом случае письма сближаются по своей функции с дневником, во втором — дневник сближается с перепиской.

В некоторых письмах события описываются по мере того, как они разворачиваются вокруг автора письма. В этих случаях в письме создается своеобразная «хроника текущих событий», а адресат при чтении письма получает возможность ощутить непосредственное течение жизни своего респондента.

В принципе письма являются продуктом индивидуального творчества, однако они могут приобретать и черты творчества коллективного. На письмах Л. Д. к В. И. делают свои приписки другие родственники или

близкие. Если Л. Д. и В. И. находятся вместе, то они могут писать совместные письма общим знакомым или один из супругов делает приписки на письме другого.

Многokrатно возникают такие ситуации, когда В. И. ведет параллельно переписку с Л. Д. и с ее дочерью Верой, а также с М. М. Замятниной, которая живет вместе с ними. При этом респонденты В. И. могут показывать друг другу и свои письма к нему, и письма В. И. к ним. Поскольку все они участвуют в одних и тех же событиях, которые по-разному описывают в своих письмах к В. И., создается своеобразная игра точками зрения.

Грустные переживания вызывает временной разрыв между написанием и отправлением письма, с одной стороны, и его получением и чтением — с другой⁶. Необходимость писать письма вызывает скорее досаду и сетования на то, что они не в силах заменить живое общение; например, В. И. пишет Л. Д. 12/14 июля 1896 г.: «Писать ничего не хочется. Писать тяжело, когда в глазах только твой образ, в ушах — твой голос; письмо как будто отдалает свидание» (1, 461).

Письма вызывают обширную гамму чувств, преимущественно позитивно окрашенных, но подчас и весьма негативных. К первым можно отнести радость при получении и чтении письма, ко вторым — страх и тревогу из-за отсутствия письма⁷, негодование по поводу упреков респондента, сетования на его ревность, непонимание и «душевную тупость». Показателен эпизод, когда во время ссоры Л. Д. отсылает В. И. назад его письма, требуя, чтобы он перечитал их и вернул ей обратно, что он и выполняет⁸.

Ожидание поезда или почтальона, походы на почту для получения письма или его отправки, расчеты времени, когда может прийти письмо или когда лучше отправить его, чтобы оно пришло в определенный день, — все это становится важным фактором, определяющим образ жизни.

Письмо как материальный предмет связывает любовников и позволяет им переноситься в своих мечтах друг к другу; ср. в письме Л. Д. к В. И. от 1/13 января 1897 г.: «Наши чувства и жалости встретились: мой возлюбленный, я давно задумала послать тебе депешу, но т. к. рассчитала, что получишь мое письмо в вечер 31 Дек<абря>, то хотела послать депешу позднее, чтобы она пробудила тебя утром и ты ощутил бы тепло, как от моего прихода неожиданного, как от жара моего объятия. Твою депешу ношу на груди. Уже 11 час<ов>; я пришла на place Passy, т. к. отсюда я посылала тебе раньше письма и депеши, и здесь всё говорит о тебе и мучительно и сладко» (1, 528).

Сам процесс чтения письма описывается как непосредственное общение с его автором; см. в письме В. И. к Л. Д. от 11–12/24–25 декабря 1901 г.:

«Спасибо, детка! Точно твой голос слышал – через телефон, что ли? Словечки ласковые, на твоём языке, со всеми тонкостями их произношения, помогают этому впечатлению и, так сказать, сенсуализируют письмо, всегда как-то отвлеченное...» (2, 49). В его же письме от 12–15/25–28 декабря 1901 г.: «Сердце все время сжималось, пока читал, и когда кончил, почувствовал острую боль: как будто ты была все время, пока я читал, со мною и все говорила мне что-то нежное и очень скорбное, и вдруг тебя опять нет, опять разлука...» (2, 55).

Помимо самого содержания писем, значимы также некоторые материальные параметры: выбор цвета бумаги⁹, выбор между письмом и открыткой, почерк, запах. Вместе с письмом иногда посылают засушенный цветок; письма специально опрыскивают духами, чтобы они сохранили запах отправителя. «Запахи» посылают также в посылках в виде подушечек с ароматными травами.

В письмо вкладывают подчас листочки с текстами стихотворений или чужие письма; в этом отношении оно отчасти сближается с посылкой. Отмечены также случаи «неподобающего» обращения с письмами: их целуют¹⁰, на них плачут, от чего на бумаге остаются пятна и буквы расплываются¹¹. Свое письмо к Л. Д. от 4/16 мая 1895 г., В. И. завершает словами: «Посылаю тебе бесконечные страстные поцелуи» (1, 215). Как сообщают комментаторы, «диагонально по отношению к последним двум строкам письма о «бесконечных страстных поцелуях» имеется четыре значка в виде больших и неровных точек. Видимо, таким образом изображаются поцелуи» (1, 215, прим. 4). Л. Д. подчас берет письма с собой в постель, отправляясь спать, и испытывает от этого эротические переживания; ср. в письме Л. Д. к В. И. от 12/24 декабря 1886 г.: «Стихи твои прелестны и ужасно остроумны. Я в них влюбилась. Я спала с ними и с твоим письмом и утром проснулась оттого, что мне стало очень, очень хорошо. Странно, правда? Письмо было на простыне со мною» (1, 486)¹².

Письма хранят, перечитывают их по несколько раз после получения¹³, а впоследствии возвращаются к ним снова¹⁴. В некоторых письмах В. И. Л. Д. подчеркивает отдельные фрагменты и делает приписки. Например, в письме В. И. от 10/22 марта 1895 г. Л. Д. подчеркивает карандашом фрагмент, выделенный курсивом: «...во мне нет вообще чувства добра и зла, а есть только одно фатальное сознание своего *однажды навсегда данного я, которое, я знаю, приведет меня в жизни еще ко многому хорошему и ко многому дурному, но всегда так, что я буду в каждом своем решении и поступке, мысли и слове, так же как до сих пор, чувствовать его фатальную необходимость, его роковую обусловленность законами моей личности*» (1, 171). Сверху Л. Д. делает позднее приписку черными чернилами: «С та-

кою натурою, надо, очевидно, честному человеку избегать вплетать свою судьбу с судьбою другого чело-веческого> существа, чтобы не приводить его после нескольких мгновений счастья к грани отчаяния и неверия» (1, 172, прим. 2).

Дети сначала только фигурируют в письмах родителей друг к другу. Их физическое присутствие в самих письмах пока минимально. Например, однажды Л. Д. обводит на бумаге ножку дочери Лиды и отправляет бумагу в виде письма В. И. Однако с течением времени дети и сами включаются в переписку. Они делают приписки на письмах матери, адресованных В. И., или пишут письма самостоятельно. Такие детские письма, подчас наполненные орфографическими ошибками, становятся для детей не только средством выразить свои чувства к отсутствующему отчиму и отцу, но и практикой в овладении русской орфографией и эпистолярными формулами.

Переписка и «Повесть о Светомире царевиче». В свете опубликованной переписки «Повесть о Светомире царевиче» предстает как своеобразный памятник Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Для читателя переписки очевидно, что в образе Гориславы Вяч. Иванов воплотил воспоминания о своей возлюбленной. Горислава сочетает в себе те же противоречия, что и Л. Д.: это страстная натура, в одно и то же время язычница и христианка, праведница и менада. По существу Горислава разговаривает с Лазарем словами из писем Л. Д. к В. И. Хотя действие «Повести» отнесено к условно понятой эпохе Древней или Московской Руси¹⁵, психология главных персонажей — прежде всего Гориславы и Лазаря/Владаря — отчетливо имеет «декадентский» характер, в котором можно различить и следы знакомства автора с психологической прозой XIX в. (прежде всего с романами Ф. М. Достоевского), и следы символистского жизнетворчества.

Следует отметить, что переписка с Л. Д. хранилась в России и не была доступна Иванову в то время, когда он работал над «Повестью». Таким образом, он не имел возможности перечитать эти письма, даже если бы испытал такое желание. Очевидно, формулировки разговоров с Л. Д. и писем, в которых эти разговоры находили свое продолжение, актуализировались в памяти Иванова, когда он решил воплотить свои воспоминания о Л. Д. в образе Гориславы. Характерно, что в «Повести» к письмам Л. Д. восходят только отдельные формулировки (мотивы, словосочетания), а не фрагменты большего объема.

Всего мы обнаружили пока 14 таких параллельных мест между письмами Л. Д. к В. И. и «Повестью о Светомире царевиче». Приведем их в виде таблицы.

Обобщенное содержание (мотивы, формулы)	Письма Л. Д. Зиновьевой-Аннибал к Вяч. Иванову	«Повесть о Светомире царевиче» ¹⁶
Чтение потаенных мыслей другого человека.	Мы долго молчали. Потом он <В. И.> стал говорить обо мне. Он говорил, точно читал мои собственные мысли, мысли, которых я так боюсь (1, 99) ¹⁷ .	И вспомнилась ему <Лазарю/ Владарю> Горислава на дубравной прогалине, как песни ему пела колдовские, зазывные, и в очи ему зазывно глядела очами ласковыми и волшебными, и теми волшебными очами потаенные письма в сердце его читала... (I, 12, 2).
Чтение в чужой душе, как в книге.	«Я читала тебя, как книгу, переворачивая страницу за страницей с жадною любовью, и вдруг остановилась. Для меня открылась последняя страница. Книга выпала из рук, дальше читать уже нечего» (1, 241).	Отвечала Отрада: „Читаешь ты в душе моей, как в книге отверстой, отче, и ничего мне от тебя не утаить...» (III, 6, 9).
Близость любовного чувства и желания покончить с собой.	...я знаю лишь одно: если не уничтожу в себе физическую жизнь самоубийством, я буду твоею во что бы то ни стало, если ты возьмешь меня, конечно. Среднего исхода нет (1, 142–143). О мой возлюбленный, я умираю. Какая нелепость посылать меня к докторам. Ты, ты убиваешь меня, но я не смерть проклиная, а жизнь, которая не хочет кончиться. <...> Ныне отпускаши раба твоего, Господи, с миром... Больше ничто не удерживает меня (1, 192).	<Слова Отрады> Чего, чего мне лукавый не нашептывает: сказать заторно. На колдовство и срамоту подушает. Сотри, — говорит, — змею в пыль, с рудою-кровью смешаешь, да раздешься перед Лазарем донага, да попляши, да тою кровью его и обрызжи; как вострепанный вскочит, и тебя одну любить будет. А чаще убиться велит: ты, говорит, проклятая; сердца нечистотою и себя и Лазаря погубила; одно тебе осталось — руки на себя наложить (II, 7, 25–27).

Обобщенное содержание (мотивы, формулы)	Письма Л. Д. Зиновьевой-Аннибал к Вяч. Иванову	«Повесть о Светомире царевиче» ¹⁶
Любовники/ супруги глядят в глаза друг другу.	Ну, сцена кончилась, мой гнев выдохся, и я любовно беру тебя за обе руки и гляжу тебе в глаза, мой возлюбленный (1, 174). Я бы хотела видеть тебя, чтобы спросить тебя, глядя в глаза твои: любишь ли ты меня, любишь ли? (1, 206).	И вспомнилась ему <Лазарю/ Владарю> Горислава на дубравной прогалине, как песни ему пела колдовские, зазывные, и в очи ему зазывно глядела очами ласковыми и волшебными, и теми волшебными очами потаенные писмена в сердце его читала... (I, 12, 2). Молитву сотворивши, стали супруги перед иконами и заглянули друг дружке в очи (III, 5, 1).
Жизнь без любимого/ любимой подобна смерти.	Не знаю, друг мой, снесу ли я живую жизнь в гробу (1, 179).	<Слова Лазаря/Владаря> Живой о живых жалеет, по мертвым плачет; а я-то жив ли воистину, и сам того не ведаю (I, 20, 7).
Лучше грешить, чем лишиться любимого.	Вся жизнь моя была чиста. Я ошибалась разумом, но не грешила чувством. Теперь, теперь страсть погубила меня. Я согрешила. <...> Да, Вячеслав, я Магдалина, но я несчастнее Магдалины. У меня нет Христа и нет пути помимо грешного, т. к. я создана не для святости, а для греха, и лишь любя я живу и расцветаю (1, 184–185).	<Слова Отрады Лазарю/Владарю> Лучше согрешить хочу, нежели тебя лишиться (II, 7, 33).
Любовь к верховой езде.	Я не боюсь и никогда не пугаюсь никаких опасностей, я браврирую их на лошади, на море и перед людьми всякого рода... (1, 221).	Подруг у Гориславы не бывало, одиночество ей не докучало: по степи любила скакать, да травы степные собирать... (I, 8, 9). Удержу ей не было: на коней необъезженных вскакивала, быков бодливых в стаде дразнила (II, 7, 4).
«Бешеная» подруга.	Ты будешь тосковать по своей «бешеной подруге», да, именно бешеной (1, 238).	Всю руку я себе в те ночи зубами искусила, волчица бешеная (I, 18, 7).

Обобщенное содержание (мотивы, формулы)	Письма Л. Д. Зиновьевой-Аннибал к Вяч. Иванову	«Повесть о Светомире царевиче» ¹⁶
Человек осмысляет самого себя в прошлом как другого человека.	...совершилось что-то роковое, бесповоротное, и я уже не та: я умерла, а воскресло другое существо, которое с благоговением вспоминает жизнь первого, умершего существа и с ужасом вдмывается в свою (1, 233).	...и мнилось ему, не его те грехи, но другого, ему порученного и им небрежного, но омытого от них чьею-то сильною молитвою (II, 19, 3).
Признание в любви: «ты один для меня».	Быть может, встретится на моем пути человек, который не скажет мне: «Я люблю тебя больше другой», а скажет мне: «Я твой, и пока горит любовь к тебе, ты одна для меня, как я один для тебя» (1, 242).	Без утайки скажу: люб ты мне, змееныш! Один на всем свете люб (I, 9, 12).
Женщина воспринимает страдание как удар ножом в сердце.	Приехав в Берлин ты бросился к перу и так просто, так наивно, и честно, и цинично вонзил мне острый нож в сердце, ударил меня по щеке (1, 245).	Восстенала я, услышавши слово сие, что как оружие острое грудь мою пронзило, и уста мои грешные, ропотливые, пролепетали: А я что? Ответствовал старец, и словно оружие то в груди моей повернул, но и льдину сердца моего упорного и мятежного как в огне растопил: Мир ти, дщи! (IV, 12, 9–10)
Женщина утверждает, что она пара своему возлюбленному.	Мы с тобой, мой возлюбленный, пара, мы оба не очень честны, но очень правдивы (1, 273).	Я тебе и в любви, и на царстве чета (I, 9, 12).
Формула «в нас одна кровь».	В нас одна душа, одна кровь течет (1, 390).	Кровь кровь кличет, чужой не хочет (I, 9, 12).
Бездеятельный мужчина сравнивается с Ильей Муромцем, сидящим на печи.	Видишь, всякий мозгляк опередит тебя и понемногу разные улитки доползут до тебя, пока ты лежишь, как Илья Муромец (1, 430).	С постели воспрянешь, богатырем могутным обернешься, как Илья Муромец, что тоже не мало годков за печкою сиднем сидел (II, 7, 15).

Жизненный опыт, который приобрел В. И. в процессе общения с Л. Д., оказал важнейшее влияние на формирование его личности. Переписка В. И. и Л. Д. должна быть осмыслена не только утилитарно (как источник информации), но и как своеобразный психологический роман в письмах, драматическая история любви, поисков и обретений. Эта переписка представляет собой также творческую лабораторию Вяч. Иванова, в которой отработывались его навыки прозаического письма, пригодившиеся ему впоследствии при работе над эссеистикой и «Повестью о Светомире царевиче».

¹ Иванов В., Зиновьева-Аннибал Л. Переписка: 1894–1903. М., 2009. Т. 1–2.

² Далее в целях экономии места используются сокращения: Л. Д. — Л. Д. Зиновьева-Аннибал, В. И. — Вяч. Иванов. Цитаты из издания: *Иванов В., Зиновьева-Аннибал Л. Переписка: 1894–1903* (М., 2009. Т. 1–2) приводятся с указанием тома и страницы арабскими цифрами.

³ Отметим, что, помимо тех явных цитат, которые имеются в тексте и отмечены в комментариях, в переписке присутствуют и скрытые цитаты, которые еще предстоит выявить и атрибутировать будущим исследователям.

⁴ Эта работа отчасти уже выполнена в недавней книге Н. А. Богомолова «Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах: Документальные хроники» (М., 2009).

⁵ Ср. в письме Л. Д. к В. И. от 21 июня / 3 июля 1896 г.: «Представь себе, Славинька, что я пишу тебе третье письмо сегодня. Вот что значит тоска! А ты не пишешь» (1, 395).

⁶ Ср. в письме Л. Д. к В. И. от 12/24 мая 1895 г.: «Милый, вот уже неделя, что я не имею слова от тебя, и скоро ли еще увижу твой почерк? Да и когда увижу, что скажут мне эти мертвые черные знаки, начертанные много дней назад тобою?» (1, 221).

⁷ См., например, в письме В. И. к Л. Д. от 19 апреля / 1 мая 1898 г.: «Милая Лиля, сколько мучений пришлось испытать из-за того, что ты вчера оставила меня без письма! Все мы избегались на почту после каждого поезда!..» (1, 574).

⁸ Об этом эпизоде см.: 1, 235, примеч. 2.

⁹ 3/15 мая В. И. пишет Л. Д.: «Голубые письма твои кажутся мне в Берлине голубой, тихо журчащей водицей. Они очень прохладны. Правда, после Италии мне здесь вовсе не жарко; но вскоре это будет по сезону. Впрочем, для остужения внутреннего, сердечного жара они уже очень полезны; и во всяком случае утоляют на время мою страстную жажду тебя, твоей близости, твоей речи, твоих ласк. Твой В. В Москву пиши на голубой бумаге (я все же люблю твои голубые письма); но конверты пусть будут лучше белые» (1, 213). Как отмечают комментаторы, «большинство писем Зиновьевой-Аннибал этого периода написано на голубой бумаге и вложено в голубые же конверты, однако время от времени из-за нехватки письменных принадлежностей она использовала белые бумагу и конверты» (1, 214, примеч. 12).

¹⁰ См., например, в письме В. И. к Л. Д. от 13/25 марта 1895 г.: «Лидия, возлюбленная, как жаль, что ты делаешь мне сцены письменно, а не устно: тогда бы я мог отвечать на них поцелуями, теперь же я осыпаю поцелуями твои строки, но ты не чувствуешь убедительности моего ответа» (1, 177).

¹¹ В письме к В. И., написанном в ночь со 2 на 3 / с 14 на 15 июня 1895 г., Л. Д. описывает свое отчаяние и слезы: «Да, я плачу, и плачу, и снова сон бежит меня...» (1, 241). Л. Д. плачет на бумагу и целует ее: «Сердце разрывается. Пусть слезы мои льются на бумагу. Смотри, они льются по тебе, из-за тебя. <...> Я целую эту бумагу» (1, 242). По словам комментаторов, письмо «написано невнятно и залито слезами» (1, 242). См. также в письме Л. Д. от 11/23 июня 1895 г.: «Я пишу, и рыдания мои сопровождают перу» (1, 259).

¹² См. также письмо Л. Д. к В. И. от 8/20 марта 1895 г.: «Пролежала в постеле <!> до часу дня. В постели, т. е. на моей кушетке, в моей прелестной, как храм красоты, комнате я получила твое письмо, мой возлюбленный. Перечитав его вволю, я прижала его к груди над сердцем, на то место, которое ты любил целовать, и я точно почувствовала тебя во всем существе моем. Какие странные, новые, полные, гармоничные впечатления заставляешь ты меня испытывать» (1, 168).

¹³ См. в письме Л. Д. к В. И. от 18/30 апреля 1898 г.: «Дорогой Кун, имею два твоих письма, перечитываю их три раза в день: утром, днем после завтрака, когда папа идет поспать, и вечером на сон. С тех пор, как имею их, мне стало значительно легче» (1, 572).

¹⁴ В письме к Л. Д. от 8/20 декабря 1896 г. В. И. рассказывает, как он перечитывает старые письма и сверяет даты знаменательных событий в своих отношениях с Л. И.: «Сейчас, найдя случайно старые письма, открыл дату нашей прогулки в Колизей: понедельник, 16-го Июля 94 г. — 17-го мы ездили в Тиволи; 18-го ты уехала в Швейцарию. 15-го ты была в Анцио. Какое совпадение с датой переселения в Булонь. В ночь на 16-ое Июля 95 г. мы, в Булони, окончательно сошлись» (1, 482).

¹⁵ Название страны, в которой разворачивается действие «Повести», в тексте не указано, но для читателя очевидно, что речь идет именно о Руси/России.

¹⁶ «Повесть о Светомире царевиче» цитируется по изданию: *Иванов Вяч.* Собр. соч. Брюссель, 1971. Т. 1. Римская цифра обозначает книгу, арабские — главу и номер стиха.

¹⁷ Цитируется запись в дневнике Л. Д. от 7 октября 1894 г. Следует отметить, что Л. Д. давала читать свой дневник В. И., поэтому в данном случае позволительно цитировать дневник Л. Д. наряду с ее письмами к В. И.

А. Б. Шишкин

Бакинская запись С. В. Троцкого в дневнике Вяч. Иванова 1924 года

Если попытаться назвать мемуарные свидетельства, в которых фигура Вяч. Иванова предстает в своей значительности и неповторимой сложности, то наряду с именами Андрея Белого, Н. Бердяева, М. Кузмина (см. его цикл записей о Башне в дневнике 1934 г.), Ф. Степуна, М. Альтмана, следует назвать Сергея Витальевича Троцкого (1880–1942, погиб в лагере). «Воспоминания» увидели свет в 1994 г. в собранном Н. В. Котрелёвым ивановском сборнике. Мемуары С. В. Троцкого содержат крайне интересные свидетельства о «башне» Вяч. Иванова, а также о его бакинских годах. Этот текст был написан в 1934 г. с большой временной, почти эпохальной, дистанции, в отрыве от собственного архива и, что наиболее существенно, от его дневников¹. Мемуары С. В. Троцкого представляют собой заметное явление как по глубине осмысления философского и этического потенциала русского символизма, так и по тонкости проникновения в богатый внутренний мир его героев. По-символистски многозначительно звучит последняя фраза «Воспоминаний»: «Над каждым годом, над всякой минутой жизни стоит как бы огненный столб бесконечности» (с. 73).

В строках одного стихотворного послания 1912 г. Вяч. Иванов смог дать С. В. Троцкому три на первый взгляд противоречивых характеристики: «помещик-дилетант», «теодицей тончайших рукодельник», «сердце — воск и ярая свеча»². Надо отметить, что слово «дилетант» в культуре серебряного века имело иной смысл, чем в нынешнее время. «В начале XX века в обеих столицах было много изысканно образованных знатоков и цените-

лей, — conoscenti и conoscitori. Они не делали из этого себе профессию, зато, свободные от карьерных или корыстных забот, были чуткими собеседниками, слушателями, советниками, а подчас меценатами выдающихся профессионалов. Чувствительная преданность делала избранных дилетантов конфидентами в одной или нескольких областях, например вкуса, культуры, религии или дружбы, исповедниками и психологической опорой творцов, не всегда понимаемых публикой и профессиональными критиками. Можно написать книгу о том, как в эволюции искусств именно дилетанты опережали критиков в признании крупных открытий»³.

Вторая характеристика Вяч. Иванова относится к религиозному и философскому образу С. В. Троцкого, третья — к его духовному и душевному складу.

В другом стихотворении того же 1912 г. («Соловьиные чары» — III, с. 45), посвященном С. В. Троцкому, Вяч. Иванов называл его «нежный мой брат», а в письме 1928 г. просил переслать своему давнему другу «мой братский привет»⁴. Эти характеристики позволяют нам оценить тон страниц «Воспоминаний», посвященных Вяч. Иванову, и в частности особому таланту поэта — его дару дружеского общения⁵.

Вяч. Иванов не раз делился с С. В. Троцким своими идеями о сущности дружбы: «Раз как-то разбрался со своим другом (не помню с кем), и тут же сказал: „Не христианские это отношения, если человек человеку не может „дурака“ сказать» (с. 50). По словам С. В. Троцкого, «талант духовного общения, дар дружбы есть, в сущности, дар любви; неугомная заинтересованность в человеке, исканье, служение человеку, любованье им по возможности — вот это что» (с. 50)⁶. Крайне примечательно в этой связи следующее свидетельство мемуариста: «В. И. смеясь говорил, что он шпион, что он доискивается и высматривает, и разузнает, как ярый шпион; но с какой любовью!» (с. 50). Здесь мысль Вяч. Иванова о дружбе-любви свернута, а эксплицирована она в стихотворении 1909 г. «Подстерегатель», обращенном к Велимиру Хлебникову, также частому посетителю башенных собраний: дружба-любовь есть проникновение, познание, откровение «Другого»:

Нет, робкий мой подстерегатель,
Лазутчик милый! я не бес,
Не искунитель — испытатель,
Оселок, циркуль, лот, отвес.

Измерить верно, взвесить право
Хочу сердца — и в вязкий взор

Я погружаю взор, лукаво
Стеля, как невод, разговор.

<.....>

Дабы в душе чужой, как в нови,
Живую взрезав борозду,
Из ясных звезд моей Любви
Посеять семенем — звезду?
(II, с. 340)

Подобного рода проникновение в «Другого» могло доходить вплоть до самого глубокого экзистенциального уровня. Вот свидетельство «Воспоминаний» об одной «уединенной интимной беседе» (с. 50) на «башне» с Вяч. Ивановым: «С трепетом раненой птицы я рассказал ему об одном случае, бывшем со мною в тот день или накануне. Никто, пожалуй, не понял бы острой значительности моего переживания так, как В. И. Он понял, что замазывать этого нельзя, что надо вскрыть до конца эту рану и дать уже не только личные силы перенести и залечить ее. И он так и сказал: „Пусть это трудно перенести Вам <...>, но я скажу: то, что с вами — символизируется....., а это означает.....”⁸. Я громко ахнул, закрыл лицо руками, как-то опал весь в кресле и стонал. В. И. опустил на колени, ласкал меня, ободрял. И с такой помощью, в тепле такого нежного и верного сердца, я совладал с опасностью, быть может, навсегда; переживание, которое могло бы отравить мою волю, стать проблемой для воли, и решение было уже не личным делом, а участием моего существа в борьбе и созидании огромных сил жизни» (с. 50).

Пространные цитаты из «Воспоминаний», и в особенности последний фрагмент, необходимы нам по той причине, что они бросают свет на записи С. В. Троцкого от 16 февраля 1923, 7 марта 1923 и 16 мая 1924 гг., которые обнаружили в одном из дневников Вяч. Иванова⁹. Сама переплетенная тетрадь для дневниковых записей была подарена Вяч. Иванову М. Кузминым (III. С. 852). Записи С. В. Троцкого внесены в конце дневника на листах 333–339; уже позднее в Риме Вяч. Иванов сделал в этой же книжке записи 1–5 декабря 1924 г.¹⁰

Первая запись С. В. Троцкого датирована 16 февраля 1923 г., то есть днем рождения Вяч. Иванова (л. 33боб.). Это гексаметры (первая строка неточна), которые начинаются с часто используемого в ивановской поэзии и прозе¹¹ евангельского символа зерна, которое должно умереть, чтобы воскреснуть (Ин. 12:24), а завершаются символическим образом Микро-

косма-Макрокосма (ср. стихотворение «Небо — вверх, небо — вниз»:
Cor Ardens — II. С. 257):

16 февраля 1923.

Хлеба насущного зерна рождаются вновь и вновь,
И бременеет бессмертьем зерно, обреченное смерти.
Нива небесная наша колосьями света обильна;
Радости светом насущным красуется звездное лоно.

Примечательно, что текст стихотворения был переписан в дневник самим Вяч. Ивановым после последней записи Троцкого (л. 339 об.), после этого, как следует думать, половина листа с оригиналом стихотворения была вырезана из дневника; а идентифицирован и присоединен к дневнику этот оригинал только в ходе разборки бакинских ивановских материалов в 2010 г.

Мы опускаем следующее за гекзаметром стихотворение С. В. Троцкого о древе, пути, кресте, распутье, разлуке и встрече, датированное 7 марта 1924 г. (л. 336об.–337), и переходим к его прозаической записи (л. 337об.–339). Она необыкновенно интересна: перед нами развернутая мифопоэтическая реплика, гиперболически восторженная, из диалога двух русских символистов. Опорные слова здесь «нисхождение-восхождение», «снежные вершины дали», «красота», «родник», «кристальный чертог», «друг-сын-жених». Вторая часть этой реплики — серия вопросов «Кто Ты?» — поиски «я» другого, попытки открыть тайну дружбы-любви (филии, по классификации Флоренского). Вот этот текст:

16 мая 24.

Ты мне улыбнулся, Любимый, среди тревог и ожиданий. Луч света упал на картину и сделал ее явной; так улыбка Твоя сбросила тени, подняла деяния и чаяния жизни из сумрачной склоненности к росту и пребыванию. — Но еще больше щедрость Твоего взгляда: в даль покорную повел непререкаемый свет; воздвиглась даль снежными вершинами — в них же пророчество о звездной земле. Кристаллы складывались в венец; и венца коснуться не смея, глянула в глубокую криницу, откуда по моему миру струится кровь; сердце — та криница. Моим ли силам обетован венец? Все силы — в Тебе, но во мне они слагаются; вот — об силе недоумение мое, об силе красоты, ибо ею подымаю твой венец. Единому Тебе, предстоящему в Любви, гляжу в очи; безупречная красота хранит встречу, тихо звенит родник в моей груди, скрытый, себе предоставленный, ибо Ты предстоишь в любви, не смея коснуться моей скрытости. Кто Ты? Зовешь ли в чертог кристаль-

ный, чтобы там одарить радостью, покорить и взыскать новую жизнь, которая вознесла бы даже выше мира твое и от меня взятое в красоте и последнем единении? По плоду узнаешь ли Ты доброе дерево? Или, извечно победивший, Ты знаешь, как скорбь иссушила и сожгла во мне плевела, как смиренно цветущему в лике души моей и как приношу плод красоты?

Ты сын мой, в коем узнаю Тебя, цветущего нашей любовью! Жених ли ты? Даришь ли или взыскуешь? В ограждении вершин забыть себя перед Тобой и не вопрошать, не искать, только любить... Зачем же не смолкая звенит родник, скрытый в груди? Как соберу я силы красоты, чтобы не угаснуть, не опечалить Тебя?

Во имя исходного смирения — перед Тобой смежаю очи и знать хочу — кого Ты любишь? Кого Ты любишь? Ответ ли покорный твоего сияния? Чашу ли Тобой налитую и Тобой осушаемую? Кто возненавидит свет, чтобы смущать мой дух у венца земли и неба? Звон родника, что слышится неотступно, не далекий ли гром воинств? Кто Ты? Кого Ты любишь? Не пошлешь ли раба, чтобы рассек и вверг в огонь? Или воинства идут, гремя, чтобы воевать мой венец? Что же вершины не ограждают улыбку Твою, пронизавшую светом дали мира? Собираются ли, чародейством подъятые, силы красоты, чтобы обрушиться у Твоих ног? Кого Ты любишь? Тайну ли мою любишь Ты, жаждешь ее? Возьми без пощады, ибо верна я любви неизреченному воздыханию.

Замечательно, что текст этот написан на исходе второго десятилетия дружбы С. В. Троцкого и Вяч. Иванова. Характерен в этой связи последний эпизод в общении с поэтом, о котором сообщает С. В. Троцкий: «Незадолго до отъезда из Баку В. И. сказал мне: „Нам надо с вами говорить. Мы еще и не начали — о самом главном“. И это — после двадцатилетней дружбы!» (с. 73). Для русских символистов внутреннее богатство Другого, пределы познания Другого в ситуации истинной дружбы были бесконечны.

¹ «Все мои дневники, где день за днем все было замечено, пропали» (Письмо С. В. Троцкого к В. А. Мануйлову от 27 марта 1934 г. / Цит. по: *Троцкий С. В. Воспоминания* / Публ. А. В. Лаврова // Вячеслав Иванов. Материалы и публ. / Сост. Н. В. Котрелёв. М. 1994. (Новое литературное обозрение: Теория и история лит., критика и библиогр.; № 10. Историко-литературная сер.; Вып. 1). С. 44; «Все дневники мои, где мною велась достаточно подробная запись всего переживаемого, погибли» (Там же. С. 49). Далее цитаты из «Воспоминаний» даются в тексте с обозначением страницы. Присутствие Троцкого на «среде» 1 марта 1906 г. («молодой философ и беллетрист из Нового Пути») было зафиксировано Вяч. Ивановым (РГБ. Ф. 109. Карт. 23. Ед. хр. 17. Л. 17). Несмотря на посвященные

фигуре С. В. Троцкого последние разыскания, в его биографии остается немало лакун.

² «Послание на Кавказ» // *Иванов В.* Собр. соч. Брюссель, 1971–1987. Т. III. С. 55. Далее ссылки на брюссельское Собр. соч. дается в тексте статьи.

³ Из письма Д. Н. Мицкевича к автору от 17 ноября 2010 г.

⁴ Письмо В. И. Иванова к В. А. Мануйлову от 18 марта 1928 // *Лавров А. В.* В. А. Мануйлов — ученик Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. СПб., 2010. Сб. 1. С. 668. При дружеской близости, однако, между Ивановым и С. В. Троцким установились отношения учителя и ученика.

⁵ Федор Степун писал об исключительной «симпозиональности» Вяч. Иванова, который «любил и умел слушать чужие мысли» (*Степун Ф.* Встречи. Мюнхен, 1962. С. 143).

⁶ Ср.: «ВИ считал меня знатоком в понимании любви, то есть в ее сущности» (Письмо С. В. Троцкого к Е. А. Миллиор от 17 марта 1932 г. // *Вестник Удмуртского университета.* Спец. вып., посвященный Е. А. Миллиор. Ижевск, 1995. С. 36).

⁷ Ср. у Флоренского: «Когда же у друзей настанет откровение каждого в каждом, тогда вся личность, с ее полнотою, делается прозрачною — до предвидения того, что сокровенно, до ясно-зрения и ясно-слышания. <...> Но это взаимное проникновение личностей есть задача, а не изначальная данность в дружбе» (*Флоренский П.* Столп и утверждение Истины. М., 1914. С. 447).

⁸ Многоточия в автографе. По предположению Ю. В. Зобнина, в пропущенных словах С. В. Троцкий открылся в гомосексуальном влечении (Ю. В. Зобнин, в печати). Ср. в дневнике Л. Д. Рындиной от 13 февраля 1913: «Помню лицо женское без лет Троцкого, и вот я была у него, я еще не знала, а он мучился чем-то, а потом стал просить позволить снять с себя маску, и я узнала, что „Я Вам сестра, а не брат“, и вдруг я увидела человека, не женщину и не мужчину. <...> Он — или оно — да тонкая нитка жемчуга на шее, экстаз религиозный, христианство — евангелие и любовь однополая, и слова о том, как это мучительно» (Из дневников Л. Д. Рындиной. Публ. Н. А. Богомолова. // *Лица: Биографический альманах.* СПб., 2004. [Вып.] 10. С. 211). Для нас сейчас важно то, как Троцкий в «Воспоминаниях» обозначил значение разговора на Башне для собственной судьбы: «Часто событие личной жизни оказывалось символом и не померкало оттого, но связывало человека с космической жизнью» (курсив мой — А. Ш.).

⁹ Римский архив Вяч. Иванова. Оп. 6. Карт. 1. Папка 5.

¹⁰ Сам дневник доступен на сайте <http://www.v-ivanov.it/archiv/>

¹¹ См. позиции 22823–22827 в составленном В. Литвиновым Указателе словоформ к брюссельскому Собр. соч. В. И. Иванова — http://www.rvb.ru/ivanov/1_critical/1_brussels/word_index/wt_index114.html

M. Ljunggren

Fredrik Vetterlund and Ivan Bunin

1

Fredrik Vetterlund (1865–1960) seems mostly forgotten today. The author of poetry, stories, and essays, he was also a literary scholar and critic. Both in his own writing and as a literary historian (with a doctoral dissertation on Daniel Atterbom) in the early twentieth century he turned to Romanticism. In texts that invariably carried a tone of dreamy melancholy he often looked back in time to his own childhood impressions of the west coast of Sweden.

In the early 1930s Vetterlund became acquainted with Ivan Bunin's writings. There was such an obvious kinship between them. Vetterlund collaborated closely with the Swedish Academy as a consultant to the Nobel Committee in the area of Nordic languages. As the Russian writer became more accessible in Swedish in connection with increasing support for his candidacy for the Nobel Prize, perhaps it was there that he discovered Bunin in earnest. Sigurd Agrell's splendid translations around this time of the emigré's novellas helped in 1933 to make Bunin the first Russian ever to receive it. The award was followed immediately in the first 1934 issue of *Ord & Bild* by a knowledgeable article on Bunin signed Fredrik Vetterlund.

Vetterlund had been in personal contact with Bunin even earlier. In March 1933 (a few months after Bunin had come very close to becoming the 1932 laureate) he sent a letter in French to Bunin in Grasse together with his newly completed, as yet unpublished article in Swedish. He also included

three more unpublished essays on the related «Romantic» lyrical prose of William Henry Hudson, Lafcadio Hearn, and Pierre Loti.

The letter reads as follows:

Stockholm, Vanadisvägen 20,
le 8 mars 1933¹.

Cher maître,

Un admirateur de votre grande poésie en prose, c'est-à-dire de vos romans, je vous envoie quatre études critiques sur quelques auteurs européens, que je crois se rassembler un peu de caractère poétique — les anglais Hudson et Hearn, le français Loti et vous. «La mélancholie des choses passées»², voilà un trait décisive pour tous les quatre quoique pour chacun à sa manière spéciale.

Vous ne lisez pas suédois mais peut-être vous trouvez quelque compatriote à moi qui peut vous expliquer ce que j'ai écrit si vous desirez le savoir.

Moi, je suis un poète lyrique et critique littéraire qui ai fait des études sur le romantisme suédois. Comme je viens de vous dire, j'admire vos livres et je voudrais très vivement que vous ayez un jour le grand prix Nobel que donne notre académie suédoise.

Je reste, cher maître, votre très-dévoué

Fredrik Vetterlund,
docteur ès lettres

On the first page of the delivered letter in Bunin's hand in Russian is «24.III.33 ответить и послать портрет»³.

Bunin's answer, also in French, reads:

Cher Monsieur et Confrère,

Je Vous remercie bien chaleureusement pour Votre très aimable lettre et votre fine et profonde critique — je la lus à l'aide d'un de mes compatriotes qui habite depuis longtemps Suède⁴. Je Vous aurais envoyé mon livre de vers, mais, hélas, n'étant pas traduit il serait pour Vous lettre morte⁵. Je serais très heureux d'avoir l'occasion de Vous rencontrer, de Vous serrer la main et d'échanger avec Vous de vive-voix quelques idées sur la poésie. En attendant ce grand plaisir, je Vous prie, cher et honoré confrère, de me croire

Votre dévoué
Ivan Bunin

Villa Belvédère
Grasse, a. m.⁶

Just to be sure he sent another answer three weeks later:

Cher Monsieur,

Je vous remercie encore une fois cordialement!

Votre

I. Bunin

12.IV.1933

Grasse, a. m.⁷

2

Vetterlund's essay has points in common with the statement — the third in a row — that the Nobel Committee's expert Professor Anton Karlgren submitted in connection with deliberations on the 1932 candidates. There Karlgren stressed Bunin's artistic sophistication and characterized his prose as a masterful final chord in the Russian classic literary tradition. Vetterlund as well begins by linking Bunin to tradition.

Vetterlund describes Bunin as a brilliant mood painter. He is not primarily a psychologist, but he writes from personal experience. He uses expressions typical of the period when he speaks of Bunin's ability to convey «the fateful Slavic outlook of passivity, of laissez-faire decay, of decadent national disintegration,» even of the «indolence» of «the race». Inspired by great predecessors such as Ivan Turgenev and Ivan Gončarov, what Bunin constantly depicts is «dreamlike» and «degenerate», but he does it in a way that is genuinely alive, so that «the rainbow of poetry» rises out of the melancholy.

Bunin's prose is rooted in his childhood impressions, in an early developed extreme receptivity to nature's shifting nuances and play of colors. His characters live in close interaction with the Russian landscape. In his autobiography Bunin speaks of how his world view as he grew up was shaped by the desolate, «hopeless» plains, the expanses of the steppe. Likewise crucial, writes Vetterlund, was the gaze he turned to literature — wherefore the many poetry quotations in his work — and Russian history, the self-evident proximity to «Russia's most distant past».

In the midst of Bunin's «Slavic» melancholy Vetterlund finds a kinship with other European writers of the same period: with Ola Hansson and with the Pierre Loti who besides the Russian tradition he senses as one of Bunin's inspirations. Childhood is equally central to Loti's works. The difference is that where Loti has Gallic precision, Bunin is generous with sensory impressions and sensations. Both of them, owing to their dreamy childhood melody,

are united in the feeling they convey of «life's unreality and transience». What is lived intensively must constantly be lost. Life is loss.

Thus everything in this prose is grounded in a chord of sorrow that occasionally rises to despair. In stories like *Митина любовь* and *Солнечный удар* Bunin expresses the gloom of «the indulgent epicurean». A delicate interplay of details and smells, the seasons, and the shifting light of day all contribute to the whole.

Vetterlund goes on to note, however, that Bunin's novellas could be tightened up and as in the crime story *Дело Елагина* the characterization can be given sharper contours and terseness. Still, it is as a kaleidoscopic artist of mood that he is at his greatest.

Familiar with Bunin's autobiographical *Жизнь Арсеньева*, the first two parts of which were translated into Swedish in the early 1930s, Vetterlund says that «we can expect a great deal» both of this memoir in novel form and of his work in general. Bunin's creative power, in fact, never abated despite difficult personal circumstances amid war and poverty, once his Nobel money was squandered. Here Vetterlund is taking issue with the conventional wisdom insisting that far from his native land and its political evolution Bunin would be unable to renew and develop his talent.

He goes on to describe Bunin as an «aristocrat» whom the Bolsheviks forced to flee Russia. That was the consensus then. Today we would probably say instead that he was driven into exile because he was a — albeit hypermelancholic and hyperaesthetic — «democrat».

Vetterlund concludes that Bunin is a «world-class literary bearer of the tradition of intimacy and spiritual refinement» that Europe needs in this day when Anglo-American prose tends to «coarseness» and French literature inclines to «affectation».

3

When Bunin was awarded the prize in the fall Vetterlund sent him a postcard:

Stockholm le 9 nov. 1933

Vanadisvägen 20.

Cher maître,

Mille felicitations! Soyez le bienvenue à la Suède et à Stockholm! J'espère que nous nous verrons!

Votre très dévoué

Fredrik Vetterlund⁸

They probably did meet in December, but no details are available. Nothing about an encounter is mentioned in Bunin's or his fellow travelers' accounts of the Nobel festivities.

The first 1934 issue of *Ord & Bild* carried Vetterlund's article accompanied by the communication that Bunin had just received a well-deserved Nobel Prize. In the course of the year his four essays appeared together with some studies of Scandinavian writers in a special section of a selection of his works somewhat inappropriately entitled *Romantiskt 1800-tal. Ännu några essayer* (*The Romantic 1800s. Some More Essays*). Here the Bunin article has been abbreviated somewhat and focused a little more on the theme of «The Melancholy of the Past», which also served as the rubric over the four essays. It is emphasized in the opening study of Hudson that this expression, as Loti put it, refers to «a constantly recurring farewell: what I see now I shall never see again»⁹.

Today Bunin is, of course, regarded as a superb artist of the word, a master of the minor format, very much a living classic. Vetterlund did not write a great deal about literatures outside Scandinavia. His favorites besides Atterbom, for example, were Love Almqvist and Viktor Rydberg. But here he met a soulmate who enabled him, extremely accurately and distinctively and on a par with the Slavist Karlgren, to introduce a significant twentieth-century European writer¹⁰.

Translated by Charles Rougle.

¹ Vetterlund's letters are reproduced here inedited, with his sometimes ungrammatical phraseology and spelling errors.

² The expression is from Loti: «la mélancolie des choses passées.»

³

Stockholm, Vanadisvägen 20,
8 March 1933

Dear Master,

As an admirer of your great prose poetry, that is, your novels, I'm sending four critical essays on several European writers I think resemble each other poetically — Hudson and Hearn from England, Loti from France, and you yourself. «The melancholy of things past» is a defining feature of all four together as it is individually of each in his own special way.

You cannot read Swedish, but perhaps you can find some countryman of mine who can explain to you what I have written, if you are interested.

I am myself a lyric poet and literary critic and have written a few works on Swedish Romanticism. As I said before, I admire your books and would very much like to see you some day receive the great Nobel Prize from our Swedish Academy.

I remain, dear Master, Yours very truly,

Fredrik Vetterlund
Ph.D.

(The letter is in the Bunin collection of the manuscript archive at the library of the University of Leeds (MS. 1066/5758). A signed portrait was sent together with Bunin's answer. It was offered for sale at an auction a few years ago for about 2000 Dollars.)

⁴ Presumably Serge de Cyon (Sergej Tsion, 1874-1947).

⁵ A collection of Bunin's poetry (*Избранные стихи—Selected Poems*) had been published in Paris in 1929.

⁶ My Dear Sir and Colleague,

Warm thanks for your very kind letter and sensitive and profound essay. I read it with the assistance of a compatriot who has lived a long time in Sweden. I would like to send you my poetry collection, but untranslated it would of course to you be a dead letter. I would be very pleased to have an opportunity to meet you, shake your hand and exchange some thoughts on poetry with you. Awaiting this great pleasure I assure you, dear and honored Colleague, of my devotion,

Ivan Bunin

Villa Belvédère

Grasse, a. m.

(This letter is in the manuscript archive of the Royal Library in Stockholm (Ep. V 28).)

⁷ My Dear Sir,

I thank you so very much once again!

Yours

I. Bunin

12.IV.1933

Grasse, a.m.. (Ibid.)

⁸

Stockholm 9 November 1933

Vanadisvägen 20.

Dear Master,

a thousand congratulations! Welcome to Sweden and Stockholm! I hope that we shall meet!

Yours very sincerely

Fredrik Vetterlund

(The letter is in the Bunin collection of the manuscript archive at the library of the University of Leeds (MS. 1066/5759).)

⁹ «Det förgångnas vemod. En studie i poetisk mentalitet» (The Melancholy of the Past. A Study in a Poetic Mentality), *Romantiskt 1800-tal. Ännu några essayer* (Stockholm, 1934), 199.

¹⁰ The only serious published commentary in Swedish surveying Bunin's works at this time was Nobel Committee Secretary Anders Österling's feature article in the 10 November 1933 issue of *Svenska Dagbladet* (just after Bunin had received the prize).

Содержание

Несколько слов от составителей	5
<i>К. М. Азадовский, Г. Г. Суперфин</i> Русский в Германии: одиссея «профессора» Матанкина	8
<i>М. В. Безродный</i> Poetree	39
<i>Р. Бёрд</i> К истории поэтического цеха «Окон ТАСС» (1941–1945)	46
<i>Т. Венцлова</i> О строении сонета Вячеслава Иванова «La Superba».	57
<i>С. Гардзонио</i> Образ Флоренции в творчестве Вячеслава Иванова (1890–1900-е годы).	64
<i>М. К. Гидини</i> Jasov Pavlovitch и Monsieur Berdiaeff: Запад и Восток во «Франко-русской студии»	74
<i>А. Б. Грибанов</i> Какой гул затих в пастернаковском «Гамлете»?	83
<i>А. д'Амелия</i> Русские вечера в художественном театре Луиджи Пиранделло	90

<i>П. Деотто</i>	
Милан в описаниях русских путешественников.	
Предварительные заметки	101
<i>П. В. Дмитриев</i>	
Вяч. Иванов и М. Кузмин.	
К истории одного недоразумения	112
<i>С. Н. Доценко</i>	
О генезисе архитектурного стихотворения	
О. Мандельштама «Notre Dame»	118
<i>Л. Д. Зубарев</i>	
«Все они впоследствии занимались литературой...»	
Еще раз о бакинском периоде Вяч. Иванова	127
<i>Е. В. Иванова</i>	
Из комментариев к «Краткой повести об Антихристе»	136
<i>А. В. Лавров</i>	
Вячеслав Иванов и Максимилиан Волошин в 1907 году	
(Эпистолярные иллюстрации)	143
<i>Г. А. Левинтон</i>	
Из комментариев к прозе Мандельштама (8)	162
<i>О. А. Лекманов</i>	
Из комментария к «Чистому понедельнику»	
И. Бунина: параллели с Александром Блоком	168
<i>Г. А. Лесскис</i>	
«Венгрия 56!» (Глава из рукописи мемуарной книги)	
Публикация В. Г. Лесскиса	173
<i>F. Malcovati</i>	
Vjačeslav Ivanov e Rinaldo Küfferle:	
alcune lettere inedite sulla traduzione di «L'Uomo»	184
<i>А. Мейре, Н. А. Богомолов</i>	
Ситуация 1920 года: взгляд из Эстонии	192
<i>Т. Л. Никольская</i>	
«Героиня романов Тургенева»	202

<i>Г. В. Обатнин</i>	
«Φιλία» Вяч. Иванова как ракурс к биографии.	214
<i>О. Я. Обухова</i>	
Анна Ахматова глазами итальянской журналистки	248
Неизвестная записная книжка <1920> Вяч. Иванова.	
<i>Публикация Дж. Малмстада и М. Павловой</i>	252
<i>А. Е. Парнис</i>	
Заметки к теме «Вячеслав Иванов и Александр Иванов»	
(Неизвестные отзывы Вяч. Иванова о докторской	
диссертации В. М. Зуммера)	266
Приложение 1	294
Приложение 2	299
<i>Ф. Б. Поляков</i>	
Заметки о текстологии писем Владимира Соловьева	
к княгине Е. Г. Волконской.	304
<i>Д. Рицци</i>	
Сибилла Алерамо — корреспондент журнала «Русская мысль» . . .	314
<i>А. Л. Соболев</i>	
<i>Con scuto</i> : Вячеслав Иванов — участник сборника «Щит»	327
<i>Е. А. Тахо-Годи</i>	
Вяч. Иванов и его бакинские корреспонденты —	
А. М. Евлахов и С. П. Семенов (Аргашев)	359
<i>Р. Д. Тименчик</i>	
Карточки	373
<i>А. Л. Топорков</i>	
Некоторые замечания по поводу переписки	
Вяч. Иванова и Л. Д. Зиновьевой-Аннибал	397
<i>А. Б. Шишкин</i>	
Бакинская запись С. В. Троцкого в дневнике	
Вяч. Иванова 1924 года	409
<i>М. Ljunggren</i>	
Fredrik Vetterlund and Ivan Bunin	415

Научное издание

DONUM HOMINI UNIVERSALIS

Сборник статей в честь 70-летия Н. В. Котрелёва

Составители: Н. А. Богомолов, А. В. Лавров, Г. В. Обатнин

Ответственный редактор О. Старикова

Компьютерная верстка: Т. Мосолова

ОБЪЕДИНЕННОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

101000, Москва, Кривоколенный пер, д. 10, стр. 6а

Тел./факс: (495) 621-98-52; e-mail: info@ogi.ru

Информация о книгах издательства: <http://ogi-press.livejournal.com>

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВ ОГИ И Б.С.Г.-ПРЕСС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

В РОЗНИЦУ В МОСКВЕ

- Кафе «Нейтральная территория», м. «Китай-город»,
Новая площадь, д. 14. Тел.: (495) 621-27-37.
- Книжный магазин «Москва», м. «Пушкинская», «Тверская», ул. Тверская, д. 8.
Тел.: (495) 629-64-83, 797-87-17.
- ТД «Библио-Глобус», м. «Лубянка», ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1.
Тел.: (495) 781-27-37.
- Московский дом книги, м. «Арбатская», ул. Новый Арбат, д. 8.
Тел.: (495) 789-35-91.
- Дом книги «Молодая Гвардия», м. «Полянка», ул. Большая Полянка, д. 28.
Тел.: (495) 238-50-01.
- Книжный магазин «Фаланстер», м. «Пушкинская», «Тверская»,
Малый Гнездниковский пер., д. 12/27. Тел.: (495) 629-88-21.
- Книжный магазин «Гилея», м. «Пушкинская», «Тверская»,
Тверской бул., д. 9. Тел.: (495) 925-81-66.

ОПТОМ

КД «Б.С.Г.-ПРЕСС», Москва, ул. Гончарная, 38.

Тел./факс: (495) 915 67 24; тел. +7 (915) 110 36 50.

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

www.esterum.com и www.ozon.ru

Подписано в печать 18.02.2011. Гарнитура OfficinaSans.

Формат 60×90 1/16. Объем 26,5 печ. л. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 300 экз. Заказ № 4877.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

www.оаомпк.ru, www.оаомпк.рф тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

ISBN 978-5-94282-639-0



9 785942 826390